Неизвестный

В. Я. Пропп

Древо жизни. Дневник старости. Переписка



300-летию Санкт-Петербурга посвящается

НЕИЗВЕСТНЫЙ В. Я. ПРОПП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ



НЕИЗВЕСТНЫЙ В. Я. ПРОПП

Научное издание

Предисловие, составление
А. Н. Мартыновой

Подготовка текста, комментарий
А. Н. Мартыновой,
Н. А. Прозоровой

Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
2002

ББК Ш2,2
УДК 398(079ю5)
Н 45

Н 45 Неизвестный В. Я. Пропп/ Научное издание/ Предисловие, составление А. Н. Мартыновой/Подготовка текста, комментарий А. Н. Мартыновой, Н. А. Прозоровой — СПб.: Алетейя, 2002. — 480 с. (Петербургская серия)
ISBN 5-89329-512-9

В книгу включены не научные, широко известные труды В. Я. Проппа (1895–1970), крупнейшего фольклориста, одного из классиков гуманитарной науки XX века, а его литературные произведения, часть эпистолярного наследия и дневник последних лет жизни.

Впервые публикуемые автобиографическая повесть «Древо жизни», стихи и переписка с другом В. С. Шабуниным раскрывают истоки сложения и развития неординарной личности, формирование многогранных интересов В. Я. Проппа, исследования которого оказали сильнейшее влияние на мировую филологическую науку. «Дневник старости», поражающий открытостью и искренностью, отражает нравственные переживания текущей и прошлой жизни, бескомпромиссность научных позиций, душевное благородство замечательного ученого. В Приложении помещены воспоминания о В. Я. Проппе его коллег и учеников.

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект №98-04-06096

ISBN 5-89329-512-9


ПРЕДИСЛОВИЕ

Книгу мы не случайно назвали «Неизвестный В. Я. Пропп»: в ее состав включены не научные, широко известные филологической науке труды ученого, а его литературные произведения, часть эпистолярного наследия и дневник последних лет жизни.

Архив В. Я. Проппа после его кончины был передан родственниками ученого в дар Рукописному отделу Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Личный фонд В. Я. Проппа (№ 721) содержит рукописи его научных работ и учебно-методических пособий, литературных трудов, документы к биографии, обширную переписку.

В данное издание включена его повесть «Древо жизни», обладающая несомненными художественными достоинствами, написанная добротным русским языком.

В фонде хранятся также рукописи рассказа «Воля»[1], стихов на немецком языке, литературных опусов в записных книжках.

Повесть «Древо жизни» В. Я. Пропп начал писать в 1932 г. Дата завершения ее неизвестна, поскольку в архиве сохранилась лишь часть произведения. Она охватывает период жизни главного героя с раннего младенчества до 1916 г. Герой повести носит имя Федя, сопоставления с записями в дневнике, записными книжками и личными документами позволяют совершенно определенно установить, что автор описывает свою семью, свое детство и юность. Сохранившееся оглавление повести позволяет также предположить, что она имела продолжение и охватывала годы революции и Гражданской войны. Но судьба этой части рукописи не установлена. Вероятно, она была уничтожена.

Содержание — описание жизни человека от младенчества до юности, ее хронология 1901–1916 гг. Повесть интересна сама по себе, но особая ее ценность состоит в том, что она автобиографична. Мы не будем сопоставлять содержание повести с реальными фактами жизни В. Я. Проппа. Читатель может убедиться в этом сам, прочитав «Переписку» и «Дневник».

Конечно, повесть — художественное произведение, и не стоит каждый ее эпизод сопоставлять с фактами реальной жизни В. Я. Проппа, но есть все основания считать, что вымысел почти полностью отсутствует в этом произведении. Это произведение — повесть-воспоминание почти сорокалетнего человека о своем детстве и юности. В повести мало событий, основное ее содержание — становление, формирование личности, сложение мировосприятия, поиски места в жизни, воспитание своей души интелли-

---

[1] Рассказ недавно опубликован: *Пропп В.* Воля. Рассказ / Послесл., публ. и примеч. А. В. Малинова // Нева, 1998. № 10. С. 127–131.

гента XX века. А если этот интеллигент — всемирно известный ученый, труды которого оказали сильнейшее влияние на мировую филологическую науку, если он прекрасный педагог, профессор, воспитавший десятки учеников, которые навсегда сохранили к нему уважение и любовь, если это человек, обаяние которого испытали на себе все, кто знал его, то естественно желание понять истоки сложения неординарной личности, формирование богатейшего внутреннего мира, душевного благородства и силы воли В. Я. Проппа.

И представляется, что книга поможет глубже понять замечательного ученого не только тем, кто знаком лишь с его трудами, но и тем, кто знал его лично, поскольку в жизни он был сдержан, скромен и несколько замкнут. В документах, включенных в данную книгу, он предельно откровенен. Откровенен и в повести, написанной в начале 1930-х гг., и в переписке с другом (1953–1970), и в «Дневнике старости...» (1962–1970).

В книгу включена переписка В. Я. Проппа с его другом Виктором Сергеевичем Шабуниным, военным врачом и художником. Они были очень близки, и в переписке раскрывается еще одна сторона внутренней жизни Владимира Яковлевича: его верность дружбе, теплое, заботливое отношение к другу, его готовность прийти на помощь, отсутствие эгоизма. Их дружба началась в юности, а после перерыва возобновилась в 1950-е гг. и продолжалась до кончины Владимира Яковлевича. Письма являются прекрасным дополнением к, возможно, самому потрясающему документу в фонде — дневнику В. Я. Проппа последних лет его жизни. На первой странице рукописи написано «Дневник старости. 1962–196...»[2]. Такой срок жизни отвел себе Владимир Яковлевич. Ошибся он не намного, на один год. Последняя запись в дневнике сделана 25 июля, а 22 августа 1970 г. в больнице им. Ленина (теперь Покровская больница) он скончался.

В кратком предисловии не будем останавливаться на анализе научных трудов В. Я. Проппа, отослав читателя к литературе, посвященной ему в России и за рубежом[3]. Столетний юбилей ученого, отмеченный в 1995 г.

---

[2] «Дневник старости. 1962–196...» — переиздание с расширенным комментарием публикации: *Пропп В. Я.* Дневник старости. 1962–196... г. / Вступительная статья Б. Н. Путилова. Публик. и примеч. А. Н. Мартыновой // Russian studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1995, 1(3). С. 299–351.

[3] См.: Библиография трудов В. Я. Проппа / Сост. Б. Н. Путилов // Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970). М., 1975. С. 16–25. Дополн.: *Еремина В. И.* Книга В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» и ее значение для современного исследования сказки // *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. Изд. 2-е. С. 5. Дополн.: *Пропп В. Я.* Врубель и фольклор (Текст доклада. Набросок) / Публикация Л. М. Ивлевой // Из истории русской фольклористики. Л., 1990. С. 238–256; см. также: *Пропп В. Я.* Поэтика / Публикация А. Н. Мартыновой // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. Вып. 3.

Международной конференцией[4], многочисленными публикациями, относящимися к научному наследию В. Я. Проппа, явились свидетельством всемирного признания ученого и вызвали новую волну интереса к его трудам и личности. Немаловажную роль в этом сыграли публикации материалов, относящихся к биографии В. Я. Проппа: его «Дневника старости»[5], автобиографии, воспоминаний о нем учеников и коллег[6] и др. Однако необходимо хотя бы кратко напомнить биографию В. Я. Проппа, а поскольку это биография *ученого*, придется коснуться истории и судьбы его основных трудов.

Владимир Яковлевич Пропп родился 16 апреля 1895 г. в Санкт-Петербурге. Крещен пастором Артуром Мальмгреном Евангелическо-лютеранского прихода Св. Анны и наречен Герман Вольдемар. Его отец, Иоанн Яков Пропп, выходец из немецкой колонии Саратовской губернии, занимал должность доверенного торгового дома «Братьев Шмидт», снабжавшего мукой все немецкие булочные столицы. В начале века, когда Владимир Пропп учился в школе, его отец купил небольшое поместье в Саратовской губернии — хутор Линево с большим садом, домом, пахотной землей, прудом, хозяйственными постройками, лесом. У них были свои лошади, коровы, домашняя птица. После покупки имения и до революции вся семья выезжала на лето в поместье в Саратовскую губернию. Отец Владимира Яковлевича скончался в 1919 г. Его мать Анна Елисавета (в девичестве Бейзель) вела дом и занималась воспитанием детей. Их было шестеро: три сына и три дочери. Родители были женаты вторым браком. От первого брака у отца был сын, у матери дочь. Общих детей было пятеро (Вольдемар, Евгения, Роберт, Эмилия, Элла). Скончалась Елизавета Фридриховна Пропп в блокадном Ленинграде в 1942 г.

В раннем возрасте детей в семье нянчила русская старушка, которая пела над колыбелью будущего фольклориста колыбельные песни и, возможно, рассказывала сказки. О ней с большой теплотой в старости вспо-

---

СПб., 1996. С. 288–372; *Пропп Владимир.* Поэтика фольклора / Сост., предисл. и коммент. А. Н. Мартыновой. М., 1998. С. 5–23.

[4] См.: *Адоньева С. Б., Герасимова Н. М.* Конференция «Наследие В. Я. Проппа в современной науке» // Живая старина. 1995, № 3; *Криза И., Каман Э.* Пропповская конференция в С.-Петербурге // Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1996, № 1; Материалы международной конференции, посвященной 100-летию В. Я. Проппа // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 8–9, СПб., 1995. С. 164–332.

[5] *Пропп В. Я.* Дневник... С. 300–350; *Пропп В. Я.* Автобиография. Там же. С. 299–300; *Мартынова А. Н.* Личный фонд В. Я. Проппа в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН // Кунсткамера: Этнографические тетради. 1995. Вып. 8–9. С. 168–172.

[6] См.: Живая старина, 1955, № 3; Кунсткамера. 1995, Вып. 8–9; Ежеквартальник русской филологии, 1955, I (3). Все эти материалы воспроизводятся в данной книге.

минал Владимир Яковлевич. Так, с детства он запомнил ее толкование значения глагола «жалеть», равное значению «любить». На семинаре однажды он сказал: «В старинных русских песнях почти не встречается слово "любить". В них есть слово "жалеть". Но "жалеть" и значит "любить"». Совершенно противоположные чувства вызвала у Воли (так его звали в семье) Проппа первая гувернантка. Несмотря на то, что семья его не была богатой, родители нанимали гувернанток для обучения детей не только французскому, но и немецкому языку. По-немецки они разговаривали с мамой, которая говорила на одном из немецких диалектов, по-русски с отцом и между собой, по-французски — с гувернантками. Бонны обучали детей также игре на фортепьяно и «манерам». В «Дневнике...» Владимира Яковлевича есть запись о том, что у него было счастливое детство, которое отравляла лишь гувернантка. Но были затем и другие, с которыми было полное взаимопонимание. Последняя прожила в семье Проппов несколько лет и была очень привязана к детям.

Среднее образование В. Я. Пропп получил в Анненском училище, а затем в 1913 г. поступил в Петербургский университет, где занялся изучением немецкой литературы. Но на третьем курсе он перешел на славяно-русское отделение. В одном из документов он следующим образом объясняет причины перехода: «В университете я занялся изучением немецкой литературы. Но влечение к России, явившееся отчасти как последствие отвращения к окружавшей меня немецкой грубости и ограниченности, пробивалось все сильнее. К этому влекли и научные знания. С началом войны я перешел на Славяно-Русское отделение нашего факультета»[7].

Когда началась Первая мировая война, студент Пропп готов был идти на фронт. Идти не для того, чтоб убивать, а для того, чтоб разделить судьбу сотен тысяч русских солдат, гибнущих на полях сражений. Но в то время студенты не подлежали мобилизации. Тогда Владимир Яковлевич принимает другое решение, о чем свидетельствует удостоверение 1915 г. о том, что он прошел обучение на шестинедельных курсах «подания первой помощи и ухода за больными», успешно сдал экзамены по анатомии, физиологии, хирургии и другим предметам. Закончив курсы, В. Я. Пропп добровольно стал работать в лазарете санитаром, а затем братом милосердия. Судя по записям в дневнике и повести «Древо жизни», он всей душой сострадал раненым, стараясь уменьшить их мучения. Ему приходилось мыть солдатам ноги, с которых клочьями отваливалась кожа, обрабатывать гнойные раны, выносить и мыть судна. Он пишет, что солдаты с невероятным мужеством переносили свои страдания и что именно тогда, общаясь с ними, он стал русским. Позднее он записал в дневнике: «22. IV. 1918 года был для меня одним из лучших в моей жизни. Была Пасха. Самая ранняя, какая может быть. Я смотрел на огни Исаакия с 7-го этажа лазарета в Но-

[7] Цит. по изд.: *Бовкало А. А.* В. Я. Пропп и Петроградский богословский институт // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 8–9. СПб., 1995. С. 174.

вой Деревне. Тогда я любил Ксению Новикову. Она ходила за ранеными. Было Воскресение в природе, и моя душа воскресла от признания не только своего "я". Где другой — там любовь. И она была другая, совсем другая, чем я. Я сквозь войну и любовь стал русским. Понял Россию» (Наст. изд. С. 289).

Историко-филологический факультет Петроградского университета В. Я. Пропп закончил в 1918 г. Несколько лет он преподавал русский и иностранные языки в гимназиях и средних школах Петербурга—Ленинграда, а с 1926 г. начал работать преподавателем немецкого языка в Политехническом институте, затем заведующим кафедрой иностранных языков в Плановом, кафедрой германской филологии во Втором педагогическом Институте иностранных языков. Одновременно в эти года В. Я. Пропп сотрудничает в Институте истории искусств, Институте этнографии АН, Географическом обществе, затем в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

И еще малоизвестный факт из биографии В. Я. Проппа.

2 апреля 1921 г. В. Я. Пропп подает прошение о зачислении на первый курс Петроградского богословского института, который был открыт в апреле 1920 г. Институт просуществовал всего три года и сделал один выпуск[8]. Он был призван не только готовить убежденных церковных деятелей и пастырей, но и выполнять широкие просветительские задачи: устраивать общедоступные богословские лекции, руководить религиозными кружками и курсами, разрабатывать богословские и церковно-практические вопросы. В институте преподавали не только известные богословы, но и многие видные ученые, в него принимали мужчин и женщин, без ограничения возраста. Занятия проходили по вечерам, чтобы лекции могли посещать и те, кто днем был занят на работе.

Владимир Яковлевич в это время преподавал русский язык и историю русской и зарубежной литературы в XI трудовой школе 11-й ступени.

Это удивительное прошение о зачислении откровенно так же, как откровенен дневник и повесть. В нем В. Я. Пропп пишет: «В школе никаких интересов к религии еще не проявлял. Сильно увлекался немецким романтизмом. В связи с этим явился крайний индивидуализм и утверждение в себе. Однако смутная тоска и искание выхода из плена своей души служили выходом для будущих прорывов. К тому же и религиозный элемент романтизма и интерес к идеалистической философии XIX в. оказали свое влияние. Я вышел из школы с предрасположением к мистике <...>. С началом войны <...> я поступил в санитары при одном из лазаретов. Общение с некоторыми солдатами в связи с внутренними потрясениями и сознанием безысходности моего душевного состояния привели меня к церкви. К этому еще раньше я был подготовлен чтением сочинений Соловьева». Затем

[8] *Бовкало А. А.* В. Я. Пропп и Петроградский богословский институт... С. 173–175.

Владимир Яковлевич пишет, что книга П. Флоренского[9] «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» (М., 1914) произвела на него «почти одурманивающее действие», а чтение Посланий Иоанна и его же Евангелия навсегда перевернули его жизнь, что он читал поучения преподобного Серафима Саровского[10], а иконопись стала для него откровением: в ней он увидел внутреннюю душевную форму, которая была нужна ему. Далее В. Я. Пропп сообщает о себе: «Однако по окончании университета жизнь стала слагаться печально (1918 г. — *А. М.*), и я все глубже погружался в серую безысходность, усиленную сознанием невозможности *отвратить народные бедствия* (выделено мной. — *А. М.*). Были и другие причины отчаяния (свое происхождение, отсутствие русских корней)».

Назвав изложенную причину субъективной, В. Я. Пропп называет и объективную: необходимость для него личного участия в строительстве новой духовной и церковной культуры. Он пишет, что понял, чем должна явиться Церковь по отношению к индивидууму — устроением всех форм его жизни, — но что касается вопроса, чем является Церковь по отношению к Христу, этого он еще не понял.

Однако Владимир Яковлевич недолго занимался в институте. Вскоре он оставил его. Причина такого решения неизвестна, возможно, она проста: отсутствие времени. Ведь занятия в институте проходили ежедневно, с 6 до 9 вечера. А в это время В. Я. Пропп работал над «Морфологией сказки», и, возможно, эта работа отнимала все время.

В 1937 г. его приняли на работу в ЛИФЛИ (впоследствии филологический факультет ЛГУ), и с этого времени до 1969 г. он преподаватель университета — сначала кафедры романо-германской филологии, затем кафедры фольклора, позднее — кафедры русской литературы. В 1938 г. он получил звание профессора, в 1939 г. защитил докторскую диссертацию.

Вероятно, интерес к фольклору возник у Проппа еще в университете, хотя никаких свидетельств этого нет. Но о том, что исследованием сказок он занялся сразу после университета, есть запись в «Дневнике»: «У меня проклятый дар: во всем сразу же, с первого взгляда, видеть форму. Помню, как в Павловске, на даче, репетитором в еврейской семье, я взял Афанасьева. Открыл № 50 и стал читать этот номер и следующие. И сразу открылось: композиция всех сюжетов одна и та же» (Наст. изд. С. 327). Это и было началом работы над монографией «Морфология сказки», со временем принесшей автору мировую известность. Он писал ее десять лет, по его признанию, по ночам, на праздниках, на каникулах, писал в одиночку, ни с кем не советуясь, без всякого руководства. И лишь закончив работу,

[9] Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1937) — философ, богослов, поэт, критик, публицист; Флоренский Павел Александрович (1882–1937) — богослов, философ, искусствовед, математик, поэт.

[10] Серафим Саровский (скончался в 1833 г.) — преподобный иеромонах Саровской Успенской пустыни. Прославился как чудотворец. Один из самых популярных святых XIX в.

решил показать его видным ученым: Б. М. Эйхенбауму, Д. К. Зеленину, В. М. Жирмунскому. Получив одобрение и поддержку, В. Я. Пропп в 1928 г. под редакцией В. М. Жирмунского издает книгу. В первые годы после ее выхода появилось несколько положительных рецензий известных ученых в западноевропейской и советской прессе (Д. К. Зеленина, Яна де Фриза, В. Н. Перетца, Р. О. Шора). Но затем открытие В. Я. Проппом структурных закономерностей волшебной сказки было забыто на тридцать лет. Лишь с 1958 г., после перевода книги на английский язык, начинается ее возрождение и воздействие не только на сказковедение, но и на структурное изучение других нарративных жанров и иных явлений культуры[11].

Мы не будем останавливаться на причинах долгого непонимания идей, заложенных в книге. Они объяснены в работах Е. М. Мелетинского[12], Б. Н. Путилова[13] и др.

Основная причина забвения исследования в наше время вполне определена: книга опередила науку на тридцать лет. Хотелось бы сослаться лишь на мнение В. Я. Проппа о причинах непонимания идей книги. В предисловии к итальянскому изданию «Морфологии...» он писал в 1966 г.: «Книга эта, как и многие другие, вероятно, была бы забыта, и о ней изредка вспоминали бы только специалисты, но вот через несколько лет после войны о ней вдруг снова вспомнили <...>. Что же такое произошло и чем можно объяснить этот возродившийся интерес? В области точных наук были сделаны огромные, ошеломляющие открытия. Эти открытия стали возможны благодаря применению новых точных и точнейших методов исследований и вычислений. Стремление к применению новых точных методов перекинулось и на гуманитарные науки. Появилась структуральная и математическая лингвистика. За лингвистикой последовали и другие дисциплины. Одна из них — теоретическая поэтика. Тут оказалось, что понимание искусства как некоей знаковой системы, прием формализации и моделирования, возможность применения математических вычислений уже предвосхищены в этой книге, хотя в то время, когда она создавалась, не было того круга понятий и той терминологии, которыми оперируют современные науки»[14].

---

[11] См., например: *Грякалов А. А.* Константы чудесного и образ мира (к эстетическому смыслу концепции В. Я. Проппа) // Вече. Альманах русской философии и культуры. Вып. 8. СПб., 1997. С. 51–63.

[12] *Мелетинский Е. М.* Структурно-типологическое изучение сказки // *Пропп В. Я.* Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969. С. 134–166.

[13] *Путилов Б. Н.* Проблемы фольклора в трудах В. Я. Проппа // Типологические исследования по фольклору. Сб. статей памяти В. Я. Проппа (1895–1970). М., 1975. С. 7–10; *Он же.* От сказки к эпосу // Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1995, I (3). С. 351–352.

[14] *Пропп В. Я.* Структурное и историческое изучение волшебной сказки // *Пропп Владимир.* Поэтика фольклора / Сост., предисл., коммент. А. Н. Мартыновой. М., 1998. С. 208–209.

Но это объяснение будет написано спустя несколько десятилетий. А в 30-е гг. атмосфера вокруг ученого была недоброжелательной. Книгу жестко критиковали. К. В. Чистов пишет, что в предвоенные годы в семинаре М. К. Азадовского в ЛГУ его ученики знали работу В. Я. Проппа, но отношение к ней было, по его выражению, «сдержанно-критическим»: «Говорили, что В. Я. Пропп изучение архитектуры как искусства подменяет инженерным трактатом о несущих балках конструкции или изучение человека как живого организма — рентгеновскими снимками или рассматриванием скелета»[15]. (Думается, что это было мнение не только учеников М. К. Азадовского, а прежде всего их учителя, руководителя семинара. — *А. М.*)

Так как же реагирует В. Я. Пропп на критику, обрушившуюся на него по выходе «Морфологии сказки»? Может быть, отказывается от своей концепции, от своих идей? Обещает учесть критику? Такое бывало в советской науке, и неоднократно в те времена. В. Я. Пропп реагирует следующим образом. Поскольку ни один научный журнал не решился бы поместить его аргументированный ответ критикам, он с живым словом обращается к будущим ученым, в ту пору студентам и аспирантам. В 1942–1943 гг. в Саратове, куда он был в тяжелейшем состоянии эвакуирован вместе с ЛГУ, он ведет семинар, посвященный «Морфологии сказки». Вспоминая об этом, И. П. Лупанова, студентка, аспирантка, позднее доктор филологических наук и друг В. Я. Проппа, пишет следующее:

«<...> что двигало Проппом, когда он выносил на аспирантский семинар обсуждение своего “крамольного” труда? Ведь в те нелепые и страшноватые времена в этой акции был безусловный риск. Видимо, он сознательно шел на него. Потому что был уверен в своей научной правоте. Потому что, не имея возможности пробить стену неприятия советской филологической науки, он пытался донести дорогие ему мысли до молодых умов нового поколения...»[16] Думается, известны были ему и высказывания участников довоенного фольклорного семинара Азадовского о том, что Пропп изучение человека как живого организма подменяет изучением скелета, — и нисколько его не смущали. И в 1964 г. он как бы прямо отвечает своим насмешливым оппонентам: «Так как фольклор состоит из произведений словесного искусства, прежде всего необходимо изучить особенности и закономерности этого вида творчества, его поэтику. Зоологи только тогда могли создать научную систематизацию, когда были изучены *скелеты* (выделено мной. — *А. М.*) животных, строение их тела, способы передвижения, а также отношение к окружающей среде, особенности питания, размножения и пр.»[17].

---

[15] *Чистов К. В.* В. Я. Пропп — исследователь сказки // *Пропп В. Я.* Русская сказка. Л., 1984. С. 15.

[16] См. наст. изд. С. 397.

[17] *Пропп В. Я.* Принципы классификации фольклорных жанров // *Владимир Пропп.* Поэтика фольклора. С. 175.

В 1944 г. университет вернулся в Ленинград. Но В. Я. Проппу был запрещен въезд в родной город как немцу, хотя и обрусевшему. У него был отобран паспорт, пишет И. П. Лупанова[18], и лишь ходатайство ректора А. А. Вознесенского спасло его от ареста[19].

В. Я. Пропп продолжил работу в ЛГУ, одновременно по совместительству сотрудничая в ИРЛИ. Но в конце 1940-х гг. его увольняют из Академии наук.

Основной причиной увольнения В. Я. Проппа из Академии наук был выход в свет второй его книги «Исторические корни волшебной сказки» в 1946 г. (хотя написана она была значительно раньше: в 1939 г. Владимир Яковлевич защитил докторскую диссертацию по рукописи этой монографии). Кратко свою задачу автор сформулировал на первых страницах книги: «Мы хотим <...> найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку»[20]. В. Я. Пропп рассматривал свою вторую книгу как логическое продолжение первой. Определив волшебную сказку и выявив ее единство через композицию, он приходит к выводу, что причина единства кроется в области ранней истории, т. е. ступени развития человеческого общества, которую изучают этнография и этнология. В 1966 г. в статье, отвечая К. Леви-Строссу на обвинение в формализме, которое он категорически отвергал, В. Я. Пропп пишет: «“Морфология” и “Исторические корни” представляют собой как бы две части или два тома одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый есть предпосылка второго <...>. Я, по возможности строго методически и последовательно, перехожу от научного описания явлений и фактов к объяснению их исторических причин»[21].

Закончив Предисловие, В. Я. Пропп записал в «Дневнике»: «Перечитал это предисловие и остался доволен. Я, несомненно, сильнее этого знаменитого француза Леви-Стросса, который пишет обо мне с таким пренебрежением. Только работать я не могу столько, как они, не могу быть на уровне того, что знают в Европе и Америке, потому что библиотеки наши не могут снабдить нас тем, что надо»[22].

Но в 1940-е гг. эта книга вызвала яростную критику и обвинения в антимарксизме, идеализме и протаскивании религиозных идей, а также приверженности буржуазным традициям. Огромную рецензию, зловеще озаглавленную «Против буржуазных традиций в фольклористике (о книге проф. В. Я. Проппа “Исторические корни волшебной сказки”)» публикует «Советская этнография» (1948, № 2). Авторы И. Дмитраков и М. Кузнецов, по-

---

[18] См. наст. изд. С. 398.

[19] См. также об А. А. Вознесенском: *Эльяшова Л.* Папа Вознесенский // Нева. 1998. № 10. С. 147–159.

[20] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 5.

[21] *Пропп В. Я.* Структурное и историческое изучение волшебной сказки. С. 214.

[22] См. наст. изд. С. 298.

луграмотные публицисты, в своей рецензии прежде всего «громят» основные теоретические положения статьи В. Я. Проппа «Специфика фольклора» за «мистику», «извращение и фальсификацию истинной картины общественных отношений», за то, что в своей работе он опирался «не на великого теоретика фольклора А. М. Горького, а на буржуазных ученых-идеалистов» и т. д., затем обрушиваются на монографию ученого, утверждая, что исследование имеет «откровенно-формалистический характер» (С. 230–239).

В течение февраля 1948 г. в Институте этнографии АН СССР были проведены заседания, посвященные обсуждению «недостатков и задач современной фольклористики». Критике были подвергнуты работы В. Я. Проппа, П. Т. Богатырева и теоретические положения трудов А. Н. Веселовского. 9 февраля на заседании выступил М. М. Кузнецов, зачитавший рецензию на книгу В. Я. Проппа. Рецензию обсуждали, и в процессе обсуждения были вскрыты «недостатки» как этой, так и других работ В. Я. Проппа, — как свидетельствует информация, опубликованная в «Советской этнографии» (1948, № 3).

И. И. Потехин, например, выразил сожаление, что «Проппа влечет не к Добролюбову, Чернышевскому и Горькому, а к идеалистам-позитивистам». В. И. Чичерев утверждал, что В. Я. Пропп «выхолащивает идейное наполнение» из народного творчества и отрицает его национальную сущность. С. А. Токарев посчитал, что автор рассматривает этнографические материалы «сквозь призму вульгарно-социологических взглядов». Решительнее всех были Е. В. Гиппиус, назвавший книгу Проппа «весьма вредной в методологическом отношении», и С. П. Толстов, квалифицировавший книгу как «антимарксистскую по концепции и методу исследования». Пропп не взял заключительного слова, никак не реагировал на критику до 1966 г., когда было написано предисловие к итальянскому изданию «Морфологии сказки». Пропп выдержал ругательную заказную критику, носившую не научный, а идеологический и политический характер. Пропп выдержал критику и остался на прежних позициях, не выдержало его сердце: он перенес обширный инфаркт. И разумеется, работы автора «антимарксистской книги» никто не решался печатать. За последующие девять лет ученый опубликовал лишь три статьи по фольклору, тезисы и статью о проблеме артикля в современном немецком языке.

А затем в свет выходит монография «Русский героический эпос» (Л., 1955; изд. 2-е, М., 1958). Поздравляя Владимира Яковлевича с изданием книги, я услышала: «Десять лет я писал и бросал в ящик стола. Если бы не Игорь Петрович Еремин (в ту пору заведующий кафедрой русской литературы ЛГУ. — *А. М.*), который приложил много усилий, чтобы книга была издана, она и теперь бы не была опубликована».

Фундаментальный труд В. Я. Проппа «Русский героический эпос» произвел огромное впечатление на современников. Мне запомнился такой эпизод: в 1955 г. кафедра русской литературы отмечала 60-летний юбилей В. Я. Проппа, когда уже вышла в свет его новая книга, и многие из присут-

ствовавших успели ее прочитать. Запомнилось, что атмосфера юбилея была радостной, приподнятой, праздничной, было море цветов и подарков.

Остались в памяти слова Г. П. Макогоненко о том, что, начав читать книгу, он не мог оторваться от нее, пока не дочитал до конца, и что она увлекательнее всех романов.

Студенты семинара решили сделать к юбилею подарок учителю, собрали немного денег и после долгих обсуждений — что подарить? — купили набор серебряных рюмок и на каждой выгравировали «ВП».

Выступавшие восторженно отзывались о трудах юбиляра и о последней монографии. От студентов выступала я, и когда окончилась торжественная часть, ко мне подошел Владимир Яковлевич и сказал: «Тоня, Вы выступили лучше всех!» Думаю, он похвалил мое выступление потому, что оно было самым кратким. А потом мы с А. Нутрихиным, в ту пору аспирантом Владимира Яковлевича, отвезли подарки и цветы на улицу Марата. И Владимир Яковлевич обратился к жене: «Елизавета Яковлевна, где там у нас бутылочка муската? И приготовьте рюмки, что подарили мне студенты!» И мы выпили муската, и я огорченно сказала, что все подарки были стилизованные, «фольклорные», только вот наш... — «Что Вы, это самый “фольклорный” подарок — серебряная чарочка», — живо возразил Владимир Яковлевич.

В монографии о русском эпосе В. Я. Пропп прежде всего определил жанр былин, отграничив их от духовных стихов, баллад, сказок, исторических песен.

Целью своей работы автор считал историческое изучение эпоса, которое должно состоять в раскрытии связи «развития эпоса с ходом развития русской истории и в установлении характера этой связи» (С. 18). И на этом пути первая задача состоит в том, чтобы, сопоставляя варианты каждого сюжета, понять замысел былины, выявить ее идею: «Раскрытие идеи есть первое условие исторического изучения былин. Народная идея всегда выражает идеалы эпохи, в которую эти идеи создавались и были действенны»[23]. Противопоставляя свою концепцию историзма былин концепции исторической школы, В. Я. Пропп пишет: «Взаимоотношения между эпосом и историей сторонники этого направления представляют себе чрезвычайно просто. Песни отражают, регистрируют события той эпохи, в которой они создавались. Эпос рассматривается как своего рода устная историческая хроника, подобная письменной хронике — летописи. <...> Отсюда — метод этой школы, сводящийся к проверке былины через летопись или другие исторические документы»[24].

По-новому решает Пропп и проблему происхождения былин как жанра, который возник из эпоса догосударственного. Об этом пишет Б. Н. Путилов: «Русские былины как исторически обусловленный этап в истории

[23] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. Л., 1955. С. 24.

[24] Там же. С. 13.

эпического творчества народов В. Я. Пропп исследовал на основе типологического сравнения с архаическим (по его терминологии, "догосударственным") эпосом народов Сибири и Крайнего Севера. Такое сравнение позволило ученому вскрыть в былинах сложный пласт архаики, объяснить его существование и его характер и, главное, прочитать былинные сюжеты, разгадать многочисленные загадки в них, объяснить специфику былинных героев, раскрыть особенности былинной поэтики, наконец, понять природу былинного историзма»[25]. Полемику со сторонниками исторической школы В. Я. Пропп продолжит в замечательных последующих работах: «Об историзме русского эпоса (ответ академику Б. А. Рыбакову)» (1962), «Фольклор и действительность» (1963), «Об историзме русского фольклора и методах его изучения» (1968). Но значение этих работ значительно шире — в них изложена пропповская концепция русского фольклора.

Четвертая монография В. Я. Проппа «Русские аграрные праздники» была опубликована в 1963 г. (2-е изд. Л., 1995). И вновь это был неожиданный, концепционный и дискуссионный труд, как и все книги В. Я. Проппа.

Во введении к монографии, определяя цель и методику работы, автор пишет, что ошибка предшествовавших исследований календаря состояла в том, что праздники изучались в отрыве один от другого: материалы одних празднеств не сопоставлялись с материалами других, в то время как каждый праздник может быть правильно понят тогда, когда будет изучен весь их годовой цикл. Изучая годовой цикл, сравнивая праздники между собой, В. Я. Пропп пришел к выводу, что частично они состоят из одинаковых элементов, иногда различно оформленных, а иногда тождественных.

О методике исследования *этнографического* (выделено мной. — *А. М.*) на сей раз материала автор напишет через три года в статье «Структурное и историческое изучение волшебной сказки»: «В книге "Русские аграрные праздники" я применил как раз тот же метод, что в "Морфологии". Оказалось, что все большие основные аграрные праздники состоят из одинаковых элементов, различно оформленных».[26] Применив в исследовании календарных обрядов, т. е. материала этнографического, структурный метод и обнаружив в них одинаковые элементы (составные части, слагаемые, по выражению В. Я. Проппа), автор поставил задачу: «<...> эти составные части необходимо определить, выделить и сопоставить»[27].

После смерти В. Я. Проппа были опубликованы две его книги: «Проблемы комизма и смеха» (1976) и «Русская сказка» (1984). Первая из них, не завершенная автором и подготовленная к печати его вдовой, Е. Я. Антиповой, — литературоведческая работа, построенная на материале художественной литературы и лишь отчасти на фольклорном и этнографическом. Книга еще не получила должной оценки. Здесь хотелось бы обратить вни-

[25] См. наст. изд. С. 390–391.
[26] *Пропп В. Я.* Структурное и историческое изучение волшебной сказки. С. 133.
[27] *Пропп В. Я.* Русские аграрные праздники. Л., 1995. С. 22.

мание лишь на некоторые аспекты исследования. И прежде всего, на метод исследования, о котором автор пишет, как и во всех своих работах, в начале книги. Пропп пишет, что его метод идет не от гипотез, а от скрупулезного сопоставительного изучения и анализа фактов к обоснованным через факты выводам: «Такой метод принято называть индуктивным»[28].

Вторoе, на что хотелось бы обратить внимание, — это авторский опыт систематизации смеха, опыт, к сожалению незавершенный. В книге много интересных и спорных положений о специфике комического, эстетике комического и др., которые ждут изучения.

И последнее, на чем хотелось бы остановиться, это оценка В. Я. Проппом Н. В. Гоголя: «Гоголь предстал перед нами как величайший из всех когда-либо творивших юмористов и сатириков, оставляя позади себя всех других как русских, так и нерусских мастеров»[29]. О Гоголе есть несколько записей и в дневнике ученого: «Сколько раз я читал “Ревизора”, но всегда могу читать снова и снова. Вчера открыл. Напал на место, которое читал как новое: Добчинский Марье Антоновне с поздравлением: “Вы будете... в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать”. Как я мог не заметить!»[30] Его любимые писатели, чтение которых доставляло чувство *острого счастья* (выделено мной. — *А. М.*): Л. Толстой, А. П. Чехов, Н. В. Гоголь и, конечно, А. С. Пушкин. Пушкина он читал всю жизнь, перечитывая «подряд и вразбивку». Пушкину посвящена последняя запись в его дневнике 30 июля 1970 г.: «Купил для дачи однотомник Пушкин. Я не могу прожить недели, не прикоснувшись к Пушкину». Но вообще Владимир Яковлевич к литературе был требователен так же, как и к научным трудам: «Я “высокомерен” по отношению к писателям в буквальном смысле этого слова — меряю на высокую мерку. Это выдерживают самые великие писатели, и только их и стоит читать. Их сотни, а всех остальных — десятки тысяч»[31]. Владимир Яковлевич считал, что Золя можно читать 2 раза — в юности и старости. Толстого можно читать 50 раз, также и Чехова. Романы Золя сделаны мастерски. Но вот Толстой. Не т<омов> 20, а всего только три романа. «И каждый образ, каждая строчка, каждое слово пережито всем существом и захватывает все существо своей внутренней правдой. Может быть только так, как изваял Толстой, и никак иначе»[32]. Гоголя, Чехова, Толстого он считал гениями, непревзойденными художниками. В 1967 г. записал в дневнике: «Литература никогда не имеет ни малейшего влияния на жизнь, и те, кто думают, будто это влияние есть и возможно, жестоко ошибаются. “Ревизор” не действовал на взяточников, а статьи и воззвания Толстого о смертной казни не остановили ни одного убийства под видом казни, а у нас каз-

[28] *Пропп В. Я.* Проблемы комизма и смеха. М., 1976. С. 5–6.
[29] Там же. С. 6.
[30] См. наст. изд. С. 319.
[31] См. наст. изд. С. 319.
[32] См. наст. изд. С. 321.

нены уже миллионы, а палачи возведены в газетах в герои. Юбилей ГПУ — с музыкой и спектаклями, а те, кто видел наши застенки (я видел и кое-что знаю)[33], только и могут, что сидеть по углам и быть незаметными. Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья. И Гоголь велик не тем, что осмеивал Хлестакова и Чичикова, а тем, *как* он это делал, так, что мы до сих пор дышим счастьем, читая его. В этом все дело, не в том, *что*, а в том, *как*. А счастье облагораживает, и в этом значение литературы, которая делает нас счастливыми и тем подымает нас. Чем сильнее поучительность, тем слабее влияние литературы. Самые великие никогда не поучали (даже хотели этого), они были»[34].

Монография «Русская сказка» (Л., 1984) после кончины Владимира Яковлевича была подготовлена к печати вдовой В. Я. Проппа — Е. Я. Антиповой. Издание предваряет статья К. В. Чистова, раскрывающая концепцию книги и ее роль в развитии мирового сказковедения. По мнению К. В. Чистова, в основе книги — специальный курс о русской сказке, прочитанный Проппом в первой половине 1960-х г., а написана монография позднее, когда Пропп стал признанным ученым. Это так, но материалы фонда, хранящиеся в ИРЛИ, свидетельствуют, что еще в 1930-е г. В. Я. Пропп совместно с Н. П. Андреевым подготовил раздел «Сказка» для трехтомника «Русский фольклор». Раздел состоял из 7-и глав, большая их часть принадлежит В. Я. Проппу. И это позволяет сделать вывод, что спецкурс был подготовлен на основе монографического исследования 1930-х гг. всего состава сказочного эпоса, исследования, содержащего пропповскую концепцию происхождения, развития и бытования русской сказки[35].

В архиве несколько сотен писем к Проппу, а его писем немногим больше 30. Не хотят, не могут его адресаты передать письма в архив, берегут как дорогую память. Каждый человек, кому посчастливилось общаться с Проппом, знал, чувствовал, что он видит в собеседнике личность, которая интересна ему. В одном из своих писем он писал: «Ценность человека определяется не его делами, а тем, что он из себя представляет. Есть академики, которых я презираю, и есть самые обыкновенные люди, с к которыми мне легко и хорошо, потому что это настоящие люди».[36] В понятие настоящего человека В. Я. Пропп включал прежде всего моральные, этические качества, отсутствие эгоизма, способность любить и делать добро.

Дневник писал уже старый больной человек, а между тем слова и выражения: «цветение души», «радость бытия», «счастье» — пронизывают дневник от начала до конца. В нем нашли отражение часы, дни и недели

[33] См. наст. изд. Примеч. 84 на с. 316.

[34] См. наст. изд. С. 316–317.

[35] См. об этом подробнее: *Мартынова А. Н.* Предисловие к изданию трудов В. Я. Проппа // *Владимир Пропп.* Поэтика фольклора. С. 17–18.

[36] См. наст. изд. С. 211.

усталости, переутомления, депрессии, но Владимир Яковлевич всегда находил силы преодолеть это состояние. И вновь он записывает: «И опять я преисполнен жизнью настолько, что меня грозит это разорвать. Я томлюсь неизъяснимым счастьем жизни»[37]. Счастье доставляла Владимиру Яковлевичу работа. В декабре 1967 г. он писал: «Вчера закончил "Морфологию". Было 4 месяца счастья умственной деятельности»[38].

Счастье доставляла музыка. Шуберт, Бетховен, Моцарт — любимые композиторы ученого. Музыке он учился в детстве, затем прервал занятия с гувернанткой. Но позднее учился в музыкальной школе и самостоятельно продолжил занятия. И в молодости даже выступал в публичных концертах. «Пребываю в музыке, труде и счастье. Когда играю, сердце заполняется так, что не могу продолжать, иду к окну и хватаюсь за занавеску. <...> Бетховен — III и V концерты, увертюра "Леонора" № 3 — я весь охвачен, это мой мир. Я не имею таланта выразить себя, но Бетховен меня выражает. Я существую по-настоящему». Или: «Моцарт — это счастье. Счастье в ликовании и счастье в слезах. Органическое душевное благородство и чистота и значительность при всей простоте»[39].

Счастье доставляло общение с природой. Он мог подолгу сидеть на берегу залива, опушке леса, слушая и наблюдая природу и радуясь ей. «Я активно ничего не делаю, разве что крашу свою замечательную легкую лодочку, выезжаю на ней на озеро и гляжу на закат — больше мне ничего не надо»[40].

В этой связи понятно увлечение Владимира Яковлевича фотографией. Большинство его снимков хранятся в ИРЛИ, и они говорят о развитом художественном вкусе, о таланте художника-фотографа, его умении выбрать объект, показать прелесть, очарование группки березок, одинокого дерева на пригорке, зимней лесной дороги.

Один из источников жизненного счастья В. Я. Проппа — живопись. И прежде всего, русская иконопись. «Я всегда знал, что это искусство прекрасно. Но оно не просто прекрасно, это высшее искусство мира», — записывает он в дневнике. И еще: «Для меня это (иконы. — *А. М.*) — самое современное, самое актуальное мое искусство. Я не спешу и не думаю о веках и школах, я пью это искусство и упиваюсь»[41]. Его любимыми русскими живописцами были, прежде всего, Васильев, гениальность которого он неоднократно подчеркивал в дневнике и письмах, Нестеров, Саврасов, Врубель. О Нестерове: «Я помню, какое глубокое счастье в юности возбужда-

---

[37] См. наст. изд. С. 308.

[38] Речь идет, вероятно, о новом английском переводе: *Propp V.* Morphology of the Folk-tale. Second Edition, Reversed and Edition with a Preface by Louis A. Wagner, New Introduction by Alan Dundes, «University of Texas Press», Austin; London, 1968.

[39] См. наст. изд. С. 320.

[40] См. наст. изд. С. 198.

[41] См. наст. изд. С. 326.

ли его картины: "Юность преподобного Сергия", "Великий постриг". Это просветленная религиозность, какой жил я в годы юности... "Пустынник" принадлежит к лучшим не только русским, но и мировым картинам: он понял и увидел чутьем в России такое, что до него не видел никто»[42]. И неожиданно читаешь: «Нестеров ничтожный человек... Он жил только в своем живописании. Ничего другого у него в жизни не было». Ничего — это значит любви к детям, семье, ученикам, стремления поделиться своими знаниями с другими.

С юности и до смерти он восхищался живописью Врубеля, не только живописью, но и личностью художника, его любовью к жене, оперной певице Н. И. Забеле: «...50 спектаклей "Садко", и всегда он ее слушает... Любовь к жене есть только проявление великой любви художника ко всему, что сотворено»[43].

Владимир Яковлевич очень любил свою семью, своих детей. Он был женат дважды. И не его вина, что первый брак оказался неудачным. От первого брака у него было две дочери, которых он любил нежно, помогал морально и материально. От второго брака — сын, к которому он был глубоко привязан и которым гордился. И еще у него были десятки учеников, которым он помогал даже тогда, когда они выходили на самостоятельную дорогу. 4 ноября 1965 г. он записал в дневнике: «Тот, кто думает о любимом или близком или добром человеке хотя малейшее худое, терпит наказание в самом себе, потому что теряет этого человека, теряет то святое, что соединяет его с ним. Ну а если действительно есть худое? <...> Тогда надо сказать: да, я и это беру в тебе, и ничто не может затемнить того света, в котором я тебя вижу и знаю. И станет тебе легко. И святое не будет потеряно. А без святыни жить нельзя»[44].

Более тридцати лет работал в ЛГУ В. Я. Пропп. Сам он выразил свое отношение к этой работе следующими словами: «Когда в 1937 г. меня пригласили в ЛИФЛИ (впоследствии филологический факультет университета), я и не подозревал, какая счастливая звезда привела меня сюда, в это здание. Я не знал еще тогда, а теперь знаю, какое это счастье — работать в Университете»[45]. Но и для филфака ЛГУ было большой удачей и счастьем — работа В. Я. Проппа. В эти годы на факультете работало много замечательных ученых, прекрасных профессоров и доцентов, талантливых лекторов, о которых с благодарностью и теплотой вспоминают бывшие студенты и аспиранты. Но В. Я. Пропп занимает в этих воспоминаниях особое место. Не раз приходилось наблюдать, что даже у людей, прослушавших лишь общий курс по фольклору на первом курсе, при упоминании фамилии Владимира Яковлевича теплеют глаза и появля-

[42] См. наст. изд. С. 323.
[43] См. наст. изд. С. 294.
[44] См. наст. изд. С. 313.
[45] См. наст. изд. С. 361.

ется мягкая улыбка. Я не смогла бы определить источник его обаяния и облагораживающего воздействия на людей, если бы сам Владимир Яковлевич не нашел эти слова, отнеся их к академику С. Ф. Ольденбургу: «С<ергей> Ф<едорович> обладал качеством, которое я не могу назвать иначе, как большая культура сердца»[46].

Эти слова вполне могут быть отнесены к самому Владимиру Яковлевичу. Они вмещают в себя очень многое и, прежде всего, высокую требовательность к себе, чистоту души, богатейший внутренний мир, потребность оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Хороший пианист и тонкий ценитель серьезной музыки, прекрасный фотограф, глубокий знаток древнерусского искусства, русской живописи и литературы, Пропп щедро делился с учениками, близкими ему людьми своими личными открытиями, впечатлениями в разных областях искусства.

Все, кто знал Владимира Яковлевича, отмечают, что он обладал тонким юмором. Нельзя сдержать улыбку, прочитав в «Дневнике» об одном обсуждении диссертации в Пушкинском Доме. «<...> Фридлендер с необыкновенной ловкостью не сказав о книге ничего, очень убедительно и умно хвалил ее. Для меня такая виртуозность совершенно таинственна»[47]. Или о выдвижении его в Берлинскую академию, о чем он сообщал в письме к другу в 1963 г.: «Меня хотят выбрать в Берлинскую Академию наук. Что ж, очень хорошо со стороны берлинцев и очень похвально. Я от этого не стану ни умнее, ни лучше. Вспоминаю слова Ариадны у Чехова: “Что ни говорите, а в титуле есть что-то обаятельное”, вследствие чего она выходит за князя Мактусова»[48].

В 1966 г. ЛГУ выдвинул Владимира Яковлевича Проппа в члены-корреспонденты АН СССР. Никакой суетности и волнения не проявил и в этом случае В. Я. Пропп. В другом письме В. С. Шабунину он пишет: «На большом Ученом совете я получил 58 голосов, против голосовало 4. Но в Москве я не пройду, т. к. хорошо известно, что я критикан и человек беспокойный и нежелательный»[49]. Как ни странно и горько теперь это осознавать, но великий ученый не был избран ни в одну академию.

Обаяние личности Проппа испытывали на себе все, кто его знал. Особенное внимание проявлял он к своим ученикам. И письма к нему его студентов и аспирантов, всех, кто признавал его своим учителем, — свидетельство уважения и любви к Учителю. Это письма К. Е. Кореповой, Н. А. Криничной, А. Н. Мартыновой, М. П. Чередниковой, И. И. Земцовского, Л. М. Ивлевой,

---

[46] См. наст. изд. С. 360.

[47] См. наст. изд. С. 298.

[48] Пропп цитирует по памяти, точная цитата: «Что ни говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное». См.: *Чехов А. П.* Ариадна // Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1974–1983. Т. 9, 1977. С. 112. Князь Мактуев сватался к Ариадне, но получил отказ.

[49] См. наст. изд. С. 250.

Ю. Пантелеевой, А. И. Нутрихина, О. Н. Гречиной, И. П. Лупановой, М. С. и Н. А. Бутиновых и др.

Владимир Яковлевич много лет мечтал поехать в Новгород, Ярославль и другие города, чтоб воочию увидеть великолепные храмы. Но удалось ему съездить лишь в Карелию. Первую поездку в Кижи он совершил в 1962 г. на экскурсионном пароходе. Глядя на кижский храм с борта парохода, В. Я. Пропп был восхищен. Он записал в дневнике: «Он лучше, чем все, что можно было о нем думать по снимкам. ...Я думал, что он перегружен, упадочен, барочен. Но он, прежде всего, удивительно строен. Главки не выпячиваются, а смотрятся на фоне всего сооружения. Можно плакать от счастья. Только люди на земле могли создать такое. Ни один город это не может»[50]. Второй раз на острове Кижи В. Я. Пропп побывал по приглашению своей студентки, теперь доктора филологических наук, Н. А. Криничной. Он гостил в семье Н. Криничной несколько дней, выезжая с ней на лодке в окрестные деревеньки, фотографируя часовенки и церквушки. Побывал он и в Кондопоге, чтоб увидеть знаменитую шатровую церковь. Это было счастье. Еще и потому, что в последние годы жизни, как и в юности, Владимир Яковлевич увлекся древнерусским искусством: русской иконописью и архитектурой православных храмов. В его коллекции хранились тысячи изображений (фотографий, репродукций) икон, соборов, церквей, часовен. Свою работу он намерен был начать с систематизации форм православных храмов. Об этом есть запись в его дневнике: «А теперь я увлечен древнерусским искусством. И опять я вижу единство форм русских храмов, вижу варианты, нарушения, чуждые привнесения. Эта форма проста до чрезвычайности. Но почему она так волнует, так трогает, так делает счастливым? Смотрел по разным источникам готические храмы. Какое великолепие! Но нутро мое молчит, восхищается только глаз»[51].

На первой странице дневника В. Я. Проппа рядом со словами: «Дневник старости. 1962–196...» пером нарисована горящая свеча и склоненная над ней поникшая веточка. Этот символ — горящая свеча — проходит через всю жизнь Владимира Яковлевича. Когда-то в юности в православном храме любимая девушка вложила ему в руку горящую свечу. В старости маленькую свечу он ставил себе на письменный стол и зажигал ее. Эти символы: «свет», «огонь», «горение», «душевный пожар» — пронизывают и дневник последних лет его жизни. Свет души замечательного ученого и человека, огонь вдохновения и творчества не может не зажечь ответной искры в душе читателя его трудов.

В Приложении мы поместили воспоминания учеников и коллег Владимира Яковлевича Проппа.

А. Н. Мартынова

---

[50] См. наст. изд. С. 290.

[51] См. наст. изд. С. 327.

В. Я. Пропп

«Радуюсь счастью бытия»



Древо жизни

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Кто может сказать, когда начинается жизнь человека?

Федина жизнь началась вовсе не тогда, когда он родился. О своем рождении он не имел никакого представления и впоследствии не мог вспомнить об этом событии ровно ничего, как он ни старался. Приходилось заключать по аналогии (а такие заключения, как известно из курса логики, не являются достоверными), что он действительно родился. Впрочем, достоверность этого факта не оставляла никакого сомнения, т<ак> к<ак> подтверждалась огромным листом бумаги, где факт его рождения был скреплен государственной и церковной печатью[1]. Жизнь же его началась четыре года спустя, когда он увидел огромный красный подосиновик.

Дело это происходило так.

Он — в лесу, за рекой. Трава немножко сырая и пахнет мохом. Мама держит его за руку и бранит его. Он такой большой, а все еще любит ходить за ручку. Он слушает и шагает, но маминой руки не выпускает. Или это мама сама не выпускает его нежных пальчиков?

Но вот он вырывает свою еще пухлую ручку, бежит вперед и теряет белую шляпку. Там, под осиной, засверкало чудесное: засверкал гриб — красный, огромный подосиновик. Он срывает подосиновик и бежит назад.

— Мама, мама, смотри, ein Pilz![2]

---

[1] Владимир Яковлевич Пропп родился 16 апреля 1895 г. и был крещен в евангелическо-лютеранском приходе Св. Анны. При крещении наречен Герман Вольдемар.

[2] Ein Pilz — гриб (*нем.*).

Бедный мальчик! Он с мамой говорит по-немецки, а с другими — по-русски и иногда путает языки. Да, несчастный... Может ли быть скучнее судьба, чем родиться немцем, евреем или поляком в великодержавной России? Какое великое государство и какие добрые, хорошие люди в нем живут! К счастью, Федя родился не остзейским бароном (что было бы уж совсем скверно), а сыном саратовского колониста, который служил доверенным С.-Петербургского отделения торгового дома братьев Рейхерт, поставлявшего муку во все немецкие булочные столицы[3]. В силу такого происхождения в свидетельстве о рождении и крещении sub fide pastorali[4] значилось, что восприемницей его была Гертруда Вильгельмовна Янковская, жена булочного мастера[5]. Frau[6] Янковская, Федина восприемница, в тот день, когда началась Федина жизнь, находилась тут же в лесу и дышала свежим воздухом. Федя уже знал, что она булочница, а также что она — настоящее чудо. У нее целых два подбородка, волосатая бородавка около уха, и когда она выходит подышать, она сопит, и это называется астмой.

— Вот молодец! Смотрите-ка! Да ведь это не гриб, а настоящий зонтик!

Федя гордится: вот какой гриб, настоящий зонтик!

Теперь он уже не держится за мамину руку. Он обходит каждый пень, шарит в папоротниках и кустах: нет ли еще грибов? Но красных нет. Есть тонкие-претонкие, на шатких ножках, бесцветные грибы, которых почему-то жалко. Но они еще больше похожи на зонтики, и он их собирает. Он несет их маме и хочет положить их в передник.

— Нет-нет, этих мне не надо. Это поганки. Их очень любит Frau Янковская. Поди, снеси ей, она очень любит поганки.

Федя несколько удивлен, что она любит поганки. Раньше он слышал, что поганки ядовиты и что их нужно выбрасывать в ведро. Но, впрочем, если у нее астма, то, конечно, она может любить и поганки.

---

[3] Отец Проппа — Иоанн Яков Пропп (ум. в 1919), выходец из поселян-собственников немцев Саратовской губернии, являлся потомственным почетным гражданином; представителем Торгового дома «Бр. Шмидт» (с 1914 г. — Управляющий Санкт-Петербургским отделением торгово-промышленного товарищества «Бр. Шмидт»); казначеем Общества для распространения коммерческих знаний; товарищем председателя Арбитражной комиссии при Калашниковской хлебной бирже; казначеем Комитета фонда вспоможения нуждающимся бухгалтерам и их вдовам и сиротам.

В 1900-е гг. в Санкт-Петербурге существовала галантерейная (а не мукомольная) фирма «Ф. А. Рейхардт», но отец Проппа работал в Торговом доме «Бр. Шмидт», поставлявшем на рынки хлеб, зерно и муку. «Отец всю жизнь прослужил в торгово-промышленном предприятии "Братья Шмидт"», — писал В. Я. Пропп в своей автобиографии (см.: РО ИРЛИ, ф. 721, оп. 1, № 180, л. 1).

[4] sub fide pastorali — под пасторским заверением (*лат.*).

[5] Восприемниками Проппа при крещении значились: жена булочного мастера Елисавета Янковская, купец Герман Аменде, булочный мастер Генрих Лемке (РО ИРЛИ, ф. 721, оп. 1, № 181, л. 1).

[6] Frau — женщина (*нем.*).

— Вот, нате, мама сказала, что вы их любите.

Frau Янковская пронзительно визжит: это она так смеется.

Так началась жизнь. Она началась с гриба, который одновременно был зонтиком, и продолжалась тысячью фантомов. Фантомы, нанизанные на нить дней и часов, приходили и уходили. Вот у моста купают лошадей: они выходят из воды черные и блестящие; эти лошади — не лошади, это — необыкновенные звери из лакированного железа, которые могут его, Федю, съесть.

Вот канава. Растет трава зелеными пучками. Если вырвать такой пучок и выполоскать корни в воде, то это уже не корни. Это — волосы. Шелковистые, белые волосы неземных существ.

Глаза пробуют посмотреть на солнце. Но солнце слепит. А если закрыть глаза, ослепленные солнцем, то перед взором прыгают тысячи круглых облаток: лиловых, зеленых, красных, желтых. Они пляшут, сходятся и расходятся. Если открыть глаза — то они пляшут уже на стене. Эти облатки потом продаются и служат для наклеивания картинок.

Он видит то, чего никто не видит, а то, что видят все, для него незримо.

Незримы мама и папа. Мама — это юбка, за которую можно держаться. Мама — это шершавая рука, которая водит по его лицу. Больше никакой мамы нет. Он не знает, что у нее — маленькие добрые глаза, серое платье, белый передник, которым накрыт толстый живот.

Папа — существо совсем необыкновенное. Он ест арбузы с солью, и если нет соли, то он не может есть арбузов. Вот кто такой папа. Но когда нет арбузов — нет и папы. Если папа не приезжает три-четыре дня, или даже неделю, Федя этого не замечает. Но он замечает капельки росы на траве, он замечает хвосты и уши у поросят, веревочку, он подбирает шишки в лесу, веревочки, соломинки, камушки. Все это — вестники каких-то тайн. И сам он — вовсе не Федя. Смотря по обстоятельствам он может быть паровозом, собакой и даже целой тройкой лошадей.

Кроме папы и мамы есть у него сестра Нелли[7] и брат Боба[8]. Нелли — тоже не Нелли... Нелли уже шесть лет. Она катает по дорожкам колясочку с куклой. Она любит катать ее тихо, чинно. Нелли — сестра. У нее две косички с бантиками, и волосы смазаны репейным маслом.

Весь мир для него двоится. Он не умеет сказать, что есть два мира, что каждая вещь может обернуться. Он сам — оборотень, и Нелли — оборотень. Вдруг он замечает, что у Нелли сапоги на пуговках, а у него — на шнурках. Нелли — это пуговка, но и пуговка может быть Нелли.

Вот брусника. Рука тянется сорвать красную ягодку. Но с земли вылетает птичка. Федя тянется за птичкой.

---

[7] Прототипом Нелли могла стать старшая сестра Проппа — Элла Яковлевна Пропп.

[8] Прототипом Бобы скорее всего являлся старший брат Проппа — Роберт Яковлевич Пропп.

Он непостоянен и перебегает от одной вещи к другой, вернее — вещи пробегают мимо него, приходят вдруг из ничто и уходят в ничто.

Это ничто есть здешнее. Мама — ничто, всегда — там, ее еле слышно, и никогда не видно. Там же папа, кроме его пальцев, которые похожи на маленькие колбаски, и кроме тех дней, когда он ест арбузы с солью. И там же — брат Боба, которому уже целых восемь лет, у которого свой стол и свои книжки. Боба начинает существовать только тогда, когда братья дерутся. У Бобы есть красные и синие карандаши, и Федя их уносит. Он не понимает, что карандаш есть принадлежность Бобы: увиденный карандаш уже есть сам Федя, и спрашивать «можно?» — Федя не умеет. Если есть карандаш — его надо взять. Поэтому Федя нетерпелив, неуступчив и зол, когда встречает препятствия. Когда он встречает препятствие, он кричит. Этот крик — не простой крик. Из чаши жизни Федя пьет вино — всегда пьянящее. Препятствий нет, не может быть, и маленькие кулачонки, зубы хотят разорвать Бобу. Потому что от препятствий Федя перестает быть: он нашел на полу стеклянную бусу и стучит по ней молотком — он весь в молотке; как не может быть препятствий, так не может быть меры. Весь мир — в молотке, и этот мир — он сам, он растворен в молотке без остатка. И вдруг отнимают молоток — и вдруг рушится весь мир. Он рушится вовсе не по-игрушечному. Он рушится по-настоящему, навсегда, безоговорочно и безмерно. Случилось страшное, непоправимое несчастье: только неистовый вопль может быть ответом на эту катастрофу.

Боба — мальчик разумный. Он говорит: «Ты сделаешь себе бо-бо. Дай сюда молоток!»

Но если бы Федя был большой, он бы ответил: «А ты слыхал про землетрясения? Так вот, со мной пятьдесят раз в день бывают землетрясения».

Кто сказал, что детство — самая счастливая пора жизни? Это — самая ужасная, самая несчастная пора жизни человека, потому что эта пора состоит из тысячи смертей.

К счастью, время, столь жестокое к большим, бывает милосердно к детям. На том же полу, где лежал молоток, оно открывает Феде щелку и дает ему в руку коробку спичек. Спички втыкаются в щелку и образуют забор. Нет, не забор. Они образуют волшебный сад, они образуют замок, они образуют мир. Глаза, полные слез, смеются, и щеки, на которых висят соленые капли, выражают блаженство.

Если посмотреть в Федины глаза — а глаза у него большие, коричневые, — то в этих глазах можно утонуть. В них — удивление, бесконечное удивление перед тем, что им является. И второе — в них вера, доверие, в них нет обмана. Обман явится попозже. Обман — заразителен. Зараза идет от больших, они первые начинают.

Есть в мире один предмет, который играет в жизни Феди огромную роль. Этот предмет — паровоз. Дача — у самой станции, и паровозы Федя видит ежедневно. Они, с дымом и свистками, воплощают самое большое счастье, какое только может быть. Но они же — ужасны, таинственны, если

подойти к ним поближе. Их свист оглушает. Когда за обоями скребется мышь, то это уже шум, такой громкий, что ничего другого не слышно. Но когда свистит паровоз — то это уже не звук, не шум, это нож, разрезающий Федю пополам. От свистка можно взорваться и умереть. И потому, когда Федя бывает на станции, он при виде паровоза уже издали затыкает уши. Все смеются над маленьким трусом. Но разве они могут понять?

И вот он опять на досках платформы, где пахнет дегтем и маслом. Солнце печет. Он держится за мамину юбку.

— Вот поезд. Видишь? Он еще далеко. Но ты не затыкай ушей. Он сегодня не будет свистеть.

— Не будет?

Федя не умеет не верить. Но где-то копошится недоверие, Федины глаза уже не так ясны, как всегда.

Он со страхом смотрит на чудовище, которое все приближается и приближается. Это — скорый поезд, который не остановится. Вот он совсем близко. Вот загудели рельсы. Вот затряслась платформа. Вот уже слышен ужасный грохот. Пронзительный свист разрезает воздух. Федя, как сноп, падает на платформу. Глаза его закрыты, и лицо бледно, как снег.

Сбегаются люди. Мама испуганно трясет его за плечо.

— Это ничего. Просто очень чувствительный мальчик.

Федя открывает глаза и видит себя в объятиях мамы, а кругом стоят все чужие. Некоторые смеются, а один старый, в очках, недовольно качает головой.

— Ничего не случилось. Какой странный ребенок!

Чужие уходят, оглядываясь на странного ребенка.

— Что это случилось с тобой?

— А зачем ты сказала, что он не будет свистеть?

Свисток как разорвал Федю. Он встал, как будто целый, он уже не целый. Части не сходятся так, как прежде. В глазах появляется недоверие.



Бывает зима, бывает лето. Но Федя этого не знает. Бывает город и дача. Это уже более понятно. Город — это прежде всего коридор, широкий коридор, по которому можно бегать и по которому бегают все — он, Нелли, Боба, даже няня.

Город — это окна. На стеклах растут хрустальные папоротники, лилии. Поэтому Федя скажет, что он был в лесу, а Боба ответит:

— А ты не ври.

Но он не врет. Он на дворе ловит снежные звездочки. Двор большой, и в нем растут деревья: каштаны, яблони, тополя. Каждое дерево обнесено зеленым заборчиком с белыми верхушками. Однажды вечером из-под пальто Бобы посыпались солдаты: он спилил верхушки с заборчиков; на каждой верхушке была острая белая шапочка.

Он и Нелли гуляют с няней. Они гуляют в церковном садике у самой Невы.

Но однажды прогулка началась странно. Как только захлопнулась дверь, няня вынула из кармана две хлопушки с конфетой. На каждой конфете была наклеена картинка.

— Вот вам. Сегодня мы не пойдем в садик. Мы поедем через Неву, только молчите, маме ничего не говорите. Если мама спросит: «Где вы были?» — то вы говорите: «Мы были в церковном саду».

Хлопушки не хлопали, а конфеты были невкусные, мучные.

Но через Неву поехали на санках. Кто-то большой и толстый пыхтел за санками. Санки скользили по синей ледяной дорожке, обсаженной елками. Навстречу неслись такие же санки. В них сидели дамы в шляпах, дети и мужчины с тросточками. Впереди тоже бежали санки, и кривоногий человек с зеленым шарфом коньками стучал о лед: от этого санки и двигались.

Эта дорога вела в другой мир. Этот другой мир назывался очень странным словом, он назывался: Охта.

Да, разве в этом мире бывают такие деревянные скрипучие лестницы? Такие двери, обитые лохмотьями? Такая вонь? Такие низкие и темные комнаты?

В комнатах сидят очень странные и страшные люди с большими усами, а один — с бородой и красным шарфом. Такие бывают извозчики или дворники. Только дома они — не страшные. А здесь они — страшные. Это и называется Охтой. Они сидят за столом и что-то очень страшно делают ножами. На стене висят бумажные веера. Лица сверкают сквозь дым. На столе — рюмки и бутылки. В рюмки наливают чистую, белую воду, отрезают хлеб такими толстыми кусками, что надо ужасно широко раскрывать рты, чтобы засунуть хлеб за зубы. Да, они все ужасно широко раскрывают рты и суют туда хлеб, огурцы и селедку. Они смеются сквозь дым и пар, и Феде кажется, что это — разбойники. Когда они пьют воду, они опрокидывают голову назад, рюмкой хлопают о стол и ужасно кряхтят.

— Няня, что они делают?

Но няня уже совсем не няня. Она тоже ужасно широко раскрывает рот, дергает плечами, вытирает рот рукавом, и она вся красная. И разбойники тоже все красные. Дома она никогда так не дергает плечами и не бывает такая красная.

Делается что-то странное. Феде кажется, что все начинают прыгать головами, а няня страшно визжит и хохочет.

Обратно уже не ехали на санках. Шли по мосткам; было темно, и далеко, очень далеко сверкали городские огни. Дома мама спрашивает:

— Где вы были?

Няня едва заметно мигает.

— Мы были в церковном саду.

— И что же вы там видели?

— Мы видели красных разбойников.

— Что?

— Мы видели Охту.

Постепенно обнаруживается все. Дети еще не умеют лгать, даже за конфетку. Они даже не понимают, отчего няня плачет. Ведь они сказали, что были в церковном саду, как она учила их говорить.

Так подрастал Федя...



Когда ему исполнилось 5 лет, мама решила, что его надо учить грамоте.

Мама сама была не очень грамотна, но Федю решила учить сама. Ему дали тетрадь и букварь, на обложке которого был нарисован петух.

Теперь надо было в тетради выводить палочки. На каждой строчке была напечатана палочка, и эту палочку надо было изображать. Были палочки прямые, косые, тонкие, толстые, круглые. Потом начались буквы.

Но до букв еще не дошло, когда произошло небольшое событие, которое, однако, составило в жизни Феди эпоху.

Писание палочек началось летом, на даче.

Можно ли выводить палочки, когда растет трава?

Утром тетрадь и книга как-то сами собой исчезли: они скользнули под скатерть в передней. Там лежали фуражки и шляпы, столик был накрыт небольшой скатертью, вышитой мамой. Вот под эту скатерть с голубыми звездочками как-то сама собой скользнула тетрадь, а за ней заодно и книга.

Федя, неестественно насвистывая (никогда раньше он не свистел), очень медленно, ступенька за ступенькой, спустился в сад и прошел в самый дальний угол, где у забора росли георгины. Георгины были красные и желтые. Они приходились как раз в уровень его лицу.

Вдруг на верхнем балконе раскрылось окно.

Мама, красная от кухонного жару, повязанная платком и с поднятыми по локоть рукавами, высунула голову в окно.

— Федя, komm lernen.

— Ich kann nicht.

— Warum?

— Das Heft verloren[9].

Голова исчезла. Мама была не очень строга, когда на кухне ждало тесто. Она позовет его еще раз минут через десять. Сейчас ей некогда.

Федя продолжает рассматривать георгину, большой, пышный цветок. Солнце печет, ветра нет, кругом такая тишина, что он слышит стук своего

[9] — Федя, пойдем учиться.

— Я не могу.

— Почему?

— Тетрадь потерял (*нем.*).

сердца. Солнце падает прямо на его короткие волосы. И вдруг с георгиной происходит странное превращение: она смотрит на него. Она знает, что он сказал ложь, что он солгал первый раз в жизни. Но она не только не укоряет его, она делается еще в тысячу раз красивее. Она становится невиданным, райским цветком, тяжелым от красоты. И еще: эта красота — *потому что* он солгал, она цветет его лжи.

Сколько времени длится наваждение, он не знает. Он тяжело вздыхает и подымает глаза. Он видит, что георгин много, и все они смотрят на него. Он подымает голову. Тонкая ветка березы свисает, и, как сквозь кружево, он видит сквозь силуэты листьев небо. Ни один лист не шевелится. В первый раз губы шепчут:

— Как красиво!

У Феди будто открылись глаза. Кажется, что он ходит в заколдованном саду. Еще минуту назад сад был очень обыкновенный, а теперь он совсем другой. Медленно, медленно он идет по дорожке к калитке, открывает ее и останавливается у забора. Он прикладывает голову к забору, один глаз он закрывает рукой, а другим смотрит вдоль ровных колышков ограды. Что это? Забор, который был совсем небольшим, вдруг делается длинным-предлинным. В глазах начинает рябить. Странная вещь: забор не кончается. Он чем дальше, тем делается все меньше и меньше, но конца нет. А что, если он взаправду никогда не кончится? Что, если Федя вечно, вечно так будет стоять и не сможет уйти? И вдруг сквозь все существо его проходит что-то вроде воспоминания. Все это когда-то уже было. Со страшной ясностью он вспоминает: да, и георгина, и книга с петухом, и балкон, на котором вдруг открывается окно, — все это ясно-преясно уже один раз было. Но когда?

Секунду — только секунду — длится страшная мука. Нет, не вспомнить.

Федя отходит.

В этот день он учиться не будет. Пусть его бьют, колют, режут, пусть делают с ним, что хотят, сегодня он учиться не будет.

II

Федя растет. Теперь ему уже лет восемь. Мама находит, что он мальчик хороший. Он спокойный, послушный, вообще — пай-мальчик. Только он глядит как-то странно и любит задавать странные вопросы:

— А что думает петух?

— Почему у лошадей нет рук?

Он боится темноты, боится грозы. Грозы он перестал бояться только тогда, когда ему сказали, что гром бывает оттого, что господин Янковский (который умер давно) на небе катает белье.

Но хотя он хороший мальчик, он не воспитан. Мама понимает, что она не умеет воспитывать. Поэтому Федя бывает иногда нетерпелив, он непоседа и как-то странно иногда врет.

Надо взять воспитательницу. Пусть она будет учить детей по-немецки и по-французски и играть на рояле, пусть она научит их хорошим манерам. Она будет учить Федю и Нелли и будет и Бобе помогать учить уроки.

Дети стали ожидать великого события.



Великое событие совершилось в теплый весенний день, когда со двора струился нежный запах расцветающей яблони.

Дети ждали звонка. И вот звонок раздался. В дверях показалась фигура. Иначе ее никак нельзя было назвать. Это было что-то очень длинное, высокое, с огромной соломенной шляпой, на которой колыхались две красные розы. В руках был чемодан, а сзади показалась бородатая рожа извозчика, который нес что-то огромное вроде сундука.

— Здравствуйте, детки. Надеюсь, мы не будем с вами ссориться.

Фигура подошла к зеркалу и стала вынимать из самой головы — как показалось Феде — длинные-предлинные булавки, одну за другой, и осторожно втыкать их в висящий под зеркалом прибор.

Потом осторожно была снята шляпа и положена на стол. Показалась голова, совершенно невероятная по своей огненности. Дети переглянулись и поняли друг друга.

Рыжая!

Потом была снята мантия, и из-под мантии показалось лимонно-желтое платье с васильками. Был брошен еще долгий взгляд в зеркало. Дети смотрели туда же и опять переглянулись.

Веснушки!

Началась новая жизнь, совершенно новая и — ужасная.

Когда из сундука были вынуты платья, рубашки, носовые платки, фотографии и тысячи других вещей и все это было расставлено по шкафам, комодам, этажеркам, ящикам и другим многочисленным местам, Рыжая подозвала к себе Федю.

— Подойди-ка сюда! Покажи руки. Так. Зубы? Так. Чистил сегодня зубы? Нет? Поправь воротничок и галстух. Подтяни чулки. Теперь возьми стул и сядь против меня, и я тоже сяду. Теперь отвечай мне: ты хороший мальчик или нет?

Федя молчал.

— Ну?

2 Зак. 3360

— Я не знаю.

— Ты не знаешь? А я знаю. Повторяй за мной слово в слово то, что я скажу. Повтори: я гадкий, нехороший мальчик. Ну...

Федя повторил.

— Не смей шевелить руками и глядеть по сторонам. Сложи руки вот так. Теперь дальше. Ты говоришь иногда неправду?

— Не знаю.

— Опять не знаю. Повтори: я иногда говорю неправду.

Потом пришлось сказать, что он недостаточно любит папу, маму, Бобу и Нелли, что он непослушен, ленив, что не молится Богу, что он мучает животных, что он слишком любит конфеты.

— Ну, а хочешь ты исправиться?

Пришлось сказать: да, хочу.

— Очень хочешь?

— Очень.

— Повторяй: я хочу каждый день молиться. Я буду любить папу, маму, Бобу и Нелли. Я никогда не буду говорить неправду и т. д. и т. д.

— Так. Ну вот. Ты знаешь, кто я? Я должна помочь тебе исправиться. Сознание своих грехов и раскаяние есть первая ступень к исправлению. Поцелуй меня. Я тебя отпускаю. Позови теперь Нелли.

В гостиной сидел Боба, задрав ноги на диван и положив подбородок на колени, надув щеки. Нелли, наклонив головку, со вздохом вошла в спальню.

— Ну, не дура ли? Феноменальная дура. Это тебе наняли ее, тебе и Нельке, да, а не мне. Я уже латынь изучаю, а она в этом ни шиша не понимает. Да. Ни шиша. Ха! Я ее проучу. Погоди! Еще сегодня вечером.

Через полчаса вернулась Нелли и позвала Бобу.

— Она сказала, что я хорошая девочка. Да.

Нелли от гордости как бы выстукивала головой каждое слово.

— Вот. А про тебя она сказала, что ты, может быть, хороший, а может быть, злой, и что если ты будешь злой, чтобы я ей говорила. А про Бобу она сказала, что он, кажется, нехороший, но что она еще посмотрит. А еще она сказала, что дети всегда должны говорить «спасибо» и что она начнет нас учить сегодня за столом, потому что мы не умеем говорить как следует «спасибо». И еще она нас будет учить французскому и по-немецки.

Через десять минут из комнаты выскочил Боба, красный, как мак, и со злыми, блестящими глазами.

Нелли только еще успела сказать:

— Я ее очень буду любить. Очень. Вот увидишь.

Детей позвали к столу. Мамы не было. Мама отстранилась, чтобы не мешать воспитывать ее детей.

Дети разом сели на свои места и взялись за вилки в ожидании картошки.

— Дети, дети, разве так можно? Разве так садятся за стол? Встаньте.

Дети встали.

— Федя, ты, как младший, первый прочти молитву.

Федя прочел.

— Нелли!

Нелли прочла.

— Боба!

Одну секунду всем показалось, что сейчас произойдет что-то ужасное. У Нелли глаза расширились до невероятности. Секунду — одну секунду Боба растерялся. Потом он уверенно и весело прочел — другую молитву. Из глаз Рыжей сверкнули молнии.

— Так. Теперь сядьте. Уберите руки со стола. Положите левую руку на правое колено. Так. Теперь положите правую руку на левую. Федя, покажи, как ты держишь руки? Так. Нелли? Боба?

Боба тоже показал руки, но так, что Федя под левой рукой увидел шиш.

— Теперь можете начать есть. Нет соли? Нелли, скажи: пожалуйста, передай мне соль. Федя, передай Нелли соль. Нелли, скажи «спасибо» и посоли. Так. Передай обратно Феде. Федя, скажи «спасибо» и посоли. Боба...

— Благодарю, спасибо, mersi[10], мне не хочется соли. Я люблю картошку есть без соли.

— Передай, пожалуйста, соль мне. Спасибо.

Когда встали <из-за> стола, Боба ущипнул Федю.

— Ты считал? Мы все вместе сорок восемь раз сказали «пожалуйста» и шестьдесят один раз «спасибо». Очень интересно!

Но Федя не слушал. Он, как всегда, опять чего-то не понимал. Феде хотелось плакать. Он ушел в гостиную. Там в углу стояла большая пальма. Он бессмысленно стал смотреть на эту пальму и на травинки, растущие в сырой земле. Но он не видел ее. Он видел тонкие руки, берущие соль, рыжие волосы, тонкие бескровные губы и часики в кулаке на золотой цепочке. Почему-то часики казались ему особенно ужасными. Еще он видел почти белую кожу лица, на котором веснушки сливались в сплошные бурые пятна. Голос как нож вонзался в душу. Федя бессмысленно вырывал травинки под пальмой. Он нагнулся, чтобы понюхать землю, и вдруг заплакал.

— Ну вот! Распустил нюни.

Боба шел с тетрадями и книгами под мышкой. Он шел туда.

— Тут, брат, у меня задачка есть, *задачка*! Понимаешь, поезда выходят с разных станций А и В друг другу навстречу. Но ты, впрочем, еще дурак, все равно ничего не понимаешь. Ну, одним словом, один поезд идет быстрее, а другой потише, один выходит в 12 часов 45 минут, а другой — в 3 часа 20 минут. Ну и так далее. Одним словом, вся штука в том, на какой версте поезда встретятся? Понимаешь? На какой версте? А? А я решил, а она не решит.

---

[10] Mersi — спасибо (*фр.*).

У нас в школе только двое решили, я там списал и теперь все знаю. А она не решит, об этом ты уж не беспокойся.

Боба дал Феде подзатыльника и вошел. Но сразу же, как ошпаренный, выскочил. Он сделал ужасную гримасу Феде:

— Стучать велит!

Боба легонечко постучал в дверь и сладким голосом спросил:

— Можно?

Изнутри что-то ответило.

Боба еще раз сделал гримасу Феде и вошел. Через десять минут он выскочил и бесшумно начал отплясывать по ковру, хлопая себя книжкой по щекам, по голове, по заду.

— Ай да я! Ай да я! Не ква-ква-ква! Не решила, не решила, не решила! Чуть-чуть не решила! Но вдруг меня осенило. Она что ни говорит, а я все: «почему?» Она дальше, а я опять: «почему?» Ну и сбил.

Так <как> было воскресенье, к вечеру пошли гулять и по дороге разговаривали по-немецки.

Вечером началось умыванье.

В ванну была поставлена табуретка, на табуретку был поставлен таз. В таз была налита теплая вода, и такая же вода была налита в огромный кувшин. Кувшин взяла Рыжая.

— Раздевайся до пояса!

Феде совсем не хотелось раздеваться. Хотя ему было только <восемь> лет, но где-то в глубине была темнота неизведанного, и оттуда что-то не пускало, не давало раздеваться.

Но он все же открыл свои узкие плечи и острые, костлявые лопатки, которые двигались под гибкой, как резина, детской кожей.

Сперва надо было намылить голову, вымыть лицо, уши и шею. Шею Рыжая поливала из кувшина.

— Покажи шею? Грязно! Нагибайся.

Рыжая сама взяла мыло и намылила шею еще раз. Потом руками, которые оказались мягкими, стала водить по шее, потом по спине, по груди, под мышками. Пальцы и ладони скользили по телу, гладкие и душистые от мыла, скользили дольше, чем нужно было. Если бы он мог видеть лицо Рыжей и ее глаза, Федя вскочил бы и ударил ее полотенцем. Но он ничего не видел. Он терпел и не понимал.

Потом мыли Нелли, очень быстро (хорошая девочка), а Боба почему-то мылся сам.

Это происходило каждый вечер.



В следующее воскресенье Рыжая собрала всех детей и поставила их в полукруг. Она взяла какую<-то> толстую книгу в желтом кожаном пере-

плете и стала читать проповедь. Чем дальше она читала, тем громче раздавался голос и переходил в визг. Потом она села за рояль и стала петь какие-то псалмы, и дети должны были петь за ней. Потом каждый должен был читать «Отче наш», «Верую» и все молитвы, какие он знал. Потом она сама встала на колени и стала выкрикивать молитвы. Она простирала руки к небу, стукала лбом о пол и кричала ужасные слова о грехе, об очищении, о раскаянии, о Спасителе, и опять о грехе, опять о раскаянии и Спасителе, о детях, агнцах божиих, которых она спасет от геенны огненной. Крик переходил в плач, плач перешел в хохот, и, наконец, Рыжая, как сноп, свалилась на пол и осталась лежать неподвижно на земле.

Нелли испустила дикий крик:

— Милая, что с вами, встаньте! Я очень боюсь. Я так боюсь.

Мальчики стояли с трясущимися губами. Но Рыжая, как ни в чем не бывало, встала с полу.

— Нелли, как ты причесана? Поправь гребенку. Это хорошо, что ты плачешь. Плачь, плачь. Плач омывает душу. У тебя сзади видна нижняя юбка, уйди и поправь.

Нелли бросилась ей на шею.

— Милая, какая вы хорошая! Какая вы добрая! Вы — святая.



Но с этого дня дети заметили какую-то перемену. Боба ухмылялся, не говорил ни по-французски, ни по-немецки и не учился с Fräulein[11]. Молитвы прекратились. Должно быть, Боба что-то сказал папе или маме.

Через две недели наступило блаженное время, время, до которого оставалось сперва тридцать дней, потом двадцать девять, потом двадцать восемь и, наконец, три долгих дня, потом два дня, один день, и, наконец, этот день, первый день летних каникул, наступил.

На дворе появились три подводы. Бородатые люди, от которых чудесно пахло сапогами и еще чем-то, старались ходить тихо. Но это у них не получалось. С грохотом двигались стулья, кровати, сундуки, чемоданы. Дверь на лестницу, дверь, которую всегда так тщательно запирали, была открыта настежь, и с лестницы струился воздух: воздух свободы. Картины, люстры, кресла были занавешены чехлами. Дети бегали вверх и вниз по лестнице с красными щеками и сияющими глазами.

Но Федя не очень бегал. Он все смотрел, когда уйдут Fräulein, мама, мужики, вообще, когда уйдут все и в комнате будет он один. Тогда он уходил в угол, нагибался и там что-то делал. Т<ак> к<ак> все были очень заняты, то он часто мог уходить и делать что-то свое. Лицо у него было очень довольное.

[11] Fräulein — девушка (*нем.*).

Но вдруг вошла Рыжая и, как коршун, набросилась на Федю и схватила его за руку.

— Что это у тебя?

— Это... это...

Показался небольшой холстяной мешок. Из мешка посыпались: ножик, краски, увеличительное стекло, деревянная лошадка, дощечки, кубики, гвозди, старый мундштук, банка из-под вазелина, банка из-под консервов, заграничная спичечная коробка и много других вещей.

— Ах вот что! Секреты? У хороших детей не бывает секретов. Хорошие дети всегда откровенны и все говорят. Давай сюда!

Мешочек был унесен. Где-то щелкнул замок. Это запирали на ключ Федино счастье.

— Становись в угол и стой в углу, пока не уйдут лошади.

Федя покорно встал в угол. Сердце его наполнилось горем. Лошади уйдут без него! А они с Бобой сговорились, что они дадут лошадям хлеба. Но теперь ему все равно. Пусть уедут. Он останется в городе. Или уйдет в лес, далеко, так, чтобы его не нашли.

В таких мыслях прошел час. Подбегал Боба.

— Ты ничего. Она дура. Ты погоди, я ее накажу.

Федя слушал, как ушли лошади, как заперли и заложили дверь на лестницу, но ему было все равно. Он никого больше не любил и ничего в жизни уже не хотел.

Вдруг за его спиной раздался ужасный крик.

Федя обернулся.

Рыжая стояла в середине комнаты и подобрала юбки до колен.

По полу медленно полз огромный черный таракан, толстый, как грецкий орех, и очень важный.

— Боба! Скорей! Раздави его, раздави его, раздави его!

Боба уже вбегал.

— Кого? Что? Давить?

— Таракана! Таракана! Нет. Подожди, не дави. Я отвернусь и закрою уши. А когда ты его раздавишь, ты крикни погромче: «готово!» — и унеси его.

Рыжая отвернулась и в каждое ухо глубоко засунула по указательному пальцу.

Боба высоко поднял ногу. Но вдруг лицо его расплылось в хитрую улыбку, которая не обещала ничего хорошего.

— Готово!

Рыжая вынула пальцы из ушей и осторожно оглянулась.

Хлоп!

Случилось то, чего Боба никак не мог ожидать. Рыжая открыла рот, закрыла глаза и свалилась на пол, как будто ее срубили. Она упала в обморок. Она действительно, по-настоящему упала в обморок, и ее пришлось положить на постель, расстегнуть и опрыскивать одеколоном.



На даче было нехорошо.

В саду провели черту, и Рыжая сказала:

— До этой черты вам можно ходить без спросу. А если вы хотите идти дальше, надо спросить меня.

А самое интересное было за чертой. Там был забор, который когда-то открыл Феде бесконечность.

Там был огород, и в огороде была малина, земляника, морковка. Там был пруд, и на пруду росли кувшинки. Еще дальше было шоссе и железная дорога. И надо всем — ужасное слово: слово «нельзя». Есть и другое ужасное слово, слово, которое произносится робко, тихо, а потом уже не произносится вовсе: слово «можно?»

— Можно в песок поиграть?

На дворе — куча песку. Но в песок играть нельзя. По нему ходят ногами, и он грязный. В сарае есть дрова и куча стружек и щепок. Кухарка носит их в кухню.

— Можно мне поносить стружек?

— Нельзя. Ты занозишь пальцы и рассыплешь стружки по дороге.

Счастливый Боба! Для него нет запретной черты в саду, проведенной каблуком воспитательницы и возобновляемой каждое утро.

Но и для него есть пытка, общая утренняя пытка всех трех детей. Эта пытка называется прогулкой.

Все дети надевают все чистое: воротнички, галстучки, причесываются, моются. Берут под мышки французский разговорник и идут гулять.

Под большим дубом или у речки расстилают плед. На плед садятся.

— Сегодня разговор № 3. Нелли, начинай.

Нелли читает «отца», а Боба «сына». Потом наоборот. Одна страница читается десять, двадцать раз. Федя еще не умеет читать по-французски, он тоскливо слушает.

Отчего дети теперь всегда молчат? Они не бегают, они ходят как больные, и щеки у них бледные.

Федя теперь молчит почти всегда.

Только после чая, от пяти до семи, они немного отходят.

После чая Рыжая уходит в лес.

— Дети! Я ухожу в лес молиться. Я буду молиться и за вас.

Однажды вечером, только что Рыжая ушла, Боба дернул Федю за рукав.

— Пойдем со мной. Живо! Я покажу тебе что-то интересное.

Они побежали и дошли до черты. Федя остановился. Нельзя!

— А ты перескочи и беги со мной. А то ничего не увидишь.

— Далеко?

— Увидишь.

Они бежали и крались вдоль кустов, прятались за деревья и шли все дальше. Начиналось болото.

Но вот открылась полянка. У полянки стояла сосна, а под ней был огромный муравейник.

Мальчики спрятались за ольховый кустарник.

— Сиди тихо и смотри, что будет.

Через минуту показалось белое платье. Это была Рыжая.

Она села на пень и несколько минут сидела молча. Потом она потихоньку встала и сняла шляпу. Затем села и сняла ботинки и чулки. Потом опять встала и стала расстегивать кофточку.

Она стала раздеваться вся. Дети увидели все подробности ее туалета. Вскоре она оказалась совершенно голой.

— Уйдем.

— Подожди. Только начинается.

Рыжая сделала несколько шагов вперед. Она остановилась, запрокинула голову к небу и развела руки ладонями кверху. Так она стояла минуту, две, три.

— Что она делает?

— Комаров кормит.

— Что?

— Комаров кормит. Ей-богу. Т-с-с. Я, знаешь, раз убил при ней комара. Так она меня чуть не убила. Говорит: они тоже должны жить. Бедные комары, говорит. Все их убивают. Хорошие люди, говорит, не должны убивать комаров. Надо, говорит, чтобы были такие люди, которые их кормили. Вот она и занимается.

Прошло пять минут, десять, пятнадцать.

— Ой, меня комары кусают.

— Меня тоже. Уйдем.

Мальчишки пробрались домой.

Через неделю они пошли опять посмотреть, как Fräulein кормит комаров.

К удивлению, за их кустом уже сидели два парня и щелкали семечки. И с другой стороны тоже сидели, а один сидел на дереве и смеялся.

Вся деревня уже знала, что Рыжая кормит комаров, и ходили ее смотреть. Но она не знала ничего. Она стояла, расставив руки и запрокинув лицо к небу, и из глаз ее текли слезы.

III

По субботам приезжал папа и уезжал в понедельник. И вот однажды, в воскресенье, детей никто не разбудил. Они встали одни.

Когда Федя постучался в комнату Fräulein, никто не ответил. За столом ее тоже не было.

Папа коротко сообщил, что Fräulein уехала в город и больше не приедет.

— Как? Совсем? Никогда?

Медленно, медленно стала возвращаться жизнь.

Черты в саду уже нет.

Теперь можно все.

Утром можно не мыть рук, а вечером не надо наклоняться над табуреткой с тазом и мыльной водой.

Можно пойти на огород. Он залит солнцем. На солнце сверкает мохнатая, темно-зеленая травка. Если вытащить такую травку, под ней окажется желто-красный корешок. Корешок можно вытереть о сочный подорожник. На морковке останется немножко земли, и земля будет хрустеть под зубами.

На огороде есть пруд с зеленой водой. На берегу — лягушки. По воде, будто на коньках, бегают и качаются длинноногие жучки. Можно вытащить со дна зеленую тину и выжимать ее, как губку. И из этого пруда можно напиться, если запечет солнце.

А главное — можно ходить босиком, совсем босиком. Только надо выйти за калитку и спрятать туфли и чулки под забором. Тогда можно. В карманы можно класть все что угодно. Но в карманы собиралось только самое интересное и драгоценное. А самое драгоценное — это камни, щебень, который кучками лежит по сторонам шоссе. Есть камни красные, как кровь, и черные, как уголь, с серебристым отливом на изломах. Есть розовые с черными, жесткими зернами и жилками; черные зерна сверкают на солнце, если их повернуть как следует. Но самые драгоценные камни — это белые. Молочно-белые, мутные, непрозрачные, но красивые, как тучи; но есть и прозрачные, которые пропускают свет почти как вода. Камни приносились фунтами и клались под кровать. Осенью оказалось несколько пудов камней. Странно, почему из таких камней не строят дворцов с фонтанами и садами?

Самое замечательное, что теперь можно взять *все*, что увидишь, никого не спрашивая, не произнося самого отвратительного слова на свете, слова «можно мне?». Например: в саду растет высокая, старая елка. Сучья начинаются с самой земли. А на верхушке есть чудо: есть красные шишки. В первый раз в жизни Федя увидел красные шишки.

Три дня он размышлял: лезть или не лезть?

Лезть можно. Уже выбран первый сук, на который можно забраться, и второй, и третий. Дальше — не видно. Можно, но страшно.

На четвертый день Федя встал пораньше, чтобы полезть до кофе. Утром в саду никого не бывает.

Сердце стучало. На первый сук он забрался раньше, чем успел подумать. И только когда он протянул руку за третьим, он вдруг сказал себе:

— Ой, я, кажется, уже полез!

Прыгнуть или не прыгнуть назад? Но прыгать невозможно — застрянешь. А лезть назад — ужасно трудно. Спускаешь ногу — а там ничего нет. Надо смотреть вниз. А смотреть вниз — срывается рука.

Сердце забилось так, что стало слышно.

Федя посмотрел наверх. Где же шишки? Их не видно. Голова стукается о сучья, ветки царапают лицо. Руки вдруг стали липкие, как будто выпачканные в синдетиконе.

Но вот вдруг стало свободно голове.

Федя поднялся еще на один сук. Потом еще на один, и еще на один. Полез дальше.

Ветки все гуще, но наверху светлее. Только вот — сучья здесь вдруг покрыты иглами, а внизу этого не было. От этого скользят ноги, и хватать руками такие сучья больно. Все страшнее и страшнее. Но он лучше умрет, чем полезет вниз. Он полезет наверх, достанет шишки. Ствол уже совсем тонкий и гнется. Он ступает на тонкие ветки, и ветки гнутся. Подошвы уже совсем скользкие. Но если наступать у самого ствола, то можно устоять. Стало трудно дышать.

Но вот-вот-вот шишки. Ветки густо усеяны красными шишками, и все на свете забыто.

Мама, огород, пруд, постель — все это так далеко, все это было так давно и проходит молнией сквозь мозг, как воспоминание о другой жизни.

Из рук идет кровь. Чулки, штаны, блузка порваны.

Рука хватает ветку — ветку высшего счастья на земле, ветку, за которую положена жизнь. Что-то вонзается в глаз. Иглы забираются за ворот, в штаны, под чулки. Горячие руки хватают ветку. Фуражка слетела. Со лба течет пот и попадает в рот. Федя слизывает соленый пот.

Но — ветку не оборвать. Не оборвать! На минутку Федя приходит в себя. Господи, как высоко! Он видит под собой крышу. Что, если упасть? Грядки на огороде совсем маленькие. Может быть, оборвать шишки? Нет, это совсем, совсем неинтересно. Это не то. Надо ветку с шишками. Надо рвануть хорошенько. Федя дергает изо всех сил, морща лицо в ужасную гримасу. Оборвалась!

В следующий миг он летит спиной вниз, крепко держа в руках ветку. Закричать он не успел. Он повис на сучке и живо ухватился свободной рукой за другой сук.

Только тогда он закричал не своим голосом, потому что долго держать ветку невозможно. Если *сейчас, сейчас*, сию минуту не придут, он свалится.

Но уже кто-то лезет.

— Держись, не отпускай, говорю тебе, держись!

Это — смазчик со станции, шел с работы и услышал вопль.

Запахло маслом и потом, и еще чем-то. Через полминуты он уже был на земле.

А внизу уже стояли все.

Мама вытирала глаза кончиком передника. Нелли держала во рту палец.

Боба обхватил себе бока и корчился от смеха.

Смазчик поставил Федю на ноги, снял фуражку, вынул из фуражки просаленный носовой платок и стал вытирать себе пот.

— Герой! Герой! Ты бы спрыгнул.

Это хохочет Боба.

— Доктора! Доктора! У тебя ничего не болит? Ты не ушибся?

Это плачет мама.

— И зачем ты полез? Для чего? Кто тебя просил лезть на елку?

— Я, мама, хотел шишек. Видишь — вот.

Рука держит веточку.

— Вы бы, барыня, его этой самой веткой да по ж...е, по ж...е. Всю одежу продрал.

— Молчите, вы ничего не понимаете. Вы спасли его. Вот — пожалуйста.

Бумажка вместе с носовым платком идет под фуражку.

— А теперь, негодный мальчишка, скажи спасибо человеку, который спас тебе жизнь!

Федя шепчет: «Спасибо, спасибо».

— Ну, а теперь марш домой!

Все гуськом идут домой. Федя смиренно идет впереди.

Дома его раздевают, моют, одевают во все чистое, причесывают и сажают за стол.

Решено, что теперь за ним будет присматривать Боба. Ему уже 15 лет, не маленький, он уже перешел в шестой класс, разумный мальчик, как думает мама, во всяком случае — прилежный. После кофе Боба посмотрел на Федю.

— Несчастный! Теперь я тебя буду воспитывать. Это тебе не Рыжая. Во-первых, идем сейчас со мной.

Они вышли за калитку, пошли по дороге, дошли до канавы, поросшей кустарником, и остановились. Здесь Боба вложил в рот два пальца и пронзительно свистнул.

Ох! Если бы так свистеть! Но Феде так никогда не научиться.

Из-за кустов сразу ответило два таких же свистка.

— Стой на месте, и Боже тебя упаси пошевельнуться!

Боба пошел к кустам.

Вдруг откуда-то появились две фигуры, поменьше Бобы, с черными, как показалось Феде, лицами и очень подозрительными кепками. Обе фигуры держали руки в карманах. Они подошли к Бобе, стояли довольно долго и о чем-то шептались. Теперь руки уже выделывали какие-то знаки. Потом они все трое пошли прямо на Федю.

— Ой, ой, что они со мной сделают!

— Перрр!

Что значит «перрр»? Федя ничего не понимает.

— Пер, тебе говорят!

Из жестов Федя понимает, что «пер» значит «вперед», «пошли».

Пошли к дому.

— Что вы со мной сделаете?

— Не с тобой. Молчи.

— А где же ты, милый мой, шишек себе наставил? Погляди-ка, весь лоб в шишках!

— Ха-ха-ха, он за шишками полез. Вот и получил! Получил! Ха-ха-ха.

Феде очень хочется плакать.

— Знаешь, куда мы идем?

— Ничего я не знаю. И не хочу.

— Не хочешь? Молюлишь, да? Молюлишь? А мы идем Яшку-жида запирать. Понял?

У Феди чуть не остановилось сердце. Задрожали ноги.

— Мо-лю-лю?

Теперь Федя понял: «молю» означает ужасное презрение.

Но пусть. Пусть. Пусть они его презирают. А он презирает их. Всех.

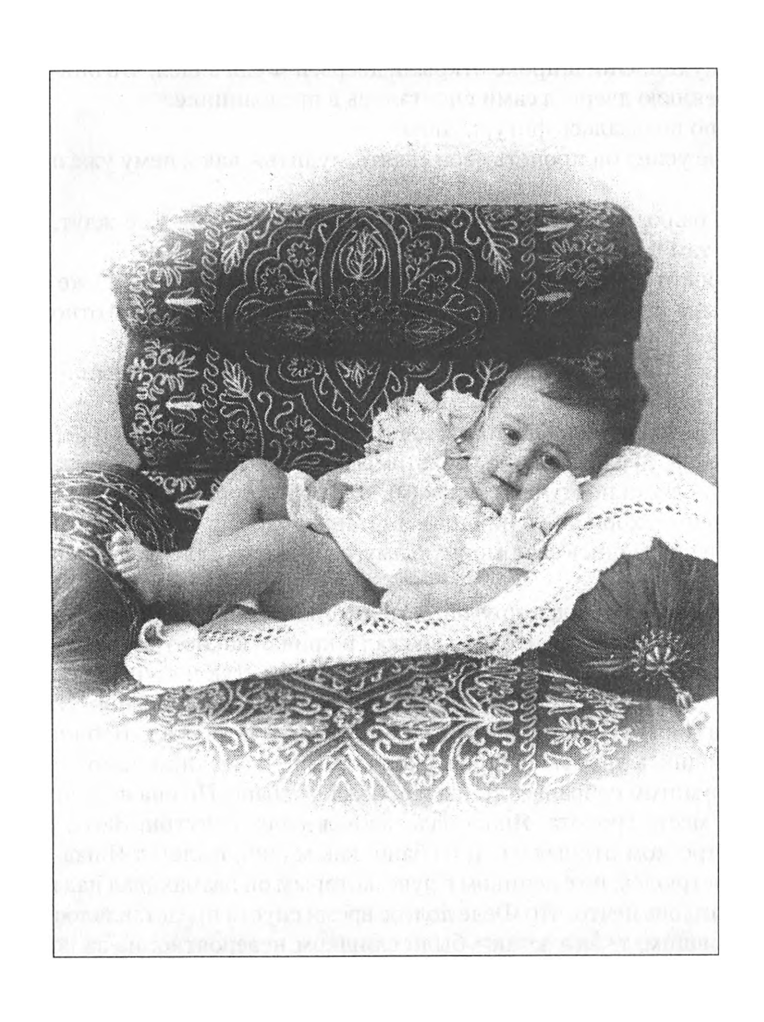
Яшка-жид был очень страшен. Это было почти так же страшно, как паровоз. Он приходил по воскресеньям и кричал: «Паять, лудить! Паять, лудить!» Что значит «паять, лудить!» — Федя не понимал. Эти слова нельзя говорить просто. Их надо петь, потому что Яшка их поет. И петь их нельзя просто. «Ллл-удить» надо петь так, как будто бы в это время во рту лопается страшный пузырь. Федя пробовал, но у него ничего не выходило, не лопалось так, как у Яшки. Яшка всегда ходил с кастрюльками, сковородками, самоварами, с длинной кочергой, с какими-то щипцами и ужасными штуками. Этими штуками он барабанил по кастрюлькам и сковородкам, и Яшку было слышно далеко. Лицо у него было черное, как у трубочиста, и весь он был черный и страшный. Только глаза были белые и ужасно большие, почти как у лошади. Да, как у лошади. Когда приходил Яшка, Федя всегда убегал наверх — только не на кухню, потому что Яшка иногда приходил на кухню и ел там. Но пока он бывал на дворе, Федя всегда смотрел на него через какую-нибудь щелку. Нельзя было не смотреть — очень уж было интересно. Говорили, что Яшка живет под землей. Это совсем не удивляло Федю. Где же и жить <ему>, как не под земл<ей>? Федя представлял себе, как он вылезает из-под земли. Сперва — голова, потом — плечи с кастрюльками и сковородками; потом лезет кочерга — и сам он вылезает и гремит, и показывает белые зубы. И вот Яшку хотят запереть! Будет страшное несчастье.

Когда подошли к дому, с соседнего двора уже слышался Яшкин трезвон. Боба подошел к Феде.

— Иди!

Федя беспрекословно пошел за Бобой. Он поставил его у двери и сказал:

— Если ты пустишь Яшку на кухню, мы тебя отдубасим. Стой здесь.



В. Я. Пропп. 1895 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 269)

К удивлению, он подошел к тем двум и опять стал с ними шептаться, но очень недолго. Двое мальчишек стрелой побежали к бане, которая была против кухни. Они широко открыли дверь, и Федя видел, что они открыли и внутреннюю дверь, а сами спрятались в предбаннике.

Скоро показалась фигура Яшки.

Но не успел он пропеть свое «паять, лудить», как к нему уже подбежал Боба.

— В баню, иди в баню. Там куб испортился. Тебя уже ждут. И кастрюльки там положены.

Федя стоял ни жив ни мертв. Что куб испортился, это он уже слышал; вчера была суббота, и баню не топили. Но какое это имеет отношение к Яшке?

Яшка спокойно пошел к бане. Боба остановился в середине двора и страшно серьезно стал смотреть ему вслед.

Вот он вошел в предбанник, и вот и в баню. Как только он переступил порог, дверь предбанника с грохотом захлопнулась, звякнул тяжелый засов. Те двое стали стучать кулаками в дверь и кричать какие-то, должно быть, очень нехорошие и обидные для Яшки слова в дверь. Потом они выбежали и спрятались за помойную яму, а Боба спрятался в ящик под навесом.

Теперь послышался другой стук: это изнутри кулаками во всю силу стучал Яшка. Он пронзительно визжал и кричал какие-то совсем непонятные ужасные слова. Потом на секунду умолк и стук и крик, а после этого послышался ужаснейший трезвон, стук и крик одновременно. Это Яшка стучал в дверь, гремел своими кастрюльками и визжал. Бобина голова ушла в ящик, а двое мальчишек окончательно исчезли за помойной ямой. На дворе мигом собралась толпа и побежала к бане. Но она не успела добежать до места грохота. Яшка надсаживал дверь изнутри. Засов отлетел, дверь с треском открылась, и из бани, как мячик, вылетел Яшка, уже без своих кастрюлек, но с веником в руке, которым он размахивал над головой. Тут случилось нечто, что Феде долгое время спустя представлялось никогда не бывшим, т<ак> к<ак> было слишком невероятно: из-за помойной ямы выскочили оборванцы и с выражением самого неподдельного ужаса на лице стрелой понеслись к калитке.

Яшка зарычал и, расталкивая толпу, понесся за ними.

Что произошло дальше — навсегда покрыто мраком неизвестности. Но через полчаса Яшка уже мерным шагом возвращался на двор, ухмыляясь во все лицо и очень довольный. Его накормили на кухне. За едой он говорил громко, взволнованно и непонятно. Потом, посвистывая, стал чинить в бане бак, потом наколотил сорванный им засов, и через минуту его пение и гром кастрюлек уже слышались в соседнем дворе.

Только тогда из ящика под навесом показалась голова Бобы, вся в стружках и сильно растрепанная.



Так началось новое воспитание Феди.

Боба брал его с собой на рыбную ловлю. К речке шли мимо лесопильного завода. Там лежали штабеля разных сортов древесины. Лучше всех были простые осиновые дрова. Осина пахла чудесно. Федя всегда прикладывал нос к этим поленьям, а Боба над ним смеялся. Ездили на лодке далеко, «до порогов». «Пороги» раньше всегда казались Феде ужасно далекими: он только слышал о них. И казалось, это где-то там, очень далеко, где Сибирь. А теперь туда очень просто доехать.

Мир не становился больше. Чем больше Федя видел, тем меньше становился мир.

Он видел новые цветы. Он первый раз увидел, как растут ландыши. Он собирал ромашки, колокольчики, гвоздику, медуницу, которая пахла чудесно и на которой всегда сидели маленькие черные жучки.

Удить рыбу нравилось. Нравилось, что красный поплавок качается близ листьев водяных лилий. Когда тащишь рыбу, она еще в воде, а в руке уже слышишь ее трепет и сопротивление, и это так хорошо, что можно кричать от счастья. Но Боба не позволял кричать. Надо было говорить шепотом, а то рыбу можно испугать. Говорить шепотом тоже нравилось.



Но рыбная ловля скоро была забыта для более высокого и важного занятия.

Папа привез Бобе подарок не по летам: он привез ему настоящий английский пистолет. Этот пистолет подарил ему для сына приятель по делам, и папа решил передать его по назначению вместе с тяжелой коробочкой в сотню патронов. Теперь Боба был героем дня, и Федя ходил за ним по пятам.

На помойную яму слетались вороны. Они каркали по утрам и не давали спать. Было решено, что надо застрелить ворону.

Боба долго учился стрелять. Он стрелял по мишеням, по бутылкам, которые ставились на столб и иногда со звоном разлетались на куски, по жестяным банкам, которые вешались на деревья. И вот, наконец, решили стрельнуть в ворону.

Подошли совсем близко к помойке и засели. Прилетело несколько галок. Они стояли, оглядывались, ничего не трогали. Но вот одна ударила клювом — ударила и сразу остановилась, чтобы оглянуться. Потом другая, потом третья. Галки успокоились. Медленно, медленно Боба поднял пистолет, облокотил его в левый локоть и стал прицеливаться.

Короткий сухой звук, легкий дымок — одна галка осталась лежать.

Мальчики подскочили.

Галка была еще жива. Она не могла ни летать, ни ходить, она трепетала, вздрагивала и билась. Вдруг ее всю подернуло, и она, как человек, стала изрыгать только что съеденную пищу.

— Ее рвет.

Федя побледнел, как полотно. Боба стиснул зубы.

— Возьми ее.

— Не хочу.

Боба сам нагнулся и в одну секунду свернул ей шею.

— Трус! Не можешь ворону убить.

— А ты?

Боба молча вытащил из кармана веревочку, взял длинный шест и привязал к нему ворону. Шест он водрузил у помойки.

С этого дня между братьями легла тень. Федя опять не понимал. Думать он не умел. Он не понимал, что кормить комаров, как Рыжая, нельзя, и что убивать ворон тоже нельзя.

«Нельзя» — слово, тысячу раз слышанное от Рыжей, от папы, мамы и от всех больших, новым словом стало давать незаметный росток изнутри.

Но Федя все же продолжал ходить за Бобой. Стрелять ворон стало неинтересно. Ворону убить нетрудно. А вот воробья!

Воробьи стаями налетали на огород, <клевали> семена, зерна, ягоды. Они садились на забор в ряд, как солдаты, и чирикали. Но воробей — птица непостоянная, увертливая и пугливая. Воробей долго на заборе не сидит.

Боба придумал. Веревками, проволокой, дощечками и гвоздями он укрепил пистолет к забору так, что дуло было направлено прямо вдоль верхушек, на которых любили сидеть воробьи. К курку он привязал веревку и сел в канаву.

На этот раз ждать пришлось долго. Феде стало скучно. Он забрался в малинник и стал склевывать ягоды.

Вдруг опять знакомый, сухой звук и легкий дымок.

— Эй! Сюда, скорей!

Боба ползал вдоль забора.

— Четыре штуки! Давай я тебя пересажу через забор, там еще пара. Вот это здорово! Шесть штук за один выстрел!

Вечером за ужином ели жареных воробьев. Но было странно, что воробьи такие маленькие. На заборе они сидели такие пушистые, широкие, а теперь — какие-то косточки, похожие на спички, даже тоньше спичек, и такие крохотные. Есть воробьев не хотелось.

— Не хочу. Ешь ты.

Теперь Федя уже не играл больше с Бобой. Как-то само собой случилось, что он стал играть больше с Нелли.

Нелли часто называли странной девочкой. Хотя ей было уже лет десять, она все еще сосала пальцы и грызла ногти. Даже Рыжая не могла ее отучить от этого. Она ставила ноги носками внутрь, и это придавало ей что-то жалкое, так что ее можно было или очень любить, или надо было ее

ненавидеть. Боба ее презирал. Она была очень привязчива, она хотела любить и часто плакала. Когда ее спрашивали: «Отчего ты плачешь?» — она отвечала:

— Меня никто не любит.

Так как ее «никто не любил», она любила своих кукол. Она всегда таскала с собой за руку куклу Клару, фарфоровую куклу с большими круглыми глазами и с длинными ресницами.

У нее была кукольная комната, где в большом порядке стояли кроватки, круглый стол, стулья, креслица, пианино. На стене висели часы и картинки, вырезанные из журналов.

У нее была коробочка, оклеенная морскими раковинками, где лежали ленты, нитки и картинки для наклеивания, которые казались высшей красотой в мире: розы, орхидеи, анютины глазки и опять розы, незабудки с голубками и без голубков. Эту коробку она держала под подушкой.

Когда детям давали конфет, она никогда не съедала их сразу. Она уносила их к себе и ела по одной, стараясь растянуть сосание. Она сосала их, когда у мальчиков уже давно ничего не было, сосала их нарочно так громко, чтобы мальчики слышали.

Федя стал играть с Нелли в куклы. Они играли в доктора, в крестины, в переезды, и это было очень интересно. У Феди была железная дорога. Нелли пускала с Федей поезда, и в них сажали кукол, нагружали всю мебель.

Во дворе играли в кондитерскую. Делали торты из песка, украшенные лепестками ромашек и колокольчиков, делали варенье из разрезанных цветов. И наконец, ходили в кухню и из остатков теста скатывали, лепили и пекли настоящие маленькие крендели.

Приходили девочки с соседнего двора. Играли все вместе, и все, <наперев>, целовали Федю. Он пришелся им очень по вкусу.

— Какой хорошенький мальчик! Пусть он всегда будет играть с нами.



В саду трава была сеянная, и в траве росли маргаритки.

Было раннее утро. Нелли в белом платьице и Федя собирали маргаритки и делали маленькие букетики.

Вдруг за липой послышался выстрел. Это Боба стрелял воробьев.

— Федька, Нелька, скорее сюда! Смотрите, как ловко я стреляю!

Дети подбежали.

Боба держал за ноги воробья.

— Посмотрите-ка на этого воробья.

Нелли протянула головку и вдруг отскочила. Она бросила маргаритки на землю и стала топать ногами.

— Гадкий, гадкий, злой мальчишка, что ты наделал! Гадкий, гадкий!

Она замахала руками, бросилась в траву и истерически заплакала.

Федя тоже протянул голову.

У воробья была отстрелена голова. И пушок и перья были забрызганы кровью. Но не это было страшно. Страшно было другое. На брюшке не было перьев. Вместо брюшка и груди был один страшный сплошной сухой и красный волдырь: этот воробей еще раньше был подстрелен, и теперь образовалась опухоль, и воробей жил и летал с этой опухолью, пока Боба не подстрелил его окончательно.

Федя мизинцем потрогал волдырь. Он был жесткий, как доска.

— Я с тобой больше не играю.

— И рыбу ловить не будешь?

— И рыбу ловить не буду. Никогда не буду.

Федя потихоньку пошел к себе. У него было спрятано два рыболовных крючка.

Потихоньку он вынул крючок и стал щупать его острие.

Потом со всей силой глубоко вонзил его себе в большей палец.

Пошла кровь. Вынуть крючок было невозможно.



В одну из суббот опять приехал папа. Он привез Нелли чудесный подарок: два огромных листа бумажных кукол, которые надо было вырезать и наклеить на картон. Каждая кукла имела несколько платьев. Платья тоже надо было вырезывать, и их можно было надевать на кукол. Все на свете было забыто для этих кукол.

Нелли вырезала, Федя клеил. Федя наделал деревянных чурбашек, чтобы куклы стояли. Теперь Нелли была опять счастлива: она опять могла любить. Она целовала каждую куклу, она укладывала их в постельки, утром она их одевала. Потом к куклам приходили гости, и им надевали праздничные белые и розовые платья.

Три дня продолжалось это счастье.

Однажды утром в комнату вошел Боба.

— Хотите, я сделаю, чтобы ваши куклы танцевали?

— Как танцевали?

— Так, они будут танцевать.

— На ниточках?

— Без всяких ниточек. Они будут танцевать сами. Вы только будете смотреть.

Нелли не верила. По ее мнению, лучше не надо, чтобы они танцевали.

— А как ты это сделаешь?

— Это мой секрет.

— Нет, не надо. Я не хочу.

— Не хочешь? Ну, они в один прекрасный день у тебя все-таки затанцуют.

В этот день обед запоздал. Из трубы валил дым, но дрова были сырые. Нелли и Федя играли в песке.

Они увидели, как кухарка прошла в сарай за щепками и стружками. Вдруг из верхнего окна, где была кухня, высунулась голова Бобы.

— Идите скорее сюда, на кухню, ваши куклы уже танцуют. Скорее, скорее!

Нелли не знала, радоваться ей или бояться. Она вихрем понеслась вперед, Федя — за ней.

Еще на лестнице он услышал страшный крик Нелли.

Да, куклы танцевали. Боба поставил их на горящую плиту. Они ежились, свертывались, падали, прыгали и уже частично почернели.

Нелли не бросилась на своих кукол. Она с плачем выбежала, Боба побежал за ней.

На нем была сабля, и в руках было игрушечное ружье.

Ружьем он нацеливался на Нелли. Нелли думала, что это пистолет, что Боба хочет ее убить, как воробья, и кричала так, как могут кричать только дети, когда они боятся. Они выбежали в сад, Федя — за ними. Он побежал наискось и встретился с Бобой у клумбы. Если Нелли дошла до пределов возможного для человека ужаса, то Федя дошел до пределов человеческой ярости. Он, как тигр, набросился на своего брата, сшиб его с ног и молча, закусив губу до крови, стал наносить ему быстрые удары обоими кулаками.

IV

Жизнь проходит не по годам. Она проходит по дням, которые есть, и таких мало, и по дням, которых нет, которые приходят и уходят, не замеченные никем, — и таких тысячи.

Для Феди нет зим. Зима проходит как сон. Но когда можно выйти без пальто, это уже день жизни.

В эту весну ему исполнилось девять лет. В это лето поехали на взморье.

Федя выбежал за забор. Он стал пересыпать белый и сухой песок из руки в руку. Он собирал ракушки, рыл колодцы и канавы и вдруг спросил:

— А где же море?

— Да вот оно.

Как? Это море? Он не заметил моря. Только через месяц, когда он сидел на холмике и смотрел сквозь сосны, которые чернели на красном от заката небе, он между двух сосен заметил блеск и вдруг сказал: «Море». С этого дня он запомнил море и стал слушать его шумы.

Сад был отгорожен высоким глухим забором от соседнего сада. Было только одно место, где можно было встать на пень и посмотреть в соседний сад.

То, что было в соседнем саду, было лучше всяких сказок, лучше всего, что он видел или о чем слышал.

По саду тянулись ровные дорожки, посыпанные белым песком. Дорожки вели к дому и к морю. Белая стена дома была скрыта за густой сиренью, за липами, плакучими березами и красным кленом. Росли светло-голубые елки, каких он никогда не видел раньше. Трава была подстрижена. По утрам садовник подстригал ее особой машинкой, которой он водил взад и вперед. Он приносил в дом большие букеты самых необыкновенных цветов. Весь сад был усеян цветами, и в клумбах горели стеклянные шары. Из дома часто слышалась музыка. Тихие звуки раздавались над цветами и дорожками. Хотелось плакать от счастья.

В таком саду не могли жить обыкновенные люди.

Люди, которые там ходили, всегда были в белом. Иногда они собирались на лужайке и какими-то короткими, круглыми лопаточками перебрасывали через сетку белые мячи.

С улицы забор был низок. Сквозь выкрашенн<ые> в зеленую краску <спицы> с белыми остриями можно было видеть все. Но Федя никогда даже не поворачивал головы, проходя мимо сада. Этот сад был его секрет, и посмотреть туда было стыдно. Только потихоньку он простаивал часами на пне и смотрел туда.

Но однажды, когда он проходил мимо сада с Нелли, к забору подошли две девушки в белых полудлинных платьях.

— Нелли, приходи к нам в четыре руки играть.

Как? Они знали Нелли...

Девушки с любопытством смотрели на Федю. Они не отходили от забора и о чем-то говорили с Нелли.

Федя не смотрел на них. В одну секунду он увидел все. Одна была светловолосая, с маленькими голубыми глазами. У нее были полные, бледные щеки и толстые губы. Она была низенькая, полная, и все ее движения были ленивы. Но глаза смеялись, и она в разговоре двигала плечами. У другой были черные волосы и черные глаза. Она была выше, стройнее. Густые косы венком были обвиты вокруг головы. В зубах она держала белую розу и сердито смотрела на Федю.

— Федя, поздоровайся. Это Агнеса, а это Мелитта.

Федя приподнял фуражку, покраснел так, что больше краснеть уже нельзя было, и очень неловко шаркнул ногой, как его учила Рыжая. Агнеса засмеялась и своими пухлыми, белыми руками стала поправлять косы. Она перебросила их через плечо и стала перевязывать ленты. Мелитта не улыбнулась. Она гордо посмотрела на мальчика, вынула изо рта розу и с скучающим видом стала вдыхать ее аромат, спрятав за розой весь подбородок и рот. Федя увидел на лбу складку и белый пробор в черных волосах наклоненной головы.

Федя считал неприличным смотреть, но хотелось смотреть так всю жизнь. Хотелось смотреть, и глаза уходили совсем в другую сторону, на

дорогу, по которой шел шарманщик. Сердце сладко заныло, как будто кто-то приподнял его над землей; было почти больно.

— Федя, попрощайся.

Федя опять приподнял фуражку и опять шаркнул ножкой.

Хотелось молчать, но Нелли стрекотала, как сорока.

— Они зовут нас играть в теннис. Они хотят нас научить, и чтобы ты пришел и Боба.

— Пусть Боба пойдет, а я ни за что не пойду.

— Почему?

— Так, не пойду.

— Ты влюбился! Ха-ха-ха. Он уже влюбился. В которую же ты влюбился?

— Отстань.

— Нет, ты скажи. В Агнесу?

— Отстань!

— Значит, в Мелитту?

Этот разговор продолжался всю дорогу.



День тянулся медленно. Федя ждал ночи, чтобы уткнуть голову в подушку. Ночью, когда все уснули, он присел в постели.

— Которую я люблю? О, Мелитту. Мелитта, Мелитта, Мелитта! Какое странное, какое красивое имя!

Он видел ее не более трех секунд. Он взглянул на нее не более трех раз украдкой, но он знал ее всю, всю. Он видел разрез ее глаз, немного косой, как у татарки. Он видел влажные, черные глаза, тонкую переносицу, нежные ноздри, ушедшие в белую розу. Он видел складку у шеи, когда она поворачивала голову, и видел тяжелые черные волосы. Голова ее наклоняется. Может быть, это она наклоняется над ним. Сейчас он услышит трепет ее сердца. Руки его тянутся к ней. Но глаза ее смотрят строго и нисколько не улыбаются. Там, у забора, она держала себя прямо, и в этих широких плечах, в этих суженных глазах, в этом проборе и в том, как она держит спину, он пьет себе боль, боль, ужасную боль.

Она злая. Пусть. Она должна быть злая, гордая, жестокая. Она не должна никогда смеяться. Она должна смеяться только над ним. Она должна смеяться и мучить его.

Спит он или не спит? Вот он идет по какой-то красивой улице, где все дворцы и где живут только очень богатые люди, у которых есть свои экипажи. Вдруг издали несется экипаж, запряженный парой белых как снег лошадей. В коляске — она. Федя выбегает на середину улицы. Он бросается под лошадей. Он чувствует, как звонкие копыта вонзаются ему в

грудь, как колесо с тонкими, изящными спицами проезжает по его горлу. Прибегают люди. Задавили мальчика! Ей показывают окровавленного мальчика. Смотрите! Смотрите! Но она не смотрит на окровавленного, задавленного мальчика. На лбу ее легкая морщинка, и у нее гордый и скучающий вид. Кучер трогает. Белые, взмыленные лошади несутся дальше.

Теперь Федя ждал ночей, чтобы «бросаться под лошадь». Копыта, раздирающие ему грудь, — только это выражало и растравляло все снова и снова его любовь.

Теперь он уже иначе стал смотреть через забор. Он искал мелькания белого платья или звука ее ровного, мелодичного голоса. Вот, кажется, она. Но лица не видно. Нет! Да! Но кто это так ловко бросает мяч через сетку? Это — гимназист с другой дачи. Он в летней форме, в белом кителе и белой фуражке. Как он красив! Как выгибается его тело, когда он отбрасывает мяч! Да, ему можно играть в теннис, а Феде — нельзя. У него короткие штанишки, голые, черные колени, ужасная голубая блузка в белую полоску и разношенные сандалии.

Его охватывает горечь бытия. Неужели Нелли это знает, когда она говорит: «Меня никто не любит». Бедная Нелли... И неужели он такой же, как Нелли? Но таким он не хочет быть. Нет, нет, нет...

Мама находила, что Федя бледен, что он плохо поправляется. Отчего он все молчит, почему он не играет, как другие дети? Сегодня вечером будут играть в крокет на взморье. Он должен идти и играть.

Федя покоряется. *Она* тоже будет играть. Федя попадает в черную партию, Мелитта — в красную. Конечно. Разве возможно такое счастье, чтобы он играл в одной партии с ней, чтоб он помогал ей, или еще хуже, чтобы она помогала ему? Нет, уж лучше играть в разных партиях.

Федя быстро выходит в «разбойники», а Мелитта застряла у «мышеловки».

— Третий черный! Федя, играй.

Это командует Боба. Федин шар стоит прямо у «мышеловки». Ему только и можно, что ударить шар Мелитты. Но как это сделать? Ударить ее шар — это все равно, что ударить ее, что разбить драгоценный хрустальный сосуд. Нехотя он наклоняется, нехотя попадает в ее шар. Но что делать дальше? Федя встречается глазами с Нелли. Нелли смотрит на него с самым открытым любопытством. Она хитро улыбается. Она не смотрит — это она подсматривает. Она все, все понимает. Откуда это она знает? Но она, несомненно, знает *все*. Значит, и другие могут знать его тайну. Им овладевает бешенство. Ловким, звонким ударом он далеко отбрасывает шар Мелитты с занятой ею позиции и продолжает разбойничать. Прощай, счастье, прощай, Мелитта, и все, все. Нелли страшно довольна. Мелитта презрительно морщит нос. Сердце Феди обливается кровью. Отныне Мелитта для него потеряна навеки. Разве можно ей, такой прекрасной, наносить хотя бы малейшее зло?



В. Я. Пропп с братом Робертом. 1897 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 271)



Приближалась осень. Становилось холоднее. На море часто бывала буря, серые волны с ревом подкатывали к ногам и отскакивали назад. Море выбрасывало камни, бревна, мертвых рыб и однажды выбросило маленького мертвого тюленя.

Но бывали теплые, мягкие дни, без ветра. Листва желтела. Ночи были темно-синие, звездные.

На пляже сколачивали какой-то помост. Было объявлено, что будет устроен осенний маскарад, что будет играть оркестр, а ночью будет сожжен блестящий фейерверк.

Приходили Агнеса и Мелитта. Агнеса играла польки и вальсы, а Мелитта, сидя в мягком кресле, разглядывала альбом. Но было решено, что все пойдут на маскарад. Агнеса будет «водяной лилией», Мелитта — «колосом», а Нелли — «маком».

В назначенный день Федя вышел на взморье. Нелли ушла к Агнесе и Мелитте, чтобы одеться. Отражение луны покачивалось в спокойно-взволнованном море, на горизонте слабо догорал розовый закат между лиловыми полосками туч.

Становилось все темнее. На помосте зажгли разноцветные китайские фонарики, заиграла музыка.

Вдруг из темноты вышли три девушки в белом. Впереди шла Мелитта.

Тело два-три раза было обернуто легкой, белой материей, свисавшей до земли. Из-под подола с каждым шагом виднелись ступни в греческих сандалиях. Руки оставались свободными. Черные волосы спадали почти до земли. На лбу был полувенок из васильков, а в волны ее длинных, мягких волос были вплетены васильки и колосья спелой ржи.

Все платье было усыпано живыми васильками и колосьями. Пучок их был прикреплен у пояса, под сердцем, весь подол был обшит ими. В руках она легко держала стройную связку колосьев, зернами вниз, украшенную двумя-тремя васильками. Глаза смотрели строго и величественно из-под слегка нахмуренных бровей.

Феде показалось, что он сейчас упадет, что остановится дыхание.

Как, это Мелитта? Та Мелитта, которая по ночам давила его копытами белых лошадей? Нет, нет, это — другая, в тысячу раз лучшая, святая и красивая, та, перед которой можно стать на колени.

А лошади — это был грех, тяжкий грех. Другие, смутные сны впервые охватывали душу мальчика. Сны, из которых потом стала складываться его жизнь.

А пока он смотрел, не отрывая глаз. Душа купалась в огне очищения. Он держался рукой за дерево, и губы шептали бессвязные, но священные слова любви.

V

Так прошло десять лет жизни Феди.

Он теперь уже большой мальчик. Он ходит в школу, конечно — в немецкую, приличную школу. Смотрит он задумчиво и спокойно. У него мягкие волосы, он всегда плохо причесан и плохо одет. Он учится очень хорошо, но хуже, чем некоторые подлизы, которые всегда все знают. Федя иногда плохо слушает, он никогда не подлизывается. У него есть друзья, но нет друга.

Родители всегда думают, что школа для детей — целая жизнь. Для Феди она — сон, жестокий сон. Он не видит школы, как не видит мамы. Пробуждение бывает, когда он собирает марки, когда он читает интересную книгу, и в те секунды, когда он вдруг слышит хруст снега под ногами или когда он думает о лете. Он никогда не осуждает школу. Так нужно. Не может быть иначе. Это — порядок. Если бы он был большой, он сказал бы: «Как ужасен порядок». Но он этого не говорит и не думает. Он думает, что все учителя русского языка должны заставлять делать переводы с немецкого на русский. Что арифметика состоит в том, чтобы узнать, какой купец выгоднее продал сукно. Что к уроку латинского языка надо зазубрить десять новых слов и стихотворение, в котором содержатся исключения. Ему все равно, чему его обучают. Какое дело ему, который купец продал сукно выгоднее?

Но там, где 50 мальчиков проводят каждый день в бесцветной комнате шесть скучных часов, там протест висит в воздухе и когда-нибудь должен прорваться.

Среди 50 мальчиков один — только один — был сыном сапожника. Он умел ругаться и говорить похабные слова. Он дерзил учителям, плохо учился и задирал тех, кто был слабее его. Его недолюбливали.

Каждую субботу в класс приходил директор, старый, сгорбленный австриец с красивой бородой, огромным лбом и орденом на груди. Он просматривал журнал, вызывал тех, кто был записан, и усталым голосом читал привычную нотацию, тускло глядя светло-голубыми глазами на мальчика, который провинился в том, что подсказывал, шумел или «пытался обмануть», списав мудреную задачу у товарища.

Затем он клал журнал на кафедру — в этот момент все вставали — и уходил, позванивая связкой ключей, которую он всегда носил в левой руке на цепочке.

Но в одну из суббот директор, положив журнал на кафедру, — и в этот момент все, как всегда, встали, — не ушел, а спокойно сказал:

— Садитесь. Колесников![12]

---

[12] В рукописи встречается также другие написания фамилии — Колесинский. При публикации принят первый вариант написания фамилии — Колесников.

Сын сапожника встал. Все оглянулись на него. Что ему скажут? Ведь он не записан.

— Колесников! Ты, вероятно, не понимаешь, в какой школе учишься... Наши традиции требуют, чтобы наши ученики ходили одеты *прилично*. Про тебя этого сказать нельзя. Заметь себе это и докажи, что ты понимаешь, в каком обществе ты находишься, учась в этих стенах.

Директор вышел.

Как только он вышел, все оглянулись на Колесникова. Никто ничего не понимал. Вдруг мальчики со страхом заметили, что Колесников плачет! Этот силач, задира, которого все боялись, плачет. Плакать вообще не полагалось. За слезы дразнили. Но эти слезы не были похожи на те слезы, за которые можно дразнить в перемену.

После звонка все обступили Колесникова. Но уже до звонка некоторые догадались, в чем дело, и разгадка передавалась «по телефону»: Колесников ходил в овчинном тулупе, как мужик, и в высокой мохнатой шапке, тоже из овечьей шерсти. Тулуп ему прислали из деревни, и у отца не будет денег на новое пальто.

Класс жужжал:

— Это несправедливо!

Слово было найдено, и это слово показывало, что мальчики знают другую справедливость, чем справедливость знаменитого директора и старейшей школы, основанной во времена Анны Иоанновны[13].

«Порядок» заколебался.

Это колебание учуяли старшие и с насмешкой просовывали голову к малышам. Старшие уже давно были посвящены во что-то такое, что позволяло им курить, обзывать учителей разными кличками, дружно шуметь на уроках и издеваться над паиньками-малышами, которые слушались выживающих из ума старых учителей. Они просовывали голову в дверь, чтобы высунуть язык или выкрикнуть обидные слова насчет коротких штанишек, но в сущности для того, чтобы узнать, что творится у малышей. Но их прогоняли. У класса появился секрет. Секрет состоял в том, что из картона был склеен кубик, в кубике была прорезана щелка, и в эту щелку дежурный каждому в отдельности предлагал опустить монету.

В кубик — символ справедливости — стали падать медные и серебряные монетки, спрятанные на конфеты, марки, на каток, на цирк. Когда ресурсы были исчерпаны, стали прикидывать — сколько собрано. Вот когда пошла настоящая арифметика! Высчитали, что каждый в среднем положил по десять копеек, а т<ак> к<ак> в классе в этот день без Колесникова присутствовало 52 человека, то и вышло, что в кубике должно быть 5 рублей и 20 копеек. На пальто и шапку не хватит! Денег больше ни у кого не

[13] Школа при церкви Св. Анны была открыта в 1736 г. в период правления императрицы Анны Иоанновны. Находилась в Петербурге по адресу: Кирочная, 8 (см.: *Антонов В. В., Кобак А. В.* Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 1996. Т. 3. С. 242).

было. Хотя ни один не уклонился от внесения своей доли, но были и такие, которые говорили, что Колесникову, должно быть, очень неприятно, что для него собирают деньги в его же присутствии (и в этой партии был Федя) и что денег собирать не нужно. Но Колесников вовсе не казался недовольным. Кулаки его никогда не могли быть без движения. Но сегодня они раздавали исключительно легкие, дружественные тумаки. Некоторые говорили, что надо попросить денег у родителей. Но это вызвало общее негодование. Почти все никогда ничего не рассказывали родителям о школе. Да, но как же быть?

Тогда Коля Васин, широкоплечий, всегда веселый идеалист с курчавой белокурой головой, блестящими голубыми глазами и очень широким ртом, который всегда приветливо улыбался, сказал:

— Вот что. Мы должны просить учителей нам помочь. Пусть они тоже что-нибудь дадут. Ведь они богатые.

Эта мысль всем понравилась, может быть потому, что ее высказал веселый Васин, которого все очень любили.

Дискуссия продолжалась две перемены. О «секрете» малышей уже знала вся школа, но теперь это казалось неважным.

Следующий урок был урок арифметики у классного наставника, господина Зекенгофа. Было решено, что кубик поставят на кафедру и что дежурный объяснит, в чем дело.

Господин Зекенгоф был маленький черный толстяк, страдавший одышкой, а потому часто бывавший в дурном расположении духа. Но у него бывали дни, когда вдруг начинал острить, и тогда он становился добрее. Все помнили, что однажды, когда в классе была пущена стрела, он вызвал виновного к кафедре, долго рассматривал стрелу и сверху, и снизу, и со всех сторон, как будто он видел очень любопытную вещь, а потом, взглянув на виновника, сказал: «В следующий раз я засуну тебе стрелу в нос. Садись».

Теперь, когда некоторые скептики говорили, что дело с Зекенгофом может кончиться плохо, им отвечали:

— А помнишь, как он про стрелу сказал?

Против этого ничего нельзя было возразить, и кубик был поставлен на кафедру.

Как только появился господин Зекенгоф, все поняли, что дело проиграно. Он был не только мрачен, он свирепо шагнул к кафедре мелкими тяжелыми шагами, гораздо быстрее, чем всегда, расписался и с треском захлопнул журнал. Затем, не говоря обычного «садитесь», обратил свои маленькие, выпуклые глаза на дежурного, который в струнку стоял около кафедры, показал пальцем на кубик и спросил:

— Это что?

— Это... кубик.

— Кубик?

Господин Зекенгоф размахнулся со всего плеча и с такой силой и ловкостью ладонью хлопнул по кубику, что он перелетел через головы учеников, ударился о противоположную стенку и со звоном упал на пол.

В классе была мертвая тишина.

— Я вам покажу кубик!

Лицо господина Зекенгофа налилось кровью.

— Садитесь! Дежурный! Моментально подобрать эту вещь и все деньги раздать обратно.

Дежурный подходил к каждому отдельно, спрашивал: «Ты сколько?» и раздавал деньги. Тут обнаружилось, что некоторые дали только две или три копейки, что больше у них не было.

— Кончил?

— Кончил. Имею доложить, что осталось семь копеек.

— Семь копеек? Давай их сюда.

Урок пошел своим чередом. Больше господин Зекенгоф никому ничего не сказал.

Но история этим не кончилась. Краткое заключение ее наступило через неделю: Колесников пришел в новом черном пальто и новой шапке.

— Откуда же у тебя пальто?

— Директор дал 25 рублей на пальто и на шапку.



Так мальчики проучили директора. С этого события в душе класса и в душе Феди начала происходить перемена: появилась критика. То один, то другой стал передразнивать учителей. Федя стал учиться заметно хуже. Смутное чувство, что не он плохой, как всегда говорили учителя и большие, а что что-то другое плохо, это чувство понемногу созревало в новую мысль и создавало нового Федю. Из прилежного ученика он понемногу превращался в лентяя — потому что учителя очень глупы. Поведение его начало портиться. Он с удовольствием и принципиально стал болтать на уроках, подсказывать, вообще — делать запрещенное. В его манерах стало появляться нечто вызывающее. Дома он стал держать себя букой, и Боба называл его «профессором кислых щей».

VI

Папа позвал Федю в кабинет.

Это было <так> необычайно, что Федя сразу спросил себя: «А в чем я виноват, что я наделал?» И собирал в голове свои провинности.

С папой никогда не бывало никаких разговоров. Разговоры каждый день бывали только такие:

— Что сегодня в школе?

— Ничего не было.

— Не спрашивали?

— Нет.

— А письменных?

— Не было.

Папа целый день проводил в конторе. Он приходил только обедать (и вышеописанный разговор всегда происходил перед обедом у умывальника), после обеда опять уходил в контору, потом приходил часов в семь, переодевался в сюртук и опять уходил.

По субботам бывало еще, что папа говорил:

— Федя, заведи часы.

Часы висели в кабинете, в столовой и в спальне, и каждую субботу Федя должен был их заводить. Больше никаких разговоров с папой не бывало.

Впрочем, был не один папа, их было несколько, совсем разных.

Один — тот, который, придя из конторы, всегда очень тщательно мыл лицо, руки, голову и задавал вопросы о школе, вытираясь полотенцем. Этот папа, сидя за столом, с детьми не говорил. Он ел не так, как все. Он брал большую салфетку, один конец затыкал за воротник, а другой конец пододвигал под тарелку. Тарелка тоже ставилась не так, как ставят ее все: она ставилась почти в середину стола, так что салфетка образовывала как бы дорожку. Очень, очень медленно мягкие, пухлые пальцы, очень короткие и обросшие волосами, подводили ложку к губам, обвисшим усам и бороде. По дороге с ложки капало на салфетку, и капли супа оставались на бороде и слизывались языком. Когда папа открывал рот, челюсти у него всегда хрустели. Впрочем, Федя иногда себя спрашивал: «Воротник это или челюсти?» Но решить не мог.

Когда Федя спросил Бобу, отчего папа так ест, Боба объяснил. Папа — из крестьян. У них горшок ставится в середину стола, и потому папа так далеко отодвигает тарелку. Черпают ложкой все по очереди, и потому папа так медленно берет ложку за ложкой. Он так привык.

Этот папа, тот самый, который так ест и спрашивает про школу, за все должен платить. Это — его назначение. Когда нужно что-нибудь купить, мама берет детей, идет в контору, и там папа идет к кассиру, и им дают денег. У папы вид недовольный, а у мамы — виноватый.

Это — один папа. Когда этот папа приходит, то хочется спрятаться, уйти в другую комнату.

Другой папа бывает при гостях. Этот папа уже ест как все. Он хорошо одет, и вдруг видно, что он красив, что у него красиво лежат волосы, что у него блестящие, карие глаза, которые весело смеются. Он всем подливает, и на столе бывают такие вещи, которых детям не дают, когда нет гостей. Он смеется, шутит, дети смотрят на него с восхищением, и им кажется, что он лучше всех. Этот же папа в вагонах, или в других местах, где есть много

людей, сразу со всеми знакомится, рассказывает необыкновенные истории, всех девушек дразнит женихами, с которыми он их якобы вчера видел под ручку, и пробует вставить в свою речь французские слова. Но так как он по-французски знает только несколько слов, подхваченных от детей, и эти слова он коверкает, то выходит очень смешно и весело. Он утверждает, что «поздравляю» по-французски будет «простокваша», что он однажды так поздравил француженку с днем ангела и что она нисколько не удивилась, и, значит, это верно. Все маленькие дети от него в восхищении. Когда Феде было еще года четыре, он, чтобы поцеловать папу, должен был приносить лесенку и залезать на третью ступеньку. Папа стоял, как свечка, лицо его смеялось, пока малыш с лесенки тянулся к его губам. На этого веселого папу был похож Боба, только Боба был шире, плотнее, и у Бобы были жесткие, курчавые волосы, которые он стриг ежом, а у папы волосы были мягкие и тонкие и лежали на голове одной большой волной.

Который же папа звал его в кабинет? Ох, как не хочется идти!

Когда Федя открыл дверь кабинета, папа стоял у стола совсем один и барабанил пальцами.

Федя взглянул на папу.

Он увидел новое лицо. Папа вдруг стал похожим на Нелли, у него было виноватое и беспомощное лицо, а на лице была какая-то кривая и добрая улыбка.

Феде сделалось неловко и немножко страшно. Вдруг папа заговорит о чем-то таком между ним и детьми, о чем дети только смутно догадываются, о чем не смеют думать, вдруг он начнет просить прощения или что-нибудь в этом роде?

Но вышло совсем другое.

— Федя, я тебя позвал вот для чего. — Глаза папы о чем-то просили. — Я, видишь ли, хочу купить землю. Ты ведь знаешь, я из колонистов, из саратовских немцев. Ни один человек не должен забывать свою родину. Ну вот, там мне предлагают один хутор. Мы там устроим плодовый сад, малинник, разведем земляники, крыжовнику.

Федя уже рисовал себе, как он будет рвать яблоки и объедаться земляникой.

— Потом мы разведем свиней, коров, и у нас будут свои лошади.

«Свои лошади» особенно понравились Феде.

— Только это очень далеко. Туда надо ехать три дня. Но это ничего. Можно ехать и по Волге.

Федя моментально представил себе Волгу, белый пароход, и он на палубе в бинокль смотрит на берега.

Глаза его уже сияли.

— Что же ты думаешь?

— Я думаю, что это будет очень хорошо.

— Ты думаешь? Ну, обними и поцелуй меня, мой сын. Да, я тоже так думаю.

К удивлению, папа вынул носовой платок и углом платка вытер из каждого глаза по слезинке, одним углом — из левого, другим — из правого.

Но отчего он плакал?

Вечером дети обсуждали событие.

Боба, по обыкновению, все знал. Он знал, что папа любит свою колонию и что ему хочется иметь там землю, а мама — не хочет, и вот теперь папа зовет детей, чтобы сказать: видишь, дети тоже хотят.

Но Нелли с этим не соглашалась. Тут что-нибудь другое. И кроме того, ведь мама ничего об этом не говорила. Она, как всегда, шила и убирала, разливала чай и была очень спокойна.

VII

Весной поехали на хутор.

Когда поезд тронулся и бесшумно, мягко покатился по рельсам, Федя высунулся из окна, и ему хотелось кричать. Поезд на выезде шел медленно и часто свистел. На поворотах Федя видел мощный паровоз, уверенно разрезающий пространство. Если бы паровоз вдруг снялся с рельс и поезд понесся к небу, Федя удивился бы не очень.

За городом поезд пошел быстрее. Замелькали телеграфные столбы, и мир побежал назад, вращаясь, как на тарелке.

Да, это совсем не то, что ехать на дачном поезде. Это — скорый поезд, который с грохотом проносился мимо станций, семафоров, будок стрелочников.

Ехали вчетвером — мама и дети.

В Любани Федя и Боба ходили за кипятком. Федя находил, что это очень умно устроено, что на больших станциях есть кипятильники.

Вот и Волхов, по которому — Федя это уже знал — Садко, богатый гость, плыл на своих ладьях; вот Тверь и Волга, где Крылов на плотах тарабарил с прачками, от которых и заимствовал свой народный язык — так он прочел в его биографии. Вот Москва, которая горела в 12 году, а за Москвой стали теряться елки и сосны, пошли поля, поля, и скоро совсем не стало лесов, было море земли, была степь.

Федя не отрывался от окна. Он молчал и смотрел, и глаза его горели. Ночью он спал на верхней полке, чтобы и тут можно было смотреть из окна. Было жаль, что надо спать, хотелось все смотреть, но усталые глаза слипались сами, и Федя спал крепко и сладко.

Так ехали три дня.

Поезд прибыл в три часа ночи на маленький полустанок, обсаженный пирамидальными тополями. Тополя были мокры от росы, и сквозь блестящие листья просвечивал свет станционных фонарей.

В лицо пахнула свежая, росистая сырость.

Когда поезд ушел и вдали показался красный огонек последнего вагона, который все уменьшался и уменьшался, стало совсем тихо, так тихо, что вдруг стало слышно пение петухов.

За станцией фыркали и похрапывали лошади, бряцали уздечками и с хрустом жевали сено. Пара лошадей была запряжена в обыкновенную крестьянскую телегу. Это были собственные лошади, ожидавшие хозяев. Смотреть было так много, что Федя не успевал видеть всего, но лошадей он рассмотрел досконально. Однако лошади ему не понравились. Он ожидал увидеть огненно-черных рысаков, а один конь был рыжий с белыми ногами, грузный, тяжелый, с очень широкими копытами и толстыми коленями. Другой был маленький черный конек, вероятно — очень быстрый и шустрый; он уже не жевал сена, а остро смотрел на людей, вздрагивал, чего-то боялся и вскидывал головой. Вот так пара! Один был Султан, а другой — Солдат. А впрочем, нет, все-таки лошади — чудесные. Федя похлопал по шее того и другого, потрогал ноздри, гриву, провел рукой по их спине, а потом понюхал свои руки. Они великолепно пахли лошадьми.

Федя, конечно, забрался на переднюю скамейку. Впереди была степь, а вдали розовел край неба. Лошади тронули. Ехать надо было верст тридцать. Звезды потухали, небо становилось бесцветным. В бесцветном утре стали обрисовываться все новые и новые незнакомые предметы. В это утро он узнал больше, чем за весь год в школе. Он в первый раз увидел, как растут пшеница, ячмень, просо, гречиха. Вдали было поле молодых подсолнечников. Целое поле! А вот цветут арбузы, дыни. Подумать только! Он будет рвать арбузы!

Вдруг запел жаворонок. Когда взглянул на край неба, он так и ахнул. Там в безмолвии совершалось величайшее чудо. Где-то за холмом было солнце, и оттуда веером далеко по небу расходились потоки лучей, прорезая тучи. Возможно ли такое сияние в действительности? Да, так рисуют восход солнца, но Федя никогда не думал, что это возможно. Вдруг в глаза ему брызнул острый, золотой свет: взошло солнце.



Темная, городская муть разом соскочила. Федя испытывал дружественные чувства ко всем людям, и в особенности — к кучеру, который равнодушно почмокивал губами на лошадей и с любопытством глядел на мальчика, который так много спрашивал и не умел отличить пшеницы от ржи и дыни от огурцов. Кучер курил необыкновенную трубку с блестящей крышкой и с отверстиями, через которые проходил дым. Когда трубка потухала, он разжигал ее не спичкой, а железкой, которую он раз десять уда-

рял о черный камень, разбрызгивая искры. Федя тоже захотел развести огонь таким интересным способом, но у него ничего не выходило. Кучера звали Ханнпорг, что означало — Иоанн Георгий. Он говорил ужасным немецким языком, который нельзя было понять. На нем была большая черная шляпа, лицо его было брито, ему было лет за пятьдесят.

Тридцать верст проехали незаметно. Когда вдали зачернела полоса почти черного дубового леса, кучер протянул кнут и на своем ужасном языке объяснил, что там — дом, куда едут. Дом еще не был отделан. Когда вошли, запахло сосной. Пол был белый, некрашенный, посыпанный песком.

Федя вышел на балкон. От балкона тянулась прямая, широкая дорожка, и по обеим сторонам дорожки росли белые цветы. Конца дорожки не было видно. Сад был только посажен, и Федя с грустью узнал, <что> яблоки будут только через пять лет. Он без шапки побежал по дорожке, вдыхая утренний росистый воздух.



Месяц прошел, как день. Если Феди не бывало дома, то все знали, что он или в конюшне, или за рекой. В конюшне он гладил и чистил лошадей, он ласкал их, как братьев или друзей. Он знал каждую жилку их тела, любил трогать их нежные, чувствительные ноздри, он знал, какие у них зубы, он следил за их испражнениями, чтобы установить, не испортились ли у них желудки от жмых<а>. (Этому научил его Ханнпорг.)

Если он не бывал в конюшне, то он был за рекой, через которую отправлялся на челноке, научившись грести одним веслом с плеча. За рекой был молодой дубовый лес. Много лет тому назад река текла другим руслом, и старое русло протянулось по лесу длинными прудами, где росли водяные лилии и водились утки и гуси. Над прудами всегда вились чайки. Лягушки водились тысячами — огромные, пятнисто-зеленые. Они сидели на листьях водяных лилий и бессмысленно и неподвижно смотрели в стороны. Никогда прежде Федя не слышал, как квакают лягушки!

В нем проснулся бродяга. Он заседал в камыши и с замиранием сердца смотрел, как утка выводит своих утят, тихо покрякивая. Он знал все выводки. На каждом пруду их было по несколько. Один раз — только один — он видел гусыню. Утка всегда плыла впереди птенцов. Птенцы окунали голову в воду, и если отставали, то спешили нагнать свое маленькое семейство, изо всех сил работая лапками, т<ак> что был виден каждый толчок. Когда он первый раз увидел черепаху, он не поверил своим глазам. Ему казалось, что черепахи водятся только в Африке и в жарких странах. Он поднял черепаху и рассмотрел ее всю. Она прятала голову и ноги, но между щитами оставалась щель, и оттуда сверкали маленькие, черные глаза, блестящие и злые. Он бросил ее в воду, и она мигом исчезла, поплыла вдоль дна.

По вечерам он часто наталкивался на ежей. Федя уже знал, что если еж заслышит человека, он скатывается в шарик, и его можно поднять только

3 Зак. 3360

за иголку. Если ежа тронуть ногой, он подскакивает от страха и начинает пыхтеть, как паровоз. Но еж плохо видит и слышит. К нему можно подойти вплотную, но для этого Федя изобрел хитрость. Если еж шевелится, то трава шелестит, тогда можно шагнуть, он не слышит, но если он остановится, надо стоять. Так можно подойти и увидеть рыльце, которое еж подымает в воздух, вынюхивая врага и шевеля ноздрями. Маленькие ежики еще не сплошь покрыты иглами. У них смешные ноги, которые длиннее, чем ноги старого ежа. Ящерицы восхищали его сверканием своих зеленых спинок, а ужи — блеском своих черных, гладких спин и золотой коронкой на голове. Очень редко удавалось видеть, как по опушке крадется лисица. Ночью из степей доносился тонкий вой волков.

Федя загорел, поздоровел, приходил из лесу оборванный, всегда опаздывал к обеду и ел за четверых.



С вечера мама велела ему встать на следующее утро пораньше, одеться во все чистое, надеть воротничок и галстук и вычистить ботинки.

— Ты поедешь за покупками в город, к дяде Вите.

Надо было ехать до станции, а оттуда три часа по железной дороге. В городе жил дядя Витя. Дядю Витю Федя раньше никогда не видал, но как только услышал о нем — невзлюбил его. У дяди Вити — булочная, и Феде сказали, что он должен у него остановиться и что он поможет все закупить.

На следующее утро на рассвете мама провожала Федю. Она поправляла ему воротничок, который с обтачки жал шею и из которого хотелось высунуть голову куда-то на свободу. Ботинки жали ноги, и в городской курточке было жарко и неудобно.

— Вот тебе деньги. И веди себя хорошенько.

Федя смотрел с балкона в сад и думал о том, как в городе за прилавком стоит дядя Витя и за деньги дает людям булки.

— Не потеряй письмо. И не забудь взять гвоздей и синьки.

Федя поехал на станцию. Он был не в духе. И совсем не надо ему ехать в город покупать глупую синьку.

Когда он вошел в поезд, он не сел в вагон. Он остался на площадке и всю дорогу слушал, как стучат колеса о рельсы.

Федя приехал город. Вот булочная и кондитерская — угловой дом с большими окнами. Федя вошел. В булочной никого нет. Только за кассой сидит женщина с белым лицом и белыми пухлыми руками, которые видны по локоть. Не говоря ни слова, Федя подал ей конверт. Женщина, не дочитав письма, обняла его.

— Ах, так это ты? А я тебя помню вот каким... — и показала рукой от пола, каким его помнила.

Пришел дядя Витя. Ему уже сказали, что жена его обнимает какого-то мальчика, и потому лицо его улыбалось. Федя взглянул на дядю исподло-

бья. У дяди правая бровь была выше левой, и он немножко косил. Оттого у него было такое лицо, будто он только что сказал: «неужели?» Федя смотрел на это лицо с удивлением. Он уже не боялся дяди. Но когда дядя захотел его обнять, Федя отвернул лицо так, что дядя поцеловал его около уха. Дядя что-то спрашивал, но Федя с удивлением смотрел на его брови и глаза. Федя никогда не мог смотреть людям в глаза, он краснел. Он даже краснел, когда на него смотрела лошадь. А теперь он смотрел <в> глаза дяди и не краснел. Федю повели через магазин в комнаты. Ему хотелось остаться в булочной. Здесь под стеклом лежали конфеты. На подоконниках были стеклянные полки, и на полках тоже лежали печенье и конфеты.

А за прилавком стояла девушка с красными щеками и весело посмеивалась, когда дядя обнимал Федю. Феде приятнее было бы смотреть на конфеты, на веселую девушку, чем идти за дядей. Но дядя и тетя повели его в комнаты. В комнатах было темно и пахло чем-то кислым. Здесь никогда не открывали окон. Феде дали умыться. Потом тетя сказала: «Не хочешь ли с дороги соснуть?» И показала Феде кровать.

Кровать была деревянная, очень большая — для двоих. На спинке были изображены венки из незабудок, а в венках витали амуры с крылышками. Покрыта была кровать снежно-белым одеялом, а в головах под кружевной накидкой лежали четыре взбитые подушки. Феде показалось, что эта кровать — заколдованная. Если в нее лечь, то нельзя будет выйти. И он отказался от сна.

Час спустя подали обед. Вместе с Федей в комнату вбежали мальчик и девочка. Они подбежали к матери, стали друг на друга жаловаться. У детей были кривые ножки и широкие головы. На Федю они не обратили внимания, и Федя с ними не поздоровался, хотя знал, что так делать нельзя.

Во время обеда дядя рассказывал, как делают колбасу. Феде было очень противно слушать, так противно, что не хотелось есть. А тетя и дядя говорили: «Кушай, миленький», — и рука, мягкая как масло, гладила Федю по голове. Надо было кушать. Феде казалось, что он проглотил взбитые подушки с кровати, и что он сам — белый, мягкий, противный. Он даже вспотел. Когда принесли пирожн<ые, Федя> встал со стола и убежал.

Вечером дядя завязал Феде пакеты и опять обнимал его. Тетя тоже обнимала и сказала:

— Скажи маме, что скоро и мы к вам пожалуем.

Всю дорогу Федя опять слушал, как стучат колеса. Дома он сказал, что пакеты упали под вагон.



Неделю спустя дядя и тетя приехали на дачу.

Был вечер, и все сели на ступеньки балкона. В саду росли цветы — ночная красавица. К ночи они стали распускаться и благоухать. Но дяде не нравились цветы. Он говорил, что землю нужно распахать и вместо цветов посадить малину и землянику, чтобы из земли извлечь капитал.

За садом текла река. Но реку, по мнению дяди, следовало отвести, использовать силу воды и построить конфетную фабрику. Он спрашивал, чья земля, чей лес, больше ли доходов получает владелец.

Когда стало темно, дядя ударил себя по ляжкам и сказал:

— Завтра мы пойдем на охоту.

Федя никогда не думал, что булочники тоже ходят на охоту. Он ущипнул Федю за ухо, и это должно было означать ласку.



На другое утро Федя должен был на лодке перевезти дядю через речку и в лесу водить его по прудам. Федя хорошо знал, где есть утки. Он любил сидеть в камышах и смотреть, как старая утка выводит на воду своих утенышей.

<Было> раннее утро, солнце только что поднялось. Федя рассказал дяде, что когда-то речка текла лесом, но потом она пошла другим руслом, а от старого русла остались длинные озера и пруды. Но дядя не слушал Федю и даже велел ему молчать. Сам он говорил шепотом. А когда они подошли к первому пруду, дядя стал поднимать ноги выше травы, чтобы не производить шуму.

— Ты пойдешь с левой стороны озера, а я — с правой. Ты потихоньку шарь в камышах палкой. А чтобы нам не потеряться, я буду тебе свистеть вот так, и ты тоже свисти так.

Но Федя подумал: «Я все равно свистеть не буду. Настоящие охотники так не делают».

Солнце играло по верхушкам осин и берез. В траве блистали капельки <росы>. Было прохладно. Федя не стал шарить в камышах, а просто пошел берегом. Он думал: если дядя убьет утку, то можно посмотреть, какие у нее перья, лапки, глаза, клюв. И есть ли у них зубы? Но будет жаль, что старая утка уже не будет выводить утят. А на убитой утке будет противная кровь и потому уток вовсе не надо пугать. Дядя иногда посвистывал, но Федя отвечал: «Здесь».

Вдруг раздался выстрел и на другом берегу поднялся дымок. Федя спросил, есть ли утка, но дядя ничего не ответил. Через некоторое время он опять посвистел. Когда Федя сошелся с дядей, он спросил, что случилось.

— Ничего, дорогой. Я упал, и ружье выстрелило.

Федя увидел, что дядя ходит с взведенным курком и палец держит на пружине. Он стал просить, чтобы дядя так не ходил, но дядя только засмеялся.

Они обошли всего четыре пруда. Ружье выстрелило еще два раза, но дядя <никого> не убил, и оба стали возвращаться домой. Федя пошел за спиной дяди, чтобы тот не мог его убить. Они пошли лужайками прямо к речке.

Когда они стали подходить к опушке леса, Федя увидел, что дядя наклон<ил> голову и приложил ружье к плечу: он целился. Грянул выстрел. Только теперь Федя заметил, что перед ними был заяц. Заяц бежал прямо к лесу. Он был ранен и бежал короткими хромыми прыжками и с каждым прыжком махал головой. Дядя пустился вдогонку.

Заяц исчез за пнем и спрятался. Дядя изо всей <силы> бежал прямо на пень. Но, добежав, он с размаху спотыкнулся и упал руками прямо на зайца. Заяц сделал еще несколько прыжков и закричал. Федя никогда не слышал, как кричат зайцы. По его телу пробежали мурашки.

Федя поскорее отвернулся, но он все-таки увидел, как дядя несколько раз ударил зайца прикладом. Потом дядя опять зарядил <ружье>. Но когда они пошли домой, Федя уже не старался идти за дядиной спиной.



Весь день Федя не говорил ни одного слова. Вечером он ушел от всех, пошел по двору. Он увидел через щелку свет в сарае и пошел туда. Ему показалось, что там работник, которого он любил. Но в сарае оказался дядя. Дядя был без пиджака. Он сдирал шкуру с зайца. Заяц висел на большом гвозде. Когда он содрал шкуру, он взял кривой садовый нож и распорол зайцу брюхо. Он захихикал.

— Иди-ка сюда. Здесь есть интересное для тебя.

Федя подошел. Он увидел, что перед ним зайчиха. Во чреве ее лежала цепь зайчат. Под тонкой пленкой он увидел синие жилки. Головы были больше туловища, и в них сидели круглые глаза. Самый большой должен был родиться, а меньший был похож на бобок. Когда Федя вышел на двор, он заплакал. Он сжал кулаки. Почему все люди такие злые, а все твари — хорошие? Он рыдал от бешенства и злости. Смутное желание мести и страстное желание победить — победить во что бы то ни стало — наполнило всю его душу. Когда он вышел к ужину, около губ лежала жесткая складка.

VIII

Эта жесткая складка не проходила. Потянулись долгие годы — годы отрочества. Каждое лето ездили на хутор. Но с годами стало неинтересно ходить на речку или чистить лошадей в конюшне. Теперь Федя научился стрелять из пистолета. Но стрелять в ворон он не мог. Он помнил, как когда-то вытошнило ворону — это было так по-человечески, и ему казалось, что убить ворону — это все равно, что убить человека. В сере-

дине реки торчали колья. С высокого берега Федя стрелял в эти колья. Пули с брызгами врезались в воду или с легким щелканьем втыкались в дерево. Он стрелял с утра до обеда и с обеда до чая. Но когда он научился стрелять без промаха, то и это стало неинтересно.

Всякому занятию Федя предавался со страстью. Теперь, оставшись в мире один и видя каждый день все то же самое, все то же самое, Федя должен был уйти в книги.

У папы была библиотека. Федя со страстью набросился на книги. Но из книг его всегда интересовало только одно: его интересовал первый том с биографией. Одну за другой Федя поглощал биографии писателей. Он читал их без разбора: понемногу он узнал жизнь Брентано[14], Тика[15], Новалиса[16], Гердера[17], Виланда[18], Лессинга[19], Шиллера[20], Гете[21], Эйхендорфа[22]. Эмпирический мир превращался в призрак, в мираж. Призрачный мир становился реальнейшей действительностью, для которой забывался обед. Все это — немецкие писатели, потому что такова была библиотека отца. Были и русские классики, но Пушкин, Гоголь, Толстой были без биографии, Достоевский был с критикой, в которой он ничего не понял, и только Тургенева Федя научился знать и любить.

Так с отрочества создалась немецкая ориентация Феди. Но даже если бы ему попалась биография Пушкина, он не стал бы ее читать. В школе он получил неудовлетворительную отметку за сочинение «Петр Великий в произведениях Ломоносова и Пушкина» — и Пушкина презирал за такие скучные произведения, как «Полтава» и «Медный всадник». Поневоле Федя примерял этих великих людей к окружающим и к себе, не понимая, на какой опасный, на какой гибельный путь он становится. Был ли кто-нибудь из окружающих его людей похожим на этих великих? Мог ли он сравнить своего отца с Новалисом или Бобу с Шиллером? Он презирал отца за то, что он не похож ни на одного из своих богов. Федя не мог иметь друзей. Друзья его говорили о вооружении броненосцев, играли в футбол или возились с электрическими проводами. Но он примерял их не только к окружающим. Он примерял их к себе: он, да, он — несомненно похож на

---

[14] Брентано Клеменс (1778–1842) — немецкий писатель.

[15] Тик Людвиг (1773–1853) — немецкий прозаик, драматург.

[16] Новалис (наст. фам. Фридрих фон Харденберг; 1772–1801) — немецкий поэт, прозаик, философ; представитель Иенской школы романтизма.

[17] Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий философ, литературовед, писатель.

[18] Виланд Христоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель.

[19] Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) — немецкий драматург, теоретик искусства, критик.

[20] Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства.

[21] Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт.

[22] Эйхендорф Йозеф фон (1788–1857) — немецкий поэт, прозаик, драматург.

всех тех людей, о которых он читал. А если он не похож сейчас, в 14 или 15 лет, то он будет похож на них в 20 или 30. Он — в будущем великий человек. Это вне всяких сомнений. Но этого никто не знал, это знал только он сам. Он знал, что у него есть призвание. Призвание это им смутно чувствовалось, но в чем оно состоит — этого вопроса он себе никогда не задавал.

Когда были перечитаны все биографии, Федя принялся за другое: он принялся за музыку. Да, это было совсем другое, чем серые будни, которые он видел изо дня в день.

Музыке его начала учить Рыжая. Она садилась в соседнюю комнату с кофе и печеньем, открывала дверь и смотрела ему в спину. Она заставляла его ударять сразу пять клавиш пятью пальцами. Потом говорила:

— Теперь 50 раз ударь вторым пальцем, 50 раз третьим, 75 раз четвертым и 75 раз мизинцем. Потом вторым и третьим, третьим и четвертым, четвертым и пятым, потом всеми пятью подряд.

Потом пошли гаммы, скучнейшие упражнения и маленькие мелодии в четыре руки с Нелли. После Рыжей была старая, близорукая француженка, которая роняла пенсне на клавиши и ругалась, как извозчик. Учительница объявила, что у Феди нет никакого слуха и что музыке его учить не стоит.

Но теперь как-то само собой случилось, что он стал разбирать сонаты Моцарта. Над 4-й сонатой он плакал непритворными слезами. Да! Это прекрасно, это — другая жизнь, сладкая и чистая, которой он хотел бы жить. Он стал делать успехи и скоро без учительницы обогнал Нелли и Бобу. Но после музыки еще меньше хотелось говорить с людьми, еще меньше хотелось их видеть. И опять Федя уходил духом в далекую Германию. Нелли и Боба играли в четыре руки из опер Россини, Верди и Гуно, и Федя чувствовал, что это «не то», «неинтересно» и «пошло».

Теперь Федя купил себе историю музыки «От Палестрины до Малера» и стал читать ее с упоением. Он прочел все биографии Моцарта и Бетховена, какие только мог достать. После биографий он стал читать письма. Письма Бетховена потрясли его не менее, чем его сонаты и увертюры.

«О Menschen, die ihr mich für störrisch oder misantropisch haltet...»[23]

Случайно в то же время, когда он читал письма Бетховена, он наугад взял том из отцовской библиотеки. То был Новалис. Биографию его он знал. Но вообще Федя меньше читал произведения, чем биографии. До произведений он еще не созрел. Но тут ему открылись «Гимны к ночи»[24]. Он прочел их стоя у шкафа, не закрыв даже двери. Они захватили его с первых слов.

Прочитав все девять гимнов, Федя тихо закрыл шкаф и, как лунатик, подошел к столу. На первом попавшемся листе он вывел заглавие: «Демон», и из-под пера полились первые строки. Это было бесформенное

[23] «О, Menschen, die ihr mich für störrisch oder misantropisch haltet...» — «О, люди, считающие меня упрямцем или мизантропом...» (*нем.*).

[24] «Гимны к ночи» — лирический цикл Новалиса.

стихотворение к Демону Врубеля[25], неуклюжее, тяжеловесное, начинавшееся словами

Heiliges Inbrunst voll...[26]

С этого момента Федя заболел писательским зудом и каждый день писал по два-три стихотворения, которые он никому не показывал и хранил запертыми в ящике.

Федя стал замечать, что все к нему понемногу стали изменяться. Боба перестал его задирать. Ему даже почудилось, что Боба его уважает.

— Федя у нас умный.

За столом он ловил на себе влюбленные глаза Нелли, которая уже была маленькой барышней. Нелли обожала своего младшего брата. Ей всегда надо было кого-нибудь обожать.

Однажды вечером, когда Федя опять писал стихотворение, в котором говорилось о белом душистом цветке, от запаха которого умирают, дверь отворилась и вошел Боба. Боба в этом году должен был кончить гимназию. Теперь он ходил в пиджаке, с воротником и манжетами, носил мягкую шляпу и держал себя немножко джентльменом. Он учился хорошо — гораздо лучше, чем Федя. Каждый вечер он просиживал за занятиями до девяти-десяти часов, даже по ночам он говорил по-гречески. Федя в это время просиживал за книгами, стихами или за роялем. Он учился плохо. У Бобы все книги всегда лежали в полном порядке, уже с вечера он собирал все, что нужно на следующий день в школе. <Федя> же ложился спать, не закрыв книги, вскакивал из постели в самую последнюю минуту, хватал книги и тетради и бежал в школу, не напившись, а иногда и не умывшись. Братья никогда не ходили в школу вместе: Боба приходил всегда вовремя, Федя часто опаздывал. <Федя считал Бобу> прилежным, но немножко ограниченным, и ему было немножко жаль его за то, что он не такой умный, как он, и никогда не слышал про Новалиса.

Боба сел на диван, Федя закрыл свой стих кляксщапиром.

— Что ты делаешь?

— Ничего не делаю.

— Ты пишешь?

— Об этом нетрудно догадаться, раз передо мной лежит бумага и перо.

— Что ты пишешь?

— А тебе какое дело?

У Бобы было робкое лицо, и он смотрел на брата странными, добрыми глазами.

— Знаешь что, прочти мне что-нибудь! Ты всегда так молчишь...

Федя был побежден в одну секунду. Он всегда думал, что Боба — ограниченный, он только и делает, что учит уроки, разве он может что-нибудь

[25] Тема Демона представлена у М. А. Врубеля картинами «Демон» (1890) и «Демон поверженный» (1902).

[26] Heiliges Inbrunst voll — священного пыла преисполненный (*нем.*).

понять? Федя не признавал брата, а вот Боба признал его и тем сразу стал выше брата. У Феди подступил к горлу какой-то комок. Ему захотелось броситься ему на шею, о чем-то просить у него прощения. Но он себя сдержал. Дрожащим от волнения голосом он спросил:

— Что же тебе прочесть?

— Все равно.

Федя прочел ему «Демона». Боба сидел на диване, задрав под себя ноги. Он серьезными глазами смотрел на Федю.

— Это... это ты сам написал?

— Ну, конечно.

— Ты, наверное, будешь поэтом?

— Не знаю, ах, я ничего не знаю.

— Ну, пиши, я тебе не буду мешать.

Боба ушел.



Феде казалось, что теперь должно что-то измениться. Он стал менее зол и груб. Но вся его мрачность вернулась, когда в одну из суббот папа, садясь за ужин и взглянув на часы, злорадно улыбнувшись, сказал:

— Ну, поэт, заведи-ка часы!

Вся кровь бросилась ему в лицо. Он сразу встал из-за стола, принес лесенку (с которой когда-то он целовал папу) и, ни слова не говоря, стал заводить часы.

Никогда, никогда и никому он не будет больше читать своих стихов.

Была еще причина, почему Федя не хотел показывать своих стихов: большая половина его стихов были любовные.

Такого дня, чтобы Федя не был влюблен, не бывало. Он был влюблен всегда, и всегда до самозабвения. Бывало даже, он бывал влюблен сразу в двух или трех. Но ни одна влюбленность не достигала той силы, как его первая любовь к Мелитте.

Была горничная Аннушка, с круглым лицом, круглыми черными глазами и широкой грудью. Он заметил ее, когда ему надо было скорее пришить воротник к рубашке, потому что Федя потерял запонку.

— Аннушка, скорей пришейте мне воротник.

Аннушка стала рыться в рабочей коробке, достала ниток и иголку и долго облизывала нитку, которая не хотела входить в ушко. Наконец она подошла. Федя стоял, заложив большой палец за курточку.

— Вздымите-ка подбородок!

Аннушка подошла совсем близко и чуть-чуть наклонилась, чтобы посмотреть воротничок. Когда она выпрямилась, подняла руки, чтобы шить, то и груди ее поднялись, и Федя почувствовал, как его рука уходит во что-то мягкое, теплое.

Это было так неожиданно, что Федя чуть не упал. Ему казалось, что не только рука, что сам он, весь он, со всем своим дыханием погружен в какое-то новое, острое человеческое блаженство. Вынуть или не вынуть руку? Аннушка все шьет, ее правая рука мерно вытягивается и возвращается к его шее. Если вынуть руку, она заметит, и будет очень стыдно. Федя не вынимает руки и, стиснув зубы, тяжело дышит. Наконец Аннушка кончила шить, о страшное блаженство, плотно прикладывает свою голову к его шее, она вся прикладывается к нему и откусывает нитку.

На уроке геометрии Федя впал в раздумье. Пока вызванные к доске чертили, один — вписанный треугольник, а другой — касательную, Федя, чертя в своей тетради курицу вместо треугольника, представлял себе плечи и грудь Аннушки. Тот самый ученик, Вейсе, курчавый, черный полуеврей, который так спокойно чертит касательную, вчера, размахивая портфелем, рассказывал, что он летом «утер» горничную Ольгу.

— Вы не думайте, что я ее обманул. Она мне сама отдалась по любви. Она меня полюбила, да.

Нет, та, которую полюбит Федя, не может быть похожа на Аннушку.

После некоторых размышлений Федя приходит к заключению, что если любишь, то нельзя думать о плечах, руках, грудях, можно думать только об одном: о глазах. Если любишь глаза, то, значит, любишь всю женщину. А если тебе нравятся спина или плечи, то это не любовь, а так.

Вот, например, каждый день ровно в 12 часов с верхнего этажа, где учатся девочки, спускается племянница директора. Она в седьмом классе, у нее голубые норвежские глаза и светлые волосы. Она ходит немножко раскачиваясь. В 12 часов она идет завтракать в квартиру директора и проходит коридором мимо стола, где для старших учеников стоят стаканы чая. Федя берет чай. Он нарочно пьет медленно, чтобы увидеть ее. Вот промелькнуло что-то белое, вот она уже совсем близко. Рука дрожит так, что горячий чай проливается на руку. Да — это любовь.

Но мысли о плечах нельзя потушить рассуждениями. Эти мысли являлись во сне, ночью, и в полусне скучнейших уроков алгебры, геометрии или греческого языка, римской истории. То было во сне. А наяву были голубые глаза племянницы директора, были кроткие карие глаза девушки, которые почти каждый день он встречал в конке, садясь нарочно против нее. Осенью она была в чисто белой вязаной кофточке, а зимой в шубке с каким-то тоненьким белым боа. Боа было очень бедное — и застегивалось на крючки, и Феде почему-то казалось, что она вообще очень бедная и несчастная, и он любил ее еще больше. Но вдруг девушка с боа исчезла, и Федя разразился двумя дюжинами стихов о незнакомке, которую он будто бы ищет по всему городу. Падает мокрый снег, снежинки пляшут вокруг газовых фонарей, а он ходит по улицам города: где ты, где ты?

Сердце искало Марии, а грудь и губы тянулись к Мессалине[27].

---

[27] Мессалина — жена (третья) римского императора Клавдия, известная своим распутством.

IX

Весной Федя переходил в последний класс. По этому случаю он поехал на хутор не по железной дороге, а по Волге. Он поехал один. От Рыбинска до Нижнего он ехал на обычном пароходе, а в Нижнем пересел на огромный товаро-пассажирский пароход. Он мог бы ехать и скорым пассажирским пароходом, но ему хотелось хорошенько осмотреть все приволжские русские города.

На пароходе оказалось не более десятка пассажиров: кроме Феди был молоденький студентик-армянин, с грустными глазами, курчавый, в новой форме с золотыми пуговицами. С ним была его мать, старая, седая армянка в шелковом платье с морщинистым желтым лицом. Было несколько купцов, был дьячок, была молодая дама и два-три молодых человека неопределенной наружности. Федя решил ни с кем не знакомиться.

Облокотившись на перила, он смотрел на берег. Там под брезентом аккуратно были сложены горы бочек, каких-то тюков, ящиков. Двое в лохмотьях спали на спине около бочек, богатырски раскинув руки и ноги. С грохотом проносились телеги, мужики колесом крутили вожжи и били лошадей. Другие суетились около тюков, размахивали руками и матерно ругались. Пахло селедкой, нефтью и мылом.

Было шесть часов утра, город просыпался. Через полчаса пароход мощно прогудел тройным басовым гудком, корпус его задрожал, задвигались тяжелые лопасти колес, пароход задним ходом медленно отошел от пристани, потом <повернулся> и плавно стал уходить в волжскую ширь.

В этом месте с Волгой сливается Ока, и две реки, соединив свои воды, образуют целое море, по которому гуляет свежий, бодрящий ветер.

Вот уходит Нижний. Кремлевская стена уступами подымается на холмы и опять опускается, заслоненная белыми домами, густой зеленью насаждений и куполами церквей. Как это красиво и как непохоже на Петербург. Здесь уже чувствуется дыхание Азии, Персии, Турции, откуда на Нижегородскую ярмарку восточные купцы привозят свои шелка, ковры и изюм.

Федя не заметил, как рядом с ним стал армянин и тоже облокотился на перила.

— Да, вид красивый. А вы не бывали в Тифлисе, товарищ?

— Нет, не бывал.

— А вы какого университета?

— Я не студент, я еще только кончаю гимназию.

— Э, вот как, а вы похожи на столичного студента. Так, значит, вы не бывали в Тифлисе?

Они стали ходить вместе по палубе и говорили об университетах России, о Кавказе, студент с жаром стал рассказывать о Тифлисе, какой это

красивый город, гораздо красивее, чем Нижний. Все другие пассажиры были в каютах и спали. Проходя мимо своей каюты, армянин всякий раз отодвигал занавеску окна, просовывал туда голову и очень быстро что-<то> говорил, как будто ругался, потом, как ни в чем не бывало, продолжал свою прогулку. Феде очень хотелось посмотреть, с кем же он говорит. Когда они опять прошли мимо его каюты, Федя встал так, чтобы <увидеть> угол отодвинутой занавески. Он увидел черные, недоверчивые глаза старой женщины с желтым морщинистым лицом, орлиным носом и острым подбородком. Она сидела там, как в берлоге, и из-под черного кружевного платка сверкали злые глаза. Она метнула взором в Федю и опять заговорила еще быстрее на своем восточном языке. Но молодой студент опять, как ни в чем не бывало, сбросил занавеску и спокойно продолжал беседу. Это продолжалось пять или шесть раз.

Вдруг они услышали за собой мелкий топот женских каблучков. Перед ними стояла женщина в зеленом шелковом жакетике и улыбалась.

— Простите, messieurs, что я вас беспокою, нет ли у вас карандаша? Здесь так пусто, так безлюдно, что некого спросить.

Федя пошарил в карманах и подал ей маленький, изящный карандашик.

— Благодарю вас.

Женщина порхнула в салон первого класса и через минуту вернулась, размахивая карандашиком навстречу Феде. Она улыбалась так, что и Федя и армянин оба невольно отвечали ей покорной улыбкой. Она стояла перед ними и не уходила. Она смотрела на них с явным, веселым любопытством, переводя глаза с одного на другого.

Так стоять было неловко. Федя счел себя вынужденным сказать несколько слов.

— Вы, вероятно, очень скучаете?

Федя густо покраснел оттого, что сказал такую пошлую вещь. Он принял карандаш и стал его ввинчивать и развинчивать.

— Спасибо. Да! Скука... Ни человека! Знай это, я бы непременно поехала по скорой линии. Но отчего вы здесь стоите, зайдем в салон, сядем, там рояль есть.

Она первая вошла в салон, за ней — Федя. Ему показалось, что армянин как будто нарочно отстает. Действительно, он прошмыгнул мимо дверей и остался на палубе. Федя в первый раз в жизни оказался наедине с женщиной, которая, несомненно, была очень красива и весела, а он, Федя, такой тюлень. Лучше бы он сам прошмыгнул мимо дверей, и проклятый армянин остался бы с ней. Теперь отдувайся. Федя очень сердился на себя, что он начал разговор таким пошлым образом, и силился сказать что-нибудь умное.

Что бы такое ей сказать? Разве что-нибудь про Нижний, как место скрещения фантастического Востока и коммерческой Европы?

Между тем женщина, увидев, что армянин исчез, весело улыбнулась, и в ее улыбке промелькнуло что-то хитрое и очень довольное. Она бросилась

на диван, заложила руки за затылок и закинула одну ногу на другую, выставив носок лайковой серой туфельки.

— Боже, как скучно на этом пароходе на Волге, — сказала она, глядясь в сторону, в трюмо, — как несносно путешествовать!

— Я, наоборот, нахожу все прекрасным.

— Что же прекрасного?

— Вид на Нижний.

— Нижний, ах, да это трущоба! Пыль, грязь.

— Я не говорю о городе, я говорю о том, каков он издали. Вид на Кремлевскую стену замечателен.

— Ничего не нахожу хорошего в старой стене. Ну, не будем браниться. Лучше будем друзьями. Сядьте. Что же вы стоите, как... Вы еще очень молоды. Сколько вам лет?

— Мне? Семнадцать.

— Боже, как вы молоды! Куда вы едете?

— Я еду на хутор. У нас есть хутор в К.

— Счастливец! А я... — незнакомка слегка пропела это «я» и взглянула на Федю. — Я еду к мужу в Царицын.

— Что же тут ужасного?

— К мужу! Поймите!

— Ну?

— Ах, какой непонятливый. Ну, садитесь хорошенько, я вам расскажу.

Федя понял, что «хорошенько» значит «ближе». Он сел ближе и определил, что расстояние между его плечом и ее составляет приблизительно два вершка.

— Ну, вот. Так вы говорите, что тут ужасного? Так ведь вы не знаете моего мужа, да? Ну, а если я вам скажу, что мой муж ужасный человек?

— Ужасный?

— Книжный. Ненавижу книжных людей.

— Он ученый?

— Ну, ученый. Он адвокат. Когда он приехал в Варшаву, так мой отец мне сказал: или ты за него выйдешь, или я тебе посылаю отцовское проклятие. Ну, а у евреев отцовское проклятие, вы знаете, это такая вещь.

Федя чуть было не спросил — так вы еврейка? — но удержался, а только внимательно посмотрел на ее лицо.

— Так у отца был маленький магазинчик, а он был адвокат, у него были деньги, и он сказал: дайте мне Минну, и меня отдали. Меня зовут Минна. А когда мы приехали в Царицын, то он совсем не стал мне давать денег. Совсем. Вы понимаете — каждый день ссоры. Потом к нам приехал один артист, певец один, великолепный тенор. Он божественно поет. Поедем, говорит, с нами в турне, в Самарканд, в Ташкент, в Коканд и другие города. Их целая труппа была, и они давали концерты. Ну, я взяла у мужа все деньги и оставила его с носом. Теперь вы понимаете? Мой муж сделал плохую партию. Не советую вам жениться.

— И вы говорите это так спокойно?

— Чего же вы хотите?

Она вынула зеркальце, маленькую пудреницу и стала пудрить себе лоб и нос, особенно тщательно припудривая складки за ноздрями. Федя смотрел на нее с изумлением. Он уже забыл, что хотел говорить умное. Он уже чувствовал, что он глубоко презирает эту женщину, как и всех других молодых женщин на свете. Но ведь она столько вынесла... Нищенская еврейская лавчонка, скупой муж, тираны. Разве она виновата, что они такие? Ведь она говорит серьезные вещи. Должно быть, она ужасно много страдала. Федя вдруг почувствовал острую жалость. Хотелось поцеловать ее руки, хотелось, чтобы она как-то совсем по-другому говорила о своей жизни, не так, как будто она рассказывает анекдот.

Она спрятала пудреницу в ридикюль, их глаза встретились, и — о, чудо — она поняла его. Ее взор вдруг сделался скромным, простым, как бы просящим. Федя ужасно обрадовался и в свою очередь неловко улыбнулся. Незнакомка опять улыбнулась ему смиренно и открыла ему всю глубину своих глаз, которые, как Федя это заметил только сейчас, отсвечивали каким-то серым блеском. Но сквозь смирение он увидел в ее глазах серую искру, такую холодную, такую безучастную, что Федя весь съежился и подумал: эта женщина может убить.

Пароход подошел к пристани. Они вышли посмотреть. Федя не заметил, как она ушла. Когда пароход тронулся, она опять появилась радостная, сияющая. Они сели на палубе на соломенный плетеный диван. Незнакомка принесла несессер и стала полировать ногти.

— Этот несессер очень дешевый, но хороший, — сказала она. — В Варшаве все можно купить дешево. Вот мой костюм. Знаете, сколько он стоит? — она расстегнула жакетку и показала подкладку. — Тридцать рублей!

Феде было странно, что с ним говорят о цене костюмов, <и> он замолчал. Он недоуменно смотрел на эту женщину.

— Я все делаю сама. Я сама чулки штопаю.

Она приподняла юбку и показала очень изящную тонкую ногу в ажурном чулке. Действительно, выше туфли виднелась кое-как затянутая нитками дырочка.

Она унесла несессер и вернулась, без жакетки и шляпы, в белой с нежно-лиловыми прошивками блузке с шалью вокруг плеч. Шаль очень шла к ее южному лицу.

— Вот я вам покажу свою шаль. Это уж из Парижа, настоящая. Вот смотрите.

Она обернула шалью все свое лицо и сквозь ткань стала смотреть на Федю. Хоть не было видно ее лица, но Федя знал, что на него смотрят, он не хотел показывать этого. Но, вероятно, на его лице все-таки было написано смущение, потому что соседка вдруг расхохоталась.

— Ах, он отлично знает, что на него смотрят. Что же вы не отнимите у меня шаль? Или вам нравится, что на вас смотрят?

Федя нехотя стал отнимать шаль. Незнакомка отодвинулась. Он придвинулся. Она опять отодвинулась, он опять придвинулся, протягивая к ней руки. Он касался ее руки, ее плеч, когда, наконец, шаль была в его руках, он увидел смеющееся и совершенно холодное и жестокое лицо, он опять заметил серую, стальную искру. Ему стало как-то страшно и захотелось скорее убежать в свою каюту.

Но вдруг женщина нагнулась над ним и прошептала:

— Идите, я вам покажу один курьез.

Она пошла по палубе и дошла до окна той каюты, в которой сидела старая мать армяшки.

— Взгляните в окно.

Ветер шевелил занавески. Федя посмотрел и увидел в каюте уже знакомую старушку на постели и рядом с ней ее студента. Сердитая рука затворила окошко.

— Его прячут от меня. Эта старуха, как только увидела меня, сразу спрятала своего сына к себе в каюту и не выпускает его. У нее хороший глаз.

Она опять расхохоталась.

Через час они сели обедать. Из меню они выбрали все самое дорогое. Официант почему-то подобострастными движениями задернул все занавески. Они были совершенно одни.

Она без устали рассказывала. Она говорила о Ташкенте, о Самарканде, о труппе, с которой она ездила, о знаменитом певце, которого она называла по имени <и> отчеству. Голос ее звенел и пел, и врывался в душу. Он невольно смотрел на нее. Она была хороша, а он старался не замечать, что ее рассказы нелепы и неинтересны. Ему уже не хотелось отходить от нее, и было жаль, когда после обеда она ушла в каюту отдыхать.

Три часа он провел один, в ожидании. Он уже не смотрел на берега и не мечтал. Он чувствовал, что что-то случилось, но он не знал, что именно. Руки, тело куда-то просились и предчувствовали, и звали кого-то.

Через три часа она пришла. Теперь она была в светло-коричневом платье из легкой шелковистой ткани. Платье слегка шелестело. Они сели на самый перед палубы. Ветер дул им в лицо. Они молчали. Берег стал меняться, показались скалы. Когда стало вечереть, на пароходе зажгли огни. От встречных пароходов видны были только освещенные окна и искры из труб. Они проходили бесшумно, как привидения. Федя вспомнил Летучего голландца: встреча с ним предвещала гибель. Он высказал это.

— Да? — ответила она и обернулась к нему. Свет из салона падал прямо ей в лицо.

— Да? Скажите еще раз — да?

Он понял это «да», и не было силы уйти от него. Он нагнулся, обхватил одной рукой ее шею, а другой талию и поцеловал ее в губы. Он целовал долго, много раз, не выпуская ее трепещущего тела. Потом он отбросил ее от себя, повернулся и ушел к себе в каюту. Он спустил занавеску и, не за-

жегши света, сел на койку, подперев лицо кулаками. Ему было как-то горько и нехорошо. Казалось, что теперь невозможно выйти на воздух и посмотреть на звезды, на воду, в которой отражалась луна. Он видел сквозь занавески, что перед его окном блуждает женский силуэт. Поздней ночью кто-то тихо постучал в его каюту. Но он не ответил.

На следующее утро он проснулся часа в четыре и вышел. Солнце еще не взошло. Палуба, стены, перила — все было мокро от росы и тумана. Пароход подходил к деревне, расположенной на высоких отвесных к берегу холмах. К верху вели крутые лестницы. Около берега ютились домишки, как гнезда, поставленные на высокие столбы. Люди, извозчики на верху холма казались маленькими точками. Вчерашний кошмар прошел. Было весело, живо, хотелось что-то предпринять. Было чувство, что от вчерашнего надо убежать. Недолго думая, Федя вбежал в каюту и вынес чемодан. До дома еще много сотен верст, но не все ли равно? Он выйдет здесь, надо было сделать что-то, что-то поправить.

Как только он сошел с парохода, его охватила какая-то радость. Это была та радость, которая бывает только в четыре часа утра. Он оставил чемодан на пристани и быстро, перескакивая ступени, взбежал по деревянной лестнице вверх на холмы. Стадо свиней с хрюканьем разбежалось от него. Мужик в таратайке длинным прутом гнал тощую лошаденку по деревенской улице. Федя обернулся лицом к Волге. Над широкой, как озеро, рекой, загоралась розовая полоса. Над ней догорала последняя звезда. У берега были пристани и стояли баржи в два ряда. У одной из пристаней стоял громадный, белый пароход и дымил тонкой струйкой.

От радости Федя бросился в мокрую травку. Он сбросил фуражку на землю и уткнул в нее свое лицо.

В это время пароход хрипло прогудел три раза, из труб поднялся густой черный дым, пароход лениво отчалил от пристани.

X

Осенью Боба уехал за границу: он поступал в Лейпцигский университет на медицинский факультет. <Федя> перешел в последний класс.

Первый урок был немецкий. Раздался звонок, и в класс вошел новый учитель. Как только за ним закрылась дверь, весь класс полувзрослых джентльменов, как по уговору, дружно заржал по-лошадиному.

— Хо-хо-хо, лошадиная голова!

Учитель разительно походил на лошадь. Но ржанье ни капли его не смутило. Совершенно хладнокровно, как будто он ничего другого не ожи-

дал, он взошел на кафедру, расписался в журнале и стал рыться в своем туго набитом портфеле.

Он был в зелено-сером костюме, очень тщательно проглаженном. Носки у него были шелковые, лилово-коричневые, туфли — лакированные. В прекрасн<ый> шелков<ый> галстук была воткнута скромная золотая булавка.

Найдя какую-то книжечку, он сошел с кафедры и показал джентльменам огромную фигуру, бритое, вытянутое лицо с четырехугольным подбородком и жидкими, совершенно гладкими волосами. Прядь волос упала на огромный, высокий, немножко узкий лоб.

Книжечка, которую он держал в руках, была в красном кожаном переплете с золотым обрезом.

— Вы слыхали когда-нибудь про «Джоконду»?

Учитель указал на перво<го> попавшегося ученика на третьей парте.

Из-за шума никто не слышал вопроса, но сразу стало тихо, и учитель повторил свой вопрос.

— Кто? Я?

— Вы.

— Никогда ничего подобного не слыхал.

— Кто из вас слышал о ней?

Федя слышал, но он молчал. Кто-то вызвался ответить и сказал, что «Джоконда» — знаменитая картина Леонардо да Винчи.

— А не слыхали ли вы, или не читали в газетах, что недавно произошло с этой картиной?

Федя опять знал, что ее украли из Лувра, он встретился глазами с учителем и спрятался за спину товарища. Опять кто-то ответил.

— Совершенно правильно. А почему об этой краже долгое время писали во всех газетах, почему эта кража так сильно взволновала весь мир?

На этот вопрос никто не мог ответить, но поневоле все начали думать.

У Феди забилось сердце. Неужели свершилось такое счастье, что в школе появился тот, «настоящий человек», который может что-то сказать ученикам? Федя уже понимал, что учитель действует сократовским методом. О методе этом он учил. Но он никогда не представлял себе, что от применения его можно зажечься таким счастьем. Он воображеньем унесся на афинскую площадь. Маленький безобразный человек, смеясь, задает мудрые вопросы и, выставив руку из-под белого плаща, поправляет ответы, которые дают ему рыночные торговцы и площадные зеваки.

Когда он очнулся, учитель уже говорил. Он говорил, что улыбка Джоконды — живая улыбка и что в искусстве бессмертно только живое. Литература — один из видов искусства. Его дело — будить живое в учениках.

Заложив щеки в кулаки, Федя слушал, что «литература есть один из видов искусства», этому их учили еще в шестом классе, когда проходили «теорию словесности», но что искусство есть жизнь — этому никто еще не учил и, главное, никто не давал этого чувствовать так, чтобы слышать биение сердца и пульс жизни.

Учитель сказал, что в этом году будет прочитан «Фауст», и он будет стараться дать им того Фауста, который вскрывает глубины жизни, который вскрывает нам не только эпоху, когда он был написан, но вскрывает нам самих себя.

Федя понял, что книжечка в руках учителя и есть «Фауст».



До сих пор Федя не умел ни любить, ни уважать. Он презирал всех и любил только себя. Но этого человека он сразу же признал выше себя. Сознание же собственного ничтожества заставляло его прятаться от него.

Когда в класс входил учитель Шварц, Федя густо краснел. Если его вызывали, он, вставая, стоял как бревно и молчал, весь в поту. Но всегда он думал о нем. Каждое слово его врезалось в память не только надолго, но и навсегда. Фауста он запомнил наизусть.

По вечерам он зажигал лампу, раскрывал Фауста и до глубокой ночи просиживал над его страницами. Бедный безумец Фауст! Как это понятно: он задыхается в своих стенах, ему душно от знания, которое его не трогает. И вот он заключает союз с дьяволом. Федя это понимает так: он дает волю злу. Этим он спасается. Вот чего он, Федя, никогда не сумеет. Он никогда не будет великим, потому что у него не будет великих падений. Но сейчас он упивается чужим падением: какая страсть любви, какие бездонные пропасти и небесные взлеты. Взлет — да, его еще нет, здесь, в первой части, но Федя думает, что он будет во второй, то, что открывается только в <зрелости и что откроется и ему когда-нибудь>.

Все это и тысячи других чувств и мыслей, которые нельзя удержать, потому что нет слов, все это хочется высказать ему, Шварцу. Но Федя продолжает молчать и краснеть.

Однако Шварц, должно быть, что-то заметил. После урока он поманил его в коридор и встал с ним у окна, так что другие не могли слышать, о чем они говорят.

— Отчего вы от меня скрываетесь? Вы не виноваты передо мной? Немножко?

— Мо... может быть.

— Может быть, я виноват перед вами?

— О нет, нет.

— Но ведь вы имеете мне что-то сказать?

Федя видит элегантный костюм Шварца, и ему хочется его ненавидеть за безукоризненный галстук. Он, Федя, никогда не опустится до того, чтобы носить такие галстуки.

— Знаете что? Приходите ко мне... (Шварц вынимает записную книжку и начинает перелистывать)... приходите ко мне 26-го в шесть часов вечера. Вы свободны?

— По вечерам я всегда свободен.

— Вот и прекрасно. Приходите. Я буду вас ждать.

Он подает ему руку, очень крепко жмет ее и уходит в учительскую.

Федю обступают.

— Ну что, что он тебе сказал?

— Ничего не сказал.

В классе было три партии. Одни ненавидели и презирали Шварца.

— Актер! Ничего не поймешь, что он говорит. Мужик несчастный! Фразы какие-то.

Другие были к нему, как и всему на свете, совершенно равнодушны. С опухшими, сонными лицами они сидели на своих партах, и из всех слов Шварца они улавливали только то, что «надо выучить».

Третьи — их было всего человек шесть — относились к нему так же, как Федя.



Наконец наступило и 26-е. Федя нарочно оделся похуже: он надел ботинки с заплатками, старый, засаленный пиджак и потертый галстук. Поглядел в зеркало: хорошо. Но когда он позвонил перед низенькой дверью с медной дощечкой, он почувствовал в животе какой-то холод.

Никогда в жизни он ни к кому не «ходил». Он бывал только в «гостях» и заранее знал, что будет много людей и что его не заметят. А сегодня — совсем другое. Сегодня он будет один на один со страшно умным человеком, он должен остерегаться каждого своего слова. Молчать уже нельзя.

Старая служанка провела его в столовую и постучала в какую-то дверь. Оттуда раздалось сонное бормотанье. Федя услышал немножко раздраженное «кто?» и какой-то шорох.

Дверь растворилась, и сквозь щель просунулась взъерошенная голова Шварца: он был без пиджака. Вот тебе раз! Так его здесь ожидают! Даже забыли, что ему назначено сегодня в шесть часов, а сейчас уже десять минут седьмого. Федя чувствует горькую обиду, и ему хочется уйти.

Увидев Федю, Шварц, не улыбнувшись и не сказав ни одного слова, снова исчезает за дверью. Потом он слышит «просите», и служанка открывает дверь.

Маленькая, низенькая комната в одно окно. У окна — небольшой стол. Перед столом грузное кресло, обитое во что-то серое. Шварц стоит у стола и подводит зажженную спичку к папироске. Лицо его сморщилось, как будто он <взял в рот> что-то горькое или выпил уксусу.

Федя бегло, испуганно окинул <взглядом> комнату. Две стены почти до потолка были уставлены книжными полками. Тисненые корешки ровными рядами как бы стояли на страже человеческой мысли. В углу на цоколе стоял бюст античной богини Афродиты. Бюст был завернут в светло-

голубой прозрачный чехол и из полумрака сверкал своей белизной. Тысячи раз он видел бюсты и ничего не думал при этом. Но этот, покрытый голубизной легкого чехла, обнажал себя и становился живым.

Шварц между тем протянул Феде свою костлявую руку и грузно рухнулся в кресло. Он с шумом затягивал и выпускал дым своей папироски, и вдруг отбросил ее в пепельницу. Только теперь он улыбнулся.

— Простите, я, кажется, не очень любезен. Но я, знаете ли, спал.

— Вы забыли?

— О, вы, кажется, обиделись? Ну, извините меня.

Шварц протянул ему руку.

— Зачем? Знаете, я недавно читал письма Гельдерлина[28]. Там есть тоже несколько писем Шиллера к нему. Одно начинается словами: «Я никоим образом не забыл о Вас, милый друг!» Я чуть не заплакал, когда прочитал это, потому что Шиллер совсем забыл о нем, а он только им и жил, он молился на Шиллера. А ведь был великий поэт, он, по-моему, гораздо выше Шиллера, а потом он сошел с ума, потому что был очень одинок.

На лице Шварца выразилось самое крайнее удивление, даже изумление.

— Ого! Значит, вы не на шутку обиделись! Но, однако, вы много читаете? Неужели вам интересно читать письма Гельдерлина? Кто их еще читает в наше время?

— Я больше всего люблю читать письма, дневники, вообще про людей, которые жили в действительности.

— Ну, а про Стефенсона[29] вы стали бы читать?

— Нет, пожалуй, не стал бы.

— А! Значит, бывают люди каких-то двух разрядов.

— Да, да, это я чувствую. И одних гораздо меньше.

— Это верно. И вы принадлежите к тем, которых меньше.

Федя промолчал.

— Но если вы попробуете определить, какие же это люди, которых меньше, то вы не сумеете.

— Может быть.

— Знаете, что я вам скажу? Вы очень заняты собой. Это свойственно вашему возрасту. Вы субъективны и вам нравится все человеческое, душевное. Вы меня понимаете? Поэтому мы любим читать биографии писателей, и об их жизни стоит писать целые исследования, и они пишутся. За симфонией или романом всегда стоит тот, кто их создал, а за машиной или мостом, или аэропланом нет человека, есть только его мозг. И все-таки вы ошибаетесь.

---

[28] Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт.

[29] Стефенсон (Стивенсон) Джордж (1781–1848) — английский конструктор и изобретатель, положивший начало развитию парового железнодорожного транспорта.

— Почему?

— Вас не интересуют аэропланы? Но первые чертежи летательных аппаратов мы имеем от Леонардо[30]. Гете обнаружил межчелюстную кость[31], Шиллер написал историю Тридцатилетней войны[32]. И вот, в жизни человека бывает такой перелом или стремление выйти из себя и создать что-то, независимое от своей души. И вы не уйдете от этого. В истории наступит такой момент, когда будут только одни инженеры, агрономы, врачи, рабочие, а искусство умрет.

— Тогда я не захочу жить.

— Может быть, и не доживете. Но это будет совсем неплохо.

— А для чего мы читаем Фауста?

— Но мы его еще не дочитали. Вы знаете, чем кончает Фауст? Он отвоевывает землю у моря, велит строить плотины, чтобы дать людям новые пространства, то есть он ведь делает инженерную работу?

— О, это я понял. Но ведь ему только так кажется, ведь духи, лемуры, которых он заставляет работать, на самом деле роют его могилу, а он думает, что они работают для блага человечества. И он уже слепой, ведь он слепнет под конец? Ведь он обманывается?

— Нет, он символически слепнет, Фауста уже нет, он потерял себя, и в этом его спасение. Мы ищем себя в стихах, симфониях, картинах, а вот инженеры теряют себя в мостах и вокзалах... Впрочем, что же мы так сидим? Подождите минуточку.

Шварц исчез и вернулся с бутылкой вина и печеньем. Он налил два стакана.

— Пейте. Таких учеников, как вы, у меня еще никогда не было.

Федя залпом выпил стакан. Он не привык пить и немножко захмелел. Он подвинул стул.

— Теперь я скажу то, что я думаю. У меня в детстве было одно видение, не видение, а так, вроде наваждения что-то. Я, знаете, соврал первый раз в жизни. В саду стояли георгины... И вот вдруг мне стало очень страшно от этих георгин, и у меня вдруг открылись глаза — я впервые увидел наш сад. Знаете, совсем как Адам. Ведь он не видел, что он нагой, а потом, когда сблудил, и увидел. И я думаю, он все увидел, он вдруг увидел, что он в саду, в раю, и тогда только он испытал райское блаженство. И был изгнан. И вот я такой же Адам. Я всегда хочу совершить какое-нибудь преступление. Знаете, есть какое-то совершенство, может быть, святость, или Бог, или рай, одним словом то, для чего человек рожден. И я теперь знаю, что есть к этому три пути.

---

[30] Леонардо да Винчи оставил не только наброски летательных аппаратов, но и предложил идею парашюта и вертолета с механическим приводом.

[31] Гете принадлежит открытие межчелюстной кости у человека (1784), опубликованное в 1820 г. в работе «Вопросы морфологии».

[32] В 1793 г. Шиллер опубликовал «Историю Тридцатилетней войны» и ряд исторических статей.

Главный путь — это через зло. Но можно еще через мысль прийти. Одни убивают, а другие думают. Те, что убивают, не думают, это только у Достоевского так. И вот — я проклят тем, что все у меня в мыслях, и любовь в мыслях, и женщина в мыслях, и зло, и святость. И я не могу отряхнуть этого. Есть еще и третий путь. Есть люди, которые так и рождаются богами — может быть, такими были греки или Франциск[33] — я не знаю. О, они тоже знают зло, знаете, как Алеша Карамазов про разврат говорит? Но это уж совсем не для меня. Это было бы такое счастье, такое счастье...

Федя положил руки на стол и спрятал лицо в ладони. Он чувствовал, что хмелеет, что говорит лишнее, но не мог остановить себя.

— Бедный мальчик. Пейте еще. Это ничего. Это пройдет. Вы говорите значительные вещи. Теперь я вам скажу вот что. Есть на свете только две трагедии: первое — это трагедия юноши, который должен стать мужчиной. Все, что вы говорите, не удивляйтесь — это есть предчувствие женщины, которую вы должны изнасиловать. Женщина вам явится в таком ореоле, что вы падете ниц перед ней.

— О, уже падал, падал, как Данте, в девять лет, и Лермонтов ведь тоже, и Владимир Соловьев, и Байрон...

— И вот — это божество, этот ангел, эта мадонна, как к ней прикоснуться? Это первая трагедия, и из нее вытекает вся жизнь мужчины, вытекает и его творчество.

Федя вспомнил Аннушку, племянницу директора — какой жалкой, какой мизерной представлялись ему и его любовь, и его грех.

— А вторая трагедия?

— Вторая? Вторую начинают переживать после сорока. Это еще не для вас. Вторая трагедия есть трагедия смерти. Из всех людей ее острее всего, может быть, чувствовал Толстой. Чтобы умереть, надо очиститься. Да, это не для вас. Вы никогда не думали о смерти?

Федя вспомнил, что о смерти он действительно никогда не думал.

— А сейчас вам нужна спешная помощь. Вам надо помочь выйти из себя. Что мне вам сказать? Читайте Гете. Он приучит вас к конкретности. Знаете, что он говорит? Что во всяком малом открывается бесконечное. Возьмите малое и продумайте его до конца. Возьмите какое-нибудь стихотворение и слово за словом, строчка за строчкой продумайте его. Это научит вас не думать о себе. Или — вот посмотрите сюда. Вот снимок с аттической вазы. Двое мужчин и юноша увидели ласточку. Они произносят только одно слово: ласточка. Они не думают о зле. И не думают о себе. Учитесь говорить всему миру так, как они говорят этой ласточке. Но, конечно, может быть, это все суррогаты. Вам нужен живой человек, который вывел бы вас из затвора. Постойте! У меня есть идея.

---

[33] Имеется в виду Франциск Ассизский (наст. имя Джованни Бернардоне; 1181 (или 1182)–1226) — итальянский религиозный деятель. Отказался от богатства и с 1206 г. посвятил себя проповеди евангелической бедности. В 1228 г. канонизирован.

В глазах Шварца промелькнул веселый огонек.

— Я люблю маленькие мистификации. Есть у меня одно существо, похожее на вас, но совсем другое. Посидите минуточку смирно.

Шварц порылся в столе, достал лист шелковистой почтовой бумаги и размашистым, тонким почерком исписал две с половиной страницы, поставил подпись, заклеил конверт и быстро надписал адрес.

— Я вам не скажу, кто это. Может быть, это девушка, может быть — мудрый старик священник, а может быть — юноша, как вы. Отправьте это письмо. Все, что вы думаете, напишите этому человеку. Но не называйте себя. Переписывайтесь инкогнито. А когда вам надоест переписываться, тогда познакомьтесь. Вы увидите, что это будет самое лучшее, что для вас только возможно.

Шварц передал ему длинноватый конверт, и оба засмеялись.

XI

«Кто это может быть?» — думал Федя, идя домой по темным улицам. Он ощупывал длинноватый конверт в боковом кармане. Шел мелкий дождь, Федя вынул конверт и под фонарем еще раз прочел адрес.

«Кто это может быть? А этот Шварц дьявольски умен! Действительно, я уже совершенно не думаю больше о себе».

Федя никак не мог себе представить незнакомца. Мужчина это или женщина? Ему вдруг захотелось, чтобы адресатом была та девушка, которую он недавно видел на симфоническом концерте: с черными волосами и пробором, и у пояса с пучком красных гвоздик на черном шелку ее платья. Но разве Шварц будет сводить его с девушкой? Впрочем, почему же нет? А вдруг это какой-нибудь старик или какая-нибудь добрая матушка, которая будет кормить его ватрушками?

Придя домой, Федя часа два сидел над письмом. Он рвал одно за другим. Все они казались ему напыщенными. Наконец, он написал совсем просто, изложил все, как было на самом деле, и написал, что он не может переписываться с человеком, которого он не знает, не видит: «Какое-то предчувствие мне говорит, что Вы составите в моей жизни событие, но простите меня, если я еще не могу открыться. Я жду Вашего ответа».

Утром он бросил письмо в ящик, а на следующий день он увидел на своем столе конверт с тонким небрежным почерком. От письма шел какой-то почти неуловимый, нежный запах. Письмо было очень короткое.

«Если Вы хотите иметь друга, приходите в субботу в пять часов в Летний сад. Мы узнаем друг друга по белой розе. Мне понятно Ваше горение. Я думаю, мы встретимся».

Федя окончательно уверился, что пишет девушка. Слова письма показались ему такими же нежными и тонкими, как запах, который шел от голубоватой бумаги. Но какая она? Федя силился представить себе ее глаза, ее шляпу, ее туфельки. Он был готов любить ее, какою бы она ни была...

Наступила суббота. Федя вышел в четыре часа, сходил в парикмахерскую, купил прекрасную белую розу, но спрятал ее под пиджак и поехал к Летнему саду. Он прошел всю главную аллею, но не заметил никого с розой.

— Может быть, она также спрятала розу и высматривает меня? Или, может быть, я иду вслед за ней и не вижу розы?

Федя решил присесть на скамейку. Был вечер. Красные, не греющие лучи сквозь прозрачные ветви пятнами ложились на траву и аллеи. Все дорожки были усыпаны желтыми, красными и коричневыми листьями, которые шуршали под ногами.

Вдруг Федя увидел, что по самой середине аллеи идет высокий юноша в черной бархатной куртке с криво надетым галстуком. В левой руке у него роза, и правой он в рассеянности срывает лепестки. Он идет торопливо, какой-то вихлявой походкой, и кажется, что на нем все болтается. Он рассеянно смотрит вперед, весь ушел в какие-то мысли, не смотрит по сторонам, и не похоже, чтобы он кого-нибудь ждал или искал.

В висках у Феди застучало. Неужели это он? Федя нащупал розу под своим пиджачком и решил до времени не показывать ее, а посмотреть, что будет дальше.

Высокий юноша прошел всю аллею и повернул обратно. Дойдя до скамейки, на которой сидел Федя, он вдруг круто повернул, и, не глядя на него, сел рядом с ним и стал постукивать розой о колено. Он смотрел вперед и, несомненно, о чем-то думал. Потом он снял шляпу, положил ее рядом с собой, прислонился к спинке и заложил ногу за ногу. Федя увидел его в профиль. Первое, что бросилось ему в глаза — мясистый нос, узкий сверху и широкий к ноздрям. Нос ему не понравился и создал секунду антипатии. Но маленькие, черные усики не скрывали очень мягких, почти детских губ. Над всем лицом как бы царил прекрасный высокий лоб, который собственно и создавал лицо, и это лицо было необыкновенно. Продолговатые глаза, черные и подернутые легкой поволокой, смотрели вдаль, и эти глаза тоже были необыкновенны. Вдруг он поднял руку к носу и запустил большой палец в ноздрю, покрутил его, потом отвел руку вперед и сделал пальцами такое движение, каким кормят кур. Федя в душе рассмеялся. Он смотрел на глаза с поволокой. О чем он думает? Федя потихоньку вынул розу и положил ее к себе на колени.

Через минуту его сосед повернул голову. Он как-то вздрогнул и поднял на Федю свои глаза, и засмеялся.

— Так это вы?

Федя тяжело дышал. Он протянул ему руку. Тот взял ее и крепко пожал. Его ощипанная роза упала на песок, но он этого не заметил.

— Да... а я, я ведь думал, что вы девушка!

— Неужели? Так мое письмо было такое нежное?

Сидя на скамейке и глядя друг на друга, они короткими вопросами и восклицаниями изучали друг друга.

Они отыскивали себя один в другом и не находили. Каждый находил в другом новое, и это новое делал своим.

— Так вас зовут Глебом? Значит, вы русский.

— Да, я очень люблю свое имя. А вы немец?

— Да, я немец, и не люблю своего имени и не люблю своей национальности.

Все движения Глеба были быстры и изящны. У него были слишком длинные руки, и внешне его можно было назвать неуклюжим. Федя никак не мог определить, в чем его грация. Но у него была грация, чего — Федя это знал — совершенно не было у него самого.

— Знаете что? Пройдемтесь, а потом пойдем прямо ко мне.

— Да, пройдемтесь.

— Вы любите Петербург?

Федя не любил Петербурга. Он жил на Песках[34]. Серое небо, фабричный дым, хмурые богачи и грязные бедняки — разве можно любить этот ад? Но когда Глеб спросил его, он увидел сад, облитый тончайшим воздухом, и ряды статуй на фоне почти черных стволов, которые жили той особой жизнью, какой могут жить только статуи в сумерках. Вдали уже виднелась бронзовая решетка с гранитными столбами и урнами с кольцами. Глеб, счастливый Глеб, *все видел красивым*, а он, Федя, все видел мутным, скучным, серым.

— Люблю ли я Петербург? Да. Теперь люблю. Но знаете, что я сейчас вспомнил: «Alles Lebendige bildet eine Atmosphäre um sich her»[35]. Я уже втянут в атмосферу, которой вы дышите.

— Когда мы придем, прочтем «Медного всадника».

— Да, прочтем.

Они вышли из сада на набережную Невы. У входа стояли торговцы в белых фартуках с лотками, продавали фрукты.

— Купим винограда?

Федю передернуло. Покупать фрукты на улице он считал предосудительным. Кроме того, он никогда не тратил денег на сласти. Отец давал ему очень мало денег, и Федя с упорством копил на книги. Но власть дружбы уже была так велика, что Федя вдруг ощутил всю унизительность накопления денег.

— Купим.

---

[34] В прошлом местность, прилегающая к Суворовскому проспекту, называлась Песками, так как здесь заметно выделялись древние песчаные отложения. См.: *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Почему так названы? Л., 1985. С. 352.

[35] «Alles Lebendige bildet eine Atmosphäre um sich her» — Все живое образует определенную атмосферу вокруг себя (*нем.*).

Они купили золотистого длинноватого винограда и пошли вдоль набережной. Они подымали кисти над ртом, запрокидывали голову и откусывали золотистые ягоды, смеясь на прохожих и глядя на Неву.

Родители Глеба жили в Лесном[36], в небольшом особняке с садиком. Глеб открыл калитку, и они пошли по дорожке, усыпанной песком. В саду доцветали последние цветы.

В просторной столовой на столе стоял самовар, и за столом сидела мать Глеба. Глеб подошел к матери и поцеловал ее в кисть руки.

— Здравствуй, мамочка! Вот я его привел к нам.

Федя неловко шаркнул ногой и поздоровался.

— Покажитесь-ка, какой вы? Прелестный юноша. Только отчего у вас такие грустные глаза?

Федя готов был провалиться сквозь землю. Как? Значит, о нем уже говорили? Может быть, читали его письмо? Как Глеб мог...

— Вот видишь! А кто-то думал, что придет очаровательная девушка!

— Ну, что ж, он тоже думал, что придет девушка!

Федя уже жалел, что пришел. Ему казалось, что топчут ногами что-то, что он доверил только одному Глебу. Он молчал, будто воды в рот набрал. Между тем он зорко присматривался ко всему, что видел.

— Ну, что же, наговорились? Где же твоя роза?

Глеб испуганно стал оглядываться.

— По обыкновению, потерял? Вы знаете, он все теряет! Вы тоже все теряете?

— Мамочка!

— Ну, ничего, ничего. Я ведь не рассказываю, как ты в Англии оставил в вагоне два совершенно новых костюма? Вот, возьмите чаю.

Федя взглянул на Анну Михайловну. Он увидел черные глаза, очень похожие на глаза Глеба, блестящие, которые немножко насмешливо смотрели в самую глубь его глаз. Ей было не более сорока-сорока двух лет. Протягивая ограненный стакан, она приподнимала кружевной край рукава своего тяжелого пеньюара, который все время распахивался. Ее гордая, властная осанка, молнии глаз, ее черные волосы с легкой проседью, — все это заставляло Федю краснеть, молчать и совершать самые неловкие движения.

Федя украдкой смотрел на стены. Две прекрасные гравюры, изображавшие пейзажи Клода Лоррена[37], французские тарелки и импрессионистические натюрморты — как все это было не похоже на родную столовую с ко-

---

[36] Лесной, Лесное — с первой половины XIX в. название северной части Выборгской стороны Петербурга. Название этой местности связано с находившимся там Лесным институтом. См.: *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Почему так названы? Л., 1985. С. 207.

[37] Лоррен (наст. фам. Желле) Клод (1600–1682) — французский живописец и график.

ричневыми обоями, где по специальному заказу отца под одну раму были положены 12 открыток с фруктами, а под другую — 12 открыток с цветами, где всю поперечную стену загромождал огромный неуклюжий буфет, где между окнами стояла швейная машина, а на окнах — фикусы и китайские розы, которые никогда не цвели. Здесь за столом шутили. Глеб называл свою мать «мамочка» и целовал ей руку. А дома? Дома за столом все молчали и старались поскорее отпить свой чай, чтобы уйти к себе. А ведь Федин отец вовсе не был беден. Ведь купил он имение? Отчего у них не могли быть на столе живые цветы, как здесь, почему у них были такие безобразные чашки и эти открытки на стене, и этот буфет? Здесь желтый абажур лил мягкий свет на белую скатерть, и на столе были свежие булочки, и земляника, и сливки, и яйца под салфеткой, и чай казался необычайно душистым, и Федя ощущал тот нежный запах, который шел и от письма Глеба — запах цветов и какой-то чистоты. А дома пахло какой-то кислятиной, хотя каждую субботу чистили все ручки на дверях и протирали окна и вытряхивали всю пыль.

— Нравится вам ваш новый друг?

— Да, нравится.

— И вы мне нравитесь. Вы — немчик, да?

— Да, я немец.

— А в Германии вы бывали?

— Нет, никогда.

— Какая прекрасная страна! Особенно южная Германия. Какая во всем чистота и комфорт и какие милые, гостеприимные люди. Не захочешь жить в России. Так Глеб, значит, вам нравится? Я бы хотела, чтобы вы остались его другом. Только, Глебушка, отчего ты не выполнил моей вчерашней просьбы? Посмотрись-ка в зеркало.

— Что? Я ничего не вижу.

— Федор... Федор...

— Андреич.

— Федор Андреич, вы тоже ничего не видите?

— Как будто — ничего.

— Милый мой, у тебя ужасно торчат из носа волосы. Ведь я просила тебя выстричь их? Отчего же ты не выстриг? Ведь это ужасно!

— Ну, мамочка, совсем не ужасно!

— Нет, ужасно. После ужина я тебе сама их выстригу.

Действительно, после ужина Анна Михайловна сказала:

— Пойдемте ко мне.

Они вошли в маленький будуар, где на рабочем столике лежал несессер. Анна Михайловна вынула маленькие кривые ножницы.

— Сядь-ка на тумбу.

Глеб покорно сел на пуф.

— Подыми свой носище.

Глеб так же покорно запрокинул лицо, и Анна Михайловна своими ножницами глубоко залезла в самый нос Глеба.

— Вот, видишь, сколько здесь. Ведь в тебя ни одна барышня не влюбится. Ну, что, если бы вместо Федора Андреича ты бы привел какую-нибудь блондиночку?

— Мамочка, ты говоришь пошлости.

—Вовсе нет. Вы знаете, этот великий философ считает меня вульгарной, он презирает нас. А разве не вульгарно, если из носа торчит щетина? Ну, теперь наклони-ка голову, покажи затылок.

Тонкие руки в кольцах стали с нежностью перебирать волосы Глеба.

— Милый мой! Ты мыл голову эликсиром, который дал нам доктор Исаев?

— Ах, мамочка...

— Ну, конечно, нет. Но ведь к 25 годам ты будешь совершенно лысым, разве так можно, надо же немножко следить за своей наружностью, ведь нельзя же жить только философией! Пойдемте-ка!

Все пошли в ванную. Ванная комната доверху была выложена белыми изразцами. Около мраморного умывальника с зеркалом висели мохнатые простыни, а на специальной полочке лежало несколько кусков мыла разных сортов: миндальное, дегтярное, вазелиновое, темно-зеленое и красное. Тут же стояли флаконы с сосновой эссенцией, зубной эликсир, зубная паста. Вся ванна сверкала белизной. Опять Федя поневоле сравнил этот храм чистоты с их узкой ванной, выкрашенной в черный цвет, служившей одновременно уборной, где не было ничего, кроме зубных щеток, зубного порошка и суровых полотенец, и где висел огромный серый мешок, куда складывалось грязное белье.

Анна Михайловна засучила рукава, Глеб нагнул голову над белым тазом, и она собственноручно вымыла ему голову шампунем, а затем взяла один из флаконов и стала втирать эссенцию в кожу головы, под самые корни волос. Потом она достала чистое полотенце и очень искусно завязала им голову Глеба, так что полотенце, как шапка, покрывало все волосы, и завязала полотенце в тугой узел на затылке.

— Помни, что полотенце нельзя снимать полчаса.

С завязанной головой длинный Глеб имел очень комичный вид. Федя с недоумением следил за всеми движениями этой красивой, энергичной женщины с такими сверкающими глазами и поневоле сравнивал ее с<о> своей матерью в черном платье, в переднике, с очками на коротеньком носу. Бедная мама! Зачем он так часто грубил ей! Глеб вот терпит все, а попробовала бы его мать вымыть ему голову! Он никогда не сможет назвать свою мать «мамочка», нет, это уже потеряно навсегда, но он может быть немножко ласковее. Вот Глеб опять целует руки матери, теперь он целует в ладонь. Он заметил, что Глеб целует руку в самые разные места — от мизинца до локтя. Какой он ласковый! Да, это русская семья, здесь все ласковы, а у них немецкая семья, каждый смотрит волком. Федя вспомнил ужасное «заведи часы», которое все еще продолжалось, и его всего передернуло.

Из ванной Федя и Глеб пошли в комнату Глеба. Глеб повернул выключатель, и Федя увидел небольшую темно-синюю комнату. Белая лампа из прозрачного мрамора облила мягким светом шведские полки с книгами, стол, очень обыкновенный, и на столе цветы, небрежно засунутые в вазу, несколько мягких стульев и диван.

Глеб зажег настольную лампу, и они сели.

— Чей это портрет у вас здесь?

— Это портрет неизвестной, репродукция. Я привез это из Англии. Это — Вистлера[38]. Вы посмотрите.

Глеб зажег небольшую красную свечку, лежавшую у него на столе, и поднес ее к картине. Это был портрет девушки. Лицо смотрело как бы из тумана, прямо из глаз в глаза. Неопределенность контур удаляла, а прямой взор странно приближал это лицо. Матовая белая кожа, синева глаз из-под чуть-чуть опущенных верхних век смотрели грустно и вызывали грусть.

— Правда, это прекрасно?

— Да, это, собственно, не портрет лица, это уже передача своего душевного состояния посредством чужого лица.

Концы полотенца болтались за ушами, странно освещаемые свечкой, поднесенной к портрету.

— Знаете что? Снимите полотенце!

Глеб заморгал в нерешительности.

— Нельзя. Мама сама придет через полчаса.

Потом Глеб показывал ему книги и все, что висело на стенах. Тут были ранние греческие скульптуры, «Весна» Боттичелли, английские прерафаэлиты. Все это заставляло сжиматься сердце, настраивало на значительность, так что невозможно было говорить ничего простого, банального, того, что всегда говорят люди. А если проскальзывали такие слова, как «надо опустить штору», то и эти слова становились значительными, потому что сквозь окно смотрелась таинственная ночь и вдали сверкала звезда.

Федя опять вспомнил свою комнату. Он жил за перегородкой, отделявшей его комнату от передней. Он слышал все звонки, и ему всегда приходилось открывать двери. В его комнате висела олеография «Украинская ночь». Точно такая олеография висела в парикмахерской, где он стригся.

Через полчаса постучалась Анна Михайловна.

— У вас тут интимность, я вам не помешаю? Вот я вам сама принесла угощение.

На подносе стояли две прекрасные хрустальные рюмки с токайским вином, лежало несколько груш, яблок, шоколадные конфеты и тонкое печенье.

Анна Михайловна сняла полотенце, потрепала сына по его черным волосам, и Глеб опять приложил губы к ее руке.

---

[38] Уистлер Джеймс (1834–1903) — американский живописец и гравер. Детство провел в России, где его отец служил инженером при постройке Николаевской железной дороги.

— Выпьем на «ты».

Они выпили, три раза поцеловались и заели вино печеньем. Но ни тот, ни другой не притронулись к конфетам и фруктам, почему-то это было невозможно.

— Что же мы теперь будем делать?

— Ведь мы хотели прочесть «Медного всадника»?

— Ах да, верно, я и забыл.

Глеб порылся на полке и достал Пушкина.

— Ты любишь Пушкина? «Медный всадник» — моя любимая вещь.

Глеб погасил верхнюю лампу и оставил только настольную. Он сел за стол, а Федя — против стола в низкое кресло.

С первых же слов Федя почувствовал всю мощь этой поэмы с такой силой, что по коже прошел мороз. Как он не мог этого понимать раньше? Вся глубина этой вещи, конечно, еще не могла быть понята им. Но он понимал только одно: что это — русское, прямо противоположное ему и всему, что он переживал. То новое, что он видел в этом доме, в Глебе, в том, что он показывал и как показывал — здесь оно находило свое возведение в какой-то <опаляющий> пламень. Как это было не похоже на «Гимны к ночи». Там — сумерки смерти, серые крылья, уносящие из жизни. Здесь — чеканность и форма, сверкание звуков и ритм, заставляющий жить, и еще что-то в самих образах, что было выше него, тонкое и во всей нездешности такое здешнее и волнующее.

Глеб кончил, заложил книгу лентой и тихо закрыл ее.

Потрясенный, Федя сидел в кресле и не мог сказать ничего.

— Мне никогда не дойти до этого. Не до стихов, а до того, что за этими стихами. Это не мое. Это выше меня.

— Милый, тебе и не надо доходить. У тебя есть другое.

— Фауст? Да. Фауст — это мое, от меня.

Они говорили долго, вполголоса, понимая друг друга с полуслова. Федя, никогда ни с кем не говоривший, говорил обрывками, какими-то неуклюжими кусками, но Глеб на лету улавливал его мысли. Оба расцветали и богатели с каждым словом. Они перескакивали с одного на другое и испытывали острое счастье. Когда Федя спохватился, было уже одиннадцать часов. Глеб не отпускал его домой.

— Ты ночуешь у меня. Мы позвоним к тебе по телефону.

В двенадцать им постелили. Глеб лег на своем диване, а для Феди поставили складную кровать. Простыни, наволочки, полотенце — все это было самое чистое и издавало тот нежный запах, который Федя заметил еще в столовой. На подушку была положена ночная сорочка, длинная до пят, каких Федя никогда раньше не видывал. Но все это его уже не занимало. Машинально он стал расшнуровывать ботинки.

Когда Глеб погасил свет, между ними начался один из тех разговоров, какие бывают лишь несколько раз в жизни — и только в темноте.

— Мы с тобой совсем разные. У тебя страшные душевные силы, которых совсем нет у меня. Ты вот говоришь: Пушкин — не мое. А я то же могу сказать про Бетховена. Он — не мне, не мой. Ты — факир, ты всегда так серьезен и сосредоточен, что я тебя иногда боюсь. А я вот виноград люблю.

— Меня все боятся. За что? Если бы они знали, как я страдаю. Я всегда, всегда хочу быть лучше. Я думаю, я мог бы в монахи поступить. Это было бы моим освобождением. Ты веришь в Бога?

— Верю.

— А я его не знаю. Я его ищу в себе. Он должен открыться, правда?

— Он может открыться в мире.

— Да — это Гете. Отсюда — великая наука. Но люди? Ты знаешь Рембрандта? Христос изгоняет из храма менял?[39] Обыкновенно ореол — вокруг головы, а здесь весь ореол в руке, держащей кнут. Все люди — менялы. И я хотел бы узнать их. Вот Бог во мне. Где, где настоящие люди? Такие, как ты — один на много тысяч. Вот ты мне открыл Пушкина за один вечер, а почему этого не мог сделать наш Дафон, который задает такие глупые сочинения о Петре Великом в произведениях Пушкина, так что я Пушкина даже не читал, и не захотел читать, а списал с разных там Незеленовых[40] и Саводников?[41]

— Нет света.

— Но мы как-то должны идти к свету.

Они помолчали. Слышно было, как за окном по-осеннему шумят деревья.

Они говорили еще долго и заснули только на рассвете.

XII

Весной Федя кончал школу.

Всю зиму шли разговоры о том, куда Феде поступить.

Он, подобно брату, хотел ехать в Германию. Только там он найдет тот покой, то освобождение, которое мерещилось ему в бессонные ночи и в разговорах с Глебом.

---

[39] Имеется в виду картина Рембрандта «Изгнание торгующих из храма» (1626). Подлинник хранится в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. См.: *Фехнер Е. Ю.* Рембрандт. Произведения живописи в музеях СССР. Л.; М., [1964]. С. 34–37.

[40] Незеленов Александр Ильич (1845–1896) — историк литературы.

[41] Саводник Владимир Федорович (1874–1940) — историк литературы.

Но с отцом об этом нельзя было говорить. Он пробовал говорить с мамой. Но мама отвечала:

— Боба стоит нам, кроме поездок и денег на учение, — пятьдесят рублей в месяц. Двое будут нам стоить больше ста. А если ты останешься дома, никаких лишних расходов не будет.

Отец смотрел виновато и молчал.

Вот, наконец, наступил последний экзамен — устное испытание по греческому языку.

Федя сдавал экзамены плохо. Он уже давно приучился к шпаргалкам и списывал совершенно спокойно.

Как это происходило — он не знал. Но некоторые темы были известны вперед. Были известны вперед и некоторые задачи из математики. Самые отчаянные, те, которые их добывали, упорно молчали. Шли смутные и осторожные слухи, что в заговоре — служители, которые выкрадывали коекакие бумаги из канцелярии и давали ученикам снимать с них копии. Когда после последнего экзамена вся толпа вышла на школьный двор, Федя еще раз оглянулся на фасад здания, за которым, как в тюрьме, восемь лет томилась его мысль. Три ряда одинаковых окон, серая коробка с подъездом, на котором была высечена надпись и год основания — все это теперь вдруг отвалилось от него, как промокшая, ветхая штукатурка. Он протянул фасаду кулак под громкий хохот товарищей, которые сделали то же самое.

Дома на диване сидел отец. Он обнял Федю, поздравил его, пролил несколько слезинок, произнес небольшую речь о том, что для него теперь наступает новая жизнь, и объявил, что он теперь будет выдавать ему 25 рублей в месяц, которые он может тратить как хочет. Было решено, что Федя поступит на историко-филологический факультет.

После обеда отец взял Федю к портному. Они поехали на извозчике. К удивлению Феди, отец назвал самого лучшего портного на Невском.

Портной, стоя на коленях, снимал мерку и диктовал цифры мальчику, который записывал их в книжечку. Выбрали самое лучшее, самое дорогое сукно, и портной с поклонами проводил заказчиков.

Вечером в «Европейской» гостинице был банкет, на который учителя явились в полной форме при орденах. Почти все перепились, и когда тошнило, уходили в уборную.

Федю посадили рядом со Шварцем, и Шварц под пьяные речи соседей говорил о вечно женственном в Фаусте. Федя понимал, что пить — глупо и некрасиво, а говорить о вечно женственном в такой обстановке еще глупее. Он молчал.

Когда в третьем часу ночи вышли из подъезда гостиницы, часть на автомобилях поехала на острова, часть вышла на Невский и подхватила под руки раскрашенных женщин с огромными страусовыми перьями на шляпах. Федя пешком пошел домой.



К лету приехал Боба. Он дал телеграмму, и Федя поехал на вокзал встречать его. Из вагона вышел молодой господин в мягкой фетровой шляпе, с черными усиками, с модным пенсне без оправы. Через руку было перекинуто летнее пальто неопределенного цвета, очень легкое и изящное. Костюм был безукоризненно выглажен, воротничок был самый чистый и белый, щеки были выбриты так, что блестели, и Боба шагал легко и уверенно. Но когда он увидел брата, лицо его расплылось в добрую, мальчишескую улыбку старого Бобы, и они крепко обнялись и поцеловались. Носильщик, несший два совершенно новых кожаных чемодана с блестящими застежками, почтительно остановился, пока братья целовались.

— Так вот ты какой! Как ты изменился!

— Здорово, а? Да, за границей умеют жить.

— А меня отец не пускает.

— Ну, ничего, ничего. Пойдем-ка.

Вместе с толпой, которая почти вся состояла из таких же элегантных людей, как и Боба, т<ак> к<ак> поезд шел из-за границы, они по доскам длинной грязной платформы вышли на площадь и сели на извозчика.

Грязный город у Варшавского вокзала, Обводный канал, мосты с городовыми, серые дома, задние стены без окон, с дымоходами, — все это окружило их и, медленно покачиваясь, стало уходить назад. Но Федя чувствовал, что Боба приехал в свой родной город, он видел, что его глаза блестели, и полные щеки сияли счастьем. Это счастье передалось и ему. Счастливый! Он может уезжать и приезжать! Когда приезжаешь, то даже стук колес об ужасную мостовую покажется симфонией! Боба спрашивал его о школе, об экзаменах, о том, куда он поступил. Он говорил с ним как с равным. Они не заметили, как приехали.

Вечером Боба вошел к Феде.

— Одевайся во все самое лучшее. Мы сегодня с тобой поедем.

— Куда?

—Увидишь. Ты теперь взрослый. Надо тебя немножко пошлифовать, а то ты такой неотесанный бриллиант, что твое сияние никому незаметно.

— Спасибо.

— От «спасибо» кошки дохнут. Об одном только прошу тебя, пожалуйста, не размышляй и не философствуй! И выбрейся хорошенько. Смотри, какую я бритву привез.

Боба показал ему золингенскую бритву с костяной ручкой в кожаном футляре.

— Попробуй-ка!

Федя заметил, что Боба носит женский браслет.

— Что это у тебя на руке?

— Цепочка, дорогой мой, цепочка из золота, иначе называется браслетом. Теперь все мужчины за границей носят такие.

Боба тщательно проследил за Фединым туалетом и критически осмотрел его с головы до ног.

— Не умеешь ты одеваться. Черт его знает, в чем дело. Все на тебе болтается. Ну, ладно, поехали.

На извозчике Боба опять стал расспрашивать Федю об экзаменах.

— Да, мы тоже все знали вперед. И откуда доставали? Ведь на экзамене торжественно вскрывают запечатанный конверт с темой из министерства. А мы и в ус себе не дуем, все знаем вперед. Должно быть, наши служащие с министерскими снюхались. Только вот у меня с французским вышла история. Ты знаешь, как нас учили. Никто ничего, ни бе, ни ме, не пониме! Задумал наш француз нам комедию читать. Называлась она «Poudre aux yeux»![42] А у нас один графский сынок был, тот дома по-французски шпарил, все знал. Ну, он говорит: образуем, говорит, цепь! Все держитесь за руки. Когда надо смеяться, я буду дергать. И действительно, в нужных местах он дергал, и мы ржали в свое удовольствие. Monsieur Дюфур в восторге, и мы тоже. Ну-с, пронесся у нас слух, что на экзамене дадут нам тему «Les proverbes»[43] — про пословицы. Я к Нелли. Она мне все написала, я наизусть выучил, а трудные слова на манжетке написал. Только вскрывают конверт, вдруг — трах! «Le télégraphe»[44] — о значении телеграфа для человечества. Я кое-как свалял первую фразу: по телеграфу можно передавать все что угодно, например, пословицы. А затем уже пошло как по маслу. Ничего, получил «три».

Между тем извозчик подъехал к элегантному ресторану.

— Вот, мы приехали. Это — первый этап. Прежде всего, мы с тобой поужинаем, отпразднуем твое производство в люди.

Боба потребовал себе карту.

— Что ты хочешь? А?

— Мне все равно.

— Так нельзя отвечать. Ты тюлень. Ты говори. Вот, например, осетрины возьмем?

— Хорошо.

— На закуску возьмем свежей икры. И рябиновой. Огурцов свежих надо. Вот еще грибы жареные есть. Так-с. Ну-с, к грибам надо хересу. На третье: пломбир, мороженое, груши в вине... Не попробовать ли цветной капусты? Или спаржи?

— Ты возьми что-нибудь сытное.

— Молчи. Уж не хочешь ли ты гречневой каши? Сыру надо взять. Пломбир, кофе.

---

[42] «Poudre aux yeux» — «Пыль в глаза» (*фр.*).

[43] «Les proverbes» — пословицы (*фр.*).

[44] «Le télégraphe» — телеграф (*фр.*).

Пока официант, стряхнув со стола салфеткой крошки, которых там не было, пошел за заказанным, Боба придвинул свой стул и начал говорить шепотом.

— Я уж давно хочу с тобой поговорить. Ты не умеешь жить. Вот, например, если тебе придется как-нибудь заказывать ужин, ведь ты не сумеешь? Заметь, что никогда нельзя заказывать самое дешевое, иначе будет казаться, что ты жалеешь денег. Но самого дорогого тоже нельзя заказывать, потому что будет казаться, что ты форсишь, хочешь показать, что у тебя много денег, а это совсем дурной тон. Надо из средних блюд заказывать более дорогие — и будет как раз.

Пришел официант с подносом и салфеткой на руке и почтительно поставил на стол грибы, огурцы, графинчик и рюмки.

— Надо все делать, как другие. Ты вот, размазня, слюна, все в стороне стоишь, не умеешь ни одеться, ни пошевельнуться. Ведь ты спаржу не умеешь есть, устриц — не умеешь? И чего ты только умеешь? Ничего не умеешь! Например, одеться. Никогда нельзя носить готовых галстуков на пружинках, надо носить мягкие самовязы. Воротнички должны быть отложные и высокие. Боже тебя упаси носить воротнички из целлюлозы — знаешь, их не стирают и чистят резинкой, как бумагу, и носят целую вечность. Воротнички должны быть полотняные. Подставных манишек и манжет тоже нельзя носить, надо носить цельные рубашки и менять их, по крайней мере, через день.

Федя механически ел икру и запивал ее рябиновой. На эстраде играл великорусский оркестр.

— Мне не нравится, что ты говоришь. Вот ты хорошо одет. А знаешь ты, что они сейчас играют?

— Что-то знакомое.

— Они играют «Warum» Шумана[45], разве это не варварство? «Warum» на балалайках под икру и рябиновую? Как тебе это нравится?

— Отчего же? Это красиво. Но если ты думаешь, что я франт, то ты ошибаешься. Эх, жаль, отец тебя за границу не пустил. Вот моя философия: первое, всегда исполняй свои обязанности как можно лучше. Этому я тоже научился в Германии, так же как научился одеваться и есть. Например, наш клинический Practicum начинается в шесть часов утра. И хоть бы один когда-нибудь опоздал! Никогда! Вот где умеют работать. А мы? Валяемся до 12-ти, философствуем и воняем от грязи. А потом нам совестно есть икру.

— С этим пунктом я еще могу согласиться. А следующий?

— Со следующим ты не согласишься: всегда будь хорошим товарищем. Но это я как понимаю? Например, ты меня презираешь, что я спаржу ем. А ты не презирай, а тоже ешь. Ты вот отца презираешь. Что ж, у каждого

[45] «Warum» — фортепианная пьеса Р. Шумана «Зачем?» из сборника «Фантастические пьесы», op. 12 (1837).

свои слабости. Я не говорю, что с ним легко. Ты делай вид, что согласен с ним, а потом делай по-своему. Или видишь, что в Германии студенты хорошо одеваются. И ты одевайся. Они тебя приглашают в корпорацию, петь и пить. Что ж, пей и пой. А не говори: я выше этого.

— Значит, если я попаду во вшивую компанию, я должен себе вшей завести?

— Совсем нет. Ты должен держать себя чисто. Но тут выручает третий пункт моей философии.

— Любопытно, что это за пункт?

— Очень простой: пользуйся всем, что дает тебе жизнь. Вшивая компания может дать тебе таких весельчаков, что могильные камни захохочут — ну, и смейся с ними. А до вшей себя не допускай — держи дистанцию. Амикошонство[46] — это такой же дурной тон, как твоя философия. Ты говоришь, зачем Шумана под рябиновую играют? А ты слушай и наслаждайся. Ведь не плохая музыка?

В двенадцатом часу оба брата, потяжелев от выпитого и вспотев, спускались по мраморной лестнице ресторана.

У подъезда стояла вереница извозчиков. Боба подошел совсем близко к одному из них.

— Извозчик!

— Пожалуйте-с.

— Девочек знаешь?

Извозчик, старый бородач, очень довольный таким предложением, молодцеватым движением откинул полог.

— Только к хорошим вези.

— Филиппьевну знаете? У Филиппьевны самые лучшие.

Братья уселись.

— Надо с этой стороны посмотреть Петербург. Петербурга я еще не знаю. Только не умствуй, ради бога, молчи. Все равно когда-нибудь надо. Ты лучше вот что. Я ведь буду врачом, и я, как брат твой и врач, должен тебе сказать вот что...

И Боба стал давать Феде самые подробные наставления, как пользоваться женщиной, как предохранить себя от заразы, какие для этого есть надежные средства, где и как их покупать. Он учил его, как держать себя в публичных домах, чтобы не надули и не ограбили.

— Пьяный никогда не ходи. Очень опасно, гораздо опаснее, чем ты думаешь. Пьяный все забывает. А тут надо ухо востро <держать>. Будут с тобой шутить. Ты шутить-то шути, да гляди в себя. Например, был у нас в корпорации один студент-электрик. Веселый и талантливый как бог. На рояле играл и прочее. Он еще гимназистом пошел, неопытный. Ну, девчонка к нему на колени, с папиросной. И передала ему папироску изо рта. Он

---

[46] Амикошонство (фр. Ami — друг и cochon — свинья) — чрезмерная фамильярность.

сдуру и возьми. А потом оказалось: сифилис во рту. Заразился парень. Сам не понимал, что с ним, а когда схватился лечиться — уже поздно. Ну, кое-как лечился, но тут еще туберкулез обнаружился. Две болезни вместе его скрутили. Умер. А мы все это узнали уже после.

Федя едва слушал. От всех этих подробностей его тошнил<о>. Извозчик гнал, перегоняя других, и свернул на Лиговку.

— Ты что, на Лиговку? К рублевым?

— Не извольте беспокоиться. Я к Филиппьевне.

— Смотри, как бы я тебе с твоей Филиппьевной ушей не надрал.

Боба уселся поудобнее.

— Ты, Федя, на меня не обижайся. Если я, твой брат, тебя не научу, то тебя никто не научит, и ты можешь пропасть, сгинуть за грош по неопытности. Отцы не вмешиваются, ну, так должны братья помогать.

С Лиговки извозчик свернул на Глазовскую. Федю поразило, что на этой узкой и темной улице нет ни одного магазина, ни одной лавки. Все окна густо занавешены, так что на улицу не попадает ни одного луча света. Все ворота наглухо заперты и парадные заперты, так что кажется, будто глубокая ночь. На улице нет прохожих, у ворот спят дворники.

— Похоже, что здесь. Да, на Гамбург это не похоже. Там везде свет, и можно смотреть в окна и любоваться прелестями.

Извозчик лихо подкатил к подъезду с большими зелеными стеклами, над которыми тускло горел фонарь.

— Приехали. Здесь позвоните. Будете довольны.

— Подожди нас. А после Филиппьевны куда нас повезешь?

— Вот еще у Настасьи Петровны хорошие есть.

На звонок поспешно, но осторожно открыли. Видно, за дверью дежурили.

Они увидели широкую, ярко освещенную лестницу, выложенную красным ковром. Лестница вела на площадку, освещенную несколькими бронзовыми бра. На площадке тоже был положен ковер. Две двери были широко открыты. В одну дверь был виден коридор, в другую — салон. Из коридора вышла толстая женщина с ключами у пояса, в переднике, похожая на экономку, седая и с растительностью на губах и подбородке.

— Пожалуйста, пожалуйста, сейчас будут барышни.

— Филиппьевна?

— Она самая.

Филиппьевна громко захлопала в ладоши. Боба и Федя прошли в салон. Федя сделался мрачен. Он вспомнил «Припадок» Чехова[47] и «Франсуазу» Толстого[48]. Было не похоже на то, что там рассказывается, но было

---

[47] Рассказ А. П. Чехова «Припадок». См.: *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974–1983. Т. 7. С. 199–221.

[48] Рассказ Л. Н. Толстого «Франсуаза (Рассказ по Мопассану)». См.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928–1958. Т. 27. С. 251–258.

гадко. Гаже всего был тяжелый запах пудры и каких-то приторных, сладких духов. Этим запахом были пропитаны портьеры, кресла, обитые красным бархатом, ковры, которые скрадывали шаги, так что было совсем тихо. На стенах висели картины: «Леда с лебедем», «Русалка» и другие в том же роде.

— Как хочешь, а я в коридор не пойду. Не пойду.

— Никто тебя не заставляет.

В дверях показались барышни. Они шли вприпрыжку, пританцовывали, напевали и щекотали друг друга.

— А, блондин и брюнет, и оба молодые и хорошенькие. Тра-ла-ла-ла.

Барышни расселись по креслам и диванам, и Федя стал их разглядывать. Удушливый запах сладких духов еще усилился. Барышень было восемь человек. Боба шутя начал с ними болтать. Больше всего бросилась в глаза пышная блондинка в белой блузке, очень небрежно застегнутой. Она была ленива, ее совершенно белое лицо уже начинало расплываться, но густые, совершенно золотые волосы были завязаны в огромный узел, который от тяжести спадал на шею.

— Эй, толстенькая, откуда ты, расскажи-ка.

Но блондинка ничего не ответила. Все захохотали. Вместо нее ответила маленькая, худая еврейка в ярко-красном шелковом платье.

— Она от мужа.

— Ха-ха-ха.

— Да, да, да, вы не смейтесь. Она шведка и по-русски не говорит. Когда муж уезжает в Швецию, она приходит сюда, забавляется немножко с мужчинами. He, Klara, erzähle mal![49]

Клара говорила по-немецки. Она злорадно засмеялась, закинула голову за спинку кресла, показала маленькие, мышиные зубы и, шевеля круглыми плечами, повторила то, что говорила еврейка.

Оказалось, что все восемь говорили по-немецки. Одна была эстонка из Ревеля, другая — полячка из Варшавы, была украинка из Полтавы, немка из Кельна, еврейка, и другая еврейка, выдававшая себя за испанку.

— Ну а русские-то у вас есть?

— Как же, вот она!

Русская была в голубом газовом платье с открытым воротом. На шее была бархотка с золотым крестиком. Федя чуть не заплакал, когда увидел бархотку. Русская положила на стол ноги в голубых ажурных чулках и заложила одну на другую.

— Русских здесь мало. Русских девок во всем мире очень высоко ценят. А у нас больше идут француженки и шведки. Мы эстонок выдаем за шведок. Только Klara — настоящая шведка.

Барышни были в желтых, зеленых, красных, синих платьях и разноцветных чулках. Одна была в форме гимназистки, с двумя косами, в корич-

[49] He, Klara, erzähle mal! — Ну, Клара, расскажи-ка! (*нем.*).

невом коротком платье и с черным передником. Гимназистка уловила на себе взгляд Феди. Она села на подлокотник кресла и обняла его за плечо. Помня о студенте, который погиб от папиросы, Федя устранялся, боясь поцелуя.

— Симпатичный блондин, велите дать папирос!

Федю всего передернуло. Боба крикнул: «Эй, мамаша, Филиппьевна!»

Три барышни выбежали и привели Филиппьевну, обнимая ее и теребя за подбородок.

— Дай-ка нам, мамаша, папирос и бенедиктину.

Папиросы были расхватаны барышнями, а бенедиктин Боба пил один, изредка осторожно наливая Феде. Комната поплыла в дыму. Лица как-то стали удаляться и расплываться.

Боба заметно хмелел. Он стал трогать девушек за ноги, щипать их <за> руки выше локтя, отчего они пронзительно визжали. Вдруг одна из них громко и без всякого смеха произнесла громкое русское ругательство, приправленное целой серией самых отборных непристойностей. Лицо Бобы перекосилось, как будто он выпил уксусу. Развалившись в кресле и держа в одной руке рюмку, а в другой — широкую зеленую бутылку, он стал отмахиваться бутылкой и рюмкой будто от мух.

— Фу, фу! Aber Mädchen![50] К чему же так сквернословить?

— О, она у нас первый приз взяла. Тут у нас один купец был, вынул четвертную и говорит: кто крепче всех ругается — четвертную. Она взяла, никто так не сумел.

— А где же у вас купцы кутят? Здесь?

— Нет, у нас несколько салонов есть. Один — куда пускают только с большими деньгами. Там особые афинские вечера. Хотите?

Вдруг опять раздалось страшное ругательство. Федя тронул Бобу за плечо.

— Поедем.

Боба допил и позвал Филиппьевну, чтобы расплатиться.

— Что же вы так скоро? Не понравились барышни? А мы чистые простыни вам дадим. Куда же вы?

— К Настасье Петровне посмотреть.

— К Настасье Петровне? В Альгамбру? Да там вам трех барышень и покажут. Там лучших прячут для купцов и офицеров, а я всех показываю.

— Ну, не всех?

— А вам что же, сразу полсотни надо? Она своих на улицу пускает, а мы своих дома держим, у нас притон.

Слова «у нас притон» были сказаны с особой гордостью.

У Настасьи Петровны было то же самое, что у Филиппьевны, и в следующем, куда поехали, и в четвертом, и пятом были все те же барышни, те же ковры и портьеры, те же карнизы с позолотой, и везде удушливый, прони-

---

[50] Aber Mädchen! — Ну, девушки! (*нем.*).

кающий во все складки одежды, липкий, приторный запах, от которого тошнило. Оказалось, что вся Глазовская улица — сплошные притоны. А снаружи все было мертво, и дворники спали в подворотнях, как везде.

Что же это такое? Где же музыка, разгул, веселье? Ведь это скука? Самая ужасная, будничная скука? И это то, что иногда в смутных, преступных мечтах являлось ему в бессонные ночи?

Федя не представлял себе этого без страсти, без сжигающей страсти, поглощающей все существо, так что можно умереть от возбуждения! А здесь? Мешки под глазами, хриплые голоса, пудра, которая, может быть, скрывает розоватую венерическую сыпь, пестрые тряпки, облегающие прогнившие тела...

После пятого дома Федя решительно заявил, что он хочет домой. Боба отвез его домой и, высадив, крикнул извозчику: «К Филиппьевне!»

Он долго не мог заснуть, зажигал и тушил, и снова зажигал лампу. Опять, опять: то, чего я не хочу, то идет на меня. Не хочу, не хочу и не могу. <...>.

Куда бежать? Куда бежать от себя, от своего тела? Никуда не убежишь. А значит, тут что-то не так, и Боба не прав. Убежать — это не решение. Взять — вот решение. Но не так, как Боба, с его немецко-европейской философией, цена которой — русский бардак.

— До брака я не трону ни одной женщины. Первая женщина будет моя жена.

XIII

Федя уговорил Глеба провести лето на хуторе, и они вдвоем поехали Волгой. На пароходе Федя рассказал о встрече с еврейкой и о том, где они были с Бобой.

— Это естественно, это в порядке вещей. Если ты только подумаешь, сколько зла в мире, сколько зла! Святые уходили в пустыню, чтобы молиться, но ведь мир не стал лучше? Чтобы съесть телячью котлетку, надо убить теленка. Ты представь себе его потухающие глаза, его заглушенное мычание, его судороги, вхождение холодного металла в самую глубь его тела...

— Перестань!

— Я знаю, что в твоей жизни много значили муки животных, потому я так и говорю. Но ведь нельзя не есть? И это — только самое маленькое, микроскопическое зло. Люди убивают людей. Или представь себе со всей возможной ясностью, что ты — в тюрьме, в одиночной камере и будешь там

сидеть всю жизнь. Или даже вот вообрази кочегара, который 12 часов стоит у топки, чтобы мы с тобой могли кататься. Весь мир утопает во зле. Если во все это вдуматься, то можно только повеситься. А я думаю так: нет зла и добра, есть только сила и бессилие.

— Как?

— А так. Вот ты не можешь видеть, как убивают ворону. Ты не можешь перенести, что есть женщины, которые отдаются за деньги, и мужчины, которые их покупают. Ты скажешь — это слабость? Нет, это — сила. *Твоя* сила. Но твой брат, который просто идет к женщинам, и эта красивая еврейка, которая хочет тебя соблазнить, и мясник, всаживающий нож в горло быку — это тоже сила, *другая* сила. Обе должны жить. А слабость? Если ты пойдешь на Глазовскую, а твой брат не пойдет — это слабость.

Мимо проходили города: Борисоглебск, Ярославль, Кострома, Казань. Глеб как-то умел говорить такие слова, что Федя, глядя на эти белые церкви с голубыми луковками на крыше, утопавшие в зелени, вдруг начинал ощущать на себе ту таинственную силу, которая идет от архитектуры.

— Как ты думаешь, что это за странные формы: эти луковицы на столбах?

— Мне они напоминают свечи, которые зажигаются в самих церковках. Один раз я шел лесом и вдруг увидел молодой сосновый бор. Сосенки темные, а молодые побеги — светлые. Эти побеги как свечки на ветках. Я думаю, что отсюда и рождественские свечи. То же на каштановых деревьях, только там не побеги, цвет напоминает свечи, стебли тянутся вверх от веток, и они белые. Свеча для меня значит: расту и горю. Эти белые, гладкие стены без всяких украшений, нелепые луковицы, они — форма. Важно, чтобы форма эта в нас была. И эта форма заражает, она создает нас. Смотришь — и чувствуешь себя осчастливленным.

Какой все-таки необыкновенный человек был Глеб. Федя глядел на церковки и, действительно, уже чувствовал себя осчастливленным. Все, что он говорил, открывало ему дали, которых он не видел до сих пор. Можно ли было думать, что эта церковка так хороша? Феде хотелось учиться, учиться, читать, много читать, все знать. Вот и теперь: он презирал русскую историю, которую сдавал «по Платонову»[51]. Но надо как-то иначе все это изучать. Историю надо *пить*, как источник, как родник живой воды.

Глеб как будто угадал мысли Феди.

— Кто не видел Волги, тот не знает России. Есть такие реки. Таков Рейн. И странно, что ни один писатель, ни один русский художник не изобразил Волгу. Ее нет в нашем искусстве. Ведь не некрасовские же завывания передают это!

Да, вот опять Глеб прав. Какой он тонкий, какой умный человек!

Но зато, когда Федя пытался рассказать Глебу *свое*, тот часто не понимал, и он обижался.

---

[51] Платонов Сергей Федорович (1860–1933) — русский историк, академик.

Когда они приехали в Камышин, Федя показал ему дом, где была булочная и где жил дядя Витя. Он рассказал ему, какая там ужасная кровать, какие там золотушные, кривоногие дети, которые объедаются конфетами.

— Да, да, конечно, это провинция. Русская провинция. Но ты думаешь, что это только у нас так? Знаешь, кто самые ужасные, самые мелочные буржуа? Французы! Зефирные французы. Да, да.

Но Федя был недоволен такой репликой. Глеб не понимал, что здесь — рана, *его* рана, а у Глеба этой раны не было.

То же было, когда Федя, уже на хуторе, свел его в лес, к прудам, где и в этом году, как и тогда, старая утка выводила своих утят, по-матерински тихо крякая.

— Да, утка, действительно. Интересно.

Опять Глеб ничего не понимал. Или Федя не умеет рассказать. Утка — это *его* счастье. А у Глеба было другое, совсем другое. Он не умел быть счастлив оттого, что утка так тихо и успокоительно крякает. Но вдруг Глеб подозвал Федю. Они подошли к маленькому пруду. Старинные тополя, такие старые, что угадывалась гнилая древесина, нависали над прудом. Пруд был совсем черный и неподвижный и почти весь зарос белыми водяными лилиями.

— Ты посмотри на эти лилии. Как они хороши! Они почти как люди, как глаза.

Они долго стояли и смотрели на лилии.

— Вот я сказал: глаза. Но это неверно. Шварц говорит, что цветы — это не что иное, как половой орган, и это гораздо глубже, чем назвать их глазами.

У Феди даже мороз пробежал по коже. Он угадывал мировые, таинственные связи, в которые и он был втянут, но не знал еще как.

И опять Глеб был выше, умнее его. Ему стало стыдно за утку, и ему уже показалось, что кряканье уток — очень обыкновенная, ничем не замечательная вещь.

Теперь по вечерам на балконе зажигали лампу, и все садились вокруг стола и читали. Раньше, в прежние годы, этого не делали: каждый сидел у себя. А теперь сидели вчетвером: Боба, Нелли, Глеб и Федя. Никто не мог бы сказать, что случилось в семье, но в семье что-то случилось, и теперь все могли сидеть вместе, и даже мама садилась с чулком, немножко удивленная этому счастью.

Иногда читали вслух. Читал Глеб. Читали Толстого, Пушкина.

Федя был недоволен. Могут ли они понять Толстого? Но даже Боба слушал без насмешки. Он слушал внимательно, напуская на лоб складки, и видно было, что он смутно думает и передумывает.

Иногда играли в карты, а иногда даже заводили граммофон и танцевали.

Федя никогда в жизни не танцевал. Но теперь Нелли брала его за талию и заставляла его выделывать трудные па. Федя хотел злиться, но не мог.

Он играл в четыре руки с Бобой и с Нелли, а иногда играл один, и тогда не читали, а слушали.



Скоро появилось новое лицо. В один вечер, когда все опять сидели вокруг лампы и читали, на дворе послышался конский топот. Все подбежали к окну. Кто это может быть?

Во дворе показался всадник на высокой, тонконогой калмыцкой лошади, которая не хотела остановиться и перебирала ногами. Наездник легко соскочил, привязал лошадь у навеса и пошел к дому.

— Ах, какой красивый мужчина! Вот если бы у меня был такой сын!

— Вы, мама, всегда судите по наружности.

Хотя было уже темно, но можно было видеть, что на лошади великолепное английское седло, что наездник необыкновенно тонок и строен, вот он подходит к дверям. Слышен тонкий звон шпор. Дверь открывается.

— Здравствуйте! Вы разрешите мне войти?

— Пожалуйста!

Незнакомец переложил из правой руки в левую тонкий кожаный хлыстик и со всеми подряд поздоровался за руку.

— Горшков Иван Иванович.

— Очень рады, присядьте, пожалуйста.

Горшков сел на самый край стула, как будто он пришел только на секунду и готов сейчас же вскочить. Он заложил ногу на ногу, и под кожаным <....> обрисовались великолепные ляжки.

— Я к вам по-соседски, извините за беспокойство. Я работаю *у князя Гагарина.*

Слова «у князя Гагарина» были произнесены так, как будто это что-то очень торжественное, важное и высокое. Горшков помолчал ровно столько, чтобы дать хорошенько отзвучать этим необыкновенным словам.

— Я управляю его имением. *Князь* Василий Федорович просил меня побывать у вас и передать привет от него.

Федя внимательно рассматривал Горшкова. Уже когда он вошел, Федя заметил, что он очень похож на Глеба, что у него все такое же: высокий лоб, черные глаза, узковатые плечи. Все было такое же, но все было другое: высокий лоб был узок и еще сужался кверху. Федя решил, что у него «ограниченный» лоб. Глаза были маленькие, черные, но совсем лишенные блеска. Они лежали глубоко, и не всегда можно было сказать, куда они смотрят, так что казалось, что они откуда-то подсматривают.

— Князь очень заинтересовался вашим опытом разведения фасоли. Мы с князем решили, что нам также надо попытаться акклиматизировать фасоль.

Федя поймал на себе скрытый взгляд глубоко лежащих черных глаз. «Врет, врет. Но к чему?» И «акклиматизировать» он произносил так чисто и правильно, что оно, должно быть, заучено вперед. А мама-то как засуетилась!

— Ах, пожалуйста, пожалуйста. Да, мы разводим фасоль. Это все мой муж. Так вам нужно семян? Но сейчас у нас нету. Осенью с удовольствием. Да, пожалуйста, милости просим!

— Князь поручил мне закупить весь урожай!

— Ах, но у нас так мало. Вот я вам сейчас покажу, какие у нас сорта.

Когда она ушла, наступило неловкое молчание. Никто не знал, что сказать. Горшков покашливал и подносил ко рту совершенно вытянутые пальцы, как бы защищая рот. Боба кашлянул точно так же, передразнивая его, поднес к губам три пальца, но сделал это так тонко, с таким серьезным видом, что никто не заметил передразнивания.

— Как у вас здесь хорошо! Вы мне разрешите потом взглянуть на ваш сад?

— О, конечно, мы разрешим. Мы разрешим взглянуть на наш сад.

В эту минуту показалась мама и несла в переднике несколько горстей бобов.

— О, это же прекрасная фасоль! Тут и Ильзенбургская есть, и алжирская. Великолепно!

В этот вечер уже больше не читали. Для гостя поставили самовар, пили чай, и было очень натянуто.

Но когда Горшков уехал, началось буйное веселье. Боба представлял Горшкова, как он садился на край стула, как помахивал хлыстиком, как перебирал бобы. Он говорил: «Мы с князем» и «Великолепные бобы!» Потом вдруг он бросился на колени перед Нелли.

— Mademoiselle![52] Я вас люблю и обожаю! Люблю во всю! Будьте, умоляю, моей женой!

Он трагически закатывал глаза, размахивал руками, как плохой актер, и все это было чрезвычайно похоже на Горшкова. Все дружно засмеялись. Но из общего хора хохота Федя вдруг уловил два похожих смеха: это смеялись мама и Нелли, и они смеялись не так, как всегда. Что это?

Мама смеялась беззвучно, как смеются слабые люди, когда им не смешно, а Нелли хохотала звонким, тонким голосом, отмахивалась руками и кончила тем, что надула губы.

— Бобка, оставь.

— Нет, серьезно. Отчего бы тебе не выйти за него? Такой красивый мужчина и такой статный! И фамилия звонкая: Горшков. А? Как ваша фамилия? Горшкова. А?

Теперь, когда произносилось слово «горшок», то это означало «Горшков». Этим словом Боба изводил Нелли. За обедом он говорил: «Не принести ли горшок молока?» — и с серьезным видом смотрел на Нелли.

— С чего ты взял , что он мне нравится?

— Когда ты выйдешь замуж, не забудь ставить под кровать...

— Дурак!

— Нет, я серьезно тебе говорю, как медик. Мужчины, знаешь...

— Избавь, пожалуйста.

---

[52] Mademoiselle! — Мадемуазель! (*фр.*).

— Мы, медики, не привыкли стесняться и все называем своими именами. Например, в Лейпциге есть ресторан, где обедает весь медицинский факультет. Если мы, скажем, хотим глазунью из двух яиц, то мы говорим: «Пару гнойников, живо». И кельнер нас понимает, потому что там все меню имеет свои названия. Например, пирожное у нас называется...

Но Нелли затыкала уши и начинала петь.

Федя стал присматриваться к Нелли. Она была все такая же, хотя ей было уже лет двадцать, и она давно кончила школу. Она зачесывала косы вокруг головы. От этого голова становилась шире, шея оставалась непокрытой, и видно было, что шея чуть-чуть слишком длинна. Плечи немного свисали, и она имела привычку опускать руки и так стоять и ходить. У нее были большие, близорукие глаза, и когда она смотрела вдаль, то морщила ресницы. Все ее существо по-прежнему дышало беспомощностью, и все, что она делала, выходило беспомощно, и всегда хотелось переделать то, что она делала. Поэтому все в доме ее всегда чему-нибудь учили и читали ей нравоучения. И ее всегда было жаль. У нее был небольшой голосок, и она иногда пела, но хорошо у нее выходили только совсем наивные, совсем простые песни.

Wir träumten bunten Blumen
<So sie eine> Woche blühen im Mai[53].

Когда она по вечерам пела это, зажегши свечи за пианино, и щурила свои близорукие глаза, то ее было так жаль, что хотелось плакать. И когда она приносила букет ромашек и ставила их в стакан у себя в комнате, то ее тоже почему-то было жаль.

Но она бывала страшно упряма, и когда она на дороге видела жучка, то всегда давила его ногой и даже растирала его подошвой. А Федя всегда обходил всякого жучка. Любила ли она когда-нибудь? Если любила, то уж, наверное, не говорила никому, оберегала свою любовь от всех, так же, как Федя, так же, как, вероятно, это делал и Боба. Это у них было общее. И если не любила, то хотела любить, была готова к любви, звала ее. Это угадывалось. Она была уже не девочкой. Она цвела, она переживала лучшие годы, черты лица ее были тонки, и большие глаза смотрели всегда немножко удивленно. Но где-то около висков, около углов глаз уже угадывалась сухость, и углы губ бывали опущены.



Горшков приехал через неделю и стал наезжать чаще и чаще.

Скоро узнали из слухов, что он <когда-то> учился на юридическом факультете, но не кончил его, что он занимал какие-то судейские или судебные должности, что он оказал какую-то важную услугу князю Гагари-

---

[53] Мы вспоминали о ярких цветах,
Которые цветут неделю в мае... (*нем.*).

ну, и тот взял его к себе. Крестьяне будто бы за что-то собирались его убить, но никто не знал толком, в чем дело. Кроме того, стало известно, что он вдовец, что жена его внезапно умерла через год после свадьбы, ничем не болев, она будто бы была цыганкой, и в комнате Горшкова будто бы висел ее портрет — с гитарой, в полном цыганском наряде. Теперь он был кумиром фельдшериц, акушерок и сельских учительниц и всех уездных барышень, которые считали его неотразимым. Говорили, что он хочет жениться, что он выискивает себе жену, но что среди фельдшериц и уездных барышень он не может найти себе невесты, которая была бы достойна его.

Скоро все поняли: Горшков приезжает для Нелли. Нелли держала себя странно. Иногда она к его приезду завивалась (и это не шло к ней), надевала белое платье и лучшие туфли. Но иногда она поступала иначе: у нее была очень тонкая кожа, и на лице часто выступали мелкие, едва заметные прыщики. Она становилась к зеркалу, выдавливала все прыщики, и лицо ее становилось безобразно. Она нарочно обезображивала себя к приезду Горшкова, надевала самое будничное, несвежее платье и сидела за столом с каменным, неподвижным лицом, закусив нижнюю губу. Но Горшкова это не смущало. Видно было, что он считает свою победу обеспеченной. Он приезжал с ружьем (великолепной английской двустволкой из дамасской стали), ходил на охоту и приносил уток и гусей. Он катал верхом всех по очереди или приезжал на линейке, и тогда устраивались поездки с самоваром и бутербродами. Он принимал участие в танцах под граммофон, и когда читали, он высказывал свои мысли о Толстом, о Горьком, о Чехове. Его суждения были плоски, но никто не ждал от него другого, и понемногу к нему привыкли. Только Федя опять погружался в свою мрачность.

— Глеб! Что ты об этом думаешь?

— Я думаю, что она выйдет за него. Она даже непременно выйдет.

— Но ведь это будет ужасно?

— Но это будет.

— Нельзя этому помешать?

— Нельзя. Твоя сестра рождена для несчастья. Ты посмотри на ее губы. Она будет несчастна, если выйдет за него, и несчастна, если не выйдет. Ей нельзя помочь.

— А он?

— Он? Он будет счастлив. Он во всем противоположен ей. Он всегда доволен, потому что доволен собой. Он совершенно лишен чувства страдания, а твоя сестра рождена страданием.

Осенью Горшков сделал предложение.

Теперь можно было видеть, как по аллеям тихо бродят двое людей: он — стройный, затянутый, красивый, она — в белом, с опущенной головой, почти всегда — с цветами в руках. Можно было подумать: как это красиво и как они счастливы. Но Нелли молчала, и углы ее рта как будто еще глубже опускались. Только иногда, когда он уезжал, Федя замечал в ее глазах какое-то новое глубокое сияние.



Свадьбу справили в Петербурге. Петербург был невыгоден для Горшкова: верхом на лошади или с ружьем, в саду, он мог понравиться простым людям, как он нравился матери: он ослепителен для провинции, но он был ужасен для Петербурга.

Нелли это чувствовала, часто плакала и была готова отказать ему, но считала это подлостью. Она не хотела быть подлой. Они закупили приданое. Когда они возвращались из магазинов, немножко возбужденные и рассказывали, что они выбрали пианино, или какой они купили туалет или умывальник — Горшков смотрел гордо, и его маленькие, глубоко лежащие глаза таили какое-то скрытое довольство, — было опять почему-то жаль Нелли, так жаль, что хотелось не только плакать, хотелось скорее, скорее что-то поправить и изменить. Но изменить ничего нельзя было. Дубовый буфет, кровати карельской березы, картины, белье с прошивками, все это паковалось, отправлялось. Всей семьей ходили в ложу в Мариинский театр, Нелли с<о> своим женихом ходили по музеям, и к свадьбе уже закупали сардинок, шампанского и искали повара и судомоек.



На свадьбе все перепились.

Федя напился пьян первый раз в жизни. Он смутно помнил Нелли всю белую, с шлейфом и букетом. Потом — кареты, церковь, шампанское.

Потом ужин, глупые речи. Невеселые бесконечные «ура» и «горько».

Потом — вокзал. Нелли в новом меховом пальто стоит у вагона и прикладывает к глазам платок.

Федя бросается к сестре. Он ее целует, целует, берет в руки ее голову, целует ее в глаза, в руки, потом всхлипывает и вместе с пьяным Бобой едет домой. Там он напивается окончательно.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV

Кто-то постучал в окно.

Потом еще раз — тихо, но властно. Федя в рубашке высунул голову во двор.

На дворе — лошадь, и за узду ее держит незнакомый человек.

— Кто там?

— Выходите.

В голосе властность.

Федя ненавидит властность. Ему хочется сказать грубость. Но он уже приучил себя: с такими говорить сухо, только самое нужное, и делать вид, как будто тебя это не трогает.

Он натянул штаны, накинул на плечи пальто и босой вышел на двор.

Человек с лошадью протянул ему бумажку без слова.

Федя без слова протянул руку.

Рука дрожала от холода. Так тепло было в постели!

Но когда он прочитал бумажку, рука задрожала еще сильнее.

— Война, барин.

Теперь уже никакой властности не было. Был человек, сбитый с толку, который хотел что-то сказать.

— С немцами.

Но Федя говорить не захотел.

— Сообщите в волостное правление, что я завтра выезжаю по месту призыва, в Петербург.

Но тот не уходил, не садился на лошадь. Ему хочется сказать что-то свое. Но он не умеет сказать. Он ждет, чтобы барин сказал что-то такое, чтобы стало все ясно.

Федя роется в карманах пальто, находит двугривенный и молча идет в дом.



Вот оно.

Феде стало казаться, что он давно уже ждал какой-то катастрофы для себя: слишком нелепа, бедна, темна была его жизнь, оторванная от какого-то потока. Это должно было кончиться. И вот оно кончилось.

Он уже не мог спать. Он зажег свечу, стал одеваться и укладывать чемодан. Но вещи валились из рук. К чему теперь фотографический аппарат и тома Гете, сонаты Бетховена?

И вдруг громадность того, что совершилось, охватила его с такой силой, что он громко застонал. Он старался, но не мог представить себе войну. Ему чудились обрубки человеческих тел, руки, ноги, головы, взлетающие на воздух с землей и песком. Это безумие. Таинственное безумие, которое сильнее мысли, сильнее любви, сильнее всего на свете.

Свеча горела тускло, пламя колыхалось, на стене он увидел свою тень.

Так будет в землянке. Теперь все — безумие.

Умирать?

Умирать не страшно. Только бы не слишком долго.

Но убивать?

Федя не представляет себе боя. Но он представляет себе переход. Все идут, молчат. Потом стоят, стоят. Они — уже мертвые, хотя и двигают ногами, нагруженные ранцами и винтовками. И вдруг смерть представляется ему так: смерть — это серое. Серость все растет, растет, и ничего не видно, и нет воспоминаний, все, все безразлично. Семьдесят верст в день. И нет воды. И нет табаку. И уже ничего не хочется. И после этого можно убивать. Сперва умереть. Потом убивать.

Неужели он дойдет до этого?

Война — это гниение.

Федя знает себя. Он обходит жучков, чтобы не наступить на них. Но он жесток. У него есть задатки каменного равнодушия. Он с войны вернется другим. Таким, который никогда не смеется.

И это будет. Это будет не с ним. Это будет со всеми. Люди перестанут плакать. Они перестанут смеяться.

Война — это остановка.

Федя не может воевать. Его тошнит.

Смутное решение: не воевать. Куда угодно — в лазарет, в кухню, в канцелярию, в тыл — но не на фронт. Дезертир? Да, дезертир. Дезертир убийства, а не дезертир умирания.

Но вдруг он мучительно краснеет. Острый стыд. Честнее быть там, где умирают. И он будет там. И сразу стало легче: да, он пойдет на фронт, на самые передовые позиции. Но как быть там, где умирают, но не быть там, где убивают?

Может быть, надо стрелять в воздух?

Все неясно.



Утром все уже знали, что ночью объявлена мобилизация. Служанки выли и отпросились в деревню. Мама плакала.

Резали петухов и со слезами пекли сладкие пироги: проводить Федю. На дорогу делали пирожки и котлеты — самые лучшие, и было все равно,

сколько масла уйдет. Пусть побольше, побольше масла. Мама со слезами на глазах растирала яйца с мукой и сахаром: делали какое-то особое тесто.

Федя еще раз прошелся по саду. Кое-где, как всегда, розовели яблоки. Тыквы, дыни, арбузы, свекла — все это зеленело, зрело, ликовало, вбирало солнце и хотело жить. И жило. Вот капуста. Крепкие, налитые кочаны как будто смеются.

Все тянется к солнцу. Федя глубоко вдыхает воздух.

Будь что будет.

Вечером запрягли. Под сиденье положили особенно много сена, чтобы было мягко сидеть. И мама, подымая углы передника к глазам, крепилась, чтобы не упасть, чтобы не разрыдаться. Она стала засовывать передник в рот и кусать его.

Федя говорил себе: может быть, я вижу ее в последний раз. Что она должна переживать? Но ему не хотелось плакать, не хотелось прощаться навсегда. Казалось, что он, как всегда осенью, уезжает в город раньше и что через месяц все опять увидятся.

Скорее, скорее!

Федя с острым любопытством садился в поезд.

— Вот проедусь опять по России и увижу, как начинается война, что у нас делается.

Но, к удивлению, ничего не было. Все было как всегда. Так же, как всегда, на станциях стояли жандармы и тупые, неподвижные мужики валялись на платформах с какими-то сундуками и мешками. И, как всегда, деревни издали казались чистыми, мирными, и вдали ветряные мельницы вращали свои крылья то быстрее, то медленнее. И хлеб дозревал, а местами уже был сжат.

В Тамбове стоял воинский поезд.

Федя побежал смотреть.

Как они? Что они?

«Они» орали песни. Они стучали манерками, кричали «ура» и почему-то все бегали взад и вперед. У одного вагона стояла толпа их и что-то делала. Федя протискался. Совсем молоденький солдат, такой молодой, что даже странно было видеть на нем гимнастерку с серыми погонами, громко и бесстыдно плакал. Его качали и смеялись. И хотя его качали и казалось, что самое естественное ему — махать руками, он не махал руками; всякий раз, взлетая на воздух, он прикладывал к глазам кулаки и вытирал слезы и выл так громко, что его слышно было, несмотря на смех.

Поезд был длинный. Он состоял из товарных вагонов. Только в голове поезда был один вагон первого класса, и около этого вагона совершенно спокойно стояли два офицера, и один курил папироску через мундштук из белой кости.

Солдатам бросали монеты, булки, яблоки, махорку, а когда поезд пошел, им замахали платками.

Везде говорили о войне.

Федя ничего не говорил. Он слушал.

И ему все казалось, что все говорят не то. Что нужно еще что-то такое сказать, чего никто не говорит, но что все знают.

И делают не то. И те солдаты, что орут песни, делают не то, что хотят, и офицеры, которые так спокойно курят, делают тоже не то. И те, что бросают солдатам карамельки, тоже делают не то.

Только один, как казалось Феде, делал то, что надо: это тот молоденький солдат, которого качали.



То же было в Петербурге.

Все говорили одно, а думали другое.

Все говорили, что мы побьем немцев, и все были убеждены, что немцы нас побьют. Говорили о немецких зверствах — и хорошо знали, что таких зверств не было. И когда читали в донесениях, что войска отступили на заранее подготовленные позиции, то все знали, что никаких заранее заготовленных позиций не было, а просто неприятель нас выбил.

Война была окутана непроницаемой броней лжи.



Оказалось, что студентов не призывали.

Можно было никуда не являться и продолжать учиться. Но учиться было невозможно.

Так же, как когда-то в школе не было никакого дела до Второй Пунической войны[54], до какого-то Иоанна Цимисхия[55] и до поучения Луки Жидяты[56], и до много<го> другого, что надо было выучивать, так и теперь Федю не трогали праславянские аффрикативные звуки, речи Лизандра[57] и прочее, что надо было знать. На экзамене по истории римской литературы знаменитый профессор потребовал, чтобы Федя назвал подряд всех любовниц Катулла[58]. Но любовниц Катулла Федя назвать не мог.

---

[54] Пунические войны — между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье. Первая Пуническая война — 264–241 гг. до н. э.; вторая — 218–201 гг. до н. э.; третья — 149–146 гг. до н. э.

[55] Иоанн I Цимисхий — византийский император (969–976).

[56] Лука Жидята (ум. 15. X. 1059 или 1060) — епископ Новгородский, автор поучения (Поучение архиепископа Луки к братьи). См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. Л., 1987. Вып. 1. С. 251–252.

[57] Лизандр — лакедемонский вождь во время Пелопоннесской войны (см.: *Любкер Фр.* Реальный словарь классической древности. СПб.; М., 1888).

[58] Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) — римский лирический поэт.

А война была тут.

Федя хотел учиться.

С тех пор как он узнал Глеба, он понял, что он неуч. По многу раз он принимался за историю, ботанику, языки, ходил даже на лекции по гистологии и криминологии.

Но книги валились из рук. Это все было «не то». А теперь была война, и Федя забыл об университете.



Когда Федя пришел к Глебу, он застал весь дом в волнении.

Анна Михайловна была в форме сестры милосердия. Она была попечительницей лазарета.

— Вот вы нам нужны. Вы будете у нас санитаром. Вы с Глебом нам пригодитесь. Сейчас же едем.

С Глебом поцеловались — не виделись все лето. И надо было столько сказать друг другу. Но сейчас было некогда.

— Едем.

Лазарет оказался бараком одной из больших больниц. Прежде здесь было глазное отделение, и теперь его превращали в военный лазарет. Каждый барак содержался за счет какого-нибудь учреждения.

Надо было перетаскивать кровати, настилать матрасы, простыни, одеяла, носить шкафы для хирургических инструментов, операционные столы, носилки. С Феди струился пот, и Глеб тоже то и дело вытирал лоб.

К вечеру все было готово, на следующее утро служили молебен, а еще через день привезли раненых. Ожидалось, что привезут человек 10–12, а привезли сразу сорок человек — ровно по числу коек.



Как всегда, когда кажется, что все сделано, оказалось, что ничего не готово.

Надо было всех накормить, всех обмыть и сделать самые срочные перевязки.

Все были голодны, истощены, были такие, которые по неделям не снимали сапог. Когда всех уложили на койки, от гнойных перевязок, от пота, от ног воцарилось ужасающее зловоние.

Анна Михайловна и две сиделки бессменно находились в ванной. Здесь мыли самых грязных. Они не могли снимать рубашек, нс могли нагибаться, и Федя с Глебом сажали их в ванну, а Анна Михайловна, засучив рукава, сама мыла этих сильных, голых мужчин, она сама была сильная и делала свое дело ловко и быстро. Сиделки бегали с дровами, мочалками, рубашками, простынями, кальсонами.

Тем, которых нельзя было мыть в ванной, мыли ноги, руки, лица.

Федя обходил койки с тазом и полотенцем. С ног слезала кожа целыми кусками, издавая острую вонь. Федя становился на колени, нагибался над тазом и мыл солдатские ноги.

Но его все время отрывали. Фельдшерица и сестры перевязывали самых тяжелых больных с гнойными ранами. Каждого больного надо было с койки перекладывать на носилки, с носилок — на стол, со стола — опять на носилки, а с носилок — обратно на койку.

Федя и Глеб быстро сработались. Федя брал больных под мышки, Глеб — под колени, и они научились перемахивать тела одним движением. Все движения их стали целесообразны, и цель эта была одна: не сделать больно.

Было так много дела, что Федя не смог всматриваться в лица. Но когда ему казалось, что он делал больно, он вопросительно смотрел на них, но в глазах он неизменно читал одно: ничего, ничего, ты стараешься, а я потерплю. Все больные смотрели ласково. Не было ни одного недовольного или злого лица.

Потом надо было всем ставить градусники и записывать температуру. Потом надо было кормить с ложки тех, которые не могли подымать рук. Надо было подкладывать судна, помогать оправляться и выносить. Тем, кто могли ходить на костылях, надо было помогать добираться в уборную и обратно.

Федя почувствовал, что кто-то треплет его по плечу.

— Снимайте халат, мой хороший, и идите чай пить.

Это — Анна Михайловна.

— Какой вы милый.

Федя снимает халат и идет в дежурную.

В дежурной никого нет. Он садится на лежанку.

Весь день он не ел, не пил и вдруг почувствовал, что он устал и что болят ноги.

И только что он сел — один, как вдруг почувствовал, что он не только устал, но что он потрясен до самой глубины души, потрясен и весь выворочен.

Скрипнула дверь. Это вошла Анна Михайловна. Она вошла быстрыми шагами, встала к окну и полуотвернулась. Но Федя мог видеть, как задрожали углы ее губ, и он услышал тихое всхлипыванье.

— Что будет с Россией? Что будет с Россией?

Она вынула из оттопыренного кармана своего халата платок и быстро отерла глаза.

— Но какой вы милый, какой вы милый! Что бы было сегодня без вас?

Она подошла к нему, положила ему ладони на уши и три раза тихо поцеловала его в лоб.

Вошел Глеб и, по своей всегдашней привычке, стал целовать матери руку, а она его поцеловала в лоб и волосы.

Вошла сиделка с чайником и тремя кружками, и Анна Михайловна стала вскрывать коробку с бисквитами.



Прежде Федя думал, что самое важное в жизни — это иметь правильные мысли.

Теперь же он понял, что важнее всяких мыслей было иногда сделать правильное движение.

И он стал учиться движениям, нужным для больных.

В лазарете было две сестры. Одна — худая, анемичная, но аккуратная, всегда ровная и очень исполнительная, и знающая сестра — Ольга Николаевна. Другая — маленькая, подвижная, с золотистыми волосами и голубыми глазами, всегда веселая и бодрая — Наталья Павловна, муж которой был на войне. Одну называли Олечкой, другую — Наточкой.

Наточка и Олечка учили Глеба и Федю, как надо мыть руки перед перевязкой, чтобы достичь стерильности, как перевязывать руки, ноги, как бинтовать живот, голову, как снимать и надевать рубашку лежачему.

Теперь, когда он приходил домой, ему не хотелось читать ни Гете, ни Пушкина, ни Новалиса. Все это казалось таким ненужным, таким далеким. Когда он закрывал глаза, ему мерещились гнойные раны, обнаженные желтоватые живые кости и кусочки ваты с кровью и гноем, и блестящие пинцеты, скальпели, зонды, шпателя.

Теперь часто у него ночевал Глеб, и они по-прежнему много говорили.

— Мы до сих пор всегда жили отражениями. А теперь пришла действительность. И я благодарен судьбе, что она дала мне это. Пусть теперь работают руки. Но я благодарен судьбе и за прошлое. Если бы я не читал Новалиса или Гете, может быть, мне бы только и осталось, что водку пить.

И Федя быстро перенимал от Олечки и Наточки все, что нужно было. Он научился извлекать из самых страшных ран осколки снарядов и костей, он научился обращаться с тампонами и дренажами и все делал так быстро и ловко, что больные любили, когда он их перевязывал.

Глеб старался не быть неловким, но он часто ронял инструменты, повязка никогда не ложилась у него аккуратно. Может быть, от этого вся работа в лазарете не имела для него того глубокого значения, какое она имела для Феди.



Работать стало легче. Теперь, когда все было налажено, часто бывали минуты и даже часы безделья. Федя писал солдатам письма. Тут он узнал о женах, детях, о том, как жили в деревне.

У всех этих людей было только одно желание: это желание — вернуться на землю.

Когда они говорили о деревне, то говорили мало и неохотно. Они всегда думали об этом и только об этом, но говорить не умели. Но когда они рассказывали о сражениях, они оживлялись. Но рассказы о войне были скучны,

длинны и неинтересны. Друг друга они не слушали. Когда один начинал, другие его перебивали, и рассказывали свое, но и этого перебивал третий:

— А это под Августовом было...

Но про Августово нельзя было кончить, потому что кто-нибудь уже начинал рассказывать, как он чуть-чуть к немцам в плен не попал.

А что некому чинить соху, и убрали ли бабы сено, и кем отелилась Буренка — бычком или телкой — про это не говорили.



Привезли новую партию из четырех человек. Среди них был один — Константин Прытков, у которого была прострелена грудь. Входное отверстие сочилось гноем, выходное закупорилось, и на спине был волдырь величиной с кулак. Он выкашливал зловонную зеленую слизь прямо на рубашку. Гной шел так густо, что вся тяжелая, многослойная повязка была пропитана им, и от него шло такое зловоние, что его положили в малую палату одного, а койки из этой палаты вынесли в большую палату. Прытков безостановочно тихо выл.

Когда Федя на руках внес его в перевязочную и сняли повязку, то под повязкой оказались черви.

Доктор пробовал нащупывать волдырь, но Прытков при каждом прикосновении так кричал, что доктор, фельдшерицы и сестры не могли друг друга слышать. Наконец, поняли: надо сделать пункцию.

Пункция показала, что вся сумка заполнена гноем.

Доктор стал мыть руки.

— Завтра утром операция. Приготовьте все для резекции ребра.



На следующее утро собрались все: Анна Михайловна, Федя и Глеб, Наточка и Олечка, фельдшерицы. Кроме того, пришли еще две сестры-практикантки. Лазарет был прикреплен к курсам сестер, и оттуда посылали сестер практиковаться.

Федя не обратил на них никакого внимания.

Прыткова положили на носилки и отвезли в перевязочную, где все было готово для операции.

Прытков завыл громче.

Все уже знали, что наркоза давать нельзя — сердце едва работало.

Каждый знал, что делать.

Прыткова посадили на стол. Федя должен был крепко обнять его под плечи. Прытков обнял его за шею и положил ему голову на плечо.

Под ноги поставили ему табуретку, и Глеб держал его за колени. Федя почувствовал на своей шее щекотание его бороды. Изо рта на Федин халат

текла зловонная, зеленая слизь, смешанная с гноем. Прытков кричал ему в самое ухо.

Наточка и Олечка спокойно, как будто не происходило ничего особенного, ждали, когда наступит их очередь действовать.

Хотя Федя видел уже много страшных ран и привык к крикам и стонам, но здесь было что-то, что превосходило его силы. Ему казалось, что сейчас ему сделается дурно, что он упадет, и тогда и Прытков упадет на пол.

Федя взглянул на практиканток. Он мог видеть только одну из них. Ей едва ли было семнадцать лет. У нее были огромные, совершенно синие и очень спокойные глаза. Она смотрела немножко исподлобья и, казалось, была так же спокойна и равнодушна, как Наточка и Олечка.

Но ведь она видит это в первый раз! Откуда у нее такое спокойствие? На лице ни малейшего сострадания.

Лицо ее плотно обвязано косынкой. Ни один волос не выпущен за косынку. Но угадывалось, что у нее волосы должны быть золотистые.

— Скальпель!

Фельдшерица быстро погружает пинцет в ванночку на спиртовке. В воздухе мелькает блестящий инструмент.

Федя чувствует, как корчится тело Прыткова. Он точно молотком выбивает: а! а! а!

Из-под скальпеля гной выбрызнул неожиданно сильным фонтаном и выплеснулся на пол далеко от операционного стола. Гной пролетел мимо уха доктора.

Федя видит, что фельдшерица что-то тихо объясняет практикантке с большими глазами. Она дает ей в руку крючок и такой же крючок дает другой практикантке. Федя уже знает: этими крючками захватывают края раны и разводят ее.

Теперь Федя видит ее в профиль. Он видит округлый, какой-то особый, младенчески серьезный лоб. Ее рука оттянута: она держит крючок и старается не шевелиться.

Прытков не переставая кричит в самое ухо Феди. Гной и слюна залили весь халат, и Федя уже чувствует, что гной прошел сквозь его рубашку и что рубашка прилипает к телу.

Но ему не противно и не страшно.

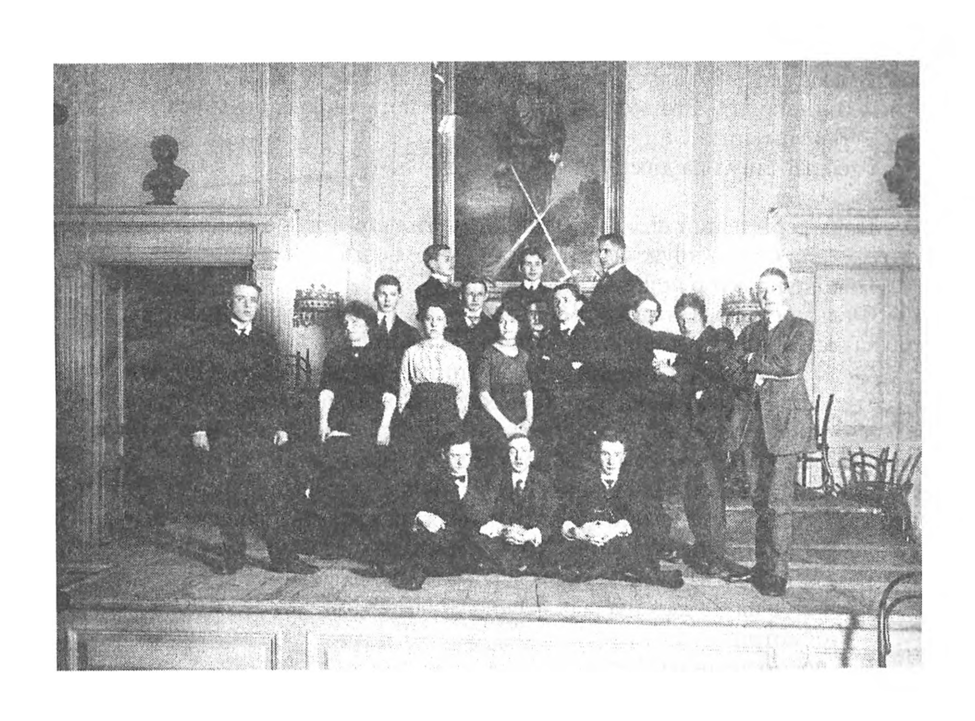
Ему хочется только одного: чтобы скорее кончилось и чтобы он не упал.

Когда он смотрит, как спокойны фельдшерица и эта девушка, ему стыдно, и он заражается их спокойствием, и он знает, что он не упадет. Но как только он смотрит в сторону, у него начинает кружиться голова, в руках и ногах делается дрожь.

Фельдшерица спокойна, потому что она видела таких операций много сотен. Ее сила — сила привычки. Но какой силой дышит эта девочка с таким детским лбом и такими бездонными глазами?

Все эти мысли проходят отрывками.

— Шпатель!



В. Я. Пропп. 1912 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 468)

Шпатель начинает скользить взад и вперед по кости.

— Резектор!

Что-то хрустнуло раз и еще раз. Потом Прыткова нагнули спиной вниз. Из него сквозь проделанное отверстие выливали гной, как из какого-нибудь дырявого ведра. И опять на Федю навалилось тело. Как ребенок прислоняет щеку к плечу матери, точно так Прытков прислонил свою голову к плечу Феди. Опять Федя его обнимал, как показал доктор. Не привыкший ни к каким ласкам, Федя поневоле, чувствуя на себе чужое тело, прильнувшее к нему во всей своей беспомощности и разбитости, не мог не чувствовать самой острой жалости, так что у него дрожали губы. Прытков уже не имел сил кричать. Его волосы слиплись от пота, борода была вся мокрая.

— Братцы, пить.

Глеб взглянул на доктора.

— Дайте!

Глеб, державший его за колени, отпустил его и дал ему попить. Зубы его стучали о края кружки, губы были почти белые, глаза слиплись.

Наконец доктор пошел к умывальнику.

Фельдшерица, Наточка и Олечка стали перевязывать Прыткова. Сиделка вытирала ему лицо и губы чистым полотенцем.

Федя посмотрел в дверь и увидел, что та девушка уходит. Он видел аккуратно сшитый и хорошо сидящий халат, обхватывающий очень тонкую и гибкую фигуру. Из-под халата выглядывали две маленькие ножки в ажурных черных чулках и в туфельках на каблуках.

После операции все пили чай в дежурной. Осталась и практикантка, но не та с большими глазами, а другая. Это была полная, краснощекая девушка с толстыми ногами и большими грудями. По лицу видно было, что ей всегда хочется смеяться и что она только ждет случая, чтобы расхохотаться.

Взглянув на Федю, она всплеснула руками:

— Посмотрите-ка на него!

Все посмотрели на Федю.

Он страшно покраснел, потому что думал, что на его лице уже написаны какие-то такие мысли, которые он еще и сам не додумал хорошенько.

Но оказалось другое.

Толстая сестра хохотала и показывала на его плечо. Плечо было все в гное.

Толстая сестра сейчас же побежала и принесла Феде чистую больничную рубашку и свежий халат. Он пошел в перевязочную, умылся горячей водой и переоделся.

— Ну, вы теперь больничный, по клейму видно, мы вас сейчас положим на койку, а потом на операционный стол.

Хохотушка смеялась.

Она уже успела рассказать, что она из Сибири, и что ее зовут Ольгой, и что в Сибири лучше, чем в Петербурге. В отличие от Олечки ее прозвали Олечкой толстенькой, а другую Олю — Олечкой тоненькой.

Вдруг она опять всплеснула руками. У нее была манера не только смеяться, но и постоянно ужасаться.

— Ай, ай, ай, Ксюшка меня съест!

— Кто это Ксюшка?

— Гончариха.

— Кто?

— Гончариха, что приходила со мной да удрала.

— Почему же она вас съест?

Феде казалось, что все опять смотрят на него.

— А портмоне-то? Видите?

Она вынула из кармана маленькое серебряное портмоне.

— Ну, это надо сейчас исследовать. Обыск устроить. Ага! Вот посмотрите. Это мы с ней.

По рукам пошла маленькая фотография с двумя женскими лицами. Одно — Олечка толстенькая, с крестьянским лицом и полными щеками, другое — Ксюша, в форме гимназистки, в черном переднике, с двумя тяжелыми косами.



Федя и Глеб шли домой. Глеб ночевал у Феди.

Федя чувствовал, что что-то случилось с ним, что он влюбился в эту девушку, влюбился сразу и со страшной силой. Это было одно. Но было еще что-то, чего он не понимал и что надо было как-то уяснить себе. Это другое тоже было связано с глазами этой девочки. Это было что-то, что проснулось и будет теперь жить в нем, но это была не любовь.

Когда они потушили свет, Федя спросил:

— Глеб, ты спокоен был во время операции?

— Спокоен. Только ужасно было, что он так кричал и дергался. Все хотелось, чтобы доктор делал скорее.

— А я, не знаю почему, я не был спокоен.

— Да, я тебя понимаю. Но что, если бы и доктор, и фельдшерица, и все бы нервничали?

— Да, это нельзя. Я и не говорю, что это хорошо, что я беспокоен. Но знаешь, спокойным можно быть по-разному. И надо себе это спокойствие выработать.

Они молчали.

— Сегодня вот после операции все пили чай, и твоя мама принесла какие-то японские ягоды, которые я не знаю как называются и которых я никогда не видел.

— Да, ну и что же?

— Я не могу всего этого есть. Я не говорю: не надо есть особых ягод, и бананов, и ананаса, и я не знаю еще что. Пусть едят. И это даже хорошо, что есть ананасы и еще такие фрукты, которые стоят ужасно дорого. Пусть. Но я не могу их есть.

— Это толстовство?

— Мне решительно все равно, толстовство это или нет, старо это или ново. Но как-то, как-то надо это решить? Вот война, и вот — я, с Бетховеном и Гете, и с бананами, и волосяным матрасом. Я теперь уже не могу читать Гете, но скоро я не смогу есть ничего, кроме хлеба и каши.

Глеб присел в своей кровати.

— Федя, милый, это опасно, это страшно опасно. У меня это бывало в детстве. Именно как у тебя: ничего не буду есть, кроме хлеба. Но с этим погибнет культура, и погибнет человек, и погибнет доброта. Будь добрым. Не будь таким, как Толстой.

— Я не добрый, да. Но я не могу иначе. Но теперь я знаю что-то такое, от чего мне легче.

Засыпая, он видел голубые глаза. Эти глаза смотрели на него, мягко спрашивали о чем-то и говорили: да, теперь будет все по-другому.

XV

Оля толстенькая стала приходить в лазарет все чаще и чаще. Она называла Глеба и Федю своими сыночками. В дежурной она говорила:

— Сыночки, на колени!

Сыночки становились на колени, а она сидела на лежанке, макала печенье в чай и совала в рот сперва одному, потом другому.

Ее все любили, а Олечка и Наточка ее немножко презирали за простоту.

Солдатам она нравилась.

Анна Михайловна завела в лазарете граммофон, и Олечка плясала русскую, так что видны были ее круглые ноги, и солдаты под пляску хлопали в ладоши, подпевали, и даже самые больные улыбались и были довольны.



Федя был в лазарете один. Пришла Олечка.

— Сыночек, хотите, я вам наши бараки покажу?

У Феди мелькнула смутная надежда увидеть <ее>.

— Пойдемте.

Федя еще не видел всей огромной больницы, он бывал только в своем бараке.

— Сперва мы посмотрим на анатомический театр. Только не думайте, что там представляют оперу. Там совсем другие представления.

В середине сада было низенькое здание из красного кирпича, с куполом и крестом и крестами на дверях. Это была покойницкая, и при ней — анатомический театр.

Они вошли через заднюю дверь и вошли в коридор. Пахло спиртом и еще чем-то, сладким и противным. «Все больное» — препараты из воска.

Вдоль стен стояли шкафы с банками, в которых были мозги, легкие, почки, сердце, глаза и другие органы.

Налево была покойницкая.

Там на столах лежало двое бородатых мужчин. Они были голые и лежали, выставив подбородки, и бороды как-то торчали вверх. Животы были разрезаны и грубо зашиты.

— Этих у нас потрошат, а мы смотрим. Теперь мы изучаем нервы, чтобы знать, где нельзя резать. А теперь идите вот сюда.

В углу коридора стоял какой-то чан, покрытый медной крышкой. Оля сняла крышку и стала лопаткой мешать жидкость в чане.

— Знаете, что это? Это — наш суп.

Розовые, опухлые щеки ее смеялись.

— Подите, подите поближе, сыночек.

Федя нагнулся над чаном. Олечка приподняла лопатку и вынула человеческую руку.

— Ха-ха-ха.

В чану плавали отрезанные руки, ноги, с посиневшими ногтями, переломанные, раздавленные. Они торчали из рассола, и Олечка медленно их переворачивала и перекидывала.

— Хороши щи? Не хотите ли?

Олечка хлопала в ладоши от радости, что ее шутка так хорошо удалась и что Федя с таким ужасом отвернулся.

— А мы уже привыкли. На этом супе мы тоже учимся.

— Но... но... откуда это?

— Как откуда? В ваш барак тяжелых не кладут, у вас операционная не приспособлена, а в других бараках каждый день кого-нибудь режут. Ну, теперь пойдемте по баракам. Сперва пойдем в наш, в седьмой.

Через двор прошли к большому кирпичному зданию со светлым коридором и с большими, светлыми палатами.

Когда они стали подниматься на верхний этаж, Федя увидел, что кто-то наклонился и смотрит вниз через перила.

Это была Ксения.

— Ксюшка!

Но Ксения не улыбнулась.

— А сюда нельзя ходить.

Это были первые слова, которые Федя от нее слышал. У нее был грудной, певучий, но тонкий голосок. «Нельзя ходить» она произнесла так, как это говорит маленькая девочка озорным мальчикам про запрещенное, зная, что <ее> все равно не послушают, но тогда уж они будут знать, что делать.

— Мама не позволила?

Эти слова как-то вырвались сами собой, а Федя ужаснулся <тому>, что он сказал, но было уже поздно. Она со своими маленькими ножками, с косынкой, покрывавшей все лицо, так что из-за косынки как будто высматривал один только широкий нос, с каким-то особым наклоном головы, со своим певучим голоском так была похожа на маленькую, трогательную девочку, что нельзя было не подразнить, не задеть ее.

— Ксюшка, ты аспид!

— Да, нельзя.

Ксения смотрела прямо на Федю своими страшно серьезными, грустными и большими глазами. Потом она вдруг повернулась и ушла.

Феде хотелось бежать за ней и просить у нее прощенья, но это было бы уже совсем неприлично. Кто она? Какая она? Может ли такая хорошо перевязывать раненых?

— Кто эта Ксюша?

— Сестра, учится со мной.

— А сколько же ей лет?

— Семнадцать. Она ушла из гимназии, чтобы пойти в сестры.

— И хорошо она перевязывает?

— Хвалят. Ну, пойдемте теперь сюда. Вот посидите в дежурной. А я сейчас приду. Я сегодня дежурная вместе с Ксюшей, да убежала к вам. У вас интереснее.

Олечка почти толкнула его в маленькую дверь. В дежурной было накурено. Одна сестра лежала на лежанке, вытянувшись и положив одну ногу на другую, курила. Две других сидели за столом с «Кратким курсом анатомии и физиологии человека».

Олечка еще просунула голову в дверь, крикнула «принимайте-ка» и исчезла. Шесть любопытных глаз уставились на Федю, который стоял в середине комнаты и имел, вероятно, очень глупый вид.

— А! Попался, праведник. Это вы — праведник из II барака? А где же ваш товарищ?

— Он... он не пришел.

Все засмеялись.

— Не пришел? Ну и не надо, мы без него обойдемся. Правда?

Та, что лежала, лениво приподнялась с лежанки и стала тушить папиросу о дно пепельницы. Это была красивая, рослая женщина, с черными, тяжелыми волосами. Косынка сползла на плечо, и она не стала ее надевать, а подняла руки к волосам и стала поправлять прическу.

— Что же он так стоит? Женя, дай ему стул.

Ему дали табуретку, и он сел на нее в середине комнаты.

— Вот хорошо, есть на ком учиться.

Они попросили Федю сидеть смирно и втроем принялись его бинтовать. Одна бинтовала ему голову, другая левую руку, а третья — правую. Потом бинтовали ему грудь, потом ноги, живот и понемногу забинтовали его всего.

Федя со всех сторон был окружен женщинами, притом красивыми, молодыми и веселыми женщинами, которые не только не стыдились его, но, наоборот, старались своими движениями вызвать в нем те неясные чувства, которых он всегда так боялся и стыдился. Они как бы случайно прикасались к его коленям своими коленями, их руки гладили его по голове, по рукам, а красивая, черная, стоявшая за его спиной, сильным движением прислонила его к себе и прижала его голову к своей груди, чтобы пощупать, как проходил бинт под подбородком.

Федя уже чувствовал, что он погиб, что он — страшный грешник, но он ощущал такое острое счастье, что хотелось броситься к ногам черной красавицы или притянуть к губам одну из многочисленных рук, ходивших по его телу. Правда, было бы лучше, если бы другие, маленькие, мягкие руки взяли его за голову, но и это было так хорошо, что не хотелось уходить и хотелось вечно так сидеть[59].

Вдруг открылась дверь и вошла Олечка. Она взялась за бока и стала корчиться от смеха.

— Ой, сыночек, что они с вами сделали! Бедненький, он пошевельнуться не может! Ха-ха-ха! Настоящий болванчик, ха-ха-ха. Нет, посмотрите на него!

Олечка бросилась на лежанку и хохотала до слез.



Федя улавливал на себе озабоченные, внимательные взгляды Глеба.

— Милый, с тобой неладное.

Но Федя знал, что с ним не только неладное, а именно ладное и нужное, единственное, что может ему дать счастье на земле, единственное, с чем вообще можно жить. А без этого — жить нельзя.

И Федя не понимал, как живут все эти Олечки и Наточки, и его отец, и как вообще еще ходят трамваи, и вообще все, — как прежде, как будто ничего нет и не было. По-прежнему «Травиата» и «Пиковая дама», и кареты, и в университете все те же задненебные и еще какие-то звуки (что все потом придется сдавать на экзамене), и лекции Платонова[60], Зелинского[61], Введенского[62] и других знаменитых профессоров.

---

[59] На обороте предыдущего листа рукописи запись рукой Проппа: «Вся эта сцена нехороша. Он должен быть счастлив от любви» (РО ИРЛИ, ф. 721, оп. 1, № 98, л. 312 об.).

[60] См. примеч. 51.

[61] Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) — филолог-классик, профессор Петербургского и Варшавского университетов.

[62] Введенский Александр Иванович (1856–1925) — философ, психолог, неокантианец, профессор Петербургского университета с 1890 г.

Но он, Федя, открыл, как можно все же жить.

Очень просто: нужно как можно меньше угождать себе и как можно больше — другим. Федя перестал есть печенья и конфеты, и варенья, которые всегда бывали в дежурной, приносимые Анной Михайловной. Ему не хотелось, он не мог есть этого. Только чтобы не казаться смешным и когда он бывал голоден, он ел печенья. Дома он объявил, что он теперь вегетарианец.

Он вставал рано, тщательно и долго умывался, ел хлеб и пил кофе без молока и отправлялся в лазарет. В лазарете он старался делать как можно больше и говорить как можно меньше. Он старался не делать никаких лишних движений, потому что это — суета.

Федя теперь еще ближе стал присматриваться к солдатам, еще чаще писал им письма, читал им и вообще всегда старался бывать с ними и помогать им.

Среди солдат был один, который резко отличался от других.

Ему было уже за сорок лет. Он был из Олонецкой губернии. Густые белокурые усы мрачно нависали на губы, и над глазами нависали почти такие же густые брови.

От этого он издали казался сердитым. Но у него были голубые, хотя маленькие глаза, которые смотрели спокойно и тихо. Ивашев — так звали этого солдата — был самый незаметный, самый бесцветный солдат в палате. Он сам никогда ничего не говорил, а только отвечал, когда его спрашивали, и отвечал не сразу, а как бы подумав. Он говорил на «о» таким голосом, каким говорят скромные, необразованные дьячки.

В первый раз Федя заметил его на ночном дежурстве. Он встал с рассветом и в одном халате вышел на холодную лестницу, где висела огромная, неуклюжая и безобразная икона. Там он становился на колени, клал земные поклоны, крестился и долго молился. Потом он стал убирать свою койку, потом стал выносить из-под кроватей плевательницы, мыть их и ставить обратно.

Федя стал за ним наблюдать и увидел, что Ивашев помогает всем своим товарищам. Он был ранен легко. Одним он помогал переворачиваться, другим давал пить, третьих кормил с ложки. Солдаты его не любили. Они смеялись над его молитвами, но когда надо было помочь, звали не сиделок, не Федю, не сестер, а звали Ивашева, особенно когда надо было помочь оправиться или вынести вонючий горшок.

Федя пробовал поговорить с ним, но вызвать его на разговоры было невозможно.

Однажды, когда Федя вышел из перевязочной, он увидел, что Ивашев лежит, а на койке сидит Ксения и о чем-то с ним разговаривает.

Оба они — серьезные, спокойные и говорят как старые знакомые.

Федя только на секунду остановился и посмотрел на Ксению. Оба одновременно кивнули друг другу головой так, как кланяются далеким знакомым: официально, безразлично.

Но теперь Федя успел лучше разглядеть ее лицо. Это было лицо девочки, да, очень милой, чистой девочки, но было и другое: это было лицо монашенки.

Может быть, это происходило оттого, что лицо было закрыто косынкой так туго, как только возможно, но, может быть, это происходило еще оттого, что лицо, с его широким носом, с голубыми, бездонными глазами было страшно строго и неумолимо.

О чем она могла говорить с Ивашевым? И как она могла его сразу заметить? Ведь она никогда не бывала в бараке, Федя видел ее только в первый раз после операции, и вот она уже заметила его и успела поговорить с ним, чего Федя не мог сделать в четыре недели.

Любопытство к этой загадочной девушке разрасталось. Ему хотелось непременно узнать, кто она, какая она и что она думает.

Федя стал выжидать, не придет ли она опять к Ивашеву. Но она не приходила.

Раз только, когда Федя читал солдатам «Тараса Бульбу», и все больные с восторгом следили за каждым словом этого рассказа, он увидел, что она сидит на койке Ивашева и слушает.

Федя кончил главу и сказал, что он кончит завтра.

Все смеялись, и даже сам Федя был увлечен повестью. Но на ее лице не было никакого волнения.

— Что это вы им читаете?

— А вы разве не узнали?

Федя подумал: «А она недалекая, если даже “Тараса Бульбу” не узнает».

— «Тараса Бульбу» читаю. И знаете, что они говорят? Они говорят: «Здорово написано». Вот чутье-то у этих людей. Не говорят «интересно», а говорят «хорошо написано».

— А вы бы им лучше вот это почитали.

На столике около койки Ивашева лежало Евангелие. Она показала на эту книгу.

— Это?

Федя не знал, что ответить.

— Да, это.

Она тихо поднялась и ушла. Феде показалось, что она ходит не касаясь пола.



Федя стал выслеживать Ксению.

Ходить в седьмой барак он стеснялся. Но из окна дежурной он мог видеть, как она выводит раненых на прогулку.

Как школьники, они выстраивались попарно и медленно, на костылях, прихрамывая, с повязанными руками и щеками, покорно шли по улицам, сопровождаемые сестрой.

5 Зак. 3360

Она шла в последней паре, в коротенькой зимней кофточке, с большой косынкой.

Раза два, переходя через двор, он видел ее куда-то спешащей. И опять они кланялись друг другу холодным, чопорным поклоном головы, без малейшей улыбки.

Кто она?



Федя стал читать Евангелие. Он знал, что эта книга переворачивает самых великих и сильных людей. По примеру Уайльда[63] он стал читать ее по-гречески.

Но читать было некогда. И было в этой книге столько непонятного, что, прочитавши главу, Федя не мог читать дальше.

И она не объясняла жизни. Почему в жизни все такие противоречия?

Вот Олечка со своим «супом». Она хохочет, когда надо плакать. И одни убивают и умирают, а другие ходят в «Фарс» и смотрят полуголых актрис.

Федя думал, что он знает солдат. Они все были его друзья. Они улыбались ему, он говорил с ними, но он знал, что они, так же как он, всегда о чем-то думают. И так же как он, они не умеют рассказать то, что думают.

И «Тарас Бульба», и письма домой и из дому, и «что сегодня к обеду?», и «пустит ли доктор гулять?», и — самое страшное — «куда выпишут, домой на поправку или в окопы?» — все это было одно, и обо всем этом говорилось со всяческими прибаутками. Но иногда Федя улавливал на их лицах — особенно когда они курили — что-то тяжелое, какую-то свинцовую, неподвижную мысль. Но стоило Феде подойти к такому солдату и сказать: «Ну что, Корнеев?», — как мысль слетала с лица и все было как всегда.

Но мысль не уходила. Она была в воздухе. И эту мысль солдаты думали по-своему, и врачи — по-своему, и Анна Михайловна по-своему, и Федя тоже по-своему. И никто не мог об этом говорить.

Раз один из раненых попросил помочь пройти ему в уборную. В уборную надо было идти мимо курительной. По немому уговору никто из персонала никогда не входил в курительную. Это было единственное место в лазарете, где раненые были совершенно одни и свободны. Они могли быть уверены, что сюда никогда никто не войдет.

Федя взял больного под руку и повел его. Дверь в курительную была открыта. Оттуда слышалась матерная ругань и повышенные голоса, и какие-то угрозы. Федя не верил своим ушам.

Проходя мимо курилки, он поневоле заглянул туда. Там были все те же солдаты: Зленко, Дмитриев, Беспалов и другие, все такие хорошие, спокойные. Кто из них ругался? Это мог быть каждый из них. Увидев Федю, они затихли.

[63] Уайльд Оскар (1854–1900) — английский писатель.

И Федя понял, что он не знает солдат.

И это тоже было противоречие: эти бородатые дети, которых можно было водить по улицам, как школьников, и они же — в курилке, у себя.



Но самое тяжелое для Феди противоречие было то, что, ложась спать, едва закрыв глаза, он видел перед собой детский лобик и глубокие, бездонные синие глаза, которые смотрели загадочно и прямо ему в душу. И на этом же лице были губы и мягкие щеки, и все тело Феди хотело этих губ. Он бесстыдно ласкал, целовал Ксению, он звал ее, он любил ее. Губы звали, а глаза останавливали и говорили: «Я святая. Поди сперва и очистись».

И <Федя> хотел быть чище, лучше, хотел быть совершенным, каким только может быть человек.



В феврале на войну уходил Боба.

Когда объявили войну, Боба был в Италии, где совершал Fusstour[64] — экскурсию пешком со своими товарищами по университету.

Потом пришлось перебираться в Россию через Швецию. Доучивался он в Харькове. В Харькове его определили в 196-й полк на Урал, с Урала перебросили в Финляндию, а из Финляндии — на фронт. Боба дал телеграмму, что он будет проездом в Петербурге, но что с поезда уйти нельзя, и чтобы его встретили на вокзале.

Поезд пришел на два дня раньше, чем ожидали. Боба позвонил по телефону, что поезд — на Удельной и что через час едут дальше, просил прийти повидаться.

Никого не было дома, кроме Феди. Федя поехал.

Был теплый, туманный день. Моросил мелкий дождь со снегом. Небо было молочно-белое, неподвижное, непрозрачное, какое бывает только в Петербурге. Феде показалось, что весь город погрузился в немоту.

Жалкие дома предместий, гнилые заборы, вывески булочных с кренделями — все это хмурилось.

На станции стоял длинный-предлинный поезд из теплушек; два товарных паровоза испускали тонкие струйки пара и шипели. Солдат на платформе не было. Все солдаты были в вагонах, им не позволяли выходить.

Поезд был мертв, и платформа перед поездом была мертва.

Вдруг заиграл горнист.

Федя побежал бегом к паровозам — там был один вагон второго класса, там должны быть офицеры. Он думал, что это сигнал к отправлению.

[64] Fusstour — пешеходная прогулка (*нем.*).

Но ничего не изменилось, поезд не тронулся.

У вагона стояли офицеры.

Федя еще не видел Бобу в форме и не сразу узнал его. Боба стоял у самой двери вагона.

Форма была совсем новая и хорошо сидела на нем. Но видно было, что Боба — не настоящий военный, а врач, надевший военную форму.

Было что-то новое в Бобе. Он стоял как-то сгорбившись и тускло смотрел вперед.

Боба улыбнулся какой-то внутренней улыбкой и посмотрел Феде в самые глаза.

Они крепко пожали друг другу руку и поцеловались.

— Ну, как?

И не знали, что сказать друг другу.

Так они стояли оба и испытывали неловкость, оттого что нечего говорить.

Слова тянулись вяло.

Было скучно какой-то ужасной, нездешней скукой. Боба спрашивал: отчего не приехали папа, мама; нет ли писем от Нелли; что делает Федя; не призывают ли его. Федя отвечал: ждали Бобу на послезавтра, родителей не было дома; писем от Нелли давно не было; Федя работает в лазарете санитаром-добровольцем; студентов еще не призывали. И опять нечего говорить.

Господи, какая тоска! Хоть бы поезд тронулся поскорее. Вдруг опять заиграл горнист. Но никто из офицеров не пошевельнулся. Боба продолжал смотреть куда-то вдаль.

— С чего это он трубит?

— Не знаю, сигнал какой-то.

Поезд ушел через час. И целый час братья стояли друг против друга и не знали, что говорить, и с мукой ждали отправки.

Но когда стало ясно, что поезд сейчас пойдет, Федей овладел испуг: нет, нет, только не сейчас, пусть лучше потом когда-нибудь уйдет. Пусть даже никогда не уйдет. Лучше всегда, вечно так стоять и не знать, что сказать, только бы не уходил этот ужасный поезд.

Может ли это быть, что навсегда, навсегда уезжает Боба и что на войне там с ним сделают что-то такое ужасное, ужасное.

Боба подтянулся, выпрямился и вдруг выказал военную выправку, которой только что совсем не было в нем видно.

— Прощай, брат.

— Прощай.

Федя смотрел, как Боба вслед за другими офицерами легко берется за поручни и входит в узкую дверь.

Оглянется он или нет?

Боба оглянулся и кивнул Феде.

Поезд тронулся.



В. Я. Пропп. Студент Петербургского университета. 1913 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 269)



В. Я. Пропп. Санитар военного лазарета. 1914 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 272)

XVI

В тот год была самая ранняя Пасха, какая только возможна — 22 марта.

Такая Пасха бывает раз в 50 лет.

Март стоял теплый. Снег на Неве почернел. У берегов начала выступать вода. Воздух был сырой, туманный.

Оля толстенькая кончила курс сестер и была переведена в Гельсингфорс.

Ксюша тоже кончила. От Оли он узнал, что она — в Новой Деревне, в 177-м лазарете, и что она там же живет.

Вечером в Страстную субботу он сказал Глебу:

— Поедем со мной в Новую Деревню.

Они взяли извозчика и поехали.

Лазарет помещался в новом, только что выстроенном доме. Дом был высокий, шестиэтажный, и выходил окнами и балконами на Невку. Но часть дома с узкой, темной и крутой лестницей выходила окнами на загородные поля и леса. В каждом этаже этого дома было по маленькой квартирке, и на самом верху, в шестом этаже, жили сестры.

Чтобы попасть в лазарет, надо было только перейти через лестницу.

Когда Федя переезжал через Каменный мост, он увидел на берегу реки ряд ив, которые наклонились к воде и спускали тонкие красноватые прутики. На этих прутиках был какой-то неуловимый налет набухания, и Федя понял, что — весна.

С замиранием сердца он остановился у узкой двери на маленьком дворе и взглянул наверх.

— Да. Значит, теперь надо подняться на шестой этаж.

Он шел медленно, как старик, но на втором уже запыхался — сердце билось. Он решил отдохнуть и высморкаться. Но когда он поднес к носу платок, он с ужасом заметил, что платок надушен. Как это могло случиться? Студент — и вдруг надушенный платок?

Он с омерзением отбросил платок. Платок упал на нижнюю площадку. Федя стал подыматься выше.

Но на третьем этаже он раздумал. Можно ли без платка? А вдруг...

Пришлось спуститься вниз.

Федя поднимался довольно долго.

Собственно, идти ему не хотелось. Если бы можно было очутиться там невидимкой — немножко посмотреть и опять уйти...

Вот, наконец, дверь, обитая черной клеенкой. За дверью слышны голоса. Что-то очень много голосов. Федя дернул колокольчик. Дребезжание еще не кончилось, как уже к двери понеслось несколько пар ног, и дверь стремительно открылась.

Федя увидел несколько удивленных женских лиц — все в косынках.

Эх, лучше бы не звонить.

— Здесь... здесь живет Ксения Гончарова?

Федя казался себе ужасным. Какая бестактность! Прийти так незваным в пасхальную ночь...

Но те, в косынках, были как будто другого мнения. На него смотрели с самым нескрываемым, но очень благожелательным любопытством. Они, казалось, знали что-то такое и вполне были согласны, что это так и нужно. А глаза горели от любопытства. Его бесстыдно рассматривали с ног до головы и, по-видимому, изучили детали.

— Ксанка, к тебе!

— Кто?

В дверях появилась Ксении.

— А, Федя, голубчик, посидите на кухне.

Лицо было оживлено, но она нисколько не удивилась, что он пришел. Это как будто и для нее было в порядке вещей.

Из передней его провели на кухню.

Федя успел услышать, что тут есть какие-то Дина и Тося, Варвара Владимировна и еще какая-то Наталья Николаевна. Феде показалось, что тут человек двадцать.

На кухне уже сидел студент-политехник в форме и скучал.

Они взглянули друг на друга и что-то друг в друге поняли.

Сестры ушли.

Плита топилась. Угли догорали, и на углях лежало три пары щипцов для завивки.

Входили сестры, брали горячие щипцы, а остывшие клали на угли.

Но Ксения не входила.

Феде стало смертельно скучно, хотелось скорее видеть ее. То ему казалось, что она — совсем чужая, вот так же, как эти Тоси и Дины, до которых ему нет никакого дела, но потом вдруг начинало казаться, что нет, что она как-то ему близка, ужасно, до невозможности близка.

Политехник курил с мрачным и независимым видом.

Сегодня в Фединой жизни должно решиться что-то очень большое и важное.

Кухонные часы сипло пробили одиннадцать.

«Она назвала меня “голубчиком”. Меня, с которым она не перекинулась еще и двумя словами. И откуда она знает мое имя? Значит, интересовалась, если знает. А может быть, просто слышала?»

В кухне было жарко и пахло духами. Но оттого что Федя на Каменном мосту видел ивы, свисающие своими тонкими, сквозистыми прутьями на реку, и оттого что на реке был теплый мокрый ветер, от всего этого Федя даже здесь, на кухне, чувствовал, что уже весна и что сегодня счастливый день.

Наконец в передней послышалось шаркание, топот ног и голоса. Отворилась дверь, просунулась голова какой-то девушки, и <дверь> опять захлопнулась.

Потом опять просунулась голова.

— Чего же вы нейдете?

Федя и политехник пошли в переднюю.

Там надевали пальто, привычными движениями выбивали косынки из-под воротников, заправляли волосы и гляделись в зеркало.

Гуськом спустились по лестнице.

Никто ничего не говорил.

Феде было обидно, что все происходит так обыкновенно. Ему казалось, что сейчас должно произойти что-нибудь совсем необыкновенное, такое, что бывает только один раз в жизни, такое, что выше жизни, для чего можно умереть.

Федя и политехник шли последними, Ксения была где-то в толпе сестер.

Когда он вышел, он увидел, что одна сестра, маленькая, в короткой бархатной шубке, короткой юбке и в немножко стоптанных галошах, остановилась и ждет его.

Это была Ксения.

Она взяла его под руку, как будто это иначе и быть не могло, и они пошли плечом к плечу.

— Это хорошо, что вы пришли.

— Вы меня ждали?

— Я знала.

Феде показалось, что то необыкновенное, то чудо, которого он ждал, уже началось.

Она говорила тихо, для него одного. Она знала. Она знала все, все, несомненно.

Федя встретил ее глубокие, страшно серьезные голубые глаза.

Да, эти глаза, с каким-то расширенным черным зрачком, видят все.

Феде стало как-то стыдно за себя.

— Куда же мы идем?

— Мы идем в церковь.

Опять это звучало так страшно и так значительно. В самом деле, для чего он пришел? Он сам не знал. Пришел, потому что тянуло. Может быть, было немножко, немножко чего-то нечистого. Да, он шел к женщине, которую по вечерам, потушив свет, всегда видел перед собой. И вот все смутное, все нелепое стало ясно. Ну да, конечно, он пришел, чтобы пойти с ней в церковь.

Вот это мягкое, бархатное существо, с таким нежным голосом, с немножко смешным широким носом и с ясным лбом маленькой монашенки ведет его, неуклюжего, в церковь. Его ведут.

Березы на том берегу, по-зимнему оголенные, шумели по-весеннему. От реки пахло водой, на ветки, на заборы, на фонари ложился мокрый блеск. Тучи стояли низко, но горизонт бесцветно светлел.

Они шли в ногу, но когда шагали через лужи или увязали в мокром снегу, то теряли шаг, и потом старались опять идти в ногу.

Приближались к церкви. Народу все прибавлялось. Люди тянулись вереницами. Сестер уже не было видно, они потерялись в толпе.

Вот и церковь. Обыкновенная, нелепая русская городская церковь с колоннами и широкими ступеньками во весь фасад.

У самой церкви, в ограде — могилы. У площадки перед церковью столько народу, что попасть в церковь невозможно. Двери широко открыты, и внутри все таинственно сверкает золотом, там все окутано синеватым дымом ладана и слышно пение.

О чем поют? Федя не знал службы, но ему казалось, что там поют о самом значительном, что бывает в жизни, и это значительное связано с тем маленьким существом, что стоит около него.

Ксения расстегивает пальто, достает из-за пазухи две тоненькие, почти прозрачные свечки и протягивает их Феде.

Она приготовила *две* свечки.

Те, что стояли у самой двери, уже зажгли свои свечи. Одни брали огонь у других, и скоро вся площадь перед церковью осветилась тысячью огоньков.

Ксения похлопала его свечкой по рукаву.

— Зажгите.

— Нет. Я не хочу. Я хочу зажечь свою свечку от вас. Так нужно.

Ксения пытливо посмотрела на него, засветила свою свечку у дряхлой старушки в шерстяном платке и протянула свой огонь ему.

Он нагнул свою свечку, чтобы зажечь ее, но не смотрел на огонек, а посмотрел на ее лицо, которое освещалось снизу. По лицу бегали тени от свечки, он увидел ее мягкие, нежные губы и прямо устремленные на него глаза.

Время вдруг остановилось. Когда Федя перевел глаза на свечки, он увидел, что его свечка уже горит и что капли воска упали на ее бархатный рукав.

— Вот видите, что вы сделали.

Это было сказано совсем без шутки.

— Ничего, сегодня Пасха.

И Федя стал повторять про себя: Пасха, Пасха, Пасха.

Но вот у церковной двери увеличилась давка. Засверкали пестрые ризы священников, высоко поднятые, огромные свечи. В дверях наклоняли хоругви и знамена, и пение раздалось громче. Все стали креститься. Это был Крестный ход.

Все это Федя, в сущности, видел первый раз. Разве это могло сравниться с унылой лютеранской службой, где гнусаво в унисон поют какие-то стихи, потом пастор читает проповедь, потом опять поют стихи и потом расходятся? А здесь — здесь воскресение. Воскресение из мертвых. Это значит: воскресение всего человека. Все, что было, — это грех и небытие. А то, что теперь, — это любовь и бытие.

Федя готов был заплакать от счастья.

Но когда вынесли хоругви, им овладело что-то вроде испуга и страха, идущего откуда-то снизу, из темноты души: что-то глубоко языческое по-

чудилось ему в этих лицах, которые изображали богов, и в этой процессии, и в этом пении, и каждении.

Так было в Египте. Тогда в зерне воскресал Осирис[65]. И так же кадили, и пели, и жгли огни, и плакали от счастья. Он — изрубленный, истерзанный на пучки — воскресал к жизни.

— Осирис!

— Что вы сказали?

— Разве я сказал что-нибудь?

— Да, какое-то слово.

— Я только подумал, что все это уже было в Египте. Там...

Но Ксения посмотрела на него таким взглядом, что он не посмел говорить дальше.



Теперь Федю ввели в комнаты. Там у стен стояли кровати, покрытые белыми покрывалами с белыми подушками, а в середине комнаты стоял стол, и на столе — куличи, пасхи, крашеные яйца, цветы, конфеты и большой самовар. Все христосовались и передавали друг другу крашеные яйца. У Ксении в подоле было больше десятка яиц, и она подходила ко всем подряд, с каждым христосовалась и каждому давала по яйцу. Феде сделалось так страшно, что хотелось убежать: он совершил ужаснейшую, постыднейшую неловкость: он пришел с пустыми руками, не догадался даже захватить хотя бы одно яичко!

Ужасное свершилось. Ксения подошла к нему: «Христос воскрес!» Он почувствовал ее мягкие-премягкие щеки под своими губами, а в руке — <белое> яйцо, перевязанное красной лентой. Никогда Федя не думал, что женские щеки такие мягкие, такие нежные. Так вот, значит, что ощущаешь, когда целуешься. Что они христосовались, на это никто не обратил никакого внимания.

— Теперь пойдемте к ним.

Ксения надела на него халат и сама застегнула его на спине. Все вышли на лестницу и рассыпались по квартирам, в которых помещался лазарет. Ксенино отделение было прямо напротив квартиры сестер. Когда они открыли дверь, на них пахнуло больничным, спертым воздухом и запахом затхлой муки. В палатах было светло: были зажжены все лампочки, какие только возможно. На койках с веселыми лицами сидели больные.

Забинтованные руки, головы, ноги в гипсовых повязках, положенные на табуретку, костыли, все это не мешало им дружно пить чай из оловян-

[65] Осирис — в древнеегипетской мифологии — бог зерна, виноделия, дарующий жизнь и влагу, покровитель и судья умерших. Миф об умирающем и воскресающем Осирисе символизирует умирающую и воскресающую природу.

ных кружек. У каждой кровати была верба, на каждом столике лежало по яичку, пачке папирос и другие подарки.

В каждую палату, куда входила Ксения, ее встречали дружным «Христос воскрес, сестричка!» и приглашением попить с ними чайку. Но были такие, которые лежали на койке вытянувшись, закрытые одеялом по самый подбородок, и в их глазах не было ничего, кроме муки.

Они вошли в самую большую палату. Окна этой палаты выходили на реку, здесь был большой балкон. Федя открыл дверь, не открывавшуюся всю зиму. Они вышли на балкон. Отсюда, с шестого этажа, они видели почти весь город. В воздухе стоял гул колоколов. Отсюда видна была вся река, еще покрытая снегом, с ее изгибами до моря и далекие леса. От города шло сияние. Виден был Исаакиевский собор с огромными огнями, от которых сверкал купол. Было тепло, дул мягкий ветер, и лиловые березы на берегу слегка качались.

Федя и Ксения в белых халатах стояли у перил и смотрели вдаль.

XVII

Все опротивело Феде.

Все: и комната за перегородкой в передней с олеографией «Ночь на Украине», и столовая, и весь дом, и, главное — отец.

Война затягивалась. В лазарете было все то же самое, каждый день то же самое.

На лекции Федя не ходил. От вида профессоров его тошнило. Так жить дальше нельзя было. Как же жили другие? Федя не понимал, как можно быть довольным. А были довольные. Везде — в магазинах, в театрах — везде были довольные люди. Они заходили в булочные и в парфюмерные, а дамы открывали ридикюли и гляделись в зеркало. Гостиный двор! Они не беспокоились. Война была далеко.

Как жила Ксения? Да, как она жила? Это было таинственно, и этого было не понять.

Федя не мог больше ходить по улицам, не мог ни с кем разговаривать.

Но когда он видел, что недовольны другие, он выходил из себя еще больше.

Отец приходил домой мрачный.

— Если они так будут продолжать, то скоро город останется без хлеба. Вот мое пророчество.

Правительство уже не позволяло продавать муку по свободной цене. Отец поддерживал немцев. Он в войне был на стороне Германии.

— Война Германии с Россией — это война честности с непорядочностью. Мы, немцы, победим нашей честностью.

Федя вспоминал Глеба и закусывал губы.

— Всякий честный человек, всякий немец должен это понимать. Мы, немцы, должны держаться друг друга. Скоро нас всех выгонят из Петербурга. Всех немцев считают шпионами. А сами за взятку готовы продать всю Россию. Россию продадут.

Он громко жевал, и капуста оставалась на бороде.

— А нравственность! Эти сестры. Срам, и больше ничего. Если я узнаю, что ты связался с какой-нибудь канальей, сестрой милосердия, то ты мне не сын. Вот мое слово, слово отца.



У университетского сада Федю остановил студент, с которым он когда-то сдавал логику профессору Введенскому[66].

— Не хотите ли меня заменить, товарищ? Я, видите ли, работаю в третьем городском попечительстве...

— Как — попечительстве?

— В попечительстве о бедных.

— Это что же, благотворительное учреждение?

— Это не благотворительное, это *общественная* организация.

Слово «общественная» было сказано с особой интонацией. Федя взглянул на студента. Он носил фуражку со светло-голубым околышком. Федя считал такие фуражки дурным тоном и сам носил фуражку с темно-синим околышком. На студенте была безукоризненная шинель (только шпаги не хватает), и Федя понял, что «общественность» есть одна из разновидностей фатовства.

— Эту позицию общественность отвоевала у правительства. Нам поручена забота о солдатских женах. Мы обследуем их, назначаем пособия и питание. Вы увидите. Очень интересная работа. А мне на неделю надо уехать по семейным делам.



Федя получил кипу карточек и отправился на обследование. Федя рисовал себе бедные квартиры, но то, что он увидел, превосходило всякое воображение.

Двери, на которых сырость оседала слизью, воздух, пропитанный парами стирки и вонью гнилой картошки и неисправных уборных. Были квартиры, которые состояли из одной огромной комнаты в 4–5 окон, и эта ком-

---

[66] См. примеч. 62.

ната делилась перегородками, не доходящими до потолка, на комнаты и коридор. Спят вповалку везде — и в коридоре, и во всех комнатах. Кровавые пятна от клопов на стенах, босые, золотушные дети и, главное — вонь и пар, это было везде, в каждом доме.

Так жили солдатские жены и солдатские дети, а мужья их сидели в окопах.

Жен почти никогда не было дома. Дома были слепые старухи, пьяные старики, дети, покрытые прыщами и струпьями. Почти все жены делали одну и ту же работу: они на складах чинили мешки. С работы они приходили грязные, с запыленными волосами и ресницами, а в праздники — стирали белье тут же, где жили.

Уже поздно вечером Федя попал в подвал, где раньше был, вероятно, дровяной сарай. Здесь жила баба лет сорока с грудным ребенком. Это была зырянка[67].

У нее были совершенно голубые, такие же, как у Ксении, глаза, но потухшие, бесцветные. Овал ее лица, ее нос и ноздри — все это было Ксенино. Не наваждение ли это? Не Ксения ли это вышла из какого-то мира, чтобы посмеяться над ним? Она хватает его за рукав, она говорит, говорит, ругает кого-то, но Федя ни слова не понимает из ее речи, она говорит только по-зырянски. Она все ближе подходит к нему, сует ему своего ребенка и в чем-то его убеждает.

Эта не ходит чинить мешки. Она сидит в подвале. Она — дурочка и никуда не выходит. Если ей не помочь, то она так и умрет в подвале со своим ребенком.

На следующий день Федя сдавал карточки в комиссии. Председатель комиссии, присяжный поверенный в пикейной цветной жилетке и в шевровых штиблетках на пуговицах, с недовольным видом то снимал, то опять насаживал свое пенсне и вертел им в руках.

— Вы, господин студент, еще неопытны. Вот возьмем Наталью Попкову. Вы говорите: трое детей, шьет мешки, занимает одну комнату. А не интересовались ли вы, кем был ее муж?

— Этого вопроса нет в карточках.

— Карточка не может предусмотреть всего. Надо каждый случай индивидуализировать. Эта Попкова уже раз просила пособие, и ей отказали. Теперь она просит вторично. Но мы знаем, что ее муж был извозчиком. У нее остались две лошади и ездят парни, не достигшие еще призывного возраста. Спят эти парни тут же, у нее в комнате.

— Не может быть...Такая бедная. Грязная квартира, такая сырость...

— Вы не знаете этих людей. Отчего ей не попытаться сорвать с нас пятерку? Что ей это стоит? Пятерка для этих людей — все. У нее в комнате шампиньоны растут, и дети гниют от сырости, но она не переедет, хоть бы ей лошади по десять рублей в день давали. Она просит деньги, и больше ей ничего не нужно. Отказать. Следующая — Гаврилюк Настасья.

[67] Зыряне — устаревшее название народов коми.

Почти всем или отказывали, или давали ежемесячное пособие в три рубля и обед, и хлеб. Пять рублей давали в виде исключения в случаях самой вопиющей нужды. Федя настаивал, чтобы зырянке дать максимальное пособие — 15 рублей. Ей хотели отказать.

— Помилуйте, она не работает, у нее только один ребенок! У нас есть такие, что по пять детей имеют, и то по пять рублей получают, а вы хотите с одним ребенком 15 дать. Пусть работает.

— Странно. Если женщина работает, вы говорите, зачем ей пособие, она работает, а если она не работает, вы говорите — пусть работает, зачем ей давать пособие?

— Господин студент, вы должны помнить, что наши средства не неограничены.

Постановили зырянку обследовать вторично.



Только одно могло вмещать ту неизмерность, что носил в себе Федя: и это одно было — смерть.

Думают: смерть — это удушье, это серая нить без начала и конца. Нет: смерть — это разорвавшаяся жизнь, жизнь, взорванная чрезмерностью. Может быть, такой смерти ищут те, что идут на фронт, сгорая пожаром своего сердца.

Но Федя знал, что и на войне такой смерти нет, а есть нудное, ненужное вытравливание жизни из души и тела, где конец — не пуля, конец — когда подкладывают труп себе под сиденье, чтобы сидеть не на голой земле. И не все ли равно, пройдет ли через меня пуля или нет? Та смерть, что хотел Федя, та смерть была новая жизнь — vita nova.

Этого нельзя было пережить в Петербурге, где была вся фальшь тыла. Тыл всегда лжет, все равно, будет ли он обжираться севрюгой, делать патроны на переоборудованных конфетных фабриках, лечить раненых или решать мировые вопросы. Тыл воняет разложением. А Федины ноздри в ту благоуханную пасхальную ночь вдохнули струю новой жизни. Проходя по Конюшенной, Федя неожиданно для себя взял билет и, не попрощавшись ни с кем, не взяв даже смены белья, вдруг уехал «туда», на хутор, где уже должны были всходить овсы.



Но овсы еще не всходили. Зима была снежная, долгая, и на полях лежали пятна снега. Со станции Федя шел пешком. Двадцать верст прошел мокрыми полями, от которых пахло землей. Вот уже и дом. Ханнпорг в удивлении и радости то складывает руки на животе, то вздымает их к небу и укоризненно качает головой.

— Ai du, ai du, sehe, ihr seid zu Fuss kommen?[68]

Проворно вскрываются ставни. Все замки заржавели, ключи с трудом поддаются сильным пальцам Ханнпорга, замки, негостеприимно скрипя и щелкая, впускают хозяина в остывший дом. В этом доме, куда всю зиму не входил человек, сразу обретается то, чего не было в Петербурге: безмолвие. Федя раскрывает окно в сад. Яблони в этом году уже будут цвести.

Он подходит к роялю и ударяет клавишу. Звук так мощен, так созвучен ему, что это созвучие готово взорвать грудь. А ведь это всего только одинокое sol, выдержанное на педали и вылетающее за окно к яблоням.

Федя спит крепко после трех ночей в вагоне, двадцати верст и горячей жирной баранины с чесноком. Ночью он просыпается, ничего не может вспомнить и тяжело опять валится в подушки. На другое утро — солнце. Быстро босые ноги несут его через холодный пол к окну. Что это? Весь сад под водой. За ночь река разлилась. Она покрыла сад, поля, пруды вышли из берегов. Федя быстро одевается и бежит под навес. Там на зиму хранится лодка. Скорей, скорей! От навеса до воды только десять шагов. Лодка легко садится на воду и просит движения. Федя отталкивается веслом.

Вода несется с пьянящей быстротой. Она бурлит, урчит, и это на десятки, на сотни верст. От этого шум. Вся земля шумит. Несутся хлопья взмыленной пены, кружатся, несутся сучья, листья, целые деревья, вырванные потоком. Лодку несет вперед, через поля, дороги. Там, где были заборы, торчат колья, лодка легко несется через заборы, только на секунду что-то хрустит о дно. Дальше. Верхушки кустов кланяются из-под воды, будто их дергают за веревки. Федя не узнает места. Солнце слепит. Вдали лес.

Он встает, сбрасывает жилет, берет весло и пытается управлять лодкой.

Везде неопределенный, торжественный гул. Льдины трутся о деревья. Лес шумит. В лесу течение еще быстрее. Если его ударит о дерево, лодка разобьется. Вот ударило раз, еще раз. Ничего, лодка не бьется. Вот его прижало к дубу. Понесло дальше.

Стало мелко. Вот сухое место. Но что это? Федя едва дышит от счастья. Остров весь покрыт пятнами прозрачного, хрупкого, с черными точками снега, и сквозь снег пробиваются подснежники, голубые подснежники. Вот еще остров, и еще. Федя сильным движением весла причаливает. Весь лес сияет голубизной. Так вот они, подснежники, волшебные цветы, которых не бывает на севере. Федя становится на колени, разрывает снег. Какая неистовая, какая роскошная в них сила. Они не ждут тепла, они не ждут, чтоб стаял снег, они рвутся к солнцу, нежные, как девушки, властные силой земли. Он набирает их в шапку. Они не душисты. Они пахнут землей, перепрелой, бурой листвой прошлого года, сквозь которую они пробили себе путь. Они торжествуют, как река, как вся земля, они громкие и сверкающие. Они вбирают ветер.

---

[68] Ai du, ai du, sehe, ihr seid zu Fuss kommen? — Ах ты, ах ты, вижу, вы пришли пешком? (*нем.*).

Федя прячет лицо в цветы, красными руками мнет в кулаке тающий снег и дышит полной грудью.

Пора ехать домой.

Он отчаливает, но ехать назад невозможно. Везде деревья, и веслами не размахнешься. Он едва замечает, как его несет к дубу, прижимает к дереву, как трескается лодка, набирает воды и вдруг идет ко дну.

Федя по пояс в воде. Он пытается шагнуть, лодка всплывает, ее уносит.

Стоять трудно, но Феде весело необычайным весельем. Весло осталось в его руке. Когда лодка треснула, он схватился за шапку с подснежниками и надел ее на голову. Подснежники свисают ему на лоб, на уши, на затылок. Федя щупает веслом дно. От острова к острову он выбирается на сухое место.

Вброд он переходит поля и большим кругом приходит домой, мокрый по горло, с посиневшим от холода лицом и с шапкой, полной подснежников.



Бред начался через день.

Федя болел долго и страшно.

В бреду все чудились комнаты с оштукатуренными голыми углами. Все хотелось выйти из этих комнат, но везде были эти ужасные углы, от которых нельзя было дышать. Хотелось ломать эти стены. Федя кричал от отчаяния, но углы, ужасные углы с кусочком потолка, который был низок и все же взлетал куда-то вверх, эти серые комнаты не пускали его и доводили до судорог.

Когда Федя проснулся, он увидел, что около него сидит девушка, одетая как крестьянка, но не крестьянка, с тонким больным лицом.

— Вероятно, я брежу. Как тебя зовут?

— Марта.

Она проворно подметает пол. Федя глядит на нее, как на видение. Он ничего не помнит, ничего не понимает.

И вдруг все ясно.

— Где моя фуражка?

Девушка удивленно на него смотрит.

— Дай ее сюда. Слышишь?

Она покорно приносит ему кепку.

— Не то, не то, где цветы, голубые цветы?

Девушке делается страшно. Федя видит это по ее лицу. Он хочет вскочить, чтобы задушить ее. И опять темно. Он видит какие-то игрушки, какие-то страшные игрушки, намалеванные рожи живых петрушек и щелкунчиков. Потом вдруг он видит необычайные обои, с такими арабесками и цветами, которые красивее, чем все на свете.

И опять он просыпается. Девушка сидит на стуле. Это уже другая девушка. Эта — черная, широколицая и с круглыми плечами.

— Как тебя зовут?

— Эмма.

Он, впрочем, не сомневается, что это та же девушка, и его даже не очень удивляет, что она так изменилась.

— Ты уже была здесь.

— Была.

— Ага, вот, видишь. Я же говорю, что ты уже была. Я тебя знаю, ты ведьма, вот ты кто.



Еще через несколько дней он сразу, вдруг выздоровел. Вдруг проснулся совершенно здоровым. Оделся и хотел пойти. Но дошел только до стола. Ноги подкашивались.

На столе было два письма. Одно от Глеба. Его призвали, и он теперь учился в юнкерском училище. Другое — от Ксении. Маленькая записка с круглыми, детскими буквами и с березовым листиком: «Я помню Вас, дорогой». Помню! Помню! Нет, она любит. Но Федя не сказал себе этого. Он поцеловал письмо — пол почтового листа, другая половина была оторвана, положил его в боковой карман и прижал его рукой. Скрипнула дверь. На пороге показалась девушка, но не Марта, не Эмма, а другая — тоненькая, худая, в белом платочке, повязанном под подбородком. Она испугалась, вскрикнула, увидев Федю за столом.

— Скажи-ка мне, ты настоящая или нет?

Девушка стояла, разинув рот.

— Ты с неба, или откуда ты?

— Нет, я из Польши.

— Из Польши? А скажи-ка мне, есть тут такая Марта?

— Она работает в саду.

— И она тоже из Польши?

— Да.

— А Эмма есть здесь?

— Да, она тоже работает в саду.

И девушка рассказала, что из Польши выселили всех немцев и поселили их сюда, с волжскими колонистами. Дома у них был сад и дом, и коровы, и у них все отняли и всех немцев прогнали, потому что считают их за шпионов. И теперь они работают поденно. Она говорила тихо, без выражения, как будто рассказывала урок, и это было от горя. Но Федя не мог чувствовать чужого горя. Животная радость выздоровления была сильнее всех других чувств.

— Ну-с, беженка, принеси-ка мне поесть. Молока, колбасы, яиц, все равно, только побольше.



Начались тихие дни.

Яблони цвели. Сад жужжал от пчел. В одном углу сада росли вишни. Вишни еще не распустили листьев, но голые красно-бурые прутики обвисали пушистыми, розовыми гроздьями, которые осыпались на плечи, на руки. Вся земля, будто снегом, была усыпана душистыми мягкими лепестками с тонкими жилками. Молодые яблони цвели не так густо, пучки цветов высматривали из сочной, темной зелени.

За садом была степь и перелески. Вся степь была покрыта крокусами, они пятнистым ковром покрывали холмы. Были розовые, лиловые, желтые. Некоторые холмы сплошь были покрыты лиловыми (их было больше всех), другие — желтыми, кое-где лежали розоватые пятна. Они росли тысячами, нежные, хрупкие, на низких стебельках, покрытых серебристым пухом.

Федя любил смотреть, как Марта, Эмма и Грета работают в огороде.

У Марты было тонкое, грустное лицо, и она выглядела как барышня. Дома, в Польше, она не работала. Теперь она для работы надевала перчатки, у нее была нежная кожа, и ей было тяжело работать. У всех в лицах было что-то убитое, остановившееся.

Но по воскресеньям они одевались в светлое, накидывали белые платочки, брали под мышку молитвенники и уходили в деревню, в церковь.

15 апреля был день рождения Феди. Когда он утром вышел на балкон, он увидел огромный крендель, с миндалинами и изюмом и посыпанный сахарной пудрой. Стол был выложен зелеными листьями и ветками, и на столе стояли цветы. Марта, Эмма и Грета были одеты в праздничное и улыбались ему сквозь свое постоянное горе.

Откуда они узнали? Федя сам едва помнил этот день и никогда не дорожил им. Но девушки объяснили, что у них так делается, что крендель испечен по-польски.

Какие они милые! А Федя — разве он хоть раз вспомнил о них? Кто они для него? Служанки, поденщицы, больше ничего. Но у них есть культура, а у него, Феди, ее нет. Культура есть разновидность любви.

Теперь, бродя по саду, Федя вспоминал свою жизнь. Ему все казалось, что надо только принять какое-то решение, и тогда все будет иначе, все будет хорошо. Умел ли он принимать решение? Он вспомнил, как когда-то он лез на елку с опасностью для жизни. Это решение ему ничего не стоило — манили красные шишки, для которых он готов был умереть, только бы держать их в руках. Это было затмение, это была одержимость. Да, одержимость — вот единственное в жизни счастье, единственное, что создает в мире великое. Не ты берешь — тебя берут, а тебе кажется, что это ты. Все великие ученые, все художники, музыканты, которые в бедности, в нищенстве, в самых ужасных условиях творят *свое*, все они одержимы.

Начиналось нетерпение, хотелось в город. Решение созревало. Это решение раскладывалось на тысячи других. Учиться — вот первое. Быть ровным — второе. И отсюда те тысячи мелочей, которые делают человека счастливым или несчастливым. Рано вставать — счастье. Просыпать — несчастье. Помыться, побриться как следует — счастлив весь день, не побреешься — и все что-то неладно. Скажешь грубое слово, не сметешь пыль со стола, опоздаешь куда-нибудь — и ты уже выбит из колеи, все не клеится, не ладится.

Федя воображал себя джентльменом на английский лад, безукоризненным в одежде, в манерах, во всех своих поступках, деятельным, энергичным — полной противоположностью того, <кем> он был на самом деле.

Но все это было бы ничего, если бы не было той пасхальной ночи и того человека, который тогда своими тонкими пальцами протягивал ему грошовую свечку.

Федя тонул в этих яблонях, в прохладном, чистом воздухе, в этом цветущем царстве, корни которого уходили в пряную землю. Это была Пасха, это была земля. Каждый цвет был такой свечкой.

Это было такое большое, что Федя спрашивал себя: как вынести это?

Как выносят это другие?

Федя сравнивал себя с другими. Вот Боба. Он ничего бы не понял из того, что с ним происходит. Но ему и не нужно понимать. Но Боба не только не хуже, чем он, он, несомненно, в тысячу раз лучше. Хоть он и по публичным домам ходит, и презирает Нелли, и вообще — человек без стремлений, но он лучше. А почему? Ведь Боба не понимает святости, а он понимает. Но он понимает это только потому, что в Феде есть грех, а в Бобе его нету. Боба пойдет на Глазовскую без малейшего греха, а Федя посмотрит на ноги какой-нибудь женщины в трамвае — и это уже грех. Стать святым или злодеем, бесом мысли, бесом прелюбодеяния — вот что скоро, скоро должно решиться. Феде бывало так тяжело от самого себя, что хотелось спастись хоть к Марте или Ханнпоргу, к простым людям, встать перед ними на колени и сказать: накажи меня до крови, я это заслужил. Как когда-то в первую любовь он видел себя раздавленным лошадьми, так теперь он видел себя истекающим кровью. Кровь капала на землю и ложилась на нее черными пятнами.

Но когда Марта приносила завтрак — творог со сметаной и пару яиц всмятку, и молоко, и мед — становилось опять легко и хотелось жить, скорее жить и делать что-то.

По вечерам, задувши лампу, Федя вынимал письмо, от которого немножко пахло духами, и целовал его. Его руки сплетались с другими руками, и Федя жадно целовал руки, которые тоже пахли этими духами, и его наполняло такое чувство жизни, что казалось невозможным не только спать, но вообще существовать. Но он засыпал сразу, как убитый, и спал крепким и здоровым сном.

Через месяц после приезда Федя вдруг объявил, что он не будет обедать, потому что уйдет на станцию и поедет в Петербург.

XVIII

На Невском Федя разглядывал витрину цветочного магазина.

— Каких же взять?

Никакие цветы не могли сравниться с теми голубыми, которые тогда так ярко сияли из-под снега. Все казались такими большими, неуклюжими. Лучше других были розы. Роза все же — цветок мистическ<ий>. Но каких взять — белых или красных?

Федя выбрал полтора десятка самых лучших, самых пышных красных роз.

Он поехал в Новую Деревню.

— Можно ли было подумать, что я, я когда-нибудь пойду на свидание? А вот иду же.

Действительно, приехав на вокзал, Федя сразу с поезда пошел на почту, купил открытку и написал Ксении: просил ее быть на островах, у Елагина дворца. И вот теперь он ехал. Но когда он доехал до Большого проспекта, то увидел, что до назначенного срока еще два часа. Он слез с трамвая и пошел пешком вдоль заборов Каменноостровского.

В трамвае все смотрели на его букет, и некоторые улыбались. На лицах ничего не было видно, но Федя видел, что они понимают, в чем дело. Он посмотрел на свой букет, и букет показался ему огромным. Не смешно ли приносить такой грубый, такой большой букет? Есть в этом букете что-то купеческое. Федя оглянулся. Никого. Увидя, что никто за ним не следит, он разом отделил полбукета и перебросил его за забор.

Осталось восемь роз. Но не много ли и это? К чему восемь роз? Достаточно одной розы. Все понятно и так. Федя опять оглянулся и перемахнул через другой забор еще семь роз. Осталась одна, самая большая, самая пышная роза. Но когда он дошел до Каменного моста, он увидел, что роза наполовину осыпалась. Можно ли дарить такую розу? Федя бросил ее в Неву.

Но как явиться с пустыми руками? Если идти обратно до ближайшего цветочного магазина, то не успеешь вернуться. Пожалуй, можно опоздать, и она уйдет.

Но вот кондитерская. Федя зашел и не глядя купил коробку шоколадных конфет, истратив последние деньги. Федя пошел дальше. Однако кондитерская была довольно сомнительная. Надо посмотреть, что за конфеты. На набережной он присел на скамейку и прежде всего посмотрел на часы. До свидания еще оставалось почти полтора часа. Он развязал коробку и взглянул на конфеты. Шоколад был несвежий и весь покрыт чем-то вроде ржавчины. Федя не заметил, как одну за другой съел всю коробку конфет. Но это его уже не смущало. То, что ожидало его впереди, заставляло его забыть и о розах, и о конфетах. Твердыми, быстрыми шагами он пошел вперед.

Когда на другом берегу реки он увидел белый фасад дворца, сердце его мучительно застучало.

— Что я ей скажу? Какие будут мои первые слова? Неужели я скажу ей «здравствуйте»? И что она скажет?

На Елагином мосту он принимал каждую женщину за Ксению и готов был броситься за ней. Но все, кого он перегонял, оказывались самыми обыкновенными, ничем не замечательными девушками, притом нисколько не похожими на Ксению.

У дворца ее тоже не было.

Федя сел на ступеньки и стал ждать. Ксения должна была прийти в пять часов. Федя знал, что в это <время> перевязок уже нет, а если у нее дежурство, она может попросить заменить ее или поменяться с кем-нибудь днями.

К пяти Ксении все еще не было. Но это не беспокоило Федю. Женщины всегда опаздывают. Он прошелся по мосту, и тихонько дошел до его середины. Все равно она должна перейти через мост и он ее встретит. Но на середине моста он сообразил, что она могла выйти из дома гораздо раньше, могла гулять по островам и прийти ко дворцу с другой стороны. Он бегом вернулся ко дворцу. Ксении не было.

Что, если она была как раз тогда, когда он был на мосту, и ушла?

Федя вытер пот и решил сидеть на одном месте, на верхней ступеньке, не двигаясь с места. Там он, в полной неподвижности, просидел два часа. Ксения не пришла.

За эти два часа не только потускнел весь мир, за эти два часа сам Федя сделался каким-то серым и старообразным. Федя решил, что надо все привести в систему. Отчего она могла не прийти?

1) Она могла не получить открытки.

Тогда она не виновата. Но даже если бы это было так, Федя не мог простить ей того, что она не пришла. Конечно, в этом случае она *не смогла* прийти. Но все-таки. Теперь уже не протянуть к ней рук так, как это смутно представлялось ему в Линево.

2) Она могла быть занята.

Этого Федя не допускал. Она *не могла, не должна быть* занята в этот день.

3) Она получила открытку, была свободна, но все-таки не пришла.

Для Феди не было *никаких сомнений*, что так оно именно и было. Но если это было так, то это могло быть по двум причинам:

а) потому что она его не любит;

б) потому что она его любит.

Для Феди опять-таки было совершенно ясно, и не могло быть никаких сомнений, что она его *любила* и *не пришла*.

Он хлопнул себя по лбу.

— Ну, конечно, конечно. Да разве это могло быть иначе? Разве это возможно, чтобы она пришла, *она*, на обыкновенное, пошлое свидание и с *кем*? С ним, с гадким утенком, который...

Тут Федя чуть не подпрыгнул от боли, вспомнив о конфетах.

Но когда Федя перешел через мост и пошел вдоль садов Каменного острова, ему вдруг стало жаль чего-то. Как хорошо было бы сейчас идти под руку, чувствовать мягкую кожу, слышать детский голос, одним словом, быть *как все*, то, что никогда не удавалось Феде. У него всегда было все иначе, не как у всех. И вот теперь опять то же.

Хотелось плакать. Неужели та пасхальная ночь, невозможная, сказочная ночь, которая длилась вот уже два месяца, неужели она уже кончилась? Неужели Пасха прошла?

Смутно, смутно Федя начинал чувствовать, что в жизни мужчины есть что-то большее, чем любовь, но это большее приходит через любовь, начинается с женщины. А потом? Потом женщина разбита, как фарфор. Он видел протянутые руки Ксении, он видел себя, плачущего, у ее колен. И не было сил отвратить неотвратимое.



В приемной Константиновского артиллерийского училища[69] было полутемно от желтых, горящих под самым потолком лампочек. У стен стояли диваны, какие бывают на вокзалах, а в середине комнаты стояли столики, как в ресторанах. На диванах сидели ожидающие — матери, невесты, сестры, братья, друзья (почти не было отцов, вообще мужчин было очень мало), а за столиками сидели юнкера, которых уже вызвали, и тихо, счастливо беседовали со своими.

Федя занял столик. В соседней комнате дежурный офицер увольнял в отпуск. Юнкера стояли в очереди, в фуражках, с шинелями, накинутыми на плечо. Каждый подходил, делал какой-то нелепый, ужасно большой шаг, громко стуча своими сапогами, прикладывая руку к козырьку, и произносил что-то длинное, заученное. Дежурный офицер усталыми изящными движениями отмечал что-то в большой книге, юнкер делал нелепый поворот налево и какими-то особыми, неестественными шагами выходил. Все движения юнкеров были так нелепы и деревянны, что Федя не мог прийти в себя от удивления. Если какой-нибудь юнкер запинался в своей заученной речи или совершал движения, которых не полагалось, офицер ничего не отмечал в своей книге, и юнкер снова становился в затылок.

Кто-то тронул Федю за плечо. Перед ним стоял Глеб, похудевший, загоревший, с новыми, мужественными чертами лица и улыбался ему. Они поцеловались и сели за столик. Глаза Глеба сияли. Федя ничего не мог ему рассказать о том, что с ним происходило. Изменения, которые произошли в Глебе, были едва заметны для глаза, но они были. Форма уже как-то сли-

[69] Константиновское артиллерийское училище было преобразовано из Дворянского полка в 1859 г. Находилось в Петербурге по адресу: Забалканский пр., 17.

валась с ним, не казалась нелепой на этой, такой невоенной фигуре. Глеб рассказывал, как наводят орудие и как стреляют.

Федя смотрел на Глеба, смотрел через дверь в соседнюю комнату, где юнкера продолжали становиться в затылок, и думал: здесь еще мир, в этих матерях, сестрах, невестах, которые пришли с цветами, с пирожными, открытые для любви и боли. А в той комнате уже дикость войны, и в голове у Глеба тоже уже война. И нам не о чем уже говорить.

Глеб посмотрел на Федю.

— Ты, наверное, думаешь: вот он рассказывает об орудиях, а ведь я с ним Новалиса читал. Думал? А?

Федя покраснел.

— Да. Думал.

— И напрасно. Я думаю о войне. Много думаю. Мне ведь идти на войну, и я думаю в иных красках, чем те, что не идут. Помнишь ли ты? «Мне бой знаком. Люблю я звук мечей...»[70] И вот я думаю: история всегда умнее людей. Мы не понимаем того, что происходит, мы смотрим, как улитка из скорлупы. А есть законы. Самое глупое — хотеть противопоставить этим вечным законам что-то свое, другое. Все равно потеряешь то, что хочешь противопоставить. Можно только растворить себя в законе, принять его. Ты меня понимаешь?

— Да, да. Но только когда же станет законом то, что я хочу? Ведь это должно случиться? Ведь не может это продолжаться вечно? Разве я так многого хочу? Ведь я чего хочу? Во мне — человек. И в жизни так много человеческого. Вот когда я смотрю картину Рембрандта, я знаю: это от человека. А когда я смотрю, как ваши юнкера рапортуют, я знаю: это от зверя.

— Так рассуждают те, кто не умеет принести себя в жертву. Человечность — самое жестокое, что есть в жизни. Вот — Новалис. Ты знаешь, что Гете сказал: романтик всегда питает тайную любовь к палачу. И это вовсе не случайно, что тот самый народ, который создал самую глубокую философию, самую небесную, неземную музыку, он же создал и солдатчину на диво всему миру. Но ведь наша церковь поглубже Канта, как ты думаешь? И наши песнопения стоят бетховенских сонат? Ты это чувствуешь? Так вот я тебе говорю: наша святая Русь с ее мощами, слезами баб, с нашим «отец родной», с нашими уменьшительными и ласкательными так тряхнет обухом и такую жестокость воскурит, что испанская инквизиция тебе покажется идиллией против этого. А я этого не хочу, не могу. На войну так на войну. Ты вот говоришь: эти юнкера, что рапортуют — это от зверя, а не от человека. А как же иначе? На войне иначе нельзя. На войне нельзя своей воли иметь. И все это имеет только одну цель: выветрить волю. Ты бы, например, безвылазно сидел в карцере.

— Не только это. Меня бы, наверное, еще похуже куда посадили.

---

[70] «Мне бой знаком — люблю я звук мечей...» — стихотворение А. С. Пушкина. См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1935–1959. Т. 2. С. 138.

— Очень может быть. Знаешь что, Федя? Не осуждай. Не допускай в себе ненависти.

— Не могу, не могу. Не говори. Я всегда буду ненавидеть войну и всякое насилие, всегда.

— А меня?

— Тебя? Тебя одного я во всем мире люблю. Впрочем...

Друзья взглянули друг на друга. Феде показалось, что Глеб что-то понял.

— Тебе не надо говорить. Ты и так все понимаешь.



На этот раз она пришла.

Он увидел ее издали, она шагала по дорожке, она была в белой блузке и синей юбке, а не в форме медсестры, и в маленькой шляпке, надетой чуть-чуть на бок.

Еще издали, глядя на мрачное лицо Феди, она во все лицо улыбнулась, как будто она век была знакома с ним, как будто ничего не случилось. У Феди лицо было глупое. Он еще сердился с прошлого раза, но ему уже хотелось так же улыбаться во все лицо, как она. Когда она взяла его под руку и крепко прижала его руку к своей, мрачность окончательно сползла с его лица, он улыбнулся, и рот понемногу стал расширяться, и показались его молодые, белые зубы.

— А вы сердились, да? У, бука, бука. Не стыдно?

Феде стало стыдно.

— Как же я мог не сердиться?

— Подумаешь! Ну, не пришла, и все.

— Отчего же вы не пришли?

— Вам это не полагается знать.

Но глаза ее сияли счастьем. Глаза ее робко, снизу вверх, смотрели на него, смотрели таким бездонным взглядом, что Феде стало почти страшно.

— Ну, не будем ссориться.

— А разве мы ссоримся?

Они шли нога в ногу по дорожкам островов. У пристани взяли лодку и поехали к морю. Федя греб, Ксения правила. Когда <он> подымал взгляд, он встречал совершенно голубые, прямо устремленные на него глаза Ксении, которые смеялись и вместе <с тем> смотрели на него с какой-то укоризной. «Отчего у нее такой взгляд? — думал Федя. — Она смотрит так, как будто осуждает меня за что-то». И ему казалось, что его и можно осуждать: вся скверна, которая есть в каждом человеке, выплывала наружу и таяла от этих глаз. Хотелось броситься к ее ногам тут же, в лодке, целовать ее руки, перевязавшие столько ран.

Ксения нагнулась к воде и сорвала белую лилию.

— Мне подарок от водяного.

— Дайте мне!

— Дареное не дарят.

— Дайте!

— Вы злой.

Несколько минут Федя греб молча. Уключины скрипели. Лилия лежала на коленях, которые обрисовывались под широкой юбкой.

Федя старался не смотреть на Ксению. Он нарочно смотрел на берега, где был склад дров и досок. Но это было неестественно. От смотрения в бок была неловкость в шее. Самое естественное было не смотреть на берега, а смотреть совершенно прямо, туда, где сияли глаза. Федя посмотрел прямо. На него смотрели глаза, полные укоризны.

— Нет, Федя, вы добрый. Нате вам лилию.

Мокрая лилия была приколота к груди и скоро опустила свою головку.

Скоро стало темнеть. Зажглись городские огни. Лодка почти без шуму скользила по воде, которая казалась черной и отливала как шелк. Фонари отражались в воде белыми нитями. Вся вода сверкала от отражений.

— Отчего это, Федя, фонари совсем не так хороши? А когда они отражаются, это красиво.

— Потому что отражение всегда лучше действительности.

— Вы так думаете?

— Да. Наше поколение живет отражениями.

— Как?

— Я сказал, что наше поколение живет отражениями.

— Это слишком умно для меня... Ведь я глупая, а вы страшно умный.

— Я не умный, но я много переживаю, и знаю это: когда мечтаешь и думаешь, то все красиво и хорошо. А потом...

— А потом?

— Впрочем, это пошло.

— Совсем нет. Когда я была девочкой, я всегда мечтала. И теперь еще: сяду у окна и гляжу на звезды. Это смешно? И еще тогда я думаю о...о... отгадайте...

Федя чуть было не сказал «обо мне», но вовремя спохватился.

Они подъехали к пристани. Пока Федя привязывал гремящую цепь, Ксения поднялась на берег. Федя пошел за ней, но Ксения вдруг побежала бегом по аллее. Феде вовсе не хотелось бежать, он был расположен философствовать и предаваться вечерней поэзии. Но волей-неволей пришлось бежать. Ксения увертывалась, шляпа ее съехала, она сняла ее на бегу и оглянулась. Федя поймал ее, обнял за плечи и крепко поцеловал в губы. Волосы ее вдруг упали ему на руку. Пока она поправляла прическу, он держал ее в объятиях и старался увидеть в темноте ее глаза.

Когда поздно ночью они стояли у ворот, он не мог оторвать губ от ее рук. Она спрашивала:

— Ну что, мечта лучше?

— Нет, нет, нет. Это лучше, лучше, чем мечта. Это — жизнь.

— Вот видишь. Ну, иди домой.

И она разом оторвала свои руки и исчезла в воротах.



Теперь Федя приходил к Ксении почти каждый день. Все складывалось не так, как ему когда-то представлялось в Линево.

Федя любил смотреть Ксении в самые глаза. Глаза эти всегда смотрели на него с укоризной, даже когда она благодарила его или восхищалась им. И эти глаза делали чудо. Федя стал другим, стал мягче, вежливее, добрее. Почти все это замечали. Мама спрашивала: что случилось с Федей?

Но иногда, глядя в эти глаза, Федя вдруг как бы пугался чего-то. Почему эти глаза всегда смотрят одинаково? Почему они никогда, никогда не меняются?

И Федя стал наблюдать. Теперь он почти всегда приходил с цветами. Чтобы покупать цветы, он давал уроки.

Наступила зима. Федя купил две красные гвоздики и поехал на острова. Ксения шла по дорожке. От мороза гвоздики замерзли. Они сделались стеклянными.

— Смотри, как красиво: они совсем замерзли, смотри, они будто из стекла.

Ксения протянула руку. Она поднесла гвоздики близко к лицу, хотя она совсем не была близорука, потрогала мизинцем лепесток и вдруг бросила их в сторону. Они упали в снег. Федя ничего не сказал. Они шли молча. И вдруг он опять встретил ее глаза. В них было все: мольба о прощении, любовь, преданность и бесконечная, бездонная укоризна.

Но эти глаза ему вдруг напомнили другие, такие похожие на них водянисто-голубые глаза, виденные когда-то им в дровяном подвале. Зырянка с Ксениными глазами протягивала ему ребенка, трогала его за рукав и что-то говорила, говорила. Федя молчал.

— Почему ты ничего не говоришь?

— Потому что мы делали преступление.

— Кто? Мы?

— Да!

— Неправда.

В первый раз он услышал, что ее голос дрожит и что она негодует.

— Нет, правда.

Опять они шли молча.

— Говори.

— Говорить? Хорошо. Я должен ехать на войну.

— Ты?

— Да.

— Почему? Разве тебе нехорошо здесь?

— Очень хорошо. А другим?



Но Федя на войну не поехал. Чтобы поехать на войну, надо было сделать очень многое: надо было подавать прошение. Раньше, чем подавать прошение, надо было узнавать, куда его подавать. Чтобы ехать санитаром, надо было кончить какие-нибудь санитарные курсы. Но приема не было: на ускоренных трехмесячных курсах сказали, что новый прием будет через полтора месяца. Федя подал заявление и через полтора месяца поступил на курсы, а еще через три месяца кончил их. Но когда он держал в руках бумажку, что он обучался десмургии, фармакологии, гигиене, анатомии и общей патологии с диагностикой, на войну уже не хотелось.

Ксения была все та же.

Она часто ходила в церковь и требовала, чтобы и Федя ходил. И Федя ходил. Он узнал все петербургские церкви. То, что он видел, было загадкой. Ужасающая безвкусица икон, сфабрикованных петербургскими богомазами, и распростертые перед ними женщины, молившиеся о своих сыновьях в окопах; развратные лица певчих, поющих ангельские песни так, что можно плакать от потрясения; сотни свечей и лампад, каждый огонек которых казался Феде огнем чьего-нибудь скорбящего сердца, и вкрадчивые, неслышные шаги каких-то людей с большими бородами, которые старались как можно скорее потушить свечи и сбросить их в какой-то жбан, чтобы вернуть в переработку как можно более воска; слезы и звон монет, ругательства у входа и самые святые, самые глубокие слова на устах священников — все это не укладывалось в душе и в мыслях Феди.

— Почему теперь нет таких икон, как прежде? Почему вместо церквей строят какие-то ящики с колоннами, порталами и с куполами? Почему ограды церквей делаются из турецких пушек, и почему вокруг скорбящей Марии висят простреленные пулями и почерневшие знамена?

Это, то, что когда-то создавало эти песнопения, этого нет больше. Религия не создает себе формы, а значит, религии уже нет, нет, несмотря на баб, которые молятся, на стариков, которые плачут, на детей, которые вдруг затихают и с удивлением смотрят на эту позолоту, которая кажется им красотой рая.

Федя пробовал говорить Ксении:

— Наше время не создает форм религии. Все, что создано, создано 500 лет тому назад. А то, что делают теперь, — это смерть и разложение. Я не могу молиться, слыша свист пуль сквозь благовест. А я слышу его: он исходит вот из этих знамен, он сохранился в них. И пушки эти вокруг церкви — живые, а сама церковь — мертвая.

Но Ксенин лобик не вмещал этих мыслей. Она входила в церковь как в родной дом, она целовала иконы, крестилась и кланялась, и ей нисколько не мешали знамена, пушки, деньги и прочие аксессуары современного храма. Она опускала руку к Феде в карман и сжимала его пальцы и не выпускала их. Но Федя не мог отвечать на эти пожатия, так же как он в церкви не

мог бы есть или целоваться с ней. В такие минуты он смотрел на нее сбоку. Ее лицо было спокойно, как лицо сытого ребенка, у которого есть все, что ему надо. Она была довольна: она в церкви, она жмет его руку и говорит только одно слово: мой.

Но когда они вместе с толпой выходят из церкви, она весело рассказывает, что сегодня утром сказал солдат Костров, и что сказала Дина, и Наточка, и как Варвара Павловна познакомилась с одним студентом. Но у Феди в ушах звучали песнопения, от ладана кружилась голова, и хотелось говорить о другом.

Они ходили по музеям. В Эрмитаже, глядя на автопортрет Рембрандта[71], она говорила:

— У, урод! Неужели он не мог изобразить себя красивее? И зачем он сделал себе такой красный нос? Он был пьяница, да? Скажи?

Когда она говорила «скажи», она прижималась к Феде плечом, она верила, что он все знает, все понимает и объяснит. И Федя не сердился. От кисеи ее прозрачных рукавов, от ее волос, от глаз, от голоса исходило то, что было сильнее всех ее слов. Это была ее женственность. Ее детский голос, ее маленький круглый лобик, на который иногда ложились морщины, и нежные, мягкие пальцы — все это покорило Федю так, что нельзя было уйти от этого, нельзя было отделаться, надо было только не сопротивляться, не думать.

И Федя переставал думать. Это было счастливое время.



От Бобы долго не было писем. Последнее письмо было с западного фронта. Боба писал, что немцы наступают, и что работы очень много, и что он на самых передовых позициях. Через месяц после этого письма в кухню робко вошел солдат. Он как-то странно тихо говорил; под мышкой он нес небольшой пакет.

В пакете оказались вещи Бобы: фотографический аппарат, записная книжка, несколько фотографий, очки, книги.

— Так что их благородие в плен взяты. Очень большое сражение было. Немцы в мешок нас взяли. С трех сторон стреляли.

— Вы говорите, он в плен попал? А вы не видели, как это было?

— Никак нет, не видел. С трех сторон стреляли.

— А откуда же вы знаете, что он в плен взят?

— Так они числятся в плену. С трех сторон стреляли. Наши бежали — страсть. А только не могли бежать. Очень хороший человек был.

[71] Автопортрета Рембрандта в собрании голландской живописи в Эрмитаже не было. См.: *Бенуа А. Н.* Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. Издание Общины Св. Евгении. СПб., [1911].

— Кто?

— Господин доктор. Все очень его даже любили. Если сахар у него был, или что, всегда бывало, скажет: не хочешь ли, вот, сахару. Да.

— А вы кто?

— А я рядовой 196-го Писарского полка, Фофанов Иван Васильев, отпущен на поправку. Язва желудка определилась. Господин доктор, спасибо, определил, и еще сахару дал. Да, очень хороший был человек.

В поведении этого человека было что-то странное. И почему он все время говорит «был человек». А сейчас?

Федя стал рассматривать вещи Бобы. Из белья была одна только серая шерстяная рубашка, которую Боба еще давно носил дома. Когда Федя разложил рубашку и когда потом он взял в руки его очки, то из этих двух вещей вдруг составился весь Боба, так близко, так живо, как будто он только что вышел из кухни, как будто он сейчас вернется, заговорит. Федя увидел каждую складку его веселого полного лица, услышал вибрации его голоса. Это совершенно, совершенно невозможно, что он убит. А если...?

— Слушай, говори ты Христа ради толком! В плену он или другое что с ним?

Но Фофанов опять начал говорить про мешок, и что немцы стреляли с трех сторон.

— А вещи откуда?

— А вещи доктор Шибловский велели передать.

— Кто?

— Доктор Шибловский.

— Кто это?

— А это наш младший врач, в одной землянке жили с вашим братом.

— И что он еще велел сказать?

— Скажи, говорит, что они в плен взяты.

— И больше ничего не велел передать?

Федин голос поневоле сделался раздражительным и строгим.

Фофанов вдруг встал, отогнул шинель, залез глубоко в карман своих брюк и с хитрым видом положил на стол какой-то маленький сверкающий предмет. Предмет оказался двумя золотыми обручальными кольцами, связанными шелковым шнурком.

Сердце <Феди> болезненно застучало.

— Что это?

— А это, изволите видеть, два колечка.

— Золотые?

— Так точно.

— Откуда же они?

— Доктор Шибловский велели передать.

— А что же ты сразу не передал?

— Виноват, так приказал доктор Шибловский.

— Почему же?

— Испугаются еще, говорит.

Все это было очень странно. Если Боба был обручен, почему здесь *два* кольца? Не хотел ли Фофанов просто присвоить эти кольца? Федя их рассмотрел. На одном была надпись «Александра» и дата, на другом надписи не было.

Федя молчал, стараясь угадать связь.

— А про кольца доктор Шибловский ничего не говорил?

— Так точно, говорили. Это, говорит, кольца двух солдатиков, которые умерли на перевязке, дали доктору кольца, чтобы отвез родным.

Федя чуть было не поколотил Фофанова. Он облегченно вздохнул, велел его накормить, дал ему денег и ушел.



Через месяц бесстрастная рука почтальона сквозь дверь просунула письмо: это была открытка от Бобы.

Письмо было покрыто красными, лиловыми и синими печатями Красного креста, почты Германии, стран транзита России и продолговатыми печатями цензуры: geprüft[72]. Каждая печать говорила: я не доверяю. Она смотрела, как глаз, сердитый в бессилии. Сквозь все печати прорывались слова. Боба писал, что он в плену, что он жив и здоров и просит прислать посылку.

Больше ничего не было.



[72] Geprüft — проверено (*нем.*).

Комментарий

Рукопись В. Я. Проппа «Древо жизни» (ф. 721, оп. 1, № 97–98) хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома и публикуется впервые.

Откровенный, порой исповедальный тон повествования, легко ощутимый автобиографический характер рукописи (изменены имена и фамилии, но автор придерживается действительных событий и фактов), позволяют отнести «Древо жизни» к жанру автобиографической повести.

Что побудило известного ученого, фольклориста обратится к этому жанру? Понимание самоценности человека и его внутреннего мира или желание лучше понять свою судьбу? Трудно сказать. Пропп с детства любил читать биографии. Он со страстью поглощал книги с биографиями немецких романтиков из библиотеки отца. Интерес к человеку и самоанализ был ему свойственен всегда, поэтому обращение к автобиографическому жанру не случайно. «Я должен написать историю своей жизни, — сказал себе в свое время Стендаль, — может быть, когда она будет написана, я наконец узнаю, какой я был...» [1]

В 1932 г. Пропп начинает писать повесть «Древо жизни». Отбирая в памяти наиболее яркие события прошлого, он не отступает от их хронологического изображения: детство, отрочество, юность. Но не события как таковые, и не описание быта прошлых лет, которое лишь играет вспомогательную (но не ностальгическую) роль, интересуют автора. Взгляд ребенка, познающего мир; ранимость подростка, чувствующего свою инородность в семье; острое переживание юношеского одиночества — вот то психологическое направление, которому следует Пропп.

Для тех, кому дорого внимание к личности, в особенности к личности подростка, повесть «Древо жизни», не лишенная к тому же и художественных достоинств (отметим хотя бы мастерство портрета), представляет безусловный интерес. Для тех же, кто знаком с научными работами ученого или знал Владимира Яковлевича Проппа лично, предельная искренность повести вызовет глубокое сочувствие.

Повесть «Древо жизни» публикуется с автографа, в котором фрагменты белового текста перемежаются с фрагментами черновой рукописи. Часть повести написана карандашом и представляет собой трудночитаемый и выцветающий текст. Встречаются грамматически неоформленные предложения. В этих случаях была допущена минимальная редакторская правка. Текст при этом (отдельные слова, группы слов или части слов) дается в ломаных скобках. Сокращения и трудночитаемые слова также раскрыты в ломаных скобках.

Выражаем благодарность Т. А. Кукушкиной за выполнение переводов с немецкого языка.

Публикация *Н. А. Прозоровой.*

---

[1] *Стендаль.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 13. С. 8.

Переписка с В. С. Шабуниным



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Что побудило меня извлечь эти письма из их хранилищ, снова вчитаться в них, перепечатать, соединить вместе? — Причина в извечном человеческом стремлении удержать дорогие нам мгновенья, не дать им исчезнуть в потоке времени, а то, что ушло, минуло, — воссоздать в доступной мере силой своей памяти и воображения, своего сознания и чувства.

3 января 1972 г. я писал старшей дочери Воли:

«Милая Мусенька![1]

В последнее время я все чаще вспоминаю о Воле. Мне его очень недостает, и все тянет думать о нем, мысленно быть с ним.

В моем "архиве" хранятся 182 письма Воли ко мне <...>. Перечитывая их, я вижу, что для людей близких эти письма уже сами по себе представляют несомненный интерес. Если же их снабдить некоторыми пояснениями, интерес еще возрастет.

Мне хочется попытаться написать что-нибудь о Воле — не для печати, а для себя и для самых близких к нему лиц, кому он дорог как человек. Что-то вроде воспоминаний о друге, что-то в плане "совершенно личном".

Мне хотелось как бы вновь почувствовать на время в своей руке Волину руку, услышать его голос, в чем-то глубже понять его взгляды и харак-

---

[1] Мусенька — Мария Владимировна Пропп (р. 1924) — дочь Владимира Яковлевича от первого брака.

тер, вновь погрузиться в ту добрую, дружескую атмосферу, которая всегда возникала при наших с ним встречах, беседах.

И вот, вникая в содержание Волиных писем, в наш эпистолярный диалог, я чувствую, что наша переписка вызывает к жизни целые вереницы мыслей и образов и сама собой превращается в тетрадь воспоминаний об ушедшем друге. Этому помогают и фотоснимки.

Воля вновь встает передо мной в своеобразии своего физического облика со всеми особенностями своей личности.

Я думаю о Воле, я вспоминаю о нем...

И, прежде всего, конечно, вспоминается основное и самое дорогое — его глубокая, его верная дружественность ко мне. Как хорошо отражена она в его письмах! Его сердечное отношение чувствуется буквально в каждой строке и порой звучит нежно и трогательно. 20.X.1954 он пишет: "Дорогой друг, Ты не будь на меня в обиде, что я так долго Тебе не отвечал <...>. Я очень, очень соскучился о Тебе. Мечтаю Тебя повидать. Хочу к Тебе, буду ждать Твоего сигнала".

Для него были характерны внимательность и заботливость. 20 сентября 1954 г. он пишет: "Дорогой мой Витя! Как хорошо, что Ты мне написал! Когда Ты от меня ушел, я вдруг как-то испугался за Тебя <...>. Твоя одышка мне сильно не понравилась..."

Стоило мне почему-либо задержаться с письмом, как у него возникала острая тревога о моем состоянии. Письмо от 29 августа 1959 г. в Остер Черниговской области начинается словами: "Дорогой мой друг! Я нахожусь за Тебя в смертельной тревоге и тоске. Все время были подробнейшие и интереснейшие письма, а потом вдруг — как рукой сняло". Аналогичные чувства звучат в письме от 11.VII.67. Получив от меня весточку из Тарусы[1], он восклицает: "Наконец! Дорогой мой Витя, если б Ты знал, как у меня о Тебе изныла душа..."

Эта настороженная заботливость о близких, тревога о них были вообще глубоко свойственны Воле. 18.VIII.1963 он взволнован тем обстоятельством, что Муся, как будто раньше, чем хотела, уехала из Тарусы и что нет от нее письма. "Напиши хоть Ты, если что-либо знаешь, — пишет он мне. — Не случилось ли чего-нибудь?" И тут же продолжает: "Зато большую радость я имею от Миши[2]: их экспедиция к гейзерам и вулканам* благополучно кончилась, о чем я сегодня получил телеграмму. Наши дети радуют нас главным образом тем, что они не тонут, не обрушиваются со скал и остаются живы. Тебе это еще предстоит испытать, когда Таточка[3] сделается альпинисткой или заведет себе мотоциклетку".

---

[1] Таруса — город в Калужской области.

[2] Миша — Михаил Владимирович Пропп (р. 1937), сын Владимира Яковлевича от второго брака, известный морской биолог, доктор биологических наук.

* Миша с женой Луизой ездили в экспедицию на Камчатку.

[3] Таточка — Татьяна Викторовна Шабунина (р. 1954) — дочь В. С. Шабунина.

6 Зак. 3360

В его письме от 19 февраля 1955 г. из здравницы "Репино" есть такие строки: "Здесь я отдыхаю всем телом, а душой меньше. Сын болен ангиной, и мне иногда кажется, что надо было бросить здравницу и ехать домой". А Мише в это время уже было 18 лет, и он находился в прекрасных условиях, и мать и другие родные были при нем!

30.VI.60 он пишет с волнением: "У меня большое горе: мой внук Митя[1] <...> заболел, по-видимому, лейкозом. По письмам я не все могу понять <...>. Ты уж прости, что я Тебе про это пишу, но я ни о чем другом думать не могу".

<...> Таких знаков заботливости и волнений в его письмах множество. Может быть, эти опасения иной раз были чрезмерны. Но они говорят о его искренней любви к тем, о ком он так беспокоился.

Его внимание к другим могло простираться до мелочей. Он всегда подробно расспрашивал о ходе даже незначительных заболеваний, об изменении самочувствия, огорчался при ухудшениях, испытывал облегчение, если дело шло на поправку. <...>

А вот к своему личному здоровью он такого внимания не проявлял и не любил распространяться о своих недугах. Мне как врачу он говорил больше, чем другим, но и то чаще всего был скуп и краток. В своем первом письме (от 2.XII.1953) он своему здоровью уделяет лишь одну строку: "У меня был инфаркт, сердце надорвано, и я полуинвалид, но духом и умом пока бодр". При ухудшениях самочувствия он не только не афишировал этого, но скорее был склонен скрывать свое состояние, чтобы не тревожить близких. Так, в письме от 22.X.1962 он пишет: "Я бы забежал к Тебе, но очень занят, переутомлен и чувствую себя весьма скверно (не говори жене)".

Как в данном случае, так и при других ухудшениях его самочувствия причиной этого чаще всего было переутомление работой. Его служебная нагрузка профессора кафедры русской литературы в Университете была далеко не равномерной в течение года. Особенно тяжелы для него были периоды поверочных экзаменов (в январе и в начале лета). В эти сессии он дорабатывался иногда до глубокого переутомления. 10.I.1957 он пишет: "Я экзаменую до потери сознания. Экзамены длятся до 2–4 часов, но вечером после этого я уже не гожусь никуда, даже пальто лень надеть, хочется только лежать. Последний экзамен у меня 15-го, и после этого я к Тебе приду запросто и неожиданно, отдохнуть душой и телом". А 20.VI.58: "Ты знаешь, я бесконечно экзаменую, и вечерами болит голова..." 16.I.64: "Моя каторга кончится 24 января. До этого я каждый день экзаменую". Но надо помнить, что его деятельность отнюдь не ограничивалась чтением лекций, проведением экзаменов, руководством аспирантами, участием в заседаниях кафедры и ученых советов Университета; помимо всего этого он вел большую исследовательскую работу, писал научные труды; эти труды нуж-

[1] Митя — Дмитрий Анатольевич Шурыгин (р. 1956) — внук Владимира Яковлевича, сын Елены Владимировны.

но было готовить к печати, причем издательства нередко назначали очень сжатые сроки. Сверх того, ему как крупнейшему специалисту иногда поручалось ответственное и трудоемкое редактирование крупных работ, например, трехтомного издания “Народных русских сказок” А. Н. Афанасьева[1]. Ему приходилось рецензировать много диссертаций — кандидатских и докторских — и выступать оппонентом на защите некоторых из них...

Случалось, что несколько таких работ совпадало по времени, тогда для Воли наступали особенно трудные дни. Его загруженность превосходила его реальные силы, и он изнемогал под бременем работ. 20.X.54 дело доходит буквально до крика души: “У меня на столе и рояле несколько тысяч страниц, которые надо отредактировать, отрецензировать, проверить и т. д. Это какой-то кошмар, от которого я не сплю. У меня уже делается почти хроническая мигрень”. 20.I.55: “Мне <...> даже побриться некогда, я получил корректуру своей книги[2], причем всей сразу (555 стр.) с совершенно сумасшедшим графиком, невыполнение которого вызовет простой машины и соответствующие неустойки. Поэтому, когда я не экзаменую, я день и ночь правлю <...>. Кроме того, в начале февраля меня вынуждают выступить с докладом о 50-летии революции. <...> Да, попал я в переделку!” <...>

Зато какое чувство счастья овладевало им, когда все срочное, необходимое, так тяжко его давившее, было, наконец, переделано, и наступали дни отдыха! Он рвался тогда из города, прочь от стен и предметов, напоминавших о непосильном труде, — к природе с ее умиротворяющей тишиной, к деревьям и траве. Он способен был подолгу сидеть неподвижно, слушать и созерцать жизнь природы. Тесно связанный своей педагогической и творческой деятельностью с городом, Воля не искал дачи где-либо вдали от Ленинграда. Они жили летом обычно недалеко от города, часах в полутора езды — в Разливе, Ушково, Репино*. Бывало, он вырывался на дачу и зимой — в университетские каникулы — недели на две, например, в Заманиловку и там наслаждался тишиной и обилием света, которого ему так не хватало в их темной квартире на улице Марата. Реже он брал на это время путевку в какой-нибудь санаторий. 27.III.1959 он пишет: “Ты угадал. Я забрался в Заманиловку и наслаждаюсь весной <...>. С часу до двух я гуляю по парку или по дорогам. Черные пятна земли на белом снеге, близкие и дальние холмы, бывает солнце, бывают чудесные туманы...”

Летом 1959 г. их семья жила в Разливе, и письмо Воли оттуда (от 11.VI.59) хорошо раскрывает значение для него природы: “Я очень устал, ничего работать и делать не могу. Но когда я на даче, я любуюсь окружающим меня миром, и это заполняет всю мою жизнь, как в детстве, когда вос-

---

[1] Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. Подготовка текста и примеч. В. Я. Проппа. М., 1957.

[2] Речь идет, вероятно, о монографии «Русский героический эпос» (Л., 1955; 2-е изд. Л., 1958).

* Они жили на даче в 1954 г. — в Разливе, в 1956 — в Александровке, в 1957 — в Ушково, в 1958 — в Разливе, в 1959 и 1960 — в Заманиловке, в 1961–1970 в Репино.

приятие мира — самое главное. Я любуюсь и внуком своим, и его пухлыми ручками, и рябинами под окном. Наш домик стоит в пяти шагах от озера, и сквозь деревца я вижу воду, даль, камыши, небо. Ты можешь себе представить, что́ со мной стало, когда на середину озера, где есть отмель и где растет сочный тростник, приплыла стайка из пяти лосей и, стоя выше живота в воде, стала со вкусом медленно откусывать этот тростник! В бинокль можно было разглядеть даже рога и уши".

В том же году он пишет мне 17.VII в Остер: "Ты, видно, живешь неплохо, но все-таки это город, хоть и маленький и хороший, а меня тянет прямо в лес, к мухоморам и чернике. Здесь я раза два, надев резиновые сапоги, бродил по болотам, что я очень люблю".

Он любил цветы, тонко чувствовал их красоту и где бы ни отдыхал летом, всегда выращивал их возле дома, черпая в уходе за ними радость и умиротворение. 31.VII.67 он пишет: "А у нас около дома цветы (это моя забота). Невиданный по красоте и обилию цвета и аромату душистый горошек, огромные и сочные настурции, душистые, нежные бархотки <...> — все обильно цветет и благоухает, благодарит меня за уход и работу. Да, несмотря на всякие неладности, жить еще можно, и жить стоит".

Совсем особняком по обилию и силе впечатлений, по своему благотворному действию на общее самочувствие Воли сто́ит его поездка летом 1962 года на теплоходе "Циолковский" в Петрозаводск, на остров Кижи, на Валаам. Это была дань с его стороны не только стремлению видеть как можно шире страну, многообразие и поэтичность ее природы, но и дань его глубокому интересу к народному творчеству, к старинной русской архитектуре.

С борта теплохода он не мог насмотреться на широкое водное пространство, на оттенки облаков северного неба, не мог вдоволь надышаться чистым и чуть влажным озерным воздухом. Строки его писем с "Циолковского" полны лиризма и поэтической взволнованности. Одно из этих писем он подписывает: "Твой счастливый Воля".

Примечательна фраза в письме от 13.VIII.64: "Радость природы в моем возрасте — одна из самых больших и острых".

В свете этого тонкого восприятия природы становится понятным отношение Воли к творчеству Саврасова. 29 июня 1963 г., только что освободившись от своих обязанностей по Университету, он пишет мне в Тарусу: "В первый же день своей свободы (т. е. сегодня) утром я побежал на выставку Саврасова. Друг мой! Вот где Тебе надо было бы побывать! У нас знают только "Грачи прилетели", большинство его картин в частных собраниях, их так не увидишь. Это великий пейзажист, второй после гениального Васильева. Он первый в мировой живописи импрессионист. Он изображает не предметы, а настроения. Он пишет не вещи, а времена дня и года" <...>.

И в своих занятиях фотографией Воля много места отводил природе. Он не без основания сам называл себя фотографом-художником: многие его снимки говорят о развитом художественном вкусе, о стремлении пока-

зать очарование какой-нибудь совсем простенькой опушки леса, одинокой березки на лугу. Бывало, он присылал нам в качестве привета снимок букетика подснежников в стакане воды или фотоэтюд какого-нибудь лесистого взгорка, “открытого” им во время прогулки по окрестностям дачи.

Отмечая тяготение Воли к прекрасному, его постоянную потребность в эстетических переживаниях, вызванных природою ли, живописью ли, — нельзя тут же не подчеркнуть особой роли в его жизни музыки. Со слов Воли я знаю, что он любил музыку с детства, учился игре на фортепиано, делал хорошие успехи и в молодости даже участвовал в публичных концертах. Он хорошо знал творчество всех крупнейших композиторов последних веков и тонко чувствовал музыку. Не случайно первым, что бросилось мне в глаза в его небольшом кабинете на улице Марата, был черный рояль, очень загромождавший комнату, но дорогой Воле как источник отдыха в музыке. Потом все же пришлось пойти на его продажу, и Воля какой-то срок оставался без инструмента. 13 мая 1958 г. он пишет мне в Алушту: “У меня две радости, одна большая и одна маленькая. Большая радость состоит в том, что я купил пианино, продав стол, чтобы освободить место. Теперь я могу иногда играть”. Бывали периоды, когда ему удавалось играть довольно много. Он разучивал новые вещи и иногда исполнял что-нибудь у нас. 13 августа 1964 г., условливаясь о встрече, он пишет: “Я учу вариации Бетховена и сонату-партиту Гайдна. Если к тому дню выучу, то сыграю”. Его игра была хороша и всегда производила сильное впечатление, в частности, на Евдокию Ивановну[1].

Почувствовав, что его фортепианная техника в определенной мере восстановилась, он решился наконец сесть за инструмент и при наших гостях, в один из “вечеров”, которые мы ежегодно устраивали в связи с днем моего рождения. Об этом у меня сделана 23.XI.64 такая запись в дневнике: “Воля <...> впервые решился выступить среди наших друзей и всех очаровал”. Через два года об аналогичном вечере записано: “Воля играл — больше, чем обычно...” Сам он, по-видимому, никогда не оставался вполне доволен своим исполнением и с грустью отмечал, что его пальцы потеряли былую гибкость и беглость.

О его любви к музыке говорят многие места его писем. 6.III.66 он пишет: “Завтра идем в Филармонию — вечер симфоний Гайдна, будет исполнено шесть симфоний”. 3.VII.66: “Сегодня приехал в город* специально, чтобы услышать “Волшебную флейту” Моцарта, о чем мечтаю уже много лет”.

Когда наш разговор касался музыки, я чувствовал, что мне трудно быть для Воли интересным собеседником, т. к. и мое знание музыки, и ее понимание, чувствование много уступали Волиным.

Зато обратные отношения были у нас с ним, если говорить о стихах. Я любил стихи с детства, рано сам их начал писать, и язык поэзии волновал меня всю жизнь. А вот Волю стихи, по-видимому, не очень захватыва-

---

[1] Евдокия Ивановна Шабунина (р. 1916) — жена В. С. Шабунина.

* Из Репино.

ли. Мы с ним никогда не говорили о поэзии, и это делает для меня несомненным, что Воля не заводил подобных речей, иначе я их сразу подхватил бы с жаром[1].

Тут же надо сказать еще об одном виде искусства — архитектуре, этой "застывшей музыке". К средневековой русской архитектуре Воля относился не только с величайшим интересом, но можно сказать — с изумлением и восторгом. Он годами лелеял мечту основательно изучить памятники зодчества Новгорода, Владимира, Суздаля, Ярославля. 27.VI.1962 он пишет: "В Донском монастыре я тоже когда-нибудь побываю, и не столько для могил, сколько для остатков русской старины, которую я так люблю, как будто это мое родное. Я хочу также раньше, чем помереть, увидеть Троице-Сергиеву лавру".

Летом 1962 г. во время поездки на теплоходе Воля пишет 11.VII: "Пишу Тебе с острова Кижи в состоянии экстаза". И далее, вечером: "Вот и кончился кижский день. Сейчас вечер, ночью поедем дальше. Собственно передать то, что я видел, — невозможно. Для меня это не "архитектурный ансамбль", а выражение самой сущности России, той сущности, которая когда-то привела меня к ней. Это выросло из земли. Это — от земли. Город не мог бы создать такого. Полная гармония и совершенство форм, созданных совершенно бессознательно, без чертежей, расчетов и планов — гениальность в каждом углу, в каждом бревне. Именно так".

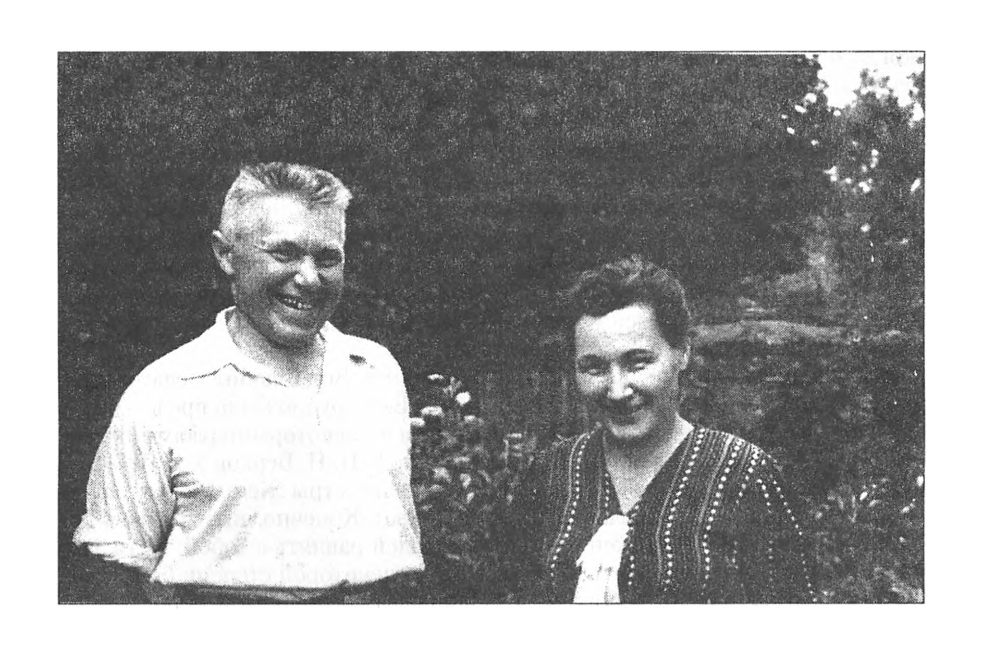
Нельзя не привести выдержки из письма от 29.VI.63: "<...> Я побывал в Загорске. Не могу Тебе сказать, какое это произвело на меня впечатление. Я уже давно начал переживать архитектуру. А русская средневековая архитектура есть необычайное чудо по талантливости и проникновенности. Никакие картины (Юон) и никакие фотографии не передают этого чуда. Здесь все в красках». А через три года, в письме от 10.IV.66, есть такие строки: "Я живу надеждами. В начале мая уеду в Москву. Там у Элички* сперва отосплюсь, потом начну хождения: Кремль, Успенский собор, Архангельский собор (в нем музей), Третьяковка, музей Рублева, Загорск, Абрамцево, Владимир, Суздаль. Влекут меня чем-то старые города; их архитектурные формы вызывают во мне радость и счастье, похожие на влюбленность".

---

[1] Мнение В. С. Шабунина об отсутствии у В. Я. Проппа интереса к поэзии абсолютно ошибочно. Причина, видимо, в разнице вкусов близких друзей. В дневнике Владимира Яковлевича есть следующая запись: «Я "высокомерен" по отношению к писателям, в буквальном смысле этого слова меряю на высокую мерку. Это выдерживают самые великие писатели, и только их и стоит читать. Их сотни, а всех остальных десятки тысяч». Всю свою жизнь он вновь и вновь перечитывал стихи Пушкина, Гете, Лермонтова, Тютчева, прозу Гоголя, Чехова, Толстого, Диккенса, и это, по его словам, доставляло ему «чувство острого счастья».

Не знал В. С. Шабунин, видимо, о том, что В. Я. Пропп и сам писал стихи на немецком языке.

* Младшей дочери.



В. С. Шабунин и Е. И. Шабунина, друзья В. Я. Проппа. 1960-е гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 475)

Вдумываясь в только что написанное, всматриваясь в содержание Волиной жизни периода нашей переписки, невольно испытываешь недоумение, чувствуешь какое-то внутреннее противоречие. С одной стороны видишь, как глубока у Воли тяга ко всему прекрасному, жажда близости к природе, потребность в музыке и других видах искусства, даривших ему радость и счастье. С другой стороны бросается в глаза и глубоко волнует его напряженный труд в Университете, доводящий временами до изнеможения, головных болей, до такого состояния, когда хочется только лежать, когда экзаменационная нагрузка начинает уже рассматриваться как каторга. И это у человека, которому под 70, у которого за плечами инфаркт сердца, который сознает себя “полуинвалидом” и часто испытывает значительные расстройства самочувствия!

Невольно возникает вопрос: почему Воля, трезво оценивавший свое состояние, медлил с практическим выводом из этой оценки, не оставлял работы в Университете? Почему он не решался выйти на пенсию и полностью отдаться творческой исследовательской работе? Ведь это освободило бы его от опасных перегрузок по службе, открыло бы возможность полнее отдыхать и больше времени уделять искусству и литературе!

На этот вопрос в двух словах не ответишь.

Прежде всего, конечно, имело значение, что Воля любил педагогическую работу, которой занимался всю жизнь. Ему трудно было представить себя вне работы кафедры, с которой он сжился и с некоторыми работниками которой был близок (проф. И. П. Еремин[1], проф. П. Н. Берков[2]). В 1957 году, в связи с вопросом о выходе на пенсию моей сестры Жени[3], Воля писал мне 5-го ноября: “Ты передай ей от меня привет. Конечно, ей лучше выйти на пенсию, но Ты не должен ее и других людей равнять с собой. Хотя Ты свою работу* любил и знал, но она все же до некоторой степени была для Тебя тормозом, задерживающим заглушенные способности и таланты. Но я знаю случай, когда, например, артист Филармонии, перешедший на пенсию в 72 года и переставший играть в любимом оркестре, смертельно, ужасно затосковал. Такой же случай с одним университетским преподавателем, который никакой исследовательской работы не вел, но был артистом педагогического дела, боготворим студентами. Ушедши на пенсию, не находит себе места, приходит в университет просто так, потому что чувствует себя выбитым из жизни. Со мной такого не будет: я всегда найду себе исследовательскую работу, а также развлечение вроде театров, концертов и музеев, чего я сейчас почти полностью лишен. Но я не могу этого сделать по материальным соображениям: надо еще поднять сына. Да и же-

---

[1] Еремин — Игорь Петрович Еремин (1904–1963) — литературовед, профессор ЛГУ, заведующий кафедрой русской литературы.

[2] Берков — Павел Наумович Берков (1896–1969) — литературовед, чл.-корр. АН СССР (с 1960). Профессор ЛГУ, ст. научный сотрудник ИРЛИ.

[3] Евгения Сергеевна Шабунина (1900–1989) — сестра Виктора Сергеевича.

* В Научном отделе Военно-медицинской академии.

лания у меня пока еще нет. Лекции читать я тоже очень люблю, и пока еще у меня это выходит".

Здесь ясно звучит наряду с мотивом любви к своей работе уже другой, материальный мотив, побуждавший Волю продолжать работу в должности профессора. Мне лично этот мотив никак не импонировал, я возражал Воле, но, видно, наши взгляды на размеры бюджета семьи, при котором сын (уже студент, уже 20 лет!) может быть "поднят", т. е. поставлен на ноги, были слишком различны; видно, Воля слишком привык к своей профессорской ставке и считал, что переход с нее на пенсию будет крайне чувствителен для его семьи.

Но прошло несколько лет, Миша окончил вуз и получил работу, т. е. твердо стал на собственные ноги, окончила вуз и его жена Луиза и тоже имела самостоятельный заработок, а Воля все продолжал работать на своей профессорской должности при прежних нагрузках.

Теперь им выдвигается совсем новый момент против выхода на пенсию, — очень своеобразный и для меня неожиданный, — момент этического характера! В письме от 29.VI.63 он говорит: "...Лучше бы мне на пенсию. Но пока работает жена, для меня это исключается. Она будет работать, биться как рыба об лед со службой, диссертацией, внуком и хозяйством, а я буду ходить по музеям и концертам? Ни морально, ни нервно, ни физически для меня это невозможно. Я уйду только с ней вместе".

В 1965 г., когда Воле исполнилось 70 лет, он решается, наконец — при активной поддержке Елизаветы Яковлевны[1] — на уменьшение объема служебной работы, но все же остается на кафедре. Однако желаемого благополучия эта разгрузка Воле не приносит. Он продолжает терзаться морально тем положением, в котором оказалась Елизавета Яковлевна: Миша и Луиза работают далеко от Ленинграда, а их сын Андрюша (рождения 1958 г.) воспитывается у дедушки с бабушкой и в летнее время находится целиком на попечении Елизаветы Яковлевны. Разумеется, Воля ей помогал, и бывали часы, когда Андрюша по "семейному расписанию" передавался на попечение дедушки. Эти часы оказывались подчас для Воли нелегкими. 3.VIII.65 он пишет: "Картина такая: я с Андрюшей в комнате, надо с ним играть в домино, дурачка, лото. Он может играть часами. Я не могу. Сейчас он пишет какие-то цифры и составляет расписание автобусов. Потом автобус с шумом и завыванием мотора отправляется, стол трясется, в ушах вой — но запрещать нельзя. Обеда я сегодня не готовлю, т. к. он сделан вчера на два дня. Жду города, чтобы отдохнуть от дачи".

15.VII.66 Воля пишет: "Я чувствую себя неважно, иногда очень плохо, и не столько физически, сколько нервно и морально. Я болею за Елизавету Яковлевну. Она по рукам и ногам связана с Андрюшей, он весь день с ней одной, с ней играет, живет, ест, спит, а ей надо писать, и ничего не получает-

---

[1] Елизавета Яковлевна — Елизавета Яковлевна Антипова (1905–1979) —вторая жена Владимира Яковлевича, преподаватель английского языка в ЛГУ.

ся. Я помогаю ей в хозяйстве. Два дня готовит она — я занимаюсь, два дня наоборот, но это не выход". Еще через год он пишет (11.VII.67): "В моем новом положении* меня страшит только то, что я буду свободен, а жена будет бегать по занятиям и работать по дому и воспитанию Андрюши до полного изнеможения. Но я физически уже не могу преподавать, как делал раньше. Я оставляю за собой только спец. курс (гратис**). Впрочем, Ты прав, работы будет хватать. Мне заказана статья для италианского сборника советских авторов (этот сборник выйдет одновременно на французском языке), и кроме того, Москва собирается переиздать (после Италии и США, которые это уже сделали) "Морфологию сказки". Но мне хочется еще и просто отдыхать и гулять и ходить по музеям и концертам и театрам. Вся сложность в том, что жена не сможет, а я пока без нее никуда не ходил и впредь вряд ли захочу".

Я понимал своеобразие создавшегося в их семье положения, но никак не мог примириться с тем, что Воля в свои уже очень немолодые годы, на склоне полной трудов жизни лишен возможности осуществить так долго лелеенную мечту — повидать Суздаль, Владимир, Ростов Великий, глубже отдаться искусству, наконец, просто больше отдыхать. И должен признать, что мое письмо от 20.VII.67 звучит местами резко. Очень меня огорчало, в частности, то, что из года в год откладывался приезд Воли летом ко мне в Тарусу, где, как я был уверен, он испытал бы немало минут настоящего счастья...

Но, видно, Воля был значительно более альтруистичен, лучше меня умел мириться с тем, что ряду его желаний не суждено исполниться. Характерна фраза его письма от 11.VII.67: "Впрочем, в жизни столько всякого хорошего, что бояться пока нечего".

В этой фразе звучит Волин оптимизм. Воля умел видеть хорошее в жизни, и эту его черту можно ясно уловить во многих местах его писем. Уже в первом своем письме ко мне после многолетней разлуки, письме, в котором он говорит лишь о самом существенном, он признается: "Я все так же люблю жизнь <...>. В жизни я, вообще говоря, был счастлив <...>. У меня трое детей, которых я нежно люблю". 1 мая 1954 г. он заканчивает свое письмо словами: "Мне исполнилось 59 лет. Да! Жизнь идет. А все-таки было хорошо пожить, и сейчас еще неплохо".

Весной 1966 г. в их квартире шел ремонт. 3 апреля Воля пишет мне: "Я разрыл всякие хранилища с древними фотографиями, предавался воспоминаниям. Жизнь прошла, что и говорить. Я прожил хорошо, у меня было счастливое детство <...>. Сейчас я благодарен жизни за все, что она мне еще дает". Еще через год с лишним, когда Воле исполнилось 72 года, в его письме от 15.VIII.67 звучит то же настроение, та же философская умиротворенность: "Чувствую себя не совсем хорошо, — не знаю, поправлюсь

* В более свободном положении профессора-консультанта.

** Т. е. бесплатно.

ли вообще. Впрочем, это меня не волнует. Я благодарен судьбе за все, что мне еще дано: за небо, за лес, за детей, за то, что еще живу, дышу и могу любить многих людей".

Это был оптимизм человека богатой внутренней жизни, необычайно скромного в личных потребностях и черпавшего свои радости в творческом труде, в единении с природой, в искусстве, в отдающей себя любви к своим близким.

Не будь в мироощущении Воли этого оптимизма, мы, конечно, не видели бы у него той склонности к мягкому юмору, который оживлял порой и его разговор, и его письма. 4.IX.59, когда мы проводили лето на Украине, в Остре, на берегу чистой и теплой Десны, где Евдокия Ивановна с Татусей много купались, Воля пишет: "Привет большим и маленьким водоплавающим дамам". Когда выяснилось, что ему может быть предоставлена квартира совсем близко от нашего дома, он начинает 18.V.60 письмо шутливым восклицанием: "Соседушка, мой свет, здравствуй!" А переехав на эту квартиру и описывая 21.VII.60 ее достоинства, он заявляет: "Воздух чистый, в комнате даже появились комары, — для чего же мне ездить на дачу?" В письме от 13.VII.68 из Репино он говорит: "...Я ничего не делаю (в смысле умственном). Ничего не делать — это великое и благородное искусство, которое я, наконец, хорошо постиг". И дальше в том же письме: "Гуляя, вспоминаю, что в детстве у нас была книга нот, где имелась серия пьес под названием "Promenades d'un Solitaire" (по-русски: прогулки солитера)". На этот шутливый перевод французского слова Solitaire (т. е. одинокого) русским словом "солитера" (т. е. плоской глисты) нельзя не улыбнуться.

Бывало, он в шутку говорил о выпивках применительно к себе, так что человек, мало его знавший, мог бы подумать, что Воля имел пристрастие к употреблению спиртного. На самом же деле, хотя Воля и любил вкус хорошего вина и хорошей водки, но в отношении количества этих напитков проявлял строжайшую выдержку. Он позволял себе в гостях две рюмки водки за вечер, а дома иногда увеличивал дозу до трех рюмок. И дальше любые уговоры были бесполезны: в этом вопросе, как и в других, Воля проявлял твердость: раз решение принято, оно им не изменялось.

Но проявления непритязательного юмора были у Воли именно лишь моментами. Его ни в коем случае нельзя было назвать любителем шуток. Наоборот, для него была характерна глубокая серьезность. Именно на фоне этой серьезности так выделялись и запоминались отдельные проблески его мягкого юмора. К любому явлению жизни, к любым человеческим отношениям, к любой работе Воля подходил крайне серьезно и ответственно. Эта серьезность была у него связана с углубленностью в себя и даже с некоторой замкнутостью. А качества эти не способствуют общительности! В письме от 29.X.57, рассказывая о своем впечатлении от чтения мемуаров немецкого художника Людвига Рихтера, Воля пишет: "Читая, понял, как мы все (т. е. во всяком случае я) одиноки. У нас нет привычки после работы ходить друг к другу, общаться. У нас только работа, а после нее изнеможе-

ние". 31.VII.64 он пишет: "Я рад за Тебя, что у Тебя такой интересный и широкий круг знакомств* <...>. А я, как всегда, один, как перст, если не считать семьи". Наконец, в письме от 8.VII.68 он говорит: "Мы с Тобой разные: Ты общителен, а я замкнут, но именно потому мы друг к другу подходим".

Таковы некоторые его высказывания в письмах. И в наших разговорах он нередко возвращался к этой своей беде и с грустью признавался: "А я ведь совершенно одинок". Правда, у него были отношения взаимного интереса и симпатии с профессорами П. Н. Берковым и особенно с И. П. Ереминым. С последним они иногда встречались и вне кафедры. Но, очевидно, Воле этого было мало. Хотелось не редких, случайных встреч, а регулярного, достаточно частого общения, встреч и бесед в домашней обстановке. А такие встречи и беседы он имел в этот период только со мной. Поэтому у него не раз вырывались слова: "Какое счастье, что мы снова нашли друг друга!"

В цитированном несколькими строками выше письме от 31.VII.64 Воля отмечает значение для него семьи, как спасения от одиночества. Но и семья с разнородными интересами и потребностями ее членов не всегда могла обеспечить Воле ту духовную атмосферу и те бытовые условия, которые ему были необходимы. В этом отношении очень важно следующее место письма от 25.VII.61: "Мне очень дорого, что мои успехи Тебя радуют. Сам я к ним довольно равнодушен и отдал бы их за обыкновенное спокойное семейное счастье. Нас шестеро очень разных людей, и покоя дома я не имею... Я могу, правда, замкнуться в своей комнате, но счастье не в книгах".

"Счастье не в книгах!"... И это пишет человек, пожалуй, наиболее "книжный" из всех, кого я знал! Между тем книги играли в его жизни выдающуюся роль: как книги научные по его специальности, без которых он, естественно, не мог бы вести плодотворной исследовательской работы, так и книги беллетристические, русские и иностранные, неизменные спутники на протяжении всей жизни.

Если с живыми людьми Воля сближался с большим разбором, только с теми, кто отвечал его индивидуальности, то нечто подобное отмечалось и в отборе им книг для чтения. Его литературный вкус в зрелые годы был строг, взыскателен и, несомненно, очень субъективен. В его письмах последних лет содержится немало высказываний о различных писателях и их творчестве.

3.VIII.65: "Ты читаешь Гюго, а я Диккенса (Оливер Твист, Повесть о двух городах). Беспрерывно восхищаюсь. Боже, как хорошо и сильно! Старику Диккенсу можно кое-что простить (наивность, сентиментальность), иначе мы не поймем его силы. Англия и Франция перед революцией изображены и описаны превосходно. Взятие Бастилии просто видишь".

В письме от 31.VII.67 привлекают внимание строки: "Читал я прозу Лермонтова. Я ранние вещи плохо знаю. "Вадим" произвел на меня огром-

* В Тарусе.

ное впечатление <...> Какая чистота и глубина чувств, какие великолепные строки и страницы, при всей наивности и неправдоподобии замысла! Слабая вещь Лермонтова в тысячу раз значительнее всех современных отделанных и зализанных вещей наших идейных прозаиков, книги которых валятся у меня из рук".

8.VII.68 он пишет: "Сейчас я занимаюсь древнерусским искусством, читаю книги по иконописи и архитектуре, — когда приедешь, я их Тебе покажу. Есть просто потрясающие по художественному совершенству вещи. Этим я интересовался еще студентом 1-го курса, и вот только теперь дошли руки и нашлось время впитывать все это в себя. Этим я и живу. Ничего нового в области беллетристики не читаю — не принимает душа. Зато перечитывал Золя, теперь с восхищением перечитываю Диккенса. Пробовал читать Паустовского: он описывает пушкинские места, но до того фальшиво и сусально, что я бросил с третьей страницы".

Это уничтожающее суждение о прозе Паустовского — одного из любимейших моих писателей — показалось мне просто поразительным и заставило лишний раз задуматься над тем, насколько разными могут быть литературные вкусы у людей, принадлежащих, в общем, к одному кругу, развивавшихся в сходных социально-культурных условиях.

Я перечитываю написанное и убеждаюсь, как мало удалось мне сказать о Воле. Пытался говорить об основном, наиболее существенном, но яркого, живого образа нарисовать не удалось. Получился лишь своего рода перечень отдельных черт его характера. Причем перечень далеко не полный. Например, не подчеркнута должным образом удивительная его скромность, соединенная с большим вниманием к собеседнику. Он держался так, словно и не был вовсе ученым с мировым именем, с десятками лет углубленных научных исследований, а был самым простым, рядовым человеком; и собеседник неизменно чувствовал с его стороны благожелательный интерес к себе и безусловное уважение. Эта Волина скромность и заботливая предупредительность к другим были ему органически присущи и являлись лучшим свидетельством высоты его духовной культуры, придававшей ему неотразимую обаятельность.

И ряд других черт многосторонней личности Воли не раскрыт, не показан, не назван...

Впрочем, предшествующим страницам я придаю весьма ограниченное значение. Я их рассматриваю лишь как мое субъективное введение к чтению писем, которые для характеристики Воли дают бесконечно более богатый материал и потому представляют несравненно бóльшую ценность.

Запись в моем дневнике от 5.XII.53 (местами сокращена).

Был у меня в годы юности друг — Воля Пропп. Не могу припомнить, кто нас познакомил и когда именно. Думаю, что это было году в 1916-м. Он был скромный молодой человек тремя годами старше меня. Все силы его, все интересы были обращены к жизни внутренней — умственной, духовной. Мы с ним быстро сошлись, стали встречаться, вместе читали сочинения философского характера, обсуждали их.

Он очень серьезно относился к вопросам этики, к жизненному долгу человека. Пробовал писать и на русском языке, и на немецком, который был ему более близок (в частности, хотел писать повесть “Der arme Johannes”)[1]. Бывал у нас в Лесном, и мы бывали у него. Помню, что он у нас в Лесном читал в узком кругу “Двенадцать” Блока, и мы спорили о том, каково же отношение Блока к революции...

Это была содержательная дружба. Затем жизнь нас развела на долгие годы.

Вернувшись осенью 1946 г. из Германии (по окончании войны), я как-то случайно напал на одну научную работу Воли — о русских сказках. Я прочел эту вещь с большим удовольствием, наслаждаясь чудесным, каким-то “мягким” языком и глубоким проникновением в тему исследования.

Однако тогда я сразу не предпринял шагов к розыскам Воли: моя жизнь была слишком неустановившейся, я слишком остро болел своим уходом от семьи...

Затем жизнь понемногу наладилась. Ко мне приехала из Риги Евдокиюшка* и тоже стала работать в Академии: я — в Научном отделе, она — в баролаборатории. Я получил две комнаты в новом доме Академии, мы оформили свой брак. Здоровье Евдокиюшки улучшилось.

Думаю, что именно в связи со всем этим во мне как-то сама собою проснулась память о Воле. Я узнал через адресный стол его домашний адрес и написал ему. Он откликнулся немедленно — сердечным, родным письмом.

Так началась наша переписка.

Она обнимает период с начала декабря 1953 г., когда мы с Волей вновь “нашли” друг друга после долгой разлуки, по август 1970 г., когда Волюшка умер.

Она далеко не полна. Волины письма сохранились лучше. Они-то и составляют основной материал последующих страниц. Моих же писем уцелела лишь небольшая часть: от целого девятилетия с февраля 1954 г. по январь 1963 г., а также за весь 1965 г. не сохранилось ни одного письма.

Текст писем оставлен неприкосновенным, без какого бы то ни было редактирования. Произведены лишь отдельные купюры, не затрагивающие характера писем. Приведены некоторые мои дневниковые записи и отдельные пояснения».

В. С. Шабунин

---

[1] «Бедный Иоанн» (*нем.*). — Повесть, видимо, не была написана. В фонде В. Я. Проппа хранятся стихи (на нем. яз.) и повесть «Древо жизни» (на русск. яз.), которая открывает настоящее издание.

* Моя жена Евдокия Ивановна.



На ул. Смирнова № 8, кв. 13
Ленинград, 2 дек. 1953.

Дорогой мой!

Не могу Тебе сказать, как Ты меня обрадовал! Сколько раз, проезжая мимо Академии, я вспоминал то общежитие, с окнами на Нижегородскую, где я у Тебя бывал. Я помню и дом ваш*, и бабушку, которую так берегли, и папу, который учил меня глубинной посадке картофеля и сам делал сахарин. Я помню Твою чудесную маму, и как она пошла в учительницы, и как любила детей, и Женю (т. е. Евгению Сергеевну) очень хорошо помню. Вы были похожи друг на друга, оба румяные и немного круглолицые. В вашем доме мне нравилось все, решительно все: и просторные комнаты, где мало вещей, и окна в сад, и крыльцо. Я помню даже плов из баранины и риса — несмотря на голод, гостеприимство было русское. В Твоей комнатушке Ты мне показывал Эккартсгаузена[1]. Теперь мы уже ни во что не верим, но тогда верилось в многое, и вспоминаю я это время как далекое детство.

Да, мы и переменились, и нет. Я все так же люблю жизнь, но не люблю тех отвлеченностей, которым мы тогда предавались. Я стал любить все обыкновенное, самое обыкновенное и простое.

Последнее, что я помню о Тебе, это письмо из Новозыбкова**. Верно? С тех пор ничего, и вдруг такая радость!

Про себя могу сказать, что в жизни я, вообще говоря, был счастлив. Я тоже женат вторично, у меня трое детей, которых я нежно люблю. Старшей дочери уже 29 лет, а мне 58. У меня был инфаркт, сердце надорвано, и я полуинвалид, но духом и умом пока бодр.

Но не стоит говорить о себе. Лучше нам повидаться и все друг о друге рассказать. У меня сейчас больна жена, и потому мне лучше приехать к Тебе, если это можно. В субботу вечером я буду занят, а в воскресенье я свободен. Я приехал бы к Тебе часов в 5, часика на два. Если не можешь — черкни. Звонить в Университет бесполезно, т. к. телефон внизу, а я работаю наверху, и никто не пойдет меня звать. Если это Тебе неудобно, я буду ждать Тебя у себя в субботу днем или в воскресенье утром.

Твой Воля.
Ленинград 40, ул. Марата 20, кв. 37.

---

* В Лесном.

[1] Эккартсгаузен (1753–1803) — немецкий писатель, автор многочисленных юридических, беллетристических, алхимических и мистических сочинений.

** Я был в Новозыбкове в 1918 г. в составе 5-го Экспедиционного санитарного отряда Красной Армии.

Из дневника

*5.XII. 1953. На следующий день Воля действительно был у меня — невысокий, крепко постаревший и ссутулившийся, в очках, которые дужкой оправы давят ему на нос и затрудняют отток крови, но все такой же милый, с интенсивной внутренней жизнью, со спокойным, глубоким взглядом своих ясных карих глаз, с глубокой дружественностью своего отношения ко мне... Он пробыл у нас около двух часов, поужинал с нами... а затем вскоре письмом (от 15.XII.53) позвал нас к себе**.

Ленинград, 15.XII.53.

Дорогой Витя!

Мне очень хочется повидать Тебя и Евдокию Ивановну. На неделе это никак не выйдет, т. к. перед экзаменами я занят сверх меры каждый день. Но в воскресенье я свободен, и если Ты вечером, вокруг семи, сможешь побывать у нас вместе с женой, мы будем очень рады. Моя жена, Елизавета Яковлевна, также ждет вас. Если можете быть — никаких писем не надо. Если заняты и не можете — черкни строчки две.

Любящий Тебя
Воля.

Мой адрес: улица Марата 20, кв. 37. Дом — против Колокольной. Если ехать трамваем № 9 (22, 28, 34), сходить у Кузнечного. Если автобусом — у Владимирского собора и подняться по Колокольной. Второй двор, налево, первый этаж. Трущобным видом двора не смущайся.

Из дневника

*В намеченный день Евдокиюшка не могла быть, и я ездил к Воле на улицу Марата один. В беседе с ним я узнал, что им закончен большой труд, над которым он работал последние 10 лет, — о русском героическом эпосе***.* *Труд этот должен быть издан Университетом.*

Из этого посещения я вынес хорошее чувство, вызванное соприкосновением с чистой и глубокой личностью.

27.XII.53.

Дорогой Витя!

Ты меня глубоко тронул тем, что как друг и как врач понял мое депрессивное состояние в связи с предстоящим обсуждением моей книги. Могу Тебе теперь сообщить, что она прошла более чем благополучно. Постанов-

* Для более четкого зрительного восприятия письма В. С. Шабунина и дневниковые записи выделены *курсивом*.

** Монография «Русский героический эпос» вышла в свет в 1955 г.

лено книгу включить в план издательства 1954 года, назначен ответственный редактор, установлены сроки. Критических замечаний почти не было, а те, какие были, были дельные. Самое тяжелое для меня всегда — это непонимающая глупость с повадками безапелляционной авторитетности. У меня это всегда вызывает сжатие мысли и сосудов и полную неспособность реагировать. Этого не было совсем, а было глубокое, настоящее понимание и полное признание. Депрессия начинает проходить.

До 23-го января я сплошь экзаменую. Знаю, что и Ты в это время занят. После 23-го я зайду к Тебе совсем запросто, если позволишь — с аппаратом, т. к. у меня чешутся руки снять Тебя в Твоих комнатах, снять Евдокию Ивановну, увековечить Твои пейзажи.

Твой Воля.

2 февраля 1954 г.

Дорогой друг мой, Волюшка!

Сегодня получил Твое письмо, придя домой среди дня с работы. Как отрадно, что мы снова общаемся друг с другом!

А я прихворнул и теперь несколько дней буду дома. Уже недели две чувствовал себя неважно, но изо всех сил старался дотянуть до окончания отчета за 1953 год. Остался какой-нибудь день, да и то неполный, а я все же не выдержал и среди дня должен был сегодня уйти домой. Ну, все по существу уже сделано.

С великой радостью буду Тебя ждать к себе! Вот если Ты смог бы прийти в пятницу 5-го февраля часов в 8 вечера, — это было бы очень хорошо!

Я буду один, т. к. Евдокия Ивановна вечером будет на занятиях. Мы с Тобою побеседуем о многом. Если Тебе почему-либо будет неудобно в пятницу, — приходи вечерком в субботу или в воскресенье.

Крепко жму Твою руку!

Привет домашним, которые мне очень понравились.

Твой Виктор.

Если сможешь, привези мне на память свою фотокарточку.

17.III.54.

Дорогой Витя!

Мне очень хочется Тебя повидать. Я теперь совсем свободен, переделку книги кончил полностью. Если можешь, приходи к нам с Евдокией Ивановной в воскресенье вечером. Мы были бы очень рады.

Я скучаю о Тебе. Как Твое здоровье? Мое, как только я перестал работать, сразу дало скачок вверх.

С нетерпением буду ждать Твоего письма.

Твой Воля.

1 мая 1954 г.

Дорогой мой Витя! Из того, что я Тебе пишу 1 мая, Ты можешь заключить, что раньше писать не мог, а теперь наступил праздник, и я решил все отложить, кроме радостей жизни. Было много возни с книгой, но теперь я уже снес рукопись в издательство; читал диссертации, дипломные и курсовые работы, писал срочные рецензии на огромные рукописи. И сейчас еще лежат две диссертации, но они не так срочны. Я волен и не читать, не работать, т. к. никто меня не неволит; служебного времени нет, но это еще хуже: создается психическая нагрузка, сознание бремени, которое лежит на мне почти всегда. Но сейчас я вырвался <...>. Я свободен от всяких служб и дел в четверг 6 мая. Если этот день Тебе удобен, я буду Тебя ждать примерно в 7.30. Жена тоже будет дома. Ты расскажешь мне про свадьбу Твоего сына[1]. На днях мне исполнилось 59 лет. Да! Жизнь идет. А все-таки было хорошо пожить, и сейчас еще неплохо.

Жду Тебя, мой друг, тогда наговоримся.

Твой Воля.

21 июня 1954 г.
(Разлив)

Дорогой Витя!

Наши с Тобой мысли опять встретились. Я все время чувствую разлуку с Тобой и часто о Тебе вспоминал. У меня тоже много событий: сын кончил школу, у дочери родилась дочка*, на книгу подписан договор, и о ее будущем выходе пропечатали в нашей университетской газете. Только вот экзаменую я до одурения почти каждый день часов до 5–7 вечера. В перерывы езжу на дачу. Сейчас пишу Тебе с дачи. Встретиться здесь до 1.VII — чистая утопия. Меня очень устраивает Твой проект увидеться в первых числах июля. Отпуск у меня с 1-го, 2-го получу зарплату, а потом я вольная птица на 2 месяца.

Пока я намечаю быть у Тебя с фотоаппаратом 30.VI вечером или 1-го вечером. Можно и 2-го. Пока еще точно не могу сказать, как все сложится. Можно и 7-го, когда начнется отпуск у Тебя. Одним словом — скоро увидимся.

Передай мой сердечный привет Евдокии Ивановне. Я жажду видеть ее снимки. Скажи ей, что я хотя и экзаменатор, но глубоко сочувствую бедным экзаменуемым (точнее — истязаемым)**. Студенты меня одобряют,

---

[1] Свадьба Андрея Викторовича Шабунина (р. 1924) — сына В. С. Шабунина от первого брака.

* Дочь Мусеньки Танечка.

** Е<вдокия> И<вановна> в то время училась на вечернем отделении Педагогического института им. Покровского.

а администрация косится за либерализм. Но я знаю, что делаю, когда ставлю 5, 4, 3 и 2.

До скорого свидания!

Твой друг

В. Пропп.

Разлив, 24.VII.54.

Дорогой мой Витя!

Мне очень любопытно было получить Твое письмо. Жаль, что Ты не увидишь красот Зегевольда и Вольмара. Впрочем, может быть это для Тебя и не прошло. По Твоему письму я очень хорошо представляю себе, как Ты живешь. В будущем году я, вероятно, буду жить в том же роде. Эстонцев я вообще люблю. <...>

Я проявил и напечатал Твой (т. е. мой) портрет, но вышло плохо, не посылаю*.

Сын мой нагнал на меня большую тревогу. На мед. осмотре обнаружили повышенное давление и повышенную температуру. Теперь он выздоровел, но осталась большая слабость, а надо учиться. Какое мученье для наших детей эти беспрерывные экзамены. Ни один из преподавателей, дальше своего предмета ничего не знающих, не выдержал бы того, что требуют от наших детей. Я знаю, что вопрос об этом уже ставится в «сферах», но пока он найдет свое разрешение, наши дети калечатся. Один из его товарищей, тоже поступавших на химический факультет, на днях ночью скоропостижно умер. Я сына оберегаю, как могу.

Желаю Тебе хорошо отдохнуть! Елизавета Яковлевна жаждет увидеть мой портрет.

Твой Воля.

20 сент. 1954 г.

Дорогой мой Витя!

Как хорошо, что Ты мне написал! Когда Ты от меня ушел, я вдруг как-то испугался за Тебя. Пока мы оживленно беседовали, я не так замечал Твоей одышки, а когда Ты ушел, меня вдруг будто чем-то стукнуло: Твоя одышка мне сильно не понравилась, и я пожалел, что так отпустил Тебя, надо было дать Тебе сына в провожатые. Я думал, что Тебе станет хуже от вылазки ко мне с тяжелым пакетом**. Теперь оказывается, что все в порядке, что Ты уже на работе, по письму видно, что Ты вполне бодр. У меня камень с души. Я хотел Тебе писать или заехать к Тебе, но Ты меня опередил.

---

* Летом 1954 г. я раза три ездил в Разлив к Воле на дачу и написал маслом его погрудный портрет, который для себя называл «Портрет друга».

** Я приносил показывать свои летние этюды, таллинские.

Мы с Елизаветой Яковлевной говорили о Тебе. Она Тебя понимает и одобряет. Твоя живопись ей нравится без всяких «но». Наши вкусы с ней сошлись. Лучшими она считает портрет Тонкова, Смольный с Невой и серебристый тополь. Кстати: проезжая на автобусе мимо Дома офицера, я прочел, что там открывается выставка художественной самодеятельности военных. Прием до 1 октября. Может быть Ты захочешь выставиться? Помоему, стоит и следует. <...>

Как только надумаешь прийти к нам — черкни открыточку. Ты у нас, как свой <...>.

Твой Воля.

20.X.54.

Дорогой друг, Ты не будь на меня в обиде, что я так долго Тебе не отвечал. Никак было не собраться. У меня на столе и рояле несколько тысяч страниц, которые надо отредактировать, отрецензировать, проверить и т. д. Это какой-то кошмар, от которого я не сплю. У меня уже делается почти хроническая мигрень.

Как я реагирую на Твое решение?* Вот как: я Тебя от всей души поздравляю. Поздравляю Тебя с тем, что хоть под старость Ты будешь свободен, волен, можешь жить творчески. И если раньше еще могли быть сомнения, хорошо ли Тебе будет, не имея прямых обязанностей, то теперь, когда Твое здоровье очень пошатнулось, не может быть уже никаких сомнений, и можно только порадоваться за Тебя, что Ты имеешь возможность поступить так, как Ты поступил.

Вернулась из Халлила наша племянница. Она познакомилась там с Евдокией Ивановной, говорит, что она чувствует себя хорошо. Весела и жизнерадостна.

Где Ты сейчас? Я очень, очень соскучился о Тебе, мечтаю Тебя повидать. Хочу к Тебе, буду ждать Твоего сигнала.

Когда Ты уйдешь в отставку, мы будем видеться чаще, запросто. Что у Тебя нашли? Как только Ты выйдешь на свободу, Ты от одного только удовольствия вольно дышать сразу выздоровеешь.

Целую Тебя крепко.

Твой Воля.

18 (?).XII.54.

Дорогой мой Витя!

Пишу Тебе это, лежа в постели. Я таки свалился, не выдержал до конца. Сперва было худо с сердцем, продержали дома неделю, теперь с кишечником. Говорят, что может быть дизентерия, а может быть и нет. Держат на карантине.

---

* Выйти в отставку.

Зато отдыхаю душой и вот могу спокойно написать Тебе письмо. Ты спрашиваешь, как нам у вас понравилось*. Что до моей жены, то я ее ревную к моему vis-á-vis за столом**, которого имени я не помню, так как у Тебя было в достаточном количестве Цинандали, оно же Грузинское № 1, на которое я и налегал вместе с православной, минуя сладостно-ароматические вещества нашего Востока. Я ушел в прекрасном настроении, но имен уже не помню. Так вот она и пленилась и его рассказами о Ферсмане и автозаводе, а мне рекомендовала поинтересоваться его женой. Но я к ней остался совершенно равнодушен.

Об угощении и говорить нечего. Так я хотел бы ужинать каждый день! Поблагодари, пожалуйста, милейшую Евдокию Ивановну от моего имени и от имени Елизаветы Яковлевны за гостеприимство и теплоту. Увы! Сейчас меня держат на протертых кашках, и аппетитные салаты для меня теперь превратились в воспоминание о прошлом и мечту о будущем. Зато я познал сладость полного безделия и душевной беззаботности. С меня теперь ничего не возьмешь — никаких рецензий, отзывов и пр., и пр. Если тебе не пишется, не надо, не пиши, отдыхай. С нового года начнет светлеть, тогда и настроение будет другое.

До нового года я Тебе еще напишу.

Твой Воля.

31.XII.1954 г.

Дорогой мой Витя!

Последний раз я пишу: 1954. Поздравляю Тебя и Евдокию Ивановну с Новым Годом! Желаю Тебе только одного: чтобы Ты в этом году освободился и мог бы предаться своему любимому делу, к которому Тебя ведут и склонность, и талант. Успехи придут сами. Только бы здоровье не подкачало. Все, что Ты пишешь, мне было очень интересно. Отзыв художника, который видел Твои работы в Выборгском Д<оме> К<ультуры>, меня нисколько не удивляет. Важно то, что он профессионал и понимает дело с технической стороны, а мы, любители, судим только по впечатлениям. Твое стремление еще учиться, читать и совершенствоваться мне глубоко понятно: это знак горения, творческого движения вперед. Как я счастлив за Тебя, и как бы мне хотелось, чтобы Ты вынес удовлетворение! Темперамента у Тебя хватит.

Я, конечно, большая свинья, что так долго не отвечал Тебе. Но, помнится, в одной из наших бесед мы установили, что друг — это тот, на которого Ты никогда не сердишься. Так вот, Ты на меня не сердись! Внутренняя

---

* Воля был у нас с Елизаветой Яковлевной на дне моего рождения.

** Георгий Алексеевич Васильев, хирург, интересный человек и блестящий рассказчик. Встречался с академиком А. Е. Ферсманом на Кольском полуострове, когда работал в г. Кировске.

причина была в том, что я болел и всякая инициатива, даже самая маленькая, мне была трудна. А внешняя — я не знал до вчерашнего дня своего расписания на январь, а также расписания моей жены. Теперь я знаю. Мы будем ждать Тебя с Евдокией Ивановной в среду, 5-го января 1955 года (на этот раз проверено по календарю) этак часов в 8. Гостей не будет, только вы. С 6-го у меня начнется экзаменационная каторга. Итак: ждем! Я совсем выздоровел и по случаю того, что у меня будет 2–3 дня роздыха, и что надо мной ничего не висит, и что уже не надо так ужасно напрягаться, — я в прекрасном расположении духа. В таком расположении я буду до 5-го числа включительно и в таком расположении буду ждать вас.

Новый год будем встречать без елочки и без молодежи — они устраивают без нас. За них я рад, но без них скучновато.

Сердечный привет Евдокии Ивановне. Ждем!

Твой Воля.

20.I.55.

Дорогой мой Витя!

Письмо Твое я получил вовремя, но на выставку не пошел. Мне не только на выставку, но даже побриться некогда. Я получил корректуру своей книги*, причем всей сразу (555 страниц) с совершенно сумасшедшим графиком, невыполнение которого вызовет простой машины и соответствующие неустойки. Поэтому, когда я не экзаменую, я день и ночь правлю. Уже сделал половину, притом в срок. Кроме того, в начале февраля меня вынуждают выступить с докладом о 50-летии революции. А когда готовиться — об этом не говорят. Кроме того — ну, хватит и этого. Не предвижу, когда начнется передышка, вероятно, в начале февраля.

Коненкова я давно люблю и знаю. В Москве лет 35 тому назад я был в его мастерской, видел его стариков-лесовиков, вырезанных из деревянных колод. Не забыть вовек. У меня есть номер «Аполлона» со статьей о нем и с иллюстрациями. Когда приедешь ко мне, я покажу Тебе.

Я мечтал забежать к Тебе как-нибудь хоть на полчаса, но сейчас не выйдет. Экзамены кончатся в субботу, будет немножко легче, но тогда я засяду за доклад. Да, попал я в переделку! Но зато хоть интересно править книгу, делаешь вещь, которую можно взять руками!

Кланяюсь низко Евдокии Ивановне и желаю Вам обоим здоровья.

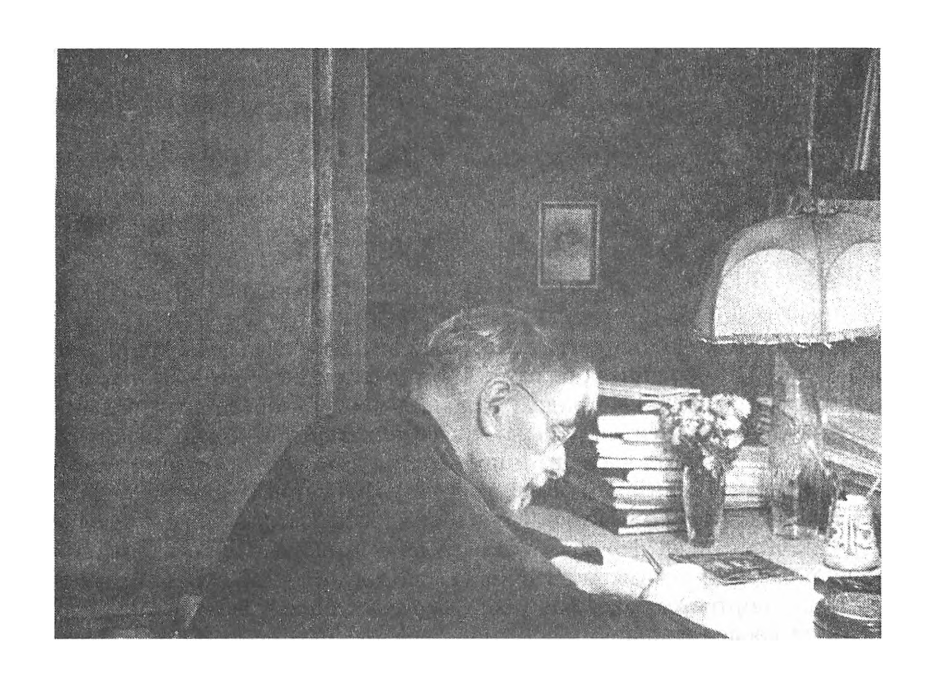
Твой Воля.

В тот день, когда я Тебя звал, приехала неожиданно сестра Альма[1], которая Тебя хорошо помнит и кланяется Тебе.

---

* «Русский героический эпос».

[1] Альма — Альма Яковлевна Пропп, в замужестве Штрем (1897–1975) — младшая сестра В. Я. Проппа.



В. Я. Пропп. 1955 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 270)

Репино, 14.II.55.

Дорогой мой Витя!

Не удивляйся! Я в Репино, в здравнице. До 12-го я был все так же занят. 12-го читал свой доклад, сдал последнюю корректуру своей книги, 13-го вечером думал к Тебе, но помешали — пришли, а с 14-го я совершенно свободен. Студенты на практике, и я месяц гуляю помимо отпуска. Сейчас я в здравнице, здесь солнце, снег, воздух, тишина <...> Буду здесь до 9-го марта.

Тебя от души поздравляю*, как бы хотел Тебя видеть! Видно, придется отложить до возвращенья. Теперь я могу постричься, сходить в баню, отдышаться и прийти в себя.

Пока пишу Тебе только это! Привет Тебе и Евдокии Ивановне. Я здесь уже сделал 50 снимков.

Для Тебя начинается новая жизнь, и я всей душой с Тобой. Талант всегда найдет себе дорогу — так и Ты.

Целую Тебя крепко.

Твой Воля.

Репино, 19 февр. 1955 г.

Дорогой мой Витя!

Как медленно подвигается дело Твоей отставки! Надеюсь, что в марте ты навсегда освободишься от служебного долга и перейдешь целиком на творческую работу. Твою идею создания портретной галереи недаром встретили аплодисментами! Но я хочу Тебе сказать вот что: по Твоему совету я с женой урвал часа два и побывал на выставке в Академии художеств. Там много пейзажей. Жена сказала: у Шабунина есть вещи лучше, а я сразу это подтвердил. Не оставляй искусства пейзажа, в них настроение, душа; портрет проф. Тонкова всегда будет портретом Тонкова, а пейзаж Шабунина будет пейзажем Шабунина, а не кого-нибудь. Ты и сам, наверное, после портретов захочешь к воде, березкам, болоту, небу. Одним словом, будь вроде Репина!

Здесь я отдыхаю всем телом, а душой меньше. Сын болен ангиной, и мне иногда кажется, что надо было бросить здравницу и ехать домой. Скучаю по дому. Обещала навещать дочка. Но мне и самому приходится наезжать в город, т. к. отпуска я не имею. Эти поездки меня очень утешают. Как только вырвусь, приду к Тебе. Здесь я ничего не делаю, кажется, первый раз в жизни.

Низко кланяюсь Евдокии Ивановне и желаю ей скорее полностью завладеть мужем, чтобы не ходил в Академию!

Твой друг Воля.

15.IV.55.

Дорогой мой Витя!

Я за Тебя в большой тревоге. Все ли у Тебя благополучно? Напиши мне, пожалуйста. В последний раз Ты дышал плохо. Я боюсь зайти к Тебе,

* С увольнением в отставку.

чтобы не прийти некстати. Напиши мне о своем состоянии. Можно ли заглянуть к Тебе запросто на полчасика? Если можешь, приходи ко мне, я соскучился об Тебе. Занят я бываю по средам вечером всегда, по четвергам и пятницам иногда. Одним словом, время и место нашего следующего свидания зависит от Тебя.

Держи свободным 1-е мая. В этот день мы будем ждать Тебя с Евдокией Ивановной. Мне исполнится 60 лет, а жене 50. Много? Теперь я более свободен, чем в I семестре, а Ты тем более. Хочется теперь видаться почаще.

Одним словом — с нетерпением жду Твоего письмеца.

Твой Воля.

(На конверте моя пометка: «Поехал к нему в тот же день»).

4 или 5 мая 1955 г.

Дорогой мой Витя!

Празднование моего юбилея состоится в пятницу (так!) шестого мая (так!) в семь часов вечера. Университетская набережная, 11, Филологический факультет, 3-й этаж, аудитория № 30, она же кабинет русской литературы. Я на Твоем чествовании не был, но для меня была бы большая радость, если бы Ты был на моем.

Я написал бы раньше, но не знал часа. Вывесили только вчера.

Твой Воля.

Из дневника

7.V.1955. Вчера в Лен. Гос. Университете, на филологическом факультете состоялось чествование Воли в связи с его 60-летием. Кабинет русской литературы (аудитория № 30) был полон, часть присутствующих даже стояла. Было до 12-ти выступлений, в том числе от Пушкинского Дома, от 1-го Института иностранных языков, от Инст. имени Герцена, много выступлений от Университета...

Была оглашена часть из добрых двух десятков поступивших телеграмм, в том числе телеграмма от Жирмунского[1], от Адриановой-Перетц[2], от Эйхенбаума[3] (товарища юности)...

В своем большом и умном ответном слове Воля говорил о том, чем был для него Университет. Вспомнил своих учителей, своих товарищей, часть

---

[1] Жирмунский — Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) — филолог, профессор ЛГУ, чл.-корр. АН СССР (с 1939), академик (с 1966).

[2] Адрианова-Перетц — Варвара Павловна Адрианова-Перетц (1888–1972) — историк литературы, чл.-корр. АН СССР (с 1943) и АН УССР (с 1926). В 1947–1954 гг. возглавляла сектор древнерусской литературы ИРЛИ.

[3] Эйхенбаум — Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) — литературовед, профессор ленинградских вузов.

которых стала видными учеными. Говорил, что в их кафедре работать легко и дышать легко. С теплотой говорил о том, насколько его поднимает общение со студентами и молодыми аспирантами. Сегодня я написал ему следующее письмо.

7 мая 1955 г.
Утро

Милый, дорогой мой Волюшка!

Пишу Тебе под свежим впечатлением вчерашнего Твоего чествования в связи с 60-летием.

Хорошее было чествование — теплое, простое, искреннее, лишенное всякой шумихи! Я сидел «в гуще» студенчества (а может быть, и молодых аспирантов) и мог в самой непосредственной близости наблюдать их отношение к Тебе — по выражениям лиц, по горячим, бурным аплодисментам. Справедливо говорили вчера, что Твой юбилей был праздником для собравшихся: я это испытал на самом себе в полной мере!

Но есть еще одна сторона во вчерашнем собрании: оно помогло мне глубже понять и оценить Твое значение как ученого в изучении народного поэтического творчества. Это собрание показало мне, как широко признан Ты в качестве одного из наших ведущих ученых-фольклористов. И особенно волнующе прозвучали голоса студентов и бывших Твоих учеников, благодаривших Тебя за то, что Ты научил их видеть красоту народных сказок и былин и любить народное творчество.

Да, мой друг, я думаю, что для того, чтобы сделать что-нибудь значительное в изучении фольклора, нужно было обладать Твоими качествами: нужно было любить народ, глубоко — всем сердцем и сознанием — постигать эстетическое и этическое значение его творчества, чувствовать высоту этого творчества, если хочешь, — даже преклоняться перед ним в какой-то мере. Это значит, что нужно было быть не только человеком мысли, но и человеком большой живой души, чуткой ко всему прекрасному и высокому. Уж позволь мне один раз быть откровенным в своих высказываниях!

Мне кажется бесспорным, что Ты нашел настоящее дело своей жизни в изучении фольклора. И фольклор нашел в Тебе своего талантливого исследователя. А мы все от этого много выиграли!

Дорогой мой! Я непременно, непременно хочу иметь Твою книгу, как только она выйдет из печати, и очень бы хотелось — прямо из Твоих рук и с Твоею надписью. Она явится одной из самых моих больших семейных ценностей.

И еще два слова. Вчера, когда Тебе стали подносить одну за другой корзины цветов, то их сначала попытались ставить на стол перед Тобой. Но этим Ты был загорожен от собравшихся, и цветы перенесли к стене. Получилось, что мы видели Тебя на фоне цветов. И у меня там же родилась

мысль написать Твой портрет в той одежде, в которой Ты был вчера, и на фоне поднесенных Тебе цветов, т. е. так, как Ты запечатлелся вчера в моей памяти. Это будет попыткой создать воспоминание о Твоем юбилее — и это будет поэтическим портретом. И, разумеется, этот портрет был бы уже для Тебя!

*Я думаю, что при всей весьма вероятной его слабости он будет для Тебя приятен, как память обо мне: ведь никто, кроме меня, из присутствовавших вчера на Твоем юбилее, этого сделать не может и не сделает!**

Крепко Тебя обнимаю, мой старый, мой дорогой Друг!

Все мои лучшие пожелания с Тобою!

Твой всегда Виктор.

11.VI.55.

Дорогой мой Витя!

Теперь могу Тебе окончательно сказать, что в Новгород ехать нам не придется**. Когда после спада воды пошли в дом матери нашей предполагаемой хозяйки, то оказалось, что он сильно пострадал и жить в нем пока нельзя. Все мокрое, набухло и не закрывается и пр. Требуется длительная просушка, а затем ремонт. Это очень жаль, т. к. я сейчас устал и был бы в настроении ехать и освежиться.

Надеюсь на той неделе (скорее всего что в среду) забежать к Тебе.

Моя книга поступила на склад и скоро выйдет. М<ожет> б<ыть> на той неделе.

До скорого свидания!

Твой Воля.

Из здравницы «Репино»
1.VII.55.

Дорогой мой Витя!

Я, конечно, очень перед Тобой виноват, что оставил Тебя без известий, не заходил <...>. Дело в том, что я со дня на день ожидал выхода в свет книги и хотел прийти к Тебе с торжеством. Но книги нет и нет, и я уже накануне отъезда зашел к Тебе, чтобы попрощаться, а Ты уже уехал. Книга же не выходит в продажу потому, что типография выполняет срочный правительственный заказ — отправляет учебники. Обязательные экземпляры уже разосланы, она уже есть в библиотеке Академии наук.

---

* К сожалению, тогда портрет остался ненаписанным: квартира Воли была слишком темной. Свой замысел я осуществил несколько позже: в начале 1956 года, у меня на ул. Смирнова, для чего он приезжал позировать восемь раз.

** Мы много лет мечтали с Волей поехать куда-нибудь вдвоем, в частности, в Новгород. Но всегда что-нибудь мешало. Так нам и не пришлось отдохнуть вместе.

Где Ты? Напиши мне хоть кратенько. Я опять в Репино, здесь спокойно и хорошо.

Пишу Тебе это, сидя на почте, а за моим пером со злобой следят ожидающие очереди.

Пиши! Здесь такая отрада получать письма! Ты хотел и сам приехать навестить меня. Я пробуду здесь до 30-го июля.

Твой Воля.

15 авг. 1955 г.

Дорогой Витя!

Читал Твое письмо с наслаждением от слова до слова. В одном только я оконфузился. Из письма Евдокии Ивановны я понял, что она уезжает к Тебе, и потому на ее письмо ей не ответил. Сейчас она, наверное, с Тобой, и Ты передай ей от меня извинение в моей невольной невежливости.

<...> Я с Тобой не согласен, что Ты пишешь медленно. Ты пишешь феноменально быстро; но Ты изголодался по искусству и потому пишешь жадно, и Тебе все кажется, что можно бы еще быстрее, а быстрее уж нельзя. Я думаю, что скоро Ты начнешь писать медленнее. Я понимаю и разделяю Твое стремление к колоритности. Всякий портрет есть (или должен быть) и картина. Он может быть предлогом для симфонии красок, которая радует глаз и вызывает ощущение счастья <...>

Я в городе, сижу над текстологической работой (редактирую сказки Афанасьева) с большим наслаждением. Увы — я филолог! Ничего нового я уже не создам, да и не стремлюсь. Полезен еще могу быть и радости жизни еще понимаю, и то хорошо.

Целую Тебя сердечно, привет и 10 000 извинений Евдокии Ивановне! Постараюсь свою вину искупить.

Твой Воля.

В дом отдыха «Звенигород»
9.XI.55.

Дорогой мой Витя!

<...> Я приду к Тебе в воскресенье 20.XI между 7 и 8 часами. Елизавета Яковлевна очень благодарит, но она сейчас никуда не ходит, она застревает с диссертацией и считает каждый час. Сроки довольно грозные.

Я с удовольствием посмотрю телепередачу, но и еще с большим удовольствием посмотрю на Тебя и на Твои картины. От телевизора глаза болят, а от живописи выздоравливают — от радости глядеть.

<...> Эти два дня я Тебе не писал, т. к. был не в форме, валялся на диване.

Сердечный привет Евдокии Ивановне.

Целую и обнимаю.

Твой Воля.

Дорогой Витя!

Анонсирую Тебя, что я буду у Тебя в пятницу 27 января примерно в 11.30 (в зависимости от транспорта), бритым, при галстуке и вполне трезвым*. Позу предоставляю полностью Тебе.

Предвкушаю совместное с Тобой пребывание. После каникул я буду занят, кроме вторника и четверга, еще по средам. Четыре дня в неделю я буду свободен, так что торопиться нечего, не обязательно кончать работу в каникулы.

В избежание шуток почты посылаю письмо заказным.

Будь здоров, скоро увидимся!

Твой Воля.

23.II.56.

Дорогой Витя!

Чувствую и знаю, что Ты на меня сердит, но Ты, дорогой, не сердись! Надул я Тебя потому, что ошибся в расчетах: зубной врач отпустил меня не в 10.30, как я рассчитывал, а в 12.20. Ехать к Тебе с проспекта Римского-Корсакова с пересадкой уже не имело смысла.

Чтобы впредь Тебя не огорчать, я вижу только одно средство: единственный день, когда не может быть заседаний и пр. и пр. — это понедельник. <...> В ближайший понедельник буду в 11.30.

Чувствую, что Ты уже перестал сердиться.

Мне поставили три коронки сразу. Я думал, что коронки наденут — и все. А тут меня заставили держать их пальцем и сидеть в кресле, а сам уходил, кажется, завтракать. Потом меня два раза кормили кашей из гипса и тоже заставили сидеть, разинув рот. Сидеть моделью легче!

Зато теперь буду есть бифштексы и огурцы.

Я чувствую, что теперь Ты совсем перестал сердиться и даже рад за меня.

Твой друг

Воля.

23.IV.56.

Дорогие Витя и Евдокия Ивановна!

Мы с Елизаветой Яковлевной будем ждать вас во вторник (проверено!) первого мая часам к 8 вечера на наш ежегодный семейный праздник. Никого, кроме нас и вас не будет! Очень, очень ждем и зовем.

Твое письмо я получил. Надеюсь, что на педагогическую работу Ты не пойдешь. Педагогом интересно быть в средней шкоде, а в высшей преподаватели подобны крысам в «Ревизоре»: пришли, прочитали лекцию и ушли

* Для позирования. Я начал писать его портрет 27.I.56 и окончил 11.III.56.

прочь. Общение Тебе теперь нужно с художниками, а не со студентами. Я по-прежнему до пределов устаю, едва таскаю ноги. Работы даже не всегда бывает с избытком, но изнуряет то, что над душой всегда висит что-нибудь недоделанное. Завтра придут два дипломанта, а я еще не начинал читать их работ.

Теперь я думаю, что мне легче станет с 1 мая. За это Ты должен выпить 1 рюмку водки.

Рецензию я читал еще до ее появления. За нее Ты должен выпить 1 бокал шампанского!

Пока можешь больше не пить, а возобновить это занятие с 1 мая.

Крепко жму руку. Евдокии Ивановне сердечный привет.

Твой Воля.

Черкни мне, пожалуйста, что Ты письмо получил, чтобы я был спокоен.

(На конверте моя пометка: «Ответил тотчас 24.IV.56»)

25.V.56.

Дорогой друг, Ты меня очень обрадовал своим письмом. Коротко: дача у нас снята в Тарховке, вещи уже свезены. У нас верх из двух комнат, кухни и балкончика. Бывать почти не приходится, т. к. по-прежнему занят по горло. Думаю, однако, ехать в воскресенье утром (27 мая) на два дня. Но это еще не наверняка. Ты зайди к нам в субботу вечером показать новейшие работы и договориться.

Твой портрет решительно всем очень нравится. Он временно висит у меня на стене над дверью, т. к. это единственное место в деревянной стене, куда можно было вбить гвоздь без помощи пробойника. А для пробойника пока нет времени.

На даче я снимал лес с лужами, подснежники под елкой и вербы в воде. Красок пока мало, но вообще для открытого глаза красоты на каждом шагу.

Надеюсь — до скорого свидания.

Твой Воля.

Из дневника

10.XI.1956. По возвращении после летнего отдыха в Ленинград я принял участие в выставке работ военных художников Ленинградского гарнизона, организованной Домом офицеров. <...> В окружной военной газете «На страже родины» за 21.X.56 корреспондент М. Пинич поместил заметку об этой выставке, содержащую следующие строки: «...Полковник В. Шабунин представил на выставку ряд портретов и пейзажей. Особый интерес вызывают его портреты. Выразительные лица офицеров — товарищей по службе, полный мысли и человеческого обаяния образ профессора В. Я. Проппа. Портреты <...> являются одними из лучших экспонатов выставки...»

10.I.57.

Дорогой Витя!

Я, конечно, свинья, что не ответил Тебе на Твое новогоднее письмо. Это произошло потому, что я сам хотел придти поздравить вас, но не хватило ни времени, ни пороху, все завтра — и так 10 дней. Спасибо Тебе за приглашение на Ива Монтана, но в этот вечер мы были заняты срочной работой. Я экзаменую до потери сознания. Экзамены длятся до 2–4 часов, но вечером после этого я уже не гожусь никуда, даже пальто лень надеть, хочется только лежать. Последний экзамен у меня 15-го, и после этого я к Тебе приду запросто и неожиданно, отдохнуть душой и телом. <...>

Спасибо, что не забываешь меня и на меня не обижаешься.

Твой друг

Воля.

Сочувствую Евдокии Ивановне. Много ли еще у нее экзаменов? Что до меня, то я уже ничего выучить не могу и не желаю!

28.I.57.

Дорогой Витя!

Мы будем у Тебя в среду в 5 часов, и Ты нас сведешь на выставку. У Тебя мы не задержимся и пальто снимать не будем, а сразу пойдем на выставку, т. к. вечером у меня будут аспиранты и задержаться мне нельзя. Это не то, что Ты предлагаешь, но так нам лучше. Если Ты не можешь, то черкни. Молчание будет означать знак согласия.

Аппарат, молнию и широкоугольный объектив я прихвачу и надеюсь на успех.

Мы с Елизаветой Яковлевной жаждем видеть всего Шабунина.

Твой Воля.

(Речь идет о моей персональной выставке в клубе В<оенно>-м<едицинской> академии в январе 1957 г. Было выставлено 50 работ: 16 портретов и 34 пейзажа. Воля снял все экспонаты).

29.X.57.

Дорогой мой Витя!

Я тоже болен гриппом, но без осложнений, как Ты. Вчера установилась нормальная температура. Одолевает слабость, апатия, ничего не хочу делать. Это только первый шаг к возврату к жизни.

Ты читал неизвестную мне книгу о неизвестном мне художнике. Я тоже читал о художнике и испытывал восхищение: это — мемуары Людвига Рихтера (1803–1884), который рисовал детей, крестьян, немецкие интерьеры с немецким уютом. Настоящий художник всегда совершенно национален. Люблю старину. Читая, понял, как мы все (т. е. во всяком случае я)

одиноки. У нас нет привычки после работы ходить друг другу, общаться. У нас только работа, а после нее изнеможение.

Бедной Евдокии Ивановне достается! Зато жизнь наполнена, и наполнена тем, что составляет главное ее содержание. Привет ей от меня. Моя дочь и внучка[1] тоже болели гриппом.

Твой Воля.

Ленинград, 5.XI.57.

Дорогой мой Витя!

Хоть Ты мне писал, лежа в постели, а я уже брожу, но, по-видимому, Твое состояние несколько лучше моего: я чувствую небывалую слабость и апатию, ничего не могу и не хочу. Вследствие этого так долго не отвечал Тебе. Сегодня мне с утра немного лучше. Надеюсь, что у Тебя такого не будет или что Ты переживешь это в постели.

Я очень хочу Тебя видеть, но пока никуда не хожу, кроме как — через силу — в университет, после чего лежу пластом. Но Ты, может быть, как-нибудь ко мне соберешься запросто, посидеть и поутешить меня.

Мне очень интересно все, что Ты пишешь о Жене. Я помню ее студенткой I курса, и она мне очень нравилась. С тех пор я ее не видел. Ты передай ей от меня привет. Конечно, ей лучше бы выйти на пенсию, но Ты не должен ее и других людей равнять с собой. Хотя Ты свою работу любил и знал, но она все же до некоторой степени была для Тебя тормозом, задерживающим заглушенные способности и таланты. Но я знаю случай, когда, например, артист филармонии, перешедший на пенсию в 72 года и переставший играть в любимом оркестре, смертельно, ужасно затосковал. Такой же случай с одним университетским преподавателем, который никакой исследовательской работы не вел, но был артистом педагогического дела, боготворим студентами. Ушедши на пенсию, не находит себе места, приходит в университет просто так, потому что чувствует себя выбитым из жизни. Со мной такого не будет: я всегда найду себе исследовательскую работу, а также развлечения вроде театров, концертов и музеев, чего я сейчас почти полностью лишен. Но я не могу этого сделать по материальным соображениям: надо еще поднять сына. Да и желания у меня пока еще нет. Лекции читать я тоже очень люблю, и пока еще это у меня выходит.

Я очень за Тебя счастлив, что у Тебя удачно сложилась Твоя новая семейная жизнь <...>

Пишу на машинке, мне это почему-то легче, чем пером, хотя я и понимаю, что письмо, писаное от руки, обладает каким-то ароматом, каким машинопись не обладает. Ну, все равно!

---

[1] Татьяна Зеленова (р. 1956) — внучка Проппа, дочь Марии Владимировны Пропп.

Передай мой сердечный привет женской половине Твоего дома. Может быть, я как-нибудь и забегу, как только мне станет немного лучше.

Твой Воля.

(В Алушту)
13.V.58.
(отправлено 21.V)

Дорогой мой Витя!

Очень рад за Тебя и за Евдокию Ивановну и Таточку, что у вас все складывается так хорошо <...>

У меня две радости, одна большая и одна маленькая. Большая радость состоит в том, что я купил пианино, продав стол, чтобы освободить место. Теперь я могу иногда играть. Пианино неважное, но вполне приличное. Другая радость, маленькая, состоит в том, что меня выдвигают в члены-корреспонденты Академии наук СССР. На две вакансии в Ленинграде выдвинуто 4 кандидата. Но радость эта весьма условна потому, что из ленинградских никто не пройдет, а пройдут московские, т. к. в них больше покорности и они близки к сферам, а мы на периферии вольнодумствуем.

Я опять в полосе ужасной занятости <...>.

Целую Тебя и жду еще писем.

Твой Воля.

(В Алушту)
20.VI.58.

Дорогой Витя! Прости, что так долго Тебе не писал. Как Ты знаешь, я бесконечно экзаменую, и вечерами болит голова. Живем мы по-старому. Луиза с внуком на даче, а мы пока в городе.

Недавно в книжном магазине меня кто-то окликнул. Смотрю — Твой сын Андрей Викторович! Он в отпуске ненадолго. Я назначил ему день свидания. Он себе записал, но... не пришел. Вероятно, бедняжка, очень занят, разрывается на части. Мне было жаль, потому что он очень симпатичен. Он очень похож на свой портрет!

Писать пока больше нечего, но Ты мне пиши. Скоро (числа 1.VII) я освобожусь, поеду на дачу, тогда буду писать длинные письма.

Я ничего не читаю, но на рояле иногда играю. Неважен именно звук, т. к. хороших вообще нет, они продаются по каким-то неведомым мне каналам, от 10 000 и выше. А мое стоит 4500 и вполне прилично. В комиссионных разбитые инструменты стоят 5000, неразбитые, но плохие — 7000. А мое пианино хотя и не стоит проданного мной рояля, но звук его неплох.

Целую и обнимаю.

Твой Воля.

Кланяйся Евдокии Ивановне и Таточке. Нет ли снимков?

7 Зак. 3360

(В Алушту)
27.VII.58.

Дорогой мой Витя!

Я уже давно должен был Тебе написать. Но Твое письмо такое, что оно требует не просто «ответ», а встречное письмо, а на это нужно не только время (время у меня сейчас есть), но и особое настроение. Сегодня оно появилось.

Ты пишешь, что стал бы со мной беседовать по вопросам эстетики. Но я Тебе скажу, что я, как Гете, ненавижу всякую философию. Я признаю только изучение фактов и выводы и обобщения. Это — моя профессия. Все остальное — мнения, тайная пружина которых — видеть мир иным, чем он есть. Мое credo — чувственное восприятие мира. А сквозь него — уменье видеть то, что кроется за вещами, т. е. умение «провидеть». Это и делает художник и писатель. Поэтому я люблю тех писателей, которые описывают реальность, а сквозь эти описания тебе открывается «мир иной», но не мир Мамина-Сибиряка и иных, а Чехова, или Толстого, или Репина. Искусство вне философии. А как только оно сочетается с философией, оно перестает быть искусством. Таков социалистический реализм, который меня до такой степени не трогает, что я лучше буду два часа глядеть в окно, чем читать роман из современности: от них у меня болит голова этак минут через пятнадцать.

Теперь о твоей дочери. Перечитывал с истинным восхищением Анну Каренину. Вот кто был провидец! (кроме тех страниц, когда он начинает философствовать — но их можно пропустить). В женской природе есть что-то исконно неблагополучное. Очень немногим удается преодолеть эту свою природу. Неблагополучие это состоит в неспособности видеть прямо. Собственно женщине в первую очередь нужен самец. Когда его нет, создается величайшая трагедия для женщины. Но когда он есть, она свое мироощущение приписывает самцу. Она думает, что ему тоже в первую очередь нужна самка. Отсюда патологическая ревнивость женщин — вот что сумел провидеть Толстой. Но эта ревность касается не только мужей, но и всего, что связано со своей семьей. Поэтому она ревнует своих детей к детям первого брака. «Мачеха» есть явление, известное фольклору всех народов, но совершенно неизвестен отчим. Это же относится ко всем другим семейным связям. Мне кажется, что дело не в том, что Андрей — Твой сын, а Галя[1] — дочь своей матери, а в том, что он воспринимает мир так, как свойственно мужской природе, а она — как это свойственно ее женской природе. И если бы у Тебя было 5 дочерей, со всеми было бы так же. Поэтому женские «капризы» надо уважать и понимать. Мнимая трагедия женщины есть самая настоящая трагедия ее. Поэтому Анна бросилась под поезд, хотя ее муж любил ее самой сильной и глубокой страстью, на какую способен мужчина.

[1] Галя — Галина Викторовна Шабунина (1920–1970) — дочь Е. И. Шабуниной от первого брака.

Я мог бы еще долго писать в этом роде, но чувствую, что хватит. О нас писать почти нечего. Я со всей семьей живу на даче, Елизавета Яковлевна в городе пишет диссертацию. Это ужасно, но сделать я ничего не могу.

Пиши мне еще. Не тревожна ли обстановка на юге? Сын хочет ехать, дочь тоже, а я в тревоге. Поцелуй ручку Евдокии Ивановне, а Таточку куда угодно.

Твой друг

Воля.

20.XII.58.

Дорогой Витя! Мне кажется, что Ты сейчас живешь дальше от меня, чем летом, когда был в Алуште. Я занят выше головы и очень устаю, но не теряю надежду как-нибудь заехать к Тебе и повидать Тебя. Может быть это даже будет скоро. Каникулы у нас в этом году будут в феврале.

Я неожиданно для себя и других пишу новую книгу — о Гоголе и о природе смеха и комического[1].

Ну, целую, привет Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

Из дневника

16.II.1959. Больше всего люблю бывать у Волюшки. Но бываю не часто, учитывая его занятость.

27.III.59.

Заманиловка* (Ограбиловка тож)

Дорогой Витя!

Ты отгадал. Я забрался в Заманиловку и наслаждаюсь весной. Наслаждаюсь я так: ровно в 7 часов утра сажусь за стол и работаю до 1 часа дня с перерывом на 10 минут, когда хозяйка приносит кипяток, который я пью с

---

[1] Монография «Проблемы комизма и смеха» была опубликована после кончины В. Я. Проппа (М., 1976).

* Мое пояснение: об этой Заманиловке надо сказать несколько слов. Я о ней узнал раньше, чем Воля; может быть Воля узнал о ней именно от меня: там в 1956 году летом жил Немушка Чирейкин (неустановленное лицо. — *А. М.*), и я там написал его портрет, для чего несколько раз ездил к нему. Но сейчас речь идет не об этом.

Где-то я вычитал, что известный наш художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов любил жить на даче под Петербургом, в Парголово. И название дачного места было указано: Старожиловка. Именно там, на даче Стасова, И. Е. Репин сделал его широко известный портрет в полный рост на ступеньках крыльца, у перил.

сахаром и черствой булкой. С 1 ч. до двух я гуляю по парку или по дорогам. Черные пятна земли на белом снеге, близкие и дальние холмы, бывает солнце, бывают чудесные туманы. В два я обедаю (одно блюдо — густой суп или жидкая каша), потом до четырех отдыхаю от обеда, дремлю с книгой. С 4-х до 7-ми опять работаю, с семи до восьми гуляю, в восемь пью кипяток, как утром, а в девять забираюсь в постель с полубеллетристикой в свете ночника, и с этим я и засыпаю, а с утра все начинается сначала. Чувствую себя при этом превосходно, работоспособность исключительная, но при этом все же не худею, о чем я мечтаю. В городе бываю всегда по средам (семинар) и иногда остаюсь до четверга (ученый совет).

Твой идиллический образ жизни меня очень привлекает, но я начну его, надеюсь, дней через 10, когда кончу работу.

Ко мне Ты можешь приехать всегда. Ты мне не помешаешь. В парке по воскресеньям можно видеть людей с палитрой. Скоро будут уже только белые пятна на зеленеющей земле. У Тебя таких пейзажей пока нет.

Мой адрес: Заманиловка, Садовая ул., дом 119.

Твоим дамам привет. Целую.

Воля.

2.IV.59.

Дорогой Витя! Мой доклад состоится в понедельник, 6-го апреля, в 5 (17) часов, в аудитории № 12 (малый актовый зал), 1-й этаж налево. Если Тебе нечего делать, то приходи, но по-моему, не стоит — я к своей работе как-то охладел. М. б., Ты найдешь более полезное занятие.

Твой Воля.

7.IV.59.

Дорогой Витя! Я очень обеспокоен тем, что Тебя вчера не было на моем докладе. Здоров ли Ты? Жена думает, что Ты принял всерьез мою шутку, что присутствовать на моем докладе бесполезно, но я думаю, что этого никак не может быть. Было многолюдно и интересно, было много выступле-

---

Меня заинтересовало, что название «Старожиловка» по своему характеру близко к названию «Заманиловка», да и расположена Заманиловка тоже близ Парголово. Я решил все проверить на месте, поехал туда и в беседах с местными стариками установил, что и сейчас западный, более старый, конец деревни называется Старожиловка. Мне показали и дачу, где жил Стасов. Ее хозяева еще здравствуют, а сама дача сгорела — остался лишь фундамент. Хозяева дома рассказывали мне и о самом Стасове, и о его родственнице — Е. Д. Стасовой, старейшем члене КПСС...

Дом, о котором пишет Воля в письме от 27.III.59, стоит на той же улице, что и бывшая дача Стасова, но метрах в четырехстах восточнее, т. е. дальше от Парголово. А название «Ограбиловка» придумал сам Воля: это намек на то, что хозяйка дорого с него брала.

ний. Это, несомненно, было мое последнее публичное выступление*. Пиши мне скорее. Я сейчас в городе, надеюсь, что в конце этой недели я сдам рукопись и поеду в Заманиловку, но полной уверенности у меня нет. Все же я уже вскоре вздохну свободнее. Я буду держать Тебя в курсе своих дел, т. к. хочу видеть Тебя в Заманиловке надолго.

Твой друг

Воля.

(В Остер Черниговской области)
Ленинград, 11.VI.59.
(Разлив)

Дорогой мой Витя!

Наконец-то от Тебя письмо! Я уже думал, что с Тобой что-нибудь случилось, или что я Тебя чем-нибудь обидел. Но чем я мог Тебя обидеть? Слава богу, все в порядке!

Я очень хорошо представляю себе Вашу жизнь, но не очень хорошо вижу окружающую обстановку и природу. А это для меня сейчас самое главное. Я очень устал, ничего работать и делать не могу. Но когда я на даче, я любуюсь окружающим меня миром, и это заполняет всю мою жизнь, как в детстве, когда восприятие мира — самое главное. Я любуюсь и внуком своим, и его пухлыми ручками, и рябинами под окном. Наш домик стоит в пяти шагах от озера, и сквозь деревца я вижу воду, даль, камыши, небо. Ты можешь себе представить, что со мной стало, когда на середину озера, где есть отмель и где растет сочный тростник, приплыла стайка из пяти лосей и, стоя выше живота в воде, стала со вкусом медленно откусывать этот тростник! В бинокль можно было разглядеть даже рога и уши.

У меня грядка, где я высадил штук 40 корней анютиных глазок и посеял настурцию и другие цветы. Были холода (до + 4°), ничего не всходило, а теперь стало тепло, и все всходит, и я тоже любуюсь. Одним словом, я под старость стремлюсь к идиллии, и у меня это почти что получается. Почти, а не совсем, т. к. в университете мне покоя не дают со всякими бесполезными делами, вроде присутствия на гос. экзаменах (хотя моя специальность в программу не входит) или писания рецензии на программу министерства, которую никто читать не будет, т. к. министерству совершенно безразлично, что думают ленинградские ученые. Есть и более серьезные и тревожные дела. МИР (читай — Музей Истории Религии, что в Казанском соборе) предложил мне переиздать мою книгу «Исторические корни волшебной сказки» (30 п. л.)[1]. За лето книгу надо переработать и подать. Опять страшное напряжение, а мне хочется отдыха и идиллии. Пока я не на̀чал.

* По счастью, это оказалось не так (см., например, запись от 15.IV.70).

[1] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946; в 1950-е годы переиздание книги не состоялось. 2-е изд. — Л., 1986; 3-е изд. — М., 1998.

Наоборот, я активно ничего не делаю, разве что крашу свою замечательно легкую лодочку, выезжаю на ней на озеро и поглядываю на закат — мне больше ничего не надо. Как все это пойдет дальше — еще не знаю.

Ну вот, Ты мне рассказал про себя, я про себя. Пиши письма и картины! С моей теперешней склонностью всем на свете любоваться я предвкушаю, как буду любоваться Твоей живописью. Передай привет Евдокии Ивановне и в любой форме напомни о моем существовании Таточке.

Твой друг
Воля.

(В Остер)
17.VII.59.

Дорогой мой Витя!

Ты на меня не сердись, что я так долго Тебе не писал. Работа с книгой оказалась очень хлопотливой и мелкой. Сдать надо в июле, и я нахожусь в условиях жесткого цейтнота. Большей частью сижу в городе. Тут еще большая радость, которая, однако, тоже выбивает из колеи. Приехали две моих сестры[1], обе уже старушки, и их надо устроить. Надо покупать раскладушки (которых нет), одеяла и пр. Они пожили у нас в городе, а теперь они на даче.

Твое письмо я прочел вслух Елизавете Яковлевне, и мы вникали в каждую фразу его, внимательно изучили план*. Ты, видно, живешь неплохо, но все-таки это город, хоть и маленький и хороший, а меня тянет прямо в лес, к мухоморам и чернике. Здесь я раза два, надев резиновые сапоги, бродил по болотам, что я очень люблю.

Из моей идиллии ничего пока не получается, книга стала меня заедать.

Ты прав, что я пишу лаконично, но Ты не поддавайся моему примеру и пиши подробно.

Целую Тебя и обнимаю. Твоим дамам привет.

Твой Воля.

(В Остер)
Ленинград, 29.VIII.59.

Дорогой мой друг, я нахожусь за Тебя в смертельной тревоге и тоске. Все время были подробнейшие и интереснейшие письма, а потом вдруг — как рукой сняло. Последнее письмо было от меня. Может быть оно до Тебя не дошло? Я не стал писать, т. к. думал, что Ты уехал в Клавдиево и что я напишу, когда Ты пришлешь новый адрес. Но адреса нет и нет, и я шлю это письмо по старому адресу, без особой надежды, что оно дойдет.

---

[1] Элла Яковлевна (1890–1977) — старшая сестра Владимира Яковлевича (в замужестве Гефеле) и младшая сестра Альма Яковлевна (1897–1975) (в замужестве Штрем).

** План нашей квартиры в Остре, веранды, садика.

О нас писать почти что нечего. Половину лета я работал сверхинтенсивно и сдал работу в издательство в срок. Вторую половину лета стояла жара, мгла и духота. Я совершенно поник, ничего не делал и делать не мог, спал по 18 часов в сутки и читал беллетристику. Потом пошли санкт-петербургские дожди, туманы и холода, и я вдруг ожил и как бы проснулся. 1-го надо приступать к работе. Во время жары мы с женой часто думали о Тебе и о том, как-то Ты ее переносишь. Напиши хоть открыточку! Скоро ли увидимся?

Целую и обнимаю Тебя, всей Твоей семье привет. Напиши о них подробно.

Твой Воля.

(В Остер)
Ленинград, 4.9.59.

Ты нашелся. Ты жив и здоров, ура! Я Тебе направил письмо в Остер заказное до востребования, получи его, если интересуешься. Наши письма встретились в пути. Студентов в этом году никуда не посылают, мы с Елизаветой Яковлевной уже включились в работу полностью. Жду нового адреса, после чего напишу письмо. Целую.

Твой Воля.

Привет большим и маленьким водоплавающим дамам.

(В поселок Клавдиево Киевской обл.)
20 сент. 1959 г.

Дорогой Витя!

На этот раз я от Тебя отстал — уже два письма от Тебя и одно от Евдокии Ивановны, а мы все не пишем. У нас тоже есть новость.

Мы перебрались на житье в Шуваловский парк*, где Ты у меня был. Ты знаешь две комнаты, три окна на юг, два на запад. Пишу Тебе уже не при электрическом свете, на какой я был обречен в своей берлоге, а при утреннем солнце, глядя на поле с одной стороны и на листья клена с другой. Мы устроились хорошо. Андрюша с няней будут жить здесь безвыездно, а мы с Елизаветой Яковлевной наездами. Сейчас у нас картофельные каникулы. Все студенты I–IV курсов завтра, 21.IX, уедут в колхозы на один месяц, и этот месяц мы проведем здесь безвыездно.

Другая у меня новость: Университет получил 600 квартир (60 тысяч кв. метров) и будет строить скоростными методами дом на 60 квартир. Я подал заявление, мою квартиру обследовали и в результате по нашему факультету моя фамилия значится первой на очереди. Посмотрим, что будет дальше. Но пока все идет гладко.

Я очень рад за вас, что вы проводите время так интересно. Моя сестра тоже была в Киеве и в восторге от него. По сравнению с вами мы живем

* Т. е. в Заманиловку, находящуюся сразу за Шуваловским парком.

довольно однообразно. Погода у нас неровная — бывают солнце и мелкий дождик, но я ту и другую погоду люблю, не люблю только ветер с сильным дождем. Пока блаженствуем. Андрюша быстро развивается, уже лопочет. Хочется мне поглядеть на Татусю, какой она стала.

Поблагодари Евдокию Ивановну за ее милое и такое женское и интересное письмо. Пиши про Татушку.

Обнимаю Тебя! Твой Воля.

Из дневника

21.X.59. Наиболее для меня радостной встречей после лета явилась встреча с Волей. Он сейчас временно живет в живописной деревне Заманиловке — за Шуваловским парком, где снял себе «зимнюю дачу» — две отличные светлые комнаты + веранду. Сообщение с городом быстрое — можно с дачи добраться до дома за полтора часа. Он, бедняга, так угнетен темнотой своей городской квартиры, что сейчас буквально блаженствует, окруженный светом и действительно живописными видами из каждого окна!

Ленинград, 29.XI.59.

Дорогой Витя!

Получив Твое письмо, я начал смутно что-то припоминать, заглянул в свою календарную книгу, и увидел там, что 17 ноября Тебе исполнился 61 год. Дорогой мой, поздравляю Тебя от всей души и желаю Тебе здоровья и всего, что из этого вытекает, т. е. хорошего состояния духа, творческих исканий и достижений и других радостей жизни.

Мне сейчас живется трудно. Здоровье не совсем ладное, что мне мешает жить: все делаю медленно и с трудом, все жду какого-то дня, когда я смогу по-настоящему отдохнуть, а таких дней все нет и нет. Первый семестр для меня всегда тяжелый. Вот мое примерное расписание: сообщаю его Тебе для того, чтобы Ты мог меня навестить. По субботам, воскресеньям и частично по понедельникам я на даче. Дорогу туда Ты знаешь. По понедельникам вечером я в городе и свободен, слегка готовлюсь к лекциям. По вторникам днем — лекции, вечером — кафедра (не всегда). По средам днем свободен, вечером — занятия в университете. По четвергам днем свободен, вечером — ученый совет. По пятницам днем лекции, вечером — консультации на дому. Ты сохрани это письмо, и как только надумаешь меня навестить или вызвать меня к себе — так загляни в него. Видеть я Тебя очень хочу. Мы теперь дальше друг от друга, чем были летом, т. к. летом мы хоть переписывались.

То, что Ты пишешь о своих неудачах, не так страшно. Было бы что́ портить. Если такое бывало с Репиным, почему оно не может быть с Тобой? У меня хуже. Я никакой своей работы не могу испортить, так как никакая работа у меня не ладится. Есть только слабые порывы, после чего предпочитаю лечь на диван. Утешаю себя перспективами на второй семестр. Ра-

ботаю я сейчас над русскими праздниками — колядой, масляницей, семиком и пр.[1] Есть идеи. Это не самое важное, но пока это все, что имею.

Извини меня за то, что пишу на машинке и сажаю опечатки, это от усталости и от нежелания сосредоточиться.

Обнимаю Тебя и жду. На выставку сейчас мне не успеть, но я утешаю себя тем, что все Твои вещи я увижу в более интимной и приятной обстановке. Твоим большим и маленьким дамам сердечный привет.

Твой Воля.

Ленинград, 1 янв. 1960 г.

Дорогой мой Витя!

Твое поздравление пришло первым, и я первому же Тебе отвечаю. С своей стороны желаю Тебе здоровья, все остальное сделается само собой, если Ты не будешь болеть.

У меня кончился курс лекций, и я сразу же помолодел и почувствовал себя отлично, сразу же сел работать. Я теперь неделю буду свободен, потом две недели буду только экзаменовать раза два-три в неделю, потом две недели каникул, потом у студентов педагогическая практика, и в итоге я буду совершенно свободен еще месяц. У меня нет особого желания отдыхать (несмотря на Твою прекрасную открытку с умиротворенным рыболовом), а есть желание быть максимально деятельным. Работаю и con furor[2] убираю квартиру. Буду теперь преимущественно в Заманиловке, но периодичность остается старая: по средам, воскресеньям и понедельникам я там во всяком случае, куда Тебя и зову вместе с Евдокией Ивановной и Таточкой, которых Ты поздравь от меня с Новым Годом.

Целую Тебя.

Твой Воля.

16.II.1960 г.

Дорогой Витя!

Ты, видно, не сердишься на меня, что я Тебе не сразу отвечаю, и уже привык к этому. Это меня стыдит и окрыляет, и на этот раз я пишу сразу.

Я все хочу опять побывать у Тебя, навестить больного друга, но сейчас заболел ангиной Андрюша, мы привезли его в город, и я боюсь затащить болезнь и заразить Таточку. К своей внучке я тоже не хожу. Таточкино письмо очень интересное, я прочел его со второго чтения совершенно безошибочно. Посылаю ей ответ. Чем Ты объясняешь свои недуги? Не простудился ли Ты, и ведешь ли Ты такой образ жизни, какой нам с Тобой

---

[1] Владимир Яковлевич начал работу над монографией «Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования» (Л., 1963; 2-е изд. — СПб., 1995).

[2] Con furor — с яростью, с отвращением (*лат.*).

положен? Надеюсь, что Ты скоро поправишься совсем. Я веду образ жизни не совсем соответствующий тому, что нужно: работаю, т. к. связан со сроками. Каждый день делаю две упряжки. В университет мне пока не надо, т. к. мои студенты на практике.

Мне очень любопытно, какое у вас шевеление насчет квартиры. Нам уже начали давать адреса, сегодня едем смотреть. Я плохо верю в реальность всего этого, а жена так и совсем равнодушна. <...>

Пушкина я читаю подряд и в разбивку, всегда, всю жизнь, но плохо его знаю и с литературоведами о нем говорить не люблю, только с друзьями. Памятник у Русского музея — свидетельство полного непонимания Пушкина, самой сущности его. Театральный жест — что может быть хуже? Насколько благороднее и спокойнее памятник на Пушкинской улице.

Твой друг Воля.

1.III.60.

Дорогой мой Витя!

Как Ты? Я об Тебе скучаю. На этой неделе навестить Тебя не могу. В пятницу 4.III читаю доклад на кафедре и потому усиленно готовлюсь. В субботу с утра уеду к Андрюше отдохнуть, если мороз не будет ниже 10–12 градусов.

Если в пятницу Ты будешь здоров, я буду очень рад Тебя увидеть в числе слушателей (Университетская набережная, д. 11, аудит. 23, 5 часов), если же нет, то и не надо, мы еще увидимся, тогда Ты и приедешь ко мне, или я зайду к Тебе на той неделе.

Новую квартиру мы осмотрели: юг, высокие потолки, окна в огромный внутренний сад, 2-й этаж, комнаты 25 + 12 + 16 (проходная) + 7 метров (последняя — от кухни). Разместиться можно. Проект, кажется, реален. Есть телефон, ванна, передняя 12 кв. м., где можно расставить книги. Посмотрим! Если не выйдет, нам дадут в одном доме 2 квартиры в 2 комнаты — это тоже неплохо, а частично даже лучше. Я уже сгораю от нетерпения*.

Целую Тебя, Таточку, привет Евдокии Ивановне. М. б., мы вместе будем справлять новоселье.

Твой Воля.

12.IV.60.

От души Тебя поздравляю и обнимаю и желаю, чтобы в этом новом доме Ты был счастлив полностью**. Не торопись устраиваться, не напрягайся, не форсируй — понемножку все устроится. Я приду не очень скоро,

---

* Эти варианты потом отпали.

** В начале апреля мы переехали с ул. Смирнова в отдельную 2-комнатную квартиру на ул. Ленсовета, 31.

когда можно будет думать, что Ты хоть немного пришел в себя и устроился. Наши перспективы не очень определенны — пока утешают сентябрем (после лета).

Твой Воля.

26 апр. 1960 г.

Дорогой друг! Теперь я уже совершенно уверен, что Ты болен, т. к. от Тебя нет ни слуху, ни духу. Я бы давно заехал к Тебе, но боюсь быть некстати, т. к. дел по устройству у Тебя много. Если к Тебе можно, то не назначай никакого определенного дня, а напиши мне, с какого дня начиная Тебя можно будет проведать. Учти, что я иногда по 2–4 дня в Старожиловке, и что Твое письмо не сразу попадет в мои руки. Я за Тебя в тревоге, которая не дает мне покою.

Поздравляю Тебя и Твою семью с праздником и желаю его хорошо встретить и провести.

Андрюша болел дизентерией. Едва поправившись, он заболел тяжелым гриппом. Сейчас он в городе, поправляется, и мы надеемся, что к 1 мая его удастся вывезти, но полной уверенности еще нет.

Все остальное у нас по-старому, я работаю до полного одурения и отупения.

Не готовитесь ли вы к лету? Мы остаемся в Старожиловке.

Главное — сообщи о своем здоровье.

Твой Воля.

18.V.60.

Соседушка мой свет, здравствуй!

Не удивляйся. Да, мы соседи; т. е. не сейчас, а может быть в недалеком будущем. Во вторник вечером ко мне является курьер с известием, что мне дают квартиру и что мне срочно надо дать ответ. Еду срочно в университет. Узнаю: мне дают квартиру в доме № 197 по Московскому проспекту, из четырех комнат, есть лифт. Номер квартиры сообщить не могут, завтра утром в горисполкоме будут расписывать квартиры по жильцам. Я изъявляю согласие.

На следующий день мы с женой поехали смотреть дом. Это — последний по Московскому проспекту — большой, розовый семиэтажный дом, у конца автобуса № 3. Квартиры, выходящие на проспект, еще не готовы. Квартиры бокового флигеля готовы. Мы обошли весь дом, обнаружили, что квартиры бокового флигеля выходят окнами как на двор, так и на улицу (увидели в одном этаже просвет насквозь), т. е. какое-то солнце где-то непременно будет. Нам сказали, что сторож может показать какую-нибудь из 4-комнатных квартир, но сторожа мы не застали, он бывает только с вечера.

Вот! Ночь провели плохо, сейчас вооружился непроницаемой броней терпения и полагаюсь на авось. Авось и выйдет. Сейчас сижу в Старожи-

ловке и работаю по-прежнему. Как-нибудь, когда дело подтвердится, заеду к Тебе, чтобы узнать детали с ордерами, людьми и пр.

Твой Воля.

24.V.1960 г.
«Дневник происшествий»

24.V. Супружеская чета Пропп — Антипова были на концерте в филармонии. В это время на квартиру явилась женщина и стала осматривать все комнаты. Штаны профессора оказались брошенными на диван, а носки его сына, по обыкновению, на середине комнаты на полу. Увидев это, женщина представилась, как председатель местного комитета профсоюзов университета и всех его 12-ти факультетов. Она заявила, что она пришла, чтобы увидеть квартиру и определить, кому ее можно передать. С грустью было отмечено, что в такую квартиру никто не захочет въехать. Потом заявила, что Проппу надо дать квартиру не на Московском проспекте, а поближе, в районе Ланского шоссе. — Пришедши домой и узнав о происшедшем, супруги Пропп пришли в некоторое уныние и ужинали молча.

25.V. Утром означенная супружеская чета поехала в университет и беседовала с означенной женщиной о здоровье, семье, а также о квартире. Выяснилось, что супруги вполне довольствуются Московским проспектом. Тогда им отвели в доме № 197 квартиру № 126, что на четвертом этаже, состоит из четырех комнат по 25, 20, 12 и 12, а всего из 70 метров. Было строго указано, что они должны представить свидетельство о браке, обзавестись новой мебелью, на что дадут ордер, и вообще вести себя благонамеренно.

После этого супруги (т. е. мы) поехали глядеть квартиру. На это было дано две минуты, т. к. рабочие уходили обедать и запирали. Они настилали паркет. В две минуты было установлено, что две комнаты обращены на юг и две на север, что есть ванна, кладовка и два балкона. После этого мы приехали домой и отдыхали от происшествий. После этого я стал писать Тебе это письмо.

Дорогой мой! Я получил Твое письмо, я также рад, что мы будем соседями, как и Ты. Кажется, дело налаживается. Кандидатами на этот дом значатся будущий декан и секретарь ученого совета, он же председатель факультетской жилищной комиссии. Чтобы смягчить такое самоснабжение, дают квартиру также одному профессору с филологического факультета. Про другие факультеты не знаю.

Теперь Ты в курсе дела, и я знаю, что Ты будешь за меня переживать.

Да, еще! Окна на Алтайскую и на двор, на приличном расстоянии от шумного проспекта.

Очень хочу Тебя видеть, но пока сижу в работе не только по шею, но и по самый нос.

Привет Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

Срок совершенно неизвестен. Весь флигель будет заселяться сразу.

(С Московского проспекта)
18.VI.60

Дорогой Витя! Ты уже давно ждешь от меня ответа. Я не писал, т. к. думал заехать сам. Не выбраться. Со Стасовым все очень интересно, но для живописца поживы нет. Не уезжай, не сообщив мне хотя бы открыточкой. Мы с Елизаветой Яковлевной хотели посмотреть квартиру, но объявление новое гласит: осмотр квартир по документам РЖУ. Контора безнадежно закрыта. Узнали, что мы остались в списке, и что список пошел курсировать.

Твой Воля.

(В Тарусу)
30.VI.60.

Дорогой Витя!

Спасибо Тебе, что Ты меня не забываешь. Я мысленно вижу Тебя в окружении среднерусского пейзажа за холстом и с этюдником. Пейзаж я по Твоим описаниям представляю себе очень хорошо.

У меня большое горе: мой внук Митя (сын дочки Эли, с которой Ты рядом сидел на юбилее) заболел, по-видимому, лейкозом. По письмам я не все могу понять (был в Москве). Она пишет, что после анализов «не все врачи согласились, что это лейкоз». Я не понимаю, как это возможно. По-моему, анализ должен показать все совершенно ясно, и я подозреваю, что врачи ее утешают, не хотят сразу огорошить. Симптомы: увеличение печени, селезенки, всех желез, гнойное состояние горла, следы незамеченного воспаления легких, температура нормальная, аппетит и самочувствие хорошие, ребенок на ногах, гуляет. Первые сигналы — две недели назад.

Ты уж прости, что я Тебе про это пишу, но я ни о чем другом думать не могу.

Нас вызвали в жилищный отдел университета. Характеристика квартиры была слишком мрачна (она совершенно точна и правдива), такую квартиру Университет не может принять. Заставили написать другую и заверить ее. Сказали, что ордер будет числа 10-го. Мы понемножку расхламляемся и увязываемся. Энтузиазм у меня как-то пропал. Я очень устал. Надеюсь 3-го июля сдать последнюю срочную работу, после этого буду свободен.

Привет Евдокии Ивановне, напомни обо мне Татусеньке. Мне интересно знать, прошла ли у нее шишка.

Целую.

Твой Воля.

(В Тарусу)
12.VII.60.
(Из Заманиловки)

Дорогой Витя!

Спасибо Тебе за Твои открытки, а также за участие <...>. С квартирой ничего нового. Ордер обещали «числа 10-го», сегодня 12-е, пока ничего.

<...> Мы потихоньку увязываемся. Я убрал все свои рукописи (нарочно) и теперь бездельничаю на даче. Не делаю ничего. Всю срочную работу сдал. Я сдал два тома по 30 п. л. каждый. Один том сказок и один песен[1]. Состояние несколько томительное. Я ем, сплю, гуляю, читаю.

Моя дочка Эля со своим сыном Митей поехали в Прибалтику с пересадкой в Ленинграде. Я их видел. <...> Оказалось, что одну фразу письма я понял неправильно. Из 5-ти врачей ни один не признал лейкоза. Официальный диагноз: мононуклеоз. Я, однако, все же неспокоен. Я помню, что брат[2], которому оперировали рак, был выпущен с диагнозом «язва желудка». Нет ли чего-нибудь похожего и здесь? Ты как друг мне скажешь правду, я ни одному человеку ее не сообщу. Почему три врача предлагали немедленно госпитализировать, а двое других не настаивали? Безнадежных ведь тоже не берут в госпитали. У него была жестокая ангина с высокой температурой. Состояние крови объясняется как следствие ангины. Друг мой, помоги мне. Я Тебе и в Тебя верю, как в скалу. <...> Состояние мальчика очень неплохое. Он бледноват, но весел, подвижен, играет, шалит и требует прогулок. На прогулках бежит бегом. Твой совет выполняется: его везут в сухое, здоровое место; пески, дюны, море, режим, питание, свобода.

Как страшно, когда такие маленькие болеют! Я все-таки немножко успокоился, но томит, что нет полной известности. Все пять врачей были женщины. Ни одного мужского ума!

Я надеюсь, что Ты проводишь лето лучше, чем я, и что Ты одолеваем муками и радостями творчества. Попроси Евдокию Ивановну сфотографировать дом, разные виды города и реки, Тебя и Таточку. Передай ей от меня привет.

Твой Воля.

Поправка. Ордер получен, приехал Миша это сообщить, несусь в город. Ура!

(В Тарусу)
15.VII.60.

Дорогой Витя! Во вторник получили ордер, в среду собрались, в четверг переехали. Наш новый адрес — Ленинград, М-66, Московский проспект, 197, кв. 126. Скоро (м.б., не очень) напишу. Сейчас пишу из своего нового кабинета.

Твой Воля.

---

[1] Речь идет, видимо, о подготовке к изданию книг «Народные лирические песни». Вступ. статья, подготовка текста и примечания В. Я. Проппа. Л., 1961 («Библиотека поэта. Большая серия») и «Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова», изд. подготовил В. Я. Пропп. М.; Л., 1961.

[2] «Брат...» — Роберт Яковлевич Пропп (1893–1920), старший брат Владимира Яковлевича.

(В Тарусу)
21.VII.60.

Дорогой Витя! Большое Тебе спасибо за обстоятельное и содержательное письмо. Ты написал именно то, что нужно. Я полностью убедился, что врачи ничего не скрывают, и обрел полное душевное равновесие. Я всегда верил в Твои врачебные способности и теперь вижу, что не ошибался. <...>

Я на новой квартире! Все уже убрано, т. е. ничего не лежит на полу; насколько хватило стеллажей, книги расставлены. Другие лежат аккуратными штабелями, рассортированы и приготовлены для установки на стеллажи, которые еще будут заказаны. Со вчерашнего дня у нас полный порядок, и я смог сесть за стол, на котором не лежит ничего лишнего, чтобы написать Тебе письмо. Я крепче и выносливее, чем это кажется. Я пилил, сколачивал, подымал доски, книги и т. д. по многу часов в день, но не торопясь и с перерывами. Надумал ли Ты продавать свой стол? Если да, то напиши, я буду ждать Твоего возвращения, если же нет, тоже напиши, тогда я начну искать уже сейчас. Про квартиру не буду писать ничего, Ты увидишь сам. Вчера вечером я в первый раз принял теплый душ в собственной квартире! Уже сданы и приняты документы на прописку. Врезан почтовый ящик, и первое письмо было Твое, и притом такое для меня хорошее и важное. На дачу пока не езжу — еще нет замка и ключей. Из своего кабинета я вижу горизонт и вдали Пулково. Воздух чистый, в комнате даже попадаются комары — для чего же мне ездить на дачу? Но скоро поеду на два-три дня отдохнуть. Пространство перед нашим домом быстро превращается в сад. Трава уже всходит, дорожки посыпаны песком, убирают мусор. К Твоему приезду все будет готово <...>.

Пока до свиданья. Я чувствую себя во всех отношениях превосходно.

Целую Тебя и обнимаю.

Твой Воля.

(В Тарусу)
9 авг. 1960 г.

Дорогой Витя!

Давно Тебе не писал. Это происходит потому, что наша новая квартира стала обнаруживать некоторые отрицательные свойства. Основное из них — она имеет свойство быстро и основательно оглуплять своих обитателей. Оглуплять и инфицировать ленью. Самочувствие при этом превосходное. Тем опаснее эта новая болезнь, т. к. нет никакого желания излечиться от нее. <...>

Я очень рад, что Ты уступаешь мне свой стол. <...> В обмен я Тебе стола дать не могу. Наш маленький стол очень плох, мы хотели его ликвидировать, но его у нас вымолила Анастасия Яковлевна[1]. В магазинах часто бы-

---

[1] Анастасия Яковлевна Антипова (1897–1972) — свояченица В. Я. Проппа, сестра его жены.

вают маленькие удобные и красивые мужские столы германского производства с одним шкафиком. На вырученные деньги Ты купишь такой стол (около 600 р.). Мы переезжаем 1 сентября в город.

Вот пока и все.

Не забудь передать Евдокии Ивановне и Таточке привет.

Твой Воля.

(В Тарусу)
19.VIII.60.

Дорогой Витя! Наши письма разошлись в пути. Спасибо Тебе за такое подробное письмо. Я опять в состоянии напряженности. Книга в сентябре пойдет в набор. Редакция потребовала разных технических изменений рукописи. Опять сижу. <...> Я купил пианино.

17.III.61.

Дорогой Витя! С большим интересом читал Твое письмо. Мне тоже захотелось ездить, как-то хоть на время выбраться за пределы Ленинградской области. Вряд ли это выйдет, но мечтать можно. Мечтаю о звонницах, старых церковках на холме в березках и прочих вещах. Я выздоровел. Только вот не молодею что-то.

Твой Воля.

(В Тарусу)
20.VI.61.

Дорогой Витя!

Я по Твоим письмам, рассказам и фотографиям очень хорошо представляю себе Тарусу и вашу жизнь. Там, конечно, очень хорошо. Меня даже потянуло туда. Есть даже гостиница, и притом чистая. Но это вряд ли осуществится. Я каждый день работаю над книгой, и пока я ее не сдам, я никуда не поеду, а когда я ее сдам, я не знаю. Сейчас начались экзамены, экзаменую каждый день. Жизнь у меня заполнена, и я вполне доволен ею. Мечтаю отдохнуть, т. е. гулять, ничего не делать, снимать, лежать в шезлонге.

Смерть Миловского[1] меня не удивила. Он мне уже тогда показался странно дряхлым, несмотря на фото и машину. Смерти я не боюсь, я пожил достаточно, дети мои устроены. Она — закон природы.

Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.
(Пушкин)

Миловский, наверное, все-таки допустил какую-то неосторожность или неумеренность. <...>

[1] Миловский — неустановленное лицо.

Хотя мы с Тобой видались не очень часто, но все-таки без Тебя как-то скучновато. Возможность в любое время зайти к Тебе, чтобы непринужденно часок побеседовать, уже имела какое-то значение.

Евдокии Ивановне и Таточке привет.

Твой Воля. <...>

(В Тарусу)
Ленинград, 30.VI.61.

Дорогой Витя!

Я Тебе уже не раз говорил, что с сегодняшнего дня я освобождаюсь и смогу вздохнуть. И потом через 2–3 дня все летело вверх тормашками. Так что и сегодня Ты можешь мне не верить, что у меня начался отпуск, что в университет я до сентября ни ногой, кроме как для получения отпускных денег, что совсем не затруднительно. <...> В отпуск я не буду сплошь лежать в шезлонге, а буду кончать книгу, и предвидятся и всякие другие работы по той же части, но это для меня уже не обременительно, а наоборот. На днях снесу машинистке последнюю порцию, после чего берусь за фотоаппарат и грибы, а также за внука, с которым я почти что раззнакомился, так как он на даче, а я в городе. <...>

В нашем доме заканчивают оборудование большого магазина, уже есть шикарные прилавки, витрины выложены черным стеклом и т. д. Я мечтаю купить в этом магазине замок для нашей двери, так как их нигде нет.

У нас есть приятная новость: нам поставили телефон. Запиши номер: К-7-12-59. Мало ли на что он Тебе пригодится. Когда у нас не было телефона, нам казалось, что мы без него просто не можем жить. А теперь я не могу придумать, кому бы мне позвонить. <...>

Я немножко обеспокоен тем, что от Тебя давно ничего нет. Здоров ли Ты? Пишется ли Тебе? Целую и обнимаю. Твоим дамам передай мой самый сердечный привет.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ленинград, 14.VII.61.

Дорогой мой друг!

Ты меня не забываешь и пишешь мне, я тоже Тебя не забываю, но не пишу. Причина же этого в том, что я опять пребываю в состоянии самой крайней напряженности и спешки. В тот день, когда я кончил свою книгу и сдал ее машинистке, с чем надо было очень торопиться <...>, я получил из типографии Академии наук корректуру сказок, которые я редактирую, — я Тебе об этом говорил. Корректура чрезвычайно сложная и кропотливая. Я просидел две недели в городе в самом напряженном труде. Вчера днем я ее кончил, а вечером мне звонит машинистка, что рукопись перепечатана. Теперь буду править ее, что легче, чем корректура чужих сказок. Далее из

журнала «Вопросы литературы»[1] просят написать рецензию, а из Дебреценского университета — дать им что-нибудь для их ежегодника. Далее... но, впрочем, хватит. В промежуток я ездил в Москву на защиту диссертации, по которой я выступал оппонентом. Потерял два дня, хотя и было интересно. Вот так мы и живем.

Поздравь, пожалуйста, милую Евдокию Ивановну с прошедшим днем ее рождения. Я желаю ей быть здоровой, довольной и набрать много грибов, ягод и наловить рыбы. Если бы я был с вами, я принимал бы в этом участие с большим энтузиазмом, особенно насчет грибов. Впрочем, из Петрозаводска мне пишут, что там заблудилась в лесу мать одной университетской работницы. Был мобилизован взвод солдат, но ее не нашли. Через сутки она вышла из леса сама, пройдя 24 километра по прямой. Так что будьте осторожны.

Приехала сестра Альма, но она пока в санатории. Приехал еще мой племянник со своим сыном. Ничего, как-нибудь устроимся. Кстати: Москва произвела на меня впечатление полнейшей, пронизывающей весь город безалаберщины. Там на моих глазах поезд с Ленинградского вокзала ушел на пять минут раньше срока, так что проводники бросались в поезд на ходу, а провожающие выскакивали. И так все. Так была организована защита. Так было и на банкете. Стульев и приборов было 10, а приглашенных было 16. Тем не менее все как-то устроилось, и все были веселы и напились. Вина и закусок тоже не хватало, так что хозяйка во время ужина бегала по магазинам. А пишу я это потому, что сейчас и мы не знаем, как мы расположимся, когда одновременно приедут все. Но как-нибудь обойдется.

Извини, что я Тебе пишу на машинке (по-моему, это невежливо), но это упрощает и ускоряет дело.

В Репино я был раза три. Но в общем все это не так страшно. Отдохнуть, конечно, нужно. Как-нибудь отдохну. Самое трудное все-таки позади.

Жму руку.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ленинград, 25.VII.61.

Дорогой Витя!

Приехав с дачи, я несказанно обрадовался, увидев от Тебя письмо, и еще больше обрадовался, когда прочитал его. Спасибо Тебе за Твое ласковое, доброе, гостеприимное предложение побывать в Тарусе. Мне это и самому кажется очень заманчивым, и я играл с этой мыслью. Но придется отложить. Я кончил, правда, все срочные дела. Целых три дня я упражнялся в великом

[1] *Пропп В. Я.* Проблемы исторической песни // Вопросы литературы. 1962. № 2. С. 207–209 (по поводу книги: *Путилов Б. Н.* Русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. М.; Л., 1960).

искусстве полного ничегонеделания. Я валялся в постели до 10, ел, пил, опять спал, лениво читал беллетристику, гулял, слушал шум леса и моря, смотрел за внуком и чувствовал блаженство. Я с успехом нечто подобное мог бы продолжать все лето где угодно. Но беда вся в том, что срочная работа кончилась, а не срочная, но такая, которую спокойно можно (и нужно) сделать к 1 сентября, осталась. Приходится наезжать в город. Я уж не буду говорить Тебе, в чем эта работа состоит, она меня не тяготит, но и не отпускает.

Мне очень дорого, что мои успехи Тебя радуют. Сам я к ним довольно равнодушен и отдал бы их за обыкновенное спокойное семейное счастье. Нас шестеро очень разных людей, и покоя дома я не имею. Я могу, правда, замкнуться в своей комнате, но счастье не в книгах. Я часто вспоминаю о том, что Ты мне писал о своей бесполезности, но я Твоих мнений не разделяю. Ценность человека определяется не его делами, а тем, что он из себя представляет. Есть академики, которых я презираю, и есть самые обыкновенные люди, с которыми мне легко и хорошо, потому что это настоящие люди. Сам я себя к таким не причисляю, но мерило у меня очень точное и определенное.

Но я, кажется, уже начал философствовать, а это скучно, философию (всякую) ненавижу, люблю жизнь.

Поэтому перехожу к более интересным материям. Таточкина открытка меня умилила. Я ей пишу отдельно, надеюсь, что оба письма придут вместе. Я сквозь каракули (которые я очень хорошо сразу разобрал без Твоих стрелок, на которые я сперва даже не обратил внимания) прочел все ее существо маленькой девочки, которая так старательно выводит буквы и знает, что ее поймут. <...>

Обнимаю Тебя и целую. Привет Евдокии Ивановне.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ленинград, 27.VI.62.

Дорогой мой Витя!

Я очень обрадовался Твоему письму. Отчасти завидую Тебе. Ты умеешь выискивать и смотреть интересное. Я не знал, что «Дом Ростовых» сохранился. В Донском монастыре я тоже когда-нибудь побываю, и не столько для могил, сколько для остатков русской старины, которую я так люблю, как будто это мое родное. Я хочу также раньше, чем помереть, увидеть Троице-Сергиеву лавру. Я мысленно ходил с Тобой. Моя жизнь здесь совсем другая. Я не могу порадовать Тебя описанием мест, где я бывал. Но если Ты мне пишешь о тех пространствах, где Ты гулял, я могу только прислать Тебе кусочек своего времени. Вчера приехал Миша проездом (вернее — пролетом) на Дальний Восток, куда он едет по поручению Института зоологии АН. Это было вчера вечером. Сегодня же день мой был таков: утром я смотрел докторскую диссертацию одной милейшей старушки, которая, однако, в докторицы не годится, и размышлял о том, как бы сделать

так, чтобы ей было не обидно. Тут вошел Миша и просидел у меня часа два, и мы с ним по-приятельски говорили о чем угодно. Наши дети для нас все-таки потемки, мы мало их знаем. Тут я его ближе узнал, и он мне очень понравился. За грубоватой внешностью и саркастическим юмором кроется много души и мыслей.

Дальше я докторскую читать не стал, а поехал в университет получить на руки разрешение печатать свою статью в ГДР. Обратно ехал через Кузнечный рынок, где у так называемых спекулянтов купил кило огурцов, чтобы собственноручно сделать для Миши салат, так как в своем Заполярье он не имеет свежих овощей. По дороге с рынка набрел на книжный киоск, где неожиданно для самого себя купил перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля», который полностью никогда не читал. <...> Открыл Рабле и сразу увидел, что переводить это совершенно невозможно, хотя перевод и неплохой. На одной из страниц нарисован контур бутылки, а внутри этого контура нечто вроде похвалы пьянству. Мне захотелось выпить.

Вечером опять читал докторскую, а сейчас пишу Тебе письмо.

Узнал, что огурцы я купил зря, ибо Миша с Луизой пошли в Сад отдыха слушать японский джаз, а потом пойдут ужинать в ресторан. Ну, ничего. Может быть, они съедят огурцы еще и после ресторана.

Вот так мы и живем. До 2-го (отпуск) я занят каждый день и в Репино не бываю.

В Кижи я, кажется, все-таки поеду. Пока прочел все нужное у Грабаря. Ну, будь здоров, кланяйся своим дамам.

Погода холодная и дождливая, купаться и думать нельзя.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ленинград, 5.VII.62.

Дорогой мой друг! Ты, как всегда, обрадовал меня своим письмом с добрыми вестями. Передай мое почтительнейшее и нежнейшее поздравление Твоей хозяюшке, и пусть она будет здорова и весела. И еще я желаю вам всем хорошей погоды, купанья, грибов и ягод. Спасибо Тебе за приглашение. Меня очень тянет, но есть одно препятствие: я еду в Кижи. Мне звонили, чтобы 6.VII, т. е. завтра, в 10 часов утра я был на роскошном «Циолковском». Три дня он будет стоять в Ленинграде, а я буду жить как бы в плавучей роскошной гостинице, а тронемся мы ночью в воскресенье. Во вторник 10.VII будем в Петрозаводске (11 часов стоянка), в среду в Кижах (12 часов), в четверг в Медвежьегорске (лесозавод) и в Повенце (зверосовхоз), в субботу — Свирьстрой, в воскресенье и понедельник — Валаам, во вторник — Старая и Новая Ладога, в среду 18.VII Орешек и Ленинград. Всего 13 дней со стоянкой в Ленинграде. Как жаль, что не будет Тебя! Я постараюсь не быть букой и разговаривать с людьми. Ты мне можешь не писать до 18-го. Условия для меня идеальные: пароход стоит долго, хочу — иду со всеми на экскурсию, хочу — гуляю один или сижу на пароходе. Се-

годня день хлопотливый. Стираю носовые платки, заряжаю аппарат и т. д. и т. д. Чувствую себя счастливым. Третьего дня получил получку сразу за 2 ½ месяца, вчера был выпускной вечер, на котором раздавали дипломы и меня заставили говорить речь, а сегодня я первый день по-настоящему свободен (кроме стирки носовых платков).

Тебе с дороги буду писать открытки.

Жму руку.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Воскресенье, 8 июля /1962/

Дорогой Витя! Первый день нахожусь в необычайных для меня условиях на комфортабельном «Циолковском». Стоим в Ленинграде, публика ходит в Эрмитаж (а больше, как я заметил, в Пассаж), ездят в Петергоф, а я гуляю по палубам и гляжу на Неву и на небеса. Корабль изумительный, немцы продумали и предусмотрели все детали. Занавески, например, ходят не на кольчиках, а на колесиках по пластмассовому рельсу. Но одного не предусмотрели немцы: как русские будут пользоваться этим чудом. Музыкальный салон, душевые кабины (на каждом этаже по две), библиотека, парикмахерская, ванные, почтовое отделение — все это хронически заперто и бездействует. Уборные, к счастью, открыты круглосуточно. Палубы тоже почти не нужны. На них никто не гуляет и не сидит. Вся публика, если она не в городе и не в ресторане, сидит в каютах, валяется на койках, дуется в преферанс. Да, на корме еще принимают солнечные ванны.

Сегодня ночью тронемся. Примерно через 36 часов будем в Петрозаводске, где простоим 11 часов. Там у меня есть друзья, у которых я побываю.

Предчувствую белую ночь на Неве, на пароходе. Лягу поздно.

Кормят неважно: свинина, баранина, гусь в разных формах. Из супов я выуживаю только картошку или крупу, а из вторых ем только гарниры. Был отличный повар, но пьяница. Теперь другой, трезвый, но бездарный. В отместку за увольнение повар-пьяница выбросил директора ресторана за борт. Это мне рассказывала начальница рейса. Впрочем, директор существует и посейчас.

Мне было объявлено, что я еду гостем, и этим определяется мое юридическое положение.

Говорить мне совершенно не с кем, я уже три дня как молчу и чувствую себя при этом неплохо. Сегодня начал скучать, надеюсь, что завтра все это пройдет от видов Свири.

Одно здесь плохо — везде ковры, притом плохие. Каждый день их чистят пылесосами, но наша публика навела на них такие разводы, что никакие пылесосы их не отсосут.

Следующее письмо будет из Петрозаводска.

Жму руку.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ладожское озеро, 9.VII.62.

Дорогой Витя! Держись, я собираюсь написать Тебе длинное письмо! Из Ленинграда мы тронулись поздней ночью вчера. Я вышел на палубу. Белая ночь, но силуэт города с домами, заводами, вышками, огнями — почти черный. Такого я не видел никогда и никогда больше не увижу.

Теплоход идет настолько плавно, что не всегда можно сказать, стоит он или движется. Я хорошо уснул и хорошо выспался.

Утром рано я увидел через окно Ладожское озеро. Оно сверкало на солнце и было тихо. Но это все же не море. Морская гладь все же как-то дышит, а здесь гладкая, везде одинаковая зыбь. А через час солнце спряталось, и стало, может быть, еще лучше. Небо и вода стали серыми. Но в этом сером тоже столько разных оттенков, и на небе и на воде, что это лучше всяких ярких красок. Это наше, северное небо, и только северянин может понять эту красоту, а Ты еще и художник, так что Ты поймешь. Но никакая палитра этого передать не может — да и незачем передавать, это надо видеть и дышать при этом воздухом озера, северным воздухом, тихим и немного влажным.

Въехали в Свирь. В низовьях она широка, как Волга, потом берега сближаются. Ты видишь бесконечные ковры светло-зеленых камышей, за ними — лес. Где повыше, стоят деревушки с новгородскими избами, — белые рамы в бревенчатых срубах. Сколько в России земли и леса! Вода в Свири поднята шлюзами — это грандиозные сооружения, которые еще предстоит увидеть. Избы стоят и около самой воды, к ним привязаны лодки.

Проехали Лодейное Поле. Стояли час. Города не видно. Видны пакгаузы и прочие постройки. Лодейное Поле — царство бревен. Везде склады, спуски. Здесь вяжут огромные плоты и спускают их вниз.

Видел Свирьстрой. Прошли шлюз. Это — совершенно грандиозное сооружение. Впечатление на всю жизнь. Фотографировать нельзя. Нам по теплоходному радио рассказали историю сооружения Свирьстроя.

10.VII.

Онежское озеро встречает неприветливо. Дует ветер, небо на горизонте красное, выше — лиловое. Наше судно оказывается еще и очень остойчивым. Плавная качка едва заметна. Волны разбиваются о борт, брызги летят на палубу. Берегов не видно. Сейчас раннее утро. В 10 часов будем в Петрозаводске, откуда я и отошлю это письмо.

Будь здоров, кланяйся всем своим.

Твой счастливый Воля.

(В Тарусу)
11.VII.62.

Пишу Тебе с острова Кижи в состоянии экстаза. Я счастлив, что мои старые глаза еще видели это. Напишу еще письмо, а пока всем привет.

Воля.

(В Тарусу)
11.VII.62.

Дорогой Витя! Вот и кончился кижский день. Сейчас вечер, ночью поедем дальше. Собственно передать то, что я видел, — невозможно. Для меня это не «архитектурный ансамбль», а выражение самой сущности России, той сущности, которая когда-то привела меня к ней. Это выросло из земли. Это — от земли. Город не мог бы создать такого. Полная гармония и совершенство форм, созданных совершенно бессознательно, без чертежей, расчетов и планов — гениальность в каждом углу, в каждом бревне. Именно так. Когда его обшили досками, он потерял свой колорит. Но я не буду ни философствовать, ни описывать. В русской жизни это прошло. Но это еще не страшно. Страшно, что прошло понимание. На экскурсию смотрят как на скучную обязанность, а там игры, танцы, увеселения и рыбная ловля; если бы показывали историческую груду камней, эффект был бы совершенно тот же.

У причала кроме «Циолковского» стоял теплоход из Ленинграда (мой считается петрозаводским). Там оказались люди, которые меня узнали. Меня познакомили с директором музея. Он водил экскурсоводов и давал им инструкции, как и что говорить. Это был ужас и кошмар. Он ничего сам не знал и не понимал, не знал ни одной иконы, все перелистывал записную книжку, разыскивая там их мудреные названия. Он только все внушал, что святые созданы людьми и что знать их жизни совсем не надо, а содержание того, что на иконах изображено, рассказывать не следует.

Нас записали на экскурсию на шлюзы и ГЭС. Это будет в субботу. Записали паспорта и пр. Я увижу не только шлюзы и их устройство, я увижу турбины, что удается не всем смертным.

Как жаль, что мы не вместе.

Твой Воля.

(В Тарусу)
13.VII.62.

Дорогой Витя! Пишу Тебе, сидя за своим столиком в каюте. Справа — большое квадратное окно, из него я вижу в дымке нежно-голубой, бледный горизонт с розовой подцветкой от облаков и солнца за ними, и воду почти такого же цвета до самого горизонта. Слышу шум воды, разрезаемой теплоходом. Моя каюта первая от носа.

Ночью покинули Медвежьегорск. Это — самая северная точка Онежского озера. Теперь идем обратно и сегодня войдем в Свирь уже вниз по течению. Остановка будет на Свирьстрое, где нам по специальному разрешению покажут шлюзы и электростанцию. Дальше мы пойдем на Валаам, и любители туризма уйдут с палатками и котелками на двухдневный поход, а Твой слегка поседевший друг будет бродить по каменистым и лесистым берегам. Потом мы подымемся по Волхову и доедем до Новой Ладоги, а на катерах нас повезут в Старую Ладогу. Тут я приму участие. В ней я был и вспоминаю ее с нежностью. Потом опять в Ладожское озеро, Шлиссельбург, Нева, Озерная пристань, автобус 11, Московский проспект 197, кв. 126. Мы едем обратно, и как ни хороша моя поездка, мне как-то удивительно приятно, что мы едем обратно. Через пять дней я буду дома (точнее — 4 дня, 20 часов, 35 минут). Я снял три катушки, т. е. сделал 3×36=108 снимков, и начал 4-ю. Если будет 10 % удачных, то по окончании рейса у меня будет (надеюсь) 12–15 приличных снимков.

Жму руку, кланяйся Евдокии Ивановне, поцелуй Татусю.

Твой Воля.

(В Тарусу)
14.VII.1962 г.

Дорогой Витя!

Проехали Свирицу и входим в Ладожское озеро. На Свирьстрое мы стояли часов шесть. Я записался на экскурсию на ГЭС, но когда теплоход остановился, я увидел, что это от пристани далеко. Тут я смалодушествовал, решил, что с туристами не дойду с своей стенокардией. Но идти хотелось, ужасно хотелось! Неужели уж я такой инвалид? И вдруг идея. Я потихонечку пойду вперед один за час до объявления срока, а туристы меня догонят. Так и сделал. Тихонечко в одиночку прогулялся до ГЭС, и тут туристы меня догнали. И я не жалел, что пошел. После кижской красоты сплошная, непостижимая техника. Турбин, которые я по наивности думал увидеть, я не увидел, т. к. они под водой. Нам показывали огромные щиты, которые можно опустить и изолировать турбину от воды, когда это понадобится. Зато видели четыре мощных генератора. Самое замечательное — это пульт управления. Всего эту огромную станцию обслуживают три человека. Во всем этом, и в особенности в воздушных кружевных вышках, есть своя, совсем особенная красота. К сожалению, фотографировать не разрешают. Нас вел парень в берете, с каким-то плоским, но необычайно волевым лицом, весь в веснушках. Этот парень обладает поразительными знаниями, знает каждую кнопку, каждый рычаг (а их сотни), так и сыплет цифрами и техническими терминами. Экскурсия была трудная, вверх и вниз по лестницам на огромную высоту. Многие обмахивались платочками, а я — ничего, только немножко устал. Зато я обогатился на всю жизнь. Кстати: Свирьстроем можно управлять с Марсова поля из здания Ленэнерго. Можно остановить, пустить, регулировать мощность — все, что угодно.

Ладожское озеро не совсем спокойно. Волны бьют о борт. Началась легкая качка, но писать еще можно.

Еще у меня впечатления от людей. Большинство серяки. Но есть необыкновенные люди. С такими же серыми лицами, как и у всех. После Свирьстроя завязался разговор между одним студентом, одним парнем рабочего вида и мной. Этот парень выспрашивал у студента все до мельчайших подробностей. Он сказал: я не электрик, но интересуюсь вот электротехникой. Но таких мало. Есть очень сердечные люди. В Петрозаводске состав пассажиров весь сменился. Я видел, как встречают с объятиями, поцелуями, выражением счастья на лице. Потом видел, как провожают, прощаются, целуются. А ведь всего на две недели! Женщин привлекательных нет совсем. У большинства на лице написан скверный характер. У молодых — один вид скверного характера, а как перевалит за 40 — то уже другой.

Утром проснемся на Валааме, надеюсь найти там почтовый ящик.

Ну, будь здоров, не позабудь поприветствовать свою хозяюшку и дочку.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Валаам, 16.VII.1962 г.

Дорогой Витя! Кончился второй день пребывания на Валааме. Никакого почтового ящика тут не оказалось, и письмо это я опущу на Новой или Старой Ладоге. Сегодня ночью тронемся, и я начну приближаться к самому Ленинграду. Кататься хорошо, но если бы Ты знал, как хорошо приезжать!

Валаам не совсем тот, каким я его себе воображал. Он очень хорош и живописен, но Финляндия и река Вуокса лучше. Это не русская одухотворенная природа. Даже заболоченные низовья Свири хороши. Есть красота в болотах вообще. А здесь — природа не русская и не финская. В ней нет ни русской души, ни финской. Поэтому здесь и не могла возникнуть такая слитая с природой архитектура, как в Кижах. Здесь монастырь — неинтересная инженерная постройка — и только.

И все же, и все же: я гляжу из окна и вижу кончик утесистого острова и кончик другого, мягко-холмистого, и между ними — небо в закате и сверкающую воду, и так хорошо, что я бы глядел и глядел. Я здесь бродил вдоль берегов, но это несколько затруднительно, т. к. берега отвесные, и приходится эти откосы обходить, лазать вверх. Ходил вглубь по плохим дорогам, заложенным монахами. Леса и леса, очень густые и темные, почти сплошная ель.

Первый день был омрачен тем, что весь день гремело радио. Ни спать, ни читать, ничего нельзя делать. Но сегодня — о мое счастье! побудка была не по трансляции, а человеческим голосом — радио испортилось! И только сейчас, в 9 ч. вечера оно вдруг поправилось, и я услышал вальс Штрауса из двух мощных репродукторов, которые слышны километров за пять. Терпеть надо еще три часа, в 12 ночи все кончается. Жду этого момента с вожделением.

Ура! Опять испортилось! Вдруг перестало. Тишина соответствует вечернему небу и верхушкам елей, которые тянутся вверх и видны против неба.

Я очень хорошо поправился, отдохнул и окреп. Лазал по кручам осторожно, но легко и уверенно.

Завтра Волхов и Старая Ладога, а послезавтра Нева и пристань! Я мысленно уже укладываю свой саквояж. Только вот Тебя еще не скоро увижу. Надеюсь, что в городе застану от Тебя письмо, и что Ты здоров и благополучен.

Твоей семье сердечный привет.

Твой Воля.

(В Тарусу)
22.VII.1962 г.

Дорогой Витя!

Пишу Тебе уже из Репино. Здесь меня ждало письмо, в котором Ты пишешь о том, как Ты «врос» в Тарусу, а через день после моего приезда пришел и Твой ответ на мои дорожные письма. Собирать грибы — большое удовольствие. У нас самый большой энтузиаст и мастер этого дела — Андрюша. Он маленький и глазастый, и перед носом у нас извлекает из-под листьев и моха самые молодые и крепкие грибы — белые и красные. Собирать — да, но есть? Тяжелая еда! А чистить, по-моему, наказание для хозяек. Это им за грехи.

Я не буду писать Тебе о последних своих впечатлениях — о Старой Ладоге и Шлиссельбурге. Ты увидишь снимки. Погода была серая, и снимки поэтому несколько вялые. Ты был в Ладоге только во время войны, и тогда Тебе, конечно, было не до старины. Сейчас там ведутся большие восстановительные работы. Стены крепости возводятся заново. Остров Орешек с его крепостью и тюрьмой произвел на меня угнетающее впечатление. Тюрьма, слава богу, разрушена, остались стены с зияющими окнами и остатками решеток.

Я забыл в городе очки, и поэтому читать то, что написано, не могу. Но я из-за очков опять вынужден ничего не делать. Я занимаюсь этим полезным делом уже второй месяц. Меня тянет к работе.

Здесь все цветет. Маки, настурции, душистый горошек, анютины глазки — все. Георгины поднялись. Трава местами выше моего роста. Но огород не удался: огурцы и укроп не взошли совсем, редиска пошла в семена, и только горох растет буйно и цветет.

Больше мне писать не о чем.

Будь здоров.

Твой Воля.

Какое сегодня число? Убей меня — не помню. Воскресенье. Отсюда Ты видишь, что я веду беззаботное существование. Завтра мы с женой едем в город. Мы решили спустить часть сбережений и немножко приодеться и украсить наш быт. Это будет понедельник.

Не 22-е ли? Если судить по «Палате № 6», где пациента спрашивают, какое сегодня число, чтобы узнать, не сошел ли он с ума, то я явно умственно нездоров. Впрочем, меня это не беспокоит.

(В Тарусу)
Репино, 30.VII.62.

Дорогой мой Витя!

Я очень рад, что мои письма Тебе понравились. Я знал, что Ты меня поймешь и что Ты не только как бы увидишь то, что видел я, но и поймешь, как я видел. Но «итогового письма» я Тебе не написал и не напишу; итог состоял в том, что я был встречен на пристани своей милой женой, итог, вполне достойно завершающий мою поездку. И теперь Ты писем от меня не очень жди, прежде всего потому, что я обленился до самой последней степени. У меня нет ни малейшего желания умственно трудиться, мало того — я даже не угрызаюсь, а, наоборот, очень доволен своим падением. Была вспышка прилежания, но сразу как-то исчезла. Писать же собственно не о чем. Мы живем, как жили. Недавно нас всех поразил Андрюша. Ему подарили книгу, перевод с английского (англичане умеют писать для детей), под названием «Утенок Тим», 42 стр. прозой с картинками. Он ее очень любит и часто просил ее читать. Раз бабушка опять предложила прочесть эту книгу, но он сказал: «я сам». Уселся и слово в слово «прочел» на память все 42 страницы! И перелистывал, где нужно. Я не знаю, радоваться этому или нет. Рассказывать, как Твоя Татуся, он совсем не умеет, но наизусть шпарит целыми книгами.

Завтра мы едем в город. 2-го августа приедет моя старшая сестра Эля, 3-го приедет Луиза, 5-го приедет младшая сестра Альма. Мои сестры уедут в Прибалтику. 7-го приедет Миша и через 2–3 дня уедет в Дальние Зеленцы*, куда он на этот раз прихватит Луизу до конца ее отпуска. Так что неделю с лишним я буду в городе.

Я купил себе летнее пальто, а жена — костюм. Мне тоже нужен костюм. Но во всем городе нет темно-серых шерстяных костюмов моего размера. А мой уже начал лосниться. Бегать мне надоело. Как-нибудь отпарю свой теперешний и буду в нем щеголять.

Погода у нас отвратительная. Ночью было градусов 6 или 7, и я мерз. Сейчас на воздухе 11 градусов, а в комнате 14. Никто не купается, кроме энтузиастов, каковых мало. Андрюша этим летом не купался ни разу. И, видно, не придется.

Ну, все.

Всем Твоим привет.

Твой Воля.

---

* На Кольском полуострове.

(В Тарусу)
11 августа 1962 г.

Дорогой мой друг!

Уже давно меня подмывает написать Тебе письмо, но все было некогда. Приехала моя старшая сестра Эля 1-го августа, а 5-го прилетела другая сестра, а 6-го прилетел Миша. <...> Миша приехал с воспалением легких. Он хотел через 2 дня ехать дальше, теперь его положили на 2 недели. Сейчас все, кроме него, выздоровели, сестры уехали в Усть-Нарву к своим подругам, жена с Андрюшей на даче, а я в городе в качестве сиделки или сестры у своего сына. Больной он покладистый и с юмором, и ходить за ним легко. Он поправляется, сегодня прекратили инъекции, он начал бродить по квартире.

Хорошо, когда гости, но когда все больны, то это так себе. Теперь стало легче, и вот я пишу Тебе.

Моя лень давно и основательно прошла, я опять работаю, втянулся в работу, и когда работать почему-нибудь не удается, меня это беспокоит. Встаю рано и сразу за стол. Работа ладится. <...>

Незаметно пришла осень. Скоро мы с Тобой увидимся. Наверное, вас уже тянет в город. Погода все такая же. Я жду Тебя начиная с 27-го августа. Сговоримся так, что Ты придешь ко мне. Это проще, потому что я дома, и Ты меня застанешь, а застану ли я Тебя — это еще неизвестно.

Здоровы ли вы все? Это письмо, вероятно, последнее в этом сезоне, но Ты успеешь еще на него ответить.

Ты меня опять зовешь в Тарусу. Спасибо, мой дорогой. Но сейчас уже поздно, погода не располагает, я уж посижу у себя на Московском. <...>

Обнимаю Тебя, всему Твоему семейству нижайший поклон. Жду письма, а вскоре за ним и Тебя.

Твой Воля.

(В Тарусу)
18.VIII.62.

Дорогой Витя! Мысли упорно бегут к Тебе. Сижу в городе. Выздоровление сына идет не так, как надо. Воспаление упорно держится, гнойный кашель. Но настроение у него хорошее. Я кончил работу. Читаю диссертацию — не очень интересно. Гуляю по Московскому, Алтайской, Ленсовета. От Тебя писем давно не было. Ты еще успеешь мне написать. Все ли у вас хорошо?

Твой Воля.

5.X.1962 г.

Дорогой мой Витя!

Третьего дня, придя к Тебе поздно вечером, чтобы хотя бы узнать, как Ты себя чувствуешь, узнал, что Тебя увезли в больницу. Я желаю Тебе,

милый мой, чтобы Ты там скорее поправился. Тебе без Евдокии Ивановны будет хуже, но Ты будешь под неослабным медицинским надзором, чего дома Ты не имеешь. Да и хозяйке Твоей будет полегче. Что бы было, если бы она свалилась? А это совсем не исключено. Евдокия Ивановна говорила мне, что Ты будешь мне писать или звонить, но Ты этого не делаешь. Уж не хуже ли Тебе? Сегодня зайду к Тебе, чтобы узнать, как Ты, и занести это письмо.

Писать о себе нечего, да и не хочется. Сперва я должен узнать, как Ты.

Целую Тебя.

Твой Воля.

22.X. 11 ч<асов> у<тра>.

Дорогой Витя! Что с Тобой? Не хуже ли Тебе? Ты обещал быть в субботу, и мы Тебя поджидали, ждали и в воскресенье — но Ты не пришел. Я бы забежал к Тебе, но очень занят, переутомлен и чувствую себя весьма скверно (не говори жене). Черкни мне строчку-две и сообщи о себе или загляни. Помешать Ты мне никак не можешь, наоборот, я с Тобой отдохну. Среда у меня вечером занята всегда, четверг и пятница не всегда.

Жму руку.

Твой Воля.

25.XII.62.

Дорогой Витя!

Так вот в чем дело! Ты опять заболел, но пишешь о своей болезни очень таинственно и непонятно. И кто принес открытку? И почему она не позвонила к нам?

Из симпатии к Тебе я тоже заболел. У меня ангина. Кроме того, всякие другие расстройства. Питаюсь в основном фталазолом, сухарями и крепким чаем. Вместе с нарывом и переутомлением получается букет, весьма ощутимый для сердца. Пока сижу дома, но завтра потащусь к хирургу. У Тебя до 1-го января не буду, а после 1-го забегу по настроению.

Напиши мне точнее, что с Тобой. Старики, знаешь, любят говорить о своих болезнях и умеют внимательно и с повышенным интересом слушать. <...>

Телефон у меня испорчен, поэтому никто не звонит, меня не зовут на собрания, советы, не просят консультации, отзывов и рецензий. <...> Я вкушаю мир и спокойствие. Читаю с повышенным наслаждением комедии Островского. Он выше Гольдони[1] и Гоцци[2].

---

[1] Гольдони — Карло Гольдони (1707–1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии.

[2] Гоцци — Гаспаро Гоцци (1713–1786) — итальянский поэт, критик и журналист, автор пьес-сказок.

Желаю Тебе хорошо встретить Новый Год. Желаю Тебе и всей Твоей семье в Новом году здоровья и хорошего настроения. Я пришел к выводу, что в жизни это самое важное.

Твой Воля.

21.1.63.

Дорогой мой Витя! Ты меня огорчил. Я вчитываюсь в Твою лаконичную открытку, но не пойму, что с Тобой. Почему Ты так долго — четыре дня — был скован и неподвижен? Чем вызвана надобность испытания, что оно уже показало? Где Ты лежишь? Не в Обуховской ли? Если будет возможность, напиши мне обо всем этом, все это меня очень волнует. Как производится испытание? У меня еще два очень трудных дня, я скоро напишу Тебе письмо на дом, его принесет Тебе Евдокия Ивановна. Напиши, куда Тебе писать. Это пишу наспех.

Твой Воля.

24.I.63.

Дорогой мой Витя!

Очень беспокоюсь за Тебя. Хотел сегодня зайти к Евдокии Ивановне, но некогда. Получил вторую корректуру своей книги и сижу, не разгибая спины. Не теряю надежды, что Ты мне напишешь сам. Вчера кончились экзамены, я очень устал. Сейчас настроение поднялось. У нас гостил Миша, но сегодня улетел в Москву. Как плохо болеть! Представь себе, что мне в глаз попал микроскопический осколок стекла (от разбитой электролампочки), но я этого не заметил, но заметил, что в глазу началась адская боль и что я одним глазом начинаю плохо видеть. Врач с большим трудом обнаружил этот осколок (т. к. он прозрачный), но все же заметил и снял его иглой. Я все еще плохо вижу этим глазом.

Как всегда, надеюсь, что скоро наступит покой (как сдам корректуру), что я смогу пойти в музей, в книжный магазин, поиграть на рояле. Сколько раз у меня рушились такие надежды! Правда, в таком образе жизни тоже есть своя прелесть, но я сейчас мечтаю о благословенной лени и о том, чтобы погулять. Уже немножко мне не по силам и не по возрасту.

Сегодня жена вдруг возымела желание пить водку, т. к. заболела гриппом, а водку считает хорошим лекарством (это я ее научил). Я присоединился и вспоминал Тебя.

Недавно пришлось срочно заполнять анкету (не помню, для чего, в университете), где между прочим спрашивалось, сколько трудов. Я наугад написал 50, а дома все сверил и подсчитал, и оказалось, что их ровно 80! Никогда не думал, что я так плодовит. А счастье все-таки не в этом. А в чем? Скажи! подумай хорошенько и скажи.

Передай привет Евдокии Ивановне, которая, вероятно, принесет Тебе письмо в клинику.

Твой Воля.

(На обороте конверта — моя карандашная пометка: «Счастье — в раскрытии себя в творческом труде и в любовном общении с людьми»).

12.II.63.

Дорогой Витя!

Спасибо Тебе за открытку. Песню «Плещут холодные волны» я знаю, имею и ноты, но мне надо 5–6 разных песен, а двух песен о Варяге — слишком много.

Я получил письмо от Альмы. Она посылает Тебе привет. В самое холодное время у них перестали топить, она заболела, воспалением легких в тяжелой форме, и потому не могла Тебе ответить. В субботу я у Тебя не буду, уезжает Миша, я хочу с ним проститься. Если ко мне не придут, буду у Тебя в воскресенье как всегда.

Твой Воля.

Пишу второпях.

25.II.63.

Дорогой Витя! Спасибо Тебе за зябликов. Ты мне их будто подарил. В Заманиловке они целыми стайками перепархивали у обочин дорог и садились на кусты и травы. Я их очень люблю. Эта птица зимует у нас — это еще не весна. Но на южной стороне у нас уже каплет от солнца даже в большие морозы (10–12°). Эта неделя у меня очень трудная. В пятницу у меня доклад, в субботу я хочу свалиться и лежать -- Ты меня не жди, это определенно.

Твой В.

4.III.63.

Дорогой Витя! Мой доклад состоялся, я имел некоторый успех, но свалиться мне не дают. Предлагают его печатать, сдать через месяц в готовом виде. Опять я буду сидеть, а не лежать. Хочу очень Тебя видеть. Вырвусь я только в пятницу — тогда и думаю у Тебя быть, но я никогда не могу ничего твердо обещать — вдруг опять куда-нибудь вызовут и пр. Но уповаю на милость судьбы.

Твой Воля

7.IV.63.

Дорогой Витя!

Когда детям дают рисовую кашу с изюмом, то одни сперва выковыривают изюм, потом едят кашу, а другие сперва едят кашу, а изюминки оставляют напоследок. Я принадлежу к первым. Мне сегодня надо написать 8 писем; изюм — письмо к Тебе, с него я начинаю, каша — это все остальное.

Андрюша от краснухи выздоровел, но у него попутно оказалась сильная ангина. Врач еще ходит. Как все произошло, я расскажу Тебе устно. Концом карантина я буду считать тот день, когда он пойдет в детский сад. Об этом дне я Тебе дам сигнал.

Теперь я жду майских дней, чтобы опять придти в себя. Пока прощай, берусь за кашу.

Твой Воля.

Елизавета Яковлевна была в Новгороде, о чем Ты узнаешь, когда придешь. Кланяйся своим дамам — Евдокии Ивановне и Таточке.

10.IV.63.

Дорогой мой Витя! Получил Твое интересное и большое письмо. Поговорим, когда придешь. Андрюша еще болен, пенициллинится. В понедельник его велено вести в поликлинику. Этот день я и считаю днем снятия карантина — он уже безопасен. В понедельник возьмут кровь, а потом выпишут в садик. Буду ждать Тебя начиная с понедельника 15 IV. По вторникам вечером у меня консультации, по средам и четвергам — лекции. Так что если не придешь в понедельник, то буду ждать в пятницу.

Твой Воля.

Как филателист вполне оценил новую марку и ее гашение.

(В Тарусу)
Ленинград, 29.VI.63.

Дорогой мой Витя!

Наконец-то от Тебя письмо! Я уж начал думать бог знает что! Но Ты жив, здоров и вполне благополучен. Я даже знаю теперь многие детали Твоей жизни и сквозь них чувствую Твое настроение и состояние. Я же пишу Тебе в знаменательный для меня день: вчера было последнее заседание кафедры, и теперь я на три дня свободен, а 1 VII будет последнее заседание ученого совета, 2-го получу деньги сразу за два с половиной месяца и почувствую себя богачом. С этого дня начнется юридический отпуск, а фактически начался сегодня. Поэтому я Тебе пишу. Я полностью забросил всякую науку и оставил всякую надежду на будущую науку. Я живу как все и нахожу, что это очень неплохо. Даже прекрасно.

В Москву я ездил с большим успехом. Я познакомился с многими учеными из разных стран, с которыми до сих пор состоял только в переписке. Но главное не это. Я побывал в Загорске. Не могу Тебе сказать, какое это на меня произвело впечатление. Я уже давно начал переживать архитектуру. А русская средневековая архитектура есть необычайное чудо по талантливости и проникновенности. Никакие картины (Юон) и никакие фотографии не передают этого чуда. Здесь все в красках. Удивительный ансамбль. В XVII веке начинается медленное падение, хотя еще создается много прекрасного, и я хотя и не специалист, сразу отличаю настоящее от

наносного (трапезная). Где-то видел картину: монахи Троице-Сергиевой лавры ловят беглых крестьян. Какая глупость! Эта лавра была русской святыней, и это до сих пор пробирает всех, кто там бывает, а народу в ней великое множество. Меня поразило благолепие всего, что там делается. Во всех церквах идет служба, пение прямо ангельское. Поражает древнерусское умение жить в высоком, что вовсе не исключает житейского, а придает ему тот особый склад и ритм, который отличал старую русскую жизнь. Это не значит, что она должна вернуться, но было в этом нечто, чего нам глубоко не хватает. <...>

Вся жизнь представляется мне в розовом свете. Из окна* я любуюсь насаждениями. Забор кончили, дети не бегают по траве, все растет. Цветет белая кашка, запах доходит до комнат. Из березок многие принялись. Они еще скучают, но будут жить. За одной загородкой посеяны сплошные васильки, они цветут. Из дубков некоторые замерзли. Те, что остались, имеют ликующий вид. Вязы, ясени, липы, рябины растут буйно и скоро начнут давать тень. Погода прекрасная. Тепло, бывают хорошие дожди.

В первый же день своей свободы (т. е. сегодня) утром я побежал на выставку Саврасова. Друг мой! Вот где Тебе надо бы побывать! У нас знают только «Грачи прилетели», большинство его картин в частных собраниях, их так не увидишь. Это великий пейзажист, второй после гениального Васильева. Он первый в мировой живописи импрессионист. Он изображает не предметы, а настроения. Он пишет не вещи, а времена дня и года. Вот некоторые названия: «Летний вечер. Река», «Ранняя весна», «Оттепель», «Вечер. Перелет птиц» и т. д. Чувствуешь? Нет «красивых» видов. От швейцарских гор он переходит к нашим плоским просторам. Если Волга — это не Жигули, а волжские просторы с небом и водой. И небо и вода целиком в тончайших оттенках. Закат над болотом. От керосиновых ламп и печного отопления многие картины почернели и требуют чистки, но сквозь столетнюю копоть все же угадываешь, как это прекрасно. Кто еще брался изображать иней? А он изображал. Есть книга отзывов. Восторженные отзывы молодежи, которая многое понимает. Народ у нас хороший и чуткий. Особенно запомнилась мне степь с дрофами. Я был счастлив целых два часа.

Выставка помещена в каких-то полутемных переходах. С этой выставки сразу попадаешь в светлые залы, где выставлено эстонское прикладное искусство: аляповатая керамика и кричащие вязаные кофты. Это считается современностью. Но народ все понимает. В этих залах сиротливо бродят одиночки, а около Саврасова толпы народа.

Есть у нас и огорчение. Андрюшу[1] пришлось взять из детского сада. Он целые дни плакал, это бы еще ничего. Но он стал так заикаться, что это было похоже на судороги. Это заразительно. Нам рекомендовали его взять. Теперь он в Репино с бабушкой. Она рассчитывала летом закончить диссерта-

* Городской квартиры.

[1] Андрюша — внук Владимира Яковлевича, сын Михаила Владимировича.

8 Зак. 3360

цию. У нее прекрасная работа, я в этом понимаю, хотя и не лингвист по специальности. Может быть, удастся закончить работу осенью, когда студенты будут на картошке. Андрюша дома сразу пришел в себя. Заикается очень мало, только когда чем-нибудь восторгается, но это уже не страшно. Невропатолог из детской поликлиники не нашел ничего устрашающего.

Была у меня дочка, моя любимая Мусенька. Представь себе, что Твои рассказы о Тарусе и Твои картины произвели на нее такое впечатление, что она во вторую половину лета собирается в Тарусу, зовет меня с собой. Выйдет ли что-нибудь из этого, я еще не знаю. Мне сейчас нужно быть около жены и немножко помогать ей. Она в Репино одна с Андрюшей, это не совсем легко.

Представь себе, что после моего пребывания в Москве меня хотят выбрать в Берлинскую Академию наук. Что ж, очень хорошо со стороны берлинцев и очень похвально. Я от этого не стану ни умнее, ни лучше. Вспоминаю слова Ариадны у Чехова: «Что ни говорите, а в титуле есть что-то обаятельное»[1], вследствие чего она выходит за князя Мактусова. Мне титулов не надо, да вряд ли это осуществится. Посмотрим. Мне и так хорошо. Лучше бы мне на пенсию. Но пока работает жена, для меня это исключается. Она будет работать, биться, как рыба об лед, со службой, диссертацией, внуком и хозяйством, а я буду ходить по музеям и концертам? Ни морально, ни нервно, ни физически для меня это невозможно. Я уйду только с ней вместе.

Ну вот, я разболтался. Ты не смотри на опечатки. Печатаю я плохо, но я знаю, что мой почерк читается с трудом, поэтому печатаю, а не пишу.

Будь здоров, кланяйся своим, не забывай меня, и если будет время и охота, пиши мне.

Обнимаю Тебя.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ленинград, 20.VII.63.

Дорогой мой Витя!

Ты прости меня, что я так долго Тебе не писал. Причина очень простая: я забыл в городе авторучку! Отсюда Ты видишь, что писать было совершенно невозможно. К этому прибавилось другое: я изленился до такой степени, что не желаю даже шевелиться. Моя мечта: посидеть в кресле на солнышке, чтобы меня прогревало, — полностью осуществилась. Я при этом сижу в цветнике, мной же насаженном, и гляжу на свои анютины глазки, настурции и другие прекрасные цветы. Это мое главное занятие.

---

[1] «Вспоминаю слова Ариадны...» — Точная цитата: «Что ни говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное». — *А. П. Чехов.* Ариадна. Полное собр. сочинений и писем: В 30 т. М., 1974–1983. Т. 9. М., 1977. С. 112. Князь Мактуев сватался к Ариадне, но получил отказ.

Сегодня мы приехали в город, чтобы повидать Мишу, который сегодня должен приехать проездом (точнее — пролетом) на Камчатку. Луиза полетит ему навстречу с Кавказа, где она лазает по горам.

Я очень счастлив за Тебя, что Ты имеешь деятельность, которая Тебя наполняет и соответствует Твоим интересам. Тарусяне (или тарусичи?) конечно должны быть довольны, что Ты им помогаешь в деле, которое для них — дело кровное и свое*. Как я понимаю, это — краеведческий музей, в котором будет отдел искусства. Это, конечно, очень нужное и благородное общественное начинание. Но я боюсь, что оно оттеснит Твои собственные творческие замыслы и возможности. Пишешь ли Ты? Про себя я могу сказать, что ничего не пишу, но Ты не следуй моему примеру!

Я очень рад также за Евдокию Ивановну и ее лесные урожаи. Мы тоже здесь этим занимаемся. Недавно побили все наши рекорды: Андрюша нашел целых 10 (десять) штук ягод земляники, которые тут же съел и еще угостил и нас. <...>

Приеду ли я в Тарусу? Ты знаешь, как я об этом мечтаю. Но в этом году опять ничего не выйдет: Елизавета Яковлевна одна на даче с Андрюшей. Она очень устала и в очень плохом состоянии. Хоть немного, но я ей помогаю. Я не могу ее оставить. Сама она меня посылает, но я знаю, что она в душе думает. В прошлом году была няня, я мог путешествовать. В этом году все строилось на расчете, что Андрюша будет в детском саду. Но это не вышло. Рушились не только планы Елизаветы Яковлевны на диссертацию, но и мои на поездку.

Ну, целую Тебя и обнимаю, дамам Твоим самый сердечный привет.

Твой Воля.

(В Тарусу)
31.VII.63.

Дорогой Витя! Спасибо Тебе за твои заботы о моих дочках. Мусе я сегодня пишу, передай ей, пожалуйста, письмо. Пусть она мне пишет. Ты представляешь себе, как мне хочется приехать, но есть новое препятствие: 4–5 августа ко мне приезжают издалека мои сестры, которых я вижу очень редко. Я не знаю, сколько они у меня пробудут. Они собираются куда-то в другое место, может быть я и освобожусь. Напиши мне все о Мусе, она пишет, что 30.VII выезжает из Москвы в Тарусу.

Твой Воля.

(В Тарусу)
7.VIII.63.

Дорогой мой Витя! Большое, огромное Тебе спасибо за Твои заботы о Мусе! Ты представляешь себе, как мне обидно, что я не могу быть. Но с

---

* Речь идет о моем участии в организации Тарусской картинной галереи.

другой стороны у меня и радость: у меня гостят мои две сестры — Эля, которой 73 года, и Альма, которой 66. Эля на вид уже совсем ветхая старушка, но она очень бодрая, подвижная и разговорчивая. Сегодня они уезжают в Усть-Нарву (Гунгербург), где у них подруги, и где они проведут конец лета. В конце августа опять будут у меня, где проведут два-три дня. Может быть, Ты их тут и увидишь.

Твой план Мусиного жилища мне очень понравился, я теперь хорошо себе представляю, как она живет — даже занавески на балконе и клеенку на столе!

В одном только Ты ошибаешься: Елизавета Яковлевна осталась с Андрюшей не из-за Луизы, а из-за того, что она предпочла взять Андрюшу из детского сада. Если бы не это, она была бы совершенно свободна и кончала диссертацию.

Я купил себе Ключевского[1] (собр. соч. 8 томов) и читаю с восхищением, хотя ошибочность некоторых его построений ясна даже для меня. Как много узнаешь о России! И какой язык! Романов я совсем не могу читать, кроме шедевров первого класса.

Ну, обнимаю Тебя, скоро увидимся.

Привет Евдокии Ивановне и Татусе. Не подружилась ли она с Танечкой?

Твой Воля.

(В Тарусу)
Воскресенье, 18 авг. 1963 г.

Дорогой Витя!

Надеюсь, что это — последнее письмо в этом сезоне. Мои планы такие: я возвращаюсь в город 27-го. <...> Здесь узнал, что Муся приехала и уже уехала в Кавголово. Почему она уехала — я недоумеваю. Ей так нравилось в Тарусе. <...> Напиши хоть Ты, если что-нибудь знаешь. Не случилось ли чего-нибудь? Зато большую радость я имею от Миши: их экспедиция к гейзерам и вулканам благополучно кончилась, о чем я сегодня получил телеграмму. Наши дети радуют нас главным образом тем, что они не тонут, не обрушиваются со скал и остаются живы. Тебе это еще предстоит испытать, когда Таточка сделается альпинисткой или заведет себе мотоциклетку.

Скончался Всеволод Иванов[2]. Ему было столько же лет, как мне (род. 1895). Я не любил его за вычурность. Сейчас читаю стихи Дудина[3]. Решил, что надо «в просвещении стать с веком наравне» (Пушкин). Безнадежно! Не просветиться мне.

---

[1] Ключевский — Василий Осипович Ключевский (1841–1911) — русский историк.

[2] Всеволод Иванов — Всеволод Вячеславович Иванов (1890–1963) — русский писатель.

[3] Дудин — Михаил Александрович Дудин (1916–1993) — русский поэт.

В мутной хляби молния мелькает.
Шестьдесят громов разорвалось.
«Синих роз на свете не бывает», —
Я тебе достану синих роз!

Что до меня, то мне синих роз не надо. Шестьдесят громов, которые разрываются, меня тоже не интересуют. Меня интересует художественное мастерство.

Ну, я разболтался. Ты еще успеешь написать. Пожалуйста! Привет Твоим сердечный.

Твой Воля.

17.9.63.

Дорогой Витя! Сегодня утром узнал горестную весть, что скончался Игорь Петрович Еремин. Ты понимаешь, что для меня означает эта потеря. <...>

Твой Воля.

(Вильнюс, гостин. Неринга, комн. 10)
10.X.63.

Тройственному согласию на ул. Ленсовета привет из прелестного Вильнюса. Живу в великолепной гостинице, питаюсь изысканно и доброкачественно, неприятно только, что приходится кроме этого еще и заседать. Но можно и не слушать.

Ваш Владимир Яковлевич.
Дядя Воля.
Воля.

16.II.64.

Анонс
В четверг, 20 февраля
состоится
концерт
в доме Шабуниных, ул. Ленсовета 31, кв. 6
Программа
I отделение
Моцарт. Рондо из сонаты ля мажор.
Хачатурян. Вальс к драме Лермонтова «Маскарад».
Исполняет пианистка Татьяна Шабунина.
Антракт 10 минут.
II отделение
Бетховен. Рондо до минор из сонаты соч. 13
Шуман. Маленькая пьеса.
Шуман. Листок из альбома.

Исполняет пьянист Владимир Пропп.
После концерта непринужденная
встреча артистов
со слушателями
Начало концерта в 7 ч. 30 мин. Опоздавшие в зало допускаются.

14.III.64.

Дорогой Витя! Хоть бы Ты мне открыточку написал. Как у вас там дела? Скарлатина — болезнь коварная даже в легкой форме. <...> Думаю летом рейсовым пароходом (по билету, но не путевке) съездить на Север[1]. Поедем? Подумай! Сегодня я решил не трудиться. Я весь день свободен (суббота), но делать ничего не буду. Обнимаю Тебя. Евдокии Ивановне и Таточке привет. Твой В.

25.III.64.

Дорогой мой! Я буду у Тебя не в воскресенье, как хотел, а в субботу. В воскресенье мы с женой идем смотреть «Короля Лира» в английском театре.

Твой Воля.

Из дневника

30.IV.64. Сегодня вечером все трое идем к Проппам: отмечаются день рождения Воли (29.IV), именины Елизаветы Яковлевны (30.IV) и первомайский праздник. <...>

Вечер у Проппов прошел очень приятно. Кроме нас была Нина Яковлевна[2], Муся Пропп с дочкой Танечкой. Татуся, Танечка и Андрюша с увлечением играли; Татуся с Танечкой и за столом много разговаривали друг с другом, смеялись, чувствовали себя отлично и весело. Стол был очень обилен. Но главное, что до того, как сели за стол, удалось у Воли в кабинете поговорить о спектакле английского королевского театра, где Воля с Елизаветой Яковлевной смогли побывать на «Короле Лире». Говорил Воля также о кинокартине «Гамлет» Козинцева, которую смотрел только что.

---

[1] «Думаю летом... съездить на Север», — Поездку на Север В. Я. Пропп совершил через два года. В 1966 г. по приглашению своей ученицы Н. А. Криничной он неделю гостил в ее семье на острове Кижи, где в музее-заповеднике работал В. И. Пулькин, муж Н. А. Криничной. Владимир Яковлевич вместе со своей ученицей на лодке выезжал в окрестные деревеньки, фотографировал часовенки и церквушки. Съездили они и в Кондопогу, где любовались знаменитой шатровой церковью. Подробнее см.: *Криничная Н. А.* Наш долгий семинар. В кн.: Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1 (3). С. 382–394. См. также наст. изд. С. 403–415.

[2] Нина Яковлевна — Нина Яковлевна Антипова — свояченица Владимира Яковлевича, сестра его жены.

Таруса, 21 июня 1964 г.

Дорогой мой Волюшка!

Через дорогу, прямо против нашего дома стоят две могучие липы в полной силе. В их кронах гнездятся многочисленные грачи. И кругом еще ряд грачиных деревьев. Кричат они и трубят изрядно. Но и это пока не раздражает меня, а, пожалуй, даже радует и кажется приятным! А вообще Таруса просто поразила в этом году тишиной. А когда идем купаться на речку Тарусу (или Таруску, как ее зовут местные жители), то живописный овраг у кладбища дышит нам в лицо ароматом полевых цветов.

Погода изумительная. Мы с Татусей и ее подругой Леной Польстер (по дедушке — из немцев) купаемся ежедневно со дня приезда, а то и два раза в день. Это для меня тяжело, я устаю, но не могу отказать им и себе в этом удовольствии! Ведь наши купанья являются непрерывным каскадом всяких трюков и шалостей в воде и к нам охотно присоединяются другие купающиеся дети: начинается плавание наперегонки, ныряньe, прыжки через голову друг друга, шум, плеск, ликование!

Был уже в Тарусской галерее. Неутомимый энтузиаст Б. П. Аксенов чуть ли не единолично переделал всю экспозицию, значительно ее улучшил, сделал более интересной. И три раза в неделю показывает ее посетителям с 11 до 14 часов. Посещаемость хорошая. <...>

Из новых поступлений всего больше украсила галерею, на мой взгляд, картина Айвазовского «Остров Капри». Я не перестаю удивляться, как решилась Третьяковская галерея передать Тарусе эту вещь! <...>

Будучи в Москве посетил я дядю Ваню. Ему идет 90-й год, но рука его еще крепка и ум ясен. Он угостил меня горячим завтраком собственного приготовления и чокнулся со мною чаркой водки (!).

Евдокия Ивановна на второй же день пребывания в Тарусе сходила в ближний лес и принесла на ужин белых грибов и подберезовиков. Мы их съели в жареном виде с большой охотой. А Евдокия Ивановна не нахвалится лесом, его воздухом, пением птиц! Видела пестрого дятла и дупло, где свито его гнездо. А из дупла наружу торчали головки его птенцов!

Обнимаю Тебя и желаю Тебе хорошего лета! Привет от всех нас всей вашей семье.

Твой Виктор.

P. S. Мы уже получили здесь два письма.

(В Тарусу)
30.VI.64.

Дорогой мой Витя!

Спасибо Тебе за письмо. Из него я вижу, что Ты живешь на старом месте, живешь спокойной, здоровой и счастливой жизнью. От Твоего письма пахнет грибами, березами, речной водой, а сквозь него видится небо, лес, русские пейзажи. А я пока вижу все тот же наш двор, где, впрочем, тоже есть и березки, и

трава, и небо, и дальний кусочек леса. Но я счастлив по-иному. 20.VI кончился срок конкурса, и никто не подал, и я уже приуныл*, и вдруг приказ: назначен новый зав[едующий], из Пушкинского Дома, человек совершенно неподходящий, никогда не преподававший, к тому же пьяница, самодур и человек с неустойчивой психикой. Это — приказ Обкома, только оформленный ректором[1]. Наши все приуныли, за кафедру мне жаль, но с меня свалился тяжелый, ужасный камень. В Москву на конгресс я тоже не поеду, там от меня потребовали, чтобы я взял на себя ответственность за состав симпозиума. Этого я не могу, и я освободился и от этой нагрузки. Сегодня — первый день моего фактического отпуска, я совершенно свободен! Выпей за меня хоть стакан воды, поскольку водочка без компании как-то не пьется. Планов у меня решительно никаких. Делаю, что хочется — и только. Пока хочется сходить в Русский музей. Если бы я ушел на пенсию, я стал бы писать самодельную историю русской живописи. В этой связи все, что Ты пишешь о Тарусской галерее, для меня интересно. Третьяковка поступила благородно, что подарила Тарусе «Капри» Айвазовского. Не то что наш музей.

Будь здоров, привет Твоей семеюшке, пиши чаще, я буду Тебе отвечать.

Твой Воля.

Таруса, 3 июля 1964 г.

Милый мой Волюшка!

Это — второе мое письмо к Тебе из Тарусы: первое было от 21.VI. Сейчас Евдокия Ивановна пошла в магазин, а Татуся — на урок английского языка к милой старушке Татьяне Ивановне Якушкиной, правнучке декабриста. Они занимаются, в основном, разговорным методом, но некоторые задания Татуся получает и на дом. Учится она охотно, но правильно ли ей ставят произношение — я не убежден.

*Первые 12 дней пребывания здесь были сухими и очень теплыми, даже, пожалуй, жаркими. 1-го июля прошла первая гроза — бурная, гремящая, с коротким дождем. А вчера, 2-го июля, было две грозы: ночью и днем, обе жестокие, с пожарами и человеческими жертвами, дневная — с крупным коротким градом. Один удар был так близок и носил характер такого неприятного, сухого треска чуть ли не в самом доме, что Татуся не выдержала и со слезами бросилась ко мне, ища защиты на моей груди.*** *А Евдокия Ивановна в это время, возвращаясь с земляникой из далекого леса, пережидала с нашей хозяйкой град и ливень у стенки одинокого сарая. Домой пришла уже после грозы, мокрая до нитки. Но*

---

* Воле пришлось в течение около двух лет исполнять обязанности заведующего кафедрой русской литературы в Университете, что его крайне обременяло.

** Ей 10 лет.

[1] Осенью 1964 г. зав. кафедрой был назначен В. Г. Базанов.

я заблаговременно вскипятил чайник, так что она сразу же могла выпить два стакана горячего чая.

Сейчас небо снова в тучах, предсказаны грозы. А вчера мы с Татусей и ее подругой Леной Польстер все же успели искупаться перед самой грозой: домой прибежали с первыми каплями!

За это время я работал над портретом старого врача Михаила Михайловича Мелентьева, коллекционера, любителя музыки. Человек он очень культурный и, видимо, «с прошлым». Лет десять он был высланным (административно) в Медвежьегорск; ныне реабилитирован. У него я познакомился с графом Шереметевым (!) — прямым потомком фельдмаршала Б. П. Шереметева, сподвижника Петра I под Полтавой (!). Он — член союза художников, непрактичен, живет весьма скудно. Этот же Мелентьев дал мне почитать воспоминания члена IV Думы известного монархиста В. В. Шульгина — «Дни» (в издании «Прибой», 1926 г.). Рассказал, что этот Шульгин, которому сейчас 86 лет, недавно гостил с женою у Мелентьева в Тарусе полторы недели: можно предполагать, что они уже раньше были знакомы! <...>

Два дня тому назад приехал в Тарусу милейший В. А. Ватагин и привез из Москвы новые дары нашей галерее, свои работы: деревянный бюст В. Д. Поленова (определенно музейная вещь!), статуэтку «Разъяренный тигр» и 7–8 листов литографий различных животных — отличных! Какой великолепный, щедрый старик! Ему 80 лет, он — Народный художник РСФСР <...>.

Вчера Евдокия Ивановна принесла из лесу литра два великолепной земляники.

Первого июля я послал открыточку Альме Яковлевне. Надеюсь, что ее здоровье восстанавливается.

Обнимаю Тебя, дорогой, и очень хочу знать о Тебе, о всех вас! Приветы вам от всех нас.

Твой Виктор.

Таруса, Калужской области, 1-я Садовая ул., 18.

(В Тарусу)
Ленинград, 13.VII.64.

Дорогой мой Витя!

Приехав в Ленинград, нашел здесь Твое письмо <...>.

Поздравляю Евдокию Ивановну с успехами на земляничном фронте. У нас успехи менее грандиозны. Андрюша совершенно счастлив, если находит 5–6 ягод, из которых он еще ухитряется угостить бабушку.

Историю русского искусства я собираюсь писать не для печати, а для домашнего употребления. Ходить по музеям с записной книжкой и писать все, что думается.

В Тарусу я в этом году определенно не поеду. Мы с женой завели такой порядок: два дня она дежурит, т. е. делает все, что надо для питания и для

забот об Андрюше, а я «пишу», т. е. фактически прохлаждаюсь, а два дня дежурю я, а она пишет диссертацию. Это единственная возможность для нее кончить или хотя бы продвинуть работу, которая не продвигалась из-за Андрюши. Для этих целей мы сняли чердак (50 р.) и забираемся туда для строгой изоляции. Мой отъезд нарушил бы всю эту систему и лишил бы ее возможности работать. По этой же причине я никуда не поеду странствовать.

Что Тебе не работается, меня нисколько не беспокоит. Ремесленники могут работать всегда, а художники и ученые — только по вдохновению. Я по опыту знаю, что в таких случаях нельзя форсировать. Тут имеются еще и причины биологические. Рабочее настроение приходит само совершенно неожиданно. Что до меня, то я не делаю ровно ничего и ничего не могу делать. Видно, усталость за год накопилась очень основательная. Работа была во всяком случае не по возрасту. О пенсии я думаю уже серьезно <...>.

Мусю я давно не видел. В этот приезд говорил с ней по телефону. Она должна ехать в Париж на конференцию по своей специальности. Это теперь называется «научный туризм» и осуществляется за собственный счет, а не за счет государства. Завтра станет известно, утверждена ли она Москвой, и тогда я ее перед отъездом увижу.

Миша телеграфирует, что он вернулся из длительной (и опасной для него) экспедиции на Чёшскую губу[1], где они полностью были отрезаны от мира. Я очень счастлив. О возвращении навсегда в Ленинград он и слышать не хочет. Работа и обстановка, природа и полная творческая независимость его полностью удовлетворяют. И он доволен своей жизнью.

Всем Твоим привет.

Твой Воля.

Таруса, 13 июля 1964 г.

Дорогой Волюшка!

<...> Прежде всего — несколько слов об одном моем наблюдении. При входе в наш двор, у калитки, в неудобном закутке выросла липка. Видимо, ветром было занесено семечко. Заметил я ее лишь в этом году, а вышла она из земли, по-видимому, в прошлом году. И росту-то ее всего сантиметров 20–25! Свету мало, она извилась, перекрутилась в погоне за ним, но с тем большей энергией выгоняла листья. Было их на ней пять или шесть, все сочные, крепенькие. Но на беду заприметили ее внуки нашей хозяйки (2-х и 3-х лет), которых старшая внучка по пути домой из яслей приводила к нам на двор. Заприметили и стали обрывать у нее листочки. Сначала оборвали часть листьев. Липке пришлось плохо, но она взамен сорванных выбросила новые листики. Тогда через несколько дней были оборваны все листья. Остался стоять корявый прутик, совершено голый. Я вырыл его и с комком земли, на лопате, перенес в другое, спокойное место. Было это 1-го июля. Через три

[1] Чёшская губа — залив Баренцева моря.

дня на стволике стали заметны три маленьких почки, которых 1-го июля я не отмечал. Здесь они у меня нарисованы утрированно большими[1]. *К сегодняшнему дню почки (3) и (2) превратились в листья, еще не полностью развернувшиеся; а почка (1) спит: видимо, бережется на всякий лихой случай! Я уверен, что если бы теперь сорвать эти два новых листка, то липка пустила бы в ход свой последний шанс — направила бы свои соки к почке (=)! Поразительно, с каким упорством боролся за жизнь этот маленький, корявый растительный организм! Пока я здесь, я буду присматривать за своей липкой, а уезжая, попрошу хозяйку не уничтожать её.* <...>

(В Тарусу)
Ленинград, 20.VII.64.

Дорогой мой Витя!

Приехал в город, застал здесь Твое письмо и сразу же Тебе отвечаю. Я теперь в таком состоянии, что охотно пишу письма. <...>

То, что Ты пишешь о липке, мне очень понравилось. Это напомнило мне начало «Хаджи-Мурата». Толстой пишет, как боролся за жизнь репейник, который он хотел сорвать. Помнишь? Я вообще восхищаюсь силой жизни растений. Но человек портит эту силу, отнимает ее у растения. Была некогда здесь «Вольная философская ассоциация». Там выступил с докладом агроном и философ Демчинский[2]. Он развивал теорию, что, улучшая веками условия жизни злаков, мы тем как бы приучаем растения к этим условиям, вне которых они уже не могут жить. Этим мы приводим их к вырождению и готовим им гибель. Я сам то же думал о животных. Сейчас уже есть способ содержания скота в стойле круглый год. В зоопарках животные перестают размножаться, несмотря на самые лучшие условия. Рождение львенка или жирафика есть чудо, о котором оповещают весь мир. Такую же судьбу мы готовим и скоту, отнимая у него борьбу или хотя бы движения, воздух и некоторую волю. Поэтому так буйно растут здоровые сорняки, а мой душистый горошек желтеет, несмотря на удобрения и подкормку и поливку.

Теперь о разных мелочах жизни.

В Репино имеется «Дом малютки», в котором содержат сирот. Их выводят гулять в поля, и там мы их иногда видим. Они имеют ужасный вид, грязные, бледные, малоподвижные. Одна из наших соседок по даче работала там няней и говорит, что там их кругом обворовывают, что эти дети не

---

[1] На странице рисунок деревца с листочками.

[2] «Вольная философская ассоциация» (1919–1924) — независимое от государства объединение творческой интеллегенции, основной формой работы которого были публичные заседания, где обсуждались вопросы духовной жизни, затрагивались насущные проблемы науки и культуры. Б. Н. Демчинский, автор книги «Христос в революции», неоднократно выступал на заседаниях с докладами в 1919–1921 гг.: «Возмездие за культуру», «Трагедия культуры», «Пути Христа» и др.

видят ни молока, ни яиц и пр. Сопровождающие их барышни имеют, напротив, весьма благополучный вид, заботятся о своей красоте и загорают в кустах, пока малыши предоставлены сами себе. Эти дети немые, они не слышат человеческой речи, кроме команд и окриков, и между собой они не говорят. И вот один раз мы идем по тропинке, и вдруг ко мне подбегает мальчик лет двух-трех; из носу висит густая сопля до рта. Этот малыш обхватывает мое колено, прикладывается к нему щекой и снизу смотрит мне в самые глаза своими совершенно голубыми глазами. Он замирает в этой позе и прижимается все крепче. Глаза сияют счастьем. Этих глаз никогда не забыть. При этом не издает ни звука. Так велика потребность ласки. Потом это повторялось еще раза два. Один из них шептал почти беззвучно «мама». Но интересно, что ни один из них никогда не прикладывался к Елизавете Яковлевне. Мы объясняем это тем, что женщины ассоциируются у них с воспитательницами, от которых они ласки никогда не видят и которые стряхивают их, если бы малышу вздумалось приласкаться.

У нас сейчас много пишут о чуткости, морали и пр. Пишут потому, что отсутствие этих качеств приобретает уже угрожающие размеры. Сестра Альма выписалась из больницы и пишет, что там можно было сделаться меланхоликом, оттого что все думают только о себе и своем благополучии и больше ни о чем. Ухода никакого, сестры и сиделки просто не выходят на работу и пр. Из этого составляют исключение только врачи, которые действительно работают самоотверженно.

По этому поводу я вспоминаю о гибели детей на нашем дворе, о чем я Тебе рассказывал. Я не совсем понимал, как все это произошло, но раз, выглянув из вагона, я увидел, как сложены штабеля закругленных плит, и сразу все понял. Они складываются так: [...][1], они были сложены на снег, под которым был неровный грунт строительной площадки. Снег растаял и штабель покосился и принял уже такой вид: [...]. На месте, обозначенном стрелкой, стал раскачиваться мальчик лет 12-ти, а внизу палочками обозначены дети, которые играли на земле. От раскачивания штабель рухнул и задавил насмерть трех детей. Кто же виноват? Виновата вся система недобросовестной работы сверху донизу. Эти большие дома строились не только нелепо и халатно, но преступно-небрежно, и одно из звеньев этого — неправильное хранение строительных материалов. В газете была фотография ужасающего состояния строительной площадки, но фотографии раздавленных детей не было. Теперь площадку выровняли.

Не совсем веселое получилось письмо, но что же поделаешь? <...>.

Андрюша стал тоже купаться с наслаждением, его не вытащишь из воды. У нас установилась жаркая сухая погода.

Ну, будь здоров, обнимаю Тебя, Твоим дамам нижайший привет и поклон (т. е. наоборот: поклон и привет).

Твой Воля.

---

[1] Здесь и ниже два рисунка: штабель ровно лежащих строительных плит и покосившихся.

Таруса, 22 июля 1964 г.

Дорогой мой Волюшка!

Живу я вполне беспечно. Здесь это мне удается, т. к. я не испытываю многократных каждый день волнений и возмущений от дурных слов и поступков подростков и взрослых, отравляющих мне жизнь в Ленинграде. Мы живем здесь среди тихих соседей, на тихой улице.

Но прежде чем сообщить Тебе мои небольшие новости, хочу ответить на Твое письмо от 13.VII (машинописное) <...>

Я понял мотивы, удерживающие Тебя при семье, уважаю их и мирюсь с тем, что не увижу Тебя в Тарусе этим летом. Но лелею мечту, что в будущем, когда ни Тебя, ни, главное, Елизавету Яковлевну дела не будут все лето держать под Ленинградом, — вы вместе (да может быть еще и не одни!) махнете на полмесяца—месяц в Тарусу: именно не на несколько дней, как делают экскурсанты, а на дачу, чтобы иметь время «вчувствоваться» в Тарусу, не спеша познакомиться с некоторыми из ее летних жителей, поездить и побродить по окрестностям.

Вот такие знакомства и встречи составляют «изюминку» моей жизни здесь в последнее время.

Я возобновил (после полумесячного перерыва) работу над портретом старого врача Михаила Михайловича Мелентьева и сегодня закончил его. Т. е. я вернусь к нему дней через десять, когда мне станет очевидным, что́ я должен еще доделать; но на сегодня работа над ним завершена. О Мелентьеве я Тебе писал. Так вот вообрази себе, что вчера у этого Мелентьева я слушал прекрасную музыку! В Тарусу приехали его знакомые, профессора консерватории, — скрипач Рейсон и пианистка Н. И. Голубовская. Мелентьев подыскал им квартиры поблизости от своего дома. У него здесь есть хороший и хорошо содержимый рояль, и вчера я слушал исполнение Крейцеровой сонаты, буквально потрясшее меня! Какое это совсем особенное впечатление, когда слушаешь музыку в домашней обстановке, в четырех метрах от исполнителей!.. Не мне бы, мало искушенному в музыке, слушать эту игру, а Тебе, мой дорогой друг! Ты сумел бы полнее ее почувствовать, глубже оценить. А вечером (уже без меня) Голубовская много играла соло: прекрасные вещи прекрасных композиторов...

Расскажу еще об одной встрече. Здесь, в Тарусе, каждый год по многу месяцев живет Валерия Ивановна Цветаева[1]*, старушка, дочь создателя московского Музея изобразительных искусств и единокровная сестра поэтессы Марины Цветаевой. У нее с мужем-филологом (не знаю его фамилии, а зовут его Сергеем Иасоновичем!) здесь старый-престарый домик, присевший за деревьями и кустами сада так низко, что его с улицы вообще не видно; зато с его балкона открывается неповторимый вид на Оку через сад, и кругом так тихо, словно ты находишься не в Тарусе 1964 года, бога-*

---

[1] Валерия Ивановна Цветаева (1882–?) — сводная сестра Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), русской поэтессы.

*той дачниками, а в Тарусе самого начала, нашего века, в «старой Тарусе» со всем ее мусатовским очарованием!**

Валерия Ивановна расположилась ко мне после моего прошлогоднего посещения и недавно просила через третье лицо побывать у них. В эту встречу она предложила мне почитать ее «Записки» — воспоминания (230 страниц машинописи) и дала мне экземпляр на дом. Теперь я ежедневно читаю Евдокии Ивановне вслух по нескольку десятков страниц этих воспоминаний, написанных вполне литературно и с несомненным дарованием. И оба мы испытываем удовольствие и большой интерес.

А встреча с В. И. Цветаевой привела меня «по цепочке» к врачу-хирургу Ю. М. Александрову. Имея квартиру в Москве, он семь лет тому назад переселился в Тарусу (но московскую квартиру сохранил) и живет здесь круглый год с семьей. Его сын окончил в Тарусе десятилетку, и родители считают, что здесь он, несомненно, выиграл в моральном отношении, а в смысле знаний не проиграл. Вторая особенность Александрова в том, что он уже много лет как оставил врачебную работу и теперь профессионально занимается литературным трудом: переводит стихи, пишет очерки, рассказы. Я застал его в постели (грипп), и потому беседа была непродолжительной; но, видимо, состоится и еще встреча с ним.

Итак, с портретом Мелентьева пока кончено, было 8 сеансов. Сегодня возьмусь плотно за начатый уже портрет Татусиной подруги, очаровательной полуармяночки Казарян. Имя ее — Сóфик, а в общежитии зовут ее Сóфа.

Читаю преинтересную книгу Корнея Чуковского «Современники»[1] *(Чехов, Короленко, Кони, Куприн, Горький, Луначарский, Блок, Репин и многие другие — 700 стр.).*

За Мишу и Мусеньку очень рады. Очень хочется, чтобы поездка Муси состоялась! Передай ей от нас привет.

Тебя я обнимаю! Наши приветы Елизавете Яковлевне и всей вашей семье. Желаю Тебе отдохнуть основательно и интересно.

Твой Виктор.

23.VII.

Неожиданный постскриптум.

Уже заклеил конверт и собирался нести его в почтовый ящик, а сам пошел писать этюд. И вот, вернувшись домой, нашел Твое письмо от 20-го июля.

Да, мой друг, оно невесело, но оно правильно отражает нашу печальную во многих отношениях действительность, в которой многие хорошие

---

* В. Э. Борисов-Мусатов последний год своей жизни работал в Тарусе, там же и похоронен (в 1905 г.). На его могиле памятник в виде уснувшего мальчика, изваянный его другом А. Т. Матвеевым.

[1] *Чуковский К. И.* Современники. М., 1963.

стороны характера русского человека исказились, извратились. Это извращение и упадок морального облика наших людей я считаю следствием грандиозных потрясений, ломки всего привычного уклада жизни, захвативших нашу страну в последние полвека, — начиная с 1914 года: первая мировая война, революция, голод, гражданская война, интервенция, ломка народного хозяйства, низвержение всех прежних авторитетов и критериев морали, многолетние затяжные материальные трудности. Все это привело к ослаблению альтруистического и к выпячиванию эгоистического начала в народном характере. И это мы теперь видим так широко проявляющимся, — притом далеко не только при действительно трудных обстоятельствах, когда речь идет о том: жить или пропадать (и когда кража и насилия в какой-то мере понятны, объяснимы), — но и в обстоятельствах обычных, неотягченных. Это ужасно и во мне лично вызывает глубокую тревогу. Вопросы это очень сложные, и я признаю свое бессилие как следует разобраться в них. Но много-много кругом очень грустного, гадкого, извращенного по сравнению с тем, к чему мы с Тобою привыкли полвека тому назад.

Я рад, что Ты понемногу приходишь к норме, выравниваешься после тяжелой работы минувшего университетского года. Хорошо, что впереди еще месяц отдыха. Я надеюсь в сентябре (вернее, уже в конце августа!) найти Тебя посвежевшим.

А липка моя выбросила, к моему удивлению, по три листка из двух верхних почек, т. е. всего шесть листков и, видимо, собирается жить!

Ну, обнимаю Тебя еще раз. Переписка с Тобою создает для меня здесь какой-то привычный моральный костяк, устой!

Твой Виктор.

(В Тарусу)
31.VII.64.

Дорогой друг!

Сегодня посылаю Тебе вырезку из «Московской правды» от 31.VII о «Тарусской Третьяковке». Очень приятная заметка. Мне, как Бобчинскому, очень хочется, чтобы я, я первый Тебе об этом сказал. Но даже если Ты уже знаешь, все же интересно. Твои труды не пропали.

Я очень за Тебя рад, что у Тебя такой интересный и широкий круг знакомств (Мелентьев, Цветаева, Александров), что Ты запросто слушаешь Голубовскую. А я, как всегда, один, как перст, если не считать семьи.

Муся улетела в Париж, но я не имею от нее никаких сведений вот уже 10 дней. В газетах сообщалось об урагане, пронесшемся над Францией как раз в то время, когда она должна была лететь. Я только надеюсь, что она не попала, или что во Франции служба погоды поставлена достаточно высоко, чтобы предупредить о нелетной погоде.

Сейчас я в городе. Моя статья[1], которая назначалась для ежегодника «Русский фольклор», передана в журнал «Русская литература» с просьбой сократить и самому отредактировать. Это надо было сделать срочно, и сегодня я статью сдал. Такое перемещение для меня очень выгодно, т. к. тираж и круг читателей «Русской литературы» очень большой, и я за статью еще получу деньги. Отсюда повезу на дачу для своего цветника рассаду астр.

У меня очень много разных жизненных впечатлений. Здесь все ужасно деспотичные жены. Мы то и дело слышим такие возгласы, как «не смей ковыряться в цветах» (наша соседка имеет клумбу и не позволяет мужу дотрагиваться) или «ты положил на стул мокрую тряпку?» и т. д. Впрочем, слышимость неважная, а то бы мы еще не то услышали.

В следующий раз буду писать Тебе о тех книгах, которые я читаю. <...>

Не забываешь ли Ты передавать мои приветы своим дамам?

Твой Воля.

Таруса, 3 августа 64.

Дорогой мой Волюшка!

Сегодня получил Твое письмо от 31-го июля и с обычным для таких случаев особым удовольствием берусь за перо. Обстановка же не совсем обычна: не то в пятый, не то в шестой раз за сегодняшний день заходит гроза! Но я этого и ждал: с утра было так жарко, так жестоко парило, что я предвидел бурные грозовые разряды. Спасибо еще, что каждый заход грозы сопровождается добрым дождем, а то и ливнем: «сухие» грозы всегда страшны! Вот и сейчас гремит, небо темно-серое (сейчас 18.30), туго набухшее дождем; стало свежо, ветрено...

А с утра <...> Евдокия Ивановна сходила в лес по грибы с Татусей и ее сверстниками. Вернулись они к 14.00, и Татуся неотступно потянула меня купаться, т. к. изнемогла от жары! Пришлось покориться, хотя я со вчерашнего дня основательно простужен.

Небо уже было обложено. До реки нам пути метров 450. На середине этого пути прогромыхал первый гром, правда — в стороне. Татуся заколебалась, но мною уже овладел азарт, и мы лишь ускорили шаг. Купались «по самой сокращенной программе», но все же с нырянием, играми и мытьем мылом и мочалкой. Еще в воде нас застиг дождь — и сразу крупными каплями! Татуся с подругой помчались домой прямо в купальниках, под раскаты грома, — а мне осиливать подъем от реки было потруднее, и я промок насквозь! Впрочем, последние метров 150 я шел уже снова при жарком солнце. Но этот проблеск был кратким, и с тех пор все дождь и одна грозовая атака за другой. <...>

---

[1] Речь идет, вероятно, о статье «Жанровый состав русского фольклора» (Русская литература. 1964. № 4. С. 58–76).

Портрет Софик Казарян я написал. Теперь работаю одновременно над портретом Б. П. Аксенова (понедельник, среда и пятница) и Татуси (вторник, четверг и суббота), по утрам. Вечером иногда занимаюсь пейзажем, но редко, т. к. все норовлю повидаться с кем-либо из здешних знакомых.

В субботу 1-го августа были мы званы с Евдокией Ивановной к Валерии Ивановне Цветаевой по случаю именин ее мужа (тоже 80-летнего старичка) Сергея Иасоновича Шевлякова. Он, собственно, именинник на Сергия Радонежского (18 июля н/с), но отмечали они этот день 1-го августа, созвав узкий круг ближайших друзей на вечерний чай. Почему они включили нас в число своих друзей — мне неясно. <...> Всего вместе с хозяевами было 11 человек. Пили чай по-старинному, из самовара, на балконе, выходящем на громадную клумбу шиповника в заросшем саду над Окой. <...>

Приехал наконец в Тарусу старый художник Василий Васильевич Журавлев! Он вынужден был задержаться так долго в Москве из-за болезни жены, только что перенесшей инсульт на почве гипертонии. Я, конечно, уже был у них, т. к. люблю Василия Васильевича. По счастью, жена его сейчас уже и ходит вполне прилично, и начинает недурно владеть правой рукой. <...> Может быть, дней через 8–10 Журавлев будет мне позировать, а сейчас не хочет, еще не отдохнул <...>

Так вот видишь, Волюшка, у нас в этом году народные приметы оправдались: на Илью-пророка (2.VIII н. с.) вода в реке Тарусе вдруг стала заметно холоднее, и я, купаясь, простудился. Кроме того, Ильин день был у нас сугубо грозовым, а грому было, хоть отбавляй!

(В Тарусу)
Ленинград, 13.VIII.64.

Дорогой мой друг!

Спешу поделиться с Тобой большой радостью: моя дорогая Мусенька благополучно прилетела из Парижа, куда она ездила, как Ты знаешь, на международный симпозиум по эндокринологии. Приехала веселая и довольная, много интересного рассказывает. Ураган, о котором писали в газетах, нашу делегацию не затронул. Она видела университет (о чем я Тебе расскажу устно), слышала мировых ученых и беседовала с ними, видела Париж и французов. Симпозиум длился семь дней, кроме того, любезные французы еще три дня показывали Париж, о чем я Тебе тоже расскажу. Французы жизнерадостны и подвижны, совсем другой тон, чем у нас. Все и всюду, в магазинах, на транспорте, на почте вежливы. Одно огорчительно: наша наука отстала на добрых сто лет. Наши приборы по сравнению с американскими, английскими, японскими и французскими (немцев не было) производят впечатление XVIII века. Обсуждение велось не так, как у нас, по запискам кто во что горазд, а совершенно непринужденно и очень деловито. Еще деталь: наши должны были ехать за свой счет, а в Париже оказалось, что наших приглашали за счет парижской Академии наук. Семь дней

симпозиума их содержали, а затем выдали разницу валютой. Таким образом Муся могла приехать в парижском элегантном костюме белого цвета, она одела там Танечку и мне привезла пару замечательных теплых перчаток. Вообще мои дети живут разнообразно и интересно. Эличка была в Крыму и потом они с мужем и Митей (8 лет) совершили многодневный поход на байдарках и с палаткой по рекам Примосковья. Пишет восторженные письма. Миша тоже очень доволен жизнью. После Камчатки он засел в своих Зеленцах и упорно и успешно работает, никуда не стремится. Луиза уехала на Кавказ в альпинистский лагерь, по возвращении поедет к Мише на побывку. Только я один кисну в своем Репино и готовлю обеды. Впрочем, не очень кисну. Ты пишешь мне о разных маленьких событиях, и эти события полны интереса. Так же и я. Андрюша, как Ты знаешь, любит дальние автобусные прогулки, и благодаря этому я изъездил прекраснейшие, удивительные места Карельского перешейка. Радость природы в моем возрасте — одна из самых больших и острых. Вот куда бы Тебе с палитрой! Сосновые боры с сплошным до горизонта вереском, озера и утесы, мягкие холмистые поляны, темные дремучие леса.

Недавно мы ездили втроем на теплоходе из Зеленогорска через Кронштадт и Петергоф (новый рейс). Мы видели Кронштадт и форты (так их не увидишь). В Кронштадте сходить нельзя, нужен пропуск. Я надеялся видеть флот, но флота не видно. Вообще же поездка на пароходе есть самый совершенный вид отдыха. Я дышал полной грудью и глядел во все глаза. Качка была посредственная, но многих укачивало, и в том числе детей. Я видел морскую болезнь в полном ее натурализме. Оказалось, что я этому не подвержен нисколько, качка мне даже доставляла удовольствие (вроде качелей). Андрюша был весел как ни в чем ни бывало, а Елизавета Яковлевна позеленела, но держалась молодцом, с ней ничего не случилось.

Я очень одобряю Твою идею показать Твои этюды. Это уже стало доброй традицией. Можно это сделать у нас или у Тебя, или у тех и других — зрителей будет больше. Я учу вариации Бетховена и сонату-партиру Гайдна. Если к тому дню выучу, то сыграю. Будет и водочка. Когда вернулась Муся, у меня в доме ничего не было, кроме коньяку. Я окончательно в нем разочаровался: настойка из клопов с добавлением изюма и жженого сахара. Впрочем, коньяк тоже будет.

Ну вот я и разболтался. Я приобрел себе заводную бритву, которая бреет без мыла, кисточки и кипятку. Не очень чисто, но для дачи хорошо.

Это, наверное, мое последнее письмо в этом сезоне. Начало занятий 27.VIII. К занятиям я усиленно готовлюсь, сегодня отнес в утюжку костюм.

У нас открылась на Островах международная фотовыставка. Хочу сходить. Фу, как плохо я стал печатать. Это оттого, что я тороплюсь. Ты уж извини. Целую Тебя и жду.

Твой Воля.

Евдокии Ивановне вырази, пожалуйста, мое уважение, а Таточку поцелуй в лобик (можно и в носик).

Таруса, 19.VIII.64.

Дорогой мой Волюшка!

<...> Рад чрезвычайно, что Мусенька побывала в Париже и благополучно вернулась, — и предвкушаю встречу с нею у Тебя. Конечно, подробного рассказа нам от нее ждать не приходится, т. к. ей к тому времени уже надоест рассказывать о поездке. Но все же ряд своих впечатлений она сообщит, а мы расскажем о Тарусе, и я покажу свои работы. Одним портретом я доволен (портрет художника В. В. Журавлева). Он закончен, и я к нему больше прикасаться не буду. <...>

Это лето я никуда не вылезал из Тарусы, даже в Поленово (за 4 км) не ездил, хотя эта поездка на теплоходике сама по себе очень привлекательна. Меня держали портреты. В последующие годы не буду себя так связывать. И прежде всего хочется съездить в Богимово (километров 10 от Тарусы), где с таким восторгом жил и работал одно лето Чехов. Там сохранились и дом, и сад, и пруд! А сегодня мы с некоторыми знакомыми пойдем пешком километра за четыре к «Ильинскому омуту» на р. Тарусе, о котором недавно написал большую статью К. Г. Паустовский в «Известиях» (около 10-го августа). Возьмем и фотоаппарат. <...>

Когда я — во исполнение Твоего наказа — поцеловал Татусю в лобик, она немедленно лукаво сказала: «Можно и в носик!», что я и выполнил.

<...> Хорошо думать о том, что ближайшие дни, отняв у меня Тарусу, дадут взамен многое другое, в том числе встречу с Тобой!

Обнимаю Тебя! Приветы от всех нас.

Твой Виктор.

28.VIII.64.

Ура! Ты вернулся жив, здоров и невредим! Я жажду Тебя видеть. Сегодня открытка уже не дойдет, завтра и послезавтра мы, предположительно, на даче укладываемся и перевозимся, в понедельник же 31 августа мы наверняка дома, и я буду Тебя ждать начиная с 7.30. Больше ни слова! Жду.

Твой Воля.

Из дневника

1.IX.1964. Вчера вечером был у Воли — впервые после лета. Как дорого иметь друга!

Совершенно несекретно!

Дорогой Витя! Маленький ангел αγγελος (вестник) принес совсем нерадостную весть. Ангела этого мы дальше порога не пустили, чтобы он не заразился, т. к. врач очень нам внушал: детей в квартиру пускать нельзя.

Я надеюсь, что скоро мы получим другое известие, что Тебе стало лучше и что Ты можешь выходить и говорить. Лучшее лечение при ларингите — молчание. Это я знаю по собственному опыту. Schweigen ist Gold[1]. Как только Ты дашь знать, что Тебе лучше, я назначу Тебе свидание у нас. Надеюсь, что это будет скоро. Я продолжаю шлифовать Imprompty[2], когда жены нет дома. Жму руку.

Твой В.

Из дневника

23.XI.1964. В субботу 21.XI (накануне выходного дня) мы отметили мое 66-летие, приходящееся на 17 ноября, — в этом году среди недели. Были: Воля Пропп с Елизаветой Яковлевной, Панины, Говоровы...<...> и Андрюша. <...> да нас трое. Шпилени[3] заранее отказались из-за нездоровья Евгении Петровны.

Татуся успешно сыграла четыре пьесы; я показал свои тарусские этюды; Воля сыграл две премилые вещи: впервые решился выступить среди наших друзей, и всех очаровал.

2.XII.64.

Дорогой мой Витя! Я потихоньку выздоравливаю, чувствую себя неважно, сегодня пойду в Университет. 5-го у меня полуофициально будет кафедра с коньяком, а в воскресенье 6-го я буду ждать Тебя, будем уже совершенно неофициально допивать и доедать все на полном просторе, сняв пиджаки и надев тапки. Запасайся аппетитом и жаждой.

Твой Воля.

4.II.65.

Дорогой мой Витя! Очень об Тебе беспокоюсь и тоскую. Ты уже выздоравливал, и вдруг от Тебя больше недели ничего нет. Ты меня оставляешь без известий о себе. Сделай мне радость, черкни пару строк. Я бы и сам забежал, да боюсь растревожить Тебя. С понедельника начинаются занятия, но я еще не могу сказать Тебе, когда я свободен, расписание еще не совсем ясно. Жду.

Твой Воля.

---

[1] Schweigen ist Gold (*нем.*). — Молчание — золото.

[2] Imprompty (*фр.*) — 1. Небольшая инструментальная пьеса в сложной песенной форме. 2. Внезапно, экспромтом.

[3] Панины, Говоровы, Шпилени — неустановленные лица, друзья семьи Шабуниных.

11.III.65.

Дорогой Витя!

<...> Ты всегда, еще на старой квартире, говорил мне, что надо переходить на пенсию. Но я Тебя плохо слушал, т. к. еще пять лет тому назад сил было много. Мне хотелось работать, и я Тебе это говорил, и был такой момент, когда Ты меня в этом стремлении как друг поддержал. Именно эту поддержку я хотел от Тебя услышать, и услышал ее, и я ее очень запомнил и очень Тебе благодарен. Но Ты об этом забыл, а я нет, т. к. Твои слова были мне особенно важны и нужны.

Но сейчас положение изменилось. Мне уже 70, ясно, что надо уходить. Жена сама, по собственному почину меня в этом поддержала, и я Тебе об этом рассказал <....>.

Не скрою от Тебя, что этот переход для меня очень труден. У меня положение совсем другое, чем у Тебя. Ты от службы перешел к творчеству. Я же ухожу не от службы, а от деятельности. Фотография, музыка, искусство мне не утешение. Утешение мне другое: мне остается мой семинар (2 часа в неделю), мои аспиранты и дипломанты. Я не столько перехожу на пенсию, сколько на ¼ ставки. И буду, конечно, без всяких помех писать. Ну, конечно, буду снимать, разводить цветы, играть, читать и думать, принимать гостей и ходить в гости (внимай!).

Сейчас я живу очень полной, но и очень трудной жизнью. Работы очень много — рассказывать долго. Я позволяю себе иногда просто так посидеть на диване, прислонившись. Но на это меня хватает ненадолго.

Скоро буду у Тебя — но дня назначить еще не могу.

Твой Воля.

18.III.65.

Дорогой мой Витя!

Еще раз прочитал Твое письмо и умилился добрым ко мне чувством. Хочу и могу быть у Тебя в субботу 20 марта (проверено!), раньше не могу. Если у Тебя есть отводы — сообщи, если сигналов не будет, я буду считать, что можно.

Твой Воля.

Из дневника

29.V.1965. 26-го апреля в Университете состоялось чествование Воли в связи с его 70-летием. Большой конференц-зал Филологического факультета полон. Масса приветствий, подношений: адреса, цветы, новые издания по фольклору... Все это я подробно описывал Фане[1] и Тане в письме от 27–28.IV, а сейчас повторно уже не хочется.

---

[1] Фаня — Фаина Ивановна (1912–1996) — свояченица В. С. Шабунина, сестра Евдокии Ивановны Шабуниной.

На следующий день — 27.IV — Воля за свой счет устроил в отдельном зале ресторана «Москва» ужин на 55 персон: вся кафедра, родные и мы с Евдокией Ивановной. Снова много речей (и я сказал несколько слов) и тостов. Я не соразмерил своих сил и изрядно охмелел, так что Евдокии Ивановне пришлось при разъезде поддерживать меня под руку.* <...>

Волины заключительные слова[1] *и в Университете и в ресторане были очень удачны и прекрасно произнесены.*

(В Тарусу)
7.VII.65.

Дорогой Витя!

Пишу Тебе из Репино, куда мы окончательно переселились 5.VII. Все бы хорошо, но холодно и сыро. Днем бывает 12–14, ночью 8–10°. Мы мерзнем, солнца нет, все остановилось в росте. Тянет в город.

Режим у нас установился такой: я встаю в 6 и иду на чердак заниматься, ни о чем на свете не думая. Пишу спецкурс, о котором меня просили студенты. Сижу до 9.45. Тем временем наши встали, и завтрак уже готов. В 10 на чердак идет заниматься Елизавета Яковлевна, и мы меняемся ролями. Она занимается до двух, а потом спускается обедать. Таким образом, каждый работает по 4 часа в день — этого совершенно достаточно. Обед готовлю я. Получается не изысканно, но вполне прилично (по моим впечатлениям, а также по тому, что едоки молчат, не бранят). <...>

Один раз были на пляже. Финны из кемпинга стирают свои рубашки. Стирают плохо. Около них русские зеваки — человек 5–6 смотрят, как они это делают. Мы тоже. Купальщиков нет, желающих принимать солнечно-воздушные ванны тоже нет. На пляже ветрено и пустынно. На кромке — гирлянды из выброшенных волнами дохлых рыбешек.

Пока все.

Твой Воля.

Пока я это писал, любезная хозяйка принесла дров.

Твою открытку, в которой Ты извещаешь о прибытии, получили и читали всей семьей.

---

* В выступлениях профессоров — товарищей по кафедре — подчеркивалось значение твердости и принципиальности, с которыми Воля исполнял свои обязанности временно заведующего кафедрой. Один из ораторов назвал его в шутку «железным канцлером». Другой привел сложившуюся тогда на кафедре шутливую поговорку: «Не было бы Проппа — не было бы прока».

[1] «Волины заключительные слова...» — Речь В. Я. Проппа на юбилее весной 1965 г. Подготовка текста А. Н. Мартыновой // Живая старина. 1995. 3 (7). С. 9–10. См. наст. изд. С. 359.

(В Тарусу)
Репино, 22.VII.65.

Дорогой мой Витя!

Сижу на своей вышке и пишу Тебе, как видишь, письмо. Поздравь, пожалуйста, Евдокию Ивановну с крупным земляничным успехом! Я даже не представляю себе, как это выглядит — ведро свежей лесной земляники. И можно есть, сколько хочешь! Даже я, при всем своем аскетизме, наелся бы вволю! Варенье, конечно, тоже хорошо, но это уже совсем не то. Мы здесь очень редко едим садовую землянику (или, если хочешь, клубнику), едим с осторожностью и благоговением. <...>

Моя работа ладится очень хорошо. Теперь мне придется чаще ездить в город за книгами. Я исписал уже страниц 300. Мои студентки прислали мне очень хорошее письмо с экспедиции на Онежском озере. Есть еще хорошие молодые.

Всего Тебе лучшего. Привет Твоему семейству. Теперь уже недалеко и до встречи.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Репино, 3.VIII.65.

Дорогой Витя!

Пишу Тебе из Репино. Вчера было солнце, сегодня опять дождь. Картина такая: я с Андрюшей в комнате, надо с ним играть в домино, дурачка, лото. Он может играть часами. Я не могу. Сейчас он пишет какие-то цифры и составляет расписание автобусов. Потом автобус с шумом и завыванием мотора отправляется, стол трясется, в ушах вой — но запрещать нельзя. Обеда я сегодня не готовлю, т. к. он сделан вчера на два дня. Жду города, чтобы отдохнуть от дачи. В два обедаем, после чего я с Андрюшей уже не один. Спецкурса уже не пишу, а делаю другое: получил письмо из Италии со множеством веских редакционных и иных вопросов переводчика (моей «Морфологии»)[1]. Все это по-итальянски. <...> Этих занятий мне хватит на неделю. В общем, с италианским справлюсь (когда-то читал). Не посрамлю земли русской.

Ты читаешь Гюго, а я Диккенса («О. Твист», «Повесть о двух городах»). Беспрерывно восхищаюсь. Боже, как хорошо и сильно! Старику Диккенсу можно кое-что простить (наивность, сентиментальность), иначе мы не поймем его силы. Англия и Франция перед революцией изображены и описаны превосходно. Взятие Бастилии просто видишь.

В городе мы с Елизаветой Яковлевной были в кино (подумай!). Совершенно неожиданно вместо журнала показали Ростовский Кремль. Я про-

[1] Morphologia della fiaba. Con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica dell'autore. A cura di Gian Luigi Bravo, Torino, 1966. То же — Seconda edizione, 1969.

сто потрясен, хотя общее представление имел. Не дарил ли я Тебе когда-то книгу о Ростове Великом? Если да, возьму у Тебя почитать. Какое чудо, что это вообще показывают, хотя бы и под журналистские комментарии. А потом был американский фильм, в котором мы видели совершенно натуральный и нескончаемый бой быков под рев нескольких тысяч озверевших зрителей. Контраст с русской культурой весьма наглядный.

Скоро увидимся!

Вечер: шторм с редким, но сильным дождем. T° + 10. Топим и наслаждаемся огнем и теплом.

Привет Твоей семье.

Твой Воля.

Ты читаешь мои письма Евдокии Ивановне? Пожалуйста, читай и передай ей мое уважение.

4.IX.65.

Дорогой Витя!

Я начал вести рассеянный образ жизни. В воскресенье я в театре («Дон Жуан» Моцарта), в понедельник у меня студенты из экспедиции, во вторник я у Муси, в среду думаю быть у Шабунина. Если он будет возражать, скажи ему, чтобы он написал или позвонил, и уверь его в моих дружеских чувствах.

Твой В.

6.III.66.

Дорогой мой Витя!

Очень все жалеем, что вчера Тебя не было. Но если Тебе плохо, то рисковать, конечно, не следует. <...> Завтра идем в филармонию — вечер симфоний Гайдна, будет исполнено 6 симфоний. У нас есть чем похвастать, есть что Тебе показать и рассказать, но это можно сделать только лично.

Пользуюсь случаем, чтобы поздравить Твоих маленьких и больших дам с их праздником — праздником ранней весны. Желаю им беспрерывной радости и бодрости.

Твой Воля.

Воскресенье, 3.IV.66.
6 ч. утра

Дорогой мой Витя!

Увидев в почтовом ящике Твое письмо, я очень обрадовался, но вскрыв его, огорчился до чрезвычайности. Я знал, что Тебе неможется. Но в последний раз, когда Ты был у меня, Ты мне показался бодрым, почти совсем здоровым и вполне благополучным. Я решил, что Твой недуг проходит, и вдруг... Напиши мне из больницы о себе. <...>

У нас идет ремонт. Кончилась оклейка и побелка. Ты себе не представляешь, сколько было переносок и передвижек. Для переноски книг мы взяли дворничиху, но вместо 7 часов она пришла в 10, когда в основном все было закончено. Основным помощником моим оказался Андрюша, который с необыкновенным энтузиазмом, с величайшей быстротой и решительностью носил книги. Теперь вновь собираю и сколачиваю полки, и начнется обратный процесс. Сейчас у меня в комнате целый Арарат из книг. Я сделал еще полок, чтобы все хорошо разместить. Беспорядок ужаснейший. То молоток пропадает, то спотыкаешься о неимоверное количество откуда-то взявшихся стульев, то не знаешь, куда положить занавески. Единственное грязеубежище — моя комната, но сесть негде. Ночью не спится, все мерещится ремонт и уборка. Сегодня встал рано, убрал стол, чтобы было куда положить бумагу, и вот пишу Тебе. Я разрыл всякие хранилища с древними фотографиями, предавался воспоминаниям. Жизнь прошла — что и говорить. Я прожил хорошо, у меня было счастливое детство (омраченное только гувернанткой, но об этом я не вспоминаю). Сейчас я благодарен жизни за все, что она мне еще дает. К удивлению, я оказался вполне способным высоко поднимать тяжести, по 50 раз становиться на табуретку и спускаться с нее. Самое тяжелое — это вынужденное безделье, когда вокруг тебя хаос, и ничего сделать нельзя. Надо сидеть на одном из незанятых стульев и ждать развязки. Теперь пошло легче.

Таточкины записи очень интересны, скажи ей спасибо. Я пошлю их особе, которая занимается детским городским фольклором.

Нельзя ли Тебя навестить, что Тебе можно и нужно? Не нужно ли Тебе книг?

Пиши!

Твой Воля.

10.IV.66.

Дорогой Витя!

Очень обрадовался Твоему письму! Хотя мне и не нравится, что Тебя не пускают в столовую и не подпускают к телефону, но это — временное, очевидно — в целях науки, чтобы лучше Тебя распознать. В остальном же Твое письмо бодрое и хорошее, и этому я особенно рад.

Был я у Евдокии Ивановны, которая подробно мне все о Тебе рассказала: и как Ты себя чувствовал до больницы, и как отправился, и как лежишь. К Тебе я вряд ли соберусь: по средам у меня занятия, а по воскресеньям не хочу отбивать хлеб у Евдокии Ивановны и Таточки. Слишком большое нашествие Тебя утомит, несмотря на Твою общительность.

Ты в больнице и считаешься больным, а я дома и считаюсь здоровым. Но чувствую я себя отвратительно, совершенно разбитым. Я, правда, про-

вел весь ремонт с большой энергией, но сейчас одолевает ужасная апатия. За книгами неизменно засыпаю, даже за романами. Ничего делать не хочу и не могу. И это письмо я сел писать после долгих уговоров (я уговаривал сам себя и очень доволен, что взялся. Взяться трудно, а потом идет самотеком). Оживаю я только в интересных беседах, на занятиях в университете, или когда приходят студенты и аспиранты на дом. Тогда я оживлен, и никто ничего не замечает. Ты меня учил, что это от весны, что надо принимать витамины, но принимать лень, как-то не получается.

Я живу надеждами. В начале мая уеду в Москву. Там у Элички сперва отосплюсь, потом начну хождения: Кремль, Успенский собор, Архангельский собор (в нем музей), Третьяковка, музей Рублева, Загорск, Абрамцево, Владимир, Суздаль. Влекут меня чем-то старые города, их архитектурные формы вызывают во мне радость и счастье, похожие на влюбленность. Это как-то соответствует моим формам души, не тем, какие во мне есть, а тем, к которым я тянусь. Мне уже 70, но я все еще не осел и не оформился.

Дыхание весны я чувствую сквозь мокрый снег, ветер и холод. Сегодня Пасха! Сколько поэзии в этом было когда-то! Я до студенческих лет часто ходил на заутрени: свечи, ризы, дым кадил, стройное ангельское пение, серьезные лица людей — все это отлагалось в душе, возвышало и облагораживало.

Я надеюсь, что к 1-му мая, когда мы справляем наш традиционный праздник, Ты будешь уже дома и сможешь побывать у меня со своей семьей.

Будет охота — ответь, расскажи о себе.

Твой Воля.

(В конверте с надписью «Папе Шабунину»)
14.V.66.

Дорогой мой Витя!

Как хорошо, как умно Ты сделал, что написал мне! Я был в Москве, приехал, и сейчас накопилась такая уйма работы, что ни вздохнуть, ни передохнуть. Давно собираюсь к Тебе. Но: завтра мы едем на дачу, в понедельник встречаем Мишу, и только во вторник я сумею забежать к Тебе ненадолго часа в три. Вечером меня будут дома донимать студенты. Я принимаю 15 курсовых работ, 3 дипломных, 2 диссертации, не говоря о всем другом.

На большом Ученом совете я получил 58 голосов*, против голосовало четыре. Но в Москве я не пройду, т. к. хорошо известно, что я критикан и вообще элемент беспокойный и нежелательный.

Скорее выздоравливай!

Твой Воля.

---

* Для выдвижения в члены-корреспонденты Академии наук.

(В Тарусу)
3.VII.66.

Здравствуй, дорогой друг.

Очень за Тебя рад. Хорошо представляю себе и Вашу обстановку, и Вашу жизнь. «Самочувствие удовлетворительное» — это, конечно, еще не идеал, но уже неплохо. Мое, наоборот, неважно, я как-то страшно устал, мне ничего не хочется. Я совершил феерическую поездку, о чем расскажу устно[1]. Сегодня приехал в город специально, чтобы услышать «Волшебную флейту» Моцарта, о чем мечтаю уже много лет. Напишу письмо, когда осяду в Репино прочно. Всем привет.

Твой Воля.

(В Тарусу)
15.VII.66.

Дорогой мой, родной Витя!

Наконец от Тебя письмо, из которого я вижу, что Ты вполне благополучен. Я вижу это не только по содержанию письма, но и по тону. Ты живешь осторожно и умеренно, но в этих пределах Твоя жизнь наполнена до отказа. Не могу того же сказать о себе. Я чувствую себя неважно, иногда очень плохо, и не столько физически, сколько нервно и морально. Я болею за Елизавету Яковлевну. Она по рукам и ногам связана с Андрюшей, он весь день с ней одной, с ней играет, живет, ест, спит, а ей надо писать, и ничего не получается. Я помогаю ей в хозяйстве. Два дня готовит она — я занимаюсь, два дня наоборот, но это не выход. Сейчас я в городе (свои два дня я иногда провожу в городе) занимаюсь подведением итогов кижской поездки — делаю альбом, и это меня очень занимает. Трудов не пишу, не клеится, жду зимы и упорядоченной жизни. Занят я буду мало, буду работающим пенсионером, а это вполне терпимо. Сейчас у меня Миша. На днях он уезжает в туристскую поездку на Камчатку. Настроение его превосходное.

Погода у нас неважная. Бывает иногда солнце, но чаще дожди и дожди. На даче простыни сырые и спички плохо зажигаются — не очень полезное пребывание.

Привет Евдокии Ивановне и Таточке. Ходят ли они за грибами? У нас пока только сыроежки. На каждый гриб приходится три грибника.

Всего Тебе лучшего!

Твой Воля.

---

[1] См. наст. изд. Примеч. 1 на с. 230.

(В Тарусу)
3.VIII.66.

Дорогой мой Витя!

Приехав в город, нашел там Твое обстоятельное и интересное письмо, из которого я очень хорошо вижу, как и чем вы живете. Но я читал и между строк и увидел, что Твое состояние много лучше, что Ты живешь интересно, богато и интенсивно. Мне это нравится.

Не скажу того же о себе. Наша жизнь протекает по давно заведенному порядку. Я чувствую себя лучше. Раза 2–3 в месяц езжу в город, там печатаю фото, пишу письма, читаю газеты, готовлю материалы для своей книги. Пишу мало, но все же пишу, работа продвигается. Пишу я только на даче, на чердаке, где для работы очень неплохо.

Елизавета Яковлевна совсем расклеилась. У нее <...> болят ноги, дает себя чувствовать сердце. Говорит пессимистические и меланхолические вещи, спорить невозможно. <...>

До скорого свидания, которое я жду с нетерпением. Евдокии Ивановне и Таточке сердечнейший привет.

Твой Воля.

Витя! Ты обещал мне адрес и рекомендательную записочку в Суздаль или Владимир — не помню точно. Если будешь отвечать, вложи такую записочку! Зовет Эличка меня в Москву. А может быть и съезжу в Ярославль, а может быть — в Новгород. Не хочется только оставлять Елизавету Яковлевну.

8.XI.66.

Дорогой Витя! Евдокия Ивановна так хорошо, так сердечно меня приглашала, что мне опять захотелось побывать у Тебя. Но Ты все же меня не жди. Я болен гриппом в очень острой форме. Кроме того, на меня напал стих — пишу по утрам с 6-ти и до 12-ти и дольше, после чего уже не могу ничего. Я буду у Тебя в день Твоего рождения. Если позовешь — приду в параде, если нет — забегу запросто, ненадолго. Желаю Тебе здоровья и всего, что из этого следует.

Твой Воля.

Из дневника

29.XI.1966. 19-го ноября, в субботу вечером, мы по традиции отметили день моего рождения (17.XI). Мне исполнилось 68 лет. Были: Воля с Елизаветой Яковлевной, А. И. Говоров с Антониной Андреевной и Наташей и новые гости — Пантелеевы Надежда Семеновна и Анатолий Николаевич[1]*. Надежда Семеновна мне симпатична со дня знакомства (в 1962 г.), когда я*

[1] Пантелеевы — неустановленные лица, друзья Шабуниных.

разговаривал с нею в Университете о Г. Е. Владимирове[1]. *Мне тогда очень понравилась ее серьезность и прямота, соединенная с искренностью, сердечностью. Так это впечатление и сохранилось до сего дня. Оно укрепилось в Тарусе, куда они приезжали летом 1965 года. Там мы с ними встречались много раз. 19.XI у нас они оба держались очень приятно, внесли оживление и укрепили культурный дух встречи. <...> Татуся играла на фортепиано. Затем я показал летние этюды. Играл Воля — больше, чем обычно. <...> Вечер оставил у нас хорошее впечатление.*

(В Тарусу)
25.VI.67.

Дорогой Витя! Приехал в город, писем порядочно, но от Тебя — ничего. Как Ты? Я за Тебя в некотором беспокойстве. Нашел ли Ты что-нибудь? Как здоровье? Пришли хоть короткую весточку. Мне много лучше, я почти здоров. Голова тяжелая и делать ничего не хочется. Я и не делаю. Читал беллетристику. Черкни пару строчек. <...> Твоим дамам привет. Я серьезно подумываю уйти с работы. Желаю Тебе обычного для Тебя позитивного настроения и состояния. Как только получу весточку, напишу подробнее.

Твой Воля.

Таруса, 5.VII.67.

Дорогой мой Волюшка!

20-го июня я послал Тебе открытку из Тарусы с кратким описанием найденной мною на лето квартиры. <...> У нас просторная, удобная и даже приятная квартира <...> с прелестным «собственным» садиком, с отдельным ходом из него на улицу. Все мы вполне устроены и вполне довольны.

Вот Тебе маленький штрих, относящийся к моменту найма квартиры. Эта часть города оказалась переполненной работниками «Киносъемки», и я безрезультатно ходил по улицам, стучась из дома в дом. И вот уже в самом почти низу Пролетарской улицы зашел в очередной двор. Из окошка на меня смотрят дед и баба — лет по 80 каждому. Я к ним с шаблонным вопросом: не сдается ли комната на лето? — А старушка мне с хорошей деревенской интонацией, нараспев: «Нет, мой жалкий, нет: мы тут со стариком живем, сдавать нечего...». И так мне понравилось ее участие и это никогда не слыханное мною слово — «мой жалкий» (сходное с «мой болезный»), что я тут же спросил, не знают ли они, где бы сдавали. Они меня и надоумили обратиться по соседству. И все сладилось, как нельзя лучше.<...>

У нас удача: приехали на лето в Тарусу весьма нам симпатичные муж и жена Чижовы. Он — музыкант и художник-любитель; она — преподавательница английского языка. Будем встречаться, буду, может быть, и писать с ним вместе иногда.

---

[1] Г. В. Владимиров — неустановленное лицо.

Очень рад, что Ты себя чувствуешь постепенно лучше. Рад и тому, что Ты думаешь об уходе с работы. Я не тороплю Тебя с этим, но рад, что Ты трезво и объективно обдумываешь этот вопрос. Глубоко убежден, что с уходом со службы Твоя творческая деятельность не прекратится. Может быть, она даже станет интенсивнее.

Обнимаю Тебя! Прими наши приветы, передай сердечный привет от нас Елизавете Яковлевне и всем членам вашей семьи.

Твой Виктор.

(В Тарусу)
11.VII.67.

Наконец! Дорогой мой Витя, если б Ты знал, как у меня о Тебе изныла душа! Картины перед моим воображением проходили такие: в Тарусу Ты поехал один, заболел и валяешься бог знает где. В Тарусе Ты ничего не нашел и теперь Ты скитаешься по разным местам. Ты на меня обиделся за то, что в последний раз, когда Ты был у меня, я все молчал и молчал. А молчал я потому, что мне было совсем худо. Одного только я не придумал, а именно, что Твоя открытка затерялась и до меня не дошла. Теперь все в порядке! Слава богу, с Тобой ничего не случилось. Ты жив и здоров и даже живописуешь. В душе у меня сразу запели разные птицы.

Сейчас я в городе, потому что надо было взять деньги и ответить на разные письма, которых набралось одиннадцать (без Твоего, Твое пришло позже). Письма все деловые, неинтересные. Отвечал я два дня. Когда я с этим развязался, вдруг пришло Твое, и на душе настал праздник. Отвечаю сразу же, чтобы хоть в письме побыть с Тобой.

Меня привели в восторг старички, которые назвали Тебя «мой жалкий». Какая старина и выразительность! Когда мы были маленькие, у нас была няня, которая в моменты нежности говорила: «Пожалей меня!» Это значило «приласкай»! По этому сигналу она брала меня на руки, и ее надо было крепко обнять за шею. С тех пор для меня «жалеть» означает «крепко любить». Все эти хорошие и добрые слова приобрели постепенно обратный смысл и теперь «жалкий» означает нечто вроде плюгавый, ничтожный, бессильный. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» Впрочем, лингвисты со мной, наверное, не согласятся, но бог с ними, я уже не присяжный ученый, а вольная птица. В моем новом положении меня страшит только то, что я буду свободен, а жена будет бегать по занятиям и работать по дому и воспитанию Андрюши до полного изнеможения. Но я физически уже не могу преподавать, как делал раньше. Я оставляю за собой только спецкурс (гратис). Впрочем, Ты прав, работы будет хватать. Мне заказана статья для итальянского сборника советских авторов (этот сборник выйдет одновременно на французском языке), и, кроме того, Москва собирается переиздать (после Италии и США, которые это уже сделали) «Морфологию сказки». Но мне хочется еще и просто отдыхать и гулять и ходить по музе-

ям и концертам и театрам. Вся сложность в том, что жена не сможет, а я без нее никуда пока не ходил и впредь вряд ли захочу. Впрочем, в жизни столько всякого хорошего, что бояться пока нечего. <...>

Погода у нас неровная. Холодно. Купаются только старики, которые хотят показать, что они еще молодые, а молодые боятся раздеваться. Солнечных дней бывает не более одного в неделю, дождливых от 3 до 5-ти.

Одним словом, Ты меня успокоил и обрадовал своим письмом, я пришел в норму.

Передай мой сердечный привет Евдокии Ивановне и потрепли за чуб (любя, конечно) Таточку. Надеюсь, что у вас там погода не такая, как здесь, что вы купаетесь, ходите на дальние прогулки и уже собираете ягоды. Мы всего этого пока лишены.

Твой Воля.

Таруса, 20 июля 1967 г.

Дорогой мой Волюшка!

Твое большое машинописное послание до меня дошло. <...>

Ты снова возвращаешься к тому опасению, что Ты, мол, будешь свободен, а Елизавета Яковлевна «будет бегать по занятиям и работать по дому и воспитанию Андрюши до полного изнеможения». Я как-то уже высказывал свой взгляд на этот вопрос. Я не могу разделить Твоих опасений. Всему свое время. У Тебя один возраст, один запас реальных сил и здоровья, у Елизаветы Яковлевны — другой. Совершенно бесспорно, что Тебе уже неразумно было бы сохранять педагогические нагрузки. Из этого и нужно исходить. А если Елизавета Яковлевна хочет еще продолжать работу в Университете и чувствует себя в силах, то отговаривать ее, переубеждать, мне кажется, не следует. Вопрос об Андрюше — особый, очень деликатный. У вас он сейчас решается в плане полнейшего освобождения Миши и Луизы от родительских обязанностей, что им, конечно, очень удобно; они свободны, как ветер, как неженатые дети состоятельных родителей; весь мир открыт перед ними от вулканов Камчатки до глубин Антарктиды, от вершин Кавказа до волн Севастополя! А Андрюша вручен вам под carte blanche[1]. И нельзя сказать, чтобы это было под давлением Миши и Луизы: в принятии на себя обязанностей по воспитанию Андрюши, сколько я понимаю, было много личной вашей доброй воли, в частности, доброй воли Елизаветы Яковлевны. Правда, может быть добрая воля в какой-то мере являлась «осознанной необходимостью» — в интересах Андрюши. Да, действительно, вопрос деликатный. Но я считаю, что если труды по воспитанию Андрюши станут тяжелы, то можно прямо поставить вопрос о привлечении родителей к воспитанию сына, т. е. о том, что пора им включиться в эту работу, Конечно, при этом может создаться такое положение, что Миша

---

[1] Carte blanche (*фр.*) — свобода действий.

и Луиза захотят продолжать работу вне Ленинграда и взять Андрюшу к себе. А это для вас, особенно для Елизаветы Яковлевны, будет тяжело. Вот какой деликатный вопрос!

Хочется добавить еще только одно. Если Елизавета Яковлевна выйдет на пенсию, Ты не должен опасаться, что вы не сможете сбалансировать свой бюджет. В течение нескольких лет мы втроем (Евдокия Ивановна, я и Татуся) жили на мою пенсию, т. е. на 200 рублей в месяц. Причем имели возможность ежегодно снимать дачу в Тарусе и ездить туда. Вы с Елизаветой Яковлевной будете получать, вероятно, по 120 рублей в месяц пенсии, это уже 240 рублей; да родители будут что-то присылать ежемесячно на Андрюшу; да сверх того у Тебя от времени до времени могут быть литературные заработки. Таким образом, я считаю, что материальный вопрос вас волновать не должен, хотя ваши расходы несколько выше наших...

После двух-трех холодных дней у нас снова жарко, солнечно. Я уже почти оправился от перенесенного заболевания, снова занимаюсь живописью. Познакомился с молодым инженером-ленинградцем, любителем-художником, очень милым, очень активным. Он берет в Ленинграде частные уроки рисунка и акварели, два года занимался музыкой, не курит и не только не пьет, но даже не знает вкуса водки!!! Встает здесь в 5 часов утра и на весь день уходит на этюды, взяв с собой котелок, флягу с водой, спички, хлеб и сырой картофель, чай и сахар. Когда проголодается, сам себе варит в котелке картофель, чай... Я видел его рисунки и акварели, он, несомненно, одарен. Я, конечно, уже имею его ленинградский адрес. Зовут его Николай Иванович Турченков. Бредит Загорском, Кижами, Суздалем...

Ну, дорогой мой, обнимаю Тебя! Все мы шлем Тебе и Твоей семье привет.

Твой Виктор.

Ягоды отошли. Грибов пока нет совсем.

(В Тарусу)
31.VII.67.

Здравствуй, дорогой Витя!

Приехав в Ленинград, нашел в почтовом ящике... Твою открытку от 20.VI с неправильным обозначением дома и квартиры! Открытка грязная, затасканная. Кто-то носил ее в кармане и нашел меня, бросил ее куда надо! Я торжествую от злорадства. Не я один беспамятный! Ты тоже, и это меня особенно трогает. Сближает как-то.

А тут же длинное письмо, такое участливое! Что и говорить, конечно, проработав 50 лет, трудно расстаться с работой, но надо, потому что силы уже не те. А раз надо, значит надо. Передо мной весь мир открыт, и тужить не стоит, глупо.

У нас установилась редкостная, жаркая погода. Андрюша с бабушкой купаются два раза в день. Андрюша блаженствует. Я кончил свою работу, теперь не делаю ничего. Читаю, что под рукой, гуляю. Читал я прозу Лер-

монтова. Я ранние вещи плохо знаю. «Вадим» произвел на меня огромное впечатление (раньше я эту вещь презирал). Какая чистота и глубина чувств, какие великолепные строки и страницы, при всей наивности и всей неправдоподобности замысла! Слабая вещь Лермонтова в тысячу раз значительнее всех современных отделанных и зализанных вещей наших идейных прозаиков, книги которых валятся у меня из рук.

Ленинград красится и пудрится, но люди делаются все хуже и хуже. Я отдаю в починку обувь и костюм. Стою в очереди. Каждая третья баба (есть и мужчины такие) привередничают по совершенным пустякам и устраивают грандиозные скандалы. Как много толстых женщин, которые в вагоне, сидя, широко расставляют колени, а на лице написано: ты только поговори со мной, я тебе покажу! Я всегда права!

А у нас около дома цветы (это моя забота). Невиданный по красоте и обилию цвета и по аромату душистый горошек, огромные и сочные настурции, душистые, нежные бархотки и другие цветы — все обильно цветет и благоухает, благодарит меня за уход и работу.

Да, несмотря на всякие неладности, жить еще можно, и жить стоит. Передай мой сердечный привет Евдокии Ивановне и Татусе! Грибов в этом году, наверное, не будет, ходят ли они по грибы? И что они делают, если не ходят?

Твой Воля.

(В Тарусу)
15.VIII.67.

Дорогой мой друг! Я в городе, чтобы поработать над своей статьей и помыться в ванне. Была маленькая надежда получить от Тебя письмецо, но я утешаюсь тем, что скоро увижу Тебя лично. Сегодня у меня знаменательный день: я отвез нашему заву письмо с сообщением о своей отставке. Официальное заявление декану последует несколько позже. Я свободный человек!

Чувствую себя не совсем хорошо — не знаю, поправлюсь ли вообще. Впрочем, это меня не волнует. Я благодарен судьбе за все, что мне еще дано: за небо, за лес, за детей, за то, что еще живу, дышу и могу любить многих людей.

Я под впечатлением ужасного события: мы всей семьей (т. е. жена, внук и я) были в летнем цирке. Артистка, молодая и изящная, вознеслась под купол, но сорвалась и грохнулась на землю. Ни крика, ничего. Без сознания ее унесли. Я никогда больше не пойду в цирк. Мне это было нужно — я шел для клоунов, чтобы изучить приемы комизма, — но все было пошло и бездарно. Были разные другие великолепные по мастерству номера, но смотреть их уже не хотелось.

Впрочем, я понимаю, что предаваться угнетенности не следует, что каждую минуту люди гибнут, тонут (был ужасный шторм), страдают и мучаются, но что надо жить. Но отделаться от впечатления не могу.

9 Зак. 3360

Скоро я поеду в Москву для переговоров о переиздании своей «Морфологии»[1]. Это я еще могу. Побываю у Элички. Она проездом была здесь, спрашивала про Тебя.

Письмо немножко бессвязное и разбросанное. Пишу я для того, чтобы мысленно побыть с Тобой — это главное.

Передай привет Евдокии Ивановне и Таточке. Когда я приеду, я их спрошу, сделал ли Ты это!

До свидания осталось две недели. Вряд ли я еще соберусь написать Тебе. До скорой встречи!

Твой Воля.

Таруса, 20.VIII.67.

Дорогой мой Волюшка!

Тарусские ребятишки-дошкольники держат на пальце жучка «Божью коровку» и поют ей:

Коровушка-буренушка!
Улети на небо,
Принеси нам хлеба
Черного и белого,
Только не горелого!

Ну, конечно, «буренушка» (!) летит на небо и приносит мягкого хлеба! Вот Тебе крупица тарусского фольклора.

Сегодня пришло Твое письмо от 15.VIII, когда Ты сделал официальный шаг к уходу из Университета и получил право называть себя «свободным человеком». В письме прежде всего приковывает внимание сообщение о не вполне хорошем самочувствии, заканчивающееся спокойно высказанным сомнением в возможности для Тебя выздоровления вообще. Мне легко говорить с Тобой на эту тему, т. к. к вопросу о неизбежности смерти человека Ты относишься философски и не содрогаешься при мысли о неотвратимости конца личной жизни. В последний год или два мне пришлось по разным поводам (отчасти и в связи с собственным неважным самочувствием) довольно много думать о смерти, и я проделал определенную эволюцию в этом отношении к этому вопросу. Общий, основной результат этих размышлений тот, что я стал спокойнее, «независимее», — «жало смерти» изрядно притупилось. Я глубоко оценил и прочувствовал преемственность всей человеческой деятельности, ее общественный характер, почувствовал «локоть соседа» и его значение, понял роль и место отдельного человека в жизни общества. Все это отнюдь не ново само по себе, обо всем этом я, конечно, думал и прежде: все дело в том, чтобы это прочувствовать, освоить как органический элемент своего мировоззрения, своей философии.

---

[1] *Пропп В. Я.* Морфология сказки. Л., 1928; 2-е изд. — М., 1969; 3-е изд. — М., 1998.

Но все эти философские завоевания относятся, конечно, лишь к существу вопроса о смерти, ее неизбежности, как завершения личной жизни. Они нисколько не облегчают личного горя при смерти дорогих нам лиц, особенно при смерти внезапной. Да и вообще внезапная смерть всегда потрясает. Вот у нас в Тарусе на днях внезапно умер отличный скульптор и очень хороший человек — Андрей Петрович Файдыш. Ему было всего 47 лет, он вел с большим успехом творческую и общественную работу, от него можно было ожидать очень многого. Они праздновали день рождения его дочери; он был жизнерадостен и весел, играл в кругу семьи в волейбол на берегу реки, — а потом почувствовал себя плохо и ночью умер. Какой удар для семьи, какая потеря для страны в целом! Невольно и сторонний человек не может отделаться от гнетущего впечатления...*

<...> Пришла к концу моя летняя работа красками. Когда мы у Тебя соберемся обычным кругом, я покажу все написанное. <...>

Будь же здоров и бодр — это наше общее Тебе пожелание! Передай наши приветы всей Твоей семье. До скорой встречи!

Твой Виктор.

Таруса, 2 июля 1968 г.

Дорогой мой Волюшка!

Наш переезд в Тарусу был примечателен лишь жарой. <...> 25.VI мы среди дня оказались в Тарусе, были встречены хозяйкой, и жизнь быстро наладилась. <...> Быт наш здесь стал еще удобнее: на веранде появился небольшой диванчик, снятый с выбракованного автобуса; а самое главное, я организовал себе своего рода кабинетик, построив в комнате у окна рабочий столик (у переборки) и развесив по стенкам кое-какие свои работы. За этим столиком я и пишу Тебе. Передо мной окно с приятным видом на наш малюсенький садик и дальше — на поля и отдаленный лесистый взгорок.

Уже завел здесь новое знакомство — со столбовым дворянином Александром Ивановичем Угримовым, предок которого Иван Угримов в 1613 году по поручению Минина и Пожарского поднимал Смоленск и северные города против ляхов. Но интереснее другое: ему идет 94-й год, он подвижен и сохранил ясность ума. Безукоризненно воспитан. Агроном по образованию. Докторскую диссертацию писал в Германии, где жил 6 лет. 12 лет жил в Париже. Обоими языками владеет, как родным. Был членом комиссии по созданию плана ГОЭЛРО (!!), работал с Кржижановским и Лениным, пользовался в то время большим доверием, а вот при Сталине вместе с большой группой специалистов-интеллигентов был выслан за границу (спасибо и на том!). Беседа с ним содержательна, интересна...

Картинная галерея переживает острый момент. Прежний директор, мой добрый друг, болеет и отходит от дел. Ему приискали преемника —

---

* Автор скульптуры памятника Циолковскому в Калуге, памятника покорителям космоса в Москве.

женщину 60 лет, работающую сейчас неподалеку, в доме-музее В. Д. Поленова экскурсоводом. Я с ней познакомился <...>. Первое впечатление неопределенно; боюсь, что она смотрит на пост директора галереи как на должность. А для Аксенова работа в галерее (в то время бесплатная) была делом жизни. Но такие люди не на каждом шагу встречаются <...>.

Твой Виктор.

(В Тарусу)
8 июля 68.

Здравствуй, дорогой мой Витя!

Я несказанно обрадовался Твоему письму! Сразу стало праздничное настроение. Все, что Ты пишешь, мне очень интересно. Мы с Тобой разные: Ты общителен, а я замкнут, но именно потому мы друг к другу подходим. У Тебя талант сближаться с интересными людьми, которых в Тарусе довольно много. Твой Угримов — интересный человек, несмотря на свои 94 года. Надеюсь, что я до таких лет не доживу, чтобы никому не быть в тягость. Сохранить подвижность и ясность ума до таких лет — это не всякому дано.

О себе писать почти нечего. Я написал Макогоненко письмо, что я ухожу из Университета — он мне не ответил. Бог с ним! Сейчас я занимаюсь древнерусским искусством, читаю книги по иконописи и архитектуре — когда приедешь, я их Тебе покажу. Есть просто потрясающие по художественному совершенству вещи. Этим я интересовался еще студентом 1 курса, и вот только теперь дошли руки и нашлось время впитывать все это в себя. Этим я и живу. Ничего нового в области беллетристики не читаю — не принимает душа. Зато перечитывал Золя, теперь с восхищением перечитываю Диккенса. Пробовал читать Паустовского: он описывает пушкинские места, но до того фальшиво и сусально, что я бросил с 3-й страницы.

Начал ли Ты писать?

Андрюша почти месяц провел у своих родителей. Не сегодня-завтра его ждем. И хотя нам с ним нелегко (уж не по возрасту), ждем его с нетерпением.

Мое здоровье вполне сносно.

Мы с женой стали ходить в кино. Если б Ты знал, какое убожество современные фильмы, комедии и драмы одинаково! А ведь были хорошие фильмы! Или мы так неудачно попадаем?

Привет Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

Таруса, 12.VII.1968 г.

Дорогой мой Волюшка!

Получил ли Ты мое письмо от 2.VII? <...>

После первых дней полного «ничегонеделания», вызванного переутомлением в предыдущий период, я взялся за краски. Начаты два пейзажных

этюда и портрет одного знакомого старичка-педагога (78 лет), который со мной в переписке зимами. Он ходит позировать ко мне, это для меня очень удобно. Было уже четыре сеанса. Но портрет этот я пишу на холсте грубого переплетения («крупное зерно»), и это мне непривычно, затрудняет работу.

Вчера, в дождливый день, я снова поработал над своим «письменным столиком» и улучшил его, немного опустил, сделал себе более под рост, под руку.

Немало времени я провожу в лежачем положении, на своей постели с газетой или книгой в руках. Прочитал интересную книгу Вадима Андреева (сына писателя Леонида Андреева) «Детство»[1]*. Поражает глубочайшее уважение автора к памяти отца, чуть ли не благоговение, чуть ли не культ. А ведь книга написана уже не молодым человеком... Этот Вадим Андреев возвратился на родину, работает в Москве.*

Вторая прочитанная книга — из серии «Жизнь замечательных людей» — Н. Муравьевой — «Беранже»[2]*, из которой я узнал много для себя нового из личной жизни поэта, из особенностей его поэтического метода, из его политической деятельности.*

По вечерам, а отчасти и в непогожие дни у нас в этом году практикуется чтение вслух. В роли чтеца выступаю я. За прошедшие здесь дни прочитаны: «Горе от ума», «Ревизор» и «Евгений Онегин» — все это Татусе нужно по программе (как рано!). Сегодня приступаем к «Борису Годунову», а дальше будут «Слово о полку Игореве» и «Мертвые души». Вслух читать я люблю. «Евгения Онегина» читал с наслаждением. Евдокия Ивановна и Татуся слушали с удовольствием.

«Для себя» читаю воспоминания (дневниковые записи) А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого»[3]*.*

В жаркие дни несколько раз ходили купаться всей семьей на реку Тарусу. В этом году вода в ней поднята плотиной примерно на 1 метр, а то и побольше, и купанье стало богаче. Мы нашли очень приятное место с удобным берегом и дном (в последний жаркий день) и готовы были купаться дольше обычного, но на небе необычайно быстро стала подниматься с запада сине-серая туча со зловещей седой опушкой. Пришлось форсированным маршем направляться домой под раскаты грома, а под конец и под первые капли дождя. С того дня погода испортилась, и мы не выходим из полосы холода и дождей.

Обнимаю Тебя и очень жду от Тебя весточки.

Привет от нас всем вашим.

Твой Виктор.

---

[1] *Андреев В. Л.* Детство. Повесть. М., 1963.

[2] *Муравьева Н.* Беранже. М., 1965.

[3] *Гольденвейзер А. Б.* Вблизи Толстого. М., 1959.

(В Тарусу)
Ленинград, 13.VII.68.
(Репино)

Здравствуй, дорогой Витя!

Писать мне Тебе, собственно, не о чем. Никаких новостей, слава богу, нет. Но мне хочется побыть с Тобой хотя бы в письме. Вот я и пишу. Пишу из города. Субботу и воскресенье я всегда провожу в городе. Сегодня суббота. По этим дням на дачу приезжают отдыхать всякие горожане. Они привозят с собой патефоны, вина и другие напитки, приезжают с дамами, разваливаются на скамейке перед нашим балконом и т. д. А в городе меня ждут мои любимые книги, ждет меня Русский музей. Вот я и езжу. Настроение у меня отменное, аппетит превосходный. Что касается аппетита, то тут, вероятно, повинна и погода. У нас холод, сейчас 10 градусов тепла. Идут сплошные мелкие дожди, а иногда и крупные, с грозой. В такую погоду аппетиты возрастают, а в жару, наоборот, есть не хочется.

Приехал с Севера Андрюша — жив, невредим, здоров и весел. С его приезда у нас установился прочный режим. Мы распределили обязанности. На мне лежит обеспечение утреннего завтрака и ужина и мытье посуды. Обедаем же мы так: по понедельникам мы обедаем в ресторане, по вторникам и средам готовлю я, — не морщись, пожалуйста, я готовлю вполне прилично: вспомни перемолотый бефстроганов, которым я Тебя когда-то угощал. По четвергам мы опять в ресторане, а по пятницам, субботам и воскресеньям готовит Елизавета Яковлевна. По субботам я уезжаю в город и возвращаюсь в воскресенье вечером.

При всем том я ничего не делаю (в смысле умственном). Ничего не делать — это великое и благородное искусство, которое я, наконец, хорошо постиг. Читаю беллетристику — «Приваловские миллионы» Мамина-Сибиряка. Я его вообще люблю за наблюдательность, знание быта, юмор, хотя, конечно, есть свои недостатки. <...> Но есть превосходные места, и я продолжаю читать. Это — на даче. А в городе мой любимый Диккенс, где тоже много действующих лиц, но все совершенно разные; они пластичны, восхищают и запоминаются сразу сами собой. Диккенс дает счастье. Ты мог заметить, что по отношению к книгам и авторам я большой привередник. Зачем я буду читать плохие и средние книги, когда так много хороших и превосходных?

Иногда, надев резиновые сапоги, я гуляю. В голове звучат давно забытые мелодии далекого прошлого. Гуляя, вспоминаю, что в детстве у нас была книга нот, где имелась серия пьес под названием «Promenades d'un solitaire» (по-русски: прогулки солитера). Оттуда тоже напеваю.

Недавно произошло приятное событие. Мы сидим на балконе, и вдруг входит — кто же? Макогоненко! Я ему писал недавно трогательное письмо, прощался с ним и благодарил его. Сейчас же расторопная Елизавета Яковлевна сооружает стол, ну, и — коньячок. Оказывается, он приехал уговаривать меня, чтобы я не уходил. Я говорю: я болен и работать не могу. Он: не

уходите, нагрузка Ваша будет минимальна: помогите Вашим преемникам выработать курс фольклора и продолжайте руководить Вашей единственной аспиранткой (аспирантка такая умненькая, что ею можно не руководить: все сразу понимает сама)[1]. На заседанья кафедры можно не ходить. Короче, оставайтесь на должности консультанта, как и были. Я понимаю, что ему нельзя отпускать меня по внутренним дипломатическим причинам: на него и нашу кафедру точат зуб, и мой уход будет истолкован во вред кафедре. Скажи: как я должен был реагировать? Могу ли я пренебречь всем тем вниманием, которое мне оказывается? По-моему — никак. Ну, и теперь я буду получать ставку консультанта, как и получал ее до сих пор, и буду консультировать всех тех, кто вздумает ко мне обращаться..

Здесь, в городе, меня ожидала еще радость. Вдова Еремина[2] (Ты его видел у меня) прислала мне только что вышедшую книгу ее мужа — курс лекций по древнерусской литературе[3]. Я был ответственным редактором этой книги, написал предисловие к ней, и теперь она вышла. На книге сделана очень сердечная надпись, которая меня глубоко тронула и порадовала.

Ну, хватит болтать. Вот я побыл с Тобой, хотя и заочно. Надеюсь на недалекую очную встречу. Привет Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

(В Тарусу)
17.VII.68.

Дорогой Витя!

Твое письмо от 12.VII получил сегодня. Из него вижу, что мои письма до Тебя не доходят. Я написал Тебе два письма, а это — третье. Это я посылаю заказным. Вот мой ответ на вопрос «Чем вызвано Твое молчание?»

В первом письме я, помнится, иронически отзывался о Паустовском, а вот теперь он умер. Из Твоего письма я вижу, что чтение книг занимает в Твоей жизни много времени. У меня тоже. Где Ты их достаешь? Я записан в районную библиотеку, но там удивительно убого, я перестал туда ходить. Ты можешь читать вслух, а я — нет. Не хватает дыхания. Лекции читать могу, при этом получаются естественные хотя бы и совсем краткие передышки.

Мы в городе, т. к. с часу на час ждем Мишу. Он будет здесь проездом в Англию, куда он едет с докладом на международный конгресс (если не задержат в последний момент).

Погода здесь такая отвратительная, какой я не помню. Уже несколько недель пасмурно, холодно и дождливо. Но настроение почему-то прекрас-

---

[1] «...единственной аспиранткой» — аспиранткой В. Я. Проппа в то время была Л. М. Ивлева (19?–1994).

[2] Берта Григорьевна Еремина (1901–1982).

[3] *Еремин И. П.* Курс лекций по древнерусской литературе. Отв. ред. В. Я. Пропп. Л., 1968.

ное. Вероятно это оттого, что я глупею. Но я отнюдь не возражаю против этого. Глупость имеет свои великие преимущества.

Это письмо вроде разведывательного зонда.

Надеюсь всех вас скоро увидеть.

Твой Воля.

Таруса, 20.VII.1968 г.

Дорогой Волюшка!

<...> Твое письмо от 8 июля подучено. В pendant[1] *к Твоему сообщению о занятиях старыми иконами и церковной архитектурой могу рассказать следующее. Есть у меня здесь один пожилой педагог — Константин Михайлович Стаховский, уроженец и большой знаток Суздаля. Его дочка ездила этим летом в Суздаль и сделала там свыше сотни снимков на позитивную цветную пленку. У них здесь есть проектор, и они вчера показали нам все эти снимки (очень удачные), а К. М. их комментировал. Экран был, примерно, 1 ½ м × 1 м, видимость отличная. Эта демонстрация-беседа прошла чрезвычайно интересно. Я имею теперь хорошее представление об этом милом, привлекательном, каком-то улыбчивом городке, его многочисленных памятниках архитектуры с XIV по XIX век, проводимых там реставрационных работах, пейзаже. Нечего и говорить, что мне очень захотелось туда поехать с красками. Между прочим, в Суздаль перевезена и очень удачно поставлена деревянная церковь из одного из сел Владимирской же области, ярко напоминающая Кижи, — до того ярко, что невольно думаешь, что эта церковь была строена либо тем же строителем Нестором, что и Кижи, либо его учениками или учителями: формы здания, украшения, форма крестов, глав, их покрытие деревянной «чешуей» — все такое же (но Кижи, конечно, несравненно богаче, роскошнее, изумительнее!). Сохранились два монастыря — два комплекса зданий, окруженных каменными стенами, в одном из которых находится действующий музей; городской вал, славная реченочка Каменка и много чудесных старых деревьев, необычайно украшающих город. Часть этих деревьев, оказывается, была посажена отцом К. М. Стаховского!*

Я уже писал Тебе, что начал работу над портретом этого К. М. Стаховского. Он приходил ко мне (как Ты в свое время) и так же, как Ты, идеально позировал. Разница в том, что Тебя я писал в условиях значительно лучшего освещения. Я считаю портрет законченным. Было шесть сеансов. Размер немного больше Твоего: Твой был 40×30 см, а этот 50×35 см. Твой богаче, т. к. писан с рукой и некоторыми аксессуарами. Вчера я его показывал родным и близким К. М-ча, все они (и он сам, и Евдокия Ивановна) признали хорошее сходство. Я привезу его в Ленинград, как всегда привожу свои летние работы, — показать. Это — единственная пока законченная работа этого лета. Пишу мало из-за неудачной погоды и не очень хорошего са-

[1] Pendant — в дополнение (*фр.*).

мочувствия: что-то этим летом восстановление сил и самочувствия идет медленно.

Умер писатель К. Г. Паустовский — почетный гражданин города Тарусы. Согласно его воле, похороны состоялись (17.VII) в Тарусе, у границы старого кладбища, — под сенью дуба, на вольном месте с видом на реки Тарусу и Оку. Место это было уже давно выбрано им лично.

Так как гроб в пути из Москвы на кладбище завозили на короткий срок в тарусский дом Паустовского, находящийся напротив нашего, мы видели и вынос гроба из машины в дом, и обратный вынос из дома — уже открытым. От дома до могилы (метров 500) гроб несли на руках. Похороны были многолюдными. Я ходил на кладбище и видел похороны с соседнего холма, отдаленного от места похорон овражком.

Я не схожусь с Тобой в оценке Паустовского как писателя. Я его очень люблю; все, что им написано, доходит до моего сердца и глубоко меня волнует, временами до слез (например, рассказ «Поводырь», включающий собственные стихи Паустовского); я глубоко уважаю его писательскую скромность, самостоятельность его взглядов, его гражданское мужество, наводившее на него неудовольствие и окрики сильных мира сего.

Мы продолжаем читать вслух произведения, рекомендованные Татусе. Недавно закончили «Бориса Годунова». Это для меня хорошая школа чтения вслух. <...>

От души Тебя обнимаю! Привет Твоим.

Виктор.

Таруса, 25.VII.1968 г.

Дорогой мой Волюшка!

Все Твои письма до меня доходят, но они festinant lente[1], *— так действует почта, и Ты свое мрачное заключение сделал потому, что наши письма разошлись, да и я замедлил — и вот сейчас отвечаю сразу на два Твоих письма: от 13.VII и от 17.VII. А сам я Тебе послал письмо от 2.VII, затем от 12–13.VII, далее, от 20.VII; стало быть, это мое письмо — четвертое.*

<...> Меня очень порадовало и даже тронуло, что Макогоненко приезжал к Тебе и настаивал на том, чтобы Ты не уходил из кафедры. И, конечно, я полностью согласен с Твоим решением. Нужно было согласиться. И теперь все ясно. Ты предупредил о неполной Твоей работоспособности. Тебе дали carte blanche в отношении объема работы: им нужна Твоя компетентность. Твои знания. Твой опыт, а не количество часов работы в день или неделю. И я рад за Тебя.

Радуюсь и выходу книги Еремина под Твоей редакцией!

Ты спрашиваешь, где я достаю книги? В Тарусской библиотеке, которую очень люблю за то, что она так же проста, немудряща и приветлива, как сама Таруса. Небольшое, залитое светом и солнцем помещение; доступ к

[1] Festinant Lente — торопятся медленно (*лат.*).

стеллажам с книгами, конечно, свободный. Но, даже не подходя к полкам, уже на столе рядом с библиотекарем почти всегда можно найти среди только что сданных книг что-либо интересное. Так, этим летом я прочитал здесь и книгу Вадима Андреева «Детство», и книгу Н. Муравьевой о Беранже, и Ю. Нагибина «Не дай ему погибнуть» — об организации и проведении поисков команды дирижабля «Италия» (Нобиле), и «Театральный роман» Булгакова... а сейчас читаю Гольденвейзера «Вблизи Толстого» и отличное исследование Копшицера «Серов» (изд. «Искусство», 1966).

Вслух (например, для Татуси) я читать люблю (хотя и задыхаюсь несколько при этом). С особенным удовольствием читал «Горе от ума» и «Евгения Онегина». Я издавна и очень люблю стихи и, кажется, читаю их неплохо. По крайней мере Евдокия Ивановна и Татуся слушают мое чтение охотно.

Мы просто восхищаемся жизненным путем Миши, его быстрым восхождением, ростом. Искренне желаем ему осуществления поездки в Англию! Как интересно и как почетно молодому ученому побывать в классической европейской стране, лично соприкоснуться с тамошней жизнью! Блестяще!

<...> Обнимаю Тебя! Мы все шлем вам привет.

Твой Виктор.

(В Тарусу)
Воскресенье, 29.VII.68.

Дорогой Витя!

На этот раз пишу Тебе с дачи. По воскресеньям я уезжаю от множества патефонов, картежников, приемников и пр. и пр., но сегодня, хотя и воскресенье, я на даче, т. к. мы только что из города; провожали Мишу на международный симпозиум по освоению Антарктиды. Было много хлопот, теперь все успокоилось. Была приятная почта: из Москвы получен проект договора на переиздание «Морфологии». Получено письмо, в котором меня извещают, что эта же книга переиздается в США в новом, критически проверенном переводе. Я Тебе завидую (точнее — счастлив за Тебя), что Ты смотрел цветные диапозитивы с снимками Суздаля. Это то, о чем я мечтаю в применении к Новгороду. Но сейчас об этом и думать нечего — каждый день дожди, большие и малые, теплые и холодные, и конца этому не видно. С грустью прочел, что у вас примерно то же. Вам хозяйка принесла дров, а мы ходим в лес за валежником, который пилим, сушим в комнате, а потом иногда топим. Серое небо, туманы, мокрая листва имеют свою привлекательность, но все же мы предпочли бы немножко тепла и солнца.

При всем том я не скучаю. Я ничего не делаю и делать не хочу и не могу. Читаю (очень медленно) Мамина-Сибиряка. Там, где он выдумывает любовные или семейные драмы, он скучен. Но там, где он описывает виденное и слышанное, он просто великолепен, первоклассен. Я прочел «Бойцы»,

«Очерки весеннего сплава по реке Чусовой». Какие люди, какие типы! Отчаянные, бесстрашные, и вместе пьяницы; вот кто знал Россию! Язык колоритнейший, объективность полная, он всех понимает и никого не осуждает. Книжку его избранных произведений (620 стр.) я купил у букиниста за 1 (один) рубль! Вот как его у нас ценят!

Здесь собралась компания из 4-х мальчиков примерно Андрюшиного возраста. Они скучают и выдумывают бог знает что. Пока дом еще не сгорел и не развалился, но только благодаря нашей бдительности.

Желаю Тебе хорошо отдохнуть. Привет Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Ленинград, 3.VIII.68.

Здравствуй, дорогой мой Витя!

Приехав в Ленинград, нашел здесь Твое письмо и очень ему обрадовался. Я будто услышал Твой голос. Из него я увидел, между прочим, что все мои письма доходят и что посылать письма заказными не стоит. Узнал я также, что у вас показалось солнце, и что Ты работаешь. Очень за Тебя рад.

Елизавета Яковлевна и Андрюша вчера ездили в Новгород на один день. В тот же вечер вернулись. Побывали там на могиле брата Елизаветы Яковлевны, побывали у родных. Узнали: все гостиницы забиты преимущественно иностранцами. Цена номера 2 р. 50 к. в сутки. Никакой надежды устроиться. Я с грустью отказался от поездки, к которой готовился полгода. Надо еще узнать: думаю, что там есть общежития для приезжающих ученых. Я еще не совсем потерял надежду. Устроиться у родственников Елизаветы Яковлевны невозможно: они живут вчетвером в одной маленькой комнате.

Я задумал читать в этом году спецкурс о русской обрядовой (точнее: календарно-обрядовой) поэзии. Начал готовиться. Не скажу, чтобы меня это очень интересовало (ничего нового не скажу), но все же хоть какая-то отдушина, а главное — как-то не хочется получать деньги, ничего не делая. Большое Тебе спасибо за Твое сочувствие к положительному ответу Макогоненко.

Новая директриса картинной галереи — типичная женщина. Ты не заметил, что основная черта большинства женщин после сорока — это властолюбие? Она, понимаешь ли, директор, и изволь ей оказывать почтение и не давать советов. Она сама все знает лучше. В таком случае мужчинам можно только смиряться, а поступать они могут потом по-своему несколько позже.

Ну, кажется все. Когда садился писать, думал, что напишу много, а вышло иначе. Теперь не за горами уже личное свидание.

Всей Твоей семье сердечный привет. Солила ли Евдокия Ивановна грибки? Елизавета Яковлевна их маринует. Недавно Андрюша принес

штук 60. Произвел всеобщий фурор. Он изучил и знает места. Подберезовиков и прочих грибов низкосортных не берет. Больше всего красных.

Твой Воля.

Таруса, 9.VIII.1968 г.

Дорогой мой Волюшка!

Сегодня у меня был первый выход в лес, даже не выход, а выезд. Ты, вероятно, изумишься, что, живя в Тарусе, я до сих пор не выбрался в лес. Это показатель скромного состояния моих физических сил. Ну, а уж если быть вполне откровенным, придется признаться, что я обленился, не втягиваюсь в ходьбу, предпочитаю сидеть дома да лежать на боку, вот и отвык ходить и устаю даже от небольших переходов.

А сегодня за нами заехал на своей «Волге» здешний наш знакомый москвич, преподаватель одной из военных академий Владислав Викторович Шульгин (лет 50-ти), с которым у меня поддерживается контакт на почве художества (он — акварелист) и... французского языка. Он настолько владеет этим языком, что, будучи в командировке в Париже, выступал там с докладом по-французски. Он снабжает меня здесь французскими книгами. Вот и сейчас на моем столе лежит отлично изданный Rachette[1] *труд** *(1967 г.) с такими черно-белыми (289) и цветными (56) иллюстрациями, что невольно разводишь руками — настолько высоко их качество.*

Так вот, этот-то Владислав Викторович и увлек меня с Татусей в поездку по окрестностям Тарусы. Я охотно поехал и был полностью удовлетворен: сколько очаровательных, широких видов, сколько новых для меня живописных уголков, рощ, холмов, лужаек! Видели и остатки мельницы на р. Тарусе у села Ильинского и действующую церковь в этом селе на красивом холме (издали)... Но, знаешь, за эту трехчасовую поездку, — во время которой мы бродили по лесу едва ли больше часа, — я изрядно устал <...>, настолько утомляет, по-видимому, обилие зрительных впечатлений, воздух, солнце <...>.

Итак, Миша уехал в Англию. Искренне рад за него. Вот он уже шагнул дальше нас, шире нас. То он за полярным кругом, то в Антарктиде, то на Камчатке, то в Англии! И мне думается, что это не последняя его поездка за границу.

А успех Твоей «Морфологии сказки» мне особенно приятен тем, что он «многосторонний»: и у нас, и в Америке переиздают. Как хочешь, это уже звучит как объективное признание ценности труда.

<...> *За эти теплые и солнечные дни я как-то полностью «примирился» со всем холодом и дождями июля и чувствую, что я и этим летом уже доволен. А между тем можно было бы иметь большие претензии к нашей квар-*

---

[1] Рашетт — издательство.

* Cristianne Desroches-Noblecourt (дама!) — «Vie et mort d'un pharaon Toutankhamon» (*Кристан.* Жизнь и смерть Тутанхамона. — *А. М.*).

тире: она находится близко к берегу реки, и у нас было в это лето сыро. А сырость мне совсем не годится. <...> И вот у Евдокии Ивановны возникла мысль съездить нам на следующее лето в Крым, может быть — в Судак, на теплое море и солнце. <...>

Пожелаем друг другу на ближайшее время устойчивой, хорошей погоды — и всего доброго! Всем вам от нас приветы.

Твой Виктор.

Таруса, 12.VIII.68.

Дорогой Волюшка!

В 4-м номере журнала «Новый мир» за текущий год опубликованы некоторые письма Марины Цветаевой к разным лицам — Брюсову, Розанову, Ахматовой, Б. Пастернаку, Горькому, Ходасевичу и др. — довольно много — 28 страниц печатного текста. Письма чрезвычайно интересны напряженностью мысли и чувства, свойственной всему творчеству Цветаевой. Ни одной вялой фразы. Ничего о быте — только о творчестве, о жизни духовной, об исканиях. Характерны жалобы на полное творческое одиночество, на полное непонимание ее произведений читающими. Завидует Б. Пастернаку, у которого есть два-три понимающих его поэта. — Я читал довольно много стихов М. Цветаевой — всю книгу ее стихов, вышедшую года четыре тому назад (страниц 500)[1]*. Они очень трудны для чтения, для понимания, очень своеобразны по форме, по манере. Цветаева, несомненно, личность исключительная, творческая, предельно-субъективная. Вся ее жизнь очень трагична — и не могла быть иной при ее бурных чувствах, при остроте переживания всех жизненных конфликтов индивидуального и общественного характера.*

Я не окончил чтения ее писем. Говорю Тебе о них потому, что меня особенно поразило одиночество Цветаевой, ее духовная изолированность от окружающих. Непонимание, одиночество в той или иной степени свойственны каждой незаурядной личности, да и каждому духовно развитому человеку вообще. Но у Цветаевой это носит характер глубокой трагедии. Она пишет, а ее не понимают. Все горение мысли и чувства пропадает впустую, утрачивается смысл самого творчества. А не творить, не писать она не может, т. к. в этом — ее жизнь. И она работала очень много, подвижнически много.

У нас радость: после ряда холодных дней, когда мы были буквально скованы, опять солнце, опять тепло!

Вчера вечер был тихий, без дождя и не холодный. Мы все втроем ходили, предводимые К. М. Стаховским, в один дом, где нам показывали цветные снимки, сделанные молодым инженером во время туристской поездки по Франции (Париж, Лион, Гренобль, Ницца и др. города и дорожные снимки из окна автобуса).

---

[1] *Цветаева М. И.* Избранное. М., 1964.

Ночью прошел дождь — настоящий ливень, без ветра! А с утра солнце, тихо, и воздух уже стал теплым, а лучи солнца горячи!

Вчера я начал портрет Татуси: это мой традиционный долг в Тарусе. Сегодня будем продолжать. А может быть помимо портрета у меня будет еще сеанс работы над пейзажем — в такие бодрящие, щедрые дни хочется работать как можно больше. <...>

Обнимаю Тебя! Всем вам привет от всех нас.

Твой Виктор.

(В Тарусу)
17.VIII.68.

Дорогой мой Витя!

Приехав в Ленинград, с великой радостью нашел здесь Твое письмо. Очень рад за Тебя, что Ты вырвался в лес, да еще на «Волге»! Ты дышал природой как художник и просто как человек, ее любящий и понимающий! Что Ты устал, это ничего, это даже хорошо. А ведь я только изредка брожу по лесу и больше никуда не хожу — ноги побаливают.

Миша вернулся из Англии. Приехал в 1 час ночи и до трех нам рассказывал, рассказывал. Всего не передашь. Он захвачен, рассказывает спокойно, но живо и с юмором. Сейчас он улетел в Владивосток, может быть, там зацепится. Его хотят там иметь, но жить негде.

Настали теплые дни, и стало во всех отношениях хорошо. Два дня в неделю я в городе, разрабатываю курс, идет хорошо. Не надеюсь на память, она стала у меня дырявая, поэтому все пишу, даже формулировки. Надеюсь справиться.

Твой план пожить в Крыму мне не нравится. Природа там красивая, декоративная, но бездушная. Тебе как художнику там не будет зацепки. Климат для сердечников противопоказан, мне, например, юг запрещен врачами. Впрочем, Ты сам врач и сам лучше можешь определить, что Тебе вредно и что нет.

В Эрмитаже открылась небольшая выставка древнеболгарского искусства. Я раз уже был, хочу сходить еще раз. Очень интересно. Они (т. е. иконы) другие, чем наши, они византийские, и у меня по этому поводу разные мысли. Мечту о Новгороде я еще не совсем оставил. Муся обещает поехать со мной после 1-го сентября. Посмотрим.

Теперь я жду Тебя уже лично! Привет Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

Из дневника

25.XI.1968. Вчера мы отмечали мой день рождения. Были Проппы, Шпилени, Искра с Мариночкой[1] *и Надежда Семеновна Пантелеева — по-*

---

[1] Неустановленные лица.

следняя несмотря на свое нездоровье. Впервые не было Говоровых, у них несчастье: Наташа в тяжелом состоянии лежит в клинике с неясной картиной заболевания. <...> Вечер прошел хорошо и интересно. Сперва Татуся исполнила несколько вещей на фортепиано, затем Мариночка на скрипке (без аккомпанемента)... Я показал свои летние работы, прочитал «Последнюю главу» Паустовского и литературный этюд Стаховского о свечечках на могиле Паустовского...

(В Тарусу)
22.VII.69.

Ура! От Тебя весточка и притом добрая. Открытка Твоя шла неделю! Я уж начал беспокоиться — здоров ли Ты? Я очень рад, что вы так хорошо устроились: три комнаты + веранда — хорошо! Погода у вас тоже лучше нашей — были жаркие дни, а у нас сплошные холода. Ложась в постель, стучу зубами. Были теплые дни, а сейчас их нет, куда-то делись.

У нас самое главное сейчас — Миша. У него уже больше трех дней нормальная температура. Прекратили давать антибиотики, и теперь берут кровь на всякие посевы, которые можно делать только при нормальной температуре. <...> Чувствует себя хорошо, аппетит непостижимый. По субботам и воскресеньям мы с Луизой меняемся ролями. Она едет на дачу к Андрюше, а мы в город, и Елизавета Яковлевна ходит в больницу. Ему каждый день готовят сытную и хорошую еду, носят ему фрукты и ягоды.

Мое самочувствие сравнительно приличное. Ходить много не могу (стенокардия), работоспособность по сравнению с прошлым пониженная, но это и нормально, меня это не беспокоит. Я начал работу, о которой расскажу Тебе лично. Она охватывает иконопись, жития и духовные стихи на один и тот же сюжет. Я очень увлечен. Пока фотографирую иконы где только могу — в музее и из книг. Осенью поеду в Москву.

Я очень люблю с дачи ездить в город (книги и фотографирование), а из города ездить на дачу (обработка и идиллические прогулки). Чем старше я становлюсь, тем больше люблю природу. Надеюсь увидеть Твое воспроизведение ее (включая в природу и людей).

Будет охота — пришли еще весточку. Привет семье — Евдокии Ивановне и Таточке.

Твой Воля.

(В Тарусу)
Репино, 30.VII.69.

Здравствуй, дорогой мой Витя!

Хочется побыть с Тобой хоть в письме. Настали настоящие теплые дни. Градусник у нас украли, но и без градусника ясно, что стало жарко. Сегодня я в виде исключения не занимался, мозги начали таять. Андрюша и его бабушка купаются каждый день, но я купаться не могу из-за сердца.

У нас тут рай. Ты у нас был. Тут можно и отдыхать, и работать. Надеюсь, что и Ты пишешь и чем-нибудь порадуешь нас. С Мишей все то же. Опять поднялась температура. Луиза выхлопотала ему дефицитное американское средство, которое выдают только через Наркомздрав. Она собрала все документы, ездила в Москву и достала это средство. По субботам мы с Елизаветой Яковлевной на 2–3 дня приезжаем в город, а Луиза приезжает сюда. Миша каждый день получает из дому качественную пищу и фрукты. Эту пищу надо готовить дома и потом нести ему. Я только удивляюсь, откуда у Елизаветы Яковлевны берутся силы. Что до меня, то силушки у меня половинушка.

Тут собралось три мальчика (все трое Андрюши), а значит, шум, а также опасности для жизни увеличиваются в три раза.

У меня великолепный цветник — небывалые настурции, а у Елизаветы Яковлевны великолепный огород. В большом количестве быстро наливаются помидоры — предмет зависти соседей по даче. У нас свой лук, горох, укроп, сельдерей, своя морковь, петрушка, свекла (борщ!). Елизавета Яковлевна оказалась прекрасной огородницей, с увлечением полет и поливает.

Вот видишь, какая прозаическая жизнь! Но в ней своя поэзия.

Я мысленно вижу Тебя перед собой и надеюсь скоро увидеть ad oculos[1]. Кланяйся Евдокии Ивановне и Татусе. Будет охота — напиши о себе и своей жизни.

Твой Воля.

Я читаю. Стал очень разборчив. На даче выбора нет, читаю что попало. Достоевский: «Чужая жена и муж под кроватью». Как это понимать? Вдвоем под одной кроватью? Или только муж? Там, например, такая фраза: «Как я вам кажусь теперь в своем унижении, скажите откровенно?» Фу! Достоевского вообще давно недолюбливаю. Уайльд: «Кентервильское привидение». Чепуха. (Впрочем, комедиями Уайльда восхищаюсь.) Почему в Чехове я люблю каждую строку, каждую фразу? И значит дело не во мне и не в том, что я привередник. Гоголя могу читать по десять раз и каждый раз нахожу перлы.

Завтра с утра опять сяду за работу.

(В Тарусу)
Репино, 5 авг. 1969 г.

Здравствуй, дорогой Витя!

Наши письма разошлись. Теперь я взял Твой адрес на дачу и пишу Тебе с дачи. Самая большая у нас новость — это многодневная жара. Закрыли водопровод. Воду для мытья берем из колодца, для питья — из родника (10 минут ходьбы, ходим с чайниками), а для поливки — из лесного пруда. Одним словом, нам развлечение. Ждем дождя, но пока надежд нет.

---

[1] Воочию, наглядно (*лат.*)

Мне очень понравилось Твое описание вашей дачи. Три комнаты — хорошо! И выставка юных и не совсем юных художников (т. е. их произведений).

О моем новом творческом замысле я пока не хотел бы говорить (из суеверия). А то начнешь рассказывать, а потом ничего не получится. Когда приедешь, я Тебе почитаю. Впрочем, чувствую, что молчать невежливо, раз уж начал. Я исследую сюжет змееборства в духовных стихах и иконах[1] — вот и все. Работа будет небольшая. Про себя я должен знать весь материал, а в работе можно ссылаться на отдельные типичные образцы.

Современные искусствоведы поразительно не понимают икон, не зная житий. Я обнаружил элементарные ошибки в их суждениях.

Я очень рад за вас всех (а особенно за Евдокию Ивановну), что вы избавлены от кухонных хлопот. Увы — мы этого не можем. Правда, два раза в неделю ездим в ресторан, но это далеко и дорого, да еще без конца ждать приходится, пока подадут. Меню для меня тоже неподходящее: все жаркое да жаркое и пр. <...>

Иду на почту (около 2 ½ км). Болят ноги, но моцион нужен.

Твой Воля.

(На художественной открытке:
«Москва. Крыши и купола Кремля»)
5.IX.69.

Привет Тебе и всей Твоей семье из Москвы, где я сейчас дышу стариной.

Твой Воля.

Из дневника

6.III.1970. Приходил Воля — посоветоваться. У него была в Университете студентка, очень хорошая[2]*. Он рекомендовал ее в Петрозаводск в аспирантуру. Сейчас она прошла аспирантуру, написала хорошую диссертацию, которая была у Воли на отзыве. Он дал развернутый положительный отзыв. Сейчас его приглашают прибыть на защиту диссертации в качестве официального оппонента. Ему и хочется, и боязно в связи с состоянием здоровья. Он хотел моего совета — как врача и как друга — ехать ли ему. А у него часты стенокардические боли, и недомогает он часто, ему 74 года, и вид у него нездоровый... Одним словом, я решительно возразил против его*

[1] Статья «Змееборство Георгия в свете фольклора» опубликована в книге «Фольклор и этнография Русского Севера». Л., 1973. С. 190–208

[2] Речь идет о Н. А. Криничной, ученице В. Я. Проппа, в настоящее время докторе филологических наук, ведущем научном сотруднике Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.

поездки. Всему свое время. Был и он работоспособен и мог ездить в отдаленные города: вот еще лет 8 тому назад ездил в Горький... А теперь годы взяли свое. И грустно, но нужно смотреть фактам в лицо! Волюшка стал стареньким.

Спасибо и на том, что он сохраняет часть работоспособности и по утрам может работать за письменным столом несколько часов. И голова его ясная, и стремление к научному творчеству сохранилось. Вот он только что закончил вчерне новое исследование на материале старинных икон о поражении змея Георгием (тема змееборчества). Он применил к изучению икон новый метод — тот самый, каким он пользовался при изучении произведений фольклора: анализ вариантов. Он мне читал некоторые отрывки по рукописи — очень интересно и убедительно! Я радовался и логичности анализа, и языку изложения. Вот и отлично! А рисковать, ехать в Петрозаводск — не надо!

Из дневника

6.IV.70. Был у Воли, читал ему свою главку «О Коле Хлопине». Он нашел ее очень интересной и язык хорошим. Сказал: «Пиши больше». Да, я буду понемногу писать свои воспоминания. А эту главку покажу и Жене.

14.IV. Воля будет делать доклад (краткое изложение своего исследования темы змееборчества в старинных иконах) в Музее этнографии на Васильевском острове. Если буду в силах — поеду обязательно. <...>

15.IV.70. Вчера присутствовал на докладе Воли в Музее антропологии и этнографии имени Петра Первого (по сектору фольклора). Он докладывал при большом числе собравшихся <...>. Оказалось, что все существенное он мне прочитал раньше, в марте, когда я был у него.

Выступавшие отмечали сильное впечатление, произведенное на них этим исследованием, его методом, выражали пожелание скорее видеть доклад напечатанным.

Мы возвращались домой вместе с Волей, вдвоем. Я старался держаться бодро, но <...> невольно сопоставлял (про себя) это выступление Воли с его выступлением в зале Историко-филологического факультета пять лет тому назад, когда отмечался 70-летний его юбилей. Тогда он говорил громко, четко, достаточно оживленно и с хорошим юмором. А вчера <...> он читал машинописный текст доклада, опустив голову над столом, так что звук голоса шел «в стол»; а стол был покрыт суконной скатертью, и скатерть эта поглощала звуки <...>

13.VI.70.

Дорогой Витя!

Все выходит не так, как мы располагаем. Я мечтал в субботу или воскресенье повидать Тебя, а третьего дня свалился в жестоком инфаркте со

всеми <нрзб>, так что вызывали неотложную и пр., и пр. Боли прошли, осталась слабость, лежу пластом. Я был бы счастлив получить от Тебя хоть весточку. Мой адрес: поселок Репино, Кленовая 9, дом Мишиной. Пиши точный обратный адрес. Долго ли вы еще будете в Ленинграде? Передай мой сердечный привет Евдокии Ивановне и напиши, как она себя чувствует. Больше пока писать не могу.

Твой Воля.

Мое примечание

Получив это письмо, я сразу же поехал к Волюшке в Репино. Ко мне вышла Елизавета Яковлевна и проводила к нему, попросив лишь не утомлять его. Воля лежал в постели. Увидя меня, он воскликнул: «Вот это друг!»

С первых же слов выяснилось, что он утром садился за стол и писал письмо. Я указал ему, что этого делать никак не следует, и просил Елизавету Яковлевну строго удерживать его в постели.

Пульс у него был ритмичный, достаточного наполнения, не учащенный. Никаких болевых ощущений он не испытывал и выглядел неплохо. Пробыл я у Воли минут 10. Он очень хотел, чтобы я еще остался и с ними пообедал: «Ну как же отпустить гостя без обеда?!» Но я хорошо понимал, насколько ему необходим полный покой.

Елизавета Яковлевна проводила меня немного — показала ближнюю дорогу к автобусу через поля. Держались мы оба спокойно, но оба были озабочены.

Не думал я, что видел тогда Волюшку в последний раз.

Из дневника

19.VI.70. У Волюшки на даче в Репино произошел инфаркт мышцы сердца. Вчера его на специально оборудованной машине скорой помощи перевезли в больницу им. Ленина на Васильевском острове. Много лет тому назад у него уже был инфаркт миокарда. Но сейчас ему 75 лет... Это сильно ухудшает прогноз.

22.VI.70. А у Волюшки дела нехороши. В больнице у него было новое ухудшение. Его перевели в палату реанимации. Там явления нехватки воздуха (удушья) сняли и затем возвратили его в прежнюю палату, но на другую койку, где на него не будет дуть из окна.

Все эти сведения я получаю при помощи телефонных звонков на его квартиру. Пока на мои звонки подходила Анастасия Яковлевна, т. к. Елизавета Яковлевна старается возможно больше времени быть у Воли.

На прямой ее вопрос: безнадежен ли Воля, врачи ответили, что нет, не безнадежен, что удушье снято, и он теперь будет поправляться. Но что иное могли сказать врачи жене тяжелобольного?

24 июня 1970 г.

Дорогой Витя!

Пишет Тебе Мусенька под мою диктовку. Лежу в больнице уже неделю, мне лучше, про приступы забыл. Лежу пластом. Очень скучаю, напиши про свое здоровье, про Евдокию Ивановну, про планы на лето.

Пиши все подробно, по городскому адресу, мне принесут. Жду.

Твой Воля.

Ленинград, 24.VI.1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Ты у меня каждую минуту в памяти. Я воздерживался писать Тебе только потому, что не знал, уместно ли Тебя волновать: ведь всякое письмо несет с собой какие-то эмоции.

Прежде всего хочу похвалить Тебя за то, что Ты согласился на помещение Тебя в больницу им. Ленина. Сейчас Ты сам уже, конечно, убедился, что это было нужно. Я держу ежедневную телефонную связь с Твоей квартирой и имею самую полную информацию обо всем, что касается Тебя.

Уверен, что Ты целиком отдался в руки врачей и позволяешь безропотно делать с собою все, что они считают необходимым. Больному иначе нельзя! Ведь он опирается только на свои индивидуальные ощущения, а врачи располагают рядом объективных показателей и наблюдениями над большим количеством сердечных больных.

Судя по тому, что мне известно, постановка лечебного дела в больнице им. Ленина научна, и возможности этой больницы достаточны, а может быть, и богаты. Стало быть, нужно считать, что Ты попал в одно из лучших кардиологических заведений Ленинграда. Это вселяет уверенность в том, что лечение пойдет правильно и будет внимательным. Ну а у Тебя лично выдержки достаточно для того, чтобы вылежать столько, сколько Тебе будет предписано! Мы же со своей стороны шлем Тебе самые искренние пожелания возможно скорейшего выздоровления!

Когда врачами будет разрешено посещать Тебя, я приеду к Тебе; а пока буду давать знать о себе письмами.

Для первого раза хочу сообщить, что в минувшие субботу и воскресенье меня не было в городе: я выезжал в Васкелово на дачу к своей старшей дочери Гале и гостил у нее сутки, с ночевкой. У нее участок земли 12 соток (довольно большой) в садоводческом поселке завода им. Кулакова. Поселок этот мне очень понравился: в 6-ти км от станции, на берегу озера, в живописной местности, очень тихой, создан настоящий райский уголок. Все зелено, все обработано, все цветет. На каждом участке, как муравьи, трудятся владельцы. Дачки разнообразны, нарядны, много цветов... Одним словом, и Тебе все это очень понравилось бы! Тут же, в нескольких минутах ходьбы, — река Вьюн, в которой тоже отлично можно купаться.

Пробыв там сутки, я почувствовал себя очень освеженным, с возросшей энергией. Туда я ехал на такси; обратно меня отвезли Галины соседи, ехавшие в город на своем «Запорожце». Я богатырски спал ночь, а на следующий день был уже молодцом.

Сегодня мы всей нашей маленькой семьей едем к Андрюше — «знакомиться» с его сыночком Сашенькой. А вчера Татуся с Андрюшиной дочкой Мариночкой ходила вечером в Филармонию на вечер органной музыки: Бах. Исполнял литовский музыкант Василяускас, и обе девочки остались очень довольны.

Вот Тебе мое первое письмо. Крепко Тебя обнимаю! Поправляйся!

Твой Виктор.

Евдокия Ивановна и Таточка шлют Тебе самые сердечные приветы и пожелания.

Ленинград, 27.VI.1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Вчера вечером я разговаривал по телефону с Елизаветой Яковлевной и радовался Твоим успехам: Тебе разрешено поворачиваться на правый бок и самому кушать. Это свидетельствует о положительной оценке врачами хода Твоего заболевания. Знаю, что у Елизаветы Яковлевны есть письмо для меня. Вчера вечером я его взять не мог, возьму сегодня утром; а это письмо начинаю уже сейчас, рано утром, т. к. мне не терпится «поговорить» с Тобой о своем маленьком открытии.

Вчера была такая жаркая погода, что мне никак не хотелось сидеть дома, тем более, что Евдокия Ивановна и Татуся ушли вместе по своим делам. Я взял свой этюдный ящик и решил попытать счастья в черте города, чтобы не уставать в поездке. Поехал на метро до площади Льва Толстого, а затем на автобусе дальше по Кировскому проспекту — на Каменный остров, расположенный сразу за Малой Невкой. Тут, почти у самой остановки, есть краснокирпичная готическая церковь (она сейчас реставрирована, но вместо креста наверху поставлен шпиль); а за этой церковью, в глубине, за массивной оградой — какой-то уединенный парк, в котором у самой стрелки острова расположен чей-то бывший дворец. Похоже, что готическая церковь играла в свое время роль дворцовой, т. к. к ней ведут внушительные ворота в ограде парка. На мое счастье одна створка ворот была открыта (там ведутся работы по прокладке отопительных труб), и я свободно проник в этот парк. Он чудесен: большой, густой и совершенно безлюдный! Видно, бывший дворец является сейчас Домом Отдыха или чем-то в этом роде, но его обитатели концентрируются у дворца и на самой стрелке, где загорают, а в западную часть парка, в сторону готической церкви, почти не заглядывают. Я облюбовал себе там одно местечко и часа два с удовольствием писал нехитрый сюжет: Большую Невку, противоположный берег,*

* Церковь Иоанна Предтечи, построенная Фельтеном.

а на переднем плане, на этом берегу — несколько стволов старых лип и часть их листвы. Закончить не успел, — сделал около половины работы, — и надеюсь сегодня продолжить, если погода будет благоприятствовать (мне нужно солнце). Конечно, устал от этой поездки, но очень освежился и рад, что удалось поработать красками!

Ну вот, я продолжаю письмо за Твоим письменным столом. Прочитал Твое письмецо, писаное рукою Мусеньки 24.VI. Но с тех пор уже произошли сдвиги в лучшую сторону. Ты уже не обязан «лежать пластом» — как это хорошо! Будем надеяться, что улучшение будет продвигаться все дальше!

Ты просишь сообщить о положении дел у нас дома. Евдокия Ивановна еще на бюллетене, но практически в школе работает, хотя и не каждый день. Сегодня пойдет, т. к. 10-е классы кончают сегодня экзамены и будут возвращать в библиотеку книги.

Татуся тоже заканчивает свою «практику» в школе: кажется, ей осталось отдежурить раз или два. Видимо, после этого вплотную встанет вопрос об отъезде в Тарусу. За последние дни я ободрился, стал полегче дышать. Видимо, буду в силах перенести переезд. Всемерно постараемся с помощью носильщиков освобождать себя от физических напряжений.

Надеюсь, что ко времени нашего отъезда врачи уже разрешат Тебя навестить, и мы с Тобой свидимся, и я уеду более уверенный в том, что в июле-августе мы сможем с Тобой переписываться. А про Мусеньку скажу, что ее почерк очень четок: каждая буквочка написана ясно и разборчиво. Такой почерк — одно удовольствие!

Обнимаю Тебя, мой дорогой!

Будь благоразумен, никаких недозволенных движений не делай. Не напрягайся, не рискуй. Важно несколько недель не нагружать сердце.

Евдокия Ивановна и Татуся шлют Тебе приветы.

Твой Виктор.

Ленинград, 30.VI.1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Я писал Тебе, что 26.VI ездил на Каменный остров и там пробрался в уединенный парк и начал этюд. Следующий день я пропустил, т. к. погода с утра казалась мне не вполне устойчивой, а мне для этюда нужно было солнце. Зато в воскресенье 28.VI я снова поехал в то же место, снова пробрался на облюбованную мною аллейку — и закончил работу над этюдом. Он пока мне нравится, и я Тебе его покажу, когда Ты будешь дома. Но должен сказать, что Евдокия Ивановна от него не в восторге.

В этот второй сеанс мне удалось узнать, что парк, в котором я писал без всякого разрешения, принадлежит санаторию Министерства обороны. Жаль, что я пока не знаю, чей это был первоначально дворец и парк.

Но очень любопытно, что на территории этого парка, недалеко от ворот, ведущих к краснокирпичной готической церкви, у траншеи, вырытой

для укладки труб отопления, я обнаружил камень в форме параллелепипеда, на котором высечена следующая надпись:

Государя Императора
Александра I-го верховая
лошадь мерин вороной
Линдом

Расположение текста мною показано точно. Окончание последнего слова (имени лошади) стерлось, стало неясным. Т. к. в то время применялся «твердый знак», то я думаю, что окончание мною прочитано неправильно.

Рядом лежал еще подобный же камень, несколько большего размера, но без какой-либо надписи. Я думаю, что он служил основанием, и на нем высился камень с надписью. Очевидно, это был памятный камень на месте захоронения любимой лошади Александра I. Думаю, что оба камня были обнаружены при прокладке траншеи для труб отопления.

Мелочь, пустяк, а любопытно.

И даже как-то немножко жаль, что этот камень будет, очевидно, или разбит, или вновь брошен в траншею при ее засыпке и уборке выбранной земли.

Сегодня 30.VI — месяц Татусиной практики закончился. С завтрашнего дня она свободна, и они с Евдокией Ивановной приступят к проведению инвентаризации книг библиотеки, где работает Евдокия Ивановна. Эту работу они думают выполнить дня в три. А затем, если самочувствие Евдокии Ивановны будет удовлетворительным, начнется подготовка к поездке в Тарусу. Татуся очень нас туда тянет. А мы сегодня получили письмо о том, что наш прошлогодний хозяин свою дачу сдал. Значит, мы будем жить у какого-то другого хозяина; квартиру будем подыскивать по приезде на место, и я сразу сообщу Тебе наш адрес. Мы не волнуемся, т. к. уверены, что что-нибудь достаточно подходящее найти сумеем — не в этом районе города, так в другом.

Я сейчас чувствую себя достаточно бодрым, дорога меня не особенно страшит. Больше волнует, как будет себя чувствовать в пути Евдокия Ивановна.

Сейчас она усиленно шьет Татусе обновки к даче. <...>

Поправляйся, мой дорогой! Мои дамы шлют Тебе приветы.

Твой Виктор.

11.VII.1970 г.

Друг мой, вчера была Елизавета Яковлевна, передала Твои приветы. Мне тоскливо до пределов. Напиши мне письмецо. Расскажи про себя и своих. Почему вы еще не уехали? Какие у вас планы? Я все еще лежу плас-

том, два раза в день разрешают спускать ноги на 10 минут. Пиши по домашнему адресу, мне принесут.

Твой Воля.

Ленинград, 12.VII.1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Каждый день я звоню к Тебе на квартиру и узнаю у Анастасии Яковлевны обо всем новом, что касается Тебя. А так как у Тебя все идет своим естественным и благоприятным ходом, то мое сердце спокойно, и я даже с некоторой гордостью за Тебя слежу за ходом Твоей победоносной схватки с болезнью! Нравится мне и научно-обоснованная осторожность и постепенность, с которой врачи увеличивают нагрузки Твоему сердцу. Конечно, я хорошо понимаю, что это длительное постельное содержание, эта изолированность от привычной жизнедеятельности для Тебя достаточно тягостны, прискучили, надоели... Но это нужно, это Тебе на пользу, это обеспечивает Тебе длительную возможность научной работы в скором будущем, — и потому это надо приветствовать. Крепись, терпи!

А у нас дела такие. Евдокия Ивановна со своей болезнью (и рядом осложнений) справилась, и оба мы чувствуем себя в силах выдержать переезд в Тарусу. Фаина Ивановна (сестра Евдокии Ивановны) с нетерпением ждет нашего появления у нее в Москве, чтобы повидаться, поговорить. А когда у нас будет решен вопрос о даче в Тарусе, она приедет к нам на несколько дней. Рассчитывать на большее нельзя, т. к. отпуск у нее будет лишь в сентябре по условиям службы (она пенсионер, но работает).

Татуся наша уже в Москве. А в тот момент, когда я пишу эти строки, она в Тарусе: 8.VII ей звонила ее московская подруга Лена Польстер (внучка скульптора-анималиста В. А. Ватагина) — звала Татусю вместе ехать в субботу 11.VII в Тарусу. Они хорошо и весело дружат. <...>

Расстались мы с Татусей ненадолго, т. к. в 7.00 14-го июля, во вторник, едем вслед за ней.

Тебя я перед отъездом не увижу, т. к., как всегда, выявилось много дел, требующих времени. <...>

Мне жаль, что я уезжаю, не повидавшись с Тобой. Но я считаю это возможным, т. к. Твое состояние не вызывает у меня беспокойства. Из Тарусы <...> *я сообщу Тебе наш почтовый адрес. Но Ты не спеши отвечать: втягивайся в обычную жизнь постепенно, не переутомляя сердца.*

Нечего и говорить, что мы с Евдокией Ивановной шлем Тебе наши самые сердечные пожелания укрепления сил — и приветы Елизавете Яковлевне, Мусеньке и Эличке!

От души Тебя обнимаю и буду держать Тебя в курсе наших тарусских дел.

Поправляйся!

Твой Виктор.

Таруса, 18 июля 1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Мы по дороге гостили в течение суток в Москве у Фаины Ивановны и в Тарусу прибыли 16.VII. У прежних хозяев устроиться не удалось: у них уже есть жильцы. День был очень жаркий. Эти жильцы любезно напоили нас чаем. Узнав о положении дел, мы пошли на разведку и вскоре нашли неподалеку помещение, где и остановились. И очень довольны! Здесь лучше, чем было у последних хозяев. Нам сдали две очень хорошие комнаты (10 и 15 метров) и веранду 12 кв. м — за 60 рублей в месяц (недорого!). Все очень чисто, полы крашеные, мебели достаточно и она добротная; хозяева приятные. И местоположение дома отличное, с широкими видами вокруг! Одним словом, за все 10 лет, что мы живем в Тарусе, у нас не было таких отличных условий. Я пока сплю на веранде, а Евдокия Ивановна и Татуся имеют для себя отдельные комнаты: это уже близко к роскоши! Все мы очень довольны, испытываем чувство самого полного отдыха и удовлетворения. Уже абонировались в библиотеке и, так как нас там давно знают, набрали много книг.

А вчера уже имели гостью: к нам на три дня приехала дочь Фаины Ивановны — Танюша, молоденький инженер-экономист (окончила в этом году, училась без отрыва от производства). Они с Татусей вчера же вечером купались. Хорошая погода стоит здесь давно, вода в реке теплая-претеплая! <...>

Чувствую я, что пребывание в Тарусе будет для меня полезным. <...> Мы уже условились относительно обедов: будем их брать у некоей Ольги Алексеевны. <...>

Наш нынешний почтовый адрес: г. Таруса Калужской области, ул. К. Цеткин, дом 6.

Не думай, что, сообщая адрес, я тем самым приглашаю Тебя писать мне. Нет, я по-прежнему прошу Тебя прежде всего щадить свои силы. Но если Твоя поправка будет идти такими же хорошими темпами, как до сего дня, то мне, конечно, будет чрезвычайно приятно получить от Тебя весточку о Твоем самочувствии, настроении, обо всех Твоих делах. <...> Обнимаю Тебя! Набирайся сил! Все мы шлем привет Тебе, Елизавете Яковлевне и всем Твоим.

Твой Виктор.

P. S. Мое первое письмо из Тарусы написано Тебе. Сейчас буду писать Жене.

(В Тарусу)
Репино, 28.VII.70.

Дорогой мой Витя!

Очень обрадовался Твоему письму. Должен Тебе признаться, что беспокоился за Тебя и за Твою семью. У Тебя астма, Евдокия Ивановна только что из больницы, у Татуси больная нога. Я представлял себе, как по при-

езде некуда будет девать вещи, потом надо рыскать по городу и искать помещение, потом перетаскиваться... Но беспокоиться — свойство стариков, а вы поделили все трудности. Твое письмо дышит бодростью и хорошим настроением. А меня сегодня выписали из больницы, снабдив кучей рецептов и нравоучений. Мне позволено вставать и писать два письма в день — одно утром, другое вечером. Первое письмо Тебе. Больницу я вспоминаю, как какой-то кошмар. Врачи, правда, великолепные. Со мной возились много и успешно. Была одна добросовестная и расторопная нянюшка <...>. Все остальные — молодые и ленивые практикантки, которым до больных не было никакого дела. Я лежал в палате на трех человек, лицом к окну, глядел на небо и верхушку березы, и это помогало мне жить. Не буду описывать Тебе двух компаньонов: один — врач-венеролог (еврей), который со смаком рассказывал ужаснейшие истории из своей практики (тут я многое узнал о подпольном Ленинграде), а другой — профессор кафедры биологии беспозвоночных Университета, оба — болтуны, говорили без перерыва с шести часов утра до 12-ти и с перерывами весь остальной день, пытались и меня вовлечь в разговоры, но я притворялся глуховатым и отмалчивался. С шести утра заводили радио (оно приглушенное, но все же) и выключали в 10–11, после чего можно было заснуть.

А теперь я дома, из окна я вижу поле и лес, жена чинит Андрюшины штаны, изредка поют петухи, и тишина, тишина! Одним словом — рай! Делать я еще ничего не могу и не пытаюсь, читать нет охоты и сил. Могу отходить от дома на 10 шагов и опять возвращаться. Это после больничных коридоров наполняет меня счастьем.

Чувствую, что писать хватит. Привет Татусе и Евдокии Ивановне. <...> Обнимаю Тебя!

Твой Воля.

Таруса, 31.VII.1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Я писал Тебе 18.VII, сразу по прибытии в Тарусу, и с тех пор очень жду от Тебя весточки — первое время терпеливо, а в последние дни с большим нетерпением, т. к. мне хочется как можно скорее узнать о Твоем самочувствии, Твоей жизни.

К тому, что было написано мною 18.VII, я хочу пока добавить только следующее: все мы чувствуем себя и отдыхаем хорошо. Погода стоит все время отличная. Татуся с увлечением загорает. Евдокия Ивановна в лес ходит мало; из-за сухости грибов пока совсем нет. Я уже энергично занимаюсь живописью. В Тарусе оказалась одна Татусина подруга, с которой мы (т. е. Татуся и я) пишем на нашей веранде натюрморты и портреты. <...> У меня есть большое желание написать Тебе более обстоятельно, включая и о своих настроениях, но я хочу сначала получить хотя бы краткое сообщение о Твоем самочувствии.

Крепко Тебя обнимаю! Все мы шлем Тебе и всем Твоим сердечный привет и добрые пожелания!

Твой Виктор.

P. S. Очень жду весточки!

Таруса, 3.VIII.1970 г.

Дорогой мой Волюшка!

Только что получил Твое письмо от 28.VII (уже из Репино). Вот это для меня радость! Теперь я знаю, что у Тебя все идет, хоть и медленно, очень постепенно, но верно, и именно в том направлении, как нужно — к прочной стабилизации. Должен сказать, что ведение инфарктного больного в этой больнице, — план этого ведения, — вызвали у меня чувство удовлетворения и даже, пожалуй, некоторой гордости за медицину. Чувствуется, что имеется научная основа (широкое обобщение сотен наблюдений), что постепенность повышения нагрузок на сердце регламентирована, а не является результатом индивидуальной интуиции отдельного врача. — От всего сердца все мы приветствуем Тебя с возвращением в домашнюю обстановку, с освобождением от общества венеролога и беспозвоночного (!) биолога, от принудительного слушания радиопередач... Я эти бесконечные разговоры и звуки, шумы тоже переношу плохо. И хорошо мы понимаем, что загородная тишина кажется сейчас Тебе райским отдыхом и счастьем.

<...> Немного о нас.

Я писал Тебе, что мы сняли две комнаты и веранду. Веранда остеклена с двух сторон, имеет площадь 12 кв. м. Остекленные стороны выходят на север и восток. Она полна света, особенно утром, а погода все время солнечная! На этой веранде стоит моя кровать, и я ежедневно вижу утреннюю зарю и восход солнца! Обзор с веранды очень широк: наш дом находится в высшей точке этой части города, и я с веранды через крыши ближайших домов вижу далекие поля, перелески и во все стороны необъятное небо! У меня от избытка света даже глаза устают, но эта масса света очень повышает настроение. В итоге всего, нынешнее лето для меня хорошее, удачное, приятное. Причем немалую роль в этом играют ежедневные сеансы живописи, проходящие в компании трех очаровательных молодых девушек: нашей Татуси, Софик и Анаит. Кстати, законченный мною вчера портрет Анаит кажется мне удачным <...>.

Обнимаю Тебя! Все мы горячо приветствуем Тебя и Елизавету Яковлевну, которой пришлось пережить так много волнений и трудностей в связи с Твоей болезнью! И Анастасия Яковлевна всегда была на своем посту связи и информации!

Поправляйся, дорогой, крепни и пиши мне!

Виктор.

Мы будем здесь до 18.VIII.

(В Тарусу)
6.VIII.70.

Дорогой Витя!

Привезли мне из города Твое второе письмо. Каждое Твое письмо для меня — радость, а особенно, если в нем сказано, что у вас все хорошо и ладно. Надеюсь, что мое первое письмо до Тебя дошло. <...> Это письмо я посылаю заказным. Понемножку мне делается лучше, но работать еще не могу. Читаю беллетристику (Диккенса). Раскладываю пасьянсы. Совершаю прогулки: 100 шагов туда и 100 обратно. Вчера даже прошел 150. Жена трогательно за мной ухаживает — не знаю, что бы я делал без нее.

Грибов у нас, так же, как у вас, мало. Зато много грибников. На огороде растут помидоры, уже начали краснеть. Надеемся вас угостить. Я инфернально скучаю, но понимаю, что иначе нельзя.

Я очень заинтересовался Твоими сообщениями, что Ты интенсивно живописуешь, а также, что хочешь написать мне большое письмо. Пиши прямо сюда на дачу, пиши заказным. Мы предположительно уедем отсюда 26-го, а потом жена еще будет приезжать, следить за помидорами, так что письмо я получу.

Погода все время стоит удивительная, ясная, но сейчас стало холоднее, народ перестал купаться. Природа хороша, но городская жизнь имеет свои преимущества, которые я уже предвкушаю.

Целую Тебя.

Твой Воля.

Мой адрес: Пос. Репино, Ленинградской обл., Кленовая 9, дом Мишиной.

(В Тарусу)
Репино, 10.VIII.70.

Дорогой мой Витя!

Вчера вечером Елизавета Яковлевна звонила в Ленинград, узнала, что мне там лежит от Тебя письмо. Интуитивно догадываюсь, что это письмо — Твой ответ на мое первое письмо Тебе. Прежде я каждую субботу ездил в город, теперь безвыездно сижу в Репино, и в город не скоро кто-нибудь отсюда поедет. Я понемножку (очень медленно) поправляюсь, но делать ничего не могу — читаю беллетристику. Могу гулять, отлучаясь от дома шагов на 100–150. Болел ангиной, хожу с завязанным горлом. Помогают водочные компрессы, сейчас я уже почти здоров.

Я очень скучаю, жду не дождусь, когда поедем в город. Жить на даче и быть прикованным к дому и наполовину к постели (полдня я лежу), не ходить ни в лес, ни к морю, ни по полям, ни даже в магазин, быть на трудовом иждивении жены, которая из-за меня лишена отдыха (я ей не помогаю и не могу помогать), — все это не способствует хорошему настроению. Жена держит себя героически, все нужное делает охотно и расторопно, и тем по-

могает жить и себе, и мне. Самое трудное для меня — это вынужденное безделье. Но так нужно, я понимаю.

Водочные компрессы вызвали у меня воздыхания — лучше бы я эту водку выпил, но это от меня не уйдет, надеюсь, что Ты мне в этом поможешь. Посетителей ко мне не пускают, и это лучше, т. к. они не знают меры, сидят часами, а общего языка нет: бывшие студентки, которых надо занимать. Очень милые и доброжелательные, но как себя держать с больными, не знают.

Стоит мягкая, лирическая осень. На моей клумбе буйно цветут настурции, но я за цветами уже не ухаживаю — запрещено. Цветут и без ухода. Погода мягкая, но дня два был такой шторм, что валило деревья. Теперь опять тихо.

Я часто думаю о Тебе, рад за Тебя, что Тебе работается. Скоро увидимся!

Евдокии Ивановне и Таточке сердечный привет. Здесь пошли грибы, Андрюша иногда приносит из лесу по 5–6 штук красных.

Твой Воля.

Если будешь писать, то теперь уже на Ленинград. Мы выезжаем числа 23–24-го.

Таруса, 10.VIII.70, вечер.

Дорогой мой Волюшка!

Сегодня пришло Твое письмо от 6-го августа. От всего сердца радуюсь тому, что Тебе понемножку делается лучше, что радиус Твоих прогулок превосходит уже сотню шагов! Помни поговорку: «Тише едешь — дальше будешь». К Тебе она особенно подходит. Ходи медленно, тихо, с большой оглядкой — и будешь все дальше уходить от опасной зоны, которую Ты, по счастью, благополучно одолел.

Скучай! Скучай на доброе здоровье! Я по мере возможности буду скрашивать Твою скуку своими письмами. «Большого письма» все не получается. Но для него, по счастью, нет и материала: для «настроений» и «размышлений» все как-то не остается времени. Это — самое лучшее, что я могу себе пожелать. Я пишу красками, занимаюсь в известной мере делами хозяйственными, иногда вижусь со знакомыми, ем и пью, полеживаю с книгой или газетой, потом откладываю их и смежаю веки, иногда смотрю телевизионные передачи... Каждый день (чаще за столом, но нередко и вне стола) беседую с Евдокией Ивановной и Татусей или слушаю их рассказы о виденном в этот день. Любуюсь широкими видами со своей веранды или с крыльца. Мастерю что-нибудь у хозяйского сарайчика на примитивном верстачке... Глядь, день и прошел, и я с легким сердцем ложусь в постель, слушаю, как перекликаются собаки, и спокойно засыпаю. Просыпаюсь обычно перед восходом солнца. Слышу, как хозяин (шофер на поливочной машине) уходит на работу. Иногда снова засыпаю на часок. А в 7 часов встаю — и начинается новый день!..

11 августа.

Вот день и начался! Ночь была прохладная, а сейчас снова солнце и тепло. И настроение снова ровное и хорошее. <...> Наша московская племянница Танюша (молодой инженер) снова приедет к нам 14-го августа. Возможно, что около того же времени приедет и ее мать — «Тетя-Фаня» <...>. Предстоит и еще нечто приятное. <...> Родилась мысль устроить маленький домашний концерт с участием двух девочек, затем армяночки Анаит и Татуси. Вчера они уже «сыгрывались», знакомились с репертуаром друг друга. <...>

В последние дни мы с Софик Казарян пишем у нас на веранде портрет Татуси в войлочной «пляжной» шляпе с бахромой.

Вот Тебе, мой дорогой, наши маленькие новости.

Обнимаю Тебя! Набирайся сил! Наши сердечные приветы всем вам.

Твой Виктор.

Из дневника

25.VIII.1970. Вчера мы возвратились из Тарусы. Я позвонил по Волиному телефону и бодрым голосом спросил у подошедшей к аппарату Елизаветы Яковлевны, как дела у Волюшки. Изменившимся, глухим голосом она ответила: «Плохо, очень плохо... Самое худшее уже совершилось...» — Волюшка умер. Это случилось в 9.40 22-го августа. Никаких подробностей я не знаю.

26.VIII.1970. Оказывается, новое ухудшение наступило у Воли на даче в Репино числа 12-го августа, т. е. дня через два после его последнего письма ко мне и было, видимо, вызвано ангиной. А ангину он подхватил, по мнению родных, пользуясь в холодные дни наружной уборной, продуваемой. <...>

Сегодня в 12.30 в помещении филологического факультета ЛГУ состоится гражданская панихида и затем вынос тела для похорон на Северном кладбище. Я поеду в ЛГУ.

27.VIII.1970. Гражданская панихида на филологическом факультете Университета была организована в одной из аудиторий 2-го этажа — просторной комнате о трех окнах, выходящих на набережную. Руководил проф. Макогоненко (зав. кафедрой русской литературы), он же был главным организатором всей церемонии похорон, он же произнес первую речь, очень прочувствованно и умно. До начала речей и после их окончания все время раздавалась (в приглушенных тонах) траурная музыка — реквием, в магнитофонной хорошей записи. Этим был занят отдельный сотрудник.

Было, мне кажется, больше 200 человек — в самой комнате; а сколько в прилежащем коридоре, не знаю.

Родные стояли отдельной группой: Елизавета Яковлевна, Анастасия Яковлевна, Миша и Луиза (лишь случайно успевшие прилететь с Кольского полуострова), Андрюша — очень выросший и очень печальный, Муся с Таничкой, Эличка с сыном, Нина Яковлевна и Геня[1] и еще кто-то...*

[1] Геня — сын Нины Яковлевны Антиповой, свояченицы Владимира Яковевича.

* Волин племянник Роберт, сын Эллы Яковлевны, из г. Суворова.

По окончании речей, когда присутствовавшие стали проходить мимо гроба для последнего прощального взгляда, я подошел к родным Воли и молча всем пожал руки, а Елизавете Яковлевне поцеловал.

Затем родные подошли ко гробу. Было много слез. Лицо Миши дергалось, но он сдерживался.

Мне трудно было оставаться свидетелем этих глубоко личных переживаний, и я покинул комнату. Очень хотелось ехать на кладбище, но я чувствовал себя крайне утомленным. Долго колебался, взвешивая свои физические и моральные силы, — и все же поехал домой. И сразу лег в постель на весь вечер.

А сегодня мы с Евдокией Ивановной были у Елизаветы Яковлевны. Она держится с поразительным мужеством. Рассказывала нам, как развивались события. Числа 7-го августа у Воли появилась катаральная ангина, но через несколько дней она уступила лечению (об этом говорится и в письме Воли от 10.VIII). Числа 12:VIII ухудшилось общее состояние, появилось чувство удушья. Был и местный врач (из Зеленогорска), был и лечивший Волю в больнице им. Ленина врач Лапинер (очень хороший). Он нашел очаги воспаления в обоих легких и заявил о необходимости вновь перевезти Волю из Репино в больницу им. Ленина. И помог это организовать. В больнице Воля был в палате активного наблюдения в течение 10-ти дней. Доктор Лапинер сообщил Елизавете Яковлевне о последних минутах Воли. Агонии не было. Воле принесли манной каши. Он съел одну ложку — и сразу умер. Будем верить, что это так и было (сам доктор Лапинер при этом не присутствовал).

Сегодня я тяжелее чувствую Волину смерть. Евдокия Ивановна тоже глубоко расстроена. Она говорит: «Теперь тебе уж не так интересно будет писать твои этюды: ты будешь сознавать, что уж не можешь показать их Воле. И никогда уже не скажешь: "Пойду-ка я к Волюшке!" И Волюшка к нам не придет посидеть. И нет у тебя ни такого друга, ни просто близкого сверстника...» И в самом деле это так.

6 сент. 1970. Вчера ездил на могилу Волюшки на Северное кладбище. Путь не короткий. С Финляндского вокзала на электричке до ст. Парголово; оттуда автобусом до кладбища. Кто-то мне сказал, что раньше оно называлось Успенское. Эта старая часть находится в прекрасном состоянии — в вековом еловом лесу. Хорошо благоустроена. Здесь-то, с великими трудами, Университету удалось получить место для Волиной могилы. Место действительно хорошо: в пяти-шести шагах слева от главной аллеи («1-й старый участок») у самой металлической ограды братского захоронения, под большой, красивой осиной; тут же ели, березка; у самой могилы — сыроежка, брусника; поют птицы... Могила вся покрыта венками и цветами, еще не вполне увядшими со времени похорон. Некоторые цветы посажены в землю и бодры. Я купил у въезда в кладбище маленькие красные астры в земле и поставил у края могилы.

17.IX.1970. Мы с Волюшкой не дальше, как этой весной, условились, что познакомим друг друга с некоторыми своими дневниковыми записями.

И мне этого очень хотелось, и я уверен, что узнал бы для себя много очень важного... Но не поторопились осуществить намеченное и произошло невозвратимое: Волюшка заболел и умер. И уж никогда мы с ним не поговорим о своем самом глубоком, о чем я мог говорить только с ним — последним своим самым близким другом.

В 1995 г. родственниками В. Я. Проппа был передан в его фонд (721)[1], хранящийся в Рукописном отделе ИРЛИ, еще один замечательный документ — переписка ученого с его другом Виктором Сергеевичем Шабуниным. Переписка охватывает период с 1953 по 1970 гг., последнее письмо Владимира Яковлевича датировано 10 августа и написано за 12 дней до его кончины. В течение 17 лет В. С. Шабунин получил от друга 182 письма и почти все сохранил. После потери друга, которую он тяжело пережил, В. С. Шабунин собрал его и свои письма, расположил их в хронологическом порядке, скопировал, снабдил предисловием и пояснениями и объединил в одну рукопись. Ее объем 156 машинописных страниц (через 1 интервал). К сожалению, подлинники писем после смерти В. С. Шабунина, по свидетельству его родственников, утрачены. При перепечатке писем В. С. Шабунин произвел купюры, «не затрагивающие характера писем», как он отмечает в предисловии.

Купюры, сделанные В. С. Шабуниным в текстах писем, отмечены отточиями в ломаных скобках. Авторские сокращения раскрыты и заключены в квадратные скобки. В предисловии В. С. Шабунина небольшие сокращения произведены за счет цитат из публикуемых в настоящем издании писем. Они отмечены отточиями также в ломаных скобках. Постраничные сноски В. С. Шабунина отмечены знаком «*».

Необходимые библиографические ссылки, дополнения и некоторые пояснения к тексту подготовлены А. Н. Мартыновой, которая выражает искреннюю благодарность Л. Н. Пропп и А. М. Проппу за помощь при подготовке рукописи к печати.

Публикация *А. М. Мартыновой.*

[1] Фонд 721, оп. 1, № 466.

Дневник старости. 1962–196...



28.III.62.

Мой Дима[1] говорил:

Есть две метафизических возраста: детство и старость.

Я вижу все не так, как видел раньше.

Нет малых и великих событий: есть события только великие.

Весна необыкновенная. По утрам 10–12 градусов мороза. Потом солнце. Воздух теплеет, и дышится легко. Воздух дышит песней. Только воздух. От солнца занавешиваюсь легкими голубыми занавесками. Они колышатся, потому что форточка открыта. Сквозь них вся комната залита солнцем.

22.III.1918 года был для меня одним из лучших в моей жизни. Была Пасха. Самая ранняя, какая может быть. Я смотрел на огни Исаакия с 7-го этажа лазарета в Новой Деревне. Тогда я любил Ксению Н. Она ходила за ранеными. Было воскресенье в природе, и моя душа воскресла от признания только своего «я». Где другой — там любовь. И она была другая, совсем другая, чем я. Я сквозь войну и любовь стал русским. Понял Россию.

Это было сорок пять лет тому назад. Сегодня звонила Муся[2]: 27 марта она умерла. Я мысленно поклонился ее праху.

Она была редкостная девушка. С большими голубыми глазами. И с певучим голосом. Она вся была как-то пронизана светом той религиозности, которая составляла все содержание ее жизни.

---

[1] Дима — Дмитрий Михайлов, историк, друг В. Я. Проппа. Скончался в блокадном Ленинграде.

[2] См. наст. изд. Примеч. 1 на с. 160.

10 Зак. 3360

<...> На теплоходе. Летом, не помню, какого года[3].

Подъезжаем к Кижам. Безжалостно хлещет дождь. Туманно. Север. Онежское озеро восхитительно. Низкие островки. Между ними появляется и быстро исчезает островок повыше: виден сквозь туман удивительный силуэт какого-то храма. То появится, то опять исчезнет.

Мы подъехали. К счастью, на причале стоит теплоход «Шевченко» и мы не можем пристать. Можно посмотреть на храм с берега. Он лучше, чем все, что можно было о нем думать по снимкам. Но с воды его не снимают, а снимать надо отсюда. Я думал, что он перегружен, упадочен, барочен. Но он прежде всего удивительно строен. Главки не выпячиваются, а смотрятся на фоне всего сооружения. Можно плакать от счастья. Только люди на земле могли создать такое. Ни один город это не может.

<...> Избушки на холмах издали – иллюзия счастливой жизни. Вблизи – нищая жизнь. Покосившаяся дверь. За забором картофель и цветы. Щенок-дворняжка. На скамейке девушки-подростки, тесно прижавшись <...>. Красота пейзажа совершенно русская, с холмами, березой, рекой и песнями. Обстановка нисколько не изменилась после революции, кроме того, что пристанет «шикарный» теплоход, а радио орет «Мирандолини». Культура покосившихся избушек выше.

12.VIII.62.

Nulla dies sine linea есть бездарнейшая linea[4]. Как будто самое важное в жизни есть писание статей.

Я веду непродуктивную жизнь, но она наполнена.

Утром написал 5 писем.

Потом приходила студ<ент>ка Пантелеева[5] с экспедиции на Пинегу. Как ужасно живут там крестьяне. Есть еще курные избы. Голод. Едят болтанку из муки, если есть мука, которую привозят раз в год. Записала 42 заговора и рассказывала, как ее лечили заговором. Соблюдают посты и во время поста песен не поют. Слагают озорные антисоветские частушки. Кривые маленькие домики. В школе учительница не любит школу, содержит свою семью от участка. Детей берут в колхоз с 12 лет и раньше, в школе учатся только читать и писать. Свиней никогда не видели. Кур не держат. Тайно ловят рыбу и браконьерствуют – бьют лосей. Денег в колхозе зарабатывают 12–18 рублей в месяц. Поют духовные стихи про Волотомона. Церкви запретили, но на праздники они за 50 верст ходят в монастырь.

---

[3] Поездку в Кижи В. Я. Пропп совершил в июле 1962 года. Листочки с описанием путешествия вложены в дневник спустя несколько лет, а впечатления от поездки почерпнуты из собственных писем, которые Владимир Яковлевич ежедневно посылал жене. Второй раз на острове Кижи В. Я. Пропп побывал летом 1966 года по приглашению своей ученицы Н. А. Криничной. См. наст. изд. С. 409–410.

[4] Nulla dies sine linea – Ни дня без строчки... строчка (*лат.*).

[5] Пантелеева Юлия – студентка ЛГУ, ученица В. Я. Проппа. Здесь и далее: сведения о коллегах, учениках соответствуют времени записи в «Дневнике...».

Песен записала много, лирических, тюремных, солдатских, из гражданской войны.

Миша[6] говорит: это не типично для СССР. Да, но с такой экономикой вторую войну не выиграть.

Потом пришел Завьялов[7] и чудесно настроил и отрегулировал рояль. Работал 9 часов и взял — увы, 12 рублей.

Потом я пробую писать — не получается. Живу от известия к известию о космонавтах. Передачи бессодержательны и неинтересны. У нас не умеют просто рассказывать правду. Никак не доберешься, когда вылетел Попович[8], и никаких данных. Зато отец благодарит партию и инженеров за то, что они помогли его сыну стать космонавтом.

Я рад, что мог устроить больному сыну хороший обед. Индейка, мороженое, вечером цветная капуста. Он на глазах поправляется, и это важнее любой linea.

В старости у меня делается обостренное восприятие и усиливается впечатлительность. Рецепция есть вид продуктивности. Если так, моя жизнь продуктивна, ибо я живу в сфере высокого.

Завьялов необыкновенно мягко и нежно играл Чайковского, Шопена, Шуберта, Римского-Корсакова. Мое существо растворяется в звуках.

15.VIII.[1962].

Читаю Золя и вновь восхищен. Он и Диккенс — величайшие гении прозы двух народов и двух характеров. И не в натурализме дело, а в таком мастерстве, какого никогда не было и не будет (кроме Толстого и Чехова). Le ventre de Paris[9]. Как описана колбасная или торговля фруктами и овощами, это не сделать никому. И в этом вся сила. А не в том, что скверная полиция арестовывает хорошего человека, фантазера революции. Франция описана неверно, клеветнически, но Золя — гений, и ему прощаешь его похабство, доходящее до комического. Получен оттиск моей статьи: ответ Рыбакову[10]. Это одна из самых лучших моих работ. Вдруг оказалось, что я *знаю* свой предмет, чего я и сам не ожидал, т. к. мне всегда казалось, что я, собственно, не знаток, и выделяюсь только на фоне общего невежества.

15.VIII.62.

Я вступаю в полосу деятельной жизни. Созерцательность придает жизни и всему человеческому существу глубину. Она излучается наружу. Я люблю тихих, созерцательных людей.

---

[6] Миша — См. наст. изд. Примеч. 3 на с. 161.

[7] Завьялов Аполлон Николаевич — настройщик музыкальных инструментов.

[8] Попович П. Р. — летчик-космонавт. Космический групповой полет совместно с А. Г. Николаевым совершил 12–15 августа 1962 года.

[9] Le ventre de Paris. — Чрево Парижа (*фр.*).

[10] *Пропп В. Я.* Об историзме русского эпоса (Ответ академику Б. А Рыбакову) // Русская литература. 1962. № 2. С. 87–91.

Но сейчас надо и хочется *делать*. Сегодня надо:
1) Сделать корректуру для Путилова[11]
2) Ответить Ольге Николаевне[12]
3) Написать Макогоненко[13]
4. Позвонить в изд<атель>ство
5. Заказать в ПБ
6. Побывать в Русском музее
7. Простирнуть белье
8. Заглянуть в маг<азин> граммпластинок
9. Написать Пухову[14]
10. Получить аб<онемен>т кон<церто>в в филармонии

10.1.65.

Продолжаю почти через 3 года.

То было в 1918 году[15].

А через 3 или 4 года она стала женой Димы.

Он ее любил и заботился о ней <...>.

У них было трое детей.

Двое умерло.

Еще через 20 лет он приходил ко мне, бросался в кресло и закрывал лицо руками.

— Хоть бы один день пожить без скандалов!

Это все, что осталось от нежной, поэтической девушки с голубыми глазами.

В блокаду он ушел из дому.

У них откуда-то были пироги, с ним не делились.

Он умер с голоду в подвале Эрмитажа.

Никогда мужчина так не любил мужчину, как я Диму.

Ему достали бутылку портвейна, дали выпить ему стакан. Он выпил, сказал: «Какое блаженство» — и откинулся. Это были его последние слова.

Он умел ценить жизнь и все то, что она дает.

Умирая с голоду, прославил то, что жизнь ему дает.

---

[11] Путилов Борис Николаевич — заведующий сектором фольклора Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, известный ученый, филолог, фольклорист, этнограф.

[12] Гречина Ольга Николаевна — доцент ЛГУ, фольклорист.

[13] Макогоненко Георгий Пантелеймонович — заведующий кафедрой русской литературы ЛГУ, известный ученый, филолог.

[14] Пухов Иннокентий Васильевич — старший научный сотрудник Института мировой литературы.

[15] См. наст. изд. С. 289.

13.1.[1965].

Сегодня надо:

1) Как можно больше прочесть из Шептаева[16]

2) Подобрать и заказать в ПБ все, относящееся к Толстому[17] и к проблеме кумулятивных сказок.

3) Сделать выписки из <нрзб>

4) Продолжить читать Николаева[18].

5) Ответить Лупановой[19] и Криничной[20]

6) Если успею – на выставку графики

7) Позвонить в ИРЛИ насчет библиографии

8) Вечером концерт

9) Ответить Wildhaber-у[21]

Посмотрим!

Мне спасение и оправдание только в работе.

13–14.1.[1965].

Was ich sehe, ist die vollkommene innere ungewollte Schönheit[22].

14.1. Вчера работал интенсивно, но не продуктивно с 9 утра до 3-х ч<асов>, и не сделал и половины того, что хотел. Плохая работа проистекает не из моего бессилия, а из полной бесполезности ее. Докторские диссертации *нельзя* обсуждать. Человек пишет плохую, ужасную работу, потом ему указывают на недостатки, 10 человек ее исправляют, потом ее можно подавать. Но она по существу остается, какой и была. Я читаю Шептаева, но мне неохота входить во все детали его ошибок, я читаю поверхностно и пропускаю то, на чем надо бы остановиться. Если он сам не понимает, как

---

[16] Шептаев Леонид Семенович – доцент кафедры русской литературы Ленинградского педагогического института им. Герцена, фольклорист, исследователь фольклора о С. Разине.

[17] Имеется в виду Толстой Иван Иванович – известный ученый, филолог, фольклорист. В. Я. Пропп готовил к изданию книгу его трудов: «Статьи о фольклоре» (М.; Л., 1966).

[18] Вероятно, речь идет о книге Д. Николаева «Смех – оружие сатиры» (М., 1963).

[19] Лупанова Ирина Петровна – доцент Петрозаводского университета, известный фольклорист.

[20] Криничная Неонила Артемовна – аспирантка Петрозаводского гос. университета, ученица В. Я. Проппа. См. также наст. изд. примеч. 1 на с. 230.

[21] Вильдхабер Р. – известный народовед, этнограф, профессор, библиограф. В. Я. Пропп совместно с М. Я. Мельц готовил библиографию по русскому фольклору с 1952 по 1968 год для издания: Bibliographie Intrenationale des Arts et Traditions Populaires. Rédigé, avec e'assicsance des collaborateurs, par Robert Vildhaber. Bâle. Bonn. 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970.

[22] То, что я вижу (под строкой – *созерцаю*. – *А. М.*) есть полная внутренняя непреднамеренная красота (*нем.*).

плохо то, что он написал, он не может быть доктором. Этим я вчера занимался почти весь день.

Я приготовил также всю библиографию по кумулятивной сказке, какую можно спросить в БАН, проверил весь список трудов Ив<ана> Ив<ановича> Толстого и выяснил, что надо спросить в БАН. Вот все, что я сделал.

Бетховен — III и V концерт, увертюра «Леонора» № 3; я весь охвачен, это мой мир, мой настоящий мир. Я не имею таланта выразить себя, но Бетховен меня выражает. Я существую по-настоящему. Еврей Баренбойм[23] играет с физиологической темпераментностью и силой, но у него нет души и нет легкости (в staccato и пр.). Но ему это прощаешь. Я слушаю не его, а Бетховена <...>.

Круг моей жизни замыкается. Я вновь возвращаюсь к тому воздуху, которым я дышал в юности. Перечитываю Владимира Соловьева:

Земля-владычица, к тебе чело склонил я.
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой[24].

Как волновали эти строки 50 лет назад, как забылись потом и как теперь опять составляют то, чем я дышу.

Мир представляется мне *озаренным*. Эта озаренность есть в русских церквушках севера. И есть где-то внутренний свет. Да. Но надо работать. Сажусь читать Шептаева. Сегодня кончу.

Вечером.

Кончил. Я теперь в музыке. Начал возобновлять забытое давно. Сегодня днем выучил Avea из Карнавала и пьеску из Davidsbündler. Вечером проверил себя — еще не могу гладко. Завтра утром. Я только в собственном исполнении могу понять то, что играю. Мне кажется, что другие играют не так. Все как-то колотят.

Мой завершающийся круговорот. Опять, как в юности, Врубель. Подвернулась книга воспоминаний. Самое великое в нем — умение любить полностью, совсем, без всякого остатка. Любовь к жене с первого взгляда, в темноте, по голосу. И потом всегда так. На всех спектаклях, на всех концертах. 50 спектаклей «Садко», и всегда он ее слушает. Он видит ее нездешней, как и весь мир видит нездешним. Walter говорил о царевне-лебеди: es ist der Inbegriff dessen, was er in seinem Leben geliebt hat[25]. Жена на фоне березок — только теперь понял. Царевна Волхова. Он делал костюмы из прозрачных, наложенных одна на другую тканей разных цветов. Один цвет просвечивает сквозь другой. И только теперь, сквозь прекрасные вос-

[23] Баренбойм Даниэль — известный французский пианист и дирижер.

[24] *Соловьев В.* Земля владычица!.. // Вестник Европы. 1886. № 7. С. 372 и другие издания.

[25] Это воплощение того, что он любил в своей жизни (*нем.*).

поминания Е. Н. Ге (сестры жены), я видел, как слеп я был к Врубелю, которого так любил. Вдруг увидел связь с глубинами народа. Никогда раньше не ценил Микулу, богатыря, сказку о царе Салтане, Снегурочку, Леля, Весну. Как мог я не видеть?

Жене делает слишком большие глаза. И эти глаза — все. Такие же у демона. Любовь к жене есть только проявление *великой* любви художника ко всему, что сотворено.

Свою святыню берегу.

15.1.[1965]. Пребываю в музыке, труде и счастье.

Когда играю, сердце заполняется так, что не могу продолжать, иду к окну и хватаюсь за занавеску.

Когда проиграешь 100 раз, начинаешь понимать фразировку и гармонию. Каждый звук звучит.

Утром проработал Thompson[26] о кумулятивных сказках тщательно. Какая у него путаница! Неужели это наука? И какая недостаточность в материале! Потом проработал свою давнишнюю статью[27]. Никогда раньше ее не ценил, не печатал, а теперь поразился — какая точность, логичность и детальность. Теперь не понимаю, как это я мог. У американцев мне учиться нечему.

Окончательно знаю теперь, что не могу на старости лет работать рассредоточенно, по пяти разделам сразу.

Моя система: делать прежде всего то, что хочется и что только один я могу. Сегодня после Cumulative Tales читал Николаева о сатире весь день и много вынес.

Во вторую очередь делать то, что *надо,* но делать не хочу. Принесла свою докторскую диссертацию Куприянова[28]. От ее беспомощности начинает болеть голова, начинается нервно-сердечный приступ. Но я неизменно любезен и добр, ибо она хорошая женщина. Теперь буду читать ее диссертацию.

25 января предстоит обсуждение докторской диссертации Гусева[29]. Но читать я уже не могу.

---

[26] Вероятно, речь идет об указателе: *Thompson S.* The types of the folktale. A classification and bibliography. A. Aarne's... Verzeichnis der Märchentypen (FFC № 3) translated and enlarged by S. Thompson. FFC № 184. Second Revision. Helsinki, 1964.

[27] Скорее всего, имеется в виду статья «Кумулятивная сказка», работу над которой Владимир Яковлевич вел еще в 1930-е годы. Статья опубликована после его кончины в книге: «Фольклор и действительность». М., 1976.

[28] Куприянова Зинаида Николаевна — доцент кафедры языков народов Крайнего Севера Ленинградского педагогического института им. Герцена. Докторскую диссертацию «Эпические песни ненцев» защищала в 1966 г. Владимир Яковлевич был на защите одним из оппонентов.

[29] Гусев Виктор Евгеньевич — старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР; видный ученый, филолог, фольклорист, этнограф.

Бывает, что в разгар работы книга падает из рук, слеза наворачивается на глаза, и это мои самые счастливые минуты, для них только я и живу.

16.1, утром.

Вчера был аспирант Юдин[30]. Он сильнее всех, кто пишет докторские: Воскобойников[31], Куприянова, Шептаев, П<нрзб>ский, Гусев. Я с ним разговорился. Потом играл ему Шуберта и Бетховена. Он остался совершенно равнодушным, хотя за столом говорил, что особенно любит Шуберта. К фотографиям[32] также остался равнодушным. Не сказал ничего. Мне урок. Я должен *насквозь* понять, что я совершенно, полностью одинок, со всей своей музыкой, с любимой природой, со всем своим мироощущением — и никогда не надо пробовать делиться.

И как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

17.1.[1965].

Вчера был продуктивный день. Я работал с 7 до 6 с перерывами на обед, прогулку и рояль — всего 1 ½ ч<аса>. Сделал почти все, что хотел.

Потом Ополовников[33] об архитектуре Севера. Я начинаю постигать ее не только эмоционально, но познавательно. Происхождение шатровых храмов.

Получил два добрых и хороших письма — от Чердынцева[34] и Кошелева[35]. Оба меня за что-то любят и ценят. Показалось, что я не совсем одинок.

Abends — das größte Erlebnis des Tages. Mozart — Violinconzert d-dur № 7. Wie die Tцne aufsteigen — das ist Triumph. Man wird mitgenommen. Alles eitel Freude und Sieg. Das Andante enthält Takte, die alles Glück Ausdrücken, das mein ist.

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.

Mir gab ein Gott das nicnt, aber er gab mir *mit*zuleiden und *mit*glücklich zu sein, wenn die Vollkommensten und Gräßten sich ausdrücken.

Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, und jetzt am Morgen, singt alles in mir nach. Die Weise des Andante ist *meine* Weise, die Weise dessen, was in mir ist.

---

[30] Юдин Юрий Иванович — аспирант В. Я. Проппа.

[31] Воскобойников Михаил Григорьевич — доцент кафедры языков народов Крайнего Севера Ленинградского педагогического института им. Герцена.

[32] Владимир Яковлевич имел в виду собственные фотографии. В его архиве в ИРЛИ хранится несколько альбомов снимков, в основном это великолепные пейзажи, памятники архитектуры.

[33] Вероятно, речь идет о книге: *Ополовников А. В.* Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР. М., 1955.

[34] Чердынцев — неустановленное лицо.

[35] Кошелев Яков Романович — доцент Томского педагогического института, известный сибирский фольклорист.

Sich auszudrьcken ist Kraft, und Kraft ist, sich ausgedrьckt zu wissen.

Ich habe eine kleine Kerze auf meinem Tisch stehen als Sinnbild des Lichtes, das in mir ist. Ich zülnde sie bisweilen an[36].

21.I. Вчера кафедра. Постановлено: в апреле мой юбилей с представителями из других городов и докладами. Я могу быть доволен. Но я не люблю шумиху и ненавижу рестораны. Если бы мои милые студенты в аудитории подарили мне скромный букет, а на кафедре в текущих делах обо мне бы упомянули, мне было бы больше радости.

О своем юбилее и своем возрасте я не должен говорить никогда ни с одним человеком даже в семье. Пусть будет что будет.

Принесли докторскую диссертацию Гусева. Имею 4 дня на прочтение и должен все бросить.

Мое горение продолжается. <...> Сегодня и еще 3 дня буду только читать Гусева, отложив все дела.

Я часто плачу — от музыки, от приступов жизненного счастья. Моих слез никогда никто не должен видеть. Но я один могу плакать вволю. Есть и тоска.

Но я молчу. Не слышен ропот мой.
Я слезы лью, мне слезы утешенье.
Моя душа, объятая тоской,
В них горькое находит наслажденье[37].

Эти слезы очистительные. Но есть слезы какой-то жалости к самому себе. Такие слезы отвратительны, и ими я никогда не плачу. Сегодня буду работать до полного одурения, до головной боли.

22.I.[1965].

Вчера работал интенсивно в той мере, в какой можно интенсивно делать ненужную и бесплодную работу. Прочел почти 80 страниц диссертации Гусева. Он один из самых добрых, приветливых и насквозь хороших

---

[36] Вечером — самое сильное переживание дня. Скрипичный концерт Моцарта ре-мажор № 7. Когда звуки поднимаются ввысь — это триумф. Это захватывает. Все суетно — радость и победа. В Анданте есть такты, которые выражают все счастье, какое есть у меня.

И если в муке человек молчит,
Бог дал мне речь сказать, как я страдаю.

Мне Бог не дал этого, но он дал мне *со*страдание и *со*участие в счастье, когда выражают себя самые совершенные и великие.

Я не спал полночи, и сейчас, утром, все во мне продолжает звучать. Мелодия Анданте — это моя мелодия, мелодия того, что живет во мне.

Выразить себя — в этом сила, и сила — в сознании того, что ты мог себя выразить.

Я поставил маленькую свечку на своем столе как символ света, что светит во мне. По временам я ее зажигаю (нем.).

[37] *Пушкин А. С.* Желание // Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1959. С. 386, 607.

людей, которых я знаю. Я его очень люблю. Но его диссертация — не исследование, а характеристика. Собственно, доктора за нее давать нельзя. Но слабые работы — знамение времени. Падение науки. Когда я читаю статьи Ив<ана> Ив<ановича> Толстого, то все эти диссертации куда-то проваливаются <...>.

24.I.[1965].

Ich bin unsäglich glücklich. Dies Buch hilft mir mein Glück zu bewahren, zu hegen und zu behüten. Das, was ich gesehen habe, das gesehen zu haben ist genug, um friedlich zu sterben. Dies Glückes würdig zu sein ist der einzige Inhalt meines Lebens[38].

25.I.

Обсуждение книги В. Е. Гусева. Фридлендер[39], с необыкновенной ловкостью, не сказав о книге ничего, очень убедительно и умно хвалил ее. Для меня такая виртуозность совершенно таинственна. Я: надо говорить не о *взглядах* Веселовского, а о *методах*. Я показываю как профессионал несостоятельность выводов Веселовского о происхождении эпоса, о комедиях и пр., но подымаю на щит «Поэтику сюжетов». <...>

Спускаюсь по огромной лестнице с огромными окнами. Сквозь стекло вижу веточку — с утолщениями и узлами, из которых пойдет лист, на фоне серого неба, запушенную инеем, и дрогнуло сердце от радости. Одна эта веточка важнее всех разговоров о прогрессивности или реакционности буржуазной фольклористики.

Иду домой утешенный.

27.I.[1965].

Получено разрешение на напечатание моего предисловия к итальянскому переводу «Морфологии». Я почему-то очень счастлив и рад. Перечитал это предисловие и остался доволен. Я, несомненно, сильнее этого знаменитого француза Леви-Стросса, который пишет обо мне с таким пренебрежением[40]. Только работать я не могу столько, как они, не могу быть на уровне того, что знают в Европе и Америке, потому что библиотеки наши не могут снабдить нас тем, что надо.

---

[38] Я несказанно счастлив. Эта книга («Морфология сказки». — *А. М.*) помогает мне сохранять, поддерживать и защищать мое счастье. То, что я видел, достаточно увидеть, для того чтобы умереть примиренным. Быть достойным этого счастья — вот единственное содержание моей жизни (*нем.*).

[39] Фридлендер Георгий Михайлович — старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, известный ученый, филолог.

[40] Вероятно, В. Я. Пропп имел в виду работу: *Lévi-Strausse C.* La structure et la forme. Réflexion sur un ouvrage de Vladimir Propp. — «Cahiers de l'Institut de Science economique appliguée», serie M, № 7. 1960. Ответ на критику К. Леви-Стросса содержится в статье, опубликованной в итальянском издании «Морфологии сказки». См.: *Пропп В. Я.* Структурное и историческое изучение волшебной сказки // *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность. Избранные статьи. С. 132–152.

Этот дневник неинтересен. Он интересен только как зрелище душевного пожара, которым горит старый человек. Пожар продолжается, он охватывает все мое существо. Под старость чувства не притупляются, а, наоборот, все обостряется; я стал еще более впечатлителен.

Я у Муси. Показывает диафильмы, снятые в Париже. Снимки сделаны неловко, но красочно, ярко. Notre Dame, бульвары, Сена, Фонтенбло. У нее музыкальный голос, светящиеся от внутреннего света глаза, живые движения. Она необыкновенная умница, и это сразу видно во всем. Только умные люди могут быть так всегда приветливы. Она все делает немножко неловко, но это потому, что она вся наполнена внутренней жизнью. Как она наливает чай из чайника и ставит чашку на стол. В этой неловкости — тонкая грация. Танечка[41] стала очень мило и музыкально играть. Муся — большая любовь моей жизни. Отцовская любовь, если она нежна, есть разновидность мужской любви. Эличку[42] я люблю совсем другой любовью, я восхищаюсь такими ее качествами, как веселость, энергия, постоянно повышенный и ускоренный темп жизни, трезвая хозяйственность, чего совсем нет у Муси. Я счастливый человек, что у меня такие дети. И вообще: в минуты остановки над самим собой я вижу, как много мне в жизни было дано, и что я должен уметь брать свое счастье.

28.I.[1965], утром 6.30.

Моя жизнь протекает непродуктивно, она есть производное от неполноценности других: множество плохих или слабых диссертаций занимают все мое время и исчерпывают мою энергию. Вчера была Куприянова, я сделал ей 30 замечаний в письменном виде, она была очень довольна. Прислал статью Чердынцев. Срочно, чтобы успеть дать отзыв, надо читать диссертацию Клары[43]. Надо читать продолжение Куприяновой.

Нормальная жизнь ученого — не от слабости других, а от их достижений. Я должен знать, что достигли другие, и сам встать в этот ряд. Иначе получается непродуктивная жизнь. Я должен работать над своей грамматикой комического.

Das Geheiligte liegt tief verborgen in mir. Es gibt Augenblicke — auf der Straße, im Autobus, in der Arbeit, im Bett, wo nichts ist, alles in sich zusammenfäll, außer dem einen, das mich überwältigt[44].

Надо взять над собой контроль. Я стал плохо играть. Не хватает терпенья по 100 раз играть одно место, пока не выйдет.

---

[41] Танечка — внучка Владимира Яковлевича, дочь Марии Владимировны. См. также наст. изд. Примеч. 23 на с. 178.

[42] Эличка — Елена Владимировна Шурыгина (1932–1993) — дочь Владимира Яковлевича от первого брака.

[43] Клара Евгеньевна Корепова — аспирантка Горьковского университета, ученица В. Я. Проппа.

[44] Святое глубоко скрыто во мне. Бывают мгновения — на улице в автобусе, на работе, в постели, когда все ничтожно, все рушится, кроме того единственного, что овладевает мною (*нем.*).

29.I.[1965].

Вчера работалось хорошо. Читал внимательно Клару и Куприянову. Прочел много.

Играл andante из C-dur-ной сонаты Моцарта, пока наши гуляли. Работал и продвинулся. Могу играть почти без ошибок. В детстве слышал: «Моцарта надо играть ритмично». Почему? Потому что он механизм? У Моцарта нет пассажей, есть только мелодии, он весь — мелодия, и надо играть так, как требует напев. Моцарта надо играть без педали — он писал для клавесина. Каждый звук есть событие и требует *своего* исполнения. *Сильно* звучит он в piano, a forte заслоняет, ослабляет его. Между тем у нас piano играть не умеют, а вместо f с азартом бьют fff. Моцарт в середине своих мелодий вдруг бывает трагичен. Этой трагичности надо *верить*, и так и играть. Это andante я слышал от Рихтера. Он не понял. Загнал. Без души и без лирики — очень точно и чисто.

Вечером читал Пушкина лирику последних лет. Это мой поэт, интимно мой, особенно в трагических вещах. Я только теперь, в старости, стал понимать его стихи о любви. «На холмах Грузии».

30.I.[1965].

Концерт в Филармонии. Марина Мдивани. Редкая по легкости и лиричности пианистка. Шуберт. Экспромт фа минор — не забыть на всю жизнь.

30.I.[1965].

Пушкин. Медленно, медленно проникаю в эту великую душу. «На холмах Грузии»:

Печаль моя полна тобою
Тобой, одной тобой.

Но в черновике было: «без надежд и без желаний». Любовь без желаний есть глубочайшая мужская любовь. Физическое общение без любви отвратительно мужчине. Пушкин любил *святой* любовью, как с детства этой любовью всегда любил Лермонтов. И такая любовь всегда бывает поругана изначально. Отсюда лермонтовский цинизм, скрывающий ту сторону души, которая создает колыбельную, у Пушкина — «Бедный рыцарь». Это — мужская трагедия. Она создает несбываемую мечту о непорочном зачатии, которая покорила мир. Я надумал сравнить три редакции «Бедного рыцаря» из слова в слово и продумать все. <...>

31.I.[1965].

Я уже привык писать по утрам дневник. Это меня подтягивает внутренне и внешне на весь день.

Сегодня воскресенье, я хочу отдохнуть душой. Куприянову и Клару кончил, теперь на Клару надо писать отзыв завтра.

31.I.[1965]. <...> Я перепечатал параллельно все три редакции «Бедного рыцаря»[45]. Все стало видно. Я постигаю глубину и совершенство. Бонди[46] утверждает, что изменения внесены ради цензуры. Какая глупость! Он очень хорошо знает, в каком месте рукописи что стоит, и это нужно и за это спасибо ему, но Пушкина он не читал. Читал как пушкинист. «На холмах Грузии» написано тогда, когда он, оторвавшись от своей великой любви и глубоко ее захоронив, уехал. И в поэзии, кроме этого стиха, нет следов этого. И это вызывает у меня самое глубокое и восторженное уважение. Свою святыню надо прятать от всех, даже от себя, а тем временем жить продуктивно.

31.I.[1965], днем.

Передо мной три версии «Бедного рыцаря».

Я сперва сравню первую со второй безотносительно к тому, кто писал, без Пушкина. Потом изучу третью, потом все в целом относительно Пушкина. Т. е. буду сперва воспринимать их как эпическое, потом как лирическое.

Пушкин считал эту вещь эпической и назвал ее «легендой». Этим он отвел глаза: не о себе. Думаю, что эта вещь насквозь лирическая и фикция «легенды» есть дань особому пушкинскому целомудрию. Не о себе.

Стр[офа] 1. «Был» изменено на «жил». Он не просто был, он жил, в этом все дело.

Рыцарь «*бедный*» сохраняется во всех трех версиях. По первой строке можно думать, что «бедный» означает материальную бедность. Думаю, что это не так. Бедность здесь надо понимать в другом, высшем смысле, но и не в смысле жалости к нему. «Бедный» — отрешенный вообще от материального мира, как Франциск Ассизский проповедовал бедность. «Молчаливый как святой» переделано на «молчаливый и простой». Святость снята, потому что весь замысел — не о религиозном человеке, не о святом. «Духом смелый и простой» — нехорошо, т. к. это совсем разные качества. Заменено через «смелый и прямой» — через одно качество в разных аспектах. Все три направления очень глубоки, профессионально удачны. Из святого сделан смелый и прямой рыцарь, с простой душой, отрешенный от мира, «молчаливый», «бедный».

Стр[офа] 2. Во всех трех версиях совершенно одинакова, выношенная заранее, центральная и важнейшая. Он имел *видение*. Здесь вспоминается:

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

---

[45] В. Я. Пропп сопоставляет три редакции стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный»: текст, подготовленный для печати, черновой вариант и вариант, включенный Пушкиным позднее в неоконченную драму «Сцены из рыцарских времен» // *Пушкин. А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. III. М., 1957. С. 116–118, 462–464; Т. V. С. 481–482.

[46] *Бонди С.* Из пушкинских тетрадей. М., 1934. С. 105 и др.

Последующие строки подтверждают эту догадку. Он увидел женщину во всем ее сиянии, во *внутреннем* блеске и свете.

Стр[офа] 3. Не понимаю, откуда Женева и почему. Надо спросить у пушкинистов или историков — маршруты крестовых походов. У креста он увидел Марию, Марию-деву. Это не икона. Сперва я думал, что речь идет об иконе на подорожном кресте. Нет, она сама явилась ему и для него из воздуха, она видение. Она без Христа на руках. Такое видение не неожиданно после первой строфы. «Молчаливый» — ушедший в себя, в свой внутренний мир, этот внутренний мир проецируется наружу. Здесь начинается безумие.

«На пути» исправлено в «На дороге», ибо путь есть понятие абстрактное, а дорога — предмет, видимый глазами. Для этого пришлось ритмически ломать строку. Пушкин это сделал, из чего видно, что это исправление он считал важным. Но ломка обошлась дорого. Было «он увидел» — это совершенно точно соответствует всему событию. Стало «видел он», что значительно хуже. «Увидел» есть начинательный вид, «видел» — дезиративный. Зато убрано «на пути».

Стр[офа] 4. «Заснув душою» заменено через «сгорев». «Заснув» никак не подходит, т. к. он, наоборот, пробудился. Но и «сгорев» я не совсем понимаю. Он не сгорел, а зажегся, загорелся. Может быть, можно было бы сказать «горя». Но может быть я и не понимаю Пушкина. «Сгорев» сохраняется и в третьей версии. Сгорев для всего земного? Что же он увидел? Он увидел такое воплощение женской красоты, чистоты, совершенства, по сравнению с которым все другие, т. е. земные женщины перестают существовать. Это не религиозная экзальтация. Важно, что она является без Христа на руках. Если бы Пушкин хотел изобразить со Христом, он бы это сделал, как это сделано в стихотворении «Мадонна», где говорится:

Она с величием, он с разумом в очах.

Стр[офа] 5. «Никогда нс подымал» заменено через «с той поры не подымал» — что гораздо хуже, т. к. до этой встречи рыцарь, конечно, забрало подымал. Почему он теперь не подымает решетки? Чтобы не показывать своего лица? Но это не имеет никакого смысла. Это *символический* жест. Забрало спускают перед боем, идя на бой, во время своего воинского служения. Спущенное забрало есть знак служения, постоянного всегдашнего своего служения той, кого он видел.

Теперь о четках. У меня они не вяжутся со всем образом бедного рыцаря. Четки служат для отсчитывания молитв. Но молящимся мы его себе не можем представить. Если четки носили только монахи (это нужно узнать), то четки — знак обета, т. е. имеют такое же символическое значение, как и всегда спущенное забрало. Что это так, видно по тому, что эпитет «святые» четки в новой редакции был убран. Они не святые. Святыми считались четки, привезенные из Иерусалима. Еще изменение: сперва значилось: четки навязаны на грудь. Так всегда (или часто) носили четки, как это видно на картинах и скульптурах средневековья. Они с шеи свисали на грудь.

Так четками можно пользоваться, держа руки на груди и перебирая их. Но во второй версии вместо «на грудь навязал» появилось «на шею привязал». Так пользоваться четками нельзя, тем более, что они «*при*вязаны» — неясно только, к чему. Итак, четки — только знак своего служения, своего *духовного* смирения, как спущенное забрало есть знак служения воинского. Слова «вместо шарфа» подсказывают, что служение здесь отнюдь не церковное.

6-я Стр[офа]. Об этом же говорит и следующая, 6-я строфа. Он весь ушел в свою *любовь,* и эта *любовь* и есть служение. В первой версии было «тлея девственной любовью». Но «девственный» не подходит к мужской любви. Это слово означает непорочность любви, но эпитет этот вызывает нежелательные ассоциации и Пушкин заменяет: «полон верой и любовью». Слово «девственной» исчезает. Заменено и слово «тлея». Любовь рыцаря — не тление без огня, это, наоборот, — пожирающий огонь. «Полон любовью» не выражает огня и принадлежности огню, но оно обозначает «полноту», наполненность, насыщенность, а огненность *уже* была дана выше: «сгорев душою».

Теперь замена, которую я не понимаю. Ave, santa virgo[47] — «святая дева» заменено через Ave, Mater Dei — Матерь Божья. Это не случайно, но смысла этого не понимаю; Мария является ему как *дева,* а не как *мать,* что видно из третьей строки «увидел... Марию Деву». Теперь мать. Возможно, что этим видение поднято на еще большую высоту. Эта дева (так в обеих версиях) есть вместе Матерь Божья. Возможно, что так. Mater Dei сохранена и в третьей версии и, следовательно, Пушкин этим дорожил.

7-я Стр[офа]. Смысл ее состоит в том, что он не воздает молитв ни Отцу, ни Сыну, ни Святому Духу. Резкое отграничение от церковной догмы. В первой версии было «*Петь псалмы* Отцу и Сыну... не случалось паладину». Но псалмы даны в Псалтыри Давида — они не представляют молитв, и Пушкин заменяет «несть мольбы Отцу и Сыну», что гораздо яснее: рыцарь не молится ни Отцу, ни Сыну, ни Святому Духу.

Стр[офа] 8. Кому же он молится? Об этом говорит 8-я строфа. Он проводит ночи перед ликом пресвятой. Но это не молитва, а *созерцание.* «Тихо слезы лья рекой» — может быть, самая прекрасная строка всего стихотворения. Это не слезы горя, а слезы счастья перед красотой. Впрочем, «страстны очи» заменены через «скорбны» очи. Слово «страстны» напоминают обычные человеческие страсти и здесь не вполне уместны. Но «скорбны очи» тоже не подходит. По-видимому, это означает не сущность, а *выражение* глаз.

Во второй версии последовательность строф изменена. В первой так: забрало и четки — любовь, надпись на щите — не молитва Отцу и Сыну — ночи перед ликом Пресвятой. Во второй после забрала и четок сразу идет строфа о том, что он не молится Отцу и Сыну, потом — что о ночах перед ее

[47] Радуйся, Святая Дева! (*лат.*).

ликом, потом строфа о щите. Почему такие перестановки? Легко увидеть логичность второй версии, здесь противопоставление: он не молится Отцу и Сыну, *а* проводит ночи перед ликом Пресвятой, и *потому* на щите написал ее имя. Это же дает переход к следующему: надпись на щите есть то, во имя чего рыцарь бросается в бой.

Стр[офы] 9–10. «Мчались грозно ко врагам» заменено через «Встречу трепетным врагам». Замена несомненно неудачная. «Трепетный» у Пушкина имеет особое значение. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». «Трепетный» должно означать «полный страха». Но оно не подходит к сарацинам, которые не знали страха. Это изменение в последней версии будет снято. Строка «Мчались грозно ко врагам» ритмически неудачна, ⊥∪||⊥∪ стопа соответствует слову, что создает какую-то разрубленность. «Мчаться ко врагам» тоже нехорошо. Предлог «ко» здесь не подходит. Нападают на. Все это объясняет, почему Пушкин произвел замену. Нехорошо также «именуя нежных дам». Я не знаю, чем нехорошо, но нехорошо. Немножко смешно. Пушкин отбрасывает этот эпитет. Рыцарь восклицает Lumen cocli, sancta rosa[48] во всех трех версиях, и, значит, это имеет какое-то особое значение. Почему sancta rosa? что значит «святая роза». Инстинктивно понимаю, что роза есть символ любви, притом чувственной любви. Но надо узнать, нет ли тут следов розенкрейцерства. Вряд ли. Но соединение розы с небесным светом есть знак небесного освящения любви. Это — по латыни, но это не церковный лозунг. С этим идет в бой. Идет в бой во имя любви. Что он кричит «всех громче», конечно, нехорошо. Сила не во внешней громкости, и поэтому заменено через «восклицал он в восторге».

11 строфа. «Жил он *будто* заключен» исправлено в *строго* заключен. Иллюзия заключения заменена подлинным заключением, что усиливает значение. «Влюбленный» заменено через «безмолвный». Влюбленность не то же, что любовь. Рыцарь не влюблен в Марию, а охвачен глубочайшей любовью. И опять ритм: вместо «и влюбленный и печальный» — «все безмолвный, все печальный» — темп замедляется, все усиливается.

12 строфа. «С кончиной сражался» нехорошо потому, что только что была речь о сражении с мусульманами. Умирая, он не *сражается*. Насколько лучше «Между тем как он кончался». Вместо «бес лукавый» теперь «дух лукавый». Опять ослаблено все, что касается церковной стихии и терминологии. Впрочем, бес дальше все же остался. Получается хорошо: дух, а этот дух есть бес. Идея: вся любовь рыцаря есть любовь греховная, что видно дальше. Так думает бес. Пушкину не нравится «утащить он в свой предел». «Утащить» звучит слегка вульгарно. Заменено на «сбирался бес тащить уж в свой предел». Ритмически строфа пострадала. Слово «уж» совсем недостойно Пушкина. Словесная затычка.

13 строфа. Грех рыцаря в понимании лукавого духа: любовь к Божьей Матери внецерковная и не религиозная. И другое: не постился и не молил-

[48] Свет небес, святая роза (*лат.*).

ся. Пушкин всюду подчеркивает этот внецерковный характер, внерелигиозный характер любви рыцаря.

14 строфа. Конец напоминает Фауста: греховный человек осужден с точки зрения логики дьявола: ist gerichtet. И голос с неба: ist gerettet[49]. Пречистая принимает своего паладина в царство вечно. Рифма «сердечно» заменена словом «конечно». По-моему, и то и другое нехорошо. «Сердечно» напоминает «но муж любил ее сердечно». Пушкин убирает это, но «конечно» придает концу какой-то земной, обычный смысл. «Конечно!»

1. II.[1965]. Сегодня будет трудный день.

Вчера отдыхал, читал Пушкина.

Но не отдохнул. Ночью перебои, аритмия, бессонница.

Сегодня без всякого вдохновения должен работать систематически и беспощадно.

На рояли играл хорошо — почти выучил совсем чисто играть моцартовское andante.

Утренние часы самые лучшие.

В послеобеденные работать трудно — можно только играть приятное, кое-как.

Wenn ich ihr vorspielen kцnnte, wьrde ich alles sagen, durch Schubert und Mozart, und dann bedarf es keiner Worte[50].

2.II.[1965].

Обсуждение Шептаева. Как обычно — хвалят. Я выступаю с полным разносом. Подготовил *тон.* В прежние времена я был бы резок и насмешлив. Сейчас я выработал себе дружественный тон. Спрашиваю на ухо Гусева: «Я его не обидел?» Гусев делает большие глаза. «Что вы? Вы были очень мягки». Шептаев уходит, ни с кем не прощаясь, кроме меня. Жмет мне долго руку и выражает свою благодарность.

А я думаю о другом. Мне не интересны плохие работы.

Alles das denke ich in gelehrter Sitzung, die Ellenbogen in die Knie und das Gesicht in die Hдnde gestützt. Ich weiß nicht, ob die Brust sich weitet oder engt, ich weiß nur, daß ich eine solche Sehnsicht empfinde, daß mein ganzes Wesen ьbergeht in Fьlle, auf deren Grund eine fьrchterliche Verzweiflung nistet. Aber ich gebe mich diesem Gefьhl ganz restlos hin, und nur in dieser Restlosigkeit ist meine Rettung[51].

---

[49] ...осужден... спасен *(нем.)* — полуцитата из заключительной сцены 1-й части «Фауста» Гете.

[50] Если бы я смог играть для нее, я выразил бы все с помощью Шуберта и Моцарта, и никаких слов тогда не потребовалось бы (*нем.*).

[51] Обо всем этом я думаю на научном заседании, положив локти на колени, а лицо в ладони. Не знаю, расширяется ли грудь или сжимается, знаю только, что испытываю такую тоску, что все мое существо заполнено ею, а на дне ее гнездится ужасное отчаяние. Однако я безраздельно отдаюсь во власть этого чувства, и только в этой безраздельности мое спасение (*нем.*).

3.II.[1965], 6 ч. утра.

Вчера был прозаический и трезвый день. Утром сделал все выписки из диссертации Клары. Все готово для написания отзыва. Прекрасная работа. Все основано на скрупулезности и умелом анализе материалов. Узнаю свою систему и доволен. Потом университет и зарплата, потом продуктивная игра на рояли́. Каждый такт andante — переживание, и я переигрываю их десятки раз, но все не выходит так, как я хочу.

А потом студентка Ильенко[52] — женственно-умное, очень доброе существо, вся в ребенке, и потому дипломная работа не клеится. Общение с такими людьми мне радость. Когда перейду на пенсию, я буду совершенно одинок. Я не знаю, как это будет.

На ночь — воспоминания А. Г. Достоевской. Много мыслей, о чем скажу потом.

Сегодня должен писать отзыв, прочесть американский журнал обо мне и вечером к Левину[53]. <...>

4.II.[1965].

Вчера от 6 утра до 11.30 работал очень продуктивно и почти беспрерывно. Привел в порядок выписки из Клариной диссертации и написал 30/2 листов отзыва. Всего можно написать 66 стр<аниц>. Сегодня кончу, и тогда свалится гора с плеч, я смогу работать свое.

Потом ходил покупать граммофон и слушал концерт Моцарта для рояля c-moll. Он прекрасен, но не заставил меня трепетать. Вечером сидел над «Бедным рыцарем». Все начинаю понимать. Играл продуктивно. Andante могу без ошибок, но еще не выходит так, как хочу.

Весной всегда оживаешь. Вырвался на прогулку. Мороз и солнце. Ходил по аллеям за Средней Рогаткой. Солнце — огненный шар в розовой мгле. Пока есть природа, невозможно быть совершенно несчастливым.

5.II.[1965], 7 ч. утра.

Вчера очень продуктивно работал. Кончил писать отзыв на Клару, хорошая диссертация. Умная и холодная.

Теперь странное, непривычное чувство, что надо мной ничего не висит. Буду продолжать Пушкина. Вчера по радио — Лемешев: «Не пой, красавица». Без всякой души, без всякого понимания. Рахманинова не люблю — не знаю почему. Не трогает. Но медленность течения слов хватает за душу, несмотря на Лемешева и Рахманинова. Впервые по-настоящему услышал слово о «бедной деве». Какое большое сердце у Пушкина! Разве Лемешев, полный своим успехом, пожалел когда-нибудь любую бедную девушку? Чем больше вникаю в Пушкина, тем больше его люблю.

---

[52] Ильенко — студентка ЛГУ, дипломантка В. Я. Проппа.

[53] Левин Исидор Геймович — известный ученый, фольклорист.

6. II.[1965]. Письмо из Горького. Просят прочесть лекцию. Я согласен. Буду читать «Песня о гневе Грозного на сына». «Свое» опять надо отложить, надо готовиться. Хочу читать хорошо. Теперь настает трудное время. 10-го — начало семинара. 17-го мой доклад. 24-го защита в Горьком. 25-го лекции в Горьком. И ко всему надо готовиться. Если я не возьму себя в руки всесторонне, мое сердце не выдержит. По утрам чувствую сердечную слабость. Сердце трепещет.

Вчера читал поэтику Аристотеля. Какой огромный ум! Все наши теоретики — размазня. Почему такое падение науки? Или это я такой гордый?

Bis zum 10 muß ich mich im Zaum halten. An diesem Tage muß ich gesund und heiter sein. Ich muß meine seelischen Kräfte weniger anstrengen. Am 10 schreibe ich weiter. Ich will leben. Durchaus[54].

8.II.[1965]. Работается хорошо и интенсивно. Из Горького письмо: студенты просят прочесть им лекцию. Выбрал статью о гневе Грозного на сына, перерабатываю ее в лекцию. Выходит хорошо, мне интересно, увлекаюсь.

Был В. Шабунин[55]. Я рассказываю ему о тех знаках внимания, которые я сразу стал получать со всех концов Союза. Смотрю — у него навертываются слезы. Мне стало неприятно. Мужчина не должен плакать. Правда, многие великие люди часто плакали. Толстого звали Лева-рева. Он плакал от музыки. Часто плакал Гете. Пушкин:

Над вымыслом слезами обольюсь.

. . . .

Я слезы лью, мне слезы утешенье,
Моя душа, объятая тоской,
В них горькое находит наслажденье.

Я часто стал плакать. Это от того состояния постоянной преисполненности, в котором я нахожусь. Плачу от музыки часто, и от прикосновения великого. От горя — нет. Его нет у меня. Только у гроба Еремина[56], когда говорил речь, перед всем факультетом разрыдался. Никто не плакал, кроме меня, его жены и дочери. Но моих слез никогда нигде никто не должен видеть, ни один человек. Слезы меня очищают и подымают, но видеть этого не должен никто.

Es ist ganz aussichtslos sich dem widersetzen zu wollen, was mir vom Schicksal gegeben ist und was in mir vorgeht. Es führt doch zu nichts. Gesundheit-

[54] До 10-го надо держать себя в узде. В этот день я должен быть здоровым и бодрым. Надо меньше напрягать свои душевные силы. 10-го напишу дальше. Хочется жить. Чрезвычайно (*нем.*).

[55] Шабунин Виктор Сергеевич — друг В. Я. Проппа, военный врач, художник. См. наст. изд. С. 160–288.

[56] Еремин Игорь Петрович — заведующий кафедрой русской литературы ЛГУ, известный ученый, филолог.

srücksichten? Ein besseres Herz? Alles das ist nichtig. Und wenn es um Leben und Tod geht — mag es[57].

7.III.[1965]. После почти феерических и солнечных дней в Горьком наступила реакция: какой-то провал. Не могу ни работать, ни играть, голова болит, сознание бессилия, старости. Я сам себе противен и воображаю, как противен в своей дряхлости я другим.

И вдруг, в один миг все изменилось. Опять в душе солнце и тепло. Семинар. Плохой доклад, но я говорю хорошо. Студенты меня обступили. Мы вместе идем. С Ивлевой[58] в метро — она большая умница. Я вижу, что, несмотря на все свои тщательно скрываемые немощи, чего-то стою. И теперь я опять преисполнен жизнью настолько, что меня грозит это разорвать. Я томлюсь неизъяснимым счастьем жизни.

Но в этом оправдания нет. Мое оправдание только в работе. Много не могу. Начинает болеть голова. Но должен столько, сколько могу. Вот план:

Пон[едельник]. 8.III. Толстой[59]

Вт[орник]. 9.III. Александринская поэзия. Аэды ½.

Ср[еда]. 10.III. Аэды — кончить, ежедневно не менее 2-х часов сидеть над библиографией

Четв[ерг]. 11. Читать брошюру о Толстом и начать статью.

Воскр[есенье]., 14, веч[ер]. Получить от [нрзб] 2 статьи.

Пон[едельник]. 15. Закончить всю работу о Т[олстом].

Какое наслаждение читать Ив[ана] Ив[ановича] Толстого. Это был один из немногих при моей жизни *настоящих* людей и крупных ученых. Против него все теперешние какие-то мелюзга. Они не имеют нутра и нутряного отношения к своему делу.

11.III.[1965], 9 ч. утра. Отстал от плана на 1 утро. Сегодня с 5 утра до 9 утра кончал статью о мифологии у александрийцев и о аэдах. С карточками для Wildhaber-a отстал. У меня гнетущее чувство окружающей меня почти сплошной подлости. Колесн[ицкая][60] и Базанов[61] не допускают

[57] Совершенно безнадежно сопротивляться тому, что дано мне судьбой и что происходит во мне. Это ведь ни к чему не приведет. Опасения насчет здоровья? Насчет укрепления сердца? Все это пустяки. И если дело идет о жизни и смерти — пусть идет (*нем.*).

[58] Ивлева Лариса Михайловна — студентка ЛГУ, ученица В. Я. Проппа.

[59] См. наст. изд. Примеч. 17 на с. 293.

[60] Колесницкая Ирина Михайловна — доцент кафедры русской литературы ЛГУ.

[61] Базанов Василий Григорьевич — старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, известный ученый, фольклорист, филолог.

диссерт[ации] Нутрихина[62], но должны были смириться под моим натиском.

11.III.[1965].

Ich muß mich mehr zusammennehmen, mich nicht gehen lassen. Ich werde allmählich an allem irre. Ist es nicht einerlei, ob man arbeitet, oder sich rest- und willenlos einem inneren Gefühl überläßt, einerlei, ob Glück oder Verzweifelung? Mann *lebt – und das ist das Größte und Wichtigste. Und so lebe ich jetzt. Ich lasse mich treiben. Vielleicht ist das auch das Weiseste, denn unser* Wille, der menschliche Wille ist doch nur unzulдnglich und unweise. Vielleicht ist das gerade die große Demut. Das ist für mich etwas ganz neues. Lange wird es wohl kaum dauern.

17.III, nachts 2 Uhr.

Dieser Traum ist ausgeträumt. Eigentlich muß ich jetzt sterben. Da ich aber nicht sterbe und auch nicht leben kann, so muß ich eben mein Leben weiterführen auf ganz erkünstelte Art. Ich muß mein Leben *machen.* Meine Wissenschaft habe ich längst verloren, ich glaube nicht mehr an sie, ich brauche sie nicht. Es gibt etwas viel Höheres – ich weiß nur nicht, was es ist. Des Unterrichten(s) bin ich müde – für die Studenten bin ich veraltet. Ich muß eine Wand um nich bauen, eine Stütze, daß ich nicht umfalle. Wo diese Stütze suchen?

Wenn man in Goethe eindringt, ist er ein ganz anderer, als in seinen Werken. Diese Werke waren ihm doch nur eine erkьnstelte Stütze.

Jeder Trost ist niederträchtig
Und Verzweiflung nur ist Pflicht
(Skizzen zum II. Terl, 121)

Ich kann mich nicht mehr aufrichten. Mir bleiben noch meine Töchter Marie und Эличка. Goethes Wand waren die Naturwissenschaften, nicht seine Dichtung. Das, was die Naturwissenschaft dem Menschen sein, kann die Philologie nie.

18.III.[1965].

Wenn ein Mensch dem anderen weh tut, sehr weh, was soll der Leidende tun? Nun eins – seinen Schmerz vergraben und Heiterkeit und Friede heucheln. Alles andere ist unwürdig. Sterben ist leichter. Aber von selbst kommt der Tod nicht[63].

---

[62] Нутрихин Анатолий Иванович – аспирант Владимира Яковлевича.

[63] Надо крепче держать себя в руках, не давать себе послабления. Постепенно начинаю. Постепенно начинаю путаться во всем. Разве не все равно, работать ли или же безраздельно и безвольно отдаваться внутреннему чувству – все равно: счастью или отчаянию? *Живешь* – и это самое главное и важное. И я так теперь живу. Отдаюсь течению. Может быть, это разумнее всего, ибо наша воля, человеческая воля ведь весьма недостаточна и неразумна. Может быть, именно это и есть

21.III. Моя душа охвачена горением, пожаром. И взлеты и низвержения одинаково составляют полноту жизни. И этой полнотой я живу попрежнему, и по-прежнему это грозит меня взорвать изнутри. Чудесное письмо от Клары.

4.V.65.

Отошел юбилей с речами, адресами, подарками, цветами, поцелуями и банкетом. Я был рад и счастлив. Но какое-то в глубине души грустное одиночество. Все-таки счастье только в человеческих отношениях.

Wem der große Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein...[64]

Я все прибрал. Открыл окно. Холодный весенний воздух. Солнце. Нашел мелодию Шуберта E-dur из сонаты e-mole. В ней больше счастья, чем дает любая текущая жизнь.

Самое лучшее и умное обо мне было сказано чехами. Я храню его (их письмо. — *А. М.*) как святыню. После таких писем легче жить.

Еще письмо от Wildhaber-а из Базеля и Лотмана[65] из Тарту. Везде все хорошо.

великое смирение. Это нечто совершенно новое для меня. Наверное, едва ли это долго продлится.

17.III, 2 часа ночи.

Эта мечта отмечталась. Собственно говоря, теперь я должен умереть. Но так как я не умираю, а жить тоже не могу, то придется уж вести жизнь дальше совершенно искусственным образом. Надо делать свою жизнь. Науку свою я давно утерял, больше в нее не верю, не имею в ней надобности. Есть нечто гораздо более высокое — не знаю только, что это. Преподавать устал — студентам кажусь устаревшим. Надо возвести вокруг себя стену, опору, чтобы не упасть. Где искать такой опоры?

Когда проникаешь в Гете, он предстает совсем иным, чем в своих произведениях. Эти произведения были и для него всего лишь искусственной опорой.

Утешенье — униженье,
Лишь отчаяние — долг.
Наброски ко II части, 121

Больше не на что опереться. Мне остаются только мои дочери Мария и Эличка.

Для Гете являлись стеной естественные науки, а не его поэзия. Естествознание может стать для человека тем, чем филология не будет никогда.

18.III. Если один человек причиняет другому боль, сильную боль, что должен делать страдающий? Одно — схоронить свою боль и изобразить веселость и мирное настроение. Все прочее — недостойность. Легче умереть. Но смерть не приходит сама по себе (*нем.*).

[64] Тот, кому великий жребий
Выпал друга обрести... — (*нем.*)
[Стихи из оды Ф. Шиллера «К Радости»]

[65] Лотман Юрий Михайлович — профессор Тартуского университета, известный ученый, филолог.

Моя работоспособность понижена по отношению ко всему, что не составляет моего творчества, и повышена к тому, что его составляет. Я люблю Ив<ана> Ив<анови-ча> Толстого, хочу поставить ему памятник, но издание этой книги не составляет моего творчества.

Das Leben hat nur dann Sinn und Gehalt, wenn es Freude ist. Ich habe genug vom Schicksal erhalten, um das zu wissen, und alles, was es mir bietet, in Freude zu verwandeln und in Dankbarheit aufzunehmen. Ich bin wieder überreich, überselig.

Ich muß wieder anfangen, ganz regelmäßig, soweit die Kräfte reichen, zu arbeiten[66].

7.V.65. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und vill arbeiten[67].

У меня два раздела.

1. Я буду писать книгу о комическом[68].

2. Я буду вырабатывать спец. курс по сказке, чтобы он был максимально совершенный во всех отношениях.

Вчера: передо мной сидели две девочки, совсем больные, но оживленные и веселые, и щебечут со мной, как с равным, и говорят мне о своих делах как лучшему другу. Я выхожу из своей скорлупы, и делаюсь веселым, как они. А в сердце сочится кровь — такие молодые — и что с ними будет?

Ездили с женой в Репино. Подснежники у опушки еще коротенькие, первые. Подснежники — самые совершенные цветы. Их форма — абстрактное и полное совершенство. Я вспоминаю, когда мне было 20, я в Линеве в раннюю весну: половодье, всюду шумит вода, и в лесу, и в саду, бурлит. А там, где ее нет — голубые подснежники. Я любил тогда Ксению, и все мое существо обновлялось.

Теперь мне 70, и оно не обновляется. Но в груди счастье. В автобусе думаю: подснежники — прообраз человеческой души в ее нежном совершенстве. Такими могут быть очень чистые, очень тихие и добрые девушки. И такие есть. И я скрываю слезы.

А с женой я нежен, добр и предупредителен.

В душе звучит E-dur-ная мелодия Шуберта.

8.V.[1965], 11.20.

С семи часов утра
поливал корзины цветов

---

[66] Жизнь только тогда и имеет смысл и содержание, когда является радостью. Я достаточно претерпел от судьбы, чтобы знать это и все, что она мне предлагает, превратить в радость и принимать с благодарностью. Я снова сверхбогат и сверходушевлен. Я снова должен начать работать систематически, насколько хватит сил (*нем.*).

[67] Я снова начал работать и могу работать много (*нем.*).

[68] Монография «Проблемы комизма и смеха» была опубликована после кончины В. Я. Проппа (М., 1976).

отвечал на поздравления и убрал последние полученные
паковал бандероли (И. И. Толстой)
убирал комнату
проверял список трудов для Путилова[69].
Это заняло 4 ½ часа.
Если так будет дальше, я ничего не сделаю.
Нужен строгий и безжалостный режим:
1) Всю уборку с вечера, как бы ни устал. Все приготовить и разложить для писания.
2) 6–10 (11, 12) писать.
3) потом все другое. Рояль.
В промежутки могу садиться на диван и всецело отдаваться цветущему во мне счастью. Цветение моей души продолжается.

23.VI.65.

Я давно не писал, и не знаю, нужно ли это. Писать дневник — все равно, что копить деньги. Когда-нибудь пригодятся, но занятие это недостойное. В дневнике копятся воспоминания. Когда-нибудь прочту и буду вспоминать. Но когда прочту?

Вот мои дни: собственно жизнь интересна в каждое свое мгновение — и много интереснее многих книг. Я прочел автобиографию Рокуэла Кента. Он <нрзб> американец в любовных и семейных делах — к чему эта откровенность. Видите, какой я. И мне все можно. Его пейзажи аляповаты. Достаточно вспомнить Васильева — и Кент исчезнет. Но его талант в изображении людей — в рисунках. Тут он просто велик. Вдруг видишь значительность человеческих существ.

Еду в Репино. В метро я охвачен своим горением с такой силой, что я плачу, закрыв лицо ладонями. Женщина против меня смотрит на меня равнодушно, но с некоторым любопытством. <...>

На другой день кафедра. Базанов объявляет мою нагрузку — небывалую для фил[ологического] фак[ульте]та. Ту нагрузку, которую я просил для пенсии, мне дали за ставку. Я буду иметь 4 часа в 1 сем[естре] и 2 — во втором. Зачем было афишировать, как будто я что-то вымогал.

Выхожу. У стены милая Ивлева. Оживленные голубые глаза. С <нрзб> об экспедиции. Хочет ехать, уговорить врачей, чтобы пустили. Я отговариваю. Рассказывает о Регине[70]. Экзамены все сдала на 5, часть — досрочно. Сейчас отдыхает. Живет у подруги, которая снимает комнату. Будет оперироваться. Я оживаю от человеческого, простого тона со мной. Еду домой оживший.

---

[69] Список трудов В. Я. Проппа был подготовлен Б. Н. Путиловым к юбилею: В. Я. Пропп (К 70-летию со дня рождения) // Специфика фольклорных жанров. Русский фольклор. М.; Л., 1966. С. 335–337.

[70] Регина — лицо неустановленное. Видимо, студентка, ученица В. Я. Проппа.

Сегодня: встал в 6 и до 10 работал. Разрабатываю спец. курс. Делаю только это. 4 часа прошли мгновенно. Я сравниваю Апулея и «Аленький цветочек». Это мне интересно. Науки никакой — и не надо. Мой курс не для вечности. Вечность и слава мне безразличны. Почта: Адель[71] написала обо мне статью в литовском журнале. Письмо от нее. Я вспоминаю ее горящие черные глаза, сияющие добротой, и как она меня водила по Вильнюсу. Хорошие девушки, которые не очень успевают в науке, имеют в жизни очень важное и прекрасное назначение. И есть такие, которые назначение наполняют, внося в жизнь грацию и какую-то неуловимую атмосферу радости. Таких мало, но они есть, и это важнее науки.

Я опять верю в свою работоспособность, в то, что моя инфернальная усталость обратима и что и в 70 можно быть бодрым.

Впрочем, дневник писать все же хорошо. Настраиваешь себя на правильный лад.

4.XI.65.

Тот, кто думает о любимом или близком или добром человеке хотя малейшее худое, немедленно терпит наказание в самом себе, потому что теряет этого человека, теряет то святое, что соединяет его с ним. Ну а если действительно есть худое? Если тот человек, которого ты знаешь и видишь преображенным, вдруг мелко соврет или обнаружит себялюбие или страх за себя, что тогда? Тогда надо сказать: да, я и это беру в тебе, и ничто не может затемнить того света, в котором я тебя вижу и знаю. И станет тебе легко. И святое не будет потеряно. А без святыни жить нельзя.

Моя жизнь вступает в какой-то большой последний кризис.

Только деятельность может поднять потерянное равновесие. Я вновь счастлив.

1967, понедельник 10.VII. В городе. Я теряю ориентиры во времени. Этот дневник — моя опора, чтобы не терять эти ориентиры.

Вторник 11.VII.[1967].

Я из города. Цветы посажены. Я отдыхаю. Является Бялый[72] с женой. Я безмерно счастлив. Все лучшее, что у нас есть — на стол. Он чувствует себя хорошо. Я рад. Условились. Я к нему через 2 недели, т. е. 11+14=25.

Среда 12.VII.[1967]. (Нет записи. — *А. М.*)

Четверг 13.VII.1967.

Спокойный день. Маленький дождь и солнце. Обед в ресторане. Вечером попытка сходить в кино. Касса закрыта.

---

[71] Лясельшуте Адель — литовская фольклористка.

[72] Бялый Григорий Абрамович — профессор кафедры русской литературы ЛГУ, известный ученый, филолог.

Пятница 14.VII.[1967]. Поливал утром цветы. Занятия: [Запись прервана. — *А. М.*]

Пятница 14.VII.[1967]. [Нет записи].

Цветы принялись хорошо. Утром поливаю. Счастлив. Мне *от всего* нужно отказаться. Никто не может этого понять, ни с кем об этом нельзя говорить.

Работалось хорошо.

Суббота 15.VII.[1967], утром.

Андрюша[73] не хочет подыматься с постели, скандал. Я заканчиваю статью — сегодня хочу кончить, завтра ехать в город с утра для просмотра непредусмотренных Андреевым сборников (т. е. вышедших позже).

Воскрес[енье]. 16. VII.1967.

С утра в город. Письма от Некрыловой[74] и Криничной меня радуют. Пишу ответы. А[настасия] Я[ковлевна][75] приносит бандероль: статья Юдина: Нужен отзыв. С трудом читаю и понимаю. Тяжеловесно, не выпукло. Пишу отзыв. Это отнимет часа три. До кумулятивных сказок не дошел. Горячая ванна меня оживляет.

Понед[ельник]. 17.VII. С утра на дачу. Привез чудесную землянику. Болезненная умственная усталость. Ничего не хочу делать. Глубоко наслаждаюсь опушками леса. Цветы.

Вторник 18.VII. Вечером прогулка по парку санатория «Репино». Парк разрушен, вытоптан. Обнажен песок, который начинает надвигаться. Дюна явно перемещается. Часть деревьев имеет обнаженные корни, часть деревьев явно снизу засыпана. Все искупает вечернее море с чистым, тихим небом. Человек не может испортить моря и горизонта. Мне в глубине души грустно, охватывает глубокое одиночество.

Среда. Четв[ерг] 20.VII. — день памяти Ек[атерины] Кузьм[иничны][76]: в Ленинграде все вместе.

Пят[ница]. 21. Утром возвращение в Репино. Андрюша в первый раз купался. Тепло.

Субб[ота]. 22.VII. С утра все вместе в Репино — магазин.

Воскрес[енье]. 23.VII. Поджидаю Элю. Утром занимаюсь, проверил сборник Карнауховой.

---

[73] Андрюша — см. наст. изд. Примеч. 1 на с. 225.

[74] Некрылова Анна Федоровна — студентка ЛГУ, ученица В. Я. Проппа.

[75] Анастасия Яковлевна Антипова — см. наст. изд. Примеч. 1 на с. 207.

[76] Екатерина Кузьминична Антипова — теща Владимира Яковлевича, мать его второй жены.

Понед[ельник]. 24. Сборн[ик] Карнауховой внесен. Утром ревизия всего текста. Приехали Муся и Эличка. Сердечная встреча.

Вторн[ик]. 25. VII. Работу в основном кончил. Надо внести еще кумул[ятивные] ск[азки] из Никифорова (если есть). Дождь и гром.

Среда 26.VII. В Комарове у Бялого, которого мы не застали. Моя работа кончена в той мере, в какой это можно сделать на даче.

Четв[ерг]. 27.VII. Я еду в город. Надо завершить рукопись, но мне не хочется.

Пятн[ица]. Субб[ота]. 29. В городе. Кончил статью. Письма от Миши, Вити[77]. Мише ответил.

Воскр[есенье]. 30.VII. Утром пишу письмо Шабунину. У нас были Геня и Н[ина] Я[ковлевна][78]. Читал «Вадима».

Пон[ельник]. 31.VII. Бесцветный день. Читал «Княгиня Лиговская». «Вадим»[79] внутренне более зрелая вещь. Днем мы у Н[ины] Я[ковлевны] в Сестрорецке.

Вт[орник]. 1.VIII. Вечером мы должны быть у Бялого. Охоты нет никакой. Были у Бялого и Маког[оненко]. Мак[огоненко] не хочет меня отпускать[80].

Ср[еда]. 2.VIII.

Четве[рг]. 3.VIII. Жара 30°. Я чувствую себя плохо. Вчера — расстройство. Вялость. С памятью лучше.

Пятн[ица]. 4.VIII. Днем или вечером выехать в Л[енингра]д.

Субб[ота]. 4.VIII. 10 ч. у[тра] был у Муси. Был у Муси (так! — *А. М.*). Сердечная встреча с Эличкой и детьми.

Воскр[есенье]. 6.VIII. Рано утром я в Репино.

Понед[ельник]. 7.VIII. Резкая перемена погоды — шторм, холод. Я еду в город, чтобы закончить статью.

Вторн[ик]. 8 — Субб[ота]. 12.VIII. В городе, в библиотеках и дома продуктивно работал.

---

[77] Витя — Шабунин Виктор Сергеевич. См. наст. изд. Примеч. 55 на с. 307.

[78] Нина Яковлевна Антипова, Геня. См. наст. изд. С. 286.

[79] «Княгиня Литовская», «Вадим» — романы М. Ю. Лермонтова.

[80] Макогоненко Г. П. (см. примеч. 13) не хотел отпускать В. Я. Проппа с преподавательской работы.

Воскр[есенье]. 13.VIII. В Репине. Утром: шлифую статью.

Воскр[есенье]. 20.VIII. В городе: кончена и отшлифована статья. Написаны письма: Макогоненко (14/VIII), редактору изд[ательст]ва Вост[очной] Литер[атуры] о морфологии.

Понед[ельник]. 21.VIII. Вечером: Макогоненко, Бялый, Берта Григ[орьевна][81], Лиля Еремина[82]. Мак[огоненко] меня не отпускает. Пусть спец. курс, что-нибудь еще (несколько лекций). Как будет понят мой уход нашими врагами. Я нанесу вред ему и кафедре. — Я согласился не подавать заявления. Моя нагрузка: спец. курс + что-нибудь. За столом очень оживленно и весело.

У колодца за водой вечером упал и, кажется, надломил себе ребро. Мучительная ночь. Во всех позах плохо. Лучше всего стоять и ходить.

21.VIII. Лиза[83] и Андр[юша] уехали на дальнюю прогулку с утра на весь день. Я один дома. Боль в ребре. Все так же.

Четв[ерг]. 24.VIII. Я переехал в город. Поликлиника: рентген. Сломано два ребра. Лиза проявляет величайшее терпение. Привезла меня с дачи, достала машину в городе, водила меня в поликлинику, наложила мне повязку, купила мне продуктов. Была со мной ласкова, предупредительна, не жалела себя.

Я в смутном состоянии. Ничего не делаю и не хочу и не могу делать.

20.XII.67.

Литература никогда не имеет ни малейшего влияния на жизнь, и те, кто думают, будто это влияние есть и возможно, жестоко ошибаются. «Ревизор» не действовал на взяточников, а статьи и воззвания Толстого о смертной казни не остановили ни одного убийства под видом казни, а у нас казнены уже миллионы, а палачи возведены в газетах в герои. Юбилей ГПУ с музыкой и спектаклями, а те, кто видел наши застенки (я видел[84] и кое-что знаю), только и могут, что сидеть по углам и быть незаметными. Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья. И Гоголь велик не тем, что осмеивал Хлестакова и Чичикова, а тем, *как* он это делал, так, что мы до сих пор дышим счастьем, читая его. В этом все дело, не в том, *что,* а в том, *как.* А счастье облагораживает, и в этом значение литературы, которая делает нас счастливыми и тем подымает нас. Чем сильнее поучи-

---

[81] Берта Григорьевна Еремина — вдова И. Г. Еремина.

[82] Ляля Еремина — Валерия Игоревна Еремина — дочь И. Г. Еремина.

[83] Антипова Елизавета Яковлевна — вторая жена В. Я. Проппа.

[84] Владимир Яковлевич в 1932 г. был арестован органами ОГПУ и подвергнут допросам, проведя в изоляции, по одному источнику, 11, по другому — 76 месяцев. Поводом для ареста, по семейным преданиям, послужила его переписка с бывшим учеником, уехавшим за границу.

тельность, тем слабее влияние литературы. Самые великие никогда не поучали (даже хотели этого), они были.

Небо разное каждый день. Я прожил больше 70 лет. Считая по 350 дней это составит 24.500 дней, и 24.500 раз было разное небо, а я не видел и не смотрел. А теперь (после 70-ти) часто смотрю и вижу сквозь серое петербургское единообразие новое и новое великое множество тончайших цветов и оттенков, и в душе шевелится радость.

Когда переваливает за 70, то вся жизнь начинает представляться в другом свете. До этого: были ценности. Это — искусство, литература, наука, творчество, и было другое: средства жизни, вроде жилища, питания, одежды, транспорта. Но для миллионов и миллиардов людей средства составляют цель, но эти-то и делают жизнь, эти-то дают счастье. Миллионы женских рук, которые трудятся для нас, — они творят поэзию жизни, как ее творят люди всех видов труда, где бы они ни делали свое дело. А это великое *как* у нас забыто. Не все равно, как ты входишь в дверь, как садишься на скамейку в вагоне, как держишь руки, как смотришь и говоришь. А у нас? Вместо радости труда — изнурительная многочасовая работа, от которой люди тупеют и звереют. И так везде. И люди начинают существовать, когда *перестают* трудиться.

23.XII.67. Солнцеворот. Горизонт светлый. Мороз. И на светлой полосе неба — радуга. Первый раз в жизни вижу радугу зимой. Смотрю, как на мистерию. Любуюсь. Хватает за самые глубины.

Я уже не активен ни в чем — умеренно. Вчера закончил «Морфологию»[85]. Было 4 месяца счастья умственной деятельности. Были дни и часы подъема. Я никогда не понимал, за что меня превозносили и переводили. Теперь вникал, как в новую. Как сложно и как просто! Сейчас бы не написал. Были дни и часы счастья. И дни мук, когда не ладилось, не согласовывалось. Потом все сошлось. Полная ревизия каждой фразы, каждой схемы.

Теперь нельзя допускать себя до пустоты. Утром просыпаюсь, щемит сердце — ничего не могу с собой сделать. Тоска. Встаю, одеваюсь — проходит. Сегодня умственной работы уже нет. Убирал комнату. Писал письма, убирал комнату.

Теперь я читаю. С упоением и внимательно, как никогда раньше. Раньше знал: я читаю, а дело лежит. А теперь дела нет, я читаю весь, целиком, всей душой, как читалось в детстве и юности, когда для книги забывалось все на свете. Читаю без всякой системы. Золя: Проступок аббата Муре. Раньше считал слабой вещью. Сейчас: какая сила! Все от начала до конца, выражаясь вульгарно — выдумано, и по существу — великий вымысел. Кто сказал, что Золя — натуралист? Глупый штамп. Все не так, как в жизни. Чистый душой и телом аббат, весь ушедший в бога и церковь, — и это пока-

---

[85] Вероятнее всего, речь идет о подготовке 2-го издания монографии «Морфология сказки» (опубликована в 1969 г.).

зано так, так правдиво, будто пишет верующий. И вдруг — женщина, любовь. Он тяжело болен. У соседа в имении за ним ходит дочь хозяина. Они двое взяты под лупу, ничего другого нет. Идиллия любви. Длинно, красиво, цветы, природа, и только двое на всем свете. Кончается так, как обычно кончается любовь. Без обычных для Золя физиологических подробностей. Это так же, как цветы. Вся природа ликует с ними. Потом выздоровление и пробуждение. Он — согрешивший священник. Возврата к любви нет. Она умирает от тоски, беременная. Умирает так: приносит много цветов, рассыпает их в комнате, ночью от их аромата умирает. Сделано так, что ему веришь. Он ее хоронит — описана заупокойная служба. Я полюбил Золя. При всей литературной условности в нем есть глубокая правдивость, «J'accuse»[86] и дело Дрейфуса органически связаны со всем его творчеством и его натурой. Никто из французских писателей, кроме него, так выступить не мог бы.

28.XII.[1967].

Я еще не нашел новых форм жизни, не вхожу в них. В сентябре—декабре у меня была работа, которая делала меня счастливым. Потом я читал.

Читаю я по-новому, не спеша.

Золя: Его превосходительство Эжен Ругон. Когда-то читал, и кое-что осталось. Думал, что это исторический роман: Франция в царствование Наполеона III. Но весь роман — чистая выдумка в исторический декорации. Самые лучшие страницы — крестины наследника. Видишь Париж, и тысячные толпы, и весь кортеж во всем мишурном блеске и величии, с войсками, экипажами, вельможами, народом — и понимаешь всю мишуру и мизерность, и это все же привлекательно. Веришь образу Наполеона III, непроницаемого в своей маске, тупого и хитрого. Но чуешь, что он упрощен до примитива, что он был хитрее и сложнее. Все остальное — бутафория. Министр Ругон, который то слетает, то вновь назначается, то вновь слетает и в конце торжествует — выдуман, равно как и женщины, неотразимая Клоринда, которая покоряет императора и сваливает Ругона, почти смешна. Романы Золя выдерживают повторное чтение через много лет, но романы Толстого можно читать 50 раз (не преувеличиваю), и всегда они будут глубоко захватывать, потому что это не придумано, как у Золя, а создано.

Золя значителен, интересен, буйно талантлив, но у него нет нутра. Его порнография смешна и часто совершенно неуместна.

Как бы я жил, если бы не было книг?

Я не знаю, как.

Я люблю жизнь, детей. Но детям я давно уже не нужен, хотя дочери меня очень любят. Любят, когда видят, но могут неделями и месяцами не справляться обо мне. Но это справедливо. Моя любовь уже не может быть деятельной. Для этого я физически недостаточно подвижен.

---

[86] J'accuse — Я обвиняю (*фр.*).

Сейчас новая работа: написать рецензию на библиографию (II и III том) русского фольклора Мельц[87]. Плохо ладится. Настоящих трудов почти нет, все это декорации, рассуждения, полемика. Монографии (настоящие), посвященные большим или малым вопросам, — редкость. Наука идет назад.

2.I.[1968].

Сколько раз я читал «Ревизора», но всегда могу читать снова и снова. Вчера открыл. Напал на место, которое читал, как новое: Добчинский Марье Антоновне с поздравлением: «Вы будете... в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать». Как я мог не заметить! Гоголь гениален в каждом слове, буквально.

Я «высокомерен» по отношению к писателям, в буквальном смысле этого слова — меряю на высокую мерку. Это выдерживают самые великие писатели, и только их и стоит читать. Их сотни, а всех остальных — десятки тысяч. В юности я мог читать Куприна, Бунина и других, сейчас не могу, книга валится из рук после второй страницы. Лучше смотреть на небо. Сегодня небо молочно-серое, но если смотреть внимательно, то на краях оно розовеет, так слабо, что сперва ничего не видно, и только всмотревшись, открываешь красоту.

Золя можно читать 2 раза — в юности и старости. Толстого можно читать 50 раз, также и Чехова.

Продолжаю читать Золя. Оторваться невозможно. Читаю до полного одурения, до головной боли. Отрываюсь на полчаса, и снова, и снова. Сейчас перечитываю «Западню». В прачечной: драка двух женщин, соперниц по любви, со всеми деталями. Они в рубашках, рубашки рвутся. Обливают друг друга кипятком. Описано со вкусом и знанием дела. Другая сцена: прачка перебирает грязное белье, строит догадки о происхождении пятен и грязи. Содержание романа: гибель хорошей женщины от алкоголизма и половой невоздержанности. Да, в этом он знал толк. И так описал всю Францию. Это Франция? Она такая? Французские писатели не знали Францию. Я знаю? Да! Но не по Золя и не по Мопассану и не по Анатолю Франсу. А по Мане, Коро, Милле, Домье и многим другим. Вот прачка у Золя: ее дочка — Нана и пр. и пр. А вот прачка Домье. Подымается с реки, где выполаскивала белье, в большом городе. И держит за руку маленькую девочку, которая согнувшись подымается по слишком высоким для нее ступенькам. И все залито вечерним светом. И в наклоне головы, и в согнутой спине, и в руке протянутой столько любви и правды, что нельзя оторваться, и столько красок, и такой вечерний свет, который мог увидеть и передать только гениальный человек и художник.

Утром в постели.

Болит голова. Тупость и безотрадность, отчаяние и тоска.

Встаю — проходит.

Вспоминаю наше рождество в детстве.

---

[87] Мельц Микаэла Яковлевна — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Известный фольклорист, библиограф.

Скрипит снег под ногами.
Мы идем в церковь.
Я пою в хоре 1-й бас. Мне нравится.
Дома елка.
Зажигают свечи.
Стол с подарками покрыт белой скатертью.
Мы еще маленькие. Папа и мама сидят, между ними круглый столик.
Мы говорим свои стишки.
Папа и мама плачут от растроганности.
Потом подарки.
Потом ужин.
За ужином Preffer-Kuchen. Тесто для него ставится еще в сентябре.
В эти дни я получил 50 поздравлений.
Каждое из них меня трогает.
Вся жизнь состоит из мелочей.
250 мелочей в день.
И если эти мелочи ужасны, то и жизнь ужасна.

На улице, на транспорте, в магазинах, везде — видишь враждебные и озабоченные лица. И я не могу быть веселым и общительным, каким хотел бы быть и каким бываю по натуре.

5.I.68.

Вчера: филармония. 4 скрипичных концерта Моцарта. Играет весьма средний скрипач Фихтенгольц. Современные скрипачи не понимают и не дают силы звука. Скрипка не царит. А когда она остается одна, не заполняет зала. Я слышал Крейслера, Кубелика, других. Звук царит, и вовсе не потому, что скрипач играет fortissimo, а потому, что владеет секретом звука, который сейчас утерян. И несмотря на все это — Моцарт — это счастье. Счастье в ликовании и счастье в слезах. Органическое душевное благородство и чистота и значительность при всей простоте. Он открывает и выражает себя в самой, казалось бы, безликой музыке. И, наоборот, Брамс. Только звуки. Содержание напускное. Искусство музыки кончилось с Шуманом. После этого — сочетание музыкальных звуков, и только. Потом опять некоторые русские выражают русскую душу. Лядов. Под Шостаковича я скучаю. Ничего не могу с собой поделать. Не цепляет. А Моцарт — беспрерывное счастье.

Кончил «Западню». Какой страшный роман. И какой сильный. Бездна алкоголизма. Все ступени падения от первой рюмки хорошего человека до полного, подробнейшего описания delirium tremens[88]. Но бес критицизма сверлит. Этот роман *сделан*. Совершенно сознательно. Все рассчитано. А т. к. я специалист-литературовед, изучавший законы композиции, я вижу, как роман скомпонован. С большим искусством и правдоподобием. Не оторваться. Но при таланте и работоспособности такие романы можно

[88] Delirium tremens — белая горячка (*лат.*).

писать беспрерывно, что Золя и делал. 20 томов одни только «Ругон-Маккары». И эти романы все придуманы. В развитии нет внутренней необходимости. Тема — алкоголизм, и, следовательно, надо показать, как двое людей гибнут от пьянства, со всеми мельчайшими подробностями. Но нет главного: нет внутренней необходимости того, как все происходит; все могло бы произойти иначе, но по воле автора, который изначально поставил себе целью показать алкоголизм, его герои гибнут от пьянства. Расчет вместо внутренней художественной необходимости. Сделан мастерски. Но вот Толстой. Не т<омов> 20, а всего только три романа. И каждый образ, каждая строчка, каждое слово пережито всем существом и захватывает все существо своей внутренней правдой. Может быть только так, как изваял Толстой, и никак иначе.

27.II.[1968].

Я хочу сохранить один день моей жизни.

Я сплю долго: ложусь в 10–12 и встаю в 10.

И все время сплю.

Но просыпаюсь разбитый.

Не могу вставать.

С трудом одеваюсь.

Чувствую себя разбитым.

Спускаюсь за почтой.

Радость: два письма. Одно от Миши, полное юмора, наблюдательности и ума. Он оформляет сдачу диссертации на защиту. Надо 17 подписей. Ни один из подписавших не читал ее. Тон дружеский. Я счастлив, что у меня такой сын.

Другое письмо от Лупановой — о себе. Есть в нем настоящая сердечность и есть доброе чувство ко мне. Опять радость.

Сегодня буду читать последнюю лекцию. У меня все написано, от слова и до слова. Но я еще выучиваю. Обдумываю интонации. Я не читаю, я говорю, разыгрываю монолог, как артист. Мои лекции всегда имеют успех. Слушателей надо обманывать, как артист, изображая любовь или ревность, которых он не чувствует, обманывает зрителей. Хорошо, просто, выразительно и доходчиво говорить — это искусство. Тут нужен прирожденный талант и нужна работа. Нужно еще быть в ударе. И это не всегда бывает.

Потом еду на Невский в аптеку заказывать очки. Этих стекол не было 7 месяцев — вдруг появились. Очки у меня уже есть, но оправа неудобна. Когда я надеваю очки, я весь мир воспринимаю иначе. Все ясно, все контуры точны. И снова и снова видишь, что мир прекрасен.

В столовой удивляюсь долготерпению и нетребовательности русских. Они стоят в очереди, как будто так и надо, не понимая, что это — зло, вызванное государственной монополией. Выгоднее иметь одну столовую, где вечные очереди, где раздатчицы сбиваются с ног и за столами нет места,

11 Зак. 3360

чем две столовых без очереди, ибо надо весь штат содержать вдвойне — ради чего? Ради удобства едоков. Но они могут обойтись и без удобств. Занавесочки на стенах заменяют удобство.

Дома опять готовлюсь и ничего делать не могу, кроме этого. Лежу. Пора ехать. Беру такси и приезжаю слишком рано. Гуляю по набережной. Вбираю Дворцовую набережную глазами и всем своим существом и ощущаю острое счастье. Думаю, что во всем мире ничего подобного нет.

Подготовка не проходит даром.

Я читаю спокойно, выразительно и с юмором. И содержательно я своей лекцией доволен.

В перерыв подходит студенточка. Сует мне в руку подарок: крошечную записную книжечку мастерской работы: на черном лаке конек-горбунок со всадником на фоне звездного неба и полумесяца. И внизу — золотом обведенный силуэт города с церковными маковками. И еще: репродукция с иконы — цветная фотография — но мне не понравилась. Я дочитываю. А в конце из аудитории поднимается студентка, которой я даже не успел разглядеть, и подает мне букетик белых цветов.

Так прошла последняя в моей жизни лекция.

5.V.68. Шабунин дал мне почитать книгу Дурылина[89] о Нестерове, принес ее мне.

Я обрадовался, бросил все и читал ее запоем.

И вот что я думаю.

Нестеров — ничтожный человек. Это для меня оказалось неожиданностью.

Он жил только в своем живописании.

Ничего другого у него в жизни не было.

Была первая любовь и кончилась трагически: жена умерла от родов. Потом был другой брак, и были дети, но их все равно что не было. О семье Дурылин молчит.

Единственный раз, как мучил дочь сеансами, живописуя ее.

Его письма и дневники поражают ничтожеством. Открываю наугад.

Из Ясной Поляны:

«Толстой — целая поэма. В нем масса дивного лирического сантимента, и старость его прелестна» (стр. 287). Можно ли так писать о Толстом: дивные сантименты, прелестная старость?

О смерти Станиславского: «Позволительно сказать: счастлив тот народ, светло и лучезарно будущее страны, где не переводятся люди, подобные усопшему, нежно любившему свою родину». И это все о Станиславском. Самое замечательное в нем то, что он любил свою родину. Стиль:

[89] Дурылин Сергей Николаевич — литературовед и театровед, друг М. В. Нестерова. В «Дневнике» речь идет скорей всего о его книге «Нестеров в жизни и творчестве». ЖЗЛ. М., 1965.

«позволительно сказать...». Самое главное: любил свою родину. Но солдаты, отдающие за нее жизнь, любят еще больше. И ни слова о том, чем Станиславский был и что он сделал и создал.

У Нестерова не было ни одного ученика: он не умел и не любил делиться. Он не преподавал. Сравнить с Крамским.

Он не ужился с «Миром искусства» и не выставлялся там. Но не выставлял и у передвижников. У него не было общего языка ни с кем. Годами не выставлялся. Изредка устраивал свои индивидуальные, всегда очень небольшие выставки.

Он создавал для себя и в себе.

У него очень много слабых вещей. «Богомолка». Дама с посохом и в широкополой шляпе, подняв шлейф, шествует по дороге (за стр. 64), святой Глеб и святая Варвара в Владимирском соборе: барышня, одетая в длинную вышитую рубашку, с распущенными волосами через плечи, смотрит вверх и, шествуя вперед, держит в руках крест. Вокруг головы нимб (за стр. 288). Такими ремесленными изображениями он заполнил несколько церквей.

Редкое сочетание бездарного и бездушного человека и вдруг совершенно гениального художника.

Я помню, какое глубокое счастье в юности возбуждали его картины: «Юность преподобного Сергия», «Великий постриг». Это — просветленная религиозность, какой жила интеллигенция тех лет и какой жил и я в годы юности. Долго стоялось, долго смотрелось, впитывалось, как дыхание. «Пустынник» принадлежит к лучшим не только русским, но мировым картинам: он понял и увидел чутьем в России такое, что до него не видел никто. И в том же роде: «Видение отроку Варфоломею» и опять другое: «Труды преподобного Сергия». Сергий зимой тихо шествует по улице скита или деревни. Теперь это уже никто *нутром* не поймет. Это была полоса некоторой части интеллигенции тех лет. Но и сейчас не могут запретить и заклеймить — такова сила обаяния.

И вдруг — совсем другое. Дочь в амазонке. Один из самых гениальных портретов в мировом искусстве. Здесь все в движении. Это *динамический* портрет спокойно стоящей женщины: она стоит, но вся в движении. Профессионал скажет, по скольким направлениям распределено это прекрасное тело, спокойное в своей стремительности. Можно смотреть и смотреть.

После революции он стал портретистом. Неровности и здесь. Он *ставил* свои модели, и не всегда удачно. Портрет Кориных: неумелые актеры, которых режиссер поставил противно их природе. Они подчинились, получилось противоестественно. И тут же совершенно гениальные портреты его старости: Павлов на фоне пейзажа через окно, за столом, протянувший руки вперед и сжавший их в кулаки: небывалая поза, выражающая всю волевую натуру Павлова. Еще более интересен менее известный портрет хирурга Юдина. В профиль, сидит за столом, но весь в движении. Левая рука поднята в жесте говорящего: гибкая кисть руки, кисть хирурга. Дурылин

думает, что он читает лекцию, но это не так: он говорит, убеждает, правая рука опущена на стол, в пальцах папироска.

Портреты бывают статические и динамические. Это не оценочная характеристика. У Рембрандта есть совершенно статические портреты, вся сила которых в духовном облике. Но лучшие портреты Нестерова все динамичны.

6.V.[1968].

Отошли дни раннего мая. Вся моя комната была уставлена редкостными цветами. Необыкновенные тюльпаны, нарциссы, сирень, розы. Это нанесли мои бывшие ученики. И еще нанесли подарков — книг по иконописи. Как они *понимают*, чем я живу.

Ночью гроза — первая гроза, весенняя, ранняя. И хлынул дождь. Весна. Вспомнились первые строки «Воскресения» Толстого: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сотен тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней... весна была весною даже и в городе».

Меня тянет за город, в лес, в поля. Но весна везде. Я еду в аэропорт, вижу травку, вижу деревья, кое-где чуть-чуть обрызганные зеленью, и я совершенно счастлив, мне ничего не надо.

Медленно разглядываю иконы. Закон симметрии тот же, что в природе. Это внешний закон, механический, физиологический. Закон строения листа, человеческого тела, закон музыки. Он внешний. Но он закон жизни. Сквозь него и в нем жизнь. И когда смотришь на эти как будто неподвижные черты, плечи, глаза — вдруг раскрывается внутренняя глубинная жизнь, глубинная и высокая и прекрасная. Раскрывается *дух*. И вдруг чудо. «Деисусный чин». Мария обернута в полуоборот, во весь рост. Локти прижаты к бокам, руки протянуты вперед не вполне симметрично. На голове накидка со звездой на лбу, и такие же две звезды на плечах. Накидка свисает до колен. Все в полуоборот. Голова наклонена вперед. Одежда свисает до ног. Симметрия нарушена движением. И это — самое высшее, самое совершенное. Так раскрывается душа, так раскрывается жизнь в самом высоком и самом прекрасном (Смирнова. Живопись Обонежья, № 74).

2.VI.1968.

Я думаю о Пушкине и его эротических стихах.

Любовь есть данное природой противоядие против нечистой, только животной сексуальности. Поэтому, если мужчина полноценен как человек, любимая женщина представляется чистой и святой.

Это именно переживал Пушкин в зрелые годы.

Такова любовь к невесте.

У Пушкина это достигает такой силы, к которой способен только очень значительный и глубокий человек: «гений чистой красоты», «...тебя, моя мадонна, чистейшей прелести чистейший образец».

В «Бедном рыцаре» сила эта так велика, что сексуальность исключается навсегда — это святость, доведенная до безумия.

Но природа осторожно сводит влюбленных, разъединенных чувством святости любви. Она доводит их до своих целей мягко и как бы любя. Тогда создается прочная семья и материнство и любимые дети. А потом в браке сексуальность опять начинает отступать, терять свою силу. Тогда появляется деятельная дружба и человеческая любовь. Так Пушкин всегда заботился о своей жене и своих детях, что видно по его письмам <...>.

18.VII.68.

Вчера — последний раз в университете.

Я хочу этот день запомнить.

Сейчас у меня на столе огромные букеты белой сирени, разноцветных, каких-то новых сортов тюльпанов, огромный букет белых лилий с лиловыми прожилками и желтыми пестиками.

Это принесли студенты, которые когда-то у меня учились в семинаре, а теперь я был оппонентом на защите их дипломных работ.

В массе, в целом я люблю студентов, и они это чувствуют, хотя я был строг и требователен. Они понимают мою доброжелательность и сравнивают ее с тем полным безразличием, с каким они встречаются у молодых руководителей, к которым они попали после меня.

Теперь моя жизнь пойдет по новому руслу.

Я должен быть всегда деятелен в меру сил.

19.VII.68.

Прочел «Добычу» Золя.

Читал запоем, днем и ночью. Остановиться невозможно. Десятки действующих лиц — я в них путаюсь, начинаю составлять список — бросаю, скучно. Читаю, не понимая, о ком идет речь — все равно. Разве у Толстого такое было бы возможно? За каждым именем — Пьер, Андрей, Наташа — точное изваяние.

И все же Золя велик. Он гениален. Я думаю, что он не оценен. То, что я о нем читал, — жалкий историко-литературный лепет. Он ворочает глыбы. Все, что он описывает, видишь до мелочей. Бал у Ругонов с плясками и обжорством. Но по существу он мне чужд. Он не любил Францию, он только обличал. Обличает *без боли*. Гоголь тоже обличал. Но Гоголь *любил* Россию, и свойство сатирического гения было его роком и его трагедией. У Золя никакой трагичности. Я не верю его Франции. Есть другая Франция, не та, которую он изображал с таким удовольствием. Хотя бы Франция архитектуры, начиная с готических храмов и до последних гениальных построек. Ни один французский писатель не видел и не раскрыл французского национального гения, как Пушкин и Толстой открыли русскую гениальность, а Гете — немецкую, Шекспир — английскую.

23.VIII.68.

Русский Музей.

Еду и думаю: не буду смотреть иконопись. Буду смотреть XVIII век и дальше.

Вместо этого иду смотреть именно иконы. Для меня это — самое современное, самое актуальное *мое* искусство. Я не спешу и не думаю о веках и школах, я *пью* это искусство и *упиваюсь*.

Ангел Златые Власы. Огромные глаза. Странно реалистическое лицо. Византийская. Полное совершенство форм. Совершенство форм есть излияние внутреннего совершенства. Тем это искусство возвышает. Я чувствую свою приобщенность к высокому. Тем самым оно отрешает от течения дня. Оно «одерживает», так что впитывающий это искусство становится «одержимым». Византия должна была погибнуть. Русские переняли это искусство. Но оно совсем другое. Не надо быть большим специалистом, чтобы — хотя иногда и не сразу — отличить византийскую икону от русской. Русская икона динамична. Внешне — по движению фигур и крестам больших композиций, внутренне — по силе душевных движений, а не состояний. Вернее — движение есть род состояния и наоборот. Георгий со змеей XIV века. Белый конь весь в стремлении вперед. Конь ослепительно белый. Это свет. Сбруя многоцветна. Плащ Георгия высоко развевается в воздухе. Фон ровный, одноцветно красный. Копье выходит за границы и заходит за рамку. Длинное и тонкое. Рука поднята — в ней сосредоточена сила. Другая: архангел Михаил XV века. Синий хитон. Красный плащ. Стоящая фигура. Вся сила — в душевном движении, которое выражено через физическую неподвижность.

23.VII.68, вечер.

Я себя проверяю.

Византия имела богатейшую скульптуру.

Эта скульптура — наследие античности.

Добрый пастырь, несущий на своих плечах заблудшую овцу, в византийской скульптуре восходит к богу — пастуху овец Гермесу. Византия имела великолепную прикладную скульптуру. Рельефы на блюдах и пр. предшествуют живописи. Первые византийские иконы VI [века] представляют собой энкаустику и совершенно рельефны. Иоанн Предтеча VI века с огромным мясистым носом, завитыми волосами и непричесанной бородой. Странные живые портреты лица с низкими лбами, причесанными волосами и пр.

В поздней иконе рельефность теряется, но везде есть ее следы — в глазах, в скульптурных носах.

Русская икона изначально плоскостная. Никакой перспективы. В этом ее сила. И притом всегда все в движении. Фигуры наклоненные, изломанные. Богородица, вздымающая, вскидывающая руки к небу. Христос на кресте не висит, он странно изогнут. Иконопись есть искусство динамическое. В стоячих фигурах динамика внутренняя.

25.VII.[1968].

Византийскую и болгарскую икону всегда можно отличить от русской. Византийская икона идет от скульптуры античности. Есть очень значительные византийские скульптуры (Христос с овцой на плечах — христиа-

низированный Гермес). Этот принцип перенесен в живопись. Лица византийских икон всегда рельефны. За скульптурой следует рельеф, каковых в византийском искусстве — религиозном и светском — очень много. Великолепный образец: серебряное блюдо VI в.: пастух среди стада («Византийское искусство», № 59–61), конь под деревом VI в. (№ 78–79). Затем <нрзб>: ангелы по сторонам креста (серебр[яное] блюдо VI в., № 84). И далее: богоматерь с младенцем. Энкаустика (выжигание?) на дереве. Лицо с живыми глазами, обращенное в ¾, рельефные складки одежды, руки, живое, портретное лицо младенца с живыми глазами (№ 110; см. № 111 и сл.). Далее рельефное лицо переносится на плоскость, сохраняя всегда следы рельефа. На византийских иконах глаза всегда живые. В многофигурных композициях некоторые лица смотрят в сторону. Фигуры всегда пропорциональны относительно друг друга. Нарушения пропорций не видел.

Искусство русских икон есть искусство плоскостное и живописное. Оно не от реальности, перенесенной на полотно. Оно от красочной передачи плоскостных соотношений. Русские средневековые попытки скульптурной резьбы совершенно беспомощны. Принцип русских икон иной. Я почти безошибочно на первый взгляд отличаю византийскую живопись от русской. Живопись киевской Софии узнается по этому признаку как живопись византийского происхождения. Живопись Спаса на Нередице — переходный тип, и вся дальнейшая новгородская иконопись есть искусство совершенно русское.

Иоанн Лествичник («Еван») огромный, рядом Георгий и Власий совсем маленькие (у нас в Р[усском] муз[ее]). XIII в.

27.I.69.

Моя жизнь вступает в свою последнюю фазу.

Все дело теперь в том, чтобы эту фазу прожить достойно. Мой круг интересов все тот же: древнерусское искусство. У меня проклятый дар: во всем сразу же, с первого взгляда видеть форму.

Помню, как, окончив университет, в Павловске, на даче, репетитором в еврейской семье, я взял Афанасьева. Открыл № 50 и стал читать этот номер и следующие. И сразу открылось: композиция всех сюжетов одна и та же.

А теперь я увлечен древнерусским искусством. И опять я вижу единство форм русских храмов, вижу варианты, нарушения, чуждые привнесения. Эта форма проста до чрезвычайности. Но почему она так волнует, так трогает нутро, делает счастливым?

Смотрел по разным источникам готические храмы. Какое великолепие! Но нутро мое молчит, восхищается только глаз.

3.II.69.

Один день из моей жизни.

Мне без малого 74. Моя жизнь уже не может быть продуктивной в том смысле, в каком она была продуктивна когда-то. Я не произвожу ничего нового.

Но продуктивность может быть иной.

Самый процесс жизни может быть продуктивным. Так живут, отдаваясь течению жизни, миллиарды людей. Так создается жизнь.

Утром за столом. Жена пересказывает Аксакова. Аксаков в высшей степени, как никто, владел искусством процесса жизни. Рассказ: как к ним приехала гувернантка детства. Она говорила только по-французски, а Аксаков уже полностью забыл французский. Ни слова не знал. Объясняться они не могли.

Потом с Андрюшей читаем газеты. Он болен глазами, ему читать не позволяют, я читаю ему вслух. Ему 10 лет, он страстно интересуется спортом, следит за всеми соревнованиями мира, знает все имена, следит за рекордами всех видов спорта, поправляет меня, если я фамилии произношу не так.

Потом газета переходит к Мише. Когда он дома, в Ленинграде, все мое существо приходит в норму — у меня на душе покой. Он здесь, и хотя он рассказывает далеко не все, что с ним происходит, его существование помогает заполнять мою жизнь.

Перехожу к своему любимому занятию. Я по-прежнему увлекаюсь древнерусским искусством. Читаю раздел архитектуры И. Р. И.[91], т. III «Зодчество второй половины XV века». Поражает отсутствие у авторов вкуса. Все ра́вно прекрасно. А сколько наряду с гениальными созданиями было безвкусицы и нелепости! Но профессионалы все хвалят. И что за язык! «Пилястры завершены полным ордерным профилем, так же как и верхние пилястры яруса звона. Поверх ордерного антаблемента нижнего яруса расположен ярус из тонко профилированных кокошников» (стр. 428). Между тем церковь, о которой идет речь (стр. 411), представляет собой собственно *колокольню*. Проблема колоколен в историях древнерусской архитектуры не затрагивается совсем. Высокая колокольня (пристроенная позднее), нарушающая архитектурную гармонию храма, считается прелестной. Нет вырождения, есть только развитие, — и упадочные безвкусные постройки также восхищают составителей, как лучшие классические образцы когда-то великого древнерусского церковного зодчества. Есть только прямолинейная эволюция.

26.II.1969.

Каков я прежде был, таков и ныне я.

Я всегда хотел быть лучшим, чем я есть. И из этого никогда ничего не выходило.

И сейчас у меня это не прошло.

Я теперь занимаюсь русской иконописью.

Занимаюсь, т. е. читаю историю русского искусства.

Не изучаю, а читаю с наслаждением, как читают беллетристику.

---

[91] История русского искусства. Т. 1–13. М.: АН СССР, 1953–1964. Т. 3. М., 1955.

Вчера был в Русском музее.

Вижу, что от чтения у меня открылись глаза.

Я всегда знал, что это искусство прекрасно.

Но оно не просто прекрасно, это высшее искусство мира.

В Эрмитаже французская выставка. Делакруа и другие. Есть великолепные произведения. Но в целом: кроме портретов оставляет холодным. А иконопись согревает душу.

9.VI.69.

На выставке северных икон в Русском музее.

Иконы нельзя смотреть как картины. Каждую надо переживать. Я не умею смотреть, одолевает жадность, перебегаю от одной к другой.

Никола в житии XVIII века, она *исполнена* в XVIII веке, но *создана* много ранее. Впервые всматриваюсь и вживаюсь в клейма. Сюжеты древнерусской живописи трех родов: фрески, иконы и клейма. Каждый из них имеет свою сюжетику. Фрески — наиболее совершенный во всех отношениях вид древнерусского искусства. Но я прохожу мимо них, не изучаю. Их надо видеть в оригинале, на стенах, только так они созданы и только так воспринимаются. Я посвятил себя иконам. И тут применяю то, что знаю по фольклору. Иконопись изучают по эпохам — так во всех пособиях. Но ее надо изучать по вариантам. Я составил опись сюжетов русских икон. По имеющимся у меня источникам я пока набрал ок[оло] 130 сюжетов (кроме парсуны и сюжетов уникальных). Историческая сюжетология — вот задача ближайшего будущего. Но вот на выставке я впервые стал всматриваться в клейма, и мне, прочитавшему ряд пособий по иконописи, открылся новый мир. Опять совсем другие сюжеты, не изображаемые на иконах. Это, так сказать, интимные эпические сюжеты. Вот великолепная торжественная и суровая икона Николы. И вот клейма. Рождение: роженица на ложе; за ней держат ребенка. А ниже его купают. Клейма должны изображать событие во времени; и следующие друг за другом события наивно и прелестно изображаются рядом, на одной плоскости. Это общий закон. Купание ребенка, очень реалистически верное — не предмет для иконы. Но в клеймах иконописи изображается жизнь. А дальше изображается крещение: на фоне белого церковного здания стоит купель, в ней стоит или из нее выходит ребенок, раскинув руки по сторонам совершенно горизонтально. Далее следует исцеление жены, а еще далее Никола учит детей грамоте. Фон — деревянные, совершенно реалистические средневековые постройки с узкими щелями вместо окон. Двое мальчиков нагнулись над книгами, Никола, уча, протянул руку, выразительные жесты пальцев. Не все сюжеты я понимаю. Надписи стерты и не поддаются прочтению без привлечения других источников. Вот еще: Никола спасает утопающих. Живой изгиб тел утопающих и протянутая рука Николы. Фактура воды великолепна, стильна и совершенно уникальна в истории живописи. Здесь все <нрзб> и все движение. Вода в движении — какая трудная для живописи задача и

как она решена. Еще сюжет: Никола изгоняет бесов из деревьев. Бесы спасаются на верхушки. Как сделаны деревья, какой богатый мир и жизни, и природы, и как это все сделано!

25.IV.70.

Один день моей жизни.

Позавчера я отнес рукопись «Георгия в фольклоре»[92] в Институт этнографии для напечатания.

Эта работа заполняла мои дни и мои мысли. И теперь образовался vacuum.

Сегодня мы встали рано. Я собрался в Эрмитаж, чтобы посмотреть там икону Георгия, которая, помнится, там есть.

Рукопись сдана, сдан краткий вариант работы, но я буду продолжать.

Особенно тщательно, с бензином, чищу костюм, т. к. он уже заношен.

Выхожу из дома.

Вчера была слякоть со снегом, сегодня солнце и чистое небо.

Метро у самого дома. Доезжаю до Невского.

Троллейбус. Доезжаю до Зимнего Дворца и Штаба.

Весь город украшен флагами, штаб — нет.

Я смотрю на это здание и испытываю острое счастье. Сколько десятилетий прохожу мимо него, и всегда в душе шевелится острая радость.

Потом смотрю на Зимний.

Он просвечивает сквозь деревья, еще не одетые листьями.

И опять острая радость.

Растрелли подчинился русскому гению. Это русская постройка.

А потом Нева.

Господи, как хорошо.

У Эрмитажа сотни людей. Открывают в 11, а сейчас 10. Какая глупость администрации (современной). Люди покорно и терпеливо ждут, с фотоаппаратами. Тут и наши, и кавказцы, и азиаты.

Я иду обратно. Ждать сперва на улице, потом в гардеробе — нет.

Иду медленно, наслаждаюсь всем, что вижу.

Встречаю Ямпольского[93] у канцелярского магазина — угол Невского и Фонтанки.

Он стоит в очереди за пишущей машинкой.

Я жалуюсь, что приходится пойти на свой юбилей и выслушивать речи.

Он: «А зачем Вам идти? Позвоните, что Вы больны, обойдутся без Вас. Когда мне было 60, я от юбилея уехал на Кавказ».

Но я не могу так.

---

[92] Статья «Змееборство Георгия в свете фольклора» опубликована после кончины В. Я. Проппа в книге «Фольклор и этнография русского Севера». Л., 1973.

[93] Ямпольский Исаак Григорьевич — доцент кафедры русской литературы ЛГУ, известный ученый, филолог.

Иду обратно в «Международную книгу». Там случайный подбор книг по искусству. Они во множестве издаются в славянских странах, кроме России. Русских нет ни одной, кроме плохонького альбома по Новгороду.

Я медленно, медленно изучаю все полки, для себя ничего не нахожу.

Покупать книги по искусству просто так — чистейший снобизм.

Дома почта. Пуцко[94] прислал оттиск, я помню его умным и знающим студентом. Он специализируется на иконописи. Кончал одновременно университет и Академию художеств. В Академии изучал древнерусскую живопись, в Университете — древнерусский язык и л[итерату]ру и фольклор. Я любил с ним беседовать. И теперь он выпустил статью «Памятник средневековой сербской живописи в Троице-Сергиевом монастыре». Здесь с необыкновенным чувством и знанием описана и определена уникальная сербская икона. Богатейший и поучительный аппарат. Я кое-что беру себе на замечание. Мое ощущение: славянские иконы объемны, русские плоскостные. Но это между прочим. Опять радость.

Я обедаю на кухне дома, один. Обед: кусочек холодной вареной трески, творожок с изюмом, чай, хлеб. Мне больше не надо. После этого одолевает усталость.

Я стар.

Ложусь на кровать, дремлю.

Потом беру письма Чехова.

Последний том. Я угадываю глубочайшую душевную драму его последних лет.

Книппер-Чехова была злым гением его последних лет и ускорила его кончину.

Есть две женщины, которых я ненавижу острой, звериной ненавистью. Одна — Наталья Николаевна Гончарова. Другая — Ольга Леонардовна Книппер.

Книппер могла бы стать добрым гением Чехова, если бы осталась жить при нем, заботилась о нем и оберегала его и его гений и его труд.

Чехов любил глубоко, сильно и целомудренно, поздняя любовь сложившегося мужчины. А та предпочла славу актрисы.

Выписываю из его писем:

«Да, актриса, вам всем, художественным актерам, уже мало обыкновенного, среднего успеха. Вам подавай треск, пальбу, динамит. Вы вконец избалованы, оглушены постоянными разговорами об успехах, полных и неполных сборах, вы уже отравлены этим дурманом и через 2—3 года вы все уже никуда не будете годиться. Вот вам!» (30.X.1899)[95].

«Успех очень избаловал Вас и Вы уже не терпите будней» (4.X.99).

---

[94] Пуцко Василий Григорьевич — историк древнерусского и византийского искусства.

[94] *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1949. С. 249–250 и др. Письма к О. Л. Книппер.

«У Вас кружится голова, Вы отравлены, Вы в чаду». «Вам теперь не до меня».

«Я вовсе не называл вас “змеенышем”, как Вы пишете. Вы змея, а не змееныш, громадная змея. Разве это не лестно» (3.IX.99).

И тут же страстные, но сдержанные признания глубоко и сильно любящего мужчины.

Берусь за ее воспоминания о покойном А[нтоне] П[авловиче]. Половина их — не о Чехове, а о себе, ее биографии. И оправдывает себя: он ее уговаривал не уходить из театра. Еще бы! Он благороднейший из благородных, молча и глубоко страдает и тоскует. По письмам видно, как ялтинский сад и дом, с такой любовью созданный им, постепенно осточертевает ему. Она в Москве. А последние дни! О! О! О! Она даже о легкой одежде для него не подумала, и он мучается в жару в костюме, рассчитанном на русскую зиму. Она уехала куда-то завиваться или еще куда-то, а он тем временем доживал последние часы, умирал, а она ничего не видела.

И вспоминается Анна Григорьевна Достоевская, добрый гений ее больного и тяжелого мужа. И она себя обессмертила. Сколько она для него сделала! И что бы он был без нее! И даже Софья Андреевна Толстая, когда жила вся для него. Сколько раз она переписала «Войну и мир»!

Хватит.

Вечерами делать ничего уже не могу.

Читаю только письма Чехова с упоением.

А в 7 часов — теплая ванна. Я весь оживаю.

Ужин, заботливо устроенный женой: сыр, колбаса, пирожки, коврижки, сливки, желе, ливерный паштет.

Я стараюсь есть мало.

Сейчас 9.

Буду еще читать Чехова.

В 9.30 ложусь.

Перебирая в памяти день, вспоминаю каменную скамеечку перед Эрмитажем и спуск на Неву. Как художественно все и прекрасно. Как тогда это умели!

30.VI.[1970], вечером.

Да, моя жизнь интересна.

С вечера лег рано, хотел встать в 6. Но проспал до 7, а потом и до 8. Вчера дождь и туман. Сегодня солнце. Сажусь работать. Пишу спец. курс. Дошел до сказок о Золушке и невинно гонимых. Вновь переживаю красоту и глубину этой сказки. Но сказать не умею, не получается. Об этом нельзя говорить научным языком. Но я хочу довести до сознания своих студентов всю эту значительность. Хочу облагородить их вкус. Работа не ладится, я бросаю. Иду к рояли. Хочу работать, а не просто играть. Ищу в нотах сонату Гайдна G-dur. Не нахожу. Зато нахожу прелестное рондо Бетховена. Играю. Вспоминаю rondino Крейслера. Ставлю и слушаю. Как прекрасно,

как прекрасно. Я весь охвачен. Как по-своему понял тему Бетховена, как выразил себя! У меня нет дара выражать себя в искусстве. Мое самое большое счастье состоит в умении восхищаться. Весь мой внутренний пожар вновь охватывает меня. Я ставлю Rosmarin, Liebenleid <нрзб>. Я когда-то слышал самого Крейслера. Теперь так играть не умеет никто. Почему? Какая чистота и сила звука, какая чистота, какая в сдержанности сила заражающей эмоции.

Потом берусь за Гайдна. И он заражает счастьем. Такая тонкость! И у меня кое-что начинает получаться. Я работаю интенсивно. Но надо еще много. Мне все кажется, что никто этой музыки уже не понимает. Потом вдруг звонит Анисимов[96]. Он большой ученый, но испорчен страхом. Под каждое утверждение цитирует бесконечно Маркса. Но он знаток, я его уважаю. Просит быть редактором новой книги «Духовная жизнь в первобытной истории». Я соглашаюсь. Говорю: ответственный редактор — фигура совершенно ненужная. Моя тактика как редактора — полное невмешательство.

Рукопись прислали с курьером. Читаю. Вот стиль: «Сознание субъекта первобытной истории воплощает в себе не только богатство индивидуального опыта...» Как это? Сознание воплощает опыт? Я пробегаю глазом 6 страниц — в голове ничего не остается, кроме простейших мыслей Маркса.

Я живу сознанием чуда. И все, что имеет прикосновение к чуду — это мое, это наполняет меня блаженством жизни. К этому относится все великое. А великое бывает в самом малом.

Вечером играю сонату fis-moll Шуберта. И вновь я охвачен сладостью и радостью бытия; я не все в ней понимаю, но душа охвачена тесным объятием счастья, которое стесняет мне грудь до боли.

Купил для дачи однотомник Пушкина. Я не могу прожить недели, не прикоснувшись к Пушкину. Томашевский[97] *ничего* в нем не понял.

25.VII.[1970].

Die herz-und sinnbetörenden Melodien Schuberts sind jetzt der einzige Inhalt meines Lebens. Wie groß er war. Das, was ich im Leben erlebe, ist durch ihn ausgedrückt. Es ist nicht *nur* Musik, sondern *durch.* Musik etwas sehr Großes, was er bestreben hat, sonst hätte er nie so schreiben können. Indem ich ihn erlebe, erlebe ich alles, was in mir vorgeht, erhöht und verklärt.

Ich bin in großer Sorge um Regina. Sie läßt nichts von sich wissen. Niemand weiß von ihr. Vielleicht ist sie krank nach Hause gefahren?[98]

---

[96] Анисимов Аркадий Федорович — этнограф, историк.

[97] Томашевский Борис Викторович — профессор кафедры русской литературы ЛГУ; известный ученый, пушкинист.

[98] Мелодии Шуберта, ошеломляющие сердце и мысль, составляют теперь единственный смысл моей жизни. Как велик он был. То, что я переживаю в жизни, выражено им. Это не *только* музыка, но сквозь музыку нечто очень большое, к чему

Комментарий

В фонде В. Я. Проппа среди материалов к биографии самые замечательные документы — это дневники, которые он начал вести с 1911 г. К сожалению, записи ученый вел нерегулярно, кроме того, есть основание предположить, что значительная часть дневников утрачена. Безвозвратно.

Но сохранился потрясающий документ В. Я. Проппа — дневник его последних девяти лет жизни (ед. хр. 189). Рукопись содержит 165 рукописных страниц, на первой из них написано «Дневник старости. 1962–196...» и изображена горящая свеча и поникшая веточка над ней. Записи велись несистематически, иногда Владимир Яковлевич не прикасался к дневнику несколько месяцев и даже лет; большинство записей сделаны на русском языке, небольшая часть — на немецком.

В данной публикации переводы с немецкого языка сделаны Р. Ю. Данилевским, которому выражаю глубокую благодарность.

При подготовке рукописи к печати допущены незначительные купюры, касающиеся записей сугубо личного характера. Изъятия отмечены отточиями в ломаных скобках <...>. Подчеркнутые автором слова выделены курсивом.

Немногие непрочитанные слова отмечены знаком <нрзб>. Раскрыты и отмечены квадратными скобками авторские сокращения слов. В случае необходимости, если в рукописи указаны лишь число и месяц записи, дата дополнена указанием на год записи, и это отмечено квадратными скобками.

Необходимые библиографические ссылки, дополнения и разъяснения к тексту подготовлены А. Н. Мартыновой.

Комментарии *А. Н. Мартыновой.*

он стремился, иначе он не смог бы *так* писать. Переживая его, я переживаю все, что происходит во мне, возвышает и просветляет.

Я очень беспокоюсь о Регине. От нее нет никаких вестей. Никто о ней не знает. Может быть, она заболела и уехала домой?

Из немецких стихотворений



В архиве В. Я. Проппа сохранилось довольно много стихотворений на немецком языке, написанных автором в молодые годы. По крайней мере, в одной из тетрадей (так называемая «желтая тетрадь») имеется рукописный проект титульного листа как бы к предполагающемуся поэтическому сборнику: «Gedichte. Hermann Mald<emar>). Propp. St. Petersburg, 1921».

Стихотворения молодого автора свидетельствуют о присущем ему тонком чувстве слова. В них — звучные рифмы, многообразие ритмики, нередки аллитерации — хорошо разработанная эвфония, к которой так тяготела западноевропейская и русская поэзия начала XX в. Вообще в этих стихах ощущается влияние традиций (у молодого стихотворца иначе и быть не могло). Отчасти это традиции немецкой классической поэзии, медитативной лирики Шиллера и позднего Гете, но слышатся там и романтические ноты. Особенно же близка лирика В. Я. Проппа, как кажется, к поэзии немецкого и австрийского модерна (Ф. Ницше, Р. М. Рильке) и — по темам, по изысканным подчас образам — к русскому Серебряному веку (А. Блок, М. Кузмин). При этом содержание стихов отнюдь не сводится к повторению традиционных мотивов. В немецких стихотворениях будущего выдающегося русского ученого присутствует незаурядная личность с ее глубокой и оттого по преимуществу полной печали, внутренней жизнью, с тончайшими переливами настроений — и не только сугубо замкнутых на личных переживаниях, но иногда и таких, «в которых отразился век».

После каждого стихотворения или после группы их (цикл «Офелия») помещены русские переводы, в которых передается основное содержание и по возможности образность, мелодика и приблизительный ритмический рисунок каждого стиха (перевод сделан без рифм).



Ich suchte dich auf allen Straßen
Mit meinen Blicken zu erfassen.
Es tanzte ums Laternenlicht
Der nasse Schnee – ich sah dich nicht.

Ich irrte in der Stadt umher,
Die Seele wurde mir so schwer
Und wurde trüb und immer trüber.
Du schwebtest still an ihr vorüber.

На улицах я искал тебя всюду,
Пытался поймать тебя взглядом.
Мокрый снег танцевал
В свете фонарей – я не видел тебя.

Я по городу долго блуждал,
На душе стало так тяжело,
Так мрачно, всё мрачней и мрачней.
Ты тихо проскользнула мимо души моей.



Mit weißen Säulen schimmert das Haus.
Im Grunde des Gartens blüht weißer Flieder.
Und weiße Frauen gehen ein und aus,
Sie nicken und gehen und kommen wieder.

Sie steigen hinauf die Marmortreppen,
Am hohen Portale sehn sie sich um.
Sie bücken sich nach den langen Schleppen,
Sie treten ein — der Garten bleibt stumm.

Дремлет дом с белыми колоннами.
Белая сирень цветет в глубине сада.
И белые женщины входят и выходят,
Кивают головами, уходят и возвращаются.

Они поднимаются по мраморным лестницам,
Оглядываются на высоком портале.
Они склоняются над длинными шлейфами
И входят в дом, а сад остается безмолвным.



Die Vögel singen nicht mehr.
Die Waldrosen verblüht.
Auf gelben Roggenfeldern
Lagert die Sonnenhitze.

Die Bauern fahren das Heu
Auf holprigen, langen Wegen.
Die schweren Wagen schwanken
Und oben lachen die Kinder.

Heuer muß alles sich freuen.
Heuer ist gute Rente.
Und im Heu läßt sich' s gut liegen
Für den, der ein frohes Herz hat.

Птицы умолкли.
Отцвели дикие розы.
На желтых ржаных полях
Улегся солнечный зной.

Крестьяне везут сено
По ухабистым длинным дорогам.
Тяжелые возы качаются,
А сверху смеются дети.

Нынче все должны веселиться —
Нынче хороший урожай.
И так хорошо полежать на сене
Тому, у кого радостно на сердце.



Mein Auge sah dich
Und lange.
Trug ich dein Bild im Gedächtnis.
Da deine lieben Züge
Zu Nebelschleiern
Bald zerflossen,
Trag ich den Geist
Deines Blickes im Herzen.

Dir danke ich,
Du hast mich reicher
In meiner Seele gemacht,
Aber du bist für immer
Meinem suchenden Blicke fern.

Я смотрел на тебя
Так долго.
Я хранил образ твой в памяти,
Но милые твои черты
Быстро растаяли
В пелене тумана.
И я храню одухотворенность
Твоего взгляда в своем сердце.

Тебя благодарю я
За богатство,
Которым ты одарила мою душу.
Но навсегда далекою осталась
Для жаждущего взгляда моего.



Es klagten Flöten, Geigen sangen leise
Und qufälend zitterte die Harfe nach.
Ein Leben schrie in der beseelten Weise,
Das Tiefste, das Geheimste wurde wach.

Nur du und ich, wir schauten jene Qualen,
Versunken hing dein Blick am hellen Raum.
Aus deinem Auge ging ein warmes Strahlen,
Vor deine Seele trat ein ferner Traum.

Wir schauten eine Seele sich erheben,
Sie sang ihr Werden, sang ein tiefes Leid.
Und unsre Seelen wollten mit ihr schweben
Und mit ihr sinken in Vergessenheit.

An deinem Gürtel hingen rote Nelken,
Sie trugen Glut aufs dunkle Trauerkleid.
Ich sah sie sterben, sah sie langsam welken,
Doch Leben, Sterben schien uns nichtig weit.



Стонали флейты, скрипки тихо пели,
Им арфа вторила, в томлении дрожа.
Кричала жизнь в напеве вдохновенном,
И пробуждались сокровенные глубины.

Лишь ты и я, нам внятны эти муки.
Твой взгляд тонул в пространстве света,
Глаза твои теплом лучились,
Душе твоей предстал нездешний сон.

Мы душу видели в возвышенном стремленьи,
Что пела возрожденье, пела муку.
И наши души вслед парить мечтали
И погружались вместе с ней в забвенье.

На поясе твоем багряные гвоздики
Огнем касались траурного платья.
Я видел смерть их, медленное увяданье,
Но жизнь и смерть казались нам ничтожны.

Die trauernde Gottesmutter

An die Wand
Mit Öl gemalt
Von frommer Hand
Schaut die Gottesmutter ins Gewölbe,
Und die hohen Heiligen sehn sie an.

Durch die Kathedrale
Finster schweigend
Spielt das Licht, im Strahle
Sich vom Fenster neigend.

Langsam
Fällt aus feuchter Luft
Ein Tropfen nieder
Auf das traurige Gesicht
Funkelnd in dem Dämmerlicht.

Und es weit das Bildnis an der Wand,
Eine Träne hängt an seinem Augenrand.
Lebend werden
Seine toten Züge:
Aller Lust auf Erden
Heißt nur Lüge.

Den die Welt durchzittert,
Jenen Schmerz
Siehst du hier,
Erschüttert bis ins Herz.

Langsam rollt die Träne
Vom dunklen Augenrand
Über die blasse Wange
Zur toten Wand.

Скорбящая богоматерь

На стене
Писана маслом
Благочестивой рукой,
Смотрит Богоматерь на своды,
И небесные святые видят ее.

В соборе,
Мрачном и молчаливом,
Играет луч света,
Проникнув из окна.

Медленно
Падает капля
Из сырого воздуха
На скорбное лицо,
Сверкая в сумерках.

И плачет образ на стене,
Слеза висит на веке.
Оживают его мертвые черты:
Все страсти на земле
Лишь обман.

Ведь любую боль,
Пронизывающую мир,
Ты видишь здесь,
Потрясенный до глубины сердца.

Медленно катится слеза
С темного века
По бледной щеке
К мертвой стене.



Auch dessen bin ich satt
Was ich nicht habe.
Ich bin so todesmatt
Als gings zum Grabe.

Dies eine hier – bin ich.
Das dort – mein Leben.
Wann werden beide sich
Zusammengeben?

Mein Leben ist ein Schrei
An gleichen Seelen.
Doch mir ist's einerlei,
Mich kann nichts quälen.

Даже тем я сыт по горло,
Чего нет у меня.
Я мертвенно бледен,
Как будто иду в могилу.

Это, здесь – я.
То, там – жизнь моя.
Когда же они, наконец,
Соединятся?

Жизнь моя – крик,
Обращенный к родственным душам.
А мне все равно,
И ничто не терзает меня.



Dort, siehst du das brennende Tor?
Da hinein will ich heute gehn.
Dann steige ich als Flamme empor,
Und du wirst mein Brennen sehn.

Там, видишь ли пылающие врата?
Туда я отправлюсь сегодня.
Я вспыхну, как пламя,
И ты увидишь мое горенье.



In heller Reinheit Herzensstrahlen
Erglänzt der Seele Feierkleid.
Aus der Begierde Todesmalen
Entflammte Reinigung und Leid.

Und ich entwuchs mir wie zum Grusse,
Um meine Stirne ward es kühl.
Und ich empfand im reinsten Kusse
Des überglückes Schmerzgefühl.

В сиянье чистоты сердечной
Души торжественный наряд.
Из пира похотей смертельных
Страданья чистый пламень встал.

И я восстал из прежней жизни,
С челом холодным, в торжестве.
И принял в чистом поцелуе
Слишком большого счастья боль.



Wir haben hohe Tribunen gebaut.
Drum Augen auf, und zugeschaut!
Wir wollen die kläglichen Stücke spielen,
Die schön Millionen vor euch gefielen.

Und wenn ihr nicht wollt, und geht zurücke,
Wir spielen uns selbst die kläglichen Stücke.
Drum kommt nur her und seid nicht dumm –
Ihr seid uns das rechte Publicum.

Мы построили высокие трибуны.
Откройте глаза и смотрите!
Мы будем разыгрывать жалкий спектакль,
Который нравился миллионам до вас.

А если это вам не по нраву, и вы уйдете,
Мы сами себе сыграем этот жалкий спектакль.
Так что идите сюда, не глупите –
Вы – наша публика.



Viel Saiten klingen,
Viel Seelen singen,
Nur meine weint
Mit niemand vereint.

Ich möchte knien,
Ins Dunkle fliehn
Und werde nur trüber –
War alles vorüber!

Wie das Rohr so schwank
Bin ich schwer krank.
Ich kann nur ahnen
Die oberen Bahnen.

Много струн звучит,
Много голосов поет,
Только мой голос плачет
Одиноко, не в унисон.

Я хочу молиться,
Во мрак умчаться
И грустить, грустить о том,
Что все минуло.

Я зыбок, как стебелек,
Я тяжело болен.
Я могу лишь предчувствовать
Горние пути.



Durch stille Zimmer schleicht die schwere Trauer.
Der Teppich stiehlt den Laut der weichen Tritte.
Das Licht wird langsam schwindend immer grauer,
Es weicht der Nacht geheimnisvollen Schritte.

Des Tages müde, wart' ich tief versunken,
Gedankenleer betrachtend meine Hände.
Das Licht des Zweifels macht mich langsam trunken.
In schwarze Nacht versinken stumme Wände.

По тихой комнате крадется тягостная печаль.
Ковер скрадывает звук мягкой поступи.
Свет блекнет, постепенно становится сумрачным —
Близятся таинственные шаги ночи.

Уставший за день, я жду, углубившись в себя,
Бессмысленно разглядывая собственные руки.
Сумрак сомнения понемногу дурманит меня.
В черную ночь погружаются безмолвные стены.

Ophelia

1

Das Herz wird trüber, trüber,
O ginge die Nacht vorüber,
Die Nacht voll Zauberein.
Der klare Mondenschein,
Wie schnürt er die Kehle mir zu –
Immer du...
Immer du...
O ginge die Nacht vorüber,
Das Herz wird trüber, trüber.

2

Sollt ich dir sagen, was ich weiss,
Es wurde dein Herz zu Eis,
Wie das meine so kalt.
Warum gingst du so bald?

Sie wussten es nicht.
Dunkel war dein Gesicht.
Nun bin ich in Nacht.
    Das Herze lacht.

3

Der Liebste ging.
Ich bin bereit.
Mein Herz empfing
Kummer und Leid.

Du warst gross.
Du warst schön.
Dies ist mein Los;
Niemand will mich verstehn.

4

Weil ich nicht darf,
Muss ich vergehn.
Das Wort war scharf.
Wer konnt es verstehn?

Mein Liebster, komm,
Komm, vergib.

Ich bin fromm,
Bin so lieb.

5

Kennst du die dunkle Angst?
Du liebtest, versankst,
Wehe, wehe – es dunkelt.
Was hin ist, entsohwand.
Zart ist meine Hand.
Dein Auge funkelt.

Офелия[1]

1

Сердцу все грустнее,
О, прошла бы ночь поскорее,
Ночь, полная чар.
Этот ясный лунный свет,
Как душит он горло мне –
Всюду ты...
Всюду ты...
О, прошла бы ночь поскорее,
Сердцу все грустнее.

2

Сказать бы тебе, что знаю я,
Оледенело бы сердце твое,
Захолодело бы, как мое.
Скоро так зачем ты ушел?

---

[1] Цикл стихотворений В. Я. Проппа «Офелия» продолжает старинную традицию героид или так называемой «ролевой поэзии», когда стихи пишутся как монологи или песни персонажей (мифологических, литературных, житейских); классический пример – стихотворение И. В. Гете «Миньона» («Ты знаешь край...»). Этот жанр знаком немецкому модерну («Песня нищего» Рильке) и русской лирике XX в. («Гамлет» в «Стихотворениях Юрия Живаго» Б. Пастернака, песни В. Высоцкого). Публикуемый цикл передает как бы внутренние монологи страдающей молча шекспировской героини, которая в тексте трагедии «Гамлет» немногословна *(Примеч. перев.)*.

О том не знали они.
Тьма на лице твоем.
Вот и я в ночи,
А сердце ликует.

3

Любимый ушел.
Настал мой час.
Сердце узнало
Печаль и боль.

Душой ты тверд
И так красив.
Моя ж судьба:
Непонятой быть.

4

Не вольна над собой —
И гибну я.
Так ранило слово —
Кто понял его?

Любимый, приди,
Приди, прости,
Я душой чиста,
Душой нежна.

5

Ты знаешь ли темный страх?
Любила и погибаю.
Увы; увы — тьма настает.
Что минуло — пропадает.
Нежна моя рука.
Взор твой пылает.



Weisse Kelche blühen
Dort auf der Wiese in Reigen.
Leichte Reize steigen
Empor aus irdischen Mühen.

Wird auch mein Seelenkummer
Leicht als wie beschwinget.
Leide – Leiden bringet
Klar allerklarsten Kummer.

Und da es sanft dich bettet,
So falte die schlechten Hände.
Dachtest du so das Ende?
Sieh, wer hat dich errettet?

Белые колокольцы
Цветут на лугу хороводом.
Летучими ароматами
Исходят заботы земные.

Печаль моя легчает,
Становится словно крылатой.
Страдай – страданье рождает
Самую светлую грусть.

Обовьет она тебя нежно,
И сложи тогда грешные руки.
Такой ли ты видел кончину?
Смотри, кто спасает тебя?



Die Zeit erklang. Gemessen ist die Stunde.
Ein jeder Schlag des Herzens rufet – Blut.
Der Sonnenwagen brachte dir die Runde,
Der neue Tag entsteigt des Himmels Glut.

Wagschalen steigen richtend auf und nieder,
Dein Leben auch – gemessen liegt es da.
Was dir entging, dir bringt es keiner wieder.
Und niemand sühnt, was durch dein Wort geschah.

Звон времени. Твой час уже отмерен.
Стук сердца каждый раз взывает: «Кровь!»
Круг замыкает солнца колесница,
И новый день рождается в заре.

Весы судьбы свои колеблют чаши,
Все взвешено на них – и жизнь твоя.
Что упустил ты, то невозвратимо.
И слова твоего не искупить.



Blasse Blumen auf weiter Wiese,
Heller Himmel mit sengender Sonne,
Und ich alleine mit meinen Gedanken
Bis Sonne und Wiese und Blumen versanken.

Бледные цветы на широком лугу,
Светлое небо с палящим солнцем,
И я один с моими думами
Пока не растают бесследно солнце, и луг, и цветы.

12 Зак. 3360



Was fragtest du so bitter nach dem Glücke,
O Herz im Herz?
Für dich ist keine Brücke
In jenes Land,
Wo deine Lieben stehn –
Verklärt.

Wie wardst du doch so weise
Um eine Nacht!
Leise
Verrinnen die Tropfen meines Leids.
Wo nur der andre lebt,
Ist Glück.
Stück um Stück
Zerfällt das trübe Leben
Meiner Vergangenheit.

Der Weg ist gross.
Liebe ist nicht gegeben
Meinen Pfaden.
Doch – hartes Los,
Dir danke ich Erleuchtung,
In dieser Welt
Zu sein auch wie ich soll
Und zu erkennen.



Что вопрошаешь горько ты о счастье,
О сердце сердца?
Нет для тебя моста
В ту сторону,
Где милые твои
Преобразились.

Как это мудрость ты обрел
Всего за ночь!
Тихо
Страдание по каплям утекает.
Там только счастье, где
Нас нет.
За камнем камень
Рушится печаль
Моей прошедшей жизни.

Длинна дорога.
И не дано любви
Моим путям.
Но, — жребий злой,
Благодарю тебя за озаренье:
Я понял, что
Мне должно в мире быть
И постигать его.

Herbst

Das früh Gedachte weitet sich zur Helle,
Die Jugend schwindet hin, mir bleiben Schmerzen.
Ehrfürohtigt nah ich mich vertrauter Schwelle,
Das heilge Ziel erleuchten heilge Kerzen.

So brennt der Geist. So brennen die Gedanken.
Der Lebensweg führt dich zur Mutter Erde.
Das innre Licht durchbricht des Wissens Schranken,
Dass im Zusammenbruch ein neuer Geist mir werde.

Und liebend fass ich jeden Zweig am Baume.
Des Herbstes Röte schlägt mir tiefste Wunde.
Und nieder sink ich, und dem reinsten Saume
Beug ich mich hin zum Kuss mit flüchtgen Munde.

Осень

Все думаное прежде стало ясным,
Уходит юность, оставляя боль мне.
Порог заветный с трепетом я вижу,
У врат священных свет свечей священных.

Так дух пылает. Так пылают мысли.
Путь жизни — он ведет к земле родимой.
Свет внутренний пробил пределы знанья,
И в разрушеньи дух мой обновился.

Любую ветку трогаю любовно.
Багрянец осени меня так тяжко ранит.
Я на колени стану и чистейшей
Коснусь я ризы легкими губами.

Публикация и перевод *Г. А. Тиме* и *Р. Ю. Данилевского*.

Автобиография[1]



Родился в 1895 г. в г. Ленинграде. Отец — конторский служащий, скончался в 1919 г., мать — домашняя хозяйка, скончалась в 1942 г. в Ленинграде.

В 1918 г. окончил историко-филологический факультет Ленинградского университетата по разряду славяно-русской филологии. С 1918 по 1928 гг. преподавал русский язык и литературу в средних школах г. Ленинграда. В 1926 г. был приглашен преподавать немецкий язык в Политехнический институт. Немецкий язык преподавал в ряде вузов до 1934 г. В Плановом институте ведал кафедрой иностранных языков. Во 2-м Ленинградском педагогическом институте иностранных языков ведал кафедрой германской филологии. В 1932 г. был приглашен доцентом на кафедру романо-германской филологии в Университете. С открытием в Университете кафедры фольклора (1937) перешел на эту кафедру, где и состою поныне в качестве профессора.

Основная научная специальность — фольклор. Научную работу вел при Государственном Географическом обществе, при Институте языков Запада и Востока, при Институте истории искусств, в Институте русской литературы Академии наук.

В 1938 г. мне было присвоено ученое звание профессора и степень кандидата филологических наук без защиты диссертации. В 1939 г. мной была защищена докторская диссертация.

Во время Великой Отечественной войны находился в Ленинграде до марта 1942 г., эвакуирован в Саратов вместе с Университетом и вместе с Университетом же был реэвакуирован.

---

[1] Ф. 721, оп. 1, № 188. Переиздание публикации А. Н. Мартыновой в журнале «Живая старина» № 3 (7), 1995. С. 9.

Примечания

Выписка из личного дела В. Я. Проппа за № 3322 вносит некоторые уточнения и дополнения в послужной список Владимира Яковлевича.

1918–1928. Преподаватель 11-й трудовой школы в Ленинграде.

1926–1928. Преподаватель русского языка и литературы 102-й трудовой школы.

1928–1930. Преподаватель немецкого языка в Политехническом институте.

Окт. 1928 — май 1929. Преподаватель иностранного языка на Высших курсах библиотековедения.

11.IX.1929–11.XII.1932. Преподаватель иностранного языка в Комвузе им. Сталина.

1930–1936. Доцент, зав. кафедрой иностранных языков Планового института Госплана.

1938–1942. Профессор, зав. кафедрой германской филологии 2-го педагогического института иностранных языков.

Последняя запись в послужном списке:

1.IX.1966. Освободить от занимаемой должности в связи с переходом на пенсию по возрасту. Зачислить с 1.IX.66 на должность профессора-консультанта. <...>

Публикация *А. Н. Мартыновой.*

Речь на юбилее весной 1965 года[1]



Я сердечно благодарю всех тех, кто сегодня так тепло, так сердечно и так снисходительно говорил обо мне. Всякому человеку, если он трудится и любит свой труд, хочется одного: хочется признания. Услышать такое признание в конце жизни, да еще в таких ярких и дружественных формах — это большое счастье. Это значит, что я жил не совсем зря.

Здесь много говорилась о том, что я сделал. Сделал не так уж много. Но то, что я сделал, я мог сделать только потому, что годы, когда я начал слагаться, конец 20-х и 30-е годы, были годами бурного развития советской науки после Гражданской войны. Эта волна вынесла меня на гребень. Я хочу назвать здесь тех людей, тех ученых, которые имели на меня влияние после окончания университета.

Университет я окончил в 1918 году и 10 лет преподавал в средней школе. Преподавал днем, а по ночам, на праздниках, на каникулах писал книгу, которая потом вышла под названием «Морфология сказки». Писал в одиночку, ни с кем не советуясь, без всякого руководства. И когда работа была кончена, я решил, что мне надо из моего одиночества выходить. Я решил пойти к Бор[ису] Мих[айловичу] Эйхенбауму, которого немного знал еще по университету. Б[орис] М[ихайлович] встретил меня очень внимательно и дружелюбно, а затем высказался, и итог его может по существу быть сведен к трем словам. Что же? Значит, все подчиняется одной закономерности? *Это очень утешительно.* Эти слова означали для меня признание

---

[1] Переиздание публикации А. Н. Мартыновой в журнале «Живая старина», М., № 3 (7), 1995. С. 9–10.

крупного литературоведа. Но я решил, что надо еще пойти к специалисту по фольклору и этнографии, и я пошел к Д. К. Зеленину. Он тоже выслушал меня очень внимательно, и тоже по существу сказал три слова. Он сказал: *это очень интересно*. После этого я пошел еще к В. М. Жирмунскому, который тоже выслушал меня с большим интересом, полистал рукопись, и тоже сказал три слова; он сказал: *это мы напечатаем*. Отсюда и началась вереница моих работ. Если бы эти три человека меня отвергли, я, вероятно, не стал бы больше писать. Но они меня не отвергли.

Но мне нужно было научное общение. Я знал, что при Географическом обществе есть отделение этнографии, а в составе отделения — комиссия под многообещающим названием — «Сказочная комиссия». Возглавлял эту комиссию не кто иной, как сам непременный секретарь Академии наук, академик Сергей Федорович Ольденбург. Секретарем ее была Надежда Павловна Гринкова, впоследствии видный лингвист, профессор Герценовского института. Через нее я записался на прием к Ольденбургу. И вот настал день приема. Кабинет Ольденбурга находился в здании Академии наук за колоннами этой замечательной кваренгиевой постройки, которая так величественно отражается в Неве. Перед кабинетом — маленькая приемная, битком набитая разными старорежимными дамами, которые ждали от Ольденбурга всякого содействия. Он был в силе, с ним считались в ЦК. По Волге даже плавал пароход «Академик Ольденбург». И вот открывается дверь, и дежурный спрашивает: «Кто здесь Владимир Яковлевич Пропп?» Мимо всех этих старорежимных дам я прохожу первый, С[ергей] Ф[едорович] встретил меня с изысканной вежливостью и неподдельной теплотой и сердечностью. Он ласково и внимательно стал расспрашивать меня о моей работе и обо мне самом. Меня поразила его манера обращаться со мной. Кто я? Маленький, никому неведомый учитель, а разговаривают со мной так, как будто я какая-нибудь значительная величина. Вот тут я получил урок, который я запомнил на всю жизнь. С[ергей] Ф[едорович] обладал качеством, которое я не могу назвать иначе, как большая культура сердца. И вместе с тем это был ученый мирового масштаба, замечательный ориенталист. Он был энтузиаст сказки, любил ее, пожалуй, больше всего на свете. «Сказочная комиссия» собиралась у него в кабинете два-три раза в месяц. Она состояла из пяти-шести человек энтузиастов. Меня он просил выступить с докладом. Доклады, беседы, которые там велись, блестящие резюме, который он давал, и стали моей и научной, и человеческой школой, тут я и рос как ученый. Тем временем В. М. Жирмунский привлек меня в Инст[итут] ист[ории] искусств; тут имелось отделение народного искусства и при нем — секция фольклора. Руководил этой секцией академик Вл[адимир] Ник[олаевич] Перетц. Перетца как профессора я знал еще со студенческих лет. Меня тянуло в его знаменитый семинар по методологии, но тогда я к нему не пошел. Он оттолкнул меня своей грубостью, нетерпеливостью, насмешливостью своего обращения. В студенческой среде он слыл также как убежденный женоненавистник. Но когда теперь, через

много лет, я попал к нему в фольклорную секцию, а собиралась эта секция у него на квартире на ул. Маяковского, предо мной вдруг предстал совершенно другой человек. Это был ласковый, гостеприимный хозяин. Это был удивительный руководитель. Секция тоже состояла из 5–6 человек. Здесь читались доклады, здесь происходили оживленные прения. Меня поразило, как В[ладимир] Николаевич] умел вникать во все, даже мельчайшие детали сообщений, как он умел проникать в чужую мысль и ценить ее. Женоненавистничества не было и следа. Половина членов состояла из женщин. Я помню доклад одной из сотрудниц, которая во время экспедиции текстуально точно записала игры девочек и сделала об этом очень интересный и очень женский доклад. Помню также и живой интерес и одобрение, с каким к этому докладу отнесся суровый и строгий академик. Ко мне он относился исключительно хорошо и внимательно. Он выступил оппонентом, когда «Морфология» защищалась на звание научного сотрудника, он же первый дал об этой книге развернутую статью.

Собрания эти, так же как и собрания у Ольденбурга, носили камерный, интимный характер. Д. К. Зеленин привлек меня в Институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока им. Веселовского, где имелась секция «Живая старина», т. е. этнографии и фольклора, которой он руководил. Это было уже большое учреждение. Здесь собиралось до 50 и больше человек. Тут я встречался с такими учеными, как академик В. В. Струве, Франк-Каменецкий, Лев Як. Штернберг, Влад[имир] Герм[анович] Богораз-Тан, Э. К. Пекарский — последние — бывшие политические ссыльные, знатоки Сибири и ее народов, здесь бывал Павел Константинович Симони и другие. Легко представить себе, какое все это имело на меня влияние, как это меня воспитывало. Здесь также мне давались доклады. Отмечу еще, что в те времена названные мной учреждения не имели никаких планов. Давалась воля творческой инициативе; и эта инициатива была так сильна, что получить доклад было не всегда легко.

Я не буду рассказывать дальше. Мое сотрудничество в Пушкинском Доме у всех в памяти. Когда в 1937 году меня пригласили в ЛИФЛИ (впоследствии — филологический факультет университета), я не подозревал, какая счастливая звезда привела меня сюда, в это здание. Я не знал еще тогда, а теперь знаю, какое это счастье — работать в университете. Вообще мне в жизни удивительно везло во всех отношениях. В один прекрасный день я получил по почте извещение, что мне присвоено звание кандидата филологических наук. Тогда это звание только что ввели. Подумайте, я не сдавал никаких минимумов, не сдавал вступительных экзаменов, не проходил аттестации и переаттестации. Я думаю, что когда-нибудь вернутся к тому способу присвоения степеней, какой был когда-то. Точно так же по почте я совершенно неожиданно для себя получил извещение, что я уже профессор, хотя я еще не был доктором. В качестве докторской диссертации я подал рукопись книги, которая вовсе не писалась как докторская диссертация — «Исторические корни волшебной сказки». Одним из оппо-

нентов был академик Ив[ан] Ив[анович] Толстой. Он приблизил меня к себе, много беседовал со мной у себя на дому, и эти беседы были для меня новой школой. Это был русский джентльмен, в полном смысле слова, обаятельнейший человек и великий знаток, у которого я многому научился. Я особенно горд и счастлив тем, что сейчас мне поручено издать в одном томе все его фольклористические работы, и я охотно взялся за это ради священной памяти этого дорогого для меня человека.

Я хочу сказать несколько слов о нашей кафедре. Я горжусь тем, что я состою членом такого замечательного, дружного и творчески активного коллектива. Здесь меня ценили больше, чем я этого заслуживаю, но эта оценка меня окрыляла и обязывала.

Вот я поделился некоторыми своими воспоминаниями. Но не думайте, что для меня все в прошлом. Нет, моя жизнь не в прошлом и не в будущем, она только в настоящем, в сегодняшнем дне.

В своем прошлом я был поставлен в самые благоприятные условия для творческой работы. Но я сделал меньше, чем я мог бы и, может быть, должен был бы сделать. Почему я сделал так мало?

Говорят, что наука — это подвиг, наука — это труд. Что наука труд — это так. Труд большой, упорный, интенсивный. Но что это подвиг, это ко мне не подходит. Наука — это страсть, притом страсть, с которой надо родиться. А в страстях человек не всегда волен. Вот схватит страсть — и становишься одержимым. И тогда можно работать сутки, сидеть днями и ночами, не вставая с места. Творчески я мог работать только по страсти, по вдохновению. Прошло вдохновение — и работа не ладится. Я не всегда умел работать бесстрастно, холодно, систематически, как это умеют другие. В этом, конечно, мой недостаток.

Но наука — не единственная моя страсть. Я любил и люблю преподавать. Когда я ухожу с лекции с сознанием, что сегодня я, кажется, читал хорошо, и студенты слушали с интересом, когда, бывало, я слышал блестящие ответы на экзамене, видел, как хорошо некоторые студенты усваивают науку, когда на семинарах они выступают с замечательными, умными, хорошо продуманными докладами, я бываю истинно счастлив. В те далекие времена, когда фольклор еще не преподавался и я обучал студентов немецкому языку, я также бывал счастлив, когда видел, как студенты постепенно овладевают чужим для них, трудным и новым языком. Беседы в группах бывают интересны. Особенно памятным мне остался спецсеминар по «Фаусту», когда мы медленно читали, разбирали и обсуждали это глубокое произведение. Такие занятия дисциплинировали и меня самого. Студенты, конечно, бывают разные, всякие. Однако в целом, как племя, студенты несомненно заслуживают уважения. Я всегда с этого с ними начинал. И хотя приходилось иногда и разочаровываться, расстраиваться и даже возмущаться, не это определяло дело. И если научная работа исчисляется печатными листами, то преподавательская исчисляется учениками. Только по одному университету работают следующие мои ученики. По

средней школе – профессор философского факультета Мих. Иос. Шахнович, которого я помню еще необыкновенно умным мальчиком. Студентами у меня сидели в группах и учились: Ольга Конст. Колобова, Юрий Сергеевич Маслов, Сара Семеновна Лошанская, Над[ежда] Вас[ильевна] Спижарская, Ант. Ив. Редина, Ир. Влад. Братусь, Алиса Павловна Хазанович, Мар. Григ. Кравченок. Фольклористов, конечно, меньше, но и тут я могу назвать О. Н. Гречину, Ал. Ал. Горелова. И хотя все они, конечно, и без меня стали бы тем, чем они стали, но какая-то доля, какая-то крупица моего в них есть и осталась. И если у меня мало статей, но много учеников, то это еще не так плохо. Своими статьями я горжусь не очень, а вот учениками я, выражаясь словами Пушкина, «как нянька старая, горжусь».

Я желаю, чтобы всем вам тоже когда-нибудь исполнилось 70 лет, чтобы в жизни и в работе вы были счастливы, и еще раз благодарю вас за то внимание, которое я хотя и не заслужил, но которое меня радует и окрыляет.

Публикация *А. Н. Мартыновой.*

Открытая лекция[1]



1 марта 1966 г. на кафедре русской литературы ЛГУ состоялся аспирантский семинар. На нем Владимир Яковлевич Пропп прочел открытую лекцию, посвященную «некоторым вопросам поэтики фольклора». Сохранился полный текст этого выступления. Авторская рукопись — объемная пачка листов, нарезанных размером в половину тетрадной странички, — в настоящее время находится в Архиве Российского института истории искусств (ф. 5, оп. 2, ед. хр. 206).

Обычно Владимир Яковлевич тщательно хронометрировал свои лекции, доклады и другие устные выступления. И в данном случае на обложке рукописи сделаны разные выкладки («Один такой листок равен 5–6 строчкам пишущей машинки» и т. п.) и произведены необходимые расчеты. При этом хорошо видно, как текст, имеющий все приметы устного жанра, приводился в соответствие с этой арифметикой. В то время как одни фрагменты вычеркивались ради более точных формулировок, идущих следом, другие изымались из стремления к заданному (51 мин) объему лекции.

Вычеркнутые рукой Владимира Яковлевича фрагменты второго типа возвращены мною в публикуемый текст (они даны в квадратных скобках). Кроме того, при подготовке лекции к печати были исправлены очевидные описки, неточности, восстановлены (тоже в квадратных скобках) отдельные пропущенные слова, сделаны уточнения и примечания библиографического характера.

Отдельные соображения, высказанные Владимиром Яковлевичем в лекции, — отголоски или продолжение его идей, изложенных ранее в других работах. Здесь они подчинены, однако, логике рассуждений о поэтической природе фольклорного искусства. И — что не менее важно — здесь слышны

---

[1] Переиздание публикации Л. М. Ивлевой в журнале «Живая старина». М., 1995, № 3 (7). С. 11–17.

интонации живого голоса ученого, восхищенного этим искусством. Эмоциональное отношение к предмету своих занятий — то, что Владимир Яковлевич больше всего ценил в одном из своих университетских учителей, Ф. Ф. Зелинском, — он считал обязательным компонентом научной работы. Разные оттенки восхищения народным искусством отражены и в письмах Владимира Яковлевича: «Я, как зачарованный, бродил по острову (Кижи. — Л. И.), я вдыхал культуру древней Руси, я как бы общался с теми необыкновенными простыми людьми, которые создали такое искусство» (письмо от 3 июля 1966 г.); «Какие вы (обращено к Л. М. Ивлевой и А. Некрыловой. — Л. И.) счастливые, что видите кусочек России, какой-то уголок русской жизни и ловите последние остатки уже уходящей старинной, а может быть, ростки новой народно-поэтической культуры, в которую надо глубоко вникать, чтобы понимать, как она прекрасна и богата» (письмо от 19 июля 1965 г.).

Лекции существуют для того, чтобы поучать слушателей. Но сегодняшняя лекция — особая. Она не часть курса. Но это и не научный доклад. Я никого не собираюсь поучать. Сегодня я хотел бы поделиться некоторыми мыслями и сомнениями.

[В любой области науки писано так много, что одни только названия работ по каждой из областей могут составить тома.

В области (русского. — *Л. И.*) фольклора я хотел бы обратить внимание на библиографию <...> за 1945–1959 годы, составленную М. Я. Мельц. Она охватывает без малого 3000 названий. Уже сдан в печать том за 1917–1945 годы. Предстоит издание тома за 1960–1965 (годы. — *Л. И.*). Это — только на русском языке и только за советское время. А если взять науку в широком масштабе хотя бы за XIX и XX века, то мы получим десятки и десятки тысяч названий. И так во всех областях науки и знаний <...> Несмотря на такое обилие работ, люди нисколько не унывают и продолжают писать и писать все дальше.

Нужно ли это? И будет ли этому конец? На это я отвечу: да, нужно, хотя конца этому не будет никогда. Во-первых, мы многого все-таки не знаем <...>, во-вторых (и это касается особенно гуманитарных наук), мы многого не понимаем. Каждая эпоха вырабатывает свое понимание явлений культуры. Одна из задач современной науки состоит в том, чтобы дать новое, современное понимание явлений, нам, собственно, уже известных. И наконец, третье. Венец всякой науки — нахождение закономерностей, которые позволили бы и понимать явления, и управлять ими. С этим в нашей области пока обстоит еще неважно, несмотря на обилие трудов.]

Поэтическое творчество — это одна из областей искусства. Я начну с тезиса, который, может быть, не всеми будет принят, но в правильности которого я убеждаюсь все больше и больше. Значение любого искусства состоит в том, что оно доставляет нам эстетическое наслаждение, или, скажем иначе, радует нас. Чем оно нас радует? Оно радует нас некоторым сво-

им совершенством. <...> Но совершенством чего? На это, не сомневаясь, скажу: совершенством своих форм. Тут сразу вы вправе меня остановить и спросить: а что вы понимаете под формой и что под содержанием и как вы мыслите себе их взаимоотношение?

Я на это пока не дам ответа. Исходная гипотеза у меня есть. <...> Объяснить эти вопросы научно призвана дисциплина, которую мы называем эстетикой. За последние годы появился ряд эстетик. Я назову хотя бы «Очерки марксистско-ленинской эстетике», выпущенные Ак[адемией] художеств ([М.,] 1956), «Основы марксистско-ленинской эстетики», выпущенные институтом философии АН [СССР] ([М.,] 1960), «Лекции по марксистско-ленинской эстетики» в трех частях, читанные Моисеем Самойловичем Каганом и выпущенные нашим университетом (1963–1966), и многие другие труды и издания. Переводятся на русский язык труды некоторых западноевропейских ученых.

Я должен признаться, что отношусь ко всем этим эстетикам весьма прохладно. Я не могу их признать наукой. Основной порок их в том, что они целиком состоят из рассуждений, которые получены не на основании подробного скрупулезного изучения фактического материала, а путем совершенно абстрактных умозрений, не коренящихся в материале. Вот когда Маркс говорит о древнегреческом эпосе, он делает это потому, что Гомера он читал в подлиннике и перечитывал. И это сразу слышно. И основной вопрос, который ставит Маркс, — это именно вопрос о том, почему Гомер [нрзб] доставляет нам эстетическое наслаждение.

Наука имеет дело с фактами, которые она пристально, кропотливо и долго изучает и из анализа которых она делает обоснованные и осторожные выводы.

Та часть эстетики, которая имеет дело со словесно-художественным творчеством, может быть названа поэтикой. Поэтикой у нас серьезно перестали заниматься со времен формалистов. За последние годы есть некоторый сдвиг. Формалисты дискредитировали эту проблему тем, что форму отделяли от содержания, объявляли ее чем-то самодовлеющим, независимым от исторических условий; форма развивается по собственным, ей одной присущим законам развития — учили они. Всякое развитие в области искусств есть саморазвитие и ничем лежащим вне его не определяется — вот чему учили формалисты. А как обстоит на самом деле? Я не буду решать эти вопросы абстрактно.

Для меня существуют *памятники* народного искусства как нечто совершенно целостное. А что в этом целом относится к форме и что к содержанию, мы можем увидеть на изучении этих памятников конкретно. Поэтому изучение поэтики начинается с анализа памятников.

Но памятники эти так разнообразны, что прежде всего надо их как-то распределить на разряды. Первая задача поэтики в применении к фольклору есть задача установления жанров. Изучение надо *начинать* с жанров, а мы до сих пор спорим о том, что понимать под жанром и какие жанры существуют в фольклоре.

В литературоведении все более или менее ясно, во всяком случае здесь уже нет остроты вопроса. Всякий, вероятно, согласится, что в области художественной литературы, письменности под жанром понимаются памятники, объединенные общностью своей поэтической системы. В этом смысле можно говорить о жанре оды, идиллии, эпиграммы, баллады, романса, повести, трагедии, комедии и т. д.

В фольклоре дело обстоит много сложнее: одной поэтической системы недостаточно. Все фольклорные жанры можно делить на две большие категории: решающую роль здесь будет играть музыка. Один ряд жанров исполняется музыкально, другой исполняется без участия музыки. Народ совершенно не знает того, что мы называем стихотворной поэзией. Все, что укладывается в стихи, народом только поется.

Этот факт долгое время в области <...> фольклористики оставался без должного внимания. Правда, к научным сборникам иногда прилагались нотные записи. Это делал уже [А. Ф.] Гильфердинг, который к своим тремстам текстам приложил два напева, записанных от [Т. Г.] Рябинина. Некоторые следовали его примеру, другие — нет. Так, [А. Д.] Григорьев приложил к своему собранию архангельских былин целую нотную тетрадь, но, например, [Н. Е.] Ончуков к своим печорским (записям. — *Л. И.*) нотных примеров не дает совсем.

Между тем область музыкального фольклора есть столь же великая область национальной культуры, как и область словесного творчества. Это знали и знают композиторы от Глинки и до Стравинского, но этого долго не знали и не хотели знать фольклористы. Фольклор раздваивался на музыку и слова, и обе эти области изучались и частично до сих пор изучаются. <...> Правда, за последние годы намечается сдвиг, сближение, но [он] еще недостаточен.

А для чего оно (изучение напева. — *Л. И.*) нужно? Выше я сказал, что специфичность искусства — в том, что оно радует нас своей художественностью, я даже сказал — совершенством форм. Можно ли говорить о музыкальной форме произведения? Можно, но только надо иметь в виду, что в фольклоре форма эта отделима только искусственно, внешне, но не внутренне. Внутренне она составляет неразрывное единство с текстом. На этом единстве основывается одна из причин эстетического воздействия на нас народной песни.

Кроме того, учет музыкальной стороны может иметь и чисто познавательное значение. Предположим, что перед нами песня и фольклорист-словесник не может определить ее жанровую принадлежность. Во многих случаях музыковед скажет: это песня масленичная, или свадебная, или протяжная лирическая и т. д. Далее: словесник, имея перед собой только текст, не знает, как делить эту песню на части. Музыковед, изучая напев, может сказать точно, как эта песня делится на части, имеет ли она, например, куплетное строение, или нет.

Таким образом, есть два больших разряда фольклорных произведений — исполняемые словесно-музыкально или только словесно. Но необ-

ходимо классифицировать дальше. Один из признаков жанра состоит в специфике не только музыкальной, но и словесной системы, в совокупности поэтических средств, характерных для данного жанра [предположим, что путем предварительного изучения жанры гипотетически установлены]. С чего начинать дальнейшее изучение?

Я скажу так: подобно тому, как биолог-зоолог определяет изучаемых им животных по скелету, мы должны определять жанры по признакам структуры. Научное определение жанра надо начинать именно с этого.

С этим у нас дело обстоит плохо, и много работы еще впереди. По структуре мы пока, собственно говоря, умеем определять только волшебную сказку, кумулятивную сказку, заговоры и частушки. Для этого уже имеются научные основания, имеются и труды. *Эмпирически* мы можем выделять по этому признаку и некоторые другие жанры (загадки, колядки, подблюдные песни), но это только начало.

Мы, например, не знаем, что такое былина, не говоря уже о балладах или исторических песнях, в понимании которых царит полнейшая путаница. Правда, есть книга [В. Я. Проппа] «Русский героический эпос» [Изд. 2-е. М., 1958], и есть другие книги. Но там рассмотрены *сюжеты*. Я знаю *сюжеты* былин, но я не знаю их структуры. В сборниках былин помещается необычайно разнообразный <...> материал. Что здесь действительно былины и что нет, мы сказать с научной степенью достоверности не можем. Сейчас асп[ирант Ю. И.] Юдин пишет диссертацию, посвященную поэтике былин. Одна из [ее] глав посвящена типам структур героических былин. Когда эта работа будет закончена, мы сможем точно определить хотя бы типы героических былин. В моей книге «Р[усский] [героический] э[пос]» понятие героических былин определено с точки зрения характера героизма. Это признак очень удобный и доходчивый, но, строго говоря, это не научно точный признак. Я, например, сейчас уже сомневаюсь, относятся ли былины о Садко, или о Хотене Блудовиче, или Даниле Ловчанине действительно к жанру героических былин <...> будущее покажет.

Особое значение изучение композиции имеет для эпических, для повествовательных произведений. Здесь все не так, как в литературе. И с терминами и понятиями, почерпнутыми из изучения письменной литературы, мы далеко не уйдем. Мы, например, привыкли, что действия совершаются в пространстве и во времени в нашем понимании этих слов, а есть нечто совершенно другое — иные формы временно-пространственных представлений, которые надо исследовать. Я развивать этого не буду, коечто уже мной и напечатано по этому поводу. В фольклоре, например, нет синхронных действий, т. е. действий, развивающихся на разных театрах действия одновременно. Я не решаю эти проблемы, я их только ставлю.

Мы привыкли к тому, что действие развивается логически, что звенья повествования вытекают одно из другого. Случайность действия (deus ex machina) нами признается как нехудожественное, как слабость. Совершен-

но не то в фольклоре. Слова «вдруг», «откуда ни возьмись» выражают внешнюю бессвязность, *неоправданность* происходящего. При более пристальном изучении за этим отсутствием внешней логики и внешней (связи. — *Л. И.*), где все необычайно и удивительно, раскрывается не отсутствие логики, а какая-то иная, глубоко скрытая логика, которая имеет свои законы и которая никогда не нарушается.

Несколько иначе дело обстоит со структурой лирических произведении, о чем я немного скажу ниже.

Употребляя слово «структура», я хочу остановиться на течении, которое зародилось в лингвистике, а потом перекинулось в фольклористику, но не пустило в ней корней. Я говорю о течении, называемом структурализмом, в котором вопросы композиции составляют одно из важнейших звеньев изучения.

Но ведь вопросами композиции занимались и формалисты. Они называли это сюжетосложением. Чем же современный структурализм отличается от формализма? [Я освещу это на примере. Можно изучать форму любого предмета, хотя бы апельсина. Формалист изучит его форму. Он установит, что форма эта — шар, но имеет неровности и отступления, которые можно определить математически точно. Он, далее, определит его вес и удельный вес. Он установит также его цвет по имеющимся научным таблицам и номенклатурам цветов. С этой же точки зрения плоды будут сравниваться. Одни окажутся больше, другие меньше или светлее и темнее и т. д. Структуралист сделает все то же самое. Он применит измерение, но не ограничится этим. Он снимет с него (апельсина. — *Л. И.*) кожу и установит, что апельсин состоит из долек, внутри которых находятся семена. Он, далее, этот апельсин съест и определит его вкус и степень зрелости. Мало того: он будет сравнивать плоды не только по величине, но и по сортам. Он сравнит его с другими видами подобных же плодов и установит класс, род и вид данного вида цитрусовых. Он определит, откуда этот апельсин импортируется — из Испании, Бразилии, Марокко или др[угих] стран. Наконец, он изучит и опишет деревья, на которых растут апельсины, определит их ствол, листья, рост и все биологические функции его, установит, на каких почвах и в каких климатах это растение растет и в каких нет <...>]. Коротко: формалист изучает одно явление, одну сторону изолированно от всех других сторон данного явления, безотносительно к целому, безотносительно к системе, к которой данное явление принадлежит. Структуралист рассматривает всякое отдельное явление в его отношении к целому, ко всей системе, ко всем определяющим его историческим и иным связям. Следовательно, изучая композицию, структуралист никак этим ограничиться не может.

Структуру я выше уподобил скелету. Но ведь живые организмы имеют не только скелет. Это живые существа, облеченные плотью и кровью, со сложной структурой *клетки*! Литературные произведения, и в том числе фольклорные, также имеют свою плоть и кровь.

Мое сравнение хромает, я это прекрасно знаю. Сравнения всегда хромают, они все же вносят какую-то первичную ясность. Как применить это к области поэтики фольклора?

Изучив строение, композицию (а композиция состоит в развитии действия), мы должны изучить носителей действия, т. е. героев, образы, персонажи. Это делалось и раньше. Но изучение действующих лиц безотносительно к тому, в какую композиционную систему они уложены, всегда будет носить поверхностный, примитивный характер. Такое изучение образов процветает в средней школе <...>, не чуждо [оно] и вузу. Так пишут характеристики Хлестакова, или Онегина, или Ильи Муромца, как будто они были в жизни, как будто это ныне умершие лица с разными достоинствами и недостатками, а не художественные образы, определяемые всей совокупностью жанра, поэтической системой произведения. (Хлестаков есть персонаж комедии, а И[лья] М[уромец] — былины.) Такие характеристики именно формалистичны <...>. Почему Илья Муромец возможен только в былине и ни в какой другой форме — этот вопрос даже не ставится и необходимость его не осознается.

Я не буду уже говорить, как много дает изучение образов. Героический Илья, выдержанный Добрыня, порывистый Алеша, мрачный Грозный, Пугачев и Разин, Наполеон и Кутузов, Иван-царевич, царевна-лебедь, злая мачеха, кроткая Золушка, толстый поп или купец, хитрый батрак, хозяин, мастер, полицейский и [нрзб] рабочий — какая пестрая галерея, какой простор для исследования!

Изучив строение и образы, мы должны изучить языковой материал. Но язык имеет в данном случае не коммуникативную функцию, а эстетическую. Я бы назвал это поэтическим языком и сказал бы, что мы должны изучать поэтический язык произведения, писателя, жанра. Необычайно, восхитительно языковое мастерство [в] фольклоре. Сочность, живость, красочность, строгость, Но язык в поэзии неотделим от того, что этим языком сказано. Изучение поэтического языка есть средство проникновения в художественные цели исполнителя, в то, *что* он хочет сказать. Изучение того, *как* сказано, вводит нас в изучение того, *что* сказано. Этим открывается путь для дальнейшего всестороннего изучения.

Я приведу пример языкового анализа. Беру наугад [П. В.] Киреевского и на открывшейся странице выбираю самую короткую песню, чтобы не слишком задерживать внимание читателей (так в рукописи. — *Л. И.*). Вот что мне открылось: № 349. Свадебная Московской губ., Звенигородского у.:

Ходила Верушка по двору,
Ходила Кондратьевна по широкому;
Кунья на ней шуба до земли,
А Божья на ней милость до веку.
Что люди-то скажут: чья это така?
Микита свет молвит: моя госпожа,
Ефимыч свет молвит: моя госпожа.
С этой госпожой мне век вековать.

Эта песня, на мой взгляд, прелестна и поэтична. Она поэтична в одном только чтении. Но вообразим себе музыку. Напева [мы] не знаем. Но *стиль*, мелодический, гармонический и ритмический строй народной песни знаем. Вообразим себе это. Далее: песня свадебная. Бытовые функции жанра, обстановка не записаны. Кто поет — неизвестно. Она поется от имени жениха, но мы знаем, что жених на свадьбе не пел. Вероятно, пела одна из подружек, может быть, хор их. Так в старину записывали. Записывали один только текст и больше ничего, т. е. уподобляли песню стихотворению. Сейчас даже студенты 1 курса, если они прослушали курс фольклора, знают, что так записывать нельзя. [Но все же музыкальную и этнографическую сторону (свадьбы. — *Л. И.*) мы немножко знаем. Иметь это в виду нужно, это способствует и пониманию, и эстетическому восприятию песни.]

Будем говорить о композиции этой песни. Она в лирических песнях не играет решающей роли. В данном случае она состоит в том, что девушка проходит по двору. Люди не знают, чья она, но жених знает, кто она: это его невеста, его будущая жена. Вот и все.

Здесь нет завязки, развития, развязки, но тем не менее есть композиция. Очень простая и в простоте своей гениальная. Человек отражается в действии. Перед глазами *проходит* девушка — вот и все. Я не буду развивать [эту мысль]. Я хочу только показать, что это нужно.

Я ближе остановлюсь на языке, что для лирики особенно важно. Будем говорить о языке (микростроении). Первое, что бросается в глаза, — это необычный для прозы порядок слов. Переставим для эксперимента слова, и мы получим: «Вера Кондратьевна ходила по двору». Получается чистейшая проза, никакого эстетического восприятия нет. Таково первое наблюдение: поэтический язык состоит в инверсии (сказуемое раньше подлежащего). Другая особенность здесь — применение ласкательной формы Верушка. Она не случайна. Вся народная поэзия пронизана этими формами (примеров приводить не буду). Отсюда для фольклориста задача — изучить поэтическую функцию этих ласкательных и уменьшительных форм. Здесь нужен учет (форм. — *Л. И.*) и распределение [их] по жанрам: в каких жанрах — какие. Но этого мало.

Применение уменьшительных и ласкательных форм есть результат некоторого *отношения* к миру и некоторой *оценки* его. Так изучение формы выражения приводит нас к вопросу о том, что выражено в песне.

Второе наблюдение дают (следующие. — *Л. И.*) строки: это наличие некоторого ритма. Нет, может быть, ни одной области фольклористики, в которой было бы напутано так много, как в области ритма. Теории сменяли одна другую, но ни одна не удержалась (см. [М. П.] Штокмара). Это происходит потому, что исходили из *печатного, словесного* текста, а не из пения. Между тем ритм словесный и музыкальный совпадают только в отдельных случаях, чаще всего это бывает в песнях плясовых. Ритм песни есть ритм музыкальный, а не стихотворный. Чтобы научно определить ритм песни, надо услышать, как она поется. Правда, и словесный текст без-

относительно к пению обладает если не правильным ритмом, то какой-то несомненной ритмичностью.

Ходила Верушка по двору — амфибрахий и два дактиля.

Эта строка (как и последующие) не поддается ритмическому анализу в пределах тех норм, которые установлены для литературного стиха, но ритмичность ей присуща. Ритм (музыкальный и словесный) есть одно из средств создания эстетической радости. Почему? На этот вопрос мы вряд ли найдем ответ. В недавней книге [Г. Г.] Нейгауза об основах фортепианной игры есть несколько очень значительных строк и о ритмике. Известно, что ритм основан на правильном равномерном построении некоторых долей времени, заполненных звуками и словами. Ритм пронизывает всю природу: ритмично бьется сердце, ритмом определяется возвращение времен года, им определяется вся жизнь на земле. Ритмично прибиваются к берегу волны, ритмична смена приливов и отливов, ритмично наше дыхание. Этот ритм связан с самыми глубинами нашего существа. Ритм не то же самое, что механический стук или метр. Ритмично работают механизмы, тикают часы, стучит метроном. Но это не живой ритм, а мертвый метр, в котором нет связи с нашим органическим существом.

Все эти мысли, конечно, ненаучны, но они показывают, что правильное, методически продуманное и систематическое изучение ритма есть одна из первоочередных задач поэтики фольклора.

Но будем продолжать вдумываться в нашу песню. Две первые строки гласят:

Ходила Верушка по двору,
Ходила Кондратьевна по широкому.

Две строки построены синтаксически совершенно одинаково. Мы имеем перед собой явление синтаксического параллелизма. Такой же параллелизм имеем ниже, через три строки:

Микита свет молвит: моя госпожа,
Ефимыч свет молвит: моя госпожа.

Параллелизм в различных формах есть одно из замечательных проявлений песенной поэзии и специфична для фольклора. Начало его изучению положил [А. Н.] Веселовский своей статьей «Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля» (1898). Эта статья до сих пор никем не превзойдена, но мы не можем, конечно, остановиться на том, что сделано было почти 70 лет тому назад.

Явление параллелизма сродни явлению ритма. Оно основано на повторении, причем, как и в музыке, повторяющаяся единица отлична по своему нутру. В изобразительном искусстве этому соответствует симметрия. (Вышивка, орнамент, постройка, иконопись.) Заметим, что нарушение симметрии всегда вызывает в нас чувство неудовлетворенности и досады. Представим себе здание, в котором портал и колонны были бы расположены не на середине <...> (вообразим. — *Л. И.*), что справа от колонны будет

5 окон, а слева 3, — и здание рассердит нас своей нелепостью. Противоположное же явление, т. е. симметрия, нас эстетически радует, вероятно, по тем же причинам, по которым нас радует ритм.

Идем дальше:

Кунья на ней шуба до земли.

Это — женщина, невеста. Кунья шуба. Я только затрагиваю: проблема эпитета. Скажу, что эпитет придает изображаемому предмету чувственно или логически воспринимаемую определенность, но здесь еще другое. Крестьяне никогда не носили куньих шуб, да и богатые не всегда могли себе позволить такую роскошь. Здесь совершенно очевидно и явное нарушение реалистичности. Во имя чего? Во имя возвеличенья и поэтизации. Невеста поэтизируется, и в этом — внутренняя правда: она изображается как существо прекрасное, не укладывающееся в прозаические рамки жизни.

Следующая строка опять представляет собой параллелизм с предыдущей:

Кунья на ней шуба до земли,
А Божья на ней милость до веку.

На этот раз параллелизм уже не только синтаксический, но и другой. Мышление крестьянина облекалось в религиозные формы и религиозную терминологию. Это исторически было закономерно и не должно нас смущать. Если кунья шуба говорит о внешней красоте, то Божья милость, которая на ней до веку, т. е. до конца жизни, до смерти, — это внутренняя красота ее. Здесь эстетическая радость дополняется другим — глубинной моралью, каким-то внутренним сияньем. Без этой углубленной морали не может быть настоящей эстетической радости. Может показаться странным, если я скажу, что восприятие морали входит в эстетическое восприятие (Кант) и что изучение этой морали и формы ее выражения непременно входит в задачи поэтики фольклора. Здесь сквозь поэтические формы сквозит как бы лик народа, и этот лик должен быть изучен. Можно выразить иначе: через поэтические формы нам раскрывается мироощущение и мировоззрение народа. Я не буду развивать этого тезиса, вы можете сделать это сами.

Следующая строка:

Что люди-то скажут: чья это така?

Эта строка вдруг окунает нас в деревенский быт. Строка эта слегка юмористична по контрасту с предыдущей. Если там — глубочайшие чувства, чувства какой-то внутренней правды и красоты, то здесь — чувство некоторого чисто внешнего самолюбия, которое, однако, не только не нарушает глубину чувства, но придает ему жизненную бытовую правдивость. Здесь опять край большой проблемы — проблемы народного юмора как жизнеутверждающего фактора.

Приведенная строка содержит вопрос: чья это така? Следующие строки содержат ответ. Изложение диалогизировано, чем достигается живость,

драматичность, перенесение в настоящее. Передача (ситуации. — *Л. И.*) через вопросы-ответы спаивает, цементирует стих в одно целое. Ответ опять дан через параллельное двустишие:

Микита свет молвит: моя госпожа,
Ефимыч свет молвит: моя госпожа.

Я не буду останавливаться на эпитете «свет» <...>, тут проблемы особой нет. Но все же этот эпитет надо продумать и прочувствовать, чтобы увидеть, что он соответствует тому внутреннему образу, который дан в описании невесты. Искусство портрета чуждо народу, и это вполне можно объяснить. Здесь даны не портреты, а два образа, понятых изнутри, понятых в их душевной красоте. Наконец, когда жених признает невесту *своей госпожой*, то это не соответствует бытовому укладу старой патриархальной деревни, в которой жена была *рабой* своего мужа.

Наконец, последняя строка звучит так:

С этой госпожой мне век вековать.

С точки зрения поэтического языка обращает на себя внимание типично фольклорное сочетание «век вековать» — сочетание однокоренных слов. Такие сочетания изучены в книге Анаст[асии] Петровны Евгеньевой «Очерки по языку русской устной поэзии» (1963). Исследование сделано лингвистом, вопрос об эстетической функции (подобных словосочетаний. — *Л. И.*) не ставится, это еще предстоит сделать нам. Но меня интересует не эта частность, а самая мысль. В словах «моя госпожа и с этой госпожой мне век вековать» звучит гордость своей женой и радость, что именно с ней (жених. — *Л. И.*) будет соединен на всю жизнь. Слова «век вековать» лексически перекликаются со словами «Божья на ней милость до веку», т. е. в прозе [это можно передать так:] она всегда будет такая и будет со мной.

Всем этим я хотел показать, как надо — не путем абстрактных умозрений, а путем скрупулезного вхождения в материал — решать вопросы поэтики. Тут возникает вопрос: а *объясняет* ли все это художественную природу народного творчества, объясняет ли это эстетическую радость, которую оно в нас пробуждает? Студенты иногда говорят: установление параллелизмов, эпитетов, синонимов, ритма — все это формализм. К чему это? Получается каталог приемов, который ничего не объясняет. На это можно ответить так: отнимите все то, что мы установили, отнимите напев, ритм, измените порядок слов, упраздните параллелизмы, вычеркните эпитеты и т. д. — почувствуете ли вы радость, увидите ли красоту, или нет? Ответ ясен. И еще: мы изучаем не только так называемые приемы, но и то, к чему они прилагаются. Если изучать так, нам сквозь художественное самовыражение откроется облик народа, внутренний мир его, мир его мыслей и чувств, его идеи и эмоции.

Приведенная мной песня радует не только своими приемами речи и изложения, глубоко отличного от изложения прозаического. Она радует нас своим жизнеутверждающим началом, она заражает нас своей любовью к

жизни <...> – и это несмотря на ужасающие условия крестьянского уклада жизни при крепостничестве, которые также нашли свое отражение в фольклоре. Специфично для искусства совершенство форм. Но для того чтобы это совершенство перед нами раскрылось, нужно, чтобы в нас что-то шло навстречу этому искусству, что-то было открыто для него. Так же как музыка одних оставляет совершенно равнодушными, и они, слушая ее, только ждут конца исполнения, а другие, слушая музыку, плачут от счастья. Так это происходит и с поэзией. Одни будут восхищаться, другие иронизировать. Не могут, к счастью, люди быть одинаковыми. Но это значит, что первопричина эстетической радости как одного из видов восприятия пока для нас необъяснима. Последнее «отчего» пока для нас закрыто. Но это не должно останавливать нас в нашей работе: во многих областях мы последних причин еще не знаем.

Я не могу остановиться на всех художественных формах песенной поэзии народа и на всех проблемах. Одна из важнейших – проблема иносказаний, метафоричности, которой в приведенном мной примере не имеется. Об этом сейчас пишется диссертация (В. И. Ереминой. – *Л. И.*).

О сличении вариантов. Это не поэтика – методология.

Далее: одна из основных проблем в изучении любой литературы в любых формах есть отношение ее к действительности. Реализм литературы XIX–XX веков настолько вошел нам в плоть и кровь, [что] только этот стиль мы признаем своим. Реализм для нас мерило, которое прилагается нами к любой прозе.

Между тем Чернышевский уже в заглавии своей диссертации («Эстетическое отношение искусства к действительности») выразил мысль, что искусство передает действительность не прямолинейно, а сквозь призму эстетического отношения к ней. Говоря коротко, фольклор всегда преображает или, точнее, преломляет действительность; наша же задача состоит в том, чтобы установить, как и почему это преломление происходит и какая реальная действительность кроется за изображением ее в преломленном виде. Скажу коротко, что народ в своем искусстве преломляет действительность в соответствии со своими моральными и социальными идеалами, либо возвышая, либо принижая ее. Поэтому весь мир действующих лиц делится на персонажи положительные, идеальные, и отрицательные, низменные. В эпических произведениях между этими двумя типами персонажей переходов нет.

Здесь величайшее разнообразие, но этим объясняется [то], что в фольклоре есть типы и нет характеров. [В сказке это кроткая падчерица и злая мачеха, злой Кащей и бесстрашный Иван-царевич, жадный поп и хитрый батрак. В былине это змей и Добрыня, Тугарин и Алеша, Идолище или царь Калин и Илья Муромец; в балладе злая свекровь и погубленная невестка; в исторических песнях – Иван Грозный и татарин, Наполеон и Кутузов, Краснощеков и прусский король.]. Разумеется, я говорю очень общими категориями. Комические жанры в этом отношении также не состав-

ляют исключения, только там иное противопоставление: глупый, с одной стороны, и хитрый — с другой.

Каждый жанр имеет свое, специфическое для него отношение к действительности, специфических для него антагонистов, особые <...> типы и особые законы композиции, изложения хода конфликта и формы его разрешения. Побеждает всегда положительный герой, побеждают правда и справедливость. Непонимание этих специфически фольклорных закономерностей приводит иногда к элементарнейшим ошибкам даже у крупнейших ученых. Так, в 1963 году вышла книга <...> Бор[иса] Ал[ександровича] Рыбакова «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи». Ак[ад.] Рыбаков приравнивает былины к летописям и сказаниям и потому приходит к совершенно неправильным выводам, будто герои былин — это политические деятели русской истории. Разбор его труда скоро выйдет в печати, и потому я здесь на этом останавливаться бы не хотел. Ошибка же (Б. А. Рыбакова. — *Л. И.*) состоит в непонимании специфических для эпоса закономерностей, в рамках которых действительность не столько изображается, сколько преломляется.

[Другое отличие фольклорной эпики от литературы состоит в иных законах логики. Развитие действия в любом реалистическом романе есть цепь событий, логически между собой связанных и одно из другого вытекающих. Цепь событий вместе с тем есть цепь мотивировок. В фольклоре не так <...>] Но я чувствую, что впадаю в ту же ошибку, в какой упрекал эстетиков, в абстрактные рассуждения в отрыве от конкретного материала. Я разобрал только одну маленькую песенку, и это заняло добрую половину лекции. Если так разбирать все памятники художественного творчества, то не хватит жизни. Здесь нужна не одна жизнь, а многие. [И пусть к десяткам тысяч уже написанных работ прибавится столько же новых, и тогда эти скромные произведения народного искусства засияют своим настоящим блеском.] Наша наука имеет большое будущее.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Воспоминания о В. Я. Проппе



Воспоминания о В. Я. Проппе его учеников и коллег были опубликованы в двух изданиях в юбилейный 1995 год — в журнале «Живая старина» № 3 (7) и «Ежеквартальнике русской филологии и культуры (Russian Studies)», 1 (3). В «Russian Studies» были опубликованы воспоминания Г. Г. Шаповаловой, Б. Ф. Егорова, Н. А. Криничной, В. Б. Кривулина, И. И. Земцовского, И. П. Лупановой (С. 371–407). Остальные воспоминания, воспроизведенные в данной книге, были опубликованы в журнале «Живая старина» (С. 10–22).

Б. Н. Путилов

ПЕРЕЧИТЫВАЯ И ПЕРЕДУМЫВАЯ ПРОППА*



100 лет — в судьбе ученого дата особенная, неповторимая — и не только в прямом смысле. С одной стороны, она знаменует дистанцию, позволяющую нам и даже побуждающую нас взглянуть на жизнь и дела ученого *исторически*. Это тем более актуально в приложении к Проппу: ведь сегодня мы смотрим на него из другого исторического времени, отчетливо понимая, что его жизнь и его творчество принадлежат «той» эпохе, от которой мы стремительно удаляемся. С другой стороны, 100 лет — не та дата, чтобы стерлась память о живом человеке: мы, его современники, друзья, ученики, сослуживцы, хотя и принадлежим к разным поколениям, тоже из «того» времени; мы были свидетелями появления и первыми читателями его книг (разве только за вычетом «Морфологии сказки»), слушателями его лекций и докладов; мы общались с ним в домашней обстановке, даже в застолье, разговаривали с ним по телефону, обменивались письмами; он был руководителем нас, аспирантов, первым критиком наших рукописей, официальным оппонентом наших диссертаций...

Не просто нам соединить две позиции — историков и современников. Настоящие заметки — попытка подойти к осуществлению этой трудной, но необходимой задачи.

Сейчас уже нелегко определить тот момент, когда Владимир Яковлевич Пропп стал признанным мэтром советской фольклористики, непререкаемым авторитетом для большинства ученых, почитаемым профессором. Нынешнему молодому поколению может показаться, что так было всегда. Между тем до середины 40-х годов В. Я. Пропп проходил, так сказать офи-

---

* Статья была написана к 100-летию со дня рождения В. Я. Проппа. Опубликована в журнале «Живая старина», № 3 (7), 1995. С. 2–6.

Переиздается с небольшими сокращениями.

циально, в учебниках, в обзорных историографических трудах как представитель школы формализма в фольклористике, а его статьи 30-х годов, посвященные генезису сказочных мотивов, расценивались соответственно как свидетельство «отхода от формализма»[1]. Вышедшая в 1946 году монография «Исторические корни волшебной сказки» сразу же стала мишенью для критических разносов и обвинений автора («идеалистическая позиция», «антимарксистская концепция» и проч.)[2].

Перелом произошел на рубеже 50–60-х годов, после выхода фундаментальной монографии «Русский героический эпос» (Л., 1955; изд. 2-е. М., 1958) и как бы второго рождения «Морфологии сказки», поистине триумфальное шествие которой на Западе совпало с принципиально новой ее оценкой отечественными структуралистами[3]. В эти же годы выходят: монография «Русские аграрные праздники» (Л., 1963), двухтомное издание былин (1958; совместно с автором этих строк), антология «Русские лирические песни» (Л., 1961), серия статей по проблемам специфики и поэтики фольклора. В. Я. Пропп читает блестящие спецкурсы по эпосу и сказке на филологическом факультете Ленинградского университета, из-под его крыла выходит целая плеяда специалистов, которые ныне по праву занимают ведущее место в российской фольклористике...

Необычайно возрастает личный авторитет Владимира Яковлевича, его окружают почет, уважение, его слова ждут, его оценок побаиваются. Несколько лет он руководит кафедрой русской литературы ЛГУ, и сотрудники кафедры уважительно и вполне серьезно зовут его «железный канцлер».

Здесь как раз к месту сказать о личности Владимира Яковлевича, о его нравственном облике (как он отпечатался у многих из нас), о его поведенческом кодексе. Полное отсутствие суетности, каких бы то ни было карьерных соображений, заботы о приоритетах, намеков на самоутверждение. Ученую степень доктора и звание профессора он получил как бы походя, не прилагая к этому никаких стараний. В повседневной жизни был предельно скромен, совершенно не умел и не желал пользоваться своей известностью и своим положением, начисто был неспособен прибегать к так называемым связям и «блату». Все годы нашего общения помню его в стареньком пальто и поношенной шапке, но — в хороших костюмах (профессорская привычка!). Ни тени высокомерия, ни намека на желание покрасоваться на кафедре и в жизни перед студентами или коллегами, начинающими учеными... Ни-

---

[1] См., например: *Соколов Ю. М.* Русский фольклор: Учебник для вузов. М., 1938. С. 109, 115.

[2] *Кузнецов М., Дмитраков И.* Против буржуазных традиций в фольклористике // Советская этнография. 1948. № 2; *Соколова В. К.* Дискуссия по вопросам фольклористики на заседании сектора фольклора Института этнографии // Советская этнография. 1948. № 3.

[3] См. об этом: *Мелетинский Е. М.* Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969.

чего показного. Простота, доступность, высшая интеллигентность. Образованность высокого филологического класса, никогда без нужды не проявлявшаяся. Строгая сдержанность: редко-редко открывал он перед другими свое внутреннее состояние, настроение. Помню, был я потрясен строчкой из его письма, незадолго до кончины; он объяснил, почему не поедет со мной в Петрозаводск на конференцию: он болен, и сердце его «больше трепещет, чем бьется».

Вообще, видимо, в письмах он был более открыт. И то же самое можно сказать о некоторых страницах его печатных трудов. При всей методологической строгости, дисциплине анализа и осторожности выводов, он позволял себе моментами эмоциональную раскованность, выход за обязательные рамки строгого научного стиля, давал некоторую волю фантазии и даже поэтическому полету. Он признавался мне, что в глубине души он — писатель, и это время от времени дает о себе знать...

Остается во многом загадочным вопрос об отношениях В. Я. Проппа со своим временем — сложным, менявшимся, с господствующей идеологией, с ведущими и рождавшимися у него на глазах научными направлениями. Очевидно, что, с одной стороны, В. Я. Пропп был полностью в курсе движения науки и жил в атмосфере живейшего внимания к различным ее течениям (и не только в области фольклора)[4]. Он свободно ориентировался в зарубежной фольклористике и этнографии (насколько это было возможно в 20–30-е годы в Ленинграде). При всем том, с другой стороны, В. Я. Пропп сразу же заявил о себе как о вполне самостоятельной личности в науке. Он ни за кем не следовал и не был ничьим учеником, а свободно брал отовсюду, что было ему близко и интересно, оставаясь самим собою.

О том, как пережил и воспринял В. Я. Пропп совершившийся в конце 20-х — начале 30-х годов процесс утверждения в гуманитарных науках марксистско-ленинской теории и методологии и руководящей роли партийной идеологии, мы можем судить лишь по его печатным трудам.

Смею утверждать, что первая книга «Морфология сказки» (1928) писалась им в состоянии полной внутренней свободы и автор ее совершенно не нуждался в обращении к трудам классиков марксизма-ленинизма и к цитатам из них, к выходившему тогда на авансцену марксистскому литературоведению. «Морфология сказки» стала одной из последних книг русской науки, созданных вне какого-либо воздействия утверждавшейся тоталитарной идеологии и теории. В рукописи книги была глава, посвященная историческому объяснению открытой автором структуры волшебной сказки. Она, по совету редактора, не вошла в печатный текст книги и затем была развернута в самостоятельную монографию «Исторические корни волшебной сказки». А это может означать, что исходная идея монографии родилась тоже в 20-е годы и тоже — без какого-либо воздействия марксиз-

[4] См. об этом: *Чистов К. В.* В. Я. Пропп — исследователь сказки // Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984.

ма. Между тем в самой книге оно очевидно, равно как и в статьях о сказках, выходивших в довоенные годы. Можно думать, что к использованию некоторых базовых положений исторического материализма В. Я. Пропп пришел от собственного материала, от его анализа. Им рано овладела идея закономерности фольклорного процесса и его исторической обусловленности. В марксистской теории базиса и надстройки он нашел обоснование этой последней. Поиски ответа совпали по времени с распространением идей Марра о стадиальности языкового процесса и развития культуры и с внедрением аналогичных положений в советскую этнографию. В «Исторических корнях...» мы найдем высказывания и формулировки, типичные для общественных наук 30-х годов: «Фольклор должен изучаться не как нечто оторванное от экономики и социального строя, а как производное от них»[5]; «Сказка создалась на основе докапиталистических форм производства и социальной жизни»[6]. Позже, в лекциях 50-х годов, он скажет, что стадиальное изучение фольклора «представляет собой приложение диалектического метода к явлениям культуры»[7].

Может быть, в наиболее обнаженной форме тенденция к социологическому истолкованию сказки проявилась в одной из статей 30-х годов[8]. Здесь происхождение и эволюция мотивов захоронения костей и вырастания дерева на могиле увязывается не просто с данными исторической этнографии, но и — с необычной для В. Я. Проппа прямолинейностью — со ступенями (стадиями) развития общества (понимаемыми в марксистском духе) — от доклассового состояния (с переходом от охоты к земледелию) к рабовладельческому строю и затем к феодальной и капиталистической формациям. В этой статье немало пассажей, режущих сегодня наш слух, и неслучайно, готовя сборник работ ученого, я воздержался от ее включения. Следы марксистского социологизирования нет-нет да и мелькнут на отдельных страницах статей и книг В. Я. Проппа. Они свидетельствуют о той опасности, какая могла не миновать В. Я. Проппа, как не миновала она многих и многих его современников, ставших пленниками и послушными последователями марксистских догм. В. Я. Пропп сумел избежать ее, остановившись на грани добросовестного и вовсе не догматического приложения некоторых идей, преимущественно в изложении Энгельса, к своим исследованиям. Более того, по существу он в своих исследованиях пошел путями, уводившими его от вполне марксистского понимания и истолкования фольклора как феномена духовной культуры. В этом своем движении В. Я. Пропп опирался на опыт мировой и отечественной науки, свободно обращаясь к трудам представителей различных, так называемых буржуазных, школ. Он обладал завидной способностью искать и находить

[5] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 279.

[6] Там же. С. 20–21.

[7] *Пропп В. Я.* Русская сказка. С. 161.

[8] *Пропп В. Я.* К вопросу о происхождении волшебной сказки (Волшебное дерево на могиле) // Советская этнография. 1934. № 1–2.

в них нечто рациональное для себя — и не только в интерпретации конкретных фактов, но и в области теории, хотя во многих случаях решительно, подчас резко критиковал их именно по линии методологии и теории — отнюдь не в угоду конъюнктуре, но исходя из собственных позиций, как это было, например, в отношении «исторической школы», в оценках которой он был непримирим.

В. Я. Проппу, бесспорно, принадлежит заслуга освоения на российской (советской) почве и творческого применения идеи и методов классиков зарубежной этнографии и фольклористики (Дж. Фрэзера, Л. Леви-Брюля, Ф. Боаса и многих других) и, равным образом, поддержка и популяризация идей тех советских ученых, чьи труды в 30–40-е годы считались не соответствующими требованиям партийной идеологии и часто либо подвергались разносной критике, либо замалчивались, а ныне по праву входят в фонд нашей научной классики (Д. Зеленин, И. Толстой, И.Тронский, Е. Кагаров).

Об общественной позиции В. Я. Проппа можно судить еще и по отсутствию дежурных ссылок на Сталина, на документы ЦК КПСС (кажется, одна-две на весь печатный фонд ученого). Я нашел у него не больше десятка ссылок на Ленина, и все они носят именно дежурный характер; моментами возникает впечатление, что автор просто хотел «отделаться», «бросить кость» бдительным редакторам и цензорам, а то и внутренне посмеяться над прочно засевшей у большинства охотой за подходящими цитатами из «основоположников»: чего стоит, например, единственное на всю книгу «Проблемы комизма и смеха» (вышла посмертно в 1976 г.) упоминание о том, как Ленин при посещении заграничного мюзик-холла «охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов-эксцентриков»...

Эрудиция В. Я. Проппа, его широта и свобода в отношении к научному наследию и к современной науке, помноженные на талант и яркую индивидуальность, позволили ученому не просто создать внушительную серию выдающихся трудов на разные темы, но — единственному в наше время — разработать оригинальную *целостную концепцию* фольклора, которая во многом противостояла общепризнанным, почти официальным взглядам на фольклор. Правда, в одном существенном моменте В. Я. Пропп был с ними солидарен: подобно большинству российских дореволюционных и советских ученых, он ограничивал понятие «фольклор» устной народной словесностью («под фольклором понимается только *духовное* творчество, и даже у́же, только словесное, поэтическое творчество») и — в согласии с утвердившейся с конца 20-х —начала 30-х гг. точкой зрения — «для народов, достигших ступеней классового развития», фольклором признавал «творчество всех слоев населения, кроме господствующего»[9]. Эти ограни-

[9] *Пропп В. Я.* Специфика фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М., 1976. С. 18. Первое изд. статьи — 1946 г. Впрочем, охранительная критика и тут «достала» В. Я. Проппа, обвинив его в отступлении от «узаконенного» горьковского определения фольклора как «творчества широких трудовых масс» (Советская этнография. 1948. № 3. С. 140).

чения, конечно, сужали исследовательское поле фольклористики, но важно, *как* в пределах этих границ В. Я. Пропп осмыслял народную словесность.

Его концепция была сформулирована и изложена в теоретических статьях 40–60-х годов, во вводных методологических главах и разделах монографий, а практически воплотилась в исследованиях, посвященных самым значительным формам русской устной словесности: сказкам, героическому эпосу, обрядовому фольклору, лирической песне. Она же получила выражение — применительно ко всему основному корпусу русского исторического фольклора — в его общих и специальных лекционных курсах на филологическом факультете ЛГУ. Именно разработкой целостной концепции фольклора и ее развернутой реализацией в конкретных исследованиях В. Я. Пропп внес свои вклад в отечественную науку, заняв по праву в ней место рядом с такими корифеями, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, А. А. Потебня.

Начнем с того, что В. Я. Проппу принадлежит наиболее последовательное и развернутое обоснование специфики фольклора, которая проявляет себя как в способах возникновения поэтических произведений, в характере функционирования, в сфере вариативности, так и в самом содержании, в отношении к действительности, в выражении специфических форм сознания. В частности, В. Я. Пропп подчеркивал, что — в отличие от индивидуального литературного творчества — фольклорное творчество есть *процесс,* а не серия однократных актов. Процесс этот вовсе не предполагает, будто «кто-то должен был сочинить или сложить первый»; «генетически фольклор должен быть сближаем не с литературой, а с языком, который также не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов». Подобно языку, «обрядовой жизни», «формам и категориям мышления», фольклор «возникает и изменяется совершенно закономерно и независимо от воли людей, везде там, где для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия»[10]. Тем самым В. Я. Пропп вступил в конфронтацию и с тенденциями к стиранию принципиальных границ между фольклором и литературой и с теориями «коллективности» в их различных модификациях. Тем и другим ученый противопоставлял концепцию «безличности» и «бессознательности» фольклорного творчества. Не настаивая на точности этих терминов, он тем не менее по существу обосновал справедливость стоящих за ними понятий, а в исследованиях сказок, былин, обрядовых песен и других жанров раскрыл не поддающиеся эмпирическому наблюдению процессы сюжетосложения, создания поэтических образов, шире — жанрообразования — как совершающиеся независимо от индивидуального начала. В наше время эти идеи нашли своих союзников и получили признание и дальнейшее развитие: теперь уже мы говорим открыто о способности фольклора к самовоспроизведению и самоорганизации; раскрыты

[10] *Пропп В. Я.* Специфика фольклора... С. 22.

на материале фольклора разных народов законы трансформации сюжетов как одного из главных способов фольклорного творчества, семантической перекодировки и т. д.

Исследуя механизмы фольклорного творчества, В. Я. Пропп выделил особые отношения «нового» с традицией: либо оно рождается из столкновения с традицией, из ее «отрицания», либо появляются «гибридные соединения», перенесения нового на старое, либо старое подвергается разного рода переосмыслениям — вплоть до превращения в свою противоположность. В целом же «процесс переработки старого в новое есть основной творческий процесс в фольклоре, прослеживаемый вплоть до наших дней»[11].

Тезис этот, вызвавший отпор со стороны блюстителей «чистоты теории», был направлен против догматических требований к фольклору, который должен был, подобно литературе, публицистике, плакату откликаться на события в реалистических формах самой жизни, против прямолинейности, иллюстраторского толкования произведений устной словесности: такого рода вульгарные экскурсы в содержание фольклора, особенно классического, игнорирование его художественной, эстетической специфики, стали особенно распространяться в 30–50-е годы, подкрепляясь демагогическими характеристиками фольклора как реалистического искусства.

В эти-то смутные для нашей науки и культуры годы В. Я. Пропп заявляет, что «фольклорные образования создаются не как непосредственное отражение быта» и что задача науки — выяснять *законы,* на основе которых фольклорное творчество осуществляется[12].

Уже после выхода в свет монографии о генезисе волшебной сказки, о героическом эпосе и календарной обрядности В. Я. Пропп счел необходимым вернуться к проблеме «фольклор и действительность» в общетеоретическом плане. Он сделал это не только, чтобы рассчитаться окончательно с воинствующими или просто заблуждающимися сторонниками «правдивого изображения действительности» в сказках, былинах и проч., показать «примитивную антиисторичность» такого подхода, но главное — чтобы уже в изменявшихся общественных условиях, когда фольклористика освобождалась от пут догматизма и выходила на новые рубежи, обобщить свои богатый опыт по части изучения взаимодействия фольклора как искусства с реалиями жизни, истории, быта и в полный голос сказать о том особенном, уникальном, чем эти взаимодействия характеризуются. Для В. Я. Проппа было очевидным, что научно познавать фольклор можно лишь признав разительное несоответствие его содержания эмпирике жизни и научившись за формами этого несоответствия обнаруживать его глубинные связи с действительностью. Здесь же автор касается и особенностей

[11] *Пропп В. Я.* Специфика фольклора... С. 33.

[12] Там же.

13 Зак. 3360

сюжетики повествовательных жанров и их типовых персонажей и категории времени и пространства, шире — обусловленности ранних форм фольклора ранними же, «частично очень архаичными формами мышления», в том числе «несовпадением художественной логики повествования с логикой причинно-следственного мышления»[13].

Цитируемая статья принадлежит к числу замечательнейших произведении ученого. Я думаю, что всякий, кто готовит себя к работе в фольклористике или кто просто намерен «зайти» в сферы фольклора из других научных дисциплин, должен в первую очередь познакомиться с этой статьей и через нее открыть для себя особенный художественный мир народной поэзии, вооружиться соответствующей теорией и методологией. Впрочем, так или иначе проблематики ее В. Я. Пропп касается едва ли не во всех своих трудах.

Между тем вопрос, в ней заявленный, вскоре после выхода статьи вновь приобрел остроту: Б. А. Рыбаков в своей книге вернулся к трактовке былин в духе «исторической школы», заново возвел значительное число былинных сюжетов к конкретным фактам политической истории Киевской Руси и идентифицировал многих богатырей с реальными ее личностями. При этом он обвинил В. Я. Проппа (а заодно и автора этих строк) в антиисторизме[14]. Полемика с Б. Рыбаковым вылилась в обсуждение проблем историзма русского эпоса на всесоюзной конференции в апреле 1964 г. Доклад В. Я. Проппа[15] содержал чрезвычайно обстоятельную (как выразился докладчик, «под микроскопом») критику той части книги, которая относилась к былинам, со стороны фактической и теоретической и принципиальное обоснование взглядов ученого на историзм фольклора вообще, русского эпоса в первую очередь. «Летописному историзму» Б. А. Рыбакова В. Я. Пропп противопоставлял «широкий историзм», характеризующийся прежде всего пониманием «особого отношения к действительности» былинного жанра и стремлением выявить «исторический смысл» былин через сравнительный анализ их сюжетики, структуры, поэтики. Нельзя сказать, что в той дискуссии победил В. Я. Пропп. Соперники разошлись, оставшись при своих мнениях, причем, пожалуй, сторонников у Б. А. Рыбакова среди участников конференции оказалось побольше. Помню, это нисколько не обескуражило Владимира Яковлевича: «Простые, привычные теории, — объяснил он мне, — легче задерживаются в сознании и преодолеваются с трудом и не сразу». Сейчас, по прошествии тридцати лет, спор

---

[13] *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. С. 82, 85, 96–98. Первое изд. статьи — 1963 г.

[14] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 42–43. Еще раньше: История СССР. 1961. № 5–6. Первый критический отклик см.: *Путилов Б. Н.* Концепция, с которой нельзя согласиться // Вопросы литературы. 1962. № 11.

[15] *Пропп В. Я.* Об историзме русского фольклора и методах его изучения // Ученые записки ЛГУ. № 339. Серия филологических наук. Вып. 72. 1968. С некоторыми сокращениями: *Пропп В. Я.* Фольклор и дейсвительность: Избранные статьи.

всерьез с запоздалыми клиентами «исторической школы» может показаться анахронизмом. На память о тех днях у меня осталась надпись Владимира Яковлевича на одной его книге: «Моему воинственному союзнику».

В ряду генеральных специфических качеств фольклора В. Я. Пропп исключительное значение придавал категории жанра. Ему принадлежат наиболее емкие его характеристики. Вот одна из них: «Специфика жанра состоит в том, какая действительность в нем отражена, какова оценка ее, каково отношение к ней и как это отношение выражено». Другая, вносящая в первую существенное дополнение: «единство формы предопределяет единство содержания, если понимать под содержанием “не только фабулу, но мыслительный и эмоциональный фон, выраженный в произведении”»[16]. Еще одно дополнение: характерными именно для фольклорных жанров качествами являются «бытовое применение», «форма исполнения», «отношение к музыке». И наконец: «ни один признак в отдельности, как правило, еще не характеризует жанр, он определяется их совокупностью»[17]. На этой основе В. Я. Пропп предложил систему критериев для выделения жанров, жанровой классификации и определения жанровой принадлежности конкретных текстов[18] и осуществил собственный опыт описания жанрового состава русского фольклора[19].

Для некоторых жанров был выделен в качестве наиболее существенного структурного признака «синтаксис», «единство композиции» как «признак устойчивый, закономерный»[20]. Несомненно, что к такому заключению ученого привел блестящий результат его структурного («морфологического») анализа волшебной сказки. Однако относительно других жанров он сохранял осторожность. Ему удалось достаточно убедительно выделить по структурным признакам кумулятивную сказку. Замечательно, что и здесь В. Я. Пропп предпринимает поиски связей принципа кумулятивности (то есть морфологии) с лежащими вне фольклора факторами — ранними формами сознания[21]. Что касается других видов сказок, то В. Я. Пропп допускал, что «вероятно, единством композиции они не обладают»[22]. Метод морфологического анализа (в иной модификации) он применил при фольклорно-этнографическом исследовании аграрных праздников, установив, что «все большие основные аграрные праздники состоят из одинаковых элементов, различно оформленных», «одинаковых слагаемых <...>, иногда

---

[16] *Пропп В. Я.* Принципы классификации фольклорных жанров // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. С. 36. Первое изд. статьи — 1964 г.

[17] Там же. С. 38–39.

[18] Там же. С. 41–45.

[19] *Пропп В. Я.* Жанровый состав русского фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. Первое изд. статьи — 1964 г.

[20] Там же. С. 47.

[21] *Пропп В. Я.* Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи.

[22] *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность... С. 48.

и просто тождественных»[23]. На этот раз структурный анализ был проведен в единстве с анализом историко-генетическим и семантическим: в методологическом плане такой подход во многом способствовал снятию в нашей науке противостояния структурно-типологического и историко-типологического подходов.

В монографии о былинах В. Я. Пропп перенес главное внимание на «закономерности композиции каждого сюжета»[24]. Отечественные эпосоведы продолжили эту традицию, но также и предприняли опыты выявления общих структурных особенностей героического эпоса[25].

Опять же к числу важнейших (и, может быть, особенно дорогих В. Я. Проппу) принципов его концепции фольклора надо отнести положение об определяющей, генерирующей, формообразующей роли этнографических связей. В 30–50-е годы у нас, особенно в изучении русского фольклора, традиции этнографического подхода к изучению народной словесности, осознание единства фольклора и этнографической действительности стали ослабевать под напором литературоведческой, чисто филологической методологии. В. Я. Пропп был не просто одним из немногих, кто эти традиции сохранял и продолжал, но он влил в них свежую теоретическую кровь, обогатил их самобытными идеями, разработал современный метод историко-генетических исследований фольклорных явлений через анализ их этнографических связей (условно его можно определить как метод «этнографизма»), придав ему поистине универсальный размах. В сущности, все его труды основаны на применении этого метода — с учетом специфики жанров и конкретного материала. Так, в «Исторических корнях...» уже сформулированы основные понятия, относящиеся к типологии связей сказок с лежащей вне их социальной и бытовой действительностью. К сравнительно редкому типу относятся случаи прямого отражения в сказках «некогда имевшихся институтов» и «полного совпадения обряда и обычая со сказкой»[26]. Более частый тип — «переосмысление», когда отдельные элементы обряда замещаются или когда меняются мотивировки[27]. Особую важность В. Я. Пропп придавал третьему типу — «обращению»: формы обряда в сюжете как бы сохранялись, но им придавался противоположный смысл; сюжет возникал «не эволюционным путем прямого отражения действительности, а путем отрицания этой действительности»[28]. Нужно еще учесть, что понятие этнографической действительности В. Я. Пропп толковал достаточно широко, включая морфологию, совокуп-

[23] *Пропп В. Я.* Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). Л., 1963. С. 137, 12.

[24] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. Изд. 2-е, испр. М., 1958. С. 23.

[25] См., напр.: *Мелетинский Е. М.* Палеоазиатский мифологический эпос: Цикл Ворона. М., 1979.

[26] *Пропп В. Я.* Исторические корни... С. 22–23.

[27] Там же. С. 24.

[28] Там же. С. 24–25.

ность исторически менявшихся представлений людей о мире, природе, обществе, о времени, пространстве и т. д. Такой широкий подход и был осуществлен ученым в отношении волшебной сказки. Некоторые критики неправомерно свели результаты исследования к установлению в качестве чуть ли не единственного источника генезиса жанра обряда инициации. На самом деле речь шла именно о целом комплексе древних институтов, представлении, о сложной работе творческого сознания, определивших не только собственно исторические корни, но и весь процесс рождения и эволюции сказки[29].

Между тем общие положения, открытые по ходу работы над волшебной сказкой, оказались продуктивными и в отношении других форм фольклора. Теоретический опыт работы над «Историческими корнями...» В. Я. Пропп обобщил в статьях 40–60-х годов, прежде всего в статье «Специфика фольклора» (1946), которая тотчас по своем выходе была подвергнута разносной критике. Отмечу в этой статье прежде всего одно существенное дополнение к типологии отношении фольклора и этнографической действительности: так называемые гибридные соединения, которыми, по словам автора, наполнен фольклор и которые создаются «путем переноса нового на старое» (крылатые кони, летучие корабли; сюжеты вроде «Царя Эдипа»)[30]. Многое из высказанного в этой статье следовало бы включить в методологический кодекс фольклористики, если бы таковой существовал. О художественной природе устной словесности здесь говорится: «Фольклор, в особенности на ранних ступенях своего развития, — не бытописание <...>. Действительность в нем передается не прямо, а сквозь призму известного мышления, и это мышление настолько отличается от нашего, что многие явления фольклора бывает очень трудно сопоставить с чем бы то ни было. <...> В фольклоре поступают так, а не иначе, не потому что так было в действительности, а потому, что это так представлялось по законам первобытного мышления».

«Следовательно, это мышление и вся система первобытного мировоззрения должны быть изучены. Иначе ни композиция, ни сюжеты, ни отдельные мотивы не смогут быть поняты, или мы рискуем впасть либо в своего рода наивный реализм, либо будем воспринимать явления фольклора как гротеск, вольную игру необузданной фантазии»[31]. Это положение относится напрямую не только к древнейшим состояниям фольклора, но сохраняет свою актуальность для любого времени. В. Я. Пропп оставил нам в качестве рабочей чрезвычайно продуктивную идею, согласно которой «дальнейшая жизнь и изменяемость» фольклорных жанров, сюжетов, мотивов представляет собой процесс трансформации, так или иначе восходящий к этнографическим истокам. В устных высказываниях Владимир Яковлевич не раз повторял, что фольклористу необходимо обладать «чу-

---

[29] *Пропп В. Я.* Исторические корни... С. 27–32.
[30] *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность... С. 28–29.
[31] Там же. С. 26–27.

тьем на архаику» — это для него столь же обязательно, как абсолютный слух для музыканта.

При всем том В. Я. Пропп требовал соблюдения строгих методических правил в работе над этнографическим материалом: привлечение этнографических данных будет «интересно и плодотворно только тогда, если приводится во всю ширь материала с проникновением в мельчайшие детали как фольклора, так и этнографических материалов»[32].

В. Я. Проппа с полным основанием можно считать (вместе с В. М. Жирмунским) одним из основоположников современного сравнительно-типологического метода в фольклористике и одним из самых последовательных представителей историко-типологической теории. Начиная с первой книги и вплоть до последних статей он исходил из убеждения, что «всемирное сходство», с которым мы сталкиваемся при изучении фольклора, «указывает на закономерность» и представляет собой «только частный случай исторической закономерности»[33]. К этому следует добавить его приверженность идее стадиальности фольклорного творчества. Современные структуралисты считают В. Я. Проппа одним из своих предшественников. Это справедливо с одним существенным уточнением: для В. Я. Проппа выявление жанровой структуры рассматривалось как необходимое (в ряде случаев обязательное) условие генетических и исторических исследований и как предпосылка их успеха. Сам по себе синхронный анализ был для ученого лишь этапом, вслед за которым (а иногда и одновременно с которым) должен был проводиться анализ диахронный. В современной отечественной фольклористике идея связи и даже единства двух подходов, двух методов нашла своих сторонников и последователей[34].

С точки зрения эффективности историко-типологического подхода к фольклору специального внимания заслуживает монография о былинах[35]. Не побоюсь сказать, что по выходе своем она совершила буквально переворот в сложившихся представлениях о русском эпосе. В. Я. Пропп принципиально по-иному ввел былины в контекст мировой эпической традиции. Работая одновременно (параллельно) с В. М. Жирмунским, он пришел к сходным заключениям о типологии эпического творчества в межнациональных масштабах. Кое в чем два выдающихся ученых расходились, но их объединяло открытие общих закономерностей, не связанных ни с генетическими истоками, ни с миграцией сюжетов. Русские былины как исторически обусловленный этап в истории эпического творчества народов В. Я. Пропп исследовал на основе типологического сравнения с архаическим (по его терминологии, «догосударственным») эпосом народов Сибири и Крайнего Севера. Такое сравнение позволило ученому вскрыть в бы-

---

[32] *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность... С. 26.

[33] Там же. С. 22.

[34] См. об этом: *Мелетинский Е. М.* Структурная типология и фольклор // Контекст. 1973: Литературно-теоретические исследования. М., 1974.

[35] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. Л., 1955; изд. 2-е, испр. М., 1958.

линах сложный пласт архаики, объяснить его существование и его характер и, главное, прочитать былинные сюжеты, разгадать многочисленные загадки в них, объяснить специфику былинных героев, раскрыть особенности былинной поэтики, наконец, понять природу былинного историзма. «Догосударственный» эпос для В. Я. Проппа предстал в качестве той эпической традиции, которая некогда в аналогичных формах реально существовала как древнерусский (или древнеславянский) эпос, но которая была поглощена новым эпосом, оставила в нем множество следов, дала этому новому эпосу жизнь. Такова суть открытия, совершенного В. Я. Проппом в его книге. Позднейшие исследования и критика внесли в ее концепцию некоторые уточнения и поправки. Так, было показано, что эпическое творчество ранних исторических эпох более дифференцировано по своей типологии, чем это представлялось В. Я. Проппу. Очевидно, В. Я. Пропп несколько прямолинейно охарактеризовал первобытный эпос как направленный «против рода», «за семью», недооценив значительную долю идеализации родовых отношении в нем[36]. Добавлю к этому, что в книге В. Я. Проппа на первый план выдвинулся момент «отрицания» русским эпосом мифологии как идеологической основы родового строя, хотя и материалы самой книги, и последующие исследования показали присутствие в былинах значительного мифологического слоя и различных видов творческой трансформации мифологических мотивов и представлений.

Сегодняшнему читателю может показаться несколько странным и мало оправданным стремление автора теоретически опереться на высказывания Белинского о былинах и на его понимание их сущности. Все так. Но не будем забывать о времени, когда писалась эта книга: В. Я. Пропп приступил к ней в самый разгар борьбы против космополитизма, в обстановке почти шовинистического распространения идеи превосходства и самобытности всего русского; еще у всех были свежи в памяти публичные разборы «ошибок» ученого. И в это-то время В. Я. Пропп разворачивает свои сравнительные исследования, сюжет за сюжетом, в которых если и присутствует «русская идея», то совсем не в том духе, как это хотелось бы тогдашним ведущим идеологам. Книгу В. Я. Проппа спасло от судьбы «Исторических корней...» лишь время. Ее выход совпал с усилиями советских ученых по «реабилитации» эпических памятников народов СССР, а затем — по развертыванию их издания, изучения, нового осмысления. И труд о былинах влился в это движение, во многом способствуя его высокому научному уровню, новым теоретическим поискам, распространению и развитию принципов и приемов сравнительно-типологического подхода.

В отечественной фольклористике, не только российской, но и стран СНГ, сложилась школа Проппа. Прошли уже времена, когда в противовес догматической критике сторонники и последователи ученого готовы были защищать все им сказанное и написанное. На смену этому пришло углубленное, спокой-

[36] *Мелетинский Е. М.* Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963. С. 17–18.

ное освоение и осмысление его наследия: развитие в разных направлениях его идей, творческое применение его методов, продолжение его подчас вскользь брошенных соображений. Если говорить о школе Проппа в прямом смысле, я бы назвал имена Ю. И. Юдина, А. А. Горелова, В. И. Ереминой, А. Н. Мартыновой, А. Ф. Некрыловой, Л. М. Ивлевой, Н. А. Криничной, К. Е. Кореповой, М. П. Чередниковой (разумеется, добавил бы и свое). Все эти ученые — разные по роду интересов, по подходам, по тематике своих работ и т. д., но имя Проппа их объединяет. <...> Я думаю, не ошибусь особенно, если скажу, что в формировании у нас и настоящем расцвете этнолингвистического направления в фольклористике (особенно в сфере изучения обрядности и обрядового фольклора) в 70–90-е годы немалую роль сыграло наследие В. Я. Проппа. Наше эпосоведение, вышедшее на мировой уровень не только серией первоклассных трудов по эпосу народов Европы, Азии, Африки, Океании, но и разработкой вопросов общей теории устного эпоса и сравнительного его изучения, обязано в первую очередь основополагающим идеям и концепциям В. М. Жирмунского и В. Я. Проппа (добавим еще ради справедливости Е. М. Мелетинского).

Для развития идей В. Я. Проппа в отношении сказок сделано, кажется, не столь много, однако работы по дальнейшему углублению в сказочную структуру, творческое использование этих же идей в изучении сказок других народов, в монографическом исследовании других сказочных жанров свидетельствуют о том, что наследие ученого в этой области далеко еще не исчерпано.

Не менее значимо и живо понимание природы, специфики фольклора как феномена традиционной культуры, оставленное нам В. Я. Проппом. В новых общественных условиях, когда мы во многом освободились от власти догматов и стереотипов и можем взглянуть на фольклор без социологических и иных шор, отказаться от ограничения его рамками «искусства слова», глубина и размах подходов ученого, его тонкое понимание специфики, его взгляды на отношения фольклора с лежащей вне его реальностью оказываются чрезвычайно актуальными и продуктивными для нас.

«В. Я. Пропп в мировой науке» — тема для особого разговора. Мы знаем, и то не в полном объеме, о многочисленных переводах его книг на разные языки, об откликах на некоторые его работы, о несомненном влиянии на мировое сказковедение его «Морфологии...». Но насколько понят Пропп за рубежом и в какой мере можно говорить о его влиянии в фольклористике разных стран, судить пока трудно.



В. Я. Пропп. 1920-е гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 271)



В. Я. Пропп с сыном Михаилом. 1940 г.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 271)

Е. О. Путилова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Я. ПРОППЕ



Где-то в году 1933–1934 мой старший брат Борис Костелянец, ныне театровед и литературовед, тогда студент филологического факультета Ленинградского университета, спросил у другого брата, Семена Костелянца (он погиб в первый год Великой Отечественной воины), поступившего на философский факультет, какие занятия на их факультете самые интересные. В ответ он услышал: «По немецкому языку». Борис был озадачен этим ответом и через некоторое время, когда они вместе возвращались домой, повторил свои вопрос. И опять услышал: «Занятия по немецкому языку, их ведет Владимир Яковлевич Пропп». Имя и фамилия преподавателя ничего не сказали студенту филфака.

Эту байку брат рассказал мне в шестидесятые годы, когда он уже хорошо знал, кто такой В. Я. Пропп, и слышал, что он бывает у нас.

Незадолго до смерти Владимира Яковлевича у него в гостях я рассказала эту давнюю историю. Он заинтересовался, немного подумал, а потом спросил, не могу ли я назвать кого-нибудь еще из той группы. Я вспомнила имя Виктора Штофа, и Владимир Яковлевич сразу оживился и даже засмеялся: «Как же, я вспомнил. Это была удивительная, необычайно сильная группа. И мы на наших занятиях немецкого языка стали читать в подлинниках немецких философов. Естественно, не просто читали, но и разбирали, думали, спорили». Еще раз с удовольствием засмеялся и добавил: «Пожалуй, в словах вашего брата — а я и его вспомнил, большой спорщик был — заключалась некоторая истина: вряд ли на других специальных занятиях студенты этой группы получали для себя такую философию».

Как-то Владимир Яковлевич стал вспоминать о жизни в маленькой полуподвальной квартире на улице Марата. Он сказал совершенно серьезно: самые счастливые часы там были, когда по домашнему расписанию он получал, наконец, право на письменный стол. Оказывается, возможность

работать за единственным письменным столом была расписана между ним и женой Елизаветой Яковлевной, преподававшей английский язык в университете. С большим уважением он говорил о занятиях жены, о безусловном ее праве на определенные часы, но вместе с тем он вспоминал о нескрываемом нетерпении, какое испытывал в ожидании своего места за столом, с тем, чтобы погрузиться в работу.

Было хорошо известно, что Владимир Яковлевич страстно любит музыку и сам по-настоящему хорошо играет на рояле. На наши просьбы что-нибудь сыграть нам обычно отвечал отказом: давно уже всерьез не играл, а просто так сесть за инструмент не может.

Так случилось, что Владимир Яковлевич несколько раз слушал нашу дочь Полину, занимавшуюся тогда в училище при консерватории. Однажды они долго обсуждали какие-то нюансы в тридцать первой сонате Бетховена, и разговор его с шестнадцатилетней девочкой шел как бы на равных: Полина пользовалась его особым расположением.

И вдруг он узнал, что она поступила не в консерваторию, а в театральный институт. Владимир Яковлевич не просто огорчился, но явно рассердился. Мои объяснения, что при подготовке программы для консерватории дефекты ее руки, уже и на уровне училища ограничивавшие ее репертуар, обнаружились еще сильнее и что эти дефекты... — были напрасны.

«Нет и нет, — сердито отмахивался он. — Я слышал у нее тридцать первую сонату Бетховена, она ее играла как музыкант, и никакая рука ей не помешала».

Сердился он, конечно, не на Полину (девушка в 17 лет не всегда понимает, что делает), а на нас: как мы могли позволить променять *музыку* на какую-то модную фитюльку, какой обвально увлекаются все девочки!

И. П. Лупанова

УЧИТЕЛЬ И ДРУГ



29 апреля исполняется 100 лет со дня рождения прославленного ученого Владимира Яковлевича Проппа.

Впервые я увидела его в 1940 году, студенткой первого курса Ленинградского университета. Профессор М. К. Азадовский, читавший курс русского фольклора, устроил для нас встречу с одним из еще уцелевших к тому времени «носителей народного творчества» (кажется, это был сказитель Рябинин-Андреев, последний в знаменитом роду Рябининых). Наряду со студентами были приглашены некоторые ленинградские ученые-фольклористы.

Среди них мне сразу бросился в глаза седой человек с красивым и очень интеллигентным лицом. Он сидел в сторонке от «именитых гостей» и во взгляде его была какая-то отрешенность: казалось, что он совершенно выключен из атмосферы всеобщего оживления, царившей в аудитории. После окончания «мероприятия» я спросила Марка Константиновича, который стал к тому времени моим научным руководителем, кто этот незнакомец. Он ответил, что это профессор Владимир Яковлевич Пропп и что он работает на кафедре этнографии. Помолчав, он добавил: «Очень талантливый человек. И очень невезучий».

Что понимал под «невезучестью» мой мэтр, оставалось для меня неясным лишь до тех пор, пока я не проштудировала вузовский учебник. В нем Пропп был назван представителем «формалистического направления, несовместимого с принципами и методами марксизма-ленинизма». В качестве примера «формализма» приводилась изданная в 1928 году книга «Морфология сказки».

Тогда, изучая учебник, я, конечно, не могла знать, какие реальные события стояли за этой характеристикой. Ни о том, что автор книги был изгнан из Пушкинского Дома, ни о том, что на протяжении многих лет единственной работой, которую рискнуло ему доверить университетское началь-

ство, было... преподавание немецкого языка! Все это станет мне известно много позже. Но и сейчас не представляло особого труда догадаться, что «противостояние идеям марксизма-ленинизма» не могло пройти даром. Что касалось самой заклейменной книги, то мое знакомство с ней состоялось два года спустя.

Шел третий год Великой Отечественной. После уймы мытарств я добралась, наконец, до своего родного университета, эвакуированного в Саратов. К тому времени я окончательно определилась в отношении моей будущей специальности. Оба военных года я переписывалась с М. К. Азадовским, жившим в эвакуации в Иркутске. И теперь, в Саратове, стала, с его благословения, посещать фольклорный семинар, который вел В. Я. Пропп.

А семинар оказался посвящен изучению... «Морфологии сказки»! Да-да, той самой книги, что сыграла столь роковую роль в судьбе ее автора! Впечатление от знакомства с ней было *оглушительное.* К этому времени я уже была достаточно начитана в области сказковедческой литературы, но здесь передо мной была книга-*открытие.* Я не могла тогда знать, что «Морфология сказки» на три десятка лет опередила свое время. Что придет пора, и она будет переведена на все европейские языки, а мировая филологическая наука назовет Проппа «отцом русского структурализма». Ничего этого нельзя было предвидеть. Но то, что передо мной труд не просто талантливого, но (не побоюсь этого слова) гениального ученого, я поняла сразу. Она поражала глубиной мысли, неожиданностью заложенной в ней идеи, воплощенной в изящную форму, доказанной безупречными логическими построениями. И при этом она была удивительно «доходчива», понятна для читателя. (Впоследствии, когда советская наука взяла на вооружение методы структурного анализа, приходилось читать немало работ, где было не продраться через частокол терминологических изысков, а продравшись, взгляд упирался в пустоту, в банальность. «Морфология сказки» при всей сложности ее содержания была «доступна», как были «доступны» все последующие книги Проппа.)

Вспоминая теперь наши саратовские штудии, я спрашиваю себя: что двигало Проппом, когда он выносил на аспирантский семинар обсуждение своего «крамольного» труда? Ведь в те нелепые и страшноватые времена в этой акции был безусловный риск. Видимо, он сознательно шел на него. Потому что был уверен в своей научной правоте. Потому что, не имея возможности пробить стену неприятия советской филологической науки, он пытался донести дорогие ему мысли до молодых умов нового поколения...

Итак, мы изучали «Морфологию сказки». Она была в единственном экземпляре в Публичной библиотеке Саратова. Мы переписали ее от руки. Это был ее «второй тираж».

В ту саратовскую пору я общалась с Проппом только в университетских стенах и только в процессе наших семинарских занятий. Да и там старалась, как нынче выражаются, «не высовываться». И не только и не столько потому, что будучи студенткой-второкурсницей стеснялась аспи-

рантского окружения. Основной причиной была совершенно несвойственная мне робость, которую я ощущала перед руководителем. Несомненно, некоторую роль играла здесь разница между привычной для меня доброжелательной открытостью Азадовского и холодноватой замкнутостью Проппа. Но главное было в другом: в осознании пропасти, которая лежит между моим заурядным интеллектом и могучим дарованием этого человека. Я никогда не страдала «комплексом неполноценности», но тут... Я буквально боялась открыть рот, чтоб не сморозить какую-нибудь глупость. Я просто изнемогала под бременем заторможенности и косноязычия. Даже положительный отзыв Проппа на выполненную мной (по собственной инициативе) небольшую работу о сказке не избавил меня от чувства собственной несостоятельности. Казалось, меня просто пожалели. (Позднее-то я на собственной шкуре убедилась, как умеет «жалеть» этот человек, если дело касается науки! Но об этом — потом.)

Весной 1944 года нашему ректору А. А. Вознесенскому (позднее погибшему в подвалах Лубянки) удалось вывезти университет в родные края. Вскоре возвратился из эвакуации М. К. Азадовский, и я снова стала его ученицей. Владимира Яковлевича я не встречала — этнографическое отделение размещалось в другом здании. Я даже не знала, что его работа в Саратове могла оказаться последней в жизни: перед самым нашим отъездом «власти» вдруг вспомнили, что Пропп — из обрусевших немцев. Этого оказалось достаточно, чтобы отобрать у него паспорт, и только решительное вмешательство Вознесенского уберегло его от ареста.

Наша новая встреча произошла через три года после нашего возвращения в Ленинград. Я оканчивала университет. Впереди была защита дипломной работы. Тему я придумала сама, и звучала она для той поры несколько вызывающе: «Русский народный анекдот». Поскольку Марк Константинович был уверен (и вполне обоснованно), что в такой огласовке работа не будет утверждена Ученым советом, мы прибегли к камуфляжу. Дипломная получила название «Сказка-анекдот в русском фольклоре». Парадокс заключался в том, что весь смысл работы состоял именно в доказательстве совершенно самостоятельной жанровой природы анекдота, имеющего к сказке весьма косвенное отношение. Камуфляж обусловливал некоторые дополнительные трудности при защите. Можно представить себе мое состояние, когда я узнала, что оппонировать мне вызвался... Пропп!

Я плохо помню свою кандидатскую защиту. И даже докторскую. Но эту, первую в моей жизни, помню во всех деталях. Вступительная фраза Проппа звучала так: «Работа превосходная (последовала пауза, во время которой я успела расплыться в широкой счастливой улыбке)... Но ни с одним ее положением я не согласен». Думаю, не только я — весь наш актовый зал окаменел. Такого в этих стенах еще не слыхали. Если работа признавалась оппонентом удачной, то дальше, как правило, следовали разные «частные замечания», которые «в общей оценке ничего не меняли». А тут!

Говорят, отчаяние придает силы. Выйдя из полуобморочного состояния, я боролась за свою жизнь в науке с энергией утопающего. На традиционный вопрос председателя госкомиссии: «Удовлетворены ли вы ответом?» — Пропп ответил: «Хоть и не убедила, но защищалась отлично». Лишь много позднее я поняла, какой высокой чести я тогда удостоилась, ведь у Проппа, занимавшегося в то время проблемой комического в фольклоре, была *своя* концепция анекдота. И он нашел возможным спорить со мной, студенткой, «на равных»!

Следующая встреча произошла при обстоятельствах весьма печальных. В конце сороковых страну потрясли очередные репрессии — на этот раз «процессы космополитов». В эту мясорубку попал и М. К. Азадовский. Наряду со многими другими учеными он был вышвырнут из университета. На некоторое время мы оказались «бесхозными». Однако начальству нужно было что-то делать: кафедра фольклора была уничтожена, но фольклористы-то остались! И дипломники, и аспиранты. И вот тогда где-то там, «в верхах», вспомнили об опальном «немце». Правда, за последнее время он опять успел подмочить репутацию, издав книгу «Исторические корни волшебной сказки», в которой, по мнению ретивых рецензентов, «протаскивались религиозные идеи». Однако на фоне губительной «космополитической заразы» это уже не выглядело слишком серьезной опасностью.

Короче, осенью пятидесятого года Владимир Яковлевич пришел в нашу аспирантскую группу в качестве руководителя. Пятидесятый год был последним, заключительным годом моей аспирантуры. Но вступала я в него, не имея в заначке ничего, кроме названия диссертационной темы. Первый год, как водится, ушел на сдачу «минимумов», половину второго съели всевозможные «общественные поручения», а дальше наступили названные выше события, отнявшие у меня любимого учителя и совершенно выбившие меня из колеи. И сейчас на вопрос нового руководителя: «Что у меня сделано по теме?» — я могла ответить только красноречивым молчанием. Реакция последовала незамедлительно: «Через месяц принесете первую главу или расстанемся».

Я знала, что это — не пустые слова. Слухом земля полнится, и нам было известно, что Пропп — единственный из руководителей, способный запросто «уволить» аспиранта, даже добравшегося до третьего курса. (Однажды в будущем он расскажет мне с возмущением об одной своей аспирантке, которая в ответ на его упрек в недостаточном усердии сказала, что работает по восемь часов в сутки. «Представляете, — негодовал Владимир Яковлевич, — всего по восемь! Я ей сказал, что нужно работать по шестнадцать!»)

Надо сказать, что в это время, после всего, что случилось, я не очень-то дорожила своим аспирантским статусом. Но сейчас на меня смотрели требовательные глаза человека, перед которым я не переставала ощущать «священный трепет». И так вдруг захотелось доказать, что «и мы не лыком шиты!» Словом, я прочно засела в Публичку (так фамильярно именовали мы тогда Государственную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина) и че-

рез месяц явилась с черновиком первой главы. Владимир Яковлевич тут же, при мне, пролистал ее, и впервые за все годы знакомства я увидела, как он улыбается...

Я закончила диссертацию в срок. Помогла и жесткая требовательность нового руководителя, и, что главное, — его собственный пример великого подвижника, свидетельствующий, что как бы ни пытались всякие бездари и конъюнктурщики загнать в угол настоящую науку — она жива, и служить ей — дело чести.

Владимир Яковлевич редко хвалил меня, равно как и моих товарищей по аспирантуре. Его истинное отношение ко мне я поняла только в день защиты кандидатской диссертации. Он не присутствовал на ней, был болен. Но вернувшись в свою «общагу», я нашла на столе телеграмму: «Поздравляю блестящей защитой. Пропп». Телеграмма была отправлена в час, когда защита только что началась, и было совершенно неизвестно, окажется она «блестящей» или провальной (кстати, последний вариант вовсе не исключался: мы оба знали, что реакция знакомившихся с диссертацией фольклористов отнюдь не однозначна). Но он-то, оказывается, не сомневался! Это было для меня счастливым открытием. И «открытие» самого Проппа, уже не как ученого, а как человека, началось именно с этого дня.

Я уехала работать в Петрозаводск, но довольно часто наведывалась в город моей студенческой и аспирантской юности. Каждый раз по приезде я прежде всего отправлялась на улицу Марата, где в крохотной полуподвальной квартирке ютилась семья моего учителя. Квартирка была переоборудована из бывшей «швейцарской», перегороженной книжными полками на три отсека: кабинет, комнату сына и общую, служившую и гостиной, и спальней, и кухней. В «кабинете», кроме книг, помещалось только пианино (на котором Владимир Яковлевич играл мне иногда своего любимого Баха).

Но мне было очень уютно в этом закуточке. Здесь мы беседовали обо всем на свете — о книгах, о концертах, об общих знакомых и, конечно, о наших фольклористических делах. Я была в курсе всех его «задумок», и он, в свою очередь, не только постоянно интересовался моими научными занятиями, но и с удивительным терпением читал все, что я писала.

Когда я впервые попала в это тесное жилище, меня поразило ощущение не то чтобы бедности, но, во всяком случае, малообеспеченности его хозяев. Мне казалось, что на профессорскую зарплату можно было бы жить побогаче. Только много позднее, от жены Владимира Яковлевича, ставшей уже вдовой, я узнала, что «профессорская зарплата» шла не только на семью, но и на помощь двум дочерям от первого брака, и на содержание больной сестры, и на воспитание племянника. Гонорары? Но в пору, о которой идет речь, его книги выходили в издательстве Ленинградского университета, не платившего авторам ни копейки. Но, как кажется, Владимир Яковлевич не страдал от убогости быта: наука заменяла ему все, кроме родственных и дружеских связей.



В. Я. Пропп. 1930-е гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 269)

В наше время слово «бессребреник» звучит разве что в каком-нибудь ироническом контексте. Но именно оно было когда-то одним из определяющих понятия «интеллигент». Таким вот бессребреником запомнился мне и профессор Пропп. Не то чтобы ему было вообще наплевать на деньги, — просто они в его жизни никогда не становились целью. Характерно, что начав писать очередную книгу и в более поздние и более благополучные для него годы, он очень редко заключал предварительный договор с издательством: «Напишу, а там будет видно».

За десять лет до своей кончины он, наконец, получил настоящую квартиру. Четырехкомнатный дворец, где у него был кабинет, в котором можно было работать без аккомпанемента стучащих за самодельной «стеной» вилок-ложек. Сюда я приезжала уже не просто «повидаться», но и «пожить». Здесь можно было принимать не только друзей, но и учеников и даже иноземных гостей. Они валили сюда толпами — не только фольклористы, но и все те, кому оказывалась нужна консультация по какому-либо фольклорному вопросу, возникшему в процессе работы над русской, советской или еще не знаю какой литературой. Он был открыт сейчас для общения, он уже мог позволить себе выйти из той замкнутости, на которую обрекли его долгие годы гонений. Теперь в его дверь стучалась *мировая слава*. Его крамольная «Морфология сказки» уже печаталась в Европе. Ее французское издание он успел подержать в руках накануне смерти...

Вот уже двадцать пять лет как нет этого замечательного ученого, чья судьба повторила судьбы столь многих достойных людей нашей многострадальной России. Он оставил после себя книги, всегда открывающие читателю что-то удивительно новое в, казалось бы, давно изученном вдоль и поперек фольклорном материале — будь это сказки, или былины, или лирические песни, или календарная поэзия, или еще и еще что-нибудь. Они стоят на моем стеллаже, эти книги, с неизменным автографом: «От старого друга». А еще у меня есть его письма. Много, целые связки, — ведь мы переписывались два десятка лет. В письмах он совсем не тот суровый, замкнутый, до беспощадности требовательный ученый, каким представлялся мне в студенческие и аспирантские годы. В письмах он добрый, внимательный, откликающийся на все мои радости и горести *друг*.

...В свое время, когда вдова Владимира Яковлевича, с которой нас тоже связывала большая дружба, отдавала его архив в Пушкинский Дом, я не захотела расставаться с письмами. Придет время — я оставлю их своим ученикам. Они знают Проппа-ученого, пусть познакомятся с Проппом-человеком.

Н. А. Криничная

НАШ ДОЛГИЙ СЕМИНАР



Войдем в здание филфака на Университетской набережной и поднимемся на второй этаж. Пройдя до конца налево, спустимся по лестнице вниз. Длинный узкий коридор тянется вдоль множества маленьких аудиторий. Они похожи друг на друга: с двумя рядами простых дощатых столов и стульев, с учительским столом во главе и даже со школьной доской на стене. Эти помещения так и назывались — «школа». Если войти и сесть, как бывало, в одну из аудиторий в среду, с семи до девяти вечера, комната озарится волшебным светом воспоминаний. Вновь раздадутся здесь наши молодые голоса, и прозвучит голос нашего Учителя. И, как прежде, окажемся во власти того особого ощущения, которое охватывало нас всякий раз, когда здесь шла общая сосредоточенная работа мысли, объединяющей учеников с Учителем. Семинар профессора Владимира Яковлевича Проппа. Школа будущих фольклористов.

Ранее, в самом первом семестре нашей студенческой жизни, мы слушали его курс лекций по русскому фольклору. Вспоминается начало октября 1956 года (в сентябре мы были «на картошке»). В аудиторию, где собрались будущие филологи разных профилей, а тогда еще вчерашние абитуриенты, вошел профессор. Невысокий, плотный. С убеленной сединами головой, с такими же усами и бородой. Строгий, сдержанный взгляд карих глаз. Студентов он держал на расстоянии. Рабочая обстановка диктовала стиль поведения. Одевался скромно, строго, можно сказать, однообразно. Обычно на нем был костюм сероватого цвета. Одежда не отвлекала внимания от его личности, хода мысли Учителя. Одна деталь бросалась в глаза: полевая сумка вместо портфеля. Походка Владимира Яковлевича для его возраста была несколько тяжеловатой. (Лишь впоследствии, наткнувшись на публикации отзывов о его книге «Исторические корни волшебной сказки», мы поняли, какой груз несправедливостей лег на плечи нашего Учителя. Сам он никогда ни на что не жаловался.)

В его взгляде, жестах, манере говорить чувствовалась личность цельная и значительная. Каждое слово, произнесенное В. Я. Проппом, получало свое истинное значение. Со временем мы имели возможность убедиться: сказанное Учителем *всегда* соответствовало его мыслям и поступкам. Цитируемое же им фольклорное слово приобретало ранее неведомый, сокрытый для нас глубинный смысл.

Основу курса, который читал В. Я. Пропп, составляли его исследования. В свою очередь, чтение лекций оказывало влияние на стиль написанных им книг. Отсюда краткость, прозрачность фразы, синонимичность наиболее важных положений. Стройность композиции. Сюжетное изложение концепции — вплоть до пролога, завязки, кульминации и развязки с возможным эпилогом. Приглашение читателя к совместному с автором размышлению, стремление ввести в свою лабораторию, раскрыть ход собственной мысли, систему фактов и доказательств, найти в своем читателе единомышленника или достойного оппонента. Вместе с тем, читая курс лекций по русскому фольклору, В. Я. Пропп знакомил нас и с научными достижениями своих коллег, предшественников и современников.

Наш Учитель восхищался энциклопедическими познаниями А. Н. Веселовского: «У подъезда библиотеки можно было видеть карету, доверху груженную книгами. Это академик А. Н. Веселовский сдавал взятые для очередной работы книги». Краткий штрих, а масштаб личности дан. Да так, что всю жизнь помнится.

Народное поэтическое творчество, возникшее, подобно языку, и нашедшее свое выражение в различных жанрах и жанровых разновидностях, представало перед нами исполненным глубоко философского, нравственного и эстетического смысла. Каждое фольклорное произведение было вызвано к жизни определенными общественно-историческими и эстетическими запросами. Прочесть его можно лишь на основе раскрытия всего фольклорного замысла, сообразуясь с присущими то или иной эпохе особенностями сознания...

Жаль, что В. Я. Пропп не оставил учебника по фольклору. А такая мечта у него была... Когда же вышел учебник В. И. Чичерова, Владимир Яковлевич сообщил нам об этом и рекомендовал приобрести.

Экзамены Учитель принимал строго, но, как бы выходя за рамки экзаменационного этикета, не оставлял без внимания ответ, за который он ставил «отлично»: «Вот все бы так отвечали!» И, видимо, заметив уж очень безоглядно счастливое выражение лица у того, кто удостоился его похвалы, добавлял: «И студент доволен, и преподаватель доволен». Причем «студент» могло относиться и к девушке.

К третьему курсу, когда у нас уже была возможность достаточно осознанно определиться в своих интересах, происходила более узкая специализация. Тогда среди своих сверстников мы обнаружили стайки пушкинистов и лермонтоведов, знатоков древнерусской и литературы XVIII века, языковедов всех профилей и пр., и пр.

А мы — навсегда — пошли за Владимиром Яковлевичем Проппом...

В нашем семинаре обычно занималось не более полутора десятков человек. В те годы его участниками были Ю. Юдин, М. Чередникова, ставшие профессиональными фольклористами, да еще те, кто волею судеб нашел иную стезю филологической деятельности: Ю. Серов, П. Дунец, И. Концевая, В. Воронов и другие. Занятия постоянно посещал и И. Земцовский. Окончив к тому времени филфак, он учился в консерватории, не порывая связей с семинаром.

Среди нас незримо присутствовали и А. Горелов, К. Сергеева (Корепова), А. Подгорная (Мартынова). Они учились до нас. Но Владимир Яковлевич их часто вспоминал, и мы их знали задолго до того, как впервые увидели. А позднее, закончив университет, и сами заглядывали в наш семинар. Занятия шли, как и прежде, в среду, все в те же часы. Ничто не менялось в ритме фольклористической школы. Теперь в ней учились А. Некрылова, Л. Ивлева... В числе участников семинара были и зарубежные студенты. А подчас и преподаватели других вузов страны проходили здесь стажировку.

Так или иначе у В. Я. Проппа занимались те, кто любил фольклор, кто хотел и умел работать. Случайные же люди, заметив холодно-сдержанное выражение лица руководителя, как-то сами собой исчезали. Тем более, что на филфаке всегда можно было отыскать заветный уголок, где желающим получить зачет по курсовой, не прилагая особых усилий, жилось вольготно. Обычно в такого рода пристанище собиралась многочисленная публика, весьма разношерстная: начиная с истинных приверженцев предмета и кончая откровенными лентяями. Справедливости ради надо сказать, что и таким семинаром руководил яркий, маститый ученый. Но, будучи от природы человеком мягким, добросердечным, — а это мгновенно чуяли студенты всех поколений, — он не мог не приветить очередного беглеца. Да и в самом деле, куда же бедолаге было податься!

Нет, В. Я. Пропп был не таков. Не случайно позднее, когда он стал заведующим кафедрой, преподаватели (не студенты!), имея в виду строгость нрава и немецкое происхождение В. Я. Проппа, назвали его в шутку «железным канцлером». Наверно, это сказано слишком сильно. Но что правда, то правда — наш Учитель любил порядок.

Организационно работа семинара распадалась на два периода. Им предшествовал своего рода пролог. Прежде всего определялись темы курсовых работ. Тема выбиралась обязательно с учетом пожелания студента, которое, как правило, ограничивалось предпочтением того или иного жанра в качестве объекта исследования. Наш руководитель уточнял тему, называя конкретный сюжет (например, сказка «Золушка»; духовный стих «Сорок калик со каликою»; ямщицкая песня «Степь Моздокская» и т. д.), совокупность сюжетов (например, солдатские песни) или жанровую разновидность (например, кумулятивные сказки; величальные свадебные песни) и т. д. Разумеется, были и другие темы. Но преобладали именно те,

которые требовали непосредственного анализа самого фольклорного текста. Причем обычно оказывалось, что как раз по этой теме нет (или почти нет) никакой литературы, а та, которая имелась, давалась нам самим руководителем. «Литературу вопроса Вы уже читаете — это хорошо, но не поддавайтесь мнениям < ... >, а думайте сами», — напишет мне впоследствии, когда я уже училась в аспирантуре, Владимир Яковлевич.

С первых же дней учебы в семинаре закладывались и основы методики изучения фольклорных текстов. Устно-поэтическое произведение, учил В. Я. Пропп, живет в традиции во множестве вариантов, и потому фольклорный замысел может быть раскрыт лишь с учетом *всех* имеющихся вариантов. Сопоставлять же варианты фольклорного произведения нужно по «звеньям», учитывая, однако, при этом, что в различных текстах эти «звенья» могут иметь свои особенности, отличия, а некоторые из них могут и вовсе выпадать. Картина должна быть реальной. Владимир Яковлевич учил нас выделять версии в развитии сюжета и систематизировать факты, накопленные при анализе текстов. «Есть обоснованная классификация, есть и работа; нет таковой, нет и самой работы», — объяснял Учитель.

Мы кинулись в библиотеки, в университетскую и Публичную на Фонтанке. Листали старинные и недавно вышедшие книги. Выписывали многочисленные варианты своего сюжета. С жаром клеили бумажные простыни. На каждой из них красовались варианты того или иного «звена». Вновь хватались за ножницы, группируя эти варианты, создавая классификацию, вытекающую из самого материала, уточняя ее и сомневаясь, и вновь дерзали. Что-то как будто вырисовывалось, смутно угадывалось. Не хватало навыков, опыта. Требовалась консультация. Получить ее было совсем просто.

Учитель ждал нас каждую пятницу, и тоже с семи до девяти вечера, у себя дома, на улице Марата, в своем рабочем кабинете, если только можно было так назвать этот закуток без окна (а ведь здесь он писал свои книги). В эти часы можно было приходить без всякой предварительной договоренности. Телефонное средство общения между Учителем и учениками начисто исключалось. Придя, мы могли застать у Владимира Яковлевича специалистов самых разных профилей которые, вместе с хозяином дома искали общие закономерности в различных, подчас далеких друг от друга сферах исследования и уходили удовлетворенными. Бывали здесь и фольклористы, нередко приезжие. Владимир Яковлевич обязательно представлял нас своим гостям. И вот, наконец, мы излагаем наши вопросы... Профессор брал с полки нужные книги. Он удивительно легко ориентировался в своей большой библиотеке. Могла ли я тогда подумать, что она со временем попадет в библиотеку нашего Карельского научного центра РАН, и мы уже здесь встретимся с книгами, хранящими следы мысли Владимира Яковлевича, его пометки. Учитель объяснял одно, уточнял другое. Подсказывал, советовал. Исподволь наводил нас на мысль. «А вот в этом я вас не поддерживаю, — вдруг говорил он. — Но продолжайте, посмотрим, что получится». Иное мнение, каким бы незрелым оно ни было, Учитель уважал.

Если же кто-то из нас подолгу не приходил со своими вопросами, В. Я. Пропп с горечью сокрушался: «Ведь у меня есть такие студенты, которые и на консультации по новой теме еще не бывали».

Когда же выяснялось, что виновник этой горечи сумел справиться с поставленной задачей самостоятельно, Владимир Яковлевич искренне радовался.

Значительно забегая вперед, скажу, что и в дальнейшем, уже расставшись со студенческой скамьей, мы приходили к Владимиру Яковлевичу за советом в делах научных и житейских, а то и просто так — навестить.

По приезде в Ленинград звонили (вот только теперь звонили) нашему Учителю. Поздоровавшись и назвавшись, слышали по-пропповски радостное «Что вы говорите! И когда же вы ко мне придете?» И мчались уже не на ул. Марата, а на Московский пр., № 197, где у Владимира Яковлевича была новая, на этот раз профессорская квартира.

И вот мы в его кабинете. «Рассказывайте», — мягко говорил он. Наш В. Я. Пропп умел слушать и умел понять. Он никогда не пользовался приемами умолчания или многозначительной улыбки, заменяющей невысказанное. Нет, и здесь он был верен себе: что-то уточнял, что-то дополнительно расспрашивал и давал оценку тому или иному факту.

Затем жена В. Я. Проппа, Елизавета Яковлевна Антипова, приглашала нас на ужин. За большим столом собиралась вся семья: Владимир Яковлевич, Елизавета Яковлевна, ее сестра Анастасия Яковлевна, невестка Луиза и внук Андрей. Сына же, Михаила Владимировича (или, как его звали домашние, Мишу), здесь видели редко. Молодой биолог постоянно бывал в экспедициях, погружаясь в глубины морей и океанов, отправлялся к берегам Антарктиды. Домашний уют создавала Елизавета Яковлевна, тихая, женственная, добрая. Вспоминая годы, прожитые совместно с Владимиром Яковлевичем, она говорила: «Бывало трудно, но всегда было интересно». Преподавательница английского языка на филфаке, она совмещала работу с домашними заботами. В этом ей помогала Анастасия Яковлевна, общительная, добрейшая женщина, в которой и сквозь прожитые годы угадывалась гимназистка. В этом доме все было просто, духовно, в хорошем смысле чуть старомодно. Воспоминания о нем до сих пор несут в себе свет и тепло.

Но вернемся в студенческие годы.

После подготовительного периода начиналась череда наших предварительных докладов. В них излагался развернутый план работы, обосновывались задачи исследования, определялись общие очертания их решения.

Когда докладчик умолкал, Учитель предоставлял слово слушателям, вызывая нас в той очередности, в которой мы сидели за столами: «товарищ Юдин»..., «товарищ Чередникова»..., «товарищ Серов»... и т. д. Такое обращение не воспринималось нами как казенно-бюрократическое. В нашем сознании оно приравнивалось к слову «коллега», утверждая деловой настрой и равную сопричастность каждого из нас к предмету обсуждения. По

правде говоря, мы и сами называли за глаза своего Учителя по фамилии. Для нас «Пропп» звучало как знак-символ: коротко, весомо, значительно. Профессор выслушивал каждого очень внимательно и по-своему оценивал наши высказывания. Одних он всячески поддерживал, других деликатно корректировал, поправлял. Шел процесс обучения — и оставлять без внимания неверное суждение было нельзя. В заключение В. Я. Пропп давал оценку прослушанному докладу, находя в каждом конкретном случае особые слова, озадачивая молодого, начинающего исследователя новыми загадками, которые тому в процессе дальнейшей работы над своей темой предстояло разгадать. Так или иначе Учитель исподволь заражал нас азартом поисков и находок, радостью творчества. Он раскрывал перед учениками красоту самого предмета исследования. «Смотрите, — говорил он, — народ изображает жизнь не такой, какую он видит, а такой, какой бы хотел видеть». И далее: «Увидеть мир столь прекрасным может лишь тот, кто сам этой красотой обладает...»

Учитель готовился (и об этом он сам как-то говорил) к каждому занятию. Так что внешняя простота сценария нашего семинара достигалась большим научным и житейским опытом его режиссера, ценой напряженной работы мысли ученого и педагога.

А между тем вскоре после Нового года начиналась самая страда — новая череда докладов. Теперь на семинаре заслушивались от начала до конца и обсуждались уже готовые курсовые работы. Сценарий этих семинаров был примерно таким же, как и предыдущих. Но день, когда каждый из нас поочередно держал экзамен перед своими товарищами и Учителем, оставался в памяти как волнующий, торжественный, преисполненный значения. Начало заседания было обычным. Мы поднялись, приветствуя вошедшего Учителя. Он сел, назвал докладчика, тему работы. Очередной автор занял место перед собравшейся аудиторией. И долго в полной тишине царил только его голос. Темы были разные. И в каждой из них нам предстояло сориентироваться, дать объективную оценку докладу. Наши познания о фольклоре расширялись, углублялись. Когда автор умолкал, наступал черед каждого из слушателей. Теперь мы рассматривали работу будто бы изнутри, *как* она сделана. Наряду с конкретными выражениями одобрения, замечаний в адрес докладчика могли раздаваться почти афоризмы: «По-женски бережное отношение к текстам и мужской ум». В таких случаях улыбка загоралась в глазах Учителя. Улыбались его брови и даже усы. И, радуясь нашим первым успехам, он говорил: «Я счастлив». Быть может, в происходящем он видел более глубокий смысл, чем тот, который видели мы?

Учитель чутьем определял будущих исследователей. Как выяснилось потом, уже из писем, характерными чертами таковых он считал способности и работоспособность, а также хватку, темперамент, интерес. А пока все, кто получал оценку «отлично», должны были оформить свою курсовую по всем правилам. (В то время не только курсовые, но и дипломные сочинения сдавались в рукописном виде.) В. Я. Пропп внимательно читал руко-

писи, продолжая работать с авторами, высказывая дополнительные суждения как по сути самого исследования, так и по его оформлению. Остальные же получали зачет на основе устного выступления.

В качестве докладчика, мыслившего себя одним из участников семинара, выступал и сам Учитель. Только это был не один доклад, а серия их, точнее сказать, спецкурс, который он читал в течение всего года и который был спаренным с семинаром. В нашу бытность мы были первыми, кто вслед за автором вошел в мир «Русских аграрных праздников». Вслушиваясь в спокойный, размеренный голос нашего Учителя, мы входили в его лабораторию: следили за ходом его мысли, системой аргументации, наблюдали, как из анализа материала вырисовывается концепция. В произносимых им периодах был свой ритм, своя мелодия. Она и теперь звучит в ушах, когда мы открываем книги нашего «старого учителя и друга». (Именно этими словами Владимир Яковлевич подписал мне впоследствии свою переизданную, написанную им совсем молодым «Морфологию сказки».)

Учитель старался как бы раздвинуть рамки нашего семинара, расширить круг наших познаний. В 1958/59 учебном году, по его приглашению, нам прочитал спецкурс по исторической песне Б. Н. Путилов. Позднее В. Я. Пропп водил нас в Пушкинский Дом (ИРЛИ) в те дни, когда там читали фольклористические доклады. Так, например, мы слушали доклад В. Е. Гусева о термине и понятии «фольклор». Кроме того, Владимир Яковлевич направлял нас на консультацию к различным специалистам, особенно по вопросам, связанным с нашими темами, но выходящим за пределы собственно фольклористических проблем. Он всегда интересовался результатами этих консультаций.

Шло время. В середине 60-х годов Учитель читал спецкурс по сказке.

В июне 1969 года В. Я. Пропп напишет: «Я фольклором уже не занимаюсь. Читал спецкурс по проблеме комического и написал книгу. Теперь занимаюсь древнерусским искусством. Сейчас в нашем Русском музее большая выставка изумительных икон из Петрозаводского музея».

И вспомнилось мне, как три года назад, 19 июня 1966 года, Владимир Яковлевич приехал по нашему приглашению в Петрозаводск и в тот же день проследовал с нами в Кижи. Мой муж, Виктор Иванович Пулькин, работал в то время в музее-заповеднике. И мы поселили нашего гостя в здании административного корпуса, расположенном прямо на территории музея. Его комната находилась на втором этаже левой части корпуса. Интерьер ее был очень скромным, зато окна выходили прямо на Онежское озеро. Были теплые, солнечные дни. Владимир Яковлевич вставал рано. И пока я, признаюсь, еще неопытной рукой готовила завтрак, он гулял по территории музея иногда один, иногда в сопровождение Виктора Ивановича. В последнем случае можно было открыть любой дом, амбар, часовню, церковь. И даже подняться на колокольню, несмотря на строгое напутствие Елизаветы Яковлевны не злоупотреблять излишним движением.

В эти часы, пока не нахлынут с пристани полчища туристов, можно без спешки рассмотреть любую вещь в интерьере крестьянской избы, постоять у иконостаса Преображенской, Покровской церквей. Наш гость много фотографировал.

Позавтракав, Владимир Яковлевич садился писать письма своим домашним и ученикам. Перед обедом он вновь гулял. Заметив, что я неподалеку от музея собираю щавель для нашего немудрящего обеда, принимался мне помогать.

Владимир Яковлевич охотно беседовал с кижскими стариками, особенно с Михаилом Кузьмичем Мышевым, ныне ставшим уже легендарным бригадиром плотников-реставраторов, руками которых был воплощен замысел создания музея деревянного зодчества. Фольклорист-ученый встретился здесь с носителем фольклорных, на этот раз выраженных пластическими средствами, традиций. Впоследствии В. Я. Пропп напишет: «В этих северных домах, в пропорциях, есть что-то такое, что затрагивает и волнует. Я понимаю Витю, который посвящает себя этому искусству».

После обеда мы нередко отправлялись на близлежащие острова. Там ютились маленькие, вписавшиеся в обрамление седых елей часовенки. Они стояли там изначально, по замыслу зодчих, умевших видеть поэзию пространства и дополнять родные дали рукотворной красотой. Возвращаясь на кижский остров, Владимир Яковлевич вместе с нами давал волю воображению, представляя себе шестисотлетнюю церковку Воскресения Лазаря, перевезенную из былого Муромского монастыря, что ныне восстанавливается на былинной пудожской земле, в родном для нее ландшафте, или нарядную заонежскую часовенку, некогда стоявшую в рябинах, среди синего льняного поля.

Озеро, издавна слывшее у заонежан «синим морюшком, страховитым, гневливым», иногда показывало свой нрав и в те июньские дни. Лодка наша, казалось мне, была ненадежна, а мальчишка за рулем — легкомысленным. И я в тревоге за Владимира Яковлевича пыталась отговорить его от поездки: «Времени еще достаточно!» Но даже на мое откровенное заявление «Я боюсь!» мой старый Учитель отвечал только доброй улыбкой. Владимир Яковлевич был фаталист — и наше суденышко вновь отчаливало от кижского приплеска, держа курс за манящий окоем, к новым красотам «Исландии русского эпоса».

Мы не угомонились и вернувшись в Петрозаводск. Теперь объектом наших устремлений стала величавая церковь Успения Божьей Матери в недальнем городе Кондопоге (XVIII в.). Это, как известно, лучший шатровый храм Русского Севера. Мастерами деревянного зодчества, архитектурного фольклора были носители устно-поэтичеекой традиции.

В тот год Владимир Яковлевич был выдвинут на соискание звания академика Академии наук СССР. Итоги конкурса Учитель предвидел: «Я не пройду; другие претенденты ведут большую общественную работу». И действительно, в то время данное обстоятельство сыграло свою роль. К слову

сказать, Владимир Яковлевич никогда не был членом партии. Наш Учитель был начисто лишен суетности, тщеславия. Своей мировой известности он просто не замечал. О выходе своих книг на разных языках если когда и упоминал, то как о чем-то будничном.

«В мире так много зла. Как с ним бороться? — Спрашивала я». «Бороться со всем злом невозможно, — предостерегал меня Учитель. — Но в каждом конкретном случае поставить негодяя на свое место можно и нужно». Сам В. Я. Пропп делал это решительно и безоглядно. Об этом знали все. В принципиальных вопросах он был суров.

Но знали и то, как щедро он мог делиться своими знаниями, идеями, временем и душевными силами. Щедро и бескорыстно, не рассчитывая на слово благодарности. Он приучил нас воспринимать его заботу как должное, само собой разумеющееся, как данность. И если кто-то из нас проявлял к Учителю хоть чуточку внимания, это находило в его душе радостную признательность, несоизмеримую с тем, что было для него сделано.

Так и на этот раз. Вернувшись в Ленинград, Владимир Яковлевич написал: «У меня нет слов, чтобы выразить Вам всю ту благодарность, какую я чувствую и переживаю», «Вы меня несказанно обрадовали, можно сказать — осчастливили. Спасибо Вам! Книгу (только что изданный тогда один из первых путеводителей по “Кижам”. — *Н. К.)* я прочел сразу, теперь буду ее изучать по-настоящему. Несмотря на популярную форму, в ней много нужных и интересных сведений», — напишет мне Учитель позднее, 10 ноября 1968 года.

Шло время. Владимир Яковлевич занимался изучением сюжета иконы «Чудо Георгия о змие». Мы мечтали о совместной поездке по древнерусским городам. Владимир Яковлевич писал, что с нами он отважится предпринять такое путешествие. Как вдруг: «Дорогая Нила! Спасибо за письмо, которое меня очень обрадовало. Сейчас я очень болен: инфаркт, лежу пластом неподвижно. Если будете в Ленинграде, навестите меня, предварительно узнав, где я. Сейчас я на даче. Ехать так...» Далее подробное описание как добраться до улицы Кленовой, в пос. Репино, где каждое лето Владимир Яковлевич снимал комнату. (Своей дачи у него никогда не было. Но зато В. Я. Пропп выбрал красивейший уголок под Ленинградом.) Письмо датировано 16 июня 1970 года...

Я приехала, привезла подарок — фотографии икон на сюжет о св. Георгии-змееборце, хранящихся в наших музеях. Владимир Яковлевич был в больнице. Дело шло на поправку. Со спокойной душой уехала в экспедицию — в Каргополье. По возвращении достала из почтового ящика открытку и письмо от Владимира Яковлевича, несказанно обрадовавшись весточкам. В открытке, датированной 2 августа 1970 года, он писал: «Дорогая Нила! Я на даче, вернулся из больницы, но нахожусь дома на больничном положении. Как только приду в себя, напишу Вам обстоятельное письмо. Это будет дней через 7–10. А пока спешу поблагодарить Вас за все, что Вы для меня сделали. Когда я смогу взяться за Ваши материалы, это для меня

будет вроде вступления в райские сады! Блаженство! Ваш В. Пропп». И письмо. Оно написано не через 7–10 дней, а гораздо раньше, через три. И действительно обстоятельное. Привожу его полностью:

«Дорогая Нила! Мне несколько лучше, я могу сесть к столу, позволяют сидеть часа два. Работать еще нельзя (и не могу), и не скоро еще это будет возможно.

Ваши материалы меня истинно осчастливили. Сейчас они составляют содержание моей жизни. Сколько трудов положено на их фотографирование, проявление, снятие копий, на списывание аннотаций! Сейчас я медленно их разглядываю и изучаю в хронологическом порядке их создания. Сделаны они в двух экземплярах — как раз то, что мне нужно. У меня для работы две папки копий: в одной фотографии наклеены на паспарту и вложена каждая в обложку из писчей бумаги: на этой бумаге пишутся все данные об иконе: хронология, место создания, мой анализ, изложение литературы вопроса. Я храню эти папки в хронологическом порядке писания икон. В другой папке те же репродукции лежат в том же порядке, но без всяких аннотаций для быстрого разглядывания и сравнения.

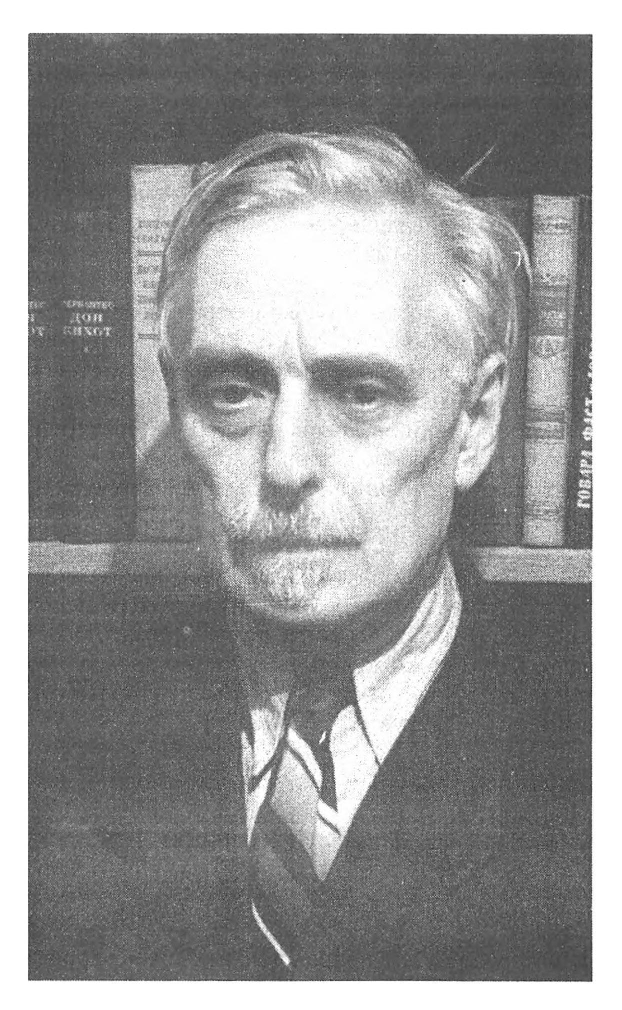
Если бы Вы знали, какая беспомощность царит у нас в изучении икон! Трудятся усердно и добросовестно, но неумело, не знают, что об иконе сказать. Изучают такими же методами, какими изучается живопись XVIII–XX вв. Каждая икона изучается отдельно как изолированное произведение великого художника. А я переношу на изучение икон методы изучения фольклора. Прежде всего надо собрать *весь* материал, далее надо установить хронологию, типы и варианты, а потом уже делать выводы. Если же Вы посмотрите наши большие сводные истории искусств, то увидите там главы: Киев, Новгород, Суздаль, Москва и т. д., а *истории* древнерусской живописи нет по сегодняшний день.

Но сюжет Георгия-змееборца интересен и важен еще другим: он есть в духовных стихах и житиях, он есть в России и в Византии, а доистория его уходит в глубь веков. Духовные стихи у меня уже почти изучены. Без них понять иконы невозможно. По русским житиям у меня собраны кое-какие тексты, по византийским пока еще собрано мало (мешает незнание новогреческого языка). Как видите, работы еще много. Хватит ли жизни — не знаю, но ведь этого не знает никто. Болезнь выбила меня из колеи, но тут уж ничего не поделаешь.

Вот, дорогая Нила, теперь Вы знаете, как и в чем Вы мне помогли! Ваши материалы, между прочим, подтвердили и укрепили мою теорию эволюции типов.

На одной фотографии вышло Ваше лицо. Это было мне интересно!

В Русском музее в Ленинграде меня до фондов не допустили (директор — властолюбивая, но туповатая женщина). Но я после выздоровления все же надеюсь проникнуть туда.



В. Я. Пропп. Начало 1940-х гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 269)

Перечитываю Ваши письма. Передайте мой привет Вите. Желаю успеха его "Вепсским напевам".

После болезни это мое первое письмо. Не посетуйте на некоторую бессвязность. Елизавета Яковлевна передает Вам сердечный привет. Всего Вам самого наилучшего! Ваш В. Пропп. Дата: 6.VIII.70 г.».

В руках у меня все еще трепетали письма. От них исходило человеческое тепло, в них пульсировала мысль... И в этот момент узнала: меня третий день ждет телеграмма со скорбной вестью. Выехала в Ленинград без всякой надежды успеть проститься. И успела...

Перечитываю письма Учителя. Вновь убеждаюсь: расставаясь со студенческими годами, мы оставались в его семинаре и в его душе. Вот выдержки из писем В. Я. Проппа разных лет:

«Мысль, что надо заняться не только фольклором (речь идет об исторических песнях начала XVII столетия. — *Н. К.)* и историей изучаемого периода, но и литературой, несомненно правильна. В частности, сопоставление песен о Скопине-Шуйском и повести о нем может дать много интересного <...>. Сопоставление с древнерусской литературой хорошо, но *сперва* нужно изучить только фольклор, безотносительно к литературе, и только после того, как будет написан раздел о фольклоре, можно будет обратиться и к литературе».

«Но есть в Вашем плане и нечто совсем неосуществимое. Вы пишете: на этот год (т. е. аспирантский год, с 1 по 1 декабря) намечено подготовить одну статью к печати. Этого я Вам никак не советую, это так скоро не выйдет, да и не надо. Печатать можно только совсем зрелое, продуманное и отработанное. Раньше третьего или, может быть, второго курса думать о печатании, по-моему, не следует».

«Общественная нагрузка у Вас слишком большая. Вам надо иметь *одну* нагрузку, а то Вы попадете в число таких, на которых без зазрения совести сваливают решительно все. Для работы это плохо».

«Учение требует *всего* человека».

«Для сбора материалов Вам непременно надо будет приехать в Ленинград».

«Если бы Вам удалось вырваться и поработать здесь спокойно, как было бы хорошо!»

«В Ленинград приезжайте, поработайте тут подольше, материалов Вы тут найдете много».

«Я немного вдумался в Вашу жизнь и нашел, что у Вас следующие нагрузки: 1. Малыш (персонально). 2. Дом. 3. Работа. 4. Диссертация. Каждой из этих нагрузок достаточно, чтобы заполнить жизнь. А значит, Вы живете сверхполной жизнью, и это лучше, чем размеренное спокойствие и безмятежное благополучие».

«Несказанно обрадовался Вашему письму. Много месяцев не знал о Вас ничего, но вспоминал часто. На расстоянии чуял, что Вы разрывались между младенцем, службой и диссертацией».

«Теперь у меня единственная на Вас надежда, что Вы проявите максимальную оперативность, чтобы защита состоялась в срок».

«За обстоятельное и хорошее письмо Вам сердечное спасибо».

«О себе писать нечего — все то же. Лучше мне уже не будет. Можно жить и так и даже что-то делать».

«О себе писать почти нечего, моя жизнь вошла в колею, из которой, надеюсь, она не скоро еще выйдет».

«Ваша новая тема (имеются в виду предания. — *Н. К.*) мне *очень* понравилась. Никто этим по-настоящему не занимался. Она связана с историей, причем не только с внешней, политической, но с *внутренней* историей народа. Историю надо знать хорошо в деталях, а Вы к этому имеете вкус. Я очень счастлив за Вас».

«Словом, жизнь определилась, Вы нашли свой путь, и я Вам желаю успеха».

Н. А. Бутинов
М. С. Бутинова

ОН ЖИВЕТ В НАШЕЙ ПАМЯТИ



Нам выпало большое счастье иметь прекрасных учителей. Среди них Владимир Яковлевич Пропп занимал особое место.

Мы близко познакомились с ним в эвакуации в Саратове (1942–1944), где находился Ленинградский университет. Преподаватели и студенты жили в гостинице «Россия». В маленькой комнате на третьем этаже Владимир Яковлевич помещался вчетвером: с женой Елизаветой Яковлевной, сестрой жены Анастасией Яковлевной и маленьким сыном Мишей (ему было годика три). Мы жили на том же этаже: эвакуация уравняла преподавателей и студентов в быту.

Мы были студентами 4–5 курса и слушали лекции Владимира Яковлевича по фольклору, тогда уже оценили их содержательность и глубину.

На филфаке действовал теоретический семинар, организованный тогдашним деканом Александром Павловичем Рифтиным. На семинаре выступали с докладами на равных с профессорами аспиранты и даже студенты. Пропп был активным участником семинара, и это была для нас прекрасная школа научных дискуссий, корректных, доказательных...

В 1943 г. нас приняли в аспирантуру, и Владимир Яковлевич стал нашим руководителем. Возможно, самому Владимиру Яковлевичу интересно было руководить аспирантами-этнографами: ведь он изучал фольклор в тесной связи с этнографией и в это время работал над «Историческими корнями волшебной сказки». Впоследствии, когда книга вышла, мы увидели, как много ценного она вносит в понимание различных сторон обряда инициации, других институтов общинно-родового строя, как важна она тем, что охватывает материалы этнографии самых разных народов, в том числе Австралии и Океании, которыми мы как раз занимались.

Став нашим научным руководителем, Владимир Яковлевич установил определенный режим работы. Каждую неделю мы должны были приходить к нему (если память нам не изменяет, по вторникам) и сообщать, что

каждый из нас сделал за прошедшую неделю: что написано, что прочитано, какие новые мысли появились. Написанное, конечно, зачитывалось и обсуждалось, тут же давались советы, делались замечания. Один из нас отчитывался перед Владимиром Яковлевичем, другой вел беседу с Мишей. При этом на лице Владимира Яковлевича неизменно была добрая, немного лукавая улыбка. Он как бы подбодрял нас: дескать, все будет отлично. После наших отчетов Владимир Яковлевич сам рассказывал, что за прошедшую неделю прочитал, какие материалы собрал, а если что-то успел написать, то читал нам.

О такой школе можно было только мечтать. Обязательные еженедельные отчеты приучали нас к непрерывной систематической работе. Мы не могли и представить, что скажем Владимир Яковлевич, если за неделю сделано мало или не сделано ничего. Разумеется, он вменил нам в обязанность (сделав это, впрочем, предельно тактично) посещать теоретический семинар, выступать с докладами и участвовать в дискуссиях.

В конце мая 1944 г. университет вернулся в Ленинград. Теперь мы ходили к Владимиру Яковлевичу с отчетами на улицу Марата, где он жил. Войдя на лестничную площадку на первом этаже дома, надо было спуститься вниз на несколько ступеней. Комнаты в полуподвале были небольшие, весьма скромно обставленные. Кабинет был совсем крошечный, единственное окно в нем упиралось в стену. Владимир Яковлевич всегда работал при электрическом свете.

После собеседования нас обычно приглашали за стол, угощали чаем. Время было тяжелое, жили еще на продовольственные карточки; мы, конечно, отказывались, но гостеприимные хозяева так настаивали, что уйти было невозможно. За столом продолжались разговоры о науке, об университетских делах. Елизавета Яковлевна принимала активное участие в этих беседах: она также работала на факультете, преподавала английский язык.

Здесь, может быть, к месту назвать темы наших диссертаций, которыми руководил Владимир Яковлевич: у Марии Сидоровны — «Учение Тэйлора о пережитках», у Николая Александровича — «Учение Фр. Гребнера» (обе были успешно защищены).

Окончив аспирантуру в 1945 году, мы продолжали посещать Владимира Яковлевича, теперь уже на правах друзей и коллег. Беседы велись, как и раньше, в основном на этнографические темы, его по-прежнему интересовало все, что мы делаем в науке, чем занимаемся, и он всегда готов был нам помочь.

Однажды (было это в 1946 г.) мы явились к нему с приятной новостью: его «Исторические корни...» вышли в свет, книга поступила в продажу, и мы ее приобрели. К нашему удивлению, он огорчился покупкой и тут же взял с нас слово, что книг его мы покупать не будем, так как он будет их нам дарить.

Вскоре для Владимира Яковлевича наступили тяжелые времена: его научные труды беспощадно шельмовали. В числе ругавших и шельмовав-

14 Зак. 3360

ших, к его глубокому огорчению, были и некоторые его бывшие ученики. Владимир Яковлевич не отвечал на критику — да ее всерьез и не было, ответить было не на что; была ругань, на которую он не считал нужным както реагировать. Что было в это время в его душе? Когда бы мы ни пришли к нему (а приходили мы часто), он, как всегда, сидел за письменным столом, работая теперь уже над книгой «Русский героический эпос». Нас поражали его мужество и стойкость: какими духовными силами надо было обладать, чтобы продолжать так упорно работать под градом незаслуженных обвинений. Может быть, ему в это трудное время помогали своим примером образы русских богатырей? Владимир Яковлевич писал об Илье Муромце: «Основная черта Ильи — беззаветная, не знающая пределов любовь к родине. Этим определяются и все его остальные качества. У него нет никакой “личной” жизни вне того служения, которому он посвятил себя... Он всегда стар, изображается седым, с развевающейся по ветру белой бородой. Но старость не может сломить его могучей духовной и физической силы». Владимир Яковлевич тоже проявил героизм, выдержал все испытания и вышел победителем.

Вышедшую в 1955 году книгу о русском эпосе Владимир Яковлевич подарил нам с трогательной надписью: «Дорогим Коле и Мусе от старого друга-автора». Коле в это время был 41 год, Мусе — 35 лет, но дружба знает только один возраст — свой собственный.

Вскоре Владимир Яковлевич с семьей переехал на новую квартиру, которая была много просторней и удобней. Но стало труднее ездить из Московского района в университет.

Мы продолжали ходить и в новый дом. Владимир Яковлевич работал над книгой «Русские аграрные праздники», и по выходе ее мы снова получили экземпляр с надписью: «Дорогим и милым Бутиновым». Она для нас была особенно ценна, поскольку это было историко-этнографическое исследование, выводившее календарные праздники из земледельческой хозяйственной деятельности и раскрывавшее особые отношения обрядности с реальной действительностью.

...Владимир Яковлевич никогда никому ни на что не жаловался. Он, как всегда, продолжал работать, уже зная, что времени у него осталось не так много. В последние годы его мучила тяжелая болезнь, но он, преодолевая сильные боли, сидел за письменным столом и писал. Когда мы приходили к нему, он иногда не сразу выходил из кабинета, и Елизавета Яковлевна успевала шепотом рассказать о том, как пошатнулось его здоровье: он часами сидит в кабинете, работает, потом встает, начинает ходить (дверь закрыта, но шаги слышны) и повторяет про себя (слова тоже слышны): «Ой, как мне худо! Ой, как мне худо!» Но вот он выходит к нам, и на лице его все та же добрая, немного лукавая улыбка: дескать, не беспокойтесь, все в порядке, все будет хорошо.

Владимир Яковлевич продолжает жить в своих трудах, в трудах и в памяти своих учеников. В этом смысле, действительно, все в порядке.

А. Н. Мартынова

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ



Первое, светлое и радостное, запомнившееся навсегда впечатление от общения с Владимиром Яковлевичем Проппом получила я на экзамене по фольклору в зимнюю сессию 1952 года. Это была моя первая сессия и первый экзамен, и я очень волновалась.

В моем билете стоял вопрос «Исторические песни». И надо было такому случиться, что именно эту лекцию Владимира Яковлевича я пропустила. Но, изучив тексты песен и познакомившись с кое-какой литературой, я посчитала, что достаточно знаю эту тему. Поэтому свой ответ я бодро и уверенно начала фразой: «Исторические песни — историческая память народа». И сразу услышала: «А знаете, я не согласен с этим». В полном смятении я подняла глаза от своих листочков и посмотрела на экзаменатора. В его глазах была доброжелательность и, пожалуй, любопытство. Совсем растерявшись, я сказала: «Но я цитирую Чичерова...»

— А я с Чичеровым не согласен! — заявил Владимир Яковлевич.

— Но это даже и не Чичеров, он в своей статье приводит высказывание Алексея Толстого! — пыталась я опереться еще на один авторитет.

— А я и с Алексеем Толстым не согласен, — непреклонно стоял на своем экзаменатор, глядя на меня с веселыми искорками в глазах.

В полной панике я замолчала, а в голове билась лишь одна мысль: «Ну все, двойка». И снова слышу спокойный и доброжелательный голос Владимира Яковлевича: «А вы не волнуйтесь и подумайте!» И он стал что-то писать, не глядя на меня. О чем думать-то?!.. Я начала вспоминать тексты исторических песен и через несколько минут радостно вскричала: «Да, да, эти песни не являются исторической памятью!» Владимир Яковлевич быстро повернулся ко мне и живо спросил:

— А почему?

— А потому, — затараторила я, — что в исторических песнях нет полного, объективного отражения действительности. Часто в них изображается

то, чего не могло быть, но чего хотел народ. Пугачев действительно был арестован, но он не мог ударить Панина, как о том поется в песне, Разин не мог уплыть из тюрьмы в лодке, которую он нарисовал на стене...

— Прекрасно, — услышала я, — ставлю вам оценку «отлично».

Но это было не все. После завершения экзамена к Владимиру Яковлевичу обратилась «тройка» нашей группы (староста, профорг, комсорг) с просьбой дать оценку ответов студентов. И к нашему общему удивлению профессор особо отметил мой ответ, сказав: «Подумать только, девочка, почти школьница, в сложной экзаменационной обстановке сообразила то, что другие и в спокойной не могут».

Осенью 1954 года я была студенткой четвертого курса и второй год занималась в семинаре Владимира Яковлевича. Однажды я пришла к нему домой на консультацию. В то время В. Я. Пропп жил на улице Марата в тесной и темной квартире и в его крошечный кабинет нужно было проходить через кухню, которая одновременно служила прихожей и столовой.

Пришла я в то время, когда вся семья пила на кухне чай, и, снимая пальто, услышала, как Елизавета Яковлевна приветливо обратилась ко мне: «Тоня, садитесь с нами чай пить!» Обрадованная не столько возможностью выпить чаю, сколько оказаться за одним столом с учителем, я сказала: «С удовольствием, спасибо», — и сделала шаг к столу. И тут же услышала: «Нет-нет, рано ей со мной чай пить!» И Владимир Яковлевич решительно указал мне на дверь кабинета. Разочарованно плетясь туда, я услышала добродушный голос Владимира Яковлевича: «Вот поступит в аспирантуру, тогда и будет со мной чай пить».

Но накормили меня в доме учителя задолго до того, как я стала аспиранткой.

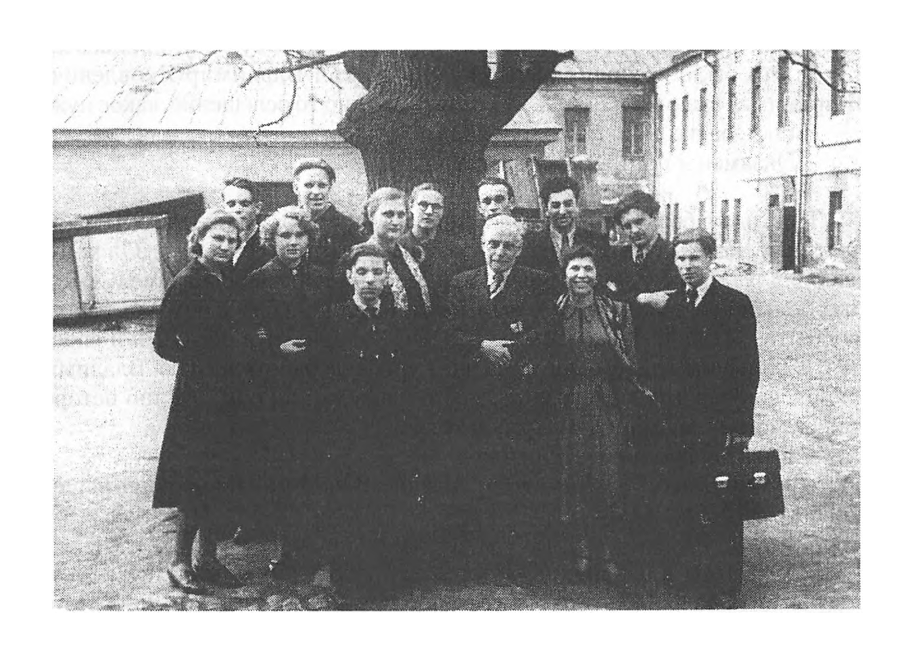
По окончании университета Владимир Яковлевич рекомендовал меня и Клару Сергееву в аспирантуру Пушкинского Дома, но в это время был издан совершенно дурацкий правительственный указ о необходимости иметь три года производственного стажа до поступления в аспирантуру; и вскоре в канцелярии ИРЛИ мне предложили забрать документы. Обливаясь слезами, я примчалась к Владимиру Яковлевичу и сидела на кухне, хлюпая носом, потому что потеряла платок. К тому же у меня сломалась оправа очков, и они все время падали. Я чувствовала себя несчастной.

Владимир Яковлевич пытался урезонить меня: «Тоня, вы так молоды, будете вы еще в аспирантуре». Но его слова только подливали масла в огонь. Владимир Яковлевич принес мне большой носовой платок, сказав с досадой: «Да уберите вы этот поток». Затем взял мои очки, принес нитки и перевязал оправу. Я продолжала всхлипывать. Тогда он вскричал:

— Елизавета Яковлевна, да накормите вы ее, она наверняка голодная. Что у нас на обед?

— Гречневая каша, — ответила Елизавета Яковлевна.

— Дайте же ей гречневую кашу!



В. Я. Пропп со студентами своего спецсеминара и аспирантами.
Двор ЛГУ
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 273)

— Я не ем гречневой каши, — зарыдала я.

— Вы будете ее есть, — убежденно сказал Владимир Яковлевич.

С тех пор я действительно охотно ее ем.

Однажды после консультации Владимир Яковлевич показал мне свой фотоальбом. Это были замечательные черно-белые снимки! Весенний лес с легкими тенями на снегу; луг, покрытый цветами; решетка Летнего сада в сверкающем на зимнем солнце инее...

— Как вам удалось поймать этот момент на пленку? — удивилась я.

— Это было во время экзамена, — ответил Владимир Яковлевич. — Я принимал экзамен и понял, что сейчас именно то освещение, какое нужно.

И он добавил немножко смущенно:

— Экзамен я принял очень быстро.

Три года я была старостой семинара Владимира Яковлевича и ни разу не видела, не слышала, чтобы он отчитывал, «ругал» студентов. Он хвалил, одобрял работы студентов, если было хоть малейшее основание. Семинар был большой и довольно сильный, но занимались в нем и не очень радивые студенты. Одна из студенток была очень ленива, хотя неглупая и способная. С большим трудом написала она курсовую работу и сдала Владимиру Яковлевичу. А через несколько дней я увидела, как она, обычно неторопливая, мчится по коридору факультета.

— Куда спешишь? — спросила я.

— В библиотеку, заниматься, знаешь, Владимир Яковлевич нашел в моей курсовой мысль!

В 1956 году я защищала дипломную работу. Это была первая в том году защита на факультете, и на нее пришло много пятикурсников. Моим оппонентом был М. О. Скрипиль. В своем выступлении он сказал, что дипломная работа — это проект научной работы. «Ну, как бы проект дома или моста, чертежи, которые должен защищать молодой инженер, — пояснил он. — Но вместо чертежей молодой инженер привез меня к прекрасно выстроенному дому или мосту. Дипломная работа студентки — хорошо выполненная научная работа», — заключил М. О. Скрипиль.

Как только объявили о результатах защиты, студенты толпой окружили кафедру, спеша с поздравлениями. Но вижу, решительно раздвинув всех, ко мне пробирается Владимир Яковлевич. Пожимая мне руку, он громко и строго спросил:

— Тоня, ведь вы не поверили Скрипилю, что ваш диплом — законченная научная работа?

Однажды Владимир Яковлевич сказал мне: «Я неправильно выбрал свою специальность. Мне следовало стать биологом. Я люблю все классифицировать и систематизировать. Думаю, в биологии я достиг бы больших

успехов». С горячностью, достойной лучшего применения, и с высоты своих 20 лет я бухнула: «Что вы говорите? Владимир Яковлевич, вы прекрасно прожили свою жизнь!» Помню веселое изумление в его глазах. Ему было в ту пору 58 лет.

В июне 1956 года я закончила университет, а в октябре должна была держать вступительные экзамены в аспирантуру ИРЛИ. Надо сказать, что жила я только на стипендию, никто мне не помогал, и мне нужны были какие-то средства, чтоб прожить 4 месяца до (как предполагалось) зачисления в аспирантуру. Но с оптимизмом, свойственным молодости, я решила, что буду репетировать абитуриентов и заработаю необходимые деньги. В начале июля я пришла к Владимиру Яковлевичу на консультацию, и он спросил меня, на что я буду жить, готовясь к вступительным экзаменам. Я изложила ему свой план, но он возразил, что план никуда не годится, потому что времени у меня мало, а экзамены серьезные. «Поэтому, — заключил он. — Вы должны взять деньги у меня. В долг. Отдадите с первого гонорара». Я отказалась со всем возможным для меня тактом. В конце июля во время другой консультации я снова услышала предложение взять деньги. И опять отказалась. Но в августе кончились мои уроки, жить стало совсем не на что. И во время очередной встречи с Владимиром Яковлевичем вновь услышала предложение принять от него помощь, подкрепленное фразой, которую я больше ни от кого не слышала и, уверена, не услышу: «Тоня, у меня много денег, и мне они не нужны». И Владимир Яковлевич достал конверт, в который было вложено 2000 рублей.

В 1960 году я поступила в аспирантуру ИРЛИ, и однажды осенью возникла необходимость поговорить с Владимиром Яковлевичем. Не рассчитав время, я пришла в университет не к концу его лекции для первокурсников, а к началу. И тут же решила — посижу, послушаю, вспомню первый курс. В аудитории я села в самом последнем ряду, в уголке.

Вошел Владимир Яковлевич, прошел на кафедру, открыл конспект, поднял голову, оглядел аудиторию, его взгляд остановился на мне... Он поманил меня пальчиком, я в некотором смущении направилась к нему, но он сошел с кафедры и направился из аудитории. Закрыв за нами дверь, он строго спросил: «Что вы тут делаете?». «Я пришла поговорить с вами, но поскольку не вовремя, то решила послушать лекцию», — объяснила я. «Нет, — сурово сказал Владимир Яковлевич, — эта лекция рассчитана на первокурсников, а аспирантам здесь делать нечего».

Б. Ф. Егоров

ЧТО ПОМНЮ О В. Я. ПРОППЕ



Я его не знал в студенческие годы: в университете учился заочно, русский фольклор, подготовив по учебнику Ю. М. Соколова, сдавал случайной преподавательнице. С университетскими фольклористами, коллегами Владимира Яковлевича, — М. К. Азадовским и И. М. Колесницкой — я познакомился позднее. А с ним на заре моей научной деятельности познакомила А. М. Астахова, руководительница моей диссертации «Н. А. Добролюбов и проблемы фольклористики». Мы искали оппонентов, сразу же нашли литературоведа, с которым шапочно я уже был знаком: Соломона Абрамовича Рейсера, тогда доцента, видного специалиста по Добролюбову — значит, нужен был еще профессор и фольклорист. На мое удивление, В. Я. Пропп безропотно и мгновенно согласился. Позднее я понял, в чем причина: Владимир Яковлевич исследовал различные аспекты бытования и изучения народных песен, и ему даже было интересно прочитать диссертацию о Добролюбове, который серьезно занимался этой областью.

Так мне удалось познакомиться с выдающимся фольклористом и замечательным человеком. К великой досаде, я не смог найти, готовя эту статью, экземпляра отзыва официального оппонента. Помню только, что в целом Владимир Яковлевич хвалил диссертацию, а главный упрек его сводился к разделу о «песенных» статьях Добролюбова: не раскрыто глубокое и перспективное содержание этих статей. Этот же упрек Владимир Яковлевич повторил потом в статье «Молодой Добролюбов об изучении народной песни» (опубликована в кафедральном сборнике «Русские революционные демократы. II». ЛГУ, 1957).

В самом деле, я лишь бегло коснулся этих статей, и упрек вполне справедлив; в своей будущей работе Владимир Яковлевич блестяще раскрыл значение добролюбовских статей о песнях.

Последующие почти 20 лет знакомства (защита была в 1952 г.) характеризуются постоянным вниманием ученого к молодому соратнику: он дарил мне *все* свои печатные статьи и книги. Он был типичнейшим предста-

вителем поколения наших учителей, цвета петербургской–ленинградской интеллигенции, поколения, которое и со студентами говорило как с равными, было внимательно, отзывчиво к младшим коллегам, совершенно не считаясь со своим, весьма дорогим, временем (дорогим, главным образом, потому, что советский профессор или доцент был невероятно перегружен учебной работой, свободных часов почти не было).

Когда кафедра русской литературы ЛГУ пригласила меня в 1962 г., а официальные круги филфака чуть ли не на дыбы встали и полгода мешали зачислению (я уже тогда выглядел в их глазах немарксистом и продавшим душу жидо-масонам), В. Я. Пропп был в числе шести профессоров кафедры во главе с заведующим И. П. Ереминым, пошедших делегацией к ректору А. Д. Александрову и проректору Г. В. Ефимову — в конце концов они добились моего зачисления, хотя и с великим трудом. И. П. Еремин через год умер от сердца; меня до сих пор гнетет мысль, что полугодовая история с зачислением тоже внесла вклад в расшатывание его здоровья.

Начались годы работы в родном как будто бы университете, на родном филфаке, увы, наполненном после войны, благодаря партийно-кадровой политике, обилием лиц, не имеющих отношения ни к настоящему вузовскому преподаванию, ни к настоящей науке, зато умеющих интриговать, доносить начальству, барабанить попугайные слова об идейном воспитании и партийности литературы, ненавидеть все творческое, живое, человеческое в коллегах и студентах. Слава Богу, кафедра русской литературы в целом оставалась нормальной и в научно-педагогическом, и в нравственном отношении, лишь два Николая Ивановича: Соколов и Тотубалин (собирательная кличка: «Николашки») — были внедрены высшими органами; они много попили крови и нервов подергали у коллег.

Владимиру Яковлевичу пришлось особенно трудно в первые месяцы после смерти И. П. Еремина в сентябре 1963 г., когда нам удалось настоять на назначении его заведующим кафедрой. Беспартийный, интеллигентный, большой нравственный авторитет на филфаке, всемирно известный ученый, конечно был абсолютно неприемлем для партийного руководства, но формально ни к чему нельзя было придраться, «своих» профессоров не оказалось — и факультетское начальство сквозь зубы согласилось на «и. о.». Почти весь 1963/64 учебный год Владимир Яковлевич стоял во главе кафедры. Мы любовно называли его «железным канцлером»: тогда еще у всех на слуху было это прозвание канцлера Аденауэра; при этом, конечно, играло роль и немецкое происхождение Владимира Яковлевича.

Пропп совсем не был железным. Но он был умным, осторожным: кафедру он вел тактично и даже виртуозно, ни разу не поступившись честностью и разумностью. Великое счастье, что в 1964–1965 годах я вел дневник, и из него можно черпать сведения об интересных эпизодах тогдашней напряженной жизни. Вот запись от 7 января 1964 г.:

«Заседание кафедры в ЛГУ. “Железный канцлер” В. Я. Пропп и сегодня показал себя с лучшей стороны. Сделал дотошный обзор научной дея-

тельности всех членов кафедры, вплоть до перечисления всех статей! Затем — вопрос о докторантах (вернее, это был первый вопрос). Владимир Яковлевич зачитал все заявления, оказывается, мое — пятое, после Соколова, Деркача, Крутиковой, Колесницкой. А одновременно можно отпускать на полгода и год лишь одного человека, так как нагрузка в это время падает на остальных членов кафедры. Вдруг просит слово В. А. Мануйлов: "Правильно ли мы делаем, обсуждая кандидатуры на кафедре, предварительно не обсудив их на партгруппе?" (Потом мне сказал Владимир Яковлевич, что он еще перед кафедрой подошел к Проппу и сказал, что партийные круги недовольны, что Егоров подал заявление, минуя партгруппу. Тряпичный Мануйлов! Круги эти нам известны — это Николашки! А он не только молча съел, вместо защиты меня, но еще и выступил на кафедре с косвенным обвинением!) хорошо ответил:

— А в постановлении Ученого совета ничего не говорится о предварительных обсуждениях на партгруппе. И разве у нас есть разногласия с партгруппой?

На это никто не смог возразить...»

А вот запись от 6 мая 1964 г.: «У нас на кафедре ЛГУ новая комиссия. Говорят, что по новому доносу Соколова в райком "о неблагополучном идейном состоянии кафедры". В райкоме, говорят, очень недовольны Проппом "за отрицание важности идейного руководства партии". Это опять же Соколов донес — и извращенно — результаты нашего осеннего бурного заседания партгруппы кафедры, где был и Пропп. Владимир Яковлевич сказал тогда: "Хорошо, что В. А. Мануйлов не согласился быть зав. каф., т. к. он по партийной линии был бы зависим от Соколова"».

Вот ведь как повернули его слова! Слава Богу, комиссию на нашей кафедре представлял тогда молодой преподаватель Герценского пединститута Н. Н. Скатов, он написал вполне благоприятный отзыв, райком на время успокоился... А в общем-то партийное руководство университета и филфака еле вытерпело эти несколько месяцев заведования Проппа и поспешило к осени 1964 г. заменить его В. Г. Базановым, начинавшим перед войной как работящий, творческий литературовед и фольклорист, а потом все более и более переходившим в стан «обагряющих руки в крови», участвовавшим в погромах космополитов в Карелии, рьяно проводившим «линию партии» — за это он заслужил руководящие посты в Петрозаводске, а с 1950-х годов — в Питере, в Пушкинском Доме, где он с 1955 г. стал зам. директора, а с 1965 г. — директором. Партийное начальство с удовольствием внедрило его в заведующие кафедрой русской литературы ЛГУ, параллельно с замдиректорством Пушкинского Дома — со «своим» стало легче!

К Владимиру Яковлевичу и вообще к когорте «старших», университетских профессоров Базанов относился с почтением, не смел их трогать, хотя жаждал втягивать их в свои замысловатые интриги, а когда не получалось — обижался, но, опять же, внешне держался благопристойно.

Последующий учебный год (1964/65) всем нам, в том числе и Владимиру Яковлевичу, пришлось жить «под Базановым». Может быть, это был еще не худший вариант: зав. лавировал, в погромах внешне не участвовал. А по отношению к Владимиру Яковлевичу даже проявил юбилейное внимание: весной 1965 г. весь филологический мир отмечал 70-летие ученого. Вот мои записи:

«26.IV. Торжественное заседание в ЛГУ в честь 70-летия В. Я. Проппа. Базанов попросил меня составить список выступающих с приветствиями. Я составил, но он все чудовищно перетасовал. Он вел собрание и путал отчаянно. В перерыв я сбежал из президиума — и вообще сбежал, как ни будут, наверное, меня ругать.

Народу — полон актовый зал, мильон приветствий, интересные подарки: литовцы — ленту через плечо на талию, очень красиво; карелы — адрес из карельской березы.

Интересно выступление Жирмунского: он считает, что все упреки Проппу за формализм "Морфологии сказки" относятся к нему, т. к. он продвигал книгу Проппа, но посоветовал убрать всю содержательно-историческую часть о сказке, т. к. это должно составить отдельную книгу; Пропп послушался — и вот результат! Рьяно (и справедливо!) доказывал, что Пропп никогда не был формалистом.

Берков, обстоятельно изложивший творческий пугь Проппа, выдал идею, что на "Морфологию сказки", возможно, повлияла книга Polti "Les 36 situations dramatiques". Чистый поклеп на старика!! Я тут же это высказал вслух, и Пропп подтвердил, что, действительно, никакого влияния...»

Прерву на минуту цитирование дневника. Книга Польти, вышедшая в Париже в 1895 г., конечно, может рассматриваться как отдаленная предтеча пропповских идей, но в целом это довольно шаткая, совсем не научная попытка выделить 36 ситуаций, которые якобы вбирают в себя всю сюжетику мировой драматургии; способы классификации — очень нечеткие, путаные, напоминают деление людей на толстых и лысых. Продолжу дневник.

«Плоткин трепался о том, как он в "некоем учреждении" впервые познакомился с Проппом — и вместе с Лебедевым-Полянским решили его привлечь (т. е. речь о Пушкинском Доме, из которого Плоткина выгнали в 1949 году — и он теперь о нем говорить не может!). Базанов перебил: "Нехорошо переманивать сотрудников". Плоткин на это: "Тогда были более либеральные порядки". Оказывается, Базанов обиделся — и в перерыве подошел: "Ты что же, считаешь, что я более деспотический руководитель??" Вот ведь как повернул!

28.IV. Вчера узнал, что утром, оказывается, было продолжение заседания в честь Проппа, т. к. вечером 26-го не успели... А вчера же, 27-го, вечером Пропп пригласил нас в ресторан "Москва" — собралось 55 человек! Не было Николашек и Базанова — приятно. < ... > На "многоуважаемый шкаф" Пропп иронически улыбался — и это скрадывало ложный пафос. Я сидел

вначале в чинном углу между Бурсовым и Деркачом, а потом двинулся на конец стола к молодым, которые меня бурно приветствовали — там мы устроили вольницу, орали студенческие песни, и ушли последними...»

Иногда, хотя и редко, Владимир Яковлевич приглашал коллег домой. Вот запись в дневнике от 5 декабря 1964 г.:

«Вечером — собрание кафедры в гостях у В. Я. Проппа (разумеется, без Базанова и Николашек; не было Бурсова — верно, не хочет из Комарово ехать; Дмитрия Евгеньевича и Мануйлова — их, верно, не позвали??). Приглашены также Еремины — и собрание как бы памяти Игоря Петровича и в назидание будущему: во что бы то ни стало сохранить дух кафедры. Даже Мак хорошо себя вел, хотя и болтал и размахивал руками. Владимир Яковлевич разорился не на одну сотню: наставил столько бутылок армянского коньяку и водки — что даже Маку хватило <...>.

Разговоры о защите докторской диссертации Серова (президента Ак[адемии] художеств). Защита в Академии художеств в Ленинграде. Студенты и аспиранты устроили обструкцию, а после (защита успешно, все три — против!!!) написали в Москву от имени комсомольской и проф. организаций <...>. Разошлись в полночь».

Упоминавшийся Мак — Георгий Пантелеймонович Макогоненко, будущий зав. кафедрой, был незаменимым и замечательным тамадой, но, увы, любил выпить... А Дмитрий Евгеньевич — Максимов, — наоборот, не любил шумных застолий, отстранялся от подобных кафедральных встреч и потому часто коллеги его и не звали. Почему я решил, что не позвали В. А. Мануйлова, сейчас уже не вспомню. Возможно, из-за его нетвердости, т. е. из-за возможности быть связанным с партийными кругами.

Помимо кафедральной солидарности и общих мероприятий у меня с Владимиром Яковлевичем были интересные личные встречи. Однажды весной 1965 г. он попросил у меня консультации (!!) по современному структурализму: в самом деле, я числился тогда глашатаем структурализма, коллеги знали о тартуском увлечении литературоведческим структурализмом, о первой летней школе 1964 г. «по вторичным моделирующим системам» (термин, придуманный тогда Владимиром Успенским для затемнения сути в глазах начальства, у которого «структурализм» и «семиотика» вызывали такую же бешеную реакцию, как несколько лет назад — «кибернетика»), о книге Ю. М. Лотмана «Лекции по структуральной поэтике» (Тарту, 1964).

Владимир Яковлевич рассказал, что итальянское издательство Эйнауди переводит его «Морфологию сказки» и хочет, чтобы автор приложил в конце ответ на довольно суровую, при всех комплиментах, рецензию (на английский перевод книги) известного мэтра западного структурализма Клода Леви-Стросса, опубликованную во французском научном журнале в 1960 г. Слава Богу, в Питере этот журнал нашелся, я смог проштудировать рецензию.

Владимир Яковлевич хотел уяснить себе, прежде всего, основы структуралистской методологии и отвечать во всеоружии. Я с удовольствием прочитал лекцию для Владимира Яковлевича: как сейчас вижу, сидим мы в правом переднем углу нашей кафедральной 30-й комнаты, не обращая внимания на обычную студенческую суету вокруг... Владимир Яковлевич оказался очень внимательным и цепким слушателем, понимал все с полуслова. Потом Владимир Яковлевич прочитал и книгу Ю. М. Лотмана и хорошо разобрался в структурализме. При второй нашей встрече он сказал, что главные принципы структурализма — системность, типология, диалектическая структурная соотнесенность целого и частей — очень ему близки и он даже может считать себя структуралистом, а никак не формалистом, как обвинил его Леви-Стросс. Парадоксальные ужимки истории: Проппа много лет всякая «марксистская» шушера обвиняла в формализме — а тут оказалось, что серьезный ученый, человек с мировой известностью бросает ему те же упреки! В. М. Жирмунский уже объяснил на юбилее Проппа, что берет вину на себя: он посоветовал снять конспективную главу исторического характера, чтобы расширить ее до отдельной книги; Владимир Яковлевич послушался и в самом деле создал замечательный труд «Исторические корни волшебной сказки» — но Леви-Стросс ничего этого, ни книги, ни предыстории, не знал.

Итальянский перевод «Морфологии сказки» (Турин, 1966) содержал послесловие автора — полемику с Леви-Строссом. Могу гордиться, что в этой статье просвечивают наши тогдашние, 1965 года, обстоятельные беседы. Любопытно, что, принципиально не употребляя современных структуралистских терминов, Владимир Яковлевич прямо признал себя структуралистом, отрицающим формализм, и подробно объяснил основы своего метода вообще и «Морфологии сказки» в частности: он считал необходимым сочетать структурный и исторический подходы (структуралист сказал бы «синхронный и диахронный»), в «Морфологии сказки» избран структурный принцип; объяснил свое понимание терминов «сюжет» и «композиция»: сюжет — конкретная развертка событий в данной сказке, композиция — обобщающая сюжеты схема (структуралист сказал бы: «варианты и инвариант»); справедливо отметил, что Леви-Стросса больше интересует миф, а его, Проппа, — сказка (добавим, что Леви-Стросс синхронизирует миф и сказку, Пропп же решительно протестует против этого, считая миф значительно старше сказки); оспорил предложение критика трансформировать и объединить функции и сказочных персонажей в менее разнообразные типологические группы: по Проппу, они далее уже не объединяются, и вообще временная композиция не может быть заменена логической схемой (проще бы сказать, по-структуралистски, что Леви-Стросс предлагает построить парадигматическую систему, а Пропп остается при своей синтагматической, но Владимир Яковлевич сделал это описательно и развернуто).

Интересующихся этой полемикой отсылаю к русскому переводу ответа Владимира Яковлевича в книге: *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976, и к статьям Е. М. Мелетинского о Леви-Строссе, например, к послесловию к книге: *Леви-Стросс К.* Структурная антропология, М., 1983.

Владимир Яковлевич не был научным «сухарем», он интересовался самыми различными аспектами нашей непростой жизни, умел и сам ярко рассказывать о разных ненаучных событиях. Вот еще одна дневниковая запись от 14 ноября 1964 г. о встрече с Владимиром Яковлевичем на кафедре во время межлекционного перерыва:

«Сегодня интересный рассказ В. Я. Проппа. У него приятель, военврач Шабунин, который ежелетне — в Тарусе. Знаком там со всеми, в том числе с сестрою Цветаевой. Этим летом такой случай. Какой-то молодой человек, с Украины, без копейки денег, приехал и стал обивать пороги, требуя водружения памятника на кладбище в честь М. Цветаевой, ибо она хотела быть похоронена на кладбище в Тарусе. Добился, черт возьми!.. У директора мраморной каменоломни достал громадную глыбину мрамора, как-то умудрился сделать соответствующую надпись — и даже достал в исполкоме машину, чтобы перевезти и водрузить на кладбище... Только в России такое можно — бескорыстно добиваться и добиться — на большую ведь сумму — памятника человеку, которая только *хотела* быть здесь похороненной!! Только в России же возможно и уничтожение такого памятника. Узнали в райкоме, всполошились — кто, что? Молодого человека и след простыл. Убрать памятник! Послали возницу с лошадью. Глыбу ему удалось повалить — но она разбила вдребезги телегу. Приказали разбить на мелкие кусочки памятник — что и сделали. И больно, и грустно, и смешно...

Затем Владимир Яковлевич интересно рассказывал о проводах Александрова в прошлый четверг на большом Ученом совете. А<лександр> Д<анилович> произнес прочувствованную речь (чувствовалось, что ему не хотелось уходить) — и затем новый ректор Кондратьев говорил свою речь — главным образом, об учебном процессе (почему-то не о науке!). Помянул гуманитарные науки (их отставание) и требовал усилить внимание к социально-экономическим предметам. Посмотрим, каков он будет в конкретных делах».

Приходится горько сетовать, что дневник я вел только в течение двух лет: сколько ценного можно было бы теперь восстановить относительно событий и разговоров, связанных с нашими выдающимися учителями!



В. Я. Пропп, Н. П. Колпакова, Р. Р. Тельгарт на конференции в ИРЛИ по проблемам современной фольклористики. 1958 г. (РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 274)

В. Я. Пропп. Начало 1960-х гг. (РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 270)

Письма В. Я. Проппа к Б. Ф. Егорову

1

Многоуважаемый Борис Федорович! Я уже приобрел для Вас номер «Вестника», но нет времени упаковать его и снести на почту. Надеюсь, что через денька 3–4 Вы его получите.

19.II.54.
С приветом В. Пропп.

2

Ленинград, 23.III.55.

Многоуважаемый Борис Федорович! Обращаюсь к Вам с просьбой. Я пишу небольшую статью под заглавием «Молодой Добролюбов об изучении народной поэзии». Помнится, что в Вашей диссертации совершенно точно установлено, какие разделы статьи «О слоге и мерности и пр.» принадлежат собственно Добролюбову и какие Срезневскому. Не могли бы Вы заново ознакомить меня с этими данными? Если Вам это не трудно сделать, я был бы Вам очень благодарен. В своей статье я, конечно, сослался бы на Вас. Если же Вы этого сделать не можете, то не сообщите ли Вы мне, каким образом разыскать Вашу диссертацию в Ленинграде с наименьшей потерей времени. К кому мне надо обратиться?

Заранее благодарный В. Пропп.
Ленинград-40, ул. Марата, 20, кв. 37.

3

1.IV.55.

Многоуважаемый Борис Федорович!

Сердечно благодарю Вас за Ваш столь оперативный и четкий ответ. Вы сообщили мне именно то, что мне надо было знать. Большое Вам спасибо!

Ваш В. Пропп.

4

26.III.56.

Многоуважаемый Борис Федорович!

Сердечно благодарю Вас за Ваше любезное приглашение. Я долго не отвечал Вам, т. к. не мог дать окончательного ответа. Теперь я могу этот ответ дать: приехать мне не удастся по состоянию здоровья, которое в связи с перегрузкой все ухудшается.

Мне было бы очень приятно, если бы Вы в любой форме как-нибудь довели бы до моего сведения, как протекло совещание. Мне особенно важно получить указание на фактические ошибки для их исправления в следующем издании.

С *приветом В. Пропп.*

5

Спасибо Вам, дорогой Борис Федорович, за сюрприз и за удовольствие, которое Вы доставили мне Аполлоном Григорьевым. Я давнишний почитатель его как критика, поэта и фольклориста. Вы сделали нужное и большое дело. Когда будете защищать диссертацию, не забудьте меня известить, ибо я уже не член Ученого совета. Помните, как я был оппонентом на Вашей диссертации? Как радостно видеть, что Вы так хорошо пошли! От души Вас поздравляю и желаю дальнейших успехов. (Ответ опаздывает, т. к. я на даче.)

4.VII.67.
Ваш Пропп.

Примечания к письмам

1. Письма 1–4 В. Я. Пропп посылал в Тарту: я тогда заведовал кафедрой в Тартуском университете.

Владимир Яковлевич приобрел для меня и затем выслал «Вестник ЛГУ», 1953, № 12, где была опубликована его статья «Белинский о народной поэзии».

2–3. Речь идет о статье Владимира Яковлевича, которая потом, видимо, чуть сузилась, судя по окончательному заглавию: не «народной поэзии», а «народной песни». См. об этой статье в самом начале моих воспоминаний.

4. Я организовал обсуждение новой книги Владимира Яковлевича «Русский героический эпос» (Л., 1955) и очень желал приезда Владимира Яковлевича. Конечно, никто при обсуждении никаких замечаний не высказал: не такие мы были специалисты!

5. Письмо отправлено в Москву, откуда я рассылал только что вышедшую книгу: *Ап. Григорьев.* Литературная критика. М., 1967, которую я подготовил и несколько лет не мог провести сквозь различные Сциллы—Харибды.

Докторскую диссертацию я защитил в декабре 1967 г.

В. И. Еремина

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Я. ПРОППЕ



В 1958 году, когда я поступила в Ленинградский университет, кафедра истории русской литературы была в зените своей славы. В те годы на кафедре работала когорта блестящих профессоров: В. Я. Пропп, П. Н. Берков, Г. А. Бялый, И. П. Еремин, Г. П. Макогоненко, И. Г. Ямпольский, Д. Е. Максимов (Б. В. Томашевский умер в 1957 г.) Это были не просто выдающиеся ученые-филологи, но и блестящие, совершенно не похожие друг на друга лекторы. На яркие лекции Григория Абрамовича Бялого, которые он читал в какой-то особой интимно-доверительной манере, съезжалось полгорода. Энциклопедичностью открывавшихся знаний поражал слушателей Павел Наумович Берков. Изысканно-изящными были лекции Игоря Петровича Еремина. Театр одного актера — так можно было назвать лекции Георгия Пантелеймоновича Макогоненко. На этом фоне лекции В. Я. Проппа внешне как будто проигрывали. Он читал в строго академической манере, ровным, спокойным голосом. Здесь не было ни броских примеров, ни завораживающих воображение лирических отступлений — все было внешне просто и очень логично. Далеко не все первокурсники были способны сразу по достоинству оценить услышанное. Но студенты росли, а вместе с ними росло и понимание того, что они чуть не пропустили что-то необычайно значительное. На старших курсах они возвращались в аудиторию В. Я. Проппа, чтобы еще раз, уже на новом, сознательном уровне понять глубину и необычность того, о чем рассказывал лектор.

В. Я. Пропп вел спецсеминар по русскому фольклору. И, говорят, это был удивительно интересный семинар. Я, к сожалению, познакомилась с Владимиром Яковлевичем близко уже в аспирантские годы, когда он стал руководителем моей кандидатской диссертации. Аспиранты приходили к Владимиру Яковлевичу на консультации домой. Он по-настоящему любил своих учеников, а потому был с ними строг, но при этом очень внима-

телен и бесконечно радовался их успехам. Когда кому-то из них приходила в голову дельная мысль, Владимир Яковлевич был по-детски счастлив.

Вспоминаю один случай. Придя однажды на очередную консультацию, я уже с порога почувствовала, что он находится в каком-то особом приподнятом настроении. Когда Владимир Яковлевич был чем-то особенно доволен, он никогда не начинал сразу разговор о деле. И на этот раз Владимир Яковлевич сказал, что о работе мы поговорим чуть позже, а сначала он хотел бы сыграть мне Баха. Владимир Яковлевич сел за пианино (кабинет был маленький, и рояль, о котором Владимир Яковлевич мечтал, там просто бы не уместился) и начал играть. Он хорошо играл, удивительно проникновенно, особенно Баха, Бетховена и Вагнера. Я слушала и соображала, что же могло привести Владимира Яковлевича в такое расположение духа. Мы виделись накануне вечером, и, кажется, с тех пор решительно ничего не случилось. Закончив играть, Владимир Яковлевич все объяснил сам: «Вот только что, до вас, Валечка (почему-то он меня так называл), у меня был Юра Юдин. Так вы знаете, что он придумал!» И Владимир Яковлевич стал подробно излагать суть идеи Ю. И. Юдина. Закончил он рассказ следующими словами: «Ну, конечно, идея эта совершенно завиральная, но... какой молодец!»

Владимир Яковлевич, повторяю, по-настоящему любил своих учеников и очень о них заботился. Ю. Юдин заканчивал аспирантуру, и тогда встал вопрос о его трудоустройстве. Владимир Яковлевич мечтал увидеть его своим преемником на кафедре. Но не было ленинградской прописки, был он беспартийный (в те годы это громадный недостаток!), одаренный и очень порядочный человек. И вот однажды мелькнула надежда, на два часа была назначена какая-то важная встреча. Юдин жил в общежитии за городом, естественно, без телефона. Необходимо было его предупредить, чтобы он приехал в университет в нужное время. Владимир Яковлевич в те годы был немолод и не очень здоров. Скажи любому из своих учеников — Юдина бы нашли. Но Владимир Яковлевич не любил никого беспокоить. Рано утром в холодную дождливую погоду он сам поехал за город, зная к тому же, что успех в устройстве Юдина почти нереален. И действительно, не прошло и двух дней, как надежда с треском лопнула...

В последние десять лет Владимир Яковлевич много болел. У него было несколько инфарктов (первый случился прямо на факультете), он не раз лежал в больнице. Помню, что он очень радовался, когда его навещали, бодрился, рассказывал всякие больничные байки.

В былые годы, мне кажется, в народе существовало какое-то особое уважение к науке и почтение к профессорам в частности. Их считали людьми высшего круга, которые знают все на свете. Владимир Яковлевич лежал в обычной городской больнице. Очень скоро стало известно, что он — профессор университета, и его начали засыпать вопросами. Однажды он рассказал нам: «Меня сегодня спросили, кого в Японии больше, мужчин или женщин, и насколько. И я не задумываясь ответил — женщин

больше на 3 %». Мы, естественно, поинтересовались, откуда он это знает, да еще с такой точностью. Владимир Яковлевич засмеялся и признался, что он этого не знает вовсе. Но разве можно было уронить авторитет профессора!

Владимир Яковлевич несколько лет заведовал кафедрой истории русской литературы и исполнял эту свою обязанность (в общем-то не свойственную его натуре) с большой ответственностью и пользой для кафедры. После второго сердечного приступа, когда он не мог уже работать в полную силу, он твердо решил уйти не только с заведования, но и вообще из университета. Наверное, не было таких слов, которые не произнесли бы его коллеги по кафедре, прося Владимира Яковлевича остаться. Ему предлагали любые условия — не читать общий курс, а только вести спецсеминар или же просто остаться профессором-консультантом, только бы не уходил с кафедры. Владимир Яковлевич с пониманием и благодарностью выслушивал все эти предложения и просьбы, но он был человеком сильной воли, и если что решил для себя, то переубедить его было невозможно. Так и в этом случае. Владимир Яковлевич ушел на пенсию, работал над книгой о смеховой культуре, мечтал написать книгу о поэтике фольклора. Он очень радовался, когда его навещали, оживлялся, играл на пианино, занимался художественной фотографией и скучал по кафедре.

Л. А. Иезуитова

СТАРШИЙ КОЛЛЕГА



В качестве младшего коллеги по кафедре русской литературы я знала Владимира Яковлевича более 15 лет; как многие (но далеко не все), любила его за то, что он — *был,* старалась учиться у него, ибо был он мудр, правдив, добр, справедлив — по-настоящему значительная личность.

Постараюсь вспомнить характерные приметы, воссоздать штрихи к портрету, передать некоторые реакции Владимир Яковлевич на факты повседневной жизни.

Всех, видевших В. Я. Проппа, удивляла «бедность» его снаряжения: вместо роскошного импортного портфеля — старенькая полевая сумка времен Гражданской войны через плечо (затем ее сменил скромный портфель), вместо велюровой шляпы — очень не новая кепка, вместо дорогих отутюженных брюк и покойных заграничных ботинок — заурядные полушерстяные брючки, полушкольные штиблеты... На недоуменные вопросы женщин-коллег многих поколений и на их готовность прийти на помощь в выборе и приобретении необходимого гардероба Владимир Яковлевич неизменно отвечал: «Я к ним привык, мне с ними (в них) удобно...»

Автор статей и монографий, Владимир Яковлевич упорно отказывался от любого рода «дополнительной» платы за труды, от гонораров за издания, выходившие в университете. Он упрямо повторял: «Жалованье мне исправно платят в кассе ЛГУ...»

После окончания празднования 75-летия, стоя в группе коллег, провожавших его домой, Владимир Яковлевич задумчиво сказал, что, кажется, в жизнь он пришел не напрасно и выполнил свой мужской долг. Настоящий мужчина, напомнил народную мудрость Владимир Яковлевич, должен посадить и вырастить три дерева, родить и воспитать троих детей, оставить в мире трех учеников, своими руками изготовить три «вечные» вещи и тем

завоевать память о себе. «Деревьев после меня останется немало, детей, внуков, учеников — достаточно, найдутся, может быть, три книги, которые смогут пригодиться людям».

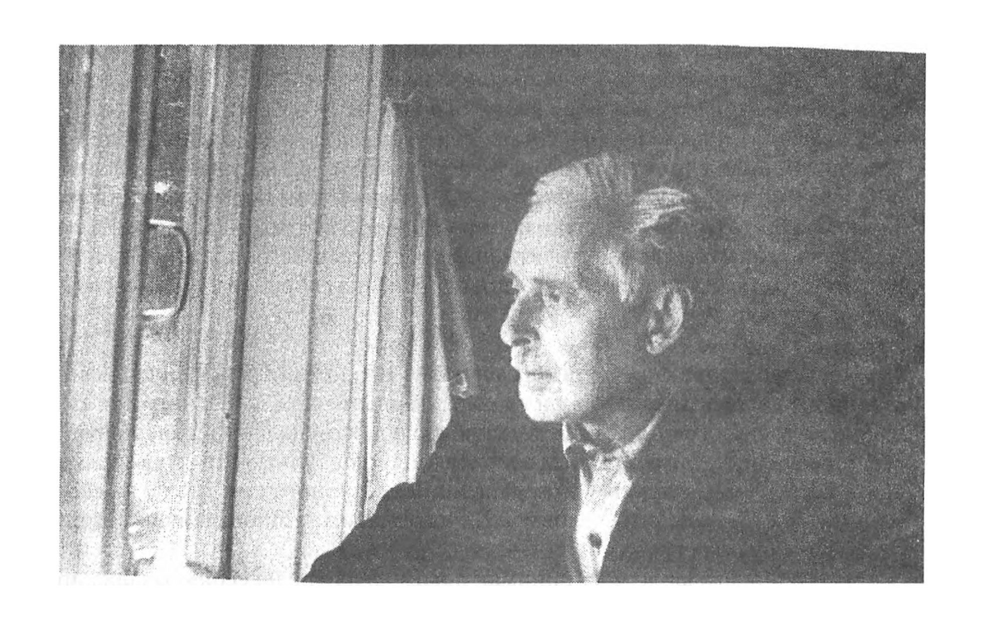
«Языку нужно уметь учить и языку нужно уметь учиться», — повторял Владимир Яковлевич. Нередко вспоминал время своей молодости, когда сам обучал немецкому языку, умел и любил это делать. Сожалел, что не смог взяться за обучение моего сына тайнам немецкого языка: ему хватало для этого трех месяцев, притом ученикам его не бывало ни скучно, ни обременительно...

Узнав из случайного разговора, что в каникулы я по возможности стараюсь поехать вместе с сыном или отправить его со сверстниками в поездки по стране, по историческим местам, Владимир Яковлевич удовлетворенно и даже радостно сказал: «Вы правильно воспитываете сына».

В один из весенних (кажется) дней 1961 года, придя утром на занятия, случайно первой узнала о награждении Владимира Яковлевича орденом «Знак Почета». Принялась звонить Владимиру Яковлевичу, чтобы поздравить. В ответ на мои радостные восклицания в трубке воцарилось молчание. Затем раздался удивленный и огорченный голос орденоносца: «Не думал, что *вы* можете с *этим* поздравить: *они*, может быть, хотели меня обидеть, унизить, оскорбить...»

«От успешного воспитания учеников, — говорил Владимир Яковлевич, — зависит будущее». И сам относился к их выбору весьма серьезно. У него были свои правила, следуя которым он надеялся не ошибиться. Первое правило: ученик должен хотеть, уметь, любить работать. Второе правило: решая задачу, поставленную и ограниченную учителем, ученик должен уметь систематизировать материал и подчиняться самодисциплине. Третье правило: ученик не должен жить политикой — это сорвет процесс поисков и результат научных занятий. Владимир Яковлевич однажды крепко засомневался, брать или не брать в аспирантуру одного из своих талантливых и любимых студентов, ибо тот был чрезвычайно увлечен политикой. Из поколения учеников 40–50-х годов любил Ольгу Николаевну Гречину: «Человечная, настоящая, доброкачественная...»

Владимир Яковлевич старался регулярно посещать профсоюзные собрания и конференции, когда происходили выборы нового состава профбюро. С бюллетенем в руках присаживался рядом с тем, кто знал всех кандидатов, и без пощады вычеркивал имена женщин-матерей (в частности, имя той же О. Н. Гречиной, увлекавшейся профсоюзными делами и умевшей ими заниматься). При этом он повторял: «У женщины уже есть общественная работа — воспитывать своего ребенка. Важнее этого я не знаю ничего в жизни».



В. Я. Пропп. 1960-е гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 270)

Владимир Яковлевич упорно отказывался посещать многолюдные диспуты, собрания с обсуждением нашумевших новинок современной литературы. В частности, не пошел на обсуждение романа В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», проходившее в актовом зале филфака. Даже не прочел книгу. Вообще избегал читать модную беллетристику или смотреть кинофильмы, говоря: «У меня уже нет времени это делать — я должен спешить, я должен успеть написать то, что должен...»

После кончины И. П. Еремина Владимир Яковлевич некоторое время был заведующим кафедрой, сам предложив себя на этот пост. Войдя в должность, установил строгий порядок: «Говорите, если вам есть что сказать».

Заседание должно было идти не более двух часов. Докладчик по текущим делам должен был подготовиться так, чтобы доклад продолжался не долее 15 минут, выступающий в прениях — говорить не более 5 минут. При этом надо было говорить внятно и позаботиться о том, чтобы позиция была всем ясна, равно как и конструктивные предложения. Владимир Яковлевич отучивал коллег от заседаний, походивших на собрание клуба необязательных речей.

После празднования 75-летнего юбилея Владимир Яковлевич, однажды придя на кафедру, заговорил с характерными для последних лет его жизни интонациями грусти, даже скорби, о роковом падении уровня нравственных ценностей, о видимом сокращении роли культуры в строе жизни всех, даже «гуманитариев», о разрушении культурного (то есть не на себе одном сосредоточенного) человека. В этом Владимир Яковлевич усматривал угрозу будущему.

Чутко и благодарно воспринимая любые дела «не на себя», Владимир Яковлевич высоко, может быть, выше меры оценивал мои тогдашние усилия, направленные на то, чтобы попытаться соединить разнонаправленную волю членов кафедры и в особенности — во внимательном отношении к студенту. Однажды Владимир Яковлевич в связи с этими проблемами произнес слова, которые не могу забыть и которые, конечно же, отношу не только к себе; это было как бы его завещанием всем, кто связан с судьбой кафедры, факультета, университета: «Я очень на вас надеюсь. Помните об этом...»

М. П. Чередникова

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ



Шел 1962 год. Мы были выпускниками филологического факультета Ленинградского университета. Позади остались госэкзамены и защита дипломных работ. Тогда-то и возникла у кого-то счастливая идея пригласить наши любимых учителей в студенческое общежитие, устроить неформальный прощальный вечер. Так как моим научным руководителем был Владимир Яковлевич Пропп, мне поручили позвонить ему и передать приглашение. Прежде чем дать ответ, Владимир Яковлевич спросил: «А кто еще будет, кроме меня?» Услышав имена О. Н. Гречиной, И. П. Еремина, П. Н. Беркова, Г. А. Бялого, С. Я. Дергача и Г. П. Макогоненко, он сказал: «Приду, обязательно приду. Напомните, пожалуйста, адрес».

Когда в назначенный час мы увидели наших гостей, возникло вдруг неловкое замешательство. Выручило традиционное начало многих студенческих встреч: запели «Gaudeamus». Когда отзвучали последние звуки гимна, возник вопрос, кому произнести первый тост. Г. П. Макогоненко сказал, что это право по старшинству должно принадлежать Владимиру Яковлевичу.

Тогда-то и произнес Владимир Яковлевич слова, которые всем участникам той встречи запомнились навсегда:

— По роду своих занятий я прежде всего учитель. Как учитель и поступлю сейчас. Начну с перевода и комментирования текста только что прозвучавшей песни. «Gaudeamus igitur...» — «Веселитесь, юноши...» Это прекрасный призыв. Противоестественна юность, лишенная веселья. Да и не только юность. Глубоко убежден, что, если уж человек родился на свет, он обязан быть счастливым.

Со своего места отозвался С. Я. Деркач: «Но ведь это бывает очень трудно...» «Тем почетнее обязанность», — весело ответил Владимир Яковлевич. Эти слова стали своеобразным камертоном той далекой незабываемой встречи.

Для меня же они прозвучали как загадка, разгадать смысл которой я пытаюсь всю жизнь. Раньше мне казалось, что счастье мало зависит от же-

лания и воли человека, что оно всецело предопределено обстоятельствами, в которых мы не властны. И вдруг: «счастье — обязанность». Как это понять?

Впоследствии слова, сказанные Владимиром Яковлевичем, не раз отзывались эхом в его письмах, в разговорах с ним, выступлениях, в последних заметках, сделанных им в записной книжке. Это удивительное мироощущение учителя озарило жизнь каждого, кому судьба подарила встречу с ним.

В спецсеминаре по фольклору, которым руководил Владимир Яковлевич, как правило, занималась небольшая группа студентов III и IV курсов. Доклады обсуждались еженедельно по средам. В 1959 году в семинаре работали талантливые студенты IV курса Юра Юдин, Юра Серов, Володя Воронов. На стажировку к Владимиру Яковлевичу приехала из Германии аспирантка Ингетраут Том (Клагге). Бессменной старостой семинара несколько лет подряд была дисциплинированная и пунктуальная Нила Криничная.

Доклад на семинаре был событием для каждого: к нему готовились тщательно и волновались даже тогда, когда получали предварительное одобрение Владимира Яковлевича. Критика «однокашников» могла стать серьезным испытанием: «оппоненты» порой выступали с юношеским максимализмом и не оставляли от доклада камня на камне. Одно резкое замечание следовало за другим. В таких случаях лицо Владимира Яковлевича суровело. Он отворачивался к окну, словно не желая видеть говорившего.

Однажды после очередного такого обсуждения Владимир Яковлевич огорченно произнес: «Я ждал, что кто-то из вас остановится, что у вас хватит доброты и понимания оценить сделанное докладчиком. Собран и систематизирован огромный материал, это необходимый шаг к серьезному исследованию. Между тем никто из выступавших этого не заметил. Вы все говорили о том, чего в работе нет, и не увидели того, что в ней есть».

Сам Владимир Яковлевич давал высокую оценку даже самому малому результату студенческого поиска, будь то тщательно собранная библиография или подборка вариантов песенного сюжета.

О первых открытиях своих учеников Владимир Яковлевич говорил с воодушевлением. От него мы слышали о выпускниках университета, успешно работавших в семинаре до нас. Так впервые я узнала о Кларе Кореповой, преподававшей в Горьковском университете. Спустя годы, когда сама я уже работала в школе, Владимир Яковлевич писал в одном из писем о своем семинаре: «Есть превосходные, редкостные студенты...» О них он рассказывал, не уставая. Однажды во время короткой встречи у него дома я услышала об Ане Некрыловой: «Какая у меня есть ученица! Пишет работу по преданиям о Петре. Собрала 100 текстов. Такое ни одному ученому не удавалось. Догадалась искать в архивах Казанского собора». Так, еще не встречаясь, мы, его ученики, уже были знакомы и ощущали духовное родство друг с другом.

После университета мне пришлось учительствовать в Карелии. Письма Владимира Яковлевича, его постоянная поддержка и внимание помогли выжить в очень трудных условиях. Один вопрос он повторял постоянно: «Чем я мог бы вам помочь? Вы ни о чем не просите — а жаль, я бы постарался вашу просьбу выполнить».

Однажды я написала, что читаю старшеклассникам факультативный курс по русской живописи и архитектуре, но с трудом нахожу необходимые для этой работы альбомы и репродукции. Через полмесяца пришла бандероль из Ленинграда: Владимир Яковлевич прислал диафильмы из Русского музея...

Каждому из нас он писал об открывающихся в разных вузах вакансиях в аспирантуру, вселяя надежду на то, что работа, начатая в университетском семинаре, когда-нибудь будет продолжена. Между тем в одном из писем Владимир Яковлевич признавался: «У меня дел столько, что мне не упомнить всего того, что надо сделать, а на столе лежит записка всего, что нельзя забыть».

Но чаще всего он писал о том, что доставляло ему особое удовольствие: «Мои студенты упросили меня читать спецкурс по русской сказке. Сейчас я усиленно вырабатываю этот курс, и это меня занимает и утешает. Я нимало не думаю об академичности, только частично повторяю свои книги, думаю, чтобы было просто, доходчиво и интересно, чтобы материал как-то захватывал».

В одном из писем в Карелию Владимир Яковлевич упомянул о том, что он готовится к докладу «Фольклор и действительность» на объединенном заседании университетской кафедры литературы и фольклорного сектора ИРЛИ. В марте 1963 года он писал: «Мой доклад состоялся, было много народу. Я воевал против тех, кто не отличает былины от исторического романа (Плисецкий) и попытался вскрыть некоторые закономерности в том, как в разных жанрах изображается действительность. Выступали: Путилов, Акимова (Саратов), Гусев, Дмитраков, Шептаев, Еремин <...>. Говорили много и хорошо, все меня поняли и для меня было ощущение праздника».

Изредка Владимир Яковлевич сетовал на усталость и нездоровье, на бессмысленную суетность многочисленных служебных обязанностей. «Мне каждый день надо куда-нибудь выезжать, а большей частью без толку. Вчера по партийной линии вызвали меня на диспут о значении филологов и заставили выступать. Я сказал, что филологи призваны бороться с нашим множественным бескультурьем. Мне ответили, что они на 70 процентов сами серые, что я решительно отмел. Это длилось 4 часа и было скучно».

Однако при любых обстоятельствах Владимир Яковлевич умел найти повод для радости: будь это новый спецкурс или фотография, которой он занимался с большим увлечением, подаренные кем-то из учеников репродукции Микеланджело или собственноручно посаженные на даче цветы.

В апреле 1966 года он писал: «Моя последняя любовь — это древнерусские города. Нынче весной планирую поездку в Москву (там у меня дочь), и оттуда в Загорск, Владимир, Суздаль. По Волго-Балту, возможно, проедусь по маршруту Ленинград—Ярославль и тогда увижу Углич и Борисоглебск <...>. Архитектура древних городов делает меня счастливым, и я все больше убеждаюсь, что быть счастливым — это не только удел, но и обязанность человека, если только у него нет большого горя». Так снова откликнулись слова, прозвучавшие когда-то на прощальном студенческом вечере. Несмотря на все невзгоды (а их немало выпало на его долю), Владимир Яковлевич остался верен своему главному жизненному принципу.

Вскоре после моего поступления в аспирантуру он как-то спросил: «Вы знаете, кто в нашей стране самые счастливые люди?» Увидев мою растерянность, засмеялся и сам ответил: «Пенсионеры и аспиранты!» Удивлению моему не было предела. И тогда он объяснил: «И те и другие могут заниматься любимым делом, а им за это еще и деньги платят!»

Так постепенно открывалась мне эта формула счастья: любимое дело, любимые ученики, любимый дом, любимые друзья. Любовь к миру, к жизни, к людям. То, в чем обстоятельства не властны.

Вдова Владимира Яковлевича Е. Я. Антипова-Пропп, показывая как-то семейные реликвии, открыла маленькую записную книжку с последними его записями. Они были сделаны на даче в Репино, когда после тяжелой болезни Владимир Яковлевич вернулся из больницы. Рядом с датой «29 июля 1970» единственная строка: «Радуюсь счастью бытия»...

В. Б. Кривулин

ЭКЗАМЕН ПО ФОЛЬКЛОРУ



С великими людьми просто так не знакомятся. Встреча с ними — всегда событие, которое вовсе не ограничивается конкретными бытовыми обстоятельствами, но поступает, как некий полуфабрикат, на длительную — иногда до момента смерти вспоминающего — переработку фабрикой памяти, чьи механизмы самопроизвольно продолжают работать и деформировать до неузнаваемости изначальное впечатление, даже когда мы убеждены, что всего лишь воспроизводим, бездумно репродуцируем происходившее на самом деле.

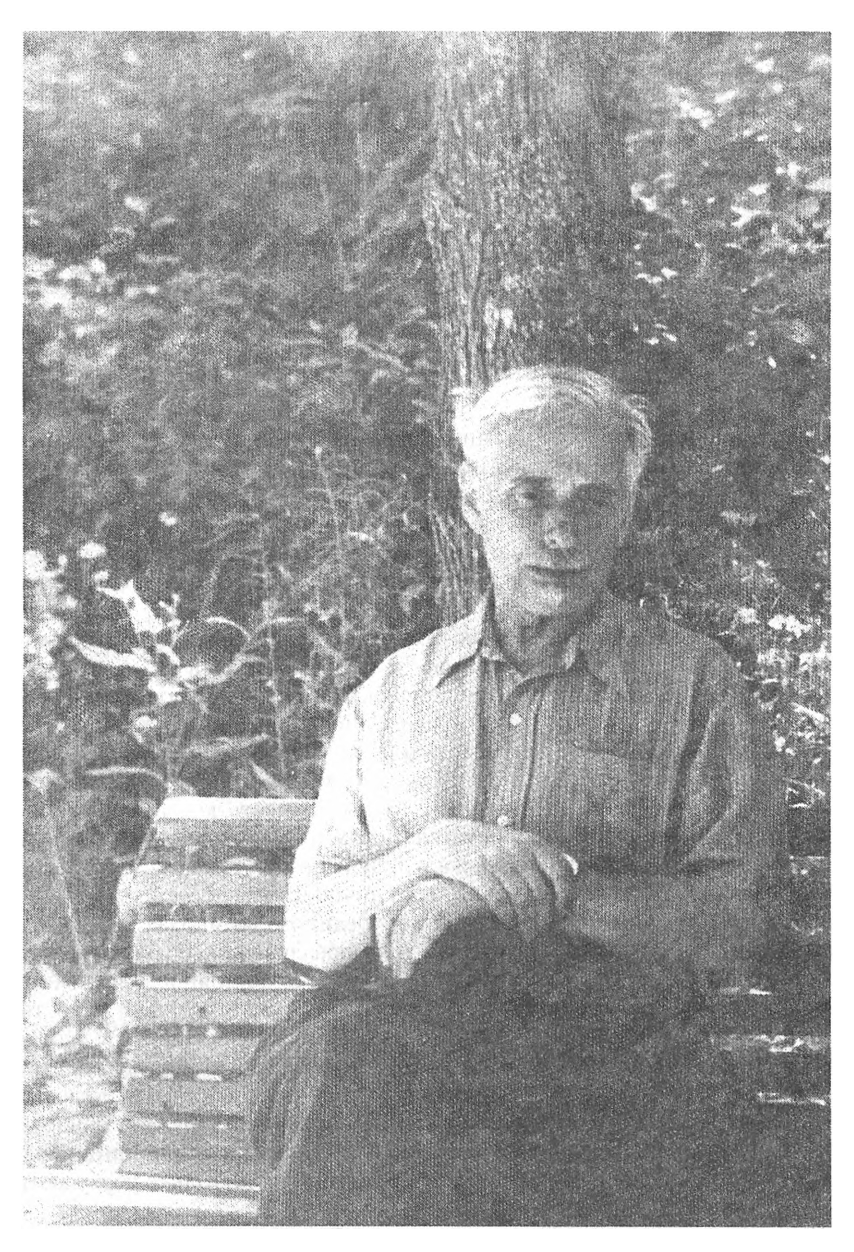
Вот и сейчас, задавшись целью воспроизвести свое давнее впечатление от разговоров с Владимиром Яковлевичем Проппом, я до конца не уверен, где проходит реальная граница между тем, что слышал непосредственно от него, и тем, что читал в его работах, между его подлинными словами и теми смыслами, которые за тридцать с лишком лет наложились на эти слова.

Достоверно знаю одно: свой первый университетский экзамен в январе 1962 года я сдавал именно В. Я. Проппу. Это, естественно, был курс русского фольклора, наскоро вызубренный по какому-то посредственному учебнику и никакого интереса для меня не представлявший до того момента, пока скукоженный, гномообразный седенький экзаменатор не задал несколько ставящих в тупик вопросов «на понимание», которые не столько продемонстрировали натуральное мое невежество, сколько заставили вдруг остро пожалеть о том, что вот кончится сейчас отведенное на прием экзамена время — и никогда уже мне больше не беседовать с этим тихим человеком, не обсуждать загадочную формулу «собирательный, коллективный автор»... Я забыл о том, что мне нужна какая-то оценка и вообще о том, что нужно что-то «сдавать». Мы просто говорили о герое эпоса, и Владимир Яковлевич, сначала сочувственно и жалостливо кивавший головой в такт каждому моему заимствованному у пособия пассажу, постепенно стал втягиваться в спор с автором учебника, а я, из склонности противоречить старшим, беспомощно и жалко пытался защищать то, что еще час назад вызывало у меня лишь зевоту.

Все это происходило унылым зимним вечером, на пустом филфаке, в одной из клетушек «школы». Мы просидели вдвоем часа полтора, пока я не почувствовал, что Владимир Яковлевич стесняется выпроводить меня, спросив зачетку. Но я сдавал фольклор отдельно от своей группы, поскольку на итальянское отделение зачислен был вольнослушателем, мне тогда еще этой самой зачетки не выдали — только обещали при условии, если я успешно сдам первую сессию. От оценок зависело, стану ли я студентом ЛГУ. Я объяснил ситуацию. Реакция была неожиданной. Вместо того чтобы отпустить меня с миром, пообещав (как то делали впоследствии другие преподаватели) выставить оценку, когда будет документ из деканата, Владимир Яковлевич сам принялся писать, близоруко склонясь над тетрадным листком в клетку, длинное послание в деканат, где обстоятельно и подробно перечислялось, что, когда и как я ему отвечал. Поставив дату и подпись, он не отдал мне бумагу. «Одну минуточку, нужно обязательно сделать копию, и пусть она хранится у вас, а то администрация может и потерять...» И Владимир Яковлевич собственноручно скопировал послание, после чего мы расстались. Помню, что в тот вечер я твердо решил заниматься устным народным творчеством, чтобы как можно дольше с полным правом оставаться в поле зрения этого удивительного человека.

Потом было еще много встреч, лекции Владимир Яковлевич о природе комического, которые несколько разочаровали меня, потому что к тому времени я уже знал классические работы Проппа — и «Морфологию...», и «Исторические корни...». На фоне этих гениальных книг странно звучали такие пугливо-охранительные публичные заявления Владимира Яковлевича, как признание категорической невозможности общенародных символов власти — национального герба, флага и т. п. — быть объектами осмеяния.

Но в моей памяти он навсегда останется ночным сказочным персонажем, дарителем-протагонистом героя, столь тщательно, пунктуально и щепетильно описанным им в «Морфологии сказки». И я уже не знаю, что было раньше — первая встреча с живым Проппом или первое знакомство с одной из лучших его книг. Иногда мне кажется, что я шел к нему на экзамен, находясь под впечатлением его ранних работ, и сам его облик возник как производное от них. Иногда я сомневаюсь в этом. Одно несомненно — мне посчастливилось хоть недолго, но побыть рядом с одним из величайших наших филологов.



В. Я. Пропп. На даче. 1960-е гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 270)

И. И. Земцовский

ПРОПП-МУЗЫКАНТ



Легко предвидеть реакцию читателей, озадаченных названием этих воспоминаний: что это, невольное преувеличение автора-музыковеда или очерк написан вообще о каком-то другом Проппе? Отвечаю сразу: преувеличения нет никакого, и речь идет о том самом Владимире Яковлевиче Проппе — великом фольклористе, первооткрывателе, незабвенном учителе и друге. Преувеличения нет, но концепция — есть, и без ее объяснения мне не обойтись.

Музыкант — это не обязательно композитор, пианист или музыковед. Музыкант — это тот, кто воспринимает мир цельно, кто за видимым чувствует невидимое, кто умеет восхищаться, кто неистощим на восхищение. Музыкант — это тот, кто отдается красоте с вдохновением, растворяясь в ней нераздельно. Это человек, имеющий к тому же свой музыкальный мир — мир музыкальных предпочтений; кто имеет безошибочное чувство стиля и ритма речи, формы, поведения... Музыкальность, которую я имею в виду, думая о Проппе, не декларируется словами, но проявляется во всем, и прежде всего в мироощущении. Пожалуй, лучшее *немузыковедческое* определение музыканта может быть дано через личностную способность интуитивного видения множества в единичном и единого во множественности. Я имею в виду ту цельность восприятия и самореализации, для которой нет противоречия между строгим и расплывчатым. Это постоянное ощущение *гармонии мира* — ощущение, приносящее особую эстетическую радость («Ощущаю радость бытия», — записал Владимир Яковлевич в последнее лето своей жизни). Музыкант — это не тот, кто теоретизирует о музыке, но тот, кто *живет* по ее законам — по законам гармонии. Собственно, красота научных открытий тоже подчиняется законам гармонии — будь то обнаружение одного закона построения всех волшебных сказок или принципа их исторического обоснования. Эти законы и принципы не только убеждают; они — *восхищают.*

В одном из рождественских писем ко мне Владимир Яковлевич сформулировал нечто очень важное. Вот фрагмент этого письма 1965 года: «Я сейчас ничего не пишу, хотя планов и заготовок много. Не хочется даже

заставлять себя что-то делать, хочется только отдыхать. И тем не менее хожу счастливый. *Для чего я живу? Я скажу Вам для чего — я живу, чтобы восхищаться.* И я восхищаюсь тем, что вокруг меня великого и прекрасного — а его много, начиная с края земли из моего окна ("и тихо край земли светлеет" — Пушкин) и кончая выставкой картин из Лувра. Я набрел на B-dur-ное скерцо Шуберта. Его нужно проиграть не менее ста раз, чтобы понять, как это хорошо. Вы как-то говорили, что каждая песня имеет свой подтекст. Так вот, музыка тоже имеет свою "подмузыку", и в ней-то все дело, а талантливость в составлении звуков сама по себе еще ничего не говорит».

Природа, живопись, музыка; содержание и анализ; понять не видимый текст, но невидимый подтекст; *«понять, как это хорошо»* — то есть понять не искусство «составления звуков», но само звуковое *искусство*... Здесь все неразрывно и цельно, все — предмет «омузыкаливания» и восхищения этим удивительным богатством «подмузыки». «Я живу, чтобы восхищаться» — но это же читается и иначе: «Я работаю, я исследую, чтобы восхищаться и *понять*, как это хорошо».

Восхищение как стимул и итог исследования. От непосредственного восхищения феноменом — к доказательному восхищению его искусством. Эстетическое и аналитическое наслаждения у творческих личностей — у музыкантов — часто совпадают, хотя это и разные по природе наслаждения.

На Западе многие воспринимают Проппа как структуралиста, формалиста, конструктивиста в науке. Для меня же Пропп — музыкант-романтик. Его романтизм, как и давний романтизм в Германии, был незаменимой школой любви к фольклору как к чему-то внекабинетному, вольному, как к апофеозу цельной и *незаштукатуренной красоты*. Эта любовь к красоте, эта способность наслаждаться красотой вызывала два важнейших следствия. Первое — любовь к людям, создавшим такую красоту. В письме к Л. М. Ивлевой от 3 июля 1966 года Владимир Яковлевич писал, вспоминая свою поездку в Кижи: «...Я, как зачарованный, бродил по острову, и *вдыхал* культуру Древней Руси, я *как бы общался* с теми необыкновенными, простыми людьми, которые создали *такое* искусство»[1]. Второе — умение оценить «такое искусство» именно как искусство, т. е. любовь к «форме». Я не оговорился: этот удивительный острый дар — дар, как любовь, — мгновенно видеть «как это сделано» — был в высокой степени присущ Проппу. «Моя несчастная способность видеть форму», — признавался Владимир Яковлевич в своих дневниковых записях незадолго до смерти. Для меня эта фраза — ключевая, ибо «видеть форму» — это видеть не только структуру, но и красоту. Это, кстати сказать, профессиональный дар большого музыканта. (Мне вспоминается дневниковое признание выдающегося русского музыканта нашего века Б. В. Асафьева, который обладал

[1] Письма Владимира Яковлевича к Л. Ивлевой хранятся в Архиве РИИИ. Цитирую с любезного разрешения адресата.

15 Зак. 3360

способностью видения-слышания музыкальной формы без ее формального анализа, т. е. прямым проникновением своего мышления в музыкальное мышление, воплощенное в анализируемом произведении.) И это не академический расчет, а именно *способность*, т. е. нечто невольное, врожденное, действующее непроизвольно, «сразу», инсайтно. Эта «несчастная способность» — не что иное, как *призвание*, призвание к научному охвату мира *прекрасного*, созданного миром прекрасных людей.

Я убежден, что377 пропповский романтизм, воспитанный, в частности, на музыке немецких романтиков, был этой *школой чувств*, которая открыла для него двери в обаяние русской крестьянской поэзии и поэтики. (Позднее это подтвердил в своем творчестве такой русский самородок, как композитор В. А. Гаврилин, начавший свой творческий путь с двух тетрадей песен романсов: как раз русской и немецкой!) Так случилось, что и я был воспитан в любви к музыке немецких романтиков и как-то, в 1964 году, будучи у Владимира Яковлевича дома, признался ему в этом. В ответ он говорил мне о своей любви к Шуберту, а позже и писал мне об этом, приглашая помузицировать вместе. Вот фрагмент этого уникального письма: «...Потом я играю соло — Impromtu C-Dur Шуберта. Потом мы играем вместе в 4 руки Марш Шуберта opus 27 № 3 D-Dur (писано для 4-х рук). Я учу primo, secondo. Вы сможете играть с листа...» И дальше: «Голубчик, соглашайтесь!» И вдруг, с необычной для себя открытостью, добавляет: «Дорогой мой, если б Вы знали, как я хочу играть с Вами Шуберта. Этот марш мы играли дома, когда я был еще подростком, это напомнит мне мою юность». Эта фраза открывает нам возможность ощутить атмосферу родительского дома Владимира Яковлевича, понять его *культурные* истоки, его особый путь к фольклору, именно к фольклору, и именно к русскому фольклору. Для него именно такой путь оказался очень органичным. Я понял это сполна, когда Владимир Яковлевич во время нашей беседы о Шуберте (4 сентября 1964 г.) вдруг раздумчиво добавил, как бы сделав для себя важное открытие: «*Поэтому Вы так чувствуете русскую песню, что любите Шуберта...*» Для него это были явления сходного порядка — по обаянию мелодичности, человечности, простоты. (Не то же ли мы встречаем в наследии другого петербургского музыковеда П. А. Вульфиуса, автора замечательных исследований о музыке опять же Шуберта и русской народной песни?!) То была встреча культур, самоузнавание культур друг в друге...

Уже по приведенному фрагменту письма Владимира Яковлевича видно, на каком уровне было его так называемое *любительство*. Он с удовольствием играл на фортепиано. Никогда не забуду, как в феврале 1965 года, придя ко мне на день рождения, Владимир Яковлевич прежде всего просил играть меня и, главное, играл сам! Тогда, я помню, он играл пьесы из «Карнавала» Шумана — совсем не виртуозно, но очень чутко *прислушиваясь*, очень поэтично и бережно. Это был какой-то новый для меня Шуман, чьи порывы были переосмыслены в лирически убеждающую декламацию на фортепиано. Пропп буквально говорил музыкальными интонациями. Выходило очень неожиданно и очень красиво.

Тем не менее в музыковедении Владимир Яковлевич считал себя дилетантом. В мае 1961 года он писал мне после выхода своей песенной антологии в Большой серии Библиотеки поэта: «Свою мысль что-нибудь когда-нибудь написать о песне я полностью оставил, т. к. для этого нужна музыковедческая подготовка, приобретать которую мне поздно. Может быть это когда-нибудь сделаете Вы». Вскоре после этого Владимир Яковлевич рекомендовал мне идти по этномузыковедческому пути, т. к. в данной области надо много лет профессионально учиться, и добавлял: «Ну а фольклористике Вы научитесь сами, когда понадобится...»

И тем не менее я не могу называть Проппа дилетантом в музыке! Судите сами, *как* Пропп писал о Моцарте (цитирую его письмо к Л. М. Ивлевой от 3 июля 1966 г.): «...Сегодня я приехал, чтобы послушать "Волшебную флейту" Моцарта. *Моцарт — бог моей юности.* Я люблю его за светлость, мелодику, прозрачность, а также за глубину и трагичность». Вот что значит музыкальное восприятие мира в его целостности, в единстве, в гармонии его разнородных свойств: Владимир Яковлевич любил Моцарта не за что-то *одно*, но за *все* его *контрастные* свойства. Такая любовь — не любительство, а *понимание*, и понимание *музыканта*. В этом фрагменте — *пропповский Моцарт* (он произносил «Моца́рт», с ударением на последнем слоге, как бы вычленяя «арт» — искусство), и *моцартианский Пропп.*

В этом же письме, тут же — очень важно, что тут же! — внутренней мыслью Владимир Яковлевич охватил и себя как фольклориста и сразу же как музыканта, что для него было связанным, и тут же счел обязательным оценить своего адресата: «По-моему, Вы очень музыкальны. Я ощутил это сразу, как только услышал, как Вы воспроизводите слышанный Вами народный напев...» Удивительно профессиональное — музыкантски профессиональное — наблюдение! Но эти слова — не только о Л. М. Ивлевой, но и о самом Проппе: никто иной, как он, смог «определить это сразу», т. е. уверенно поставить своего рода диагноз. Видимо, он производил тем самым *проверку на музыкальность.* Такая проверка была для Владимира Яковлевича в известной мере проверкой на *личность*, и более конкретно — проверкой на личность фольклориста, на его пригодность к этой научной области.

Удивительно и то, *как* именно Владимир Яковлевич определил музыкальность Л. М. Ивлевой, — так, как это сделал бы музыкант-профессионал: на основе оценки качества народного напева.

Уместно добавить, что В. Я. Пропп дважды выступал официальным оппонентом на защитах диссертаций по музыкальному фольклору, оппонируя Ф. А. Рубцову и автору этих строк, и его пространные, содержательные отзывы служат замечательным документом фольклористики как синтетической дисциплины. (Кстати сказать, настало время собрать все оппонентские отзывы В. Я. Проппа и опубликовать их с соответствующими комментариями.) А я смотрю на сохранившийся у меня бледный отпечаток фотографии играющего на пианино Проппа и благодарю судьбу за подаренное мне 15-летнее счастье общения с Музыкантом.

Г. Г. Шаповалова

ВСПОМИНАЯ В. Я. ПРОППА



Я познакомилась с Владимиром Яковлевичем в начале 1941 года. Среднего роста, всегда в темно-сером костюме, с далеко не новым портфелем под мышкой; седеющие непослушные волосы, обычно спадающие на лоб, короткая остроконечная бородка, усы... Торопливой походкой он входил на заседание Сектора фольклора Пушкинского Дома, как правило, за пять минут до начала, и садился где-нибудь в уголок. Иногда ему даже не доставалось места, приходилось приносить стул из соседнего кабинета. Заметив, это, я стала занимать для него место (в то время я была секретарем сектора).

Всегда серьезный, Владимир Яковлевич не принимал участия в громких кулуарных разговорах перед заседанием или в перерывах, в обсуждениях, подчас бурных, разных московско-ленинградских событий, непременными участниками которых были М. К. Азадовский, Н. П. Андреев, А. И. Никифоров, Е. В. Гиппиус, В. И. Чернышев, а иногда и наезжавший Ю. М. Соколов.

Когда же дело доходило до обсуждения докладов, Владимир Яковлевич говорил тихим голосом, без эмоций, всегда лаконично, но предельно веско, и при этом так, что каждое его слово было слышно.

Я не помню Владимира Яковлевича смеявшимся над кем-нибудь или просто старавшимся кого-то переспорить.

Когда приходилось обращаться к нему с каким-нибудь научным вопросом, тут он представал настоящим педагогом: он не подавлял своей эрудицией, как бы не замечал незнания спрашивавшего и давал исчерпывающую консультацию, одновременно выправляя и направляя мысль задавшего вопрос так тактично, что создавалось впечатление, будто это не его, а твои собственные мысли, только чуть-чуть повернутые.

Когда после войны началась «охота на ведьм» в сфере науки, «первый залп» по фольклористике оказался направленным на В. Я. Проппа, на его книгу «Исторические корни волшебной сказки»...

У Владимира Яковлевича были удивительно «говорящие» глаза: большие, карие, серьезные, обычно грустные. Иногда, очень редко, в них проскальзывала усмешка, но бывало — и гнев. Два случая запомнились мне. На юбилейном застолье в 1965 г. говорилось много хороших слов, часто — остроумных, и я видела в глазах Владимира Яковлевича теплоту и радость. И как заразительно он рассмеялся, когда мой покойный муж Б. Я. Бухштаб произнес лаконичный тост: «Без Проппа не было бы проку!»

И совсем другое воспоминание. Готовился VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук в Москве. Владимир Яковлевич должен был руководить обсуждением темы «Классификация фольклорных жанров» на фольклорной секции. Нужно было видеть, как он оживился (участие в международных конгрессах тогда была еще большая редкость — и для Владимира Яковлевича тоже), с каким интересом и вниманием подбирал участников, писал нашим и зарубежным ученым: приходя в Сектор фольклора, он с жаром рассказывал М. Я. Мельц и мне, кому он написал, кто ему уже ответил, что думает он о предстоящих заседаниях.

«Ну, а у вас какое будет сообщение?» — обратился он ко мне.

Я даже опешила... В то время я серьезно занималась вопросами классификации паремиологических жанров, выступала с докладами, даже в Риге. Но Международный конгресс? И в голову мне не приходило.

«Так вот, — сказал Владимир Яковлевич, — к концу недели вы мне напишете тезисы, мы их посмотрим и тогда решим. Не бойтесь — это главное».

«Ну вот видите, — после нескольких замечаний к написанному мной сказал он. — А вы боялись! Теперь все перепишите и отдайте мне. Значит, едем!»

Наконец, сотрудники Сектора (Б. Н. Путилов, М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова и я) получили пригласительные билеты и программы. Я собралась идти за железнодорожными билетами. В это время вошел Владимир Яковлевич, и я обратилась к нему: «Как вы своевременно пришли, я иду за билетами и возьму вам — поедем в одном купе!»

«Нет! — И тут я вижу, как Владимир Яковлевич меняется в лице. — А вы что? Получили приглашения?»

«А вы разве нет?»

«Нет, не получил».

Я стала уговаривать его: «Мало ли что бывает с почтой... Главное, чтобы вы сами там были. Как же без вас!»

«Нет, я вам сказал!» В голосе и в глазах его был холодный металл. Видно, он догадывался о чем-то, чего мы не подозревали.

В Москву я приехала накануне открытия и сразу же рассказала К. В. Чистову, имевшему прямое отношение к организации Конгресса, что Владимир Яковлевич не получил приглашения — видимо, почта или канцелярия что-то пропустили. Он обещал разобраться, и я успокоилась.

На открытии Конгресса Владимира Яковлевича не было. Когда открылось заседание секции, Чистов сообщил, что, к сожалению, В. Я. Пропп заболел и присутствовать не может.

Нас это очень обеспокоило, и сразу же, как только Владимир Яковлевич появился в Секторе после нашего возвращения, я кинулась к нему:

— Что с вами? Вы больны?

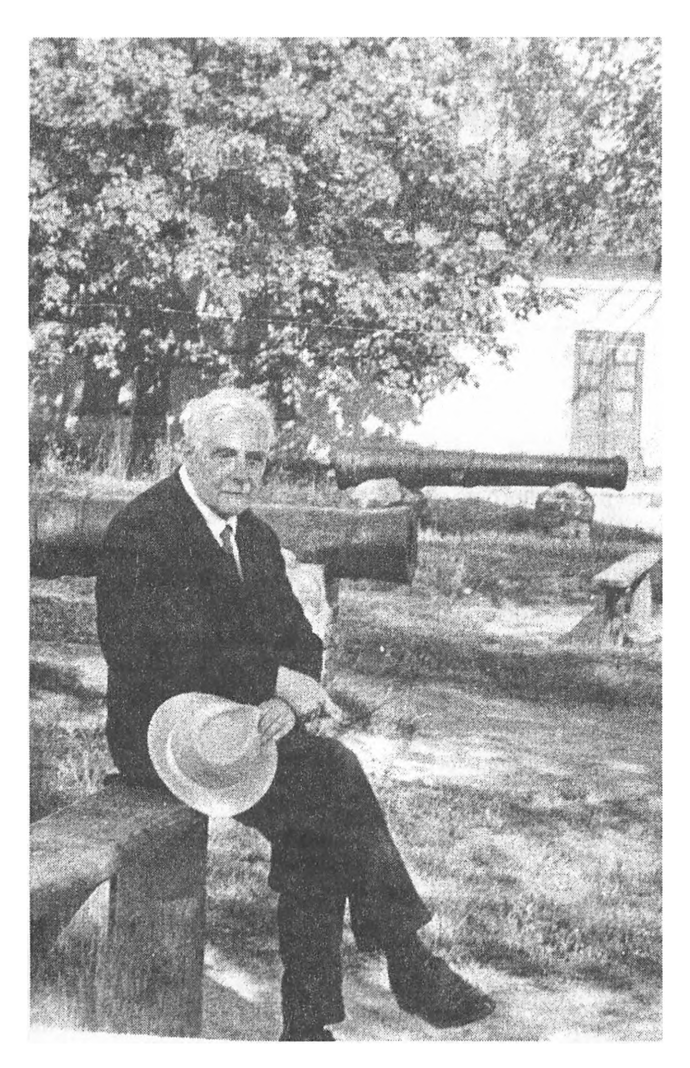
— Нет.

— Так почему вы не приехали?

— Я получил приглашение 5 августа (а Конгресс начался 2-го).

Все, что он думал по этому поводу, сказали его глаза: «Ну при чем тут почта или канцелярия?»

Не могу этого забыть...



В. Я. Пропп. На даче. 1970-е гг.
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 270)

А. Ф. Некрылова

РАЗГОВОРЫ О СМЫСЛЕ МОЛЧАНИЯ



Мне выпало счастье учиться в Ленинградском университете в шестидесятые годы и с первого по пятый курс заниматься в семинаре Владимира Яковлевича Проппа.

К сожалению, я не вела дневник, да и к записям лекций, семинарских занятий и обсуждений отношение было слишком легкомысленное. Вероятно, поэтому в немногих сохранившихся от тех лет тетрадках, блокнотах, листочках содержится только то, что тогда показалось наиболее интересным, важным, неожиданным.

Хорошо помню, как в 1967 г. несколько раз подряд встречала Владимира Яковлевича в Публичной библиотеке. Он сидел за одним из первых столов и просматривал альбомы по русской иконописи, живописи, архитектуре, что-то выписывал из Грабаря, из томов «Истории русского искусства». Владимир Яковлевич продолжал заниматься Врубелем, которого чрезвычайно любил, собирал материалы по иконам св. Георгия и почти что с юношеским азартом штудировал литературу по древнерусскому храмовому зодчеству.

Я в это время работала над дипломным сочинением (руководителем был Владимир Яковлевич), потому довольно часто подходила с вопросами, сомнениями, пользуясь соприсутствием в Публичке. Разговор нередко переходил и на иллюстрированный материал, который лежал перед моим учителем. Кое-что из услышанного я тогда же, по горячим следам, записывала.

Удивительно интересный, незабываемый разговор об архитектуре Древней Руси состоялся у нас год спустя, когда Владимир Яковлевич пригласил меня к себе домой в связи с предстоящими аспирантскими экзаменами. Трудно вспомнить сейчас, что послужило поводом к такой беседе, но тема архитектуры захватила нас, и Владимир Яковлевич достал обычную

канцелярскую папку, на которой его рукой было написано «Архитектура». Здесь лежали листы с наклеенными изображениями (фотографии, открытки) храмов, с выписками из разных исследований и заметками самого Владимира Яковлевича. Признаюсь, я втихаря списала две особенно поразившие меня оценки, касающиеся Новгородской Софии Дмитровского собора во Владимире. Оба собора я видела, но, как выяснилось, ничего не увидела и не поняла. Хотелось при первой же возможности посмотреть на эти храмы глазами Владимира Яковлевича и убедиться в его правоте. Осуществить такой план удалось далеко не сразу и поделиться с Владимиром Яковлевичем новыми впечатлениями уже было невозможно.

Сейчас, пытаясь освежить в памяти все, что связано с Владимиром Яковлевичем, я перечитала многочисленные открытки и письма, в разные годы адресованные мне. В трех из них учитель писал о русских храмах. Стало быть, интерес к раннему русскому зодчеству был давним, стабильным, просто в конце 60-х гг. наконец у Владимира Яковлевича появилось время, чтобы всерьез заняться и этой стороной народной культуры России. Ниже привожу цитаты из писем, мои записи разговоров с Владимиром Яковлевичем и две выписки из его рассуждений, касающиеся архитектуры Древней Руси.

15 июля 1966 г. «...В Кижах я пробыл 4 дня. Рассказать очень трудно — я просто дышал этой атмосферой древней талантливой Руси...»

4 августа 1966 г. «...Ильинского погоста я не знаю — надеюсь на ваши фото. Зато я нынче побывал в Кондопоге. Храм — совершенно удивительный, может быть — самое совершенное создание русского северного зодчества. Мы были с Нилой (Криничной. — *А. Н.*). Шел проливной дождь, было пасмурно, и снимки получились вялые, я надеюсь на Ваши <...>. Эти северные храмы составляют одно целое с природой. По гениальности архитектуры наш север выше Флоренции».

5 января 1968 г. «...Я кончил спец. курс, и теперь у меня много свободного времени. Неожиданно для себя занялся историей древнерусской архитектуры. Весной поеду в Новгород — это моя мечта...»

Из записей разговоров (1966–1969)

Владимир Яковлевич убежден, что все русские церкви просты по своим формам, и эта простейшая форма полна благородства. Тайна пропорций древних русских храмов очаровывает всякого, но пока что никто не объяснил, не раскрыл эту тайну. К великому сожалению, многие из культовых сооружений обезображены поздними пристройками. «Гениальные зодчие создают совершенные по формам произведения», но проходит какое-то время и к храмам начинают пристраивать «всякие полезные помещения», которые «надо мысленно убрать, а при реставрации — уничтожить».

Владимир Яковлевич спрашивал, много ли я видела деревянных церквей на Севере. Его они очень интересуют, т. к., видимо, могут объяснить происхождение особого типа древних русских храмов, где вместо куба с

покрытием и главой (главами), когда все осознается как составные части сооружения, имеем цельное, устремленное вверх, взлетающее ввысь здание — шатровые церкви. А ведь действительно, именно они — истинные храмы Вознесения. Владимир Яковлевич считает, что шатровые церкви вызывают иные религиозные чувства, чем традиционные приземленные православные храмы...

Недавно Владимир Яковлевич сказал, что не понимает звонниц и хочет для себя выяснить, когда появились на Руси колокола. Оказывается (об этом я никогда не задумывалась), первые храмы не имели колоколов и службы проходили без колокольного звона.

...Почему Киевская София имеет пять апсид, а Новгородская — три? Владимир Яковлевич говорит, что, к своему удивлению, нигде не смог об этом прочитать. Видимо, только по отношению к алтарной апсиде следует говорить как об имеющей сугубо религиозный смысл. Все боковые апсиды вызваны художественными соображениями, имеют, как сказал Владимир Яковлевич, «архитектурный смысл».

...Был интересный разговор о смысле и значении молчания, пауз, остановок <...> Древнерусские зодчие тоже знали силу и мощное воздействие молчания и «гармонического спокойствия». Такой видится Владимиру Яковлевичу гениальная церковь Покрова Богородицы на Нерли. В ней есть некая интимность, это не государственный храм, он рассчитан не на граждан, а на обычных людей, здесь надо молиться молча, ибо главное воздействие — «воздействие красотой».

Рассуждение Владимира Яковлевича о Новгородской Софии: «Всякое нарушение симметрии испытывается как нарушение истинной художественности. Шестой купол на Софии пристроен позже и нарушает ее гармонию. Ради него изменена крыша. Левая сторона сохраняет исконную форму: два полукружия. Мне кажется, что пристроены еще две части с покатой прямой кровлей, в которых нет ничего художественного. Если мысленно убрать эти казенные пристройки, храм воссияет в своей первозданной гениальной простоте и пропорциональности. Это не интимный храм молитвы, это символ новгородской независимой и гордой государственности <...>. Тип иной, чем черниговская Пятница на Торгу. Тот устремлен ввысь от земли, этот — покрывает землю. Там один купол — взлетающий вверх, здесь их пять, представляющих собой земное покрытие».

О Дмитриевском соборе во Владимире: «Уже выработавшийся прекрасный тип одноглавой церкви. Великолепно сохранился. Все исконно. Полностью симметричен. Скульптурные украшения портят храм. Любая скульптура древнерусского искусства есть неоригинальная, чуждая ему составная часть. Скульптура передаст вещи (людей) в *реальном* пространстве. Икона мысленно непереносима ни в какое пространство, она оттиск душевного пространства верующих. Поэтому всякая телесность, всякое внесение реального пространства или перспективы в иконах есть признак не прогресса, а деградации. Рельефные украшения стенам русских храмов не нужны».

О. Н. Гречина

ЧЕЛОВЕК ДРУГОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ



Большой доходный дом по улице Марата № 20 имел три двора, и в глубине третьего слева стоял маленький флигель в два или три этажа, весь окруженный, как венком, поленницами распиленных и расколотых дров, доходивших до уровня окон первого этажа и, как водится, сверху укрытых от дождя и злоумышленников кусками толя и старого железа.

Слева, у подножия лестницы, была разбухшая от сырости обитая мешковиной дверь, видимо, бывшей дворницкой. Когда дверь отворялась, нужно было еще спуститься по ступенькам вниз в небольшую комнату, которая служила одновременно прихожей, столовой и кухней. Сюда же выходили двери двух комнат и уборной. Воздух в квартире был сырой и спертый (от дров), было всегда холодно.

Придя в этот дом впервые, я в смущении и недоумении остановилась на пороге: может ли быть, что в такой убогой квартире живет профессор ЛГУ, известный ученый Владимир Яковлевич Пропп?

Хозяин появился на пороге, очень любезно начал снимать с меня пальто, и по узкому коридорчику, где двоим было не разойтись, я вошла вслед за Владимиром Яковлевичем в его кабинет. От смущения я не смела даже оглядеться. Бросились в глаза лишь окно вровень с дровами и большой старинный письменный стол без обычного беспорядка бумаг, пустой. Справа от него стояло обтянутое синим бархатом старенькое кресло, куда обычно хозяин сразу же усаживал гостя: комната тоже была очень узкой.

Мое смущение при первом визите в дом Владимира Яковлевича имело свои основания. Стояла осень 1950 года. Совсем недавно прошли гнусные собрания по «разоблачению космополитов», когда один за другим выходили на трибуну «верные ученики» Азадовского, Гуковского, Жирмунского, Бялого, Эйхенбаума и других «космополитов» и поносили своих учите-

лей, обвиняя их в том, что они их неправильно учили, «обманывали», «давали камень вместо хлеба» и т. д.

В таких условиях никто никому доверять не мог, тем более, когда приходит в дом незнакомый человек. Я ожидала недоверия и напряженности со стороны Владимир Яковлевич, ибо это была обычная атмосфера общения в то время. Но он был очень любезен и спокоен. Владимир Яковлевич не был задет на том собрании потоком грязи, который изливали ученики на учителей. Он сам выступил с речью, где ни в чем не каялся (а «Советская культура» и о его трудах писала в гнусных и ругательных тонах) и пытался объяснить собравшимся сложности исследовательской работы в филологии. В своем выступлении Владимир Яковлевич не нервничал и не терял своего достоинства. Нам тогда очень понравилась его речь. Владимир Яковлевич зимой 1950 года пережил первый инфаркт (пока еще «микро»). Была закрыта кафедра фольклора, на которой он имел полставки по фольклору, все еще продолжая преподавать и немецкий язык.

Бывшие аспиранты М. К. Азадовского теперь механически переходили к Владимиру Яковлевичу, но он не знал ни нас, ни наших тем. Было нас, аспирантов, человек восемь—десять; со второго курса аспирантуры я, Ира Лупанова и бурятка Лиза Баранникова.

Вторая причина моего смущения была в том, что я уже училась у Владимира Яковлевича в просеминаре по фольклору, обязательному для всех студентов первого курса. Это было еще до войны, в 1939 году. Нам тогда было по 17–18 лет, и мы были наивны и глупы, что сказывалось и в наших докладах. Только староста V русской Юра Лотман ведал, что творит, когда писал свой первый в ЛГУ доклад, а мы еще не чувствовали своей будущей специальности и ее специфики. Владимир Яковлевич тогда придумал для нас очень интересный тип семинара: все писали на одну и ту же тему — «Сюжет боя отца с сыном в мировом фольклоре». Это давало возможность сравнивать доклады (и сюжеты!), всех включало в общую работу.

Неслучайно потом многие из того семинара, став сами преподавателями вузов, использовали этот педагогический прием Владимира Яковлевича.

Я очень боялась, что Владимир Яковлевич вспомнит о том моем докладе, так как я считала его своим позорным провалом: я взяла немецкий сюжет о Гильдебранте и Гадубранте, увлеклась переводом, который у меня не вышел как следует, потому что это был древненемецкий язык, которого я не знала, а анализ сделать уже не успела. После этого я очень дичилась Владимира Яковлевича, хотя меня восхищали его труды и увлекла его методика. Я ходила на все его доклады (он тогда занимался русскими былинами), здоровалась с ним, когда встречались на кафедре, но этим и ограничивалось наше общение.

Перед встречей с новым руководителем было много разговоров о том, какой он. Одни уверяли, что он замкнут и суров, другие считали его простым и добрым. На кафедре его третировали как «кабинетного ученого»,

который «ни разу не был в экспедиции и не записывал фольклор», что, впрочем, ему было совершенно не нужно.

В это время уже были написаны две главные книги В. Я. Проппа. Это гениально простая «Морфология сказки» (1928), которая через 30 лет после выхода в свет будет переведена на все главные языки мира и ее признают предтечей нового направления в гуманитарных науках — структурализма.

А в 1946 году вышла в издательстве ЛГУ монография по докторской диссертации Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Написанная предельно просто, она увлекательна, как детектив.

Однажды в мое отсутствие зашел знакомый врач, дожидаясь меня, стал читать эту книгу и не мог оторваться, умоляя дать ему хоть на ночь, чтобы дочитать.

Уже после смерти Проппа выйдет второе издание этой книги и скоро станет библиографической редкостью...

А пока обе книги подвергаются грубейшим разносам в печати, на Проппа уже навешен ярлык «формалиста», корни волшебной сказки признаны опасно разросшимися за пределы «русской почвы», и, пользуясь кампанией борьбы с космополитизмом, громилы-критики безнаказанно разносят «Исторические корни волшебной сказки», потому что автор и сам-то «космополит», хоть и не еврей, но немец, что тоже подозрительно...

И пока никто не знает, что всего через восемь лет обе эти книги помогут Владимиру Яковлевичу сделать первый шаг к мировой славе.

А до получения новой квартиры осталось еще больше десяти лет, и пока хозяин отдельного полуподвала встречает на пороге свою новую аспирантку.

Когда я пришла впервые на улицу Марата, оказалось, что страшного ничего нет.

Владимир Яковлевич честно признался, что партизанского фольклора, которым я занималась, он не знает, но с удовольствием узнает из моей работы, обещал методическую и теоретическую помощь.

Наше общение продолжалось недолго: в декабре 1950 года, не успев завершить диссертацию, я родила дочь Машу. Для аспирантки 49–50-х годов этот радостный факт был чреват большими неприятностями.

Наш ректор А. А. Вознесенский придумал целую систему карательных мер на случай появления у аспирантки ребенка до диссертации: предлагалось даже снижать на какой-то процент зарплату руководителя, не говоря уже о выговорах, на которые Вознесенский был очень щедр. Все это сильно портило отношения руководителей с демографически несдержанными аспирантками, а их держало в таком страхе, что они нелегально и за большие деньги делали себе зверскую операцию — вливание йода (аборты были тогда строжайше запрещены, а вливание гарантировало бездетность, многим, как оказалось, на всю жизнь).

Некоторые руководители, принимая девушек в аспирантуру, требовали от них «обета безбрачия» или, по крайней мере, бездетности. Я, не успев выяснить, как мой научный руководитель будет реагировать на подобную ситуацию, известила Владимира Яковлевича покаянной открыткой из роддома. В ответ я получила очень сердечные поздравления с этим радостным для меня событием:

«11 декабря 1950 года.

Дорогая Оля!

От всей души поздравляю Вас с появлением у Вас маленькой Машеньки, а маленькую Машеньку поздравляю с появлением на этот свет, где в общем живется не так уж плохо. Очень, очень за Вас рад и желаю Вам, чтобы Вы в своих детях были счастливы. Пишу “детях”, т. к. теперь надо думать об Иванушке. Павел Николаевич съел бы Вас живьем, а я нет, я даже рад, а диссертация подождет.

За нее я не беспокоюсь, а беспокоюсь за Вас, пока Вы находитесь в учреждении, именуемым больницей.

Надеюсь, что Вы выйдете скоро, и что у Вас все хорошо.

Умница! Хвалю.

Ваш В. Пропп».

И вот осенью 51 года я везу Владимиру Яковлевичу наспех дописанную диссертацию и Машу, важно восседающую в голубой коляске. Владимир Яковлевич и его жена Елизавета Яковлевна встретили меня так тепло и сердечно, что все мои тревоги прошли. Владимир Яковлевич сфотографировал этот наш визит. Оказалось, что он увлекается фотографированием и особенно любит снимать детей. В дальнейшем Владимир Яковлевич часто приглашал меня с дочерью к себе, а когда родилась вторая, пришел с Елизаветой Яковлевной к нам в гости и подарил новорожденной красивый розовый конверт.

Детские фотопортреты Владимира Яковлевича отличались не только профессионально высоким уровнем работы, но и глубиной психологизма.

Наши отношения становились все более дружескими, особенно после того, как я защитила диссертацию в феврале 1952 года. Теперь мы были коллегами, и Владимир Яковлевич стал называть меня в университете только по имени и отчеству. Кликать своих учеников до старости по имени и на «ты» — этого он не мог себе и представить.

Чем больше я узнавала Владимира Яковлевича, тем более утверждалась в странной мысли, что Владимир Яковлевич принадлежит к какой-то ушедшей цивилизации, уже покинувшей землю. Даже внешность его — большие, чуть выпуклые карие глаза под тяжелыми веками, усы и бородка «эспаньолка», которых никто уже не носил тогда, напоминали портреты людей Возрождения, а может быть, даже Средневековья. Обхождение с женщинами шло явно от рыцарских времен.

Однажды я увидела в пустом коридоре филфака, как Владимир Яковлевич приветствовал Ольгу Михайловну Фрейденберг. Эта гениальная

женщина, явно недооцененная современниками, пользовалась особым уважением Владимира Яковлевича. И вот, встретившись с нею в пустом коридоре, он вдруг согнулся в почтительном поклоне, слегка помахав перед собой правой рукой, в которой я вдруг «увидела» шляпу с тяжелым до пола пером.

Сейчас мы гораздо больше знаем о людях этой ушедшей цивилизации: Вернадский, Вавилов, Чаянов, Чижевский, Флоренский — вот ее представители. Тогда мы не знали о них ничего. Владимир Яковлевич был один такой среди тех, кто работал в те годы. Никто из них не печатал *всех* своих трудов в невыгодном безгонорарном издательстве ЛГУ. Только вторые издания приносили доход, первые же были сущим разорением: одна перепечатка текста чего стоила! При этом в доме не было лишних денег: Владимир Яковлевич помогал своей старшей дочери и внучке, содержал семью своей первой жены, когда в 1937 году они лишились кормильца; сестра Елизаветы Яковлевны, инвалид, жила до самой смерти в их доме, помогал он и своим двум сестрам.

Когда Владимир Яковлевич умер, деньги на памятник собрали среди учеников и друзей Владимира Яковлевича. Прекрасную его фольклорную библиотеку Елизавета Яковлевна продала за бесценок (три тысячи, больше дать не смогли!) в Петрозаводск, а деньги разделила между родственниками Владимира Яковлевича, послав и двум старушкам-пенсионеркам, сестрам Владимира Яковлевича, которые бедствовали где-то в провинции.

Жители флигелька на Марата быстро узнали, что профессор из полуподвала никогда не отказывается дать в долг «до получки», и пьяницы-соседи начали этим беззастенчиво пользоваться, их жены еще и скандалы устраивали: «Зачем дал моему на опохмелку!»

Елизавета Яковлевна видела в этом поощрение пьянства и тоже не одобряла, но Владимир Яковлевич искренне недоумевал: «Но ведь если он просит, значит, ему действительно нужно!» Не скупился он и на щедрые подарки ученикам в связи с разными событиями и на всякие взносы, которые вечно собирали с нас на кого-нибудь или что-нибудь.

На личные расходы оставалось явно мало: я помню Владимира Яковлевича всю жизнь в одном костюме и стареньком синем демисезонном пальто, которое он носил зимой и летом. На плече оно разорвалось и было зашито через край. Одно домашнее платье было и у Елизаветы Яковлевны, в последние годы уже порядком заштопанное, а на волосах дома — сетка, чтобы прическа была всегда в порядке. Проблема одежды для себя никогда, видимо, их не волновала. Не было и никаких излишеств в быту. Гостей встречали хлебосольно, но меню было обычным, как у нас всех, профессорской роскоши никогда не бывало...

Удивляло нас, что Владимир Яковлевич никогда не позволял себе ни слова сказать про тех, кого он не любил и кто ему причинял много неприятностей. Даже в самых грубых разносных статьях про него он пытался найти какой-то смысл.

Мы тогда жаловались ему на бесцеремонность и грубость ректора А. А. Вознесенского. Он всегда останавливал нас: «О нем я могу говорить только с благодарностью — он спас меня от смерти!»

Действительно, в июле 1941 года Пропп получил из милиции повестку: в 24 часа явиться, имея запас вещей и продуктов. Это была срочная высылка из Ленинграда всех немцев. Владимир Яковлевич пошел к ректору с этой повесткой, и тот быстро освободил его от явки, которая, конечно, грозила бы гибелью и Владимиру Яковлевичу, и его семье.

Никто так не жалел Вознесенского, как Владимир Яковлевич, когда вслед за братом, Н. А. Вознесенским, был расстрелян и А. А.

Умение быть благодарным за добро — одна из характерных черт этой ушедшей цивилизации, как и глубокое чувство своего человеческого достоинства: не отрекаться никогда от того, что считаешь истиной, и не позволять унижать себя.

Запомнился один эпизод из быта кафедры фольклора. При подведении итогов года оказалось, что у Владимира Яковлевича не хватает до полной нагрузки 20 часов. М. К. Азадовский заявил: «Ну вот, курсом на ОЗО мы догрузим Владимира Яковлевича!», и тут впервые Пропп взорвался: «Этого курса я читать не стану!» — покраснев от гнева заявил Владимир Яковлевич. Действительно, все курсы в это время читал Владимир Яковлевич (М. К. страдал болезнью голосовых связок), а всех аспирантов вел М. К. Нагрузки несопоставимые по трате энергии, при этом ничего не стоило списать недостающие часы на консультации или еще что-либо фиктивное, так делали всегда. «Догрузка» ОЗО была унижением, Владимир Яковлевич этого не допустил.

Получив аспирантов М. К. Азадовского, Владимир Яковлевич ни словом, ни намеком, ни даже интонацией голоса не показал своего отношения к бывшему начальнику, хотя многие другие на его месте не удержались бы.

Когда Владимир Яковлевич незадолго до ухода на пенсию в течение года заведовал кафедрой русской литературы, он удивил коллег и идеальным порядком в делах кафедры, и строгой требовательностью к коллективу. Однако все подчинялись, уважая моральный авторитет Владимира Яковлевича, хотя и звали его, шутя, «железный канцлер». Внутренняя дисциплина и высокая требовательность к себе и другим были его характерными чертами.

Вспоминали, что в годы эвакуации ЛГУ в Саратове Владимир Яковлевич ходил на все трудповинности и копал землю вместе со всеми в жару и в холод, хотя для профессоров это, вероятно, не было таким уж обязательным.

Отношение Владимира Яковлевича к студентам тоже резко отличалось от общей послевоенной нормы. До войны преподаватели уделяли большое внимание каждому отдельному человеку. Помню, как профессору И. И. Толстому понравилась моя записка на лекции. Он попросил автора (я не подписалась) подойти в перерыв, повел меня в буфет, усадил пить

чай с собой, разговаривал, выясняя мои интересы. А я была для него неизвестная первокурсница. С первого курса М. К. Азадовский намечал перспективных студентов в свой семинар. И так было почти у всех. В послевоенные годы эта тенденция ослабела, а погромы 49–50 годов почти полностью подорвали близкое общение студентов и преподавателей. И петух не успевал кукарекнуть, как многие из семинара трусливо отрекались от своего учителя-«космополита». Оставались немногие доверенные люди, которые старались не афишировать свою связь с опальным учителем. На дому проводили занятия лишь те, кому по болезни было трудно ходить. Например, В. Е. Евгеньев-Максимов, А. Н. Орлов и другие старики.

Пропп же и в эти трудные времена не утратил способности в каждом искать нечто индивидуально ценное и пестовать это качество. Он удивительно умел ободрять людей и внушать им веру в свои силы. М. П. Чередникова вспоминала, что только самые безнадежные доклады в фольклорном студенческом семинаре не вызывали одобрительных замечаний. В таких случаях Владимир Яковлевич замолкал и мрачно смотрел на тополь за окном. Студенты знали, что это сигнал крайнего его неудовольствия, хотя он признавал печальную необходимость существования и слабых учеников.

Владимир Яковлевич заботливо отучал студентов от синдрома экзаменационного страха, который часто заставлял первокурсника бросать самый простой билет и бежать с экзамена. В послевоенном нервном поколении такая реакция не была редкой. Владимир Яковлевич заставлял такого студента вернуться, сесть и все хорошенько обдумать. Его благожелательность успокаивала, и все обычно кончалось благополучно.

Это внимание к студенту мы, ученики Владимира Яковлевича, переняли от него. Я однажды даже на вступительных экзаменах в ЛГУ, где конкурс был огромный и надо было «резать», а не уговаривать, заставила одну девицу вернуться и обдумать ответ. Оказалось, что она знает все на твердую пятерку, а сработал «синдром страха».

Студенты очень ценили не только академическое, но и человеческое внимание к себе Владимира Яковлевича. Я не знаю другого примера, чтобы профессор годами переписывался со своими бывшими ученицами, попавшими надолго в больницу, как Лариса Ивлева, или в трудные условия работы, как М. Чередникова или Юля Пантелеева. Юля признавалась мне потом, что только письма Владимира Яковлевича позволили ей год выдержать работу учителя в детской трудовой колонии, где ученики бросали в нее поначалу дохлыми кошками.

Владимира Яковлевича отличала и какая-то совершенно особая предупредительность вообще ко всем людям. Так, когда в их квартире переменили номер телефона, все возможные собеседники Владимира Яковлевича получили от него открытки с его новым номером телефона.

Один такой случай удивительной предупредительности Владимира Яковлевича касался лично меня. Я договорилась к 5 часам принести к нему на Марата рецензию на его статью в «Ученые записки». В четыре часа

в нашей квартире вдруг раздался звонок с черного хода. (В это время уже работал лифт и все ходили с парадной.) Муж открыл дверь и с удивлением увидел Владимира Яковлевича.

Я выбежала тоже: «Зачем же вы пришли, Владимир Яковлевич, я ведь сейчас к вам собиралась. К тому же у нас лифт теперь, а тут так высоко...» Он спокойно возразил: «Про лифт я не знал, а у нас раскопали весь двор и через канавы проложены такие ненадежные мостки, вот я и подумал, как вы пойдете в таком состоянии...» (я ждала второго ребенка). И это в то время, когда нам постоянно говорили в университете: «Ваши дети нас не касаются!» Я могу ручаться, что больше так не поступил бы никто из работавших тогда на факультете.

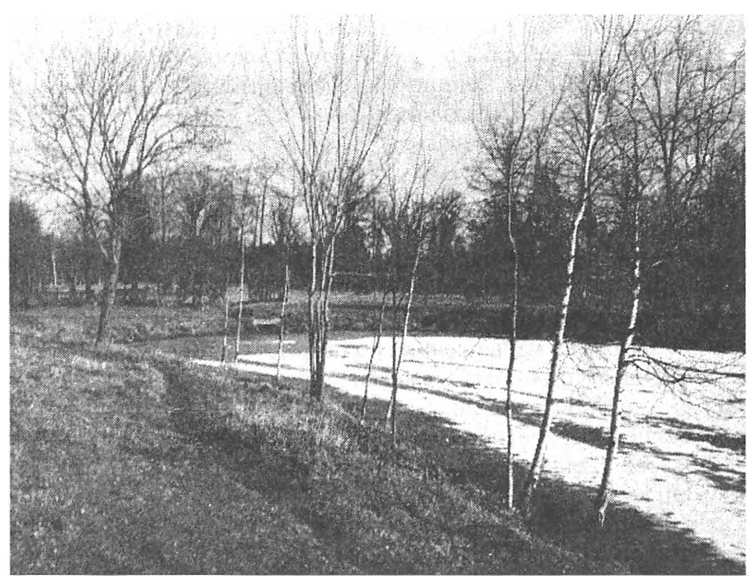
Жизнь семьи Владимир Яковлевич на улице Марата была очень трудной: печное отопление, а значит, постоянная забота о дровах, сырость и холод, отсутствие ванной и телефона, дикая теснота в крошечных клетушках-комнатках.

Сын Миша рос, и его увлечения требовали все большего пространства. В шестом или седьмом классе он увлекся биологией и заселил свою комнату белыми мышами и морскими свинками, а в квартире установился прочный запах зоосада. Потом уже студентом он увлекся подводным плаванием и конструированием аппаратов для этого (их тогда еще не было у нас в стране). Квартира стала походить на ателье по ремонту бытовых приборов. Позже Миша разделил увлечение отца фотографией.

Владимир Яковлевич очень ценил свободу в выборе занятий и увлечений и считал, что воспитывать детей не надо, ребенок и сам сделается человеком, каким должно. Я с ним спорила, но он всегда оставался верен своим принципам.

Между тем университету стали давать квартиры. Заселили два дома (на ул. Шаумяна и Заневском пр.). Туда переехали уборщицы ЛГУ, которые тут же, получив квартиры, уволились со своих непрестижных мест с нищенской зарплатой. Получали квартиры все оставленные на преподавательскую работу секретари партбюро. Беспартийных ленинградцев не брали даже на учет. За Проппом числилась «отдельная квартира из 4-х комнат». О том, что комнаты-клетушки, а квартира в полуподвале, не упоминалось. О том, как страдал Владимир Яковлевич в квартире на Марата, можно только догадываться. На работе ни он, ни Елизавета Яковлевна ни на что не жаловались.

(Следующая страница рукописи утеряна. В ней рассказывается о коллективных письмах, хождениях по инстанциям, которые были предприняты друзьями — коллегами и учениками Проппа, чтобы добыть ему новую квартиру. Ее дали — четырехкомнатную на Московском пр., где поселились Владимир Яковлевич, его жена, сын с невесткой и внуком и сестра жены. Описывается интерьер квартиры.)



Окрестности Ленинграда. Снимки В. Я. Проппа
(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 491)

...на специальных полках стояли фотопринадлежности. Особенно нарядно выглядела гостиная, залитая солнцем, с окном и широкой стеклянной дверью балкона. На угловой тумбочке около серванта в день новоселья стоял огромный букет роз.

Над обеденным столом повесили подарок нашей семьи — большую акварель моей дочери Маши. Владимир Яковлевич очень понравился этот рисунок своей нетрадиционностью, и он сам выбрал именно его для своей квартиры: на голом желтом пригорке, из-за которого виднелись крыши изб, были изображены прясла для сушки сена.

В своей речи, обращенной к нам, Владимир Яковлевич трогательно благодарил нас: всех, кто помог ему получить квартиру, за то, что мы «подарили ему десять лет жизни». Случилось именно так: в новой квартире Владимир Яковлевич прожил десять лет.

Однако и жизнь в новых условиях не была идиллической. В 50-х годах Миша женился, родился сын, которого с двухнедельного возраста оставили на воспитание деда и бабки — а сами уехали из Ленинграда на работу на Север, потом на Дальний Восток. Трудно было с няньками, мальчик ходил в ясли, потом в детский сад. Можно предполагать, что жизнь его в детских учреждениях не была безоблачной: с четырех-пяти лет он стал сильно заикаться. Это очень беспокоило Владимир Яковлевич и Елизавету Яковлевну, но организовать систематическое лечение у них уже не было сил, да и медицинских возможностей тогда еще не было. Учился Андрей всегда хорошо, и эта сторона его жизни не требовала вмешательства.

В Репино дед и бабушка регулярно снимали для него дачу. Владимир Яковлевич очень любил Репино и каждое лето сам сажал цветы вокруг дачи. Особенно он любил гвоздику и анютины глазки.

Однажды Владимир Яковлевич с внуком неожиданно приехал к нам в гости в село Рождествено, где мы снимали на Церковной улице дачу около известного собора из красного кирпича. Мы вместе гуляли целый день, потом обедали у нас. Владимир Яковлевич очень понравился чечевичный суп, и он стал выяснять рецепт его приготовления: «У меня не получается такой вкусный!» — пожаловался он и очень обрадовался, узнав, что первую воду с чечевицы надо сливать, так как она горькая. Оказалось, что на даче он готовит обед на керосинке по очереди с Елизаветой Яковлевной, через день. Она летом писала свою кандидатскую диссертацию по фонетике, и Владимир Яковлевич так уважал ее работу, что готов был жертвовать своим временем ради ее научного труда.

Зимой тоже Владимиру Яковлевичу приходилось многое делать по хозяйству. Он ходил в магазины, сдавал бутылки. Андрей учился в старших классах и его старались сильно не отвлекать от учебы. Времени хронически не хватало, а хотелось сделать еще многое! В последние годы Владимир Яковлевич отказывался ради научной работы от своих увлечений: уже не фотографировал, как раньше. (Особенно он любил снимать работы скульптора Мартоса. Я часто встречала Владимира Яковлевича в городе за этим

занятием.) Меньше стал читать, не ходил, как раньше, в кино. Осталось самое главное: музыка и наука. Часто приходил к нему И. О. Земцовский, музыкант и фольклорист, и Владимир Яковлевич играл с ним в четыре руки на пианино. А в науке в последние годы Владимир Яковлевич пережил свою последнюю «Болдинскую осень»: спецкурс о комическом (совершенно неожиданный для коллег по кафедре), спецкурс по сказке, выход к древнерусскому искусству в статье об иконе Георгия Победоносца. Отказался Владимир Яковлевич и от преподавания, остался профессором-консультантом.

В последние годы, когда я уже не работала в университете, мы виделись реже. Я знала, что он будет рад моему приходу, но понимала и то, как дорога Владимиру Яковлевичу каждая минута быстро уходящей жизни...

Мы обязательно виделись в апреле, где-то между Пасхой и его днем рождения. Я приходила с дочерьми или с дочерью Машей, которая уже училась в университете на психологическом факультете и стала всерьез заниматься детским фольклором. Владимир Яковлевич давал ей читать книги по этнографии. Обе дочери хорошо рисовали, и мы обычно приносили в подарок от руки раскрашенные яйца. В доме Владимира Яковлевича Пасху, кажется, не праздновали, но как он радовался этим яйцам, как любовно и долго их разглядывал! В последний апрель я подарила ему теплый пушистый шарфик на шею. Он надел его, посмотрелся в зеркало и сказал смущенно: «Я в нем похож на женщину!» Видимо, ему показался слишком нарядным этот вполне мужской шарфик.

В 1965 году торжественно отметили семидесятилетие Владимира Яковлевича.

В ресторане «Москва» собрались члены кафедры и все приглашенные, человек тридцать. Было все необычайно роскошно, о чем позаботился Макогоненко, хорошо знавший персонал ресторана, где и он любил бывать: прекрасная еда, много цветов, очень теплые, искренние речи. Владимир Яковлевич как бы прощался с друзьями и коллегами, хотя никто не думал тогда, что эта встреча — последняя. Владимир Яковлевич был полон радости жизни, и я вспомнила, как весной 1963 года неофициально собрались в общежитии студенты-русисты очередного выпуска, среди которых было много учеников Владимира Яковлевича.

Ребята позвали только тех, кого уважали и ценили не только в академическом, а в чисто человеческом отношении, поэтому официальных лидеров факультета там не было. Уже кончалась «оттепель» и заметно поддувало холодом, но нашим выпускникам казалось, что впереди еще есть надежда и есть широкое поприще для деятельности, поэтому вечер этот проходил на особом подъеме, эмоционально и даже революционно. Пели старые студенческие и революционные песни (анархистские и эсэровские. — *Примеч. дочери автора, М. В. Осориной*), говорили горячие речи. Казалось, что еще можно будет совершать нечто доброе и прекрасное, а жизнь будет строиться на основе закона и разума. Владимир Яковлевич поддержал эту веру

своих учеников. Он сказал тогда простые и мудрые слова: «Каждый человек обязан быть счастливым». Меня тогда удивило это: как это «обязан»? Есть еще и судьба-недоля! Но Владимир Яковлевич хотел от нас активного отношения к себе и своей жизни: нельзя допустить себя до несчастья.

Мы еще не знали тогда, какая темная беспросветная полоса проляжет перед нами на долгие годы, как будет трудно жить в атмосфере недоверия и подозрительности, но могу сказать, что в большинстве своем ученики Владимира Яковлевича сделали в жизни максимум того, что могли, и оправдали его доверие.

В августе 1970 года Владимир Яковлевич заболел на даче. Случился инфаркт. И вот он в больнице им. Ленина, в общей палате, где душной августовской ночью задыхаются сердечники, а форточку не открыть (веревка от фрамуги оторвана, надо залезть на стол, чтобы достать), санитарку не дозваться. И Владимир Яковлевич, сам с инфарктом, в первый день лезет на стол, чтобы дать струю воздуха тем, кто задыхается — почти как символ...

Из больницы он скоро выписался, видимо, недолеченный, и попросился на дачу. Елизавета Яковлевна увезла его в Репино. Эта последняя неделя его жизни была счастливой. В своей записной книжке, с которой не расставался, он записал: «Радуюсь счастью бытия!»

Но на даче он простудился, и ангина вызвала третий инфаркт. Опять эта проклятая больница и смерть...

На филфаке создалась похоронная комиссия. Собирали деньги на похороны, вызывали родных из Москвы и с Дальнего Востока, пытались пробить напечатание некролога в ленинградской прессе и достать место на кладбище в Шувалове (Северное) недалеко от могилы проф. Еремина. Некролог напечатал только «Вечерний Ленинград», да и то очень короткий, а место для могилы «пробить» не смогли никак, пока Г. П. Макогоненко не вспомнил, что отец одной его аспирантки — директор кладбища в Ленинграде, и тогда дело решилось за час...

Всех мучила мысль, что мы не в силах даже проводить достойно в последний путь ученого с мировым именем, который у себя на родине не получил ни почета, ни званий, ни должного материального обеспечения, ни даже места для могилы. Он должен был радоваться только тому, что его не уничтожили физически, как многих других, и что десять последних лет он прожил в нормальных условиях, а не в сыром полуподвале, где прошла бóльшая часть его жизни.

Постоянно попрекая В. Я. Проппа тем, что он не ездил в экспедиции и не записывал фольклор, некоторые фольклористы, которые всюду ездили, не замечали одной характерной особенности Владимира Яковлевича: он с глубочайшим уважением относился к народной культуре, усматривая смысл даже в так называемых народных предрассудках и суевериях.

Баратынский очень точно сформулировал причину уважения людей к этому: «Предрассудок — он обломок древней правды». В. Я. Пропп в этом отношении продолжал традицию XIX века.

Запомнились два случая, когда я нарушила в присутствии Владимира Яковлевича народный запрет и не заметила своего промаха. Так, прощаясь, я однажды подала Владимиру Яковлевичу руку через порог.

— Что вы делаете, — закричал он даже в каком-то ужасе. — Вы же фольклорист, а подаете руку через порог!

И добавил назидательно:

— Если мы забыли или не знаем смысл этого запрета, совсем не значит, что в нем нет смысла. Народ тысячелетиями вырабатывал эти запреты и видел в них глубокий смысл.

Конечно, он был прав: порог — граница между домом и миром, а значит, и опасная зона, где уже нет полной защищенности. А можно увидеть в таком прощании через порог и жест небрежения...

В другой раз я при Владимире Яковлевиче хотела разрезать ножницами завязанную двумя узлами веревочку на пакете. Владимир Яковлевич решительно отобрал у меня ножницы и сказал: «Вы же замужняя женщина, разве можно резать узлы? Женщина должна их развязывать!» И опять он глубоко понял мудрость этого запрета: в семейной жизни необходимо терпение.

Так же глубоко и лично чувствовал Владимир Яковлевич ту органическую систему соединения природы и человека, которая характерна для народной культуры.

С годами это ощущение у Владимира Яковлевича усиливалось, и он стал по телефону поздравлять меня с 22 декабря, когда солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

Состояние здоровья Владимир Яковлевич во многом зависело от этих дат. Он чувствовал себя гораздо лучше, когда дни начинали нарастать. Сейчас, постарев сама, я это очень хорошо понимаю.

Я очень благодарна судьбе за то, что на протяжении более 25 лет мне удавалось общаться с этим мудрым, добрым, удивительным человеком, пример жизни которого сыграл огромную роль для меня лично и для многих его учеников.

(Воспоминания о Владимире Яковлевиче Проппе казались моей матери, О. Н. Гречиной, не вполне законченными. В качестве постскриптума мне кажется уместным добавить черновик ее письма к 70-летию Владимира Яковлевича, который я нашла после ее смерти в папке ее бумаг, посвященных Проппу. — *Примеч. М. В. Осориной.*)

Дорогой Владимир Яковлевич!

Традиционные формулы поздравлений столько раз раздавались в эти дни, что стали, вероятно, уже надоедать Вам. И все-таки поздравляю Вас от всей души еще раз! Живите долго, будьте здоровы, пусть чаще приходит к Вам страсть творчества. Бесстрастно могут работать только бухгалтеры или чиновники от науки, так будьте же страстным, и пусть рождаются но-

вые и новые книги, которыми зачитываются даже люди, скептически относящиеся к филологии вообще.

Вы назвали меня своей ученицей. Многие были удивлены: что дала миру О. Гречина, чтобы ее называть в числе лучших со столь авторитетной кафедры? Только немногие знают, что я взяла от Вас, как от своего учителя, — не ту страсть к науке, которая рождается большим талантом, этого, к сожалению, нет у меня, и даже не методику вашей научной работы, всегда восхищающую меня, но недосягаемую. Вы очень хорошо сказали о том, что, кроме научной работы, есть педагогическая, что Вы любите и уважаете племя студентов. Этому я и училась у Вас — умению увидеть в каждом студенте человеческую личность и помочь проявиться всему лучшему, что есть в ней. Если я и получила хоть какое-то признание студентов, то только благодаря тому, что пыталась, как и Вы это всегда делаете, общаться со студентами не как с некими академическими величинами, а как с людьми.

Студенты ценят Вас не только как очень интересного ученого, каких всего несколько на весь университет, но прежде всего как человека, который может быть один в целом университете умеет по-настоящему уважать и любить Студента.

У меня есть очень дорогой для меня подарок, которым одна умная и тонкая женщина, студентка ОЗО шестидесяти лет, бывшая бестужевка, подчеркнула преемственную связь мою с вами, позволившую Вам сегодня назвать меня своей ученицей. Тогда многие молодые преподаватели университета откровенно посмеивались над этой учительницей-пенсионеркой, которую томила высокая страсть к науке. Я сама в те годы только начинала преподавать, но поняла, что эта чудаковатая, очень одинокая старая женщина, как никто другой, нуждается в атмосфере того доброго участия, которой Вы так умеете окружать своих учеников. Я взяла ее к себе в дипломантки, мне она сдала все экзамены, которые я только имела право принять. Когда она окончила университет, я получила от нее на память три тома сказок Афанасьева, изданных под Вашей редакцией.

Еще одно я хотела сказать Вам... Я очень много душевных сил вложила в своих детей. Мне очень хочется, чтобы они были много лучше меня, но для этого мало и слов и книг, должны быть люди, «делать жизнь с кого», как говорил Маяковский. Как мать я счастлива, что имею такого учителя, который не только многому научил меня лично, но и будет всегда светлым примером для моих детей. Они обязательно со временем прочтут и полюбят Ваши книги, как сейчас они любят Вас.

Вот все то, что я хотела сказать Вам в этот торжественный день всеобщего человеческого признания Вашего большого труда и Вашей светлой жизни.

Будьте счастливы!

Ваша О. Гречина

А. И. Михайлов[1]

О ВЛАДИМИРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ПРОППЕ



Это только теперь, возвращаясь памятью к тем далеким (почти уже сорокалетней давности) годам своего обучения на филфаке Санкт-Петербургского (тогда Ленинградского им. Жданова) университета, мы, бывшие студенты, со всей полнотой осознаем, какой подарок пожаловала нам судьба, определив нас в «ученики» к таким светочам отечественной и мировой науки, которыми блистал наш факультет в последнее для них десятилетие — шестидесятые годы. В семидесятые их свет, увы, уже угас. А тогда же в нашу обыденность и повседневность запросто входило общение (на лекциях, семинарах, во время коридорных пятиминуток) с Виктором Максимовичем Жирмунским, Игорем Петровичем Ереминым, Павлом Наумовичем Берковым, Борисом Александровичем Лариным и, конечно же, с Владимиром Яковлевичем Проппом, с которым мне посчастливилось общаться лично.

Все началось с руководимого им семинара по поэтике фольклора, записаться куда убедили меня два моих самых близких и по отделению (2-му русскому), и по жизни вне стен факультета приятеля Владислав Илюшин и Олег Вахрушев (первого уже нет, о втором же давно ничего не слышно), обожавших его, как, впрочем, и все на филфаке. Присоединился к ним, естественно, и я.

Чем он больше всего импонировал?

Прежде всего, витавшей в стенах нашей *Alma mater* молвой о его общеевропейской славе одного из основоположников не совсем нам тогда еще понятного «структурализма». К постижению его мы, по правде говоря, особенно-то не стремились, но числиться в семинаре всемирно известного ученого было очень лестно. Не потому ли семинар Владимира Яковлевича был один из самых многолюдных?

Симпатию внушала также и его внешность, явно профессорски регламентированная, т. е. с пошибом в некоторую старомодность в оформлении усов и бородки (аккуратная, короткая стрижка). Нравилось, что в условиях давно уже стилевой аморфности человек на своем примере помогает окружающим (прежде всего нам, студентам) ориентироваться в общественной

---

[1] А. И. Михайлов — ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, доктор филологических наук.

многоликости. Что же касается того, что оформлению такого рода не подлежит, а дается человеку изначально, то черты лица у Владимира Яковлевича были довольно крупные, особенно глаза, в которых светился его живой ум. Под стать глазам таким же ясным был у него и голос. Особенно четко, звучно и с правильным ударением старался произносить он слова-образы, относящиеся к фольклорной экзотике. Помню, как удивило меня произнесенное им на лекции о свадебной поэзии ударение в слове, представляющем собой эпитет жениха — «чуж-чуженин» (мне оно представлялось ударным на последнем слоге), а на другой лекции в былинном имени Потык (Михайло Потык) ударение на первом слоге, тогда как мне привычнее было Потык (с сохранением корневого ударения от глагола «тыкать»).

Кроме того, по сравнению, скажем, с усталым и отяжелевшим олимпийцем Жирмунским, корректно-аристократичным Ереминым или вельможным Григорием Пантелеймоновичем Макагоненко (небрежно пускавшим через весь стол сидящему на другом конце в ожидании худшей участи студенту зачетку с пятеркой — чудачество вельможи), Владимир Яковлевич, при всей своей высоте, радовал и покорял нас своим подлинным демократизмом. Он мог в какие-то моменты, чаще всего на семинарах, настолько по-юношески увлекаться, излучаясь природной добротой и лукавством, что наша беседа с ним могла бы показаться со стороны общением на равных (мы-то, разумеется, не зарывались и должной дистанции в разговоре старались не терять).

Обнаружили мы в нем и нечто иное, чего ни в ком из других наших славных преподавателей подметить не удалось. Подходило уже к своей середине время хрущевской оттепели. Однако инерция застылости, замороженности всех предшествующих десятилетий настолько еще сказывалась, что, например, о Сталине как разоблаченном злодее-диктаторе если и говорилось, то только полушепотом, а стихи какого-то лагерного поэта о том, как его пытают в гэпэушном застенке, а с портрета на стене с добродушной отеческой улыбкой в усы взирает на это вождь народов, и вообще читались друг другу шепотом. Помню, как невероятной крамолой прозвучала для нас высказанная на своей лекции профессором Самуилом Самойловичем Деркачом (отсидевшим срок, кажется, по «ленинградскому делу») дерзкая защита дворянства, вот уже десятилетиями шельмуемого (даже слово это превращено в жупел, — негодовал он), когда как им созданы ценности мирового значения (имелись в виду литература, искусство, наука). Вот какие истины приходилось тогда еще доказывать!

Памятно и еще одно событие. Как-то зашел к нам в общежитие по принятой традиции «на чай» кто-то из наших более молодых, чем выше отмеченные, профессоров, может быть тот же Деркач или Владислав Евгеньевич Холшевников. Вместе с ним пришел и какой-то его приятель. Мало принимавший поначалу участие в общей беседе он попытался затем, когда мы уже достаточно разогрелись и установилась атмосфера большей доверительности, переключить ее на разговор о том, что происходило все эти

десятилетия в нашей стране, о трагической участи в ней интеллигенции, о тюрьмах и лагерях (возможно, он сам только что оттуда вернулся), словом, открыть нам глаза на «правду». И что же? Мы пресекли его, дав понять, что говорить об этом и вникать в подробности подобных «слухов» нам ни к чему. И он растерянно и, кажется, обиженно умолк. Ретроградно, если не сказать подло (по крайней мере, по отношению к человеку, намеревавшемуся посвятить нас в горестную правду о своей стране). И это — молодежь, всегда обычно пытливая и чуткая к тому, что касается понятий совести и правды... А между тем мы все же дышали воздухом этой самой оттепели, тяготились изучением по идеологическим прописям «самой передовой в мире» советской литературы, старались как можно больше ухватить за ее контекстом, равно как и за пределами «единственно правильного» в мире марксистско-ленинского учения.

И в этом отношении мы чувствовали во Владимире Яковлевиче своего. Он, разумеется, не разоблачал перед нами отдельные несостоятельные положения советской фольклористики, печально обусловленные постылой и жесткой теорией классовой борьбы, демагогической верой в то, что и новая историческая действительность сверх меры способствует рождению традиционных фольклорных жанров («новины» и прочее) и что собирать и записывать их полагается, прежде всего, на первомайских, октябрьских и прочих политических демонстрациях. Его оппозиционные выступления носили на лекциях более тонкий характер. Так, знакомя нас однажды с библиографией по какой-то проблеме и дойдя до одного из авторов, он, между прочим, нас предупредил: прочтите прежде всего вот эти его работы и не предавайте значения тому, что, может быть, случиться вам прочесть в периодике тех лет о нем самом, — в нравах того времени нередко было исправлять неугодные концепции ученых заочно, даже не ставя в известность их самих; так, начавший однажды лекцию изложением своей концепции, он был прерван поднявшимся со своего места с усмешечкой на губах и с газетой под мышкой обратившимся к нему студентом: «Товарищ профессор, а вы ведь от этой своей вредной концепции отказались — вот, читайте...» И протянул ему пропечатанную в этой газетенке лживую информацию о его собственном будто бы отречении (состряпанную, может быть, даже с целью его спасти), которую он тут же нашел в себе мужество перед замершим в ожидании студенческим залом... не подтвердить. Кто был тот ученый, какова его судьба, к какому времени относился тот узаконенный произвол над правом ученого иметь свою концепцию — уже не помню. Понятно только одно, что совсем ненавязчиво, по ходу дела Владимир Яковлевич преподнес нам урок трагической стороны существования отечественной науки в хваленом недавнем прошлом, а также защитил и честь своего коллеги, если лживая информация о нем, помещенная в свое время в официозной, а по сути дела карательной, печати, все еще гуляет, имеет свое действие.

Коснусь теперь наших непосредственных личных контактов.

Как-то пришла моя очередь отчитываться на семинаре по избранной мной теме «Поэтика пословиц и поговорок». Тайна рождения поэтического образа всегда меня манила. Удивляло, за счет чего же ряд простых, с давно известными значениями слов (какими они помечены в словаре) вдруг начинают обретать новое значение? За счет чего образуется эта чудодейственная прибавка? Мне показалась тогда, что на такой малой художественной единице, как пословица или поговорка, эту тайну и можно будет как-то разгадать. И вот теперь, дождавшись своей очереди на семинаре, я и делился наблюдениями касательно этого жанра. Дело происходило в актовом зале на филфаке, где я сидел за столиком лицом к залу, а наша группа вольно располагалась в креслах напротив, преимущественно в правом от меня ряду (там же находился и Владимир Яковлевич). Он слушал меня внимательно, а когда я дошел до таких терминологических «откровений» в своих наблюдениях, как «ритмический рисунок» (в разных образцах этого жанра, развивал я свою мысль, ритмический рисунок в своей ударности то возрастает, то затухает. В чем тут причина — в синтаксической конструкции, лексической семантике или содержании? Попробуем разобраться... и проч.), мне показалось, что мой учитель даже одобрительно крякнул.

А затем произошло нечто, сделавшее меня, можно сказать, героем этого семинарского занятия и вообще.... В какой-то момент моего увлеченного истолкования поэтических тайн исследуемого жанра Владимир Яковлевич тихонько поднялся с места и осторожно, чтобы не помешать излиянию моей научной истины, направился к полуотворенной в коридор двери, за которой слышался сильный шум проходившей мимо нас к своей аудитории какой-то группы, и плотно ее прикрыл, дав нам жестом понять: так-то теперь будет лучше, а то совсем слушать мешают... В мою сторону дружно повернулись головы шокированных сокурсников: ну и дела — сам не поленился встать и прикрыть дверь, чтоб нам не мешали слушать — заинтересовался, значит... Молодец, Саня! Знай, Владимир Яковлевич, наших!

В таких примерно высказываниях обсуждалось произошедшее после семинара.

Понятно, что я не замедлил теперь как можно чаще обращаться к Владимиру Яковлевичу с разными вопросами, на которые он всегда охотно отвечал. В своем стремлении представить в его глазах себя как студента, весьма погруженного в проблематику фольклористики, я иногда даже перебарщивал. Помнится, как-то задал ему вопрос, не существует ли такой науки, как фольклорная психология (или хотя бы историческая), занимающаяся определением разных национальных типов в сменяющихся временны́х срезах? (Думаю, что и мне самому не совсем тогда было понятно, что это такое.) Однако Владимир Яковлевич на минуту серьезно задумался и ответил отрицательно: «Нет, не существует...» А затем, помедлив, добавил: «Эту функцию прекрасно выполняет литература и тот же фольклор».

Начиная с того семинара он стал заметно меня выделять. В это время вышла составленная и подготовленная им, с его же вступительной статьей

книга «Народные лирические песни» (Л., 1961, в большой серии Библиотеки поэта). И не кого-нибудь, а меня попросил он написать о ней рецензию в нашу филфаковскую стенную газету. То-то уж я старался! И она, эта моя первая в жизни рецензия, свою стену увидела.

А затем произошел у меня отход от столь страстного увлечения фольклористикой. Я открыл для себя потрясший меня мир поэзии начала двадцатого (Серебряного — по нынешнему достойному его высокому определению) века. Она-то и поглотила меня всего. Забросив лекции и все, что забрасыванию поддавалось, я целыми днями стал пропадать в Русском зале Публичной библиотеки за переписыванием сборников стихов Цветаевой, Гумилева, Хлебникова, Ахматовой, Клюева, Мандельштама и др. Переписывал не просто в какие-то там затрепанные тетрадки, а дублируя именно сборники, для чего приходил туда с чернильницей, с тушью, ручкой с пером и специально заготовленными брошюрками бумаги миниатюрного формата, которые по заполнении их стихами отдавал в переплетную мастерскую. Вот и готово довольно изящное, в духе «эстетного» Серебряного века изданьице — благо почерк у меня каллиграфический, а чтобы графика страницы получилась ровной и гармоничной, подкладывал под лист расчерченный транспарант. Таких книжек я изготовил множество. Потом раздаривал. Кое-что хранится и сейчас. Так что в издании академического собрания сочинений Николая Гумилева (московское издательство «Воскресенье», вышел уже 4-й том, всего — 10) я участвую сейчас как бы уже вторично. Первое было в начале шестидесятых годов, когда я переметнулся от фольклористики, от Владимира Яковлевича Проппа, в литературу двадцатого века, где и застрял, где и обретаюсь по сей день.

Вспоминать это (то, что ушел), однако, горько. Получавший всегда на экзаменах и зачетах у Проппа только пятерки, я докатился однажды и до тройки, а вместе с нею получил и тяжелый для меня упрек Владимира Яковлевича: «Что с вами произошло? Вы ведь так интересно начинали! Я уже думал, что из вас может получиться настоящий фольклорист...» В ответ я подавленно молчал.

В последний раз я виделся с ним уже по завершении филфака летом 1966 года. Мне нужно было получить зачет по его предмету, и я направился к нему на Московский проспект, где от супруги узнал, что он находится на даче в Репино. Отправился туда. Было уже под вечер. Найдя Владимира Яковлевича, естественно, дома, немало удивился очень простой обстановке его жилища, кажется, на втором этаже: стол, два или три стула, какая-то чуть ли не армейского вида койка. Недавно перед этим вышла его известная книга об аграрных праздниках. Я поздравил его и заметил, как отрадно читать о многих из этих праздников, например мне, хорошо помнящему о них еще с детства; да и сейчас они все еще отмечаются, хотя государством, как видно по всему, взят жесткий курс на их полное истребление (я имел в виду хрущевское гонение на церковь), да и народу-то в наших деревнях остается всего ничего. Он оживился, и помню высказанные им в ответ слова, еще раз

подтвердившие его оппозиционность: да, они хотели бы, чтобы все это было забыто, чтобы праздновались только их праздники. Но не так-то просто переломить народ, до конца им этого сделать не удастся... Потом он посетовал на то, что не мог дать в книгу всего, что хотел. Мы поговорили еще кое о чем, и он ко мне обратился: «Так давайте же вашу зачетку...» А когда уже расставались, сказал: «Ну, желаю вам успеха, какой бы вы ни выбрали путь!»

Больше мы с ним, повторяю, не встречались, но нашим контактам все же привелось еще на короткий момент возобновиться.

На третьем году моего служения на ниве народного образования в одном из городков Забайкалья (тоже, кстати, как и когда-то Владимир Яковлевич, в качестве учителя немецкого языка), я, спасаясь от горькой участи навсегда остаться шкрабом, да еще в столь далеком от дома и родной *Alma mater* краю, послал, с намерением попытаться вернуться в филологию, письмо Владимиру Яковлевичу с просьбой, нет ли возможности поступить мне на филфак в аспирантуру по фольклору. Для подкрепления своей просьбы и доказательства своих еще не выветрившихся знаний в этой области я приложил к письму некий трактат, в котором родной фольклор и родная поэзия, помнится, соприсутствовали на равных. Кстати, волей случая оказалось так, что он был продублирован и послан мною Владимиру Яковлевичу дважды, поскольку вернувшийся посыльный паренек честно признался мне в том, что он мое послание, запрыгавшись и заигравшись с дружками, потерял. Ничего не оставалось делать, как, отчитав и чуть не поколотив этого с ветерком в голове посыльного постреленка, сесть за новое, по сути дела то же самое послание. Но какого же было мое удивление, когда пришли одно за другим от Владимира Яковлевича два ответа (потерянное-то письмо, оказывается, было каким-то добрым человеком найдено и брошено в почтовый ящик).

Ответ был не обнадеживающий. Аспирантура на филфаке исключалась, поскольку носила целевой характер. В нее присылались в основном претенденты союзных республик, для своих места не оказывалось. Касательно же моего трактата Владимир Яковлевич писал, что не со всеми его положениями согласен, но те, которые подходящие, он намерен включить в свои лекции.

Тогда-то и посоветовали мне попытаться поступить в аспирантуру Пушкинского Дома. Тот же самый без изменения трактат, не слишком веря (а точнее совсем не веря) в успех, я в Пушкинский Дом и направил. Ответ, к моей великой радости, пришел положительный. И до сих пор я испытываю колебания, пытаюсь его объяснить: то ли Василию Григорьевичу Базанову, бывшему тогда директором Пушкинского Дома, понравились в моем трактате какие-то пассажи, посвященные Клюеву и Есенину (главным героям его поздних исследований), которых я интерпретировал, используя поэтику фольклора, или Владимир Яковлевич все же замолвил за меня слово, что вполне не исключено и о чем доподлинно теперь не узнаешь.

Обоим им вечная и светлая память!

СОДЕРЖАНИЕ

Дирекция издательства:

И. А. Савкин

Художественный редактор:
А. В. Самойлова

Оригинал-макет:
И. А. Смарышева

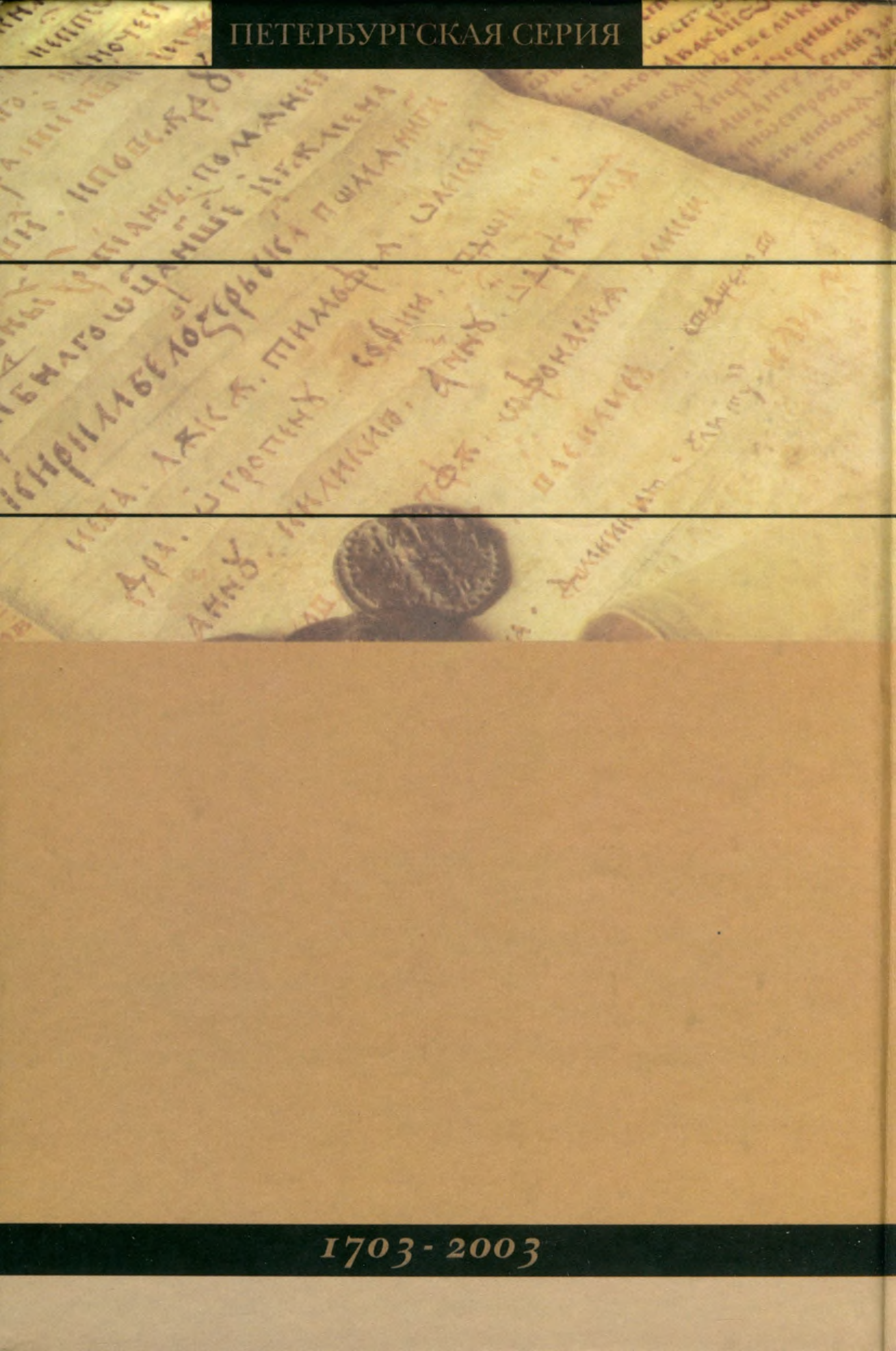
ИД № 04372 от 26. 03. 2001 г.

Издательство «Алетейя»:
193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13
Телефон издательства: (812) 567-2239
Факс: (812) 567-2253
E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 02.11.2000. Подписано в печать 24.02.2001.
Формат $60\times88/_{16}$. 30 п. л. Тираж 1500 экз. Заказ № 3360

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Printed in Russia


ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕРИЯ
1703 - 2003